

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

4

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

◆

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ОТБЛЕСК КОСТРА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ

ВРЕМЯ И МЕСТО

РОМАН

СТАТЬИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84Р7
Т 69

Составители
И. Д. ГРОМОВА, Т. А. СМОЛЯНСКАЯ

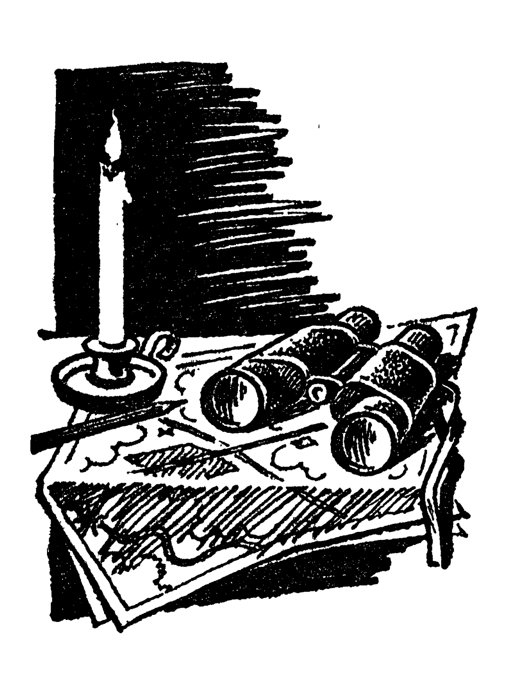
Оформление художника
М. З. ШЛОСБЕРГА

Т $\frac{4702010200-338}{028(01)-87}$ подписное

ОТБЛЕСК КОСТРА

◆

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ



В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Из старой революционной песни

На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост.

Отец любил делать бумажных змеев. В субботу он приезжал на дачу, мы сидели до позднего вечера, строгали планки, резали бумагу, клеили, рисовали на бумаге страшные рожи. Рано утром выходили через задние ворота на луг, который тянулся до самой реки, но реки не было видно, а был виден только высокий противоположный берег, желтый песчаный откос, сосны, избы, колокольня Троицко-Лыковской церкви, торчащая из сосен на самом высоком месте берега. Я бежал по мокрому лугу, разматывая бечевку, страшась того, что отец сделал что-нибудь не совсем так и змей не поднимется, и змей действительно поднимался не сразу, некоторое время он волочился по траве, неудачно пытался взлететь и опускался, трепыхался, как курица, и вдруг медленно и чудесно всплывал за моей спиной, и я бежал изо всех сил дальше.

Ни у кого не было таких больших, так громко трещащих змеев, как у меня. Потому что отец делал их из старых военных карт, напечатанных на плотной бумаге, а некоторые карты были даже на полотняной подкладке.

Мне всегда было немного жаль истреблять эти карты, такие красивые, добротные, со множеством мельчайших названий, напечатанных старинным шрифтом с буквами *ять* и *десятеричное*. Это были царские армей-

ские карты, но их использовали наши во время гражданской войны.

Отец почему-то не жалел эти карты. Он считал, что они сделали свое дело.

Высоко в синем небе плавал и трещал змей, сделанный из карты Восточного фронта, где отец провел такие тяжелые месяцы с лета 1918 до лета 1919 года...

Но об этом я узнал позже. Мне было одиннадцать лет, когда ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увезли. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались. Это было в ночь на 22 июня 1937 года.

Прошло много лет, прежде чем я по-настоящему понял, кем был мой отец и что он делал во время революции, и прошло еще много лет, прежде чем я смог сказать об этом вслух. Нет, я не имею в виду невиновность отца, в которую верил всегда с мальчишеских лет. Я имею в виду работу отца для революции, его роль в создании Красной гвардии и Красной Армии, в событиях гражданской войны. Вот об этом я узнал поздно. То, что написано ниже, не исторический очерк, не воспоминания об отце, не биография его, не некролог. Это и не повесть о его жизни.

Все началось после чтения бумаг, которые нашлись в сундуке. В них гнездился факт, они пахли историей, но оттого, что бумаги эти были случайны, хранились беспорядочно и жизнь человека проглядывалась в них отрывочно, кусками, иногда отсутствовало главное, а незначительное вылезало наружу, оттого и в том, что написано ниже, нет стройного рассказа, нет подлинного охвата событий и перечисления важных имен, необходимых для исторического повествования, и нет последовательности, нужной для биографии. Все могло быть изложено гораздо короче и в то же время бесконечно шире. Потом я кое-что расширил, мне захотелось рассказать и о других людях, о тех, кто был рядом с отцом. И я полез в архивы. Меня заворожил запах времени, который сохранился в старых телеграммах, протоколах, газетах, листовках, письмах. Они все были окрашены красным светом, отблеском того громадного гудящего костра, в огне которого сгорела вся прежняя российская жизнь.

Отец стоял близко к огню. Он был одним из тех, кто раздувал пламя: неустанным работником, кочегаром

революции, одним из истопников этой гигантской топки.

Наверху в сундуке хранились карты, внизу лежало много разных других бумаг. Нет, не ко всем своим бумагам отец относился так легкомысленно, как к старым армейским картам. Некоторые он чрезвычайно берег. Большинство этих бумаг относилось к периоду петроградской Красной гвардии, другие документы были из эпохи гражданской войны на Урале, на Юго-Восточном и Кавказском фронтах, где отец был членом Реввоенсовета. Отец, я помню, все намеревался что-то написать о Красной гвардии: то ли исторический очерк, то ли книгу воспоминаний, но так и не написал. Всю жизнь был занят напряженной работой и писал то, чего требовала эта работа,— статьи по экономике, по военным и международным вопросам,— а занятие мемуарами откладывал, видимо, до каких-то отдаленных времен, когда он стал бы более свободен. Такие времена не наступили.

Как большинство людей, ставших во главе Красной гвардии в 1917 году, Валентин Андреевич Трифонов был профессиональный революционер, старый большевик, прошедший тюрьмы и ссылки. По происхождению он был донской казак, уроженец станицы Новочеркасской, хутора Верхне-Кундрюченского, но с семи лет, когда родители его умерли, жил в городе, воспитывался в ремесленном училище в Майкопе.

Было их два брата: старший Евгений и младший Валентин. Оба совсем молодыми, отец шестнадцати лет, а Евгений девятнадцати, вступили в партию — в Ростове, в 1904 году. И очень скоро, через год, они доказали, что связали свою жизнь с партией не только затем, чтобы в конспиративных квартирах вечерами изучать «диалектику по Гегелю» и историю культуры по книжкам Липперта и Мижуева. В 1905 году оба брата участвовали в вооруженном восстании в Ростове, и Евгения судил военно-окружной суд после того, как восстание было подавлено. Евгений получил десять лет каторги, а Валентин — без суда — административную ссылку в Сибирь. Вот так они вступили в партию. И так началась и кончилась их юность: баррикадами, судом и Сибирью.

Да и была ли юность у этих юношей? Было сиротство, была голодная жизнь у чужих людей, был труд, изнурительный и жестокий, с малых лет: отец работал

слесарем в железнодорожных мастерских, Евгений был грузчиком в порту, рабочим на мельницах, масленщиком на товарных пароходах, служил одно время в казачьем полку, откуда ушел самовольно, потом сошелся с босяками, с шайкой ростовской шпаны, так называемых «серых», терроризировавших окраины Ростова и Нахичевани. «Серые» одевались франтовато, с особым шиком, носили широкие пояса. («Не бойся, меня, а бойся моего красного пояса!» — там, мол, нож.) У шайки происходили стычки с молодыми рабочими, которые оказывали сопротивление «серым», поножовщина. Но вскоре Евгений отбился от «серых», почувствовал к ним отвращение.

У отца была такая же бесприютная молодость, только без братниных завихрений, без «серых». Это зависело от характера. Валентин, хотя и младший, был уравновешенней, трезвее, Евгений же был вспыльчив, драчлив, в крови его кипело казачье буйство.

Они и внешне были разные, хотя чем-то похожи: отец широкоплечий, черноволосый, Евгений был рыжеват, строен и всегда казался моложе брата. Оба немного близоруки, это было семейное, хотя отец и рассказывал, что зрение у него сильно ухудшилось в тюрьме, после побоев.

О молодых годах отца знаю мало. Известно, что в ремесленном училище в Майкопе он организовал забастовку, за что впервые был арестован. Зато Евгений кое-что поведал о предреволюционном, ростовском периоде своей жизни в книге «Стучит рабочая кровь». (После гражданской войны он выпустил несколько книг стихов и прозы, воспоминаний о каторге, революции и войне, написанных в том бурном, романтическом стиле, который был в моде в двадцатые годы. Он состоял членом «Кузницы», писал под псевдонимом Евгений Бражнев.)

Со своей родней Валентин, как и Евгений, давно потерял связь, они и друг с другом виделись редко.

Вскоре у них появились новые товарищи, рабочие, и среди них несколько человек, связанных с подпольной социал-демократической организацией. Через них в руки Евгения стали попадать прокламации Донского комитета РСДРП, попадалась и ленинская «Искра». Сначала не все было понятно, но нравилось, как смело, в открытую говорилось в газете о царе, попах, жандармах. А потом — первый кружок, чтения, споры, первая

партийная кличка «Женька Казак» и первый арест «по политике».

В полиции узнали, что Евгений самовольно сбежал из Христиановских казарм, где отбывал службу в 24-м конном полку, и отправили его в родную станицу: в Новочеркасскую военную тюрьму. Там верноподданные матерые казаки избили его до полусмерти, как «продавшегося жидам» (эпизодик этот красочно описан самим Бражневым: «Казаком зовется, гавно. Сын тихого Дона! — с презреньем сказал подхорунжий, дежурный по тюрьме.— Пакостят, сволочи, казачье имя... Казак жисть кладет за честь знамени, а ты из-под знамя — бегать? Зачем бежал из сотни, хам, жидовская сопля, сицилист, таку твою мать?! Ну! Почему бежал?» — грозно рявкнул подхорунжий. В следующий миг комната с треском перевернулась в моих глазах...»), после чего Евгения направили в полк. Но по дороге из Новочеркасска в Персиановку ему удалось удрать, обманув конвоира. Было это в феврале 1905 года, в мае его снова арестовали, но скоро выпустили, в июле на сходке взяли и Валентина, тоже выпустили — улик у полиции пока не было, не за что зацепиться, одни подозрения,— а уж в октябре обоих схватили крепко, при печатании прокламаций. Но тут выручил «всемилостивейший манифест», и в конце октября братья вышли на волю. В декабре оба участвовали в вооруженном восстании на Темернике, командовали «десятками» дружинников — «десятком» называлась вооруженная группа, в которой могло быть и более десяти человек, могло быть пятнадцать, двадцать. Интересно, что это же наименование, «десяток», сохранили красногвардейцы Питера в своем уставе в 1917 году.

О революции 1905 года в Ростове, кровопролитной, отчаянной и недолгой — она длилась всего-то около десяти дней, из которых три дня было сравнительное затишье из-за внезапного тумана,— написано немало воспоминаний. В архиве Октябрьской революции в Москве есть доклад Е. Трифонова о Ростовском восстании, сделанный им в Обществе политкаторжан в 1935 году, по случаю тридцатилетней годовщины восстания. Несколько дней пятьсот дружинников, вооруженных кое-как, немногие винтовками, большинство револьверами, охотничьими ружьями и самодельными бомбами, удерживали в своих руках Темерник, железнодорожные мастерские и вокзал, отбитый 15 декабря у казаков. Но силы

были слишком неравные. Казаки несколько раз атаковали баррикаду, были отброшены и сочли за благо уступить место артиллерии. Две батареи спокойно и беспощадно громили Темерник с утра до вечера. Артиллеристам никто не мешал. Они вели стрельбу, как на учениях. Темерник горел, рушились рабочие хибарки, гибли мирные жители, а у дружинников не хватало оружия, иссякли патроны. 17 декабря, пользуясь туманом, Е. Трифонов проехал в Нахичевань и купил там у дашнаков 10 бурханов, небольших скорострельных карабинов... «На наемном извозчике,— вспоминает он,— я проехал через все полицейские преграды на Темерник. Когда мы подъехали к Темернику и извозчик узнал, что мы везем, с ним приключилась медвежья болезнь». 20 декабря было решено отступить... Стали отходить к Нахичевани. В столовой завода «Аксай» сложили оружие, порох, бомбы, поставили охрану из девяти человек, а затем там произошел взрыв, уничтоживший все оружие и боеприпасы дружинников. Причины взрыва неясны до сих пор. Скорей всего был трагический случай. Надежды на то, чтобы вести партизанскую борьбу,— а дружинники рассчитывали на это — рухнули. Надо было исчезать. Все, кто мог, разъехались из Ростова.

Донской комитет РСДРП был тогда в основном меньшевистский и выступал против восстания. Е. Трифонов высказывается определенно: «Если восстание разразилось, то только вопреки комитету. Можно привести ряд фактов саботирования вооружения рабочих на протяжении ряда лет». И дальше говорит кое-что о причинах неудачи: «Мы действовали по образцам классических революций, а технические средства стали иными. Мы строили баррикады и ждали, что нас будут атаковать. А нас поливали железом издалека». Кроме того, был, конечно, расчет на то, что немедленно подымутся рабочие соседних с Ростовом городов, но этого не случилось. Подкрепления, прибывшие на Темерник, были незначительны: человек сто из Тихорецкой, еще меньше из Таганрога, с Кавказской.

Братьям Трифоновым удавалось некоторое время скрываться от полиции, но 27 февраля Евгения задержал городовой Болдырев, узнавший его в лицо: во время боев этот городовой был захвачен дружинниками в плен. Начальник Донского областного жандармского управления доносил 30 марта 1906 года в департамент

полиции: «Доношу, что казак Валентин Андреев Трифонов, 17 лет, задержан в г. Ростове-на-Дону городовым Болдыревым, признавшим в нем члена боевой дружины, которого он видел в то время, когда был задержан мятежниками во время вооруженного восстания. По обыску у Трифонова найдены револьвер системы Браунинг и план предместья Ростова-на-Дону — Темерник, на коем отмечено место, где находится штаб мятежников. На основании данных следствия Трифонов признан одним из главарей восстания в г. Ростове-на-Дону и, как взятый к тому же с оружием в руках, подлежит преданию суду для осуждения по законам военного времени...»

Почему Евгений назван здесь Валентином?

Дело в том, что Евгению Трифонову, как совершеннолетнему и уже привлекавшемуся прежде к суду, а также как дезертиру с казачьей военной службы, грозила смертная казнь, а несовершеннолетнему Валентину могло быть снисхождение. Поэтому Евгений назвался Валентином, а Валентин, которого тоже через несколько дней схватила полиция и который уже знал об уловке брата, назвал себя Евгением. Эта хитрость спасла Евгению жизнь. Отца арестовали 9 марта 1906 года по делу так называемой группы Самохина, собиравшейся именно в этот день, 9 марта, совершить вооруженное нападение на типографию Гуревича в Нахичевани. Выдал всех провокатор Аким Майоров. Сохранился протокол показаний предателя, данных им в тот же день в полицейском участке, где Майоров — из крестьян, 21 года, по профессии наборщик, приехавший в Ростов для подыскания работы всего лишь две недели назад,— хладнокровно рассказывает, как он устроил завал группы. Сначала он организовал арест главарей, Самохина и Эпштейна, затем пошел в чайную, где его должны были ждать другие товарищи для того, чтобы передать ему оружие. Его действительно ждали двое, один из них был В. Трифонов. Все вышли из чайной и пошли в городской сад, где В. Трифонов сказал, что принес четыре револьвера. Тут же, в саду, всех задержали. Предатель, знавший отца мало, называет его Евгением Трифоновым: так же, как тот сам назвался при аресте.

Последняя фраза протокола такая: «Прошу, чтобы это показание было совершенно секретно, так как в противном случае моей жизни будет угрожать опас-

ность». Вместе с отцом были арестованы Гавриил Борисенко, Дмитрий Михин, Иван Боков, Михаил Чудовский. У них отобрали семь револьверов, какие-то рукописные заметки и Устав боевой дружины. В архиве ЦГАОР есть копия устава; это любопытное сочинение, стоит привести из него отрывки:

«Общие указания. Револьвер заряди дома, а патроны положи в карман. Револьвер спрячь так, чтобы легко было его вытащить. Не пренебр. хорошим ножом, кастетом, палкой и пр. На сбор. месте соедин. с товар. небольшими группами. Из середины толпы не стреляй: можешь застрелить товар. Держи револьвер дальше от лица стоящ. товар., чтобы не опалить его. Заряды береги, зря не стреляй. На ходу не стреляй, остановись и целься... Как только солдаты готовятся к стрельбе, сейчас же стреляй. Не спеши и целься лучше. Как только офицер отдаст команду, убей его. Если солдаты лезут в штыки, допусти на 30 шагов и стреляй..

Кавалерия. Если есть поблизости телега или что-нибудь другое громоздкое — положи поперек дороги. Если есть гвозди с 4-мя остриями, разбросай их кругом. Допусти конницу на 60 шагов и стреляй, быстрей и чаще. Сплотись в кучу, конь не пойдет в толпу. Когда кавалерия смешается с толпой, стреляй во всадников и пыряй ножом лошадь».

Как видно, был прав Е. Трифонов, говоривший, что некоторые из защитников баррикад на Темернике совсем почти не умели стрелять.

Валентина привели в ту же камеру, где сидел брат. Помню, отец рассказывал: «Ввели меня, вижу — сидит Евгений одетый, в пальто. «Ты чего одетый?» — «Одевайся и ты. Сейчас бить будут». Действительно, на вечерней поверке камеры обходит начальник тюрьмы. Команда «Встать!». Политические демонстративно не встают. Надзиратели набрасываются и начинают избивать. И так каждый вечер».

Следователи почуяли неладное с именами братьев, вызвали из Новочеркасска старшую сестру Трифоновых Зинаиду, привели в тюрьму и показали ей из окна Евгения, которого вывели на тюремный двор. Евгений, не понимая, оглядывался — кругом пусто, ни одного человека. У сестры спросили: «Это ваш брат?» — «Да».— «Как его зовут?» Чуть было не проговорилась ничего не подозревавшая сестра, но что-то остановило ее, внезапное предчувствие: «Я давно братьев не видела, боль-

ше десяти лет, как родители умерли. Они от дома совсем отбились — даже узнать не могу...»

Так отец в апреле 1906 года и поехал в административную ссылку в Тобольскую губернию под именем брата. Вскоре он бежал, вернулся в родной город, где был схвачен в октябре и после трехмесячной отсидки в Ростовской тюрьме вновь отправлен в Тобольскую губернию. А следствие по делу Евгения Трифонова и других участников вооруженного восстания продолжалось. Процесс начался лишь в конце декабря 1906 года. Судили 43 человека. Это было громкое дело, взволновавшее город. Боясь рабочих выступлений, генерал-губернатор предупредил население о том, что военное положение не отменено и всякие сходки, митинги, манифестации будут немедленно подавляться силой оружия. К зданию казарм, где происходил суд, подкатили орудия, полицейские и казачьи части стояли в боевой готовности.

Перед каждым подсудимым висела прибитая к барьеру табличка с фамилией, именем и отчеством. Перед Евгением на табличке значилось: «Трифонов Валентин Андреев».

Из 43 участников восстания 29 были осуждены и 14 оправданы. Евгений оказался одним из тех, кого суд наказал особенно строго: как несовершеннолетний, то есть как Валентин, он получил 10 лет каторги. В Сибирь его послали не сразу. Несколько месяцев просидел он в Новочеркасской военной тюрьме, откуда неудачно пытался бежать. Однажды вечером заключенные напали на надзирателей, схватывая их сзади за горло особым приемом — в уличных драках этот прием назывался «взять на грант»,— перевязали, выбежали во двор. Пока поднялась тревога, часть товарищей успела перелезть через высокую стену. Евгения взяли на стене.

Через несколько лет, в 1912 году, уже из туруханской ссылки, отец написал заявление на имя енисейского губернатора с просьбой вернуть ему его настоящее имя, и такое же заявление сделал брат, отбывавший тогда каторгу в Тобольском централе. Заявление отца послужило началом запутаннейшей казенной переписки, длившейся несколько лет. Работая в Архиве Октябрьской революции, я наткнулся на этот памятник кропотливой и довольно тупой полицейской мысли, запечатленной на пятидесяти листах «Дела о казаке Евгении Трифонове». В переписку кроме департамента по-

лиции, министерства юстиции, енисейского и тобольского губернаторов, ростовского градоначальника были втянуты еще жандармские управления нескольких городов, наказной атаман Войска Донского, частные лица, родственники, бывшие каторжане, учителя Майкопского технического и Новочеркасского атаманского училищ, и все это для того, чтобы определить, был ли злой умысел в перемене имен или же была чистая случайность. Многолетние потуги не привели ни к чему: злой умысел так и не обнаружился. В 1916 году братьям было разрешено именоваться их собственными именами.

Я разбирал эту груду документов, аккуратно подшитых, с датами, гербами, номерами входящих и исходящих, с подписями, имевшими когда-то могущественную силу, а сейчас превратившимися в едва заметный, полустершийся чирк карандаша, и думал: какое количество бумажек окружает каждого из нас! Мы не догадываемся, что находимся в плену у бумажек. Они, невидимые, идут по нашим следам, им нет числа, нет сроков, нет смерти. Они — как загробные тени нашего земного существования, ведь мы умираем, а они остаются. Нет ни Евгения, ни Валентина, ни губернаторов, ни делопроизводителей, ни писцов, ни тюремщиков, никого, есть только бумажки. Они зачем-то нужны. Чего-то ждут. Вот я взял эту старую папку, которую никто не трогал лет пятьдесят, кроме архивариуса, оставившего метку инвентаризации в 1933 году, полистал ее, почитал и отдал обратно; и снова никто не притронется к ней лет пятьдесят, сто, триста. Господи, через триста лет бумажки расплодятся так, что вытеснят человека с земли! Будут созданы, вероятно, огромные архивные территории, вроде национальных парков, а потом и целые архивные города, потом такие же города для бумажек будут устроены под землей, а когда человечество переселится на другие миры, все помещение нашей старой планеты будет превращено в один гигантский архив!

Между прочим, более всего в папке «Дело о казаке Евгении Трифонове» меня интересовали фотографии отца и дяди. Они должны были там быть. Об этом говорится почти в каждой бумажке. Но их не было. Кому-то они понадобились, и, может быть, именно в том году, каким помечена инвентаризация. А может быть, чуть раньше или чуть позже. Это никому не из-

вестно. Никто не мог сказать мне ничего определенного. Бумажки живут своей скрытной медленной жизнью, рассчитанной на тысячелетия, как камни, как ледники.

В ссылках отец провел лучшие годы: с семнадцатилетнего возраста до двадцати шести лет. Об этих годах он рассказывал мало. Иногда в разговоре с матерью скажет полушутливо: «Кто из нас был в ссылке: ты или я?», и это имело иронический смысл и было как бы требованием некиих домашних поблажек за счет тяжелого прошлого. Для нас, детей, шутливость таких разговоров была очевидна, и потому представление об отцовских ссылках создалось несколько несерьезное. Ну, ссылался четыре раза, ну, бежал — это, наверно, очень интересно, романтично. Снова прошли долгие годы, прежде чем я кое-что узнал об отцовских ссылках тех лет, более полувека назад.

Романтичного в них было немного. Зато много было стужи, снега, бездомности, голодания, избиений солдатами (у отца была выбита кость в груди от удара прикладом), были разговоры изверившихся, были болезни, предательства, была смерть друзей в охолодавших станках под полярным небом — и была молодость, отчаянно боровшаяся со всем этим.

После того как в «Знамени» напечатали в первоначальном варианте этот очерк, стали откликаться люди, знавшие В. Трифонова в разные годы. Откликнулись двое, которые знали его по ссылке. Большинство-то умерло: прошло все-таки пятьдесят с лишком лет. Но двое выжили, два глубоких старика: Николай Никандрович Накоряков, человек известный, делегат Лондонского съезда, бывший директор Госиздата, и Борис Евгеньевич Шалаев, по профессии инженер-теплотехник, живущий сейчас в Свердловске, человек тоже с революционным прошлым. Как-то дома зазвонил телефон, и я услышал высокий старческий голос: «А я вашего батюшку знал по тюменской ссылке 1907 года. Мы его звали Тришкой. Он немного прихрамывал».

Я не слышал, чтобы отец когда-нибудь прихрамывал. Но, наверно, это так и было.

Н. Н. Накоряков познакомился с ним сразу же после того, как отец бежал из Тобольска, из административной ссылки, в Тюмень. Отец отпустил бороду, чтобы изменить лицо. Возможно, он и прихрамывал тогда

для маскировки. Я приехал к Николаю Никандровичу домой, в Мансуровский переулок, однако старичок — с гаснущим зрением, но с необыкновенно ясным, четким умом — немногое смог добавить к тому, что сказал по телефону. С тех пор, с 1907 года, он не видел отца ни разу. В его памяти отец остался двадцатилетним юношей, Тришкой, вдвое более молодым, чем я. Поэтому он сказал разочарованно: «Вы на своего отца не походите». Он вспомнил еще, что отец работал в Тюмени слесарем на заводе Машарова.

От Бориса Евгеньевича Шалаева я получил много писем и его очень интересные воспоминания «Из прошлого рядового человека»: о пермском подполье, о тобольской ссылке и о Тюмени, где он познакомился с В. Трифоновым. Судьба Б. Шалаева была и в самом деле судьбой рядового русского человека начала столетия: уральская глухомань, какая-то Нижняя Салда, семья горнозаводского крестьянина, выбившегося в лесники, учение в реальном, жадность к книгам, ко всем вперемешку, но непременно к «серьезным», юношеское философствование зимними вечерами у печки, и вдруг сразу — бомбы, тайная возня со взрывателями, знакомство со Свердловым, боевая дружина, выдача провокатором Папочкиным, арест и «башня» Пермской тюрьмы. Осенью 1907 года Б. Шалаев был выслан в административную ссылку в Тобольскую губернию. Он был старше отца на два года.

Путь из Тюмени в Тобольск — 250 верст этапом,— описанный Шалаевым в его воспоминаниях, проделал дважды и отец. «Скорость этапа в среднем 25—30 верст в сутки. Дневки через трое суток. Наконец выходим из Тюмени. Конвойные кричат, замахиваются прикладами. Строгость отменная! Выходим за город. Отойдя версты три — команда: «Стой! Старосту политических к начальнику конвоя!» Разговор короткий: «Говори, за каких людей ручаешься, что не убегут, и каким доверять нельзя. За кого поручишься — ходи как тебе надо. Только в деревне, чуть подыму тревогу, мигом являйся, не подводи». Шли почти как на воле. Почему же такая неправдоподобная, кажется, свобода? Очень просто! Не зная, куда девать невероятно умножившиеся после пятого года неблагонадежные элементы в войсках, правительство вынуждено было, в целях изоляции, массами засылать неблагонадежных в самые медвежьи углы».

О том же вспоминал В. Трифонов: однажды гнали

их по этапу — возможно, по тому же самому, на Тобольск,— и конвойные попались на редкость хорошие ребята, чем могли, старались облегчить путь. Ссыльные решили между собой: не бежать с дороги, не подводить конвой. Так и дошли до места, а уж оттуда бежали.

Тюменский конвой шел до полпути, до села Иевлево, где долина реки Туры выходила на Тобол. Здесь этапников принимал тобольский конвой. А в Тобольске еще приходилось ждать днями, неделями парохода «на низ», то есть на север по Оби: кому куда было назначено поселение.

Тем же пароходом при некоторой отваге и счастливом стечении обстоятельств можно было вернуться «с низу» в Тобольск: так вернулся Б. Шалаев, раздобывший подложный паспорт. Таким же способом годом раньше вернулся в Тобольск В. Трифонов, откуда проехал на Урал (работал там по обучению боевых дружин, используя свой ростовский опыт), а после Урала перебрался в родной Ростов, где и был схвачен. Само по себе бегство из административной ссылки было делом нетрудным. Главная трудность — не попасться потом. Беглые поселенцы, пойманные за пределами Сибири, наказывались строго: до трех лет каторжных работ.

В конце 1906 года В. Трифонова из Ростовской тюрьмы переправили в Саратов, он просидел там несколько месяцев — Саратовская тюрьма оказалась тяжелой, режим почти каторжный, с карцерами, избиениями, отец там много болел — и вновь его выслали в Тобольскую губернию, на этот раз в Туринск. Вот как вспоминает Б. Шалаев о своем знакомстве с отцом:

«В 1907 году В. Трифонов оказался в административной ссылке в г. Туринске вместе с А. А. Сольцем и Э. А. Сольц (сестрой Арона Александровича). Когда же обоим Сольцам удалось перевестись в Тюмень, Валентин Андреевич нелегально уехал в Екатеринбург и стал работать там как организатор и член Екатеринбургского комитета. Об этом периоде его жизни я только слышал, так как сам лишь с зимы 1907 года появился в ссылке в г. Тобольске.

С открытием навигации 1908 года в Тобольск одним из первых пароходов приехал А. А. Сольц, который встретился там со мной и устроил мой перевод в Тюмень.

Вскоре встретился я в Тюмени и с Валентином Андреевичем. Он как раз собирался ехать «на низ» для подбора опытных кадров и для Тюмени и для Екатеринбурга из числа заброшенных далеко на север ссыльных. Поэтому он обратился ко мне с просьбой рекомендовать кого-либо из подходящих людей. Я назвал ему несколько фамилий, но предупредил, что точно не знаю, кто из них согласится на его приглашение, а особо крупных работников на севере не знаю. Помню также, что, возвратившись из поездки, он с сердцем заметил: «Ну уж эти рекомендованные!» Оказывается, немало из указанных ему не удалось разыскать, а еще больше просто не пожелало ехать, так как успело уже «осесть» на месте и подыскать кое-какой заработок. Надо упомянуть, что это было время самой худшей реакции. Отовсюду шли вести о новых виселицах и щедрой раздаче каторги. Провокация работала весьма интенсивно, предыдущий разгром был еще слишком свеж, и возобновление партработы было очень нелегко. Знаю, что из крупных работников Трифонову удалось обнаружить на севере Мельничанского, который потом нелегально пробрался в Тюмень».

Тюмень тех лет — город своеобразный, живой, купеческий и пролетарский одновременно, с заводишками, мастерскими, судоверфью, железнодорожным депо. Кроме того, это был центр, сквозь который проходил, где сгущался, оседал, таился в бегах почти весь российский бунт, кочевавший в Сибирь и обратно. Три века Тюмень была перевалочным пунктом для тысяч и тысяч ссыльных, политических и уголовных: все они, миновав Уральский хребет, прежде всего попадали в Тюменскую тюрьму — первую тюрьму Сибири. Рабочих в городе было порядочно, работали, как повсюду в России, тяжко, до изнеможения, а по праздникам усердно пьянствовали и бились на кулачках «ву́смерть». Михаил Мишин, один из революционных тюменских деятелей тех лет, описал тюменскую старину в своих записках, напечатанных лет тридцать назад в журнале «Каторга и ссылка».

Описал кулачные битвы с криками «Бою поддайте!», с кровавыми увечьями и многочисленной публикой, майскую забастовку пятого года, и то, как стала сколачиваться социал-демократическая организация, и как возникла типография, и как пошли споры большевиков с меньшевиками, и как началась борьба с эсерами.

В июле 1907 года типография провалилась, Мишин попал в тюрьму. Из тюрьмы пытались наладить работу на гектографе, но работников, способных для этого дела, на воле никого не осталось. «Опять помогли беглые ссыльные,— вспоминает Мишин.— Для временной работы в это время остановились бежавшие с севера В. Трифонов и А. Валек». (Через двенадцать лет Антон Валек был повешен колчаковцами в Екатеринбурге.) По-настоящему революционная работа оживилась через год, с появлением в городе А. А. Сольца.

Об Ароне Сольце я должен рассказать подробней. Это был замечательный человек нашей революции. Его сутью была несокрушимая вера в силу справедливости. В. Трифонов познакомился с Сольцем в Туринске, близко сошелся с ним в Тюмени. А. Сольц был старше отца, имел большой опыт подпольной работы — участвовал в революционном движении еще с 1895 года, работал вместе с В. П. Ногиным в группе «Рабочее знамя», затем примкнул к «Искре», и влияние его на В. Трифонова, как и на других молодых ссыльных из рабочих, было велико, он воспитывал их духовно, приучал к марксистской, ленинской литературе, да и просто к культуре, к знаниям, чего многим не хватало. Дружба с А. Сольцем осталась у В. Трифонова на всю жизнь. Пожалуй, у отца и не было друга ближе, чем Арон Сольц.

Помню его с детства — мы жили в одном доме — маленького человека с большой, шишковатой, седой головой. У него были большие губы, большие выпуклые глаза, смотревшие проницательно и строго. Он казался мне очень умным, очень сердитым и очень больным, всегда тяжело, хрипло дышал. Кроме того, он казался мне замечательным шахматистом. Я всегда ему проигрывал.

Арон Сольц был уроженцем Вильно, вырос в семье сравнительно интеллигентной и зажиточной, купеческой. В своей автобиографии для 41-го тома энциклопедического словаря Гранат А. Сольц написал так: «За время моей гимназической жизни я мало или, вернее, совсем не интересовался социальными вопросами, но был весьма оппозиционно настроен к властям предержащим. Источником этой оппозиционности было, несомненно, мое еврейство. В гимназию я попал с величайшими трудностями, ибо попал тогда, когда прием был чрезвычайно ограниченный, и вот неравенство в

гражданских правах меня, конечно, и толкнуло в оппозицию». Сказано честно, как умел сказать Сольц.

Б. Шалаев вспоминает: как-то в Тюмени, после собрания, рабочие разговорились о том, как и почему они стали большевиками. Почти все говорили о «сознании долга», и только Шалаев признался в том, что сознание долга его ничуть не тревожило, а к марксизму он пришел по-интеллигентски, от философии. Над ним стали подтрунивать. Особенно зло вышучивал его пожилой рабочий, всеми уважаемый Иван Иванович Борисов; он и обычно-то относился к Шалаеву свысока, как «истый» пролетарий к интеллигенту. Но Сольц неожиданно поддержал Шалаева, сказав, что и он пришел к марксизму сходным путем. Интерес к философии возник от ущемленности, от поисков справедливости, и философия повела на поиски истины и идеала.

Между прочим, «истый» пролетарий Борисов через несколько лет сделался провокатором, это выяснилось после революции. Одной из любимых фраз Сольца была: «Где много говорится о добродетели, там наверняка прячется какое-нибудь преступление».

После гимназии Сольц учился в Питере, в университете, попал в гущу споров, в схватки марксистов с народниками, был изгнан за участие в беспорядках и впервые оказался в тюрьме в 1901 году. Потом было много арестов, были ссылки, побеги, голодовки, была в начале империалистической войны известная прокламация «Долой войну!», за которую Сольц получил по приговору военного суда два года крепости. После Февральской революции Сольц редактировал газету «Социал-демократ», затем «Правду». В голодные девятнадцатый и двадцатый годы он работал в продовольственном отделе Моссовета, в Центросоюзе. Однажды какая-то делегация рабочих, доведенная до крайности ничтожными пайками и неуступчивостью Сольца, вздумала проконтролировать его самого: «А ну, проверим, чего начальники лопают!» Пошли к нему на квартиру, обыскали все углы и не нашли ни черта, кроме нескольких мороженых картошек. Между тем хозяин квартиры распоряжался вагонами с продовольствием.

Этот пример характерен, впрочем, не для А. Сольца, а для нравов революции.

Многие старые большевики называли А. Сольца «совестью партии». В 1920 году А. Сольц был введен в созданную по предложению Ленина Центральную

контрольную комиссию, он неизменно входил во все составы ЦКК и ее Президиума вплоть до 1934 года. А. Сольц написал книгу о партэтике. В течение многих лет он работал в Верховном суде и в комиссиях по чистке партии. Я встречал людей, которых он спас от исключения из партии, и людей, которых он исключил: все вспоминали о нем с уважением. Потому что все, что он делал, он делал по совести.

В книге о партэтике А. Сольц писал: «Человек отдельными поступками не измеряется. Надо знать всего человека, что он из себя представляет».

Весной 1923 года А. Сольц столкнулся с некоторыми фактами, которые побудили его заняться обследованием тюрем. По его инициативе ВЦИК создал специальную комиссию, облеченную правом освобождения от имени ВЦИК всех, кого она найдет нужным. Эта комиссия пересмотрела несколько тысяч дел, причем лично беседовала с каждым заключенным, обнаружила множество вопиющих случаев неправильного применения законов, бюрократического подхода, совершенно бессмысленного осуждения за мелкие дела на длительные сроки. Были освобождены две трети из всех, дела которых рассмотрела комиссия. Затем такие же комиссии были созданы по всему Союзу и проведена широкая амнистия. Через год, в 1924 году, «комиссия Сольца» повторила свое обследование, на этот раз кроме тюрем проверялись и народные суды, где скопились тысячи нерассмотренных дел.

А. Сольц требовал, чтобы работники юстиции отвечали за привлечение к суду, за качество приговора. В 1933 году в «Известиях» появилась его статья «Об ответе за привлечение, за свой приговор».

Когда в 1937 году началась кампания массовых репрессий, такой человек, как Сольц, не смог молчать. Может, один из немногих он пытался бороться. Он работал тогда помощником Генерального прокурора по судебно-бытовому сектору. А. Сольц стал требовать доказательств вины людей, которых называли врагами народа, добивался доступа к следственным материалам, вступил в резкий конфликт с Ежовым, Вышинским. Однажды он пришел к Вышинскому и потребовал материалы по делу Трифонова, сказав при этом, что не верит в то, что Трифонов — враг народа. Вышинский сказал: «Если органы взяли, значит, враг». Сольц побагровел, закричал: «Врешь! Я знаю Трифонова три-

дцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика!» — бросил свой портфель и ушел. Вышинского он и в самом деле знал издавна, еще по Питеру, по юридическому факультету.

Сольца начали отстранять от дел. Он не сдавался. В октябре 1937 года, в разгар репрессий, он внезапно выступил на конференции свердловского партактива с критикой Вышинского как Генерального прокурора и с требованием создать специальную комиссию для расследования всей деятельности Вышинского. Ему еще казалось, что прежние методы, введенные при жизни Ленина, обладают силой. Н. Н. Накоряков присутствовал при этом выступлении и вспоминает о нем в своей еще не опубликованной, но известной мне статье об А. Сольце: часть зала замерла от ужаса, но большинство стали кричать: «Долой! Вон с трибуны! Волк в овечьей шкуре!» Сольц продолжал говорить. Какие-то добровольцы, охваченные гневом, подбежали к старику и стащили его с трибуны.

Трудно сказать, почему Сталин не разделался с Сольцем попросту, то есть не арестовали его. Конечно, Сольц пользовался большим уважением в партии, авторитет его был велик, но ведь Сталин не церемонился с авторитетами. В феврале 1938 года Сольца окончательно отстранили от работы в прокуратуре. Он пытался добиться приема у Сталина. Но Сталин, с которым он вместе работал в питерском подполье в 1912—1913 годах, с которым ему приходилось в ту пору спать на одной койке, его не принял.

Сольц все еще не сдавался: он объявил голодовку. Тогда его запрятали в психиатрическую лечебницу. Два дюжих санитара приехали в дом на улице Серафимовича, схватили маленького человека с большой седой головой, связали его и снесли вниз, в карету. Потом его выписали, но он был сломлен. Я видел Сольца незадолго перед его смертью, во время войны. Он непрерывно писал на длинных листах бумаги какие-то бесконечные ряды цифр. Не знаю, что это было. Возможно, он писал старым подпольным шифром нечто важное. Никто не сохранил этих длинных листов с тысячами цифр. Сольц был слишком одинок и слишком болен; кроме того, шла война, жесточайшая война, заставлявшая думать о будущем, а все прошлое с его загадками и трагедиями казалось таким далеким и в общем-то несущественным. Сольц умер за девять дней до конца

войны. Ни одна газета не поместила о нем некролога.

Все это произошло много лет спустя после того, как Сольц и Трифонов познакомились в сибирской ссылке.

В 1933 году Свердловский Истпарт обратился с письмом к А. А. Сольцу с несколькими вопросами о подпольной работе в Тюмени в 1909 году. Сольц написал:

«Какая к тому времени была организация в Тюмени? Отвечаю: я имел в виду, пользуясь довольно свободным режимом в Тюмени, поставить там типографию и обслуживать весь Урал. В самой Тюмени был только завод Машарова. Было небольшое количество соц.-дем., больше меньшевиков, чем большевиков. Был там тогда тов. Новоселов, за последнее время член ЦКК, был и Мишин, сейчас, кажется, пребывающий в меньшевиках. Был там Трифонов Валентин, участник восстания под кличкой «Корк» в Ростове, Мельничанский под кличкой «Максим», пожелавший бежать за границу на том основании, что в России делать нечего в духе Каутского, и задержанный мною, и Стецкий. Была еще группа интеллигентов...»

Квартира Сольца в Тюмени на втором этаже деревянного дома на Большой Разъездной сделалась «штаб-квартирой» тюменской парторганизации. Семьи у А. Сольца не было. Он всегда жил вместе с сестрою, Эсфирью Александровной, членом партии с 1903 года: она прошла с братом многие годы ссылок, была с ним и в Тюмени. Б. Шалаев жил на квартире Сольцев, он вспоминает: «Наше общее хозяйство вела Эсфирь, а мы с Ароном помогали ей и выполняли все черные работы по колке дров, топке печей и т. п. У обоих Сольцев имелся заработок уроками, Арон преподавал даже детям исправника. Вскоре и я имел уроки».

Нелегальная газета «Тюменский рабочий», редактором которой был А. Сольц, стала главной силой организации. Газета выступала с обличениями местных промышленников, например владельца паровой мельницы миллионера Текутьева, призывала к забастовкам, печатала в своей типографии листовки и прокламации, ей принадлежала важная роль в полемике с эсерами по поводу «эксов». В 1908 году, в сентябре, эсеры произвели очередную экспроприацию: ограбление сборщика денег по казенным винным лавкам. Настоящих виновников полиции схватить не удалось, но в ее руки по-

пал рабочий Мартемьянов, член РСДРП. Ему грозила виселица. Защита его затруднялась тем, что он не мог доказать своего алиби: как раз в момент ограбления Мартемьянов разносил прокламации рабочим. Стремясь спасти товарища от казни, газета «Тюменский рабочий» выступила со специальной статьей «Об экспроприациях», написанной Б. Шалаевым, где прямо потребовала от эсеров прекратить отмалчиваться и признать участие в ограблении, чтобы спасти невинного человека. Эсеры возмущались, кричали о предательстве, грозили «перестрелять» всю редколлегию газеты, но в конце концов вынуждены были признать «экс» своим. Правда, это произошло не скоро и неожиданным образом.

Пока шло следствие по делу Мартемьянова, охранка сумела подготовить и при помощи нескольких провокаторов нанести удар по организации: в начале 1909 года провалилась типография, были арестованы А. Сольц, М. Мишин, Б. Шалаев, Мельничанский, Стецкий и Ершов-Максимов. В. Трифонов незадолго до этого провалился в Екатеринбурге и должен был скрыться с уральского горизонта. Он поехал в Ростов, на родину, был схвачен на железной дороге и, в то время как его друзья томились в Тюменской тюрьме, оказался в Ростове. Он просидел там около года, после чего отправился в свою третью ссылку, в Березов.

Но мне хотелось бы продолжить рассказ о Тюмени, ибо тюменские товарищи Трифонова не покидали его долго, некоторые всю жизнь: через восемь лет, в семнадцатом, в Питере судьба свела Трифонова, и Сольца, и Шалаева, и даже Мишина в одном доме, в одной квартире.

Почему провалилась организация в Тюмени в 1909 году? Кто были провокаторы? Довольно точно это выяснилось лишь после 1917 года. Провокация нависала отовсюду, она была в те годы ежедневным бытом и ночным кошмаром всех революционных партий. В 1908 году все газеты мира писали об Азефе. Ссыльные эсеры признавались, что не знают, как оправится их партия от этого удара. «Провокация дотянулась до нас через существовавшие революционные связи между партиями,— пишет в своих воспоминаниях Б. Шалаев,— а также через личные знакомства. Ясно чувствовалось, что в дальнейшем эта опасность еще больше усилится. Сольц ясно понимал и в разговорах со мной

четко формулировал это. Он говорил, что из личного опыта убедился, что наиболее ценные сведения охранка может получить только через провокатора. Откуда же она может знать больше? Поэтому появление провокатора не случайность, а неизбежность. Что же делать? Свернуть работу — значит, погубить все дело. Продолжать? Рано или поздно станешь жертвой провокации. Остается одно: как можно шире развертывать работу, чтобы она «обогнала» провокацию, вовлекая в революцию все большие массы. Жертвы неизбежны, но их можно значительно сократить путем бо́льшего внимания к жизни партийцев. Ведь провокатор рано или поздно выдаст себя своим эгоизмом и отсутствием моральной устойчивости».

Эти четкие умозаключения кажутся сейчас несколько наивными. Да, действительно, провокаторы выдавали себя, но чаще всего это происходило поздно, а не рано. Шесть арестованных — Сольц, Шалаев и их товарищи,— сидевшие в общей камере, целыми днями обсуждали одно: кто провокатор? Для конспирации и для того, чтобы выработалось независимое и беспристрастное мнение, каждый делал выводы самостоятельно, затем все материалы передавались Мишину, тюменскому старожилу, лучше других знавшему не только тюменцев, но и всех приезжих, и тот уже приходил к окончательному заключению. Так было установлено, что провокатор — молодой парень, один из типографских рабочих, Семен Логинов. Вспомнили, как несколько месяцев назад он будто бы по ошибке принес огромный тюк с прокламациями, напечатанными для екатеринбургской организации (в то время екатеринбургская организация была разгромлена, и для того, чтобы создать у полиции впечатление, что она захватила совсем не тех людей, в Тюмени напечатали прокламации под маркой Екатеринбургского комитета), не в условленное место, а на квартиру Сольца. Это было грубейшее нарушение правил конспирации, но Сольц не успел даже как следует отругать Логинова: явилась полиция. Тогда, к счастью, все обошлось благополучно. Пристав был настолько уверен в победе, то есть в том, что обнаружит прокламации в комнате Сольца, что не взял обычного наряда полиции, а явился вдвоем с околоточным надзирателем: тут сыграла роль элементарная жадность, ему не хотелось делиться наградой с большим числом людей. Но именно потому, что полицейских

пришло лишь двое, тюк удалось незаметно, из окна второго этажа — проделал это дворник, умиравший от страха,— выбросить на улицу и скрыть.

Второй раз полиция действовала более проворно. В типографии были захвачены Логинов и Стецкий, причём Логинову «удалось» бежать, и он, в паническом состоянии примчавшись к Сольцу, успел сообщить ему, что типография провалилась. Зачем он это сделал? Возможно, Логинова послала, инспирировав его побег, полиция, с тем чтобы сохранить предателя и одновременно спровоцировать Сольца на ответные действия,— в таком случае, паническое состояние Логинова естественно, он боялся, что будет раскрыт и с ним тут же рассчитаются. Сольц и Шалаев поняли, что бежать практически нельзя, полиция следит за каждым шагом, а кроме того, газета действовала настолько широко, открыто, что бегство редакторов рабочие могли расценить как трусость и измену. Они остались в городе. Через несколько дней их взяли. Но суду еще требовалось доказать, что рукописи, захваченные в типографии (Стецкий бросил их в печку, пытаясь сжечь, но не успел), действительно принадлежат им. После 1917 года в архивах охранки обнаружился документ, подтвердивший догадку насчет Логинова: его расписка в получении мзды от полиции в сумме двадцати пяти рублей.

На том же этаже тюрьмы, где сидели шестеро, в камере смертников томился рабочий Петр Мартемьянов: тот, кого обвинили в ограблении артельщика и приговорили к виселице. Приговор был послан в Петербург на утверждение. Сольц дважды, сидя в камере, подавал прокурору заявление о том, что Мартемьянов не мог совершить ограбление, так как именно в это время он по его, Сольца, заданию был занят разноской прокламаций. Прокурор считал, что заявления ложны и представляют лишь попытку спасти товарища от петли. Мартемьянов ждал казни. У дверей его камеры день и ночь стоял военный караул. Один из солдат этого караула оказался своим человеком, революционно настроенным — из Тобольского полка, и он помог Сольцу и остальным наладить связь с волей. Судьба Мартемьянова разрешилась неожиданно.

В Тюмени ждали суда, а В. Трифонов снова шел знакомой этапной дорогой из Тюмени в Тобольск. Оттуда предстоял ему длинный путь по Оби в городишко

среди лесов и тундры, уже двести лет известный как место ссылки,— Березов. Из Тобольска пароходом больше тысячи верст на север.

Когда вели через Тобольск, отец издали видел знакомый Тобольский каторжный централ: высоко на крутом берегу Иртыша над лугами и лесом серой плотной стеной темнели «пáли», бревенчатый частокол, за «палями», невидимая, стояла еще одна каменная стена, и где-то там, внутри, среди каменных коридоров — брат. За три с лишним года Валентин побывал в двух ссылках, бежал, работал в Екатеринбурге и Тюмени, жил в Ростове, сидел в тюрьме в Саратове, сейчас шел в свою третью ссылку, из которой опять убежит, а брат все годы неотлучно — там, в кандалах.

Каторга — это не ссылка.

И младший, с тоской подумав о брате,— сам этапник, под конвоем стражи,— почувствовал себя почти вольным человеком.

Весь быт каторжных централов — Тобольского, Орловского, Александровского, Нерчинска и Горного Зерентуя — был устроен так, чтобы отбить у человека желание жить. До 1907 года тобольская каторга, как и прочие российские каторжные тюрьмы, находилась в руках «иванов» — главарей уголовников. После разгрома революции пятого года в тюрьмы хлынули тысячи политических, социал-демократов, эсеров, анархистов, максималистов, солдат и матросов, участвовавших в вооруженных восстаниях. Между «иванами» и «политиками» сразу возникла вражда, ибо политические не захотели подчиняться произволу «иванов», а те не желали терять своего главенства в каторжном мире. Началась битва, жестокая, с ночной поножовщиной, со многими жертвами с обеих сторон, хорошо описанная писателями-каторжанами.

Большевики из рабочих, солдаты и матросы, спаянные дисциплиной, латышские «лесные братья» со здоровенными кулаками оказались победителями. В Тобольском централе весною 1907 года четырнадцать грузин, мстя за своего товарища, убитого по наущенью «иванов»,— он возражал на кухне против того, чтобы «иваны» забирали лучшие куски,— напали внезапно на уголовников и зарезали вожаков. Несколько грузин погибло, бой был неравный, но царству «иванов» пришел конец. Один из мемуаристов тобольской каторги Гитер-Гранатштейн рассказывает о «голом бунте», который

произошел в 1907 году,— пятьсот человек сняли с себя всю одежду, остались нагими, протестуя против бесчеловечного обращения и истязаний администрации.

В том же году был затеян побег. Много дней рыли подкоп. Через товарищей на воле раздобыли штатскую одежду, паспорта, деньги, несколько револьверов, приготовили квартиру на время пребывания в Тобольске — все это организовывал А. А. Сольц, находившийся в то время в городе. Выдал предатель, началась расправа. Начальник централа Богоявленский, злобный старый тюремщик, бросил зачинщиков в карцер, к нескольким применил розги.

Розги политическим — это было не просто наказание, страшное болью и нередко смертельным исходом, это была провокация, после которой следовали бунты и самоубийства. Тридцать лет назад Вера Засулич стреляла в Трепова за то, что тот посмел наказать розгами землевольца Боголюбова; двадцать лет назад на Каре разыгралась трагедия из-за применения розог к Надежде Сигиде — в знак протеста покончило с собой несколько политических каторжан. Вспыхнул бунт и в Тобольском централе. Возглавил бунт Дмитрий Тохчогло, большевик, недавний киевский студент, получивший каторгу взамен смертной казни за перестрелку с полицией и ранение пристава. (Впоследствии, в Александровском централе, Тохчогло станет близким товарищем Е. Трифонова.) Сохранились прощальные письма к родным, написанные накануне бунта.

Вот письмо Ивана Семенова в Тверскую губернию, на почтовую станцию Микулино-Городище, деревня Бетлево, Ульяне Корниловой: «Дорогая мама! Шлю тебе сердечный привет с пожеланием всего хорошего. Дорогая мама, может быть, когда ты получишь это письмо, меня не будет в живых. Я не буду тебе описывать подробно, почему это так, напишу вкратце. Троим из наших товарищей дали розги. Мы не можем оставить этот позор без внимания, а поэтому решили смыть этот позор своей кровью. Завтра мы поднимаем бунт, и, наверно, нас переколют штыками. Другого выхода у нас нет, как только умереть. Дорогая мама, прошу тебя, не плачь обо мне и не упрекай меня за то, что я причинил тебе много горя. Иначе я поступить не мог. Не буду описывать, почему не мог, так как ты этого не поймешь. Итак, прости, прощай! Целую тебя без счета раз! Твой любящий Иван».

На другой день бунтари стали «ломать тюрьму», кричать, буйствовать, а когда в камеру ворвались солдаты, заключенные вступили с ними в борьбу. Многие были тяжело побиты и ранены прикладами и штыками, один человек убит: Иван Семенов.

Почти в этот же день начальник централа Богоявленский получил письмо с местным штемпелем: «Нами получены сведения из Тобольской каторжной тюрьмы № 1, что Вы бесчеловечно обращаетесь с нашими товарищами политическими и уголовными заключенными, за что и объявляем Вам смертный приговор, который не замедлим исполнить. Инкогнито».

Через десять дней Богоявленский был убит на улице выстрелом из револьвера. Стрелявший скрылся. Полиция схватила по подозрению некоего Рогожина, местного ссыльного, но убедительных доказательств вины Рогожина не было, и на суде он был оправдан.

В каторжную тюрьму пришел новый хозяин, Могилев. Он прославился как знаменитый молчальник. Заключенных он не замечал, проходил мимо, как глухой, не отвечал на их просьбы, мольбы, оскорбления, проклятья. Он истязал молча. Обычным наказанием стало 30 суток карцера и сотня розог. Могилев ввел новшества: холодные и горячие карцеры. Температура охлаждалась или нагревалась до сорока градусов, горячие карцеры практиковались перед поркой, чтобы разгорячить кровь.

Заключенные протестовали как могли, отказывались принимать пищу, выходить на прогулку, девять человек пытались покончить с собой. С детства запомнился мне рассказ Евгения Андреевича — не знаю, относится ли он к периоду Могилева или к периоду более позднего инквизитора, небезызвестного Дубяго,— о том, как голодали камерой уже неделю, все были без сил, экономили каждое движение, чтобы продлить борьбу. Начальство не шло на уступки. Один из заключенных не выдержал, говорит: «Товарищи, я больше не могу терпеть. Чтобы не сдаться и не подвести вас, разрешите мне покончить с собой». И вот, лежа на нарах, обессиленные, долго обсуждали вопрос: имеет ли он моральное право уйти от борьбы? Согласились, разрешили.

Русская каторга после пятого года — это история отчаяннейшей войны заключенных «политиков» за свое человеческое достоинство. Сражения этой войны развертывались иногда на таких незначительных плац-

дармах, из-за таких ничтожных поводов, которые сейчас покажутся пустяками. Но из-за них люди шли на смерть, убивали тюремщиков, убивали себя. Каторжане непрерывно против чего-то протестовали: против того, что начальство обращалось к ним на ты, против требования тюремщиков приветствовать их словами «Здравия желаю» и снимать шапки (некоторые в лютый мороз нарочно выходили на прогулку без шапок, за что получали карцер), против телесных наказаний, против насильственной стрижки волос, протестовали против «подаванцев», то есть подававших прошения с просьбой о помиловании и снижении сроков, и против тех, кто надеялся на царскую милость по случаю трехсотлетия Романовых.

Иногда война немного утихала, начальство где-то сдавалось, в чем-то уступало, и воцарялся смрадный, тягучий мир, но ненадолго. Каторга не могла стать миром по той причине, что она придумана была для убивания духа, а дух — сопротивлялся. И рано или поздно затишье взрывалось кроваво, страшно.

Е. Трифонов писал на каторге в Тобольске стихи. Потом писал и в Александровском централе, куда его перевели в 1913 году. Тоненькая книжка этих стихов «Буйный хмель» — необычный и, может быть, единственный в своем роде образец каторжной поэзии — вышла сразу после революции. Вот стихотворение «Утром».

Звонок подымет нас в ноябрьской мутной рани,
И свет чадящих ламп сметет обрывки грез,
И окрик бешеный, и град площадной брани...
Пора вставать.— Эй, подымайся, пес!

Встаем. Свернем постель и бродим как в тумане.
Цвель по стенам, как пятна ржавых слез.
Потеки мыльные от мерзостной лохани,
За окнами — безлюдье, сумрак и мороз.

Потом в ряды построит нас свисток,
Молитву проревем нестройно, диким хором.
Стоим и хмуро ждем. Вот загремят запором,
И, грузен, туп и зол, вплывет тюремный бог.
И начинаем день, день скуки и мечтаний,
Жуя ломоть сырой и кислой дряни.

В других стихах он рисует картины тяжелого труда каторжной артели, возвращения домой с работы, ночной маеты. («Полночный час, полночный час! Спит дух,

злой дух, что *днем* зовется...»), он проклинает палачей, мечтает о расплате с ними, вспоминает прошлое («Все изломы жизни, горькие ошибки, весь короткий, буйный, бесшабашный путь — ни минуты ясной, ни одной улыбки, ничего, чем мог бы юность помянуть»), иногда ему кажется, что жизнь навсегда искалечена, кончена, сил нет — а лет ему было тогда всего двадцать семь,— но иногда: «Унынью черному еще я знаю меру! Еще хранит душа моя всю страсть мою, и ненависть, и веру. Нет, вам не сразу сдамся я!»

Он радуется таежной весне, письму с воли, друзьям, которые все вынесли и дожили до свободы.

Вот они уходят:

Вы, упрямцы, умевшие все снести без мольбы
и проклятий,
Обнажавшие молча на плахе клейменые плечи,—
Вы уйдете отсюда, как гонцы и предтечи
Все отвергнувшей и на все покусившейся братьи.

Вы уйдете отсюда и покинете банду беспутную,
Этот мир беспокойного и упрямого люда,
Мрак, и слякоть, и скуку, и глушь беспробудную,
Все покинете вы и уйдете отсюда...

Матросы и солдаты восьмой камеры решили покончить с Могилевым. Они знали, что идут на смерть. Уговорились вызвать Могилева по какому-то поводу в камеру, напасть на сопровождающих его надзирателей, и во время схватки один из солдат, человек очень сильный, должен был просто задушить Могилева. Но и этот план рухнул — всех выдал перетрусивший уголовник.

8 января 1909 года в камеру пришел старший надзиратель Григорьев, известный своей волчьей ненавистью к каторжанам,— он любил говорить: «Я пил и буду пить кровь из заключенных» — и потребовал выдать зачинщиков. Ему ответили ругательствами. Григорьев выхватил шашку и отрубил голову тому, кто стоял ближе. Тогда каторжанин Филиппов, бывший артиллерист, вырвал у Григорьева шашку и отсек голову ему. Надзиратели бросились на заключенных, началась сеча, в которой безоружные каторжане были, конечно, перебиты.

Два месяца зверствовал Могилев; тринадцать человек было повешено, многие замучены порками и карцерами. Восьмую камеру Могилев порол каждый день, давал всем подряд по 150 розог и после каждой десятки розог велел сыпать на рану соль.

В марте 1909 года молчальник Могилев, уже прославившийся по всей Сибири, был убит на улице эсером, бывшим балтийским матросом Н. Д. Шишмаревым.

Новый начальник централа заявил: «Я знаю, что меня тоже могут убить, но режим будет тот же».

Так жила тобольская каторга и вместе с нею один из сотен ее обитателей — Евгений Трифонов, отбывавший срок под именем Валентина.

У окна в простенке — темный лик иконы,
В мутном полумраке прячутся углы.
Чей-то бред невнятный, чей-то скрежет, стоны,
Да порой о нары звякнут кандалы.

Медлит ночь в безмолвье, тягостно и жутко,
Зорко тьма глухая стены стережет.
Слух мой ловит что-то напряженно-чутко.
В сердце скука злая, душная растет.

Бьется мысль бессильно, как в тенетах птица.
Липкая тревога ум обволокла.
Память воскрешает забытые лица,
Канувшие в вечность давние дела...

Загасил я гордость — и молчу бесстрастно.
И мирюсь постыдно, холодно терплю.
Только ненавидеть я умею страстно
И упрямо, жадно и напрасно
Эту жизнь бесплодную люблю.

Эсер Шишмарев, казнивший на улице Тобольска Могилева, сделал между тем важное признание: ограбление артельщика в Тюмени было произведено им. Ему нужны были средства для того, чтобы подготовить убийство Могилева.

Петр Мартемьянов был освобожден из Тюменской тюрьмы, военный караул с его камеры снят, а Сольц и его товарищи потеряли надежную связь с волей. Вообще солдаты Тобольского полка в революционных событиях тех лет сыграли заметную роль: они отказались стрелять в заключенных во время бунта в Тобольском централе, они наладили связь тюменских узников с волей, и они же, по-видимому, облегчили судьбу Шалаева и Сольца.

В конце 1909 года состоялся суд: Сольца и Шалаева оправдали за недостатком улик. Подлинные рукописи обоих — те самые, что не успел сжечь Стецкий,— являвшиеся главной опорой обвинения, таинственным образом исчезли из дела. Размышляя в течение почти полувека над загадкой исчезновения рукописей, Б. Ша-

лаев пришел к выводу, что их выкрали писаря по просьбе тобольских солдат. Дело в том, что солдаты Тобольского полка не только сочувствовали революционерам, но и имели повод их отблагодарить: при помощи партии был устроен побег одного солдата, которому грозила каторга, и организовал этот побег Шалаев. Тогда солдаты сказали ему на всякий случай, что у них в тюменском суде есть «свои люди». Четверо остальных обвиняемых — Мишин, Стецкий, Мельничанский и Ершов-Максимов — были сосланы на поселение в Восточную Сибирь.

Мельничанский вскоре бежал в Америку, был секретарем профсоюза металлистов в Бруклине, а в 1917 году вернулся в Питер и жил одно время в той же квартире на 16-й линии, в которой жили Шалаев, Сольц и Трифонов. Джон Рид в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир» упоминает Мельничанского как комиссара Военно-революционного комитета в Москве. После революции Г. Н. Мельничанский был на крупной профсоюзной работе.

Когда, бежав тою же осенью 1909 года из березовской ссылки, В. Трифонов снова попал в Тюмень, почти никого из старых товарищей там уже не было: одни высланы на восток, Шалаев сразу после суда отправился в Нижний Тагил и потом к отцу, в лесничество, а Сольц уехал в Туринск. Через год эти двое встретятся совершенно случайно на Невском, в Питере: Шалаев будет уже студентом Технологического института, а Сольц корректором одного частного книгоиздательства. В руке у Сольца портфель, там корректура последнего романа Сологуба. Но это — для заработка. Истинным делом Сольца в то время будет его нелегальная работа как члена Питерского комитета...

Итак, Трифонов приехал в город, опустошенный провокаторами. Он действовал осторожно — знал о недавнем печальном опыте Ганьки Мясникова[1], который, бежав из Иркутской губернии, по дороге решил заехать в Тюмень. Шпики увязались за ним. Он обошел нескольких товарищей, никого не заставая дома: всех в тот же вечер арестовали, так же как самого Ганьку. В тюрьме Мясникова свои же избили до полусмерти, и за дело.

---

[1] Гаврила Мясников — один из мотовилихинских рабочих, впоследствии один из лидеров рабочей оппозиции. В 1922 году исключен из партии за антипартийную деятельность.

В квартире на Большой Разъездной жила одна Эсфирь Сольц. Она рассказала отцу о положении дел в Тюмени и, наверное, посоветовала уехать. Город сквозил, как осенняя роща. Отец не уехал. Был недолгое время секретарем тюменской организации и, по свидетельству ротмистра Полякова, даже «значился кандидатом в члены комитета». В декабре 1909 года, ночью, его схватили. Кара на этот раз была суровая: «За принадлежность к революционной организации и участие в группе, образованной с целью совершения грабежей и разбоев, выслать под гласный надзор полиции в Туруханский край на 3 года».

Поехал В. Трифонов в свою четвертую ссылку, вернее не поехал, а пошел: этапом до Красноярска и оттуда тоже этапом на север. Было это весной 1910 года. По одному делу шли в этапе четверо: Пахомов, Дороган, Трифонов и Борисов, тот самый, что стал провокатором. Но тогда об этом еще никто не догадывался, даже сам Борисов. Завербовали его в 1914 году, когда он вернулся из Туруханки. Шли и знали — оттуда не убежишь. Кто и бегал из Туруханки, то большей частью гибли, не добирались до жизни.

В глухих чащах по берегам Енисея, других рек и речушек разбросаны таежные хутора, «станки», один от одного на неделю, а то и на три недели пути, и в них поодиночке, парами, тройками раскиданы поселенцы. Кругом на сотни верст — тайга без края, болота, зверье, смерть. Куда бежать? В 1907 году побежали на север, группой, убивали по дороге стражников, меняли лошадей, взяли Туруханск с ходу, открыли тюрьму, сожгли бумаги и, спасаясь от войск, выступивших из Красноярска, перли отчаянно все дальше и дальше на север, сквозь морозы ниже сорока, непроницаемый белый туман, через могилы, снега, мимо Дудинки к Ледовитому океану — куда? Главарь был Дронов. Идея, взлелеянная безумнейшим таежным одиночеством: объявить Туруханскую республику, перекинуться в Америку. Всех переловили, перестреляли казаки.

Два с лишним года прошло с тех пор. Власти завинтили запоры, ужесточили режим, с крестьян брали подписку, что те обязуются ловить беглых. За поимку три рубля. Дешевле, чем белку убить, но, однако, деньги.

В Туруханский край ссылали самых неукротимых, кого хотели обезвредить надолго. Был тут Свердлов, был один из вождей закавказских большевиков Сурен Спандарян, был замечательный Иосиф Дубровинский по кличке Инок, близкий соратник Ленина, побывали тут Сталин, Я. Шумяцкий. Ссыльные получали пособие 15 рублей в месяц, деньги небольшие, прожить на них было трудно, а «лишенные прав» и того не имели. Находили кое-какой приработок, жили охотой, рыбой. Выдержать Туруханку с ее ледяным климатом, пургами, непрерывной топкой печей, сырым и коротким летом, мошкарой, с ее белыми, изнуряющими душу ночами, с ее ощущением таежной пустыни и трагической отдаленности от всего остального мира могли люди физически очень крепкие. Спандарян заболел чахоткой и умер. Дубровинский погиб весной 1913 года, и до сих пор неясно, утонул он или покончил с собой. Отец знал Дубровинского, они жили рядом. Отец был первым, кто сообщил в Москву близким об обстоятельствах смерти Дубровинского: «Анна Адольфовна! Могу сообщить очень немного подробностей о смерти Иосифа Федоровича. В ночь на 20 мая — в Туруханском крае ночи в это время не бывает — Иосиф Федорович сел в лодку и выехал на реку; была волна. Иосиф Федорович с лодкой не справился, и ее перевернуло; пока с берега, заметив несчастье, выехали, Иосиф Федорович скрылся под водой; река в этом месте имеет 5 верст ширины, о поисках нечего было и думать; только 27 июня нашли тело Иосифа Федоровича. Вот и все известные мне подробности... Евгений Трифонов» (отец все еще носил имя брата). Самоубийства в Туруханке были довольно часты. Об этом пишет в своих воспоминаниях «Туруханка», вышедших в 1925 году, Я. Шумяцкий. Люди уставали ждать, надеяться.

Эпидемия самоубийств в те годы, с десятого по тринадцатый, прокатилась по многим каторжным тюрьмам и ссылкам. Время было глухим и не оставляло надежд. Чего было ждать от замордованного каторжанина в каком-нибудь Горном Зерентуе, когда в Париже уходят из жизни Лафарг и Лаура Маркс? Но если бы те, дошедшие до последней грани, могли знать, что надо выдержать год или два и начнется мировая бойня, а там, из этой бойни...

Несколько лет назад я получил письмо из Уфы от Р. Г. Захаровой. Фамилия ничего не говорила. Прочи-

тав, понял: писала вдова политического ссыльного Филиппа Захарова, который был товарищем отца по туруханской ссылке. Потом Р. Г. Захарова приехала в Москву, показала свои воспоминания о муже (он погиб в 1937 году), и там было кое-что о Туруханке, о Дубровинском и об отце. Захаров был близок с Дубровинским, жил с ним в одном доме, даже в одной комнате. В этом же станке Байшинском жил некоторое время В. Трифонов.

Вот то немногое, что я нашел в воспоминаниях Р. Г. Захаровой об отце:

«О лишениях, которые испытывал Филипп в Туруханке, он не распространялся. Это была общая участь всех ссыльных, особенно тех, кто не получал материальной поддержки. Заработать там было невозможно. Попробовал он побыть на метеостанции за Полярным кругом, совсем один, но не выдержал одиночества в полярную зиму и вернулся в деревню.

Кроме названных уже мною лиц (Захарова упоминает Дубровинского, Свердлова, Сталина, Л. Р. Менжинскую.— *Ю. Т.*), рассказывал Филипп и о других ссыльных. Но мне запомнился лишь Трифонов Валентин Андреевич. Быть может, потому, что с ним мне пришлось встречаться впоследствии в Москве, о чем речь будет дальше. Говорил он о нем с большим теплом, хотя и характеризовал его как человека сурового, малоразговорчивого, очень волевого. Уважение друг к другу было взаимным, в чем я имела возможность убедиться.

Помнится рассказ о курьезном ответе Трифонова туруханскому начальству. Вместе с Филиппом он совершил незаконное действие — съездил без разрешения в соседнюю деревню к товарищам. На обращенный к Трифонову вопрос, почему он совершил самовольную отлучку, он серьезно и мрачно ответил: «Потому что у меня были новые сапоги». Ответ так ошеломил начальство, что больше не стали задавать вопросов и наложили какое-то небольшое взыскание».

Вот что, просеиваясь через годы, остается в памяти человеческой: анекдот.

Филипп Захаров мог бы, наверное, вспомнить больше, но его нет. Нет никого. Остались воспоминания о воспоминаниях. А отец пробыл там три года, и взрослел, и однажды едва до смерти не замерз, и набирался ума, и охотился на медведя, и читал, и думал, и надеял-

ся, и готовился к жизни. Отец, так же как Евгений, оставшись сиротой, учился недолго — лишь в приходской школе. Он окончил, кажется, четыре класса, а Евгений — два. В графе «Образование» оба писали: «низшее». По-настоящему они учились чему-то в тюрьмах и ссылках, особенно в таких, откуда нельзя было удрать. И, однако, несмотря на «тюремное» образование, Евгений стал талантливым литератором, а отец глубоко знал экономику, историю, марксизм, военное дело.

Тут главное, что помогало, что двигало,— люди, случайно встретившиеся на путях и перепутьях. Но случайно ли? Такие люди, как Сольц, как Дубровинский, и должны были оказаться на этих путях: они выбирали их сами. Дубровинский хорошо знал Ленина, жил в Париже, в Лондоне, был отличным математиком, философом, переводил статьи по экономике с английского языка, который он выучил в Туруханке (Сольц выучил английский в крепости). Ссыльные в Туруханке получали почти все газеты и журналы, хотя средств на выписку ни у кого, конечно, не было. Делалось так: писали коллективное письмо в редакцию, а оттуда бесплатно высылали издания. Даже суворинское «Новое время» не отказывало.

После гибели Дубровинского осталась его довольно большая библиотека. Ссыльные решили в память о нем сделать библиотеку общей, передвижной. В связи с этой библиотекой Захарова рассказывает такой эпизод.

«По неписаному закону принято было, что каждый вновь прибывший в ссылку товарищ делал сообщение о положении дел в России. От кого же было ждать более интересного, глубокого освещения всего происходящего в далекой, так давно оставленной России, как не от члена большевистского ЦК? Группа ссыльных, среди которых были Я. М. Свердлов и Филипп, работала в это время в селе Монастырском на постройке. Возводили дом, который, как они знали, должен был служить тюрьмой. К слову сказать, долго решали, имеют ли моральное право ссыльные работать на такой постройке, но решили, предотвратить использование любого дома под тюрьму они все равно не в силах, а заработать больше было негде, вот и стали строить.

Туда как раз и должен был прибыть Сталин. Дубровинского уже не было в живых.

Филипп, не склонный по натуре создавать себе кумиров, да к тому же слышавший от Дубровинского бес-

пристрастную оценку всех видных тогдашних деятелей революции, без особого восторга ждал приезда Сталина, в противоположность Свердлову, который старался сделать все возможное в тех условиях, чтобы поторжественней встретить Сталина. Приготовили для него отдельную комнату, из весьма скудных средств припасли кое-какую снедь. Прибыл!.. Пришел в приготовленную для него комнату и... больше из нее не показывался! Доклада о положении в России он так и не сделал. Свердлов был очень смущен.

Сталина отправили в назначенную ему деревню Курейку, а вскоре стало известно, что... у него все книги Дубровинского... Горячий Филипп поехал объясняться. Сталин принял его так, как примерно царский генерал мог бы принять рядового солдата, осмелившегося предстать перед ним с какими-то требованиями. Возмущенный Филипп (возмущались все!) на всю жизнь сохранил осадок от этого разговора».

Для бедного Филиппа Захарова хуже было то, что и Сталин, наверное, сохранил осадок от этого разговора.

В марте 1913 года срок ссылки Трифонова кончился, но он на несколько недель задержался в Туруханке: не на что было выехать.

Через восемь лет — уже отгремела революция, прошла гражданская — Филипп Захаров появился в Москве, и Трифонов устроил его плановиком в Нефтесиндикат, который тогда возглавлял. Но жизнь Захарова сложилась несчастливо: после ссылки он отошел от партии, а после революции не решился вернуться, чтобы не сочли, что хочет примазаться к победителям. Так было не с ним одним. Нечто похожее произошло с Шалаевым. В 1922 году по чьему-то наговору Захаров был арестован и сослан. Отец знал его как честного человека, он хлопотал за него, написал заявление в ГПУ, старался, чем мог, облегчить его участь. И чем-то, кажется, облегчил. Но ненадолго. В воспоминаниях Захаровой все это описано подробно, ибо эпопея с Филиппом Захаровым тянулась долго, вплоть до тридцать седьмого года, когда поставили точку.

Одной из явочных партийных квартир в Петербурге была квартира 21 дома 35 по 16-й линии Васильевского острова. Это шестиэтажный дом скучной поздней постройки. Он стоит и сейчас. Вокруг него по-прежнему

теснятся низенькие, невыразительные домишки, а он выглядит солидно и буржуазно. Мама говорила, что в детстве гордилась этим домом, особенно — парадным, где имелись какие-то необыкновенные выпуклые стекла темно-зеленого цвета. Прошлой осенью я был в Ленинграде, посмотрел на дом — я-то видел его впервые, — но выпуклых стекол не обнаружил. Все-таки они не выдержали такого количества событий: революции, гражданской войны, блокады. Квартира номер 21 находится там же, на шестом этаже.

Полвека назад хозяйкой квартиры была Татьяна Александровна Словатинская, член партии с 1905 года, моя бабушка со стороны матери. Она работала корректором в книгоиздательстве «Просвещение». Когда-то она училась музыке в Вильно (вместе с Эсфирью Сольц), семнадцатилетней девушкой приехала в Петербург, поступила в консерваторию, жила, как жили курсистки, уроками, к шести утра летела на бесплатные лекции профессора Лесгафта, а вечером на галерку слушать Шаляпина, но через два года консерваторию бросила: другая музыка оказалась сильней. К подпольной работе привлек А. А. Сольц. Было это в 1898 году, когда бабушке было девятнадцать лет. Очень скоро, с 1900 года, Е. Д. Стасова приучила ее к «технике» конспиративной работы, жизнь ее определилась: она стала профессиональной революционеркой. В своих воспоминаниях, оставшихся в рукописи, Т. А. Словатинская писала: «Мне приходилось быть связистом, организовывать партийные собрания, передавать нелегальную литературу, печатать и распространять листовки, снабжать материалами подпольные типографии — все это, конечно, «техническая работа», но в условиях царского режима это была и очень ответственная работа, потому что от четкости ее выполнения зависела свобода, а иногда и жизнь многих наших товарищей».

В Ревеле в 1903 году Т. А. Словатинская познакомилась с М. И. Калининым, который работал тогда на заводе Вольта, а через три года на явочную квартиру Т. А. Словатинской в Петербурге (тогда еще на Забалканском проспекте, в доме 40) приехала молодая эстонская девушка Катя Лоорберг, участница забастовки на Балтийской мануфактуре; она скрывалась от полиции, ей достали билет на пароход и дали «явку» в Питер, на Забалканский. С этой девушкой у Словатинской сохранилась дружба на всю жизнь. В квартире на Забал-

канском Катя Лоорберг познакомилась с М. И. Калининым и стала вскоре его женой, Екатериной Ивановной Калининой. В начале 1906 года на этой же квартире на Забалканском проспекте происходило важное партийное собрание, на котором присутствовал Ленин.

Из воспоминаний Т. А. Словатинской:

«Мою квартиру выбрали потому, что она была очень удобна в конспиративном отношении. Она находилась на 4-м этаже, на 5-м была лечебница, а на 3-м зубной врач. К врачу и в лечебницу всегда ходило много народа, и поэтому приходившие товарищи не вызывали подозрений. Они расспрашивали у швейцара о лечебнице, а шли ко мне.

Должно было собраться человек пятнадцать, в том числе Е. Д. Стасова. Секретарь собрания тов. Эссен (партийная кличка «Зверь») сказала мне, что сейчас придет Ленин, он точен всегда. И действительно, точно в условленный срок, когда я побежала открыть, я увидела Ленина. Владимир Ильич прошел с черного хода, через большой двор, проследил, не идет ли кто за ним, а когда поздоровался, первыми его словами были: «За мной никого нет, чисто!» Этими короткими словами он показал свою дисциплинированность опытного подпольщика: важно было не притащить за собой «хвост», шпика. Ведь тогда, после кратковременных «свобод» девятьсот пятого года, многие товарищи стали нарушать правила конспирации.

На собрании обсуждался вопрос о предстоящих выборах в первую Государственную думу. Ленин говорил, что революция не кончилась, и разоблачал вредность конституционных иллюзий, говорил, что Дума — это подделка и полицейский обман.

К сожалению, мне, как хозяйке, надо было все время следить за домом и быть начеку, так что в тот раз как следует послушать Владимира Ильича не удалось».

Много раз и позже встречались Т. А. Словатинская с Лениным: в 1907 году в Куоккале, после революции в Таврическом дворце, в Смольном и потом в Москве, когда работала дежурным секретарем в Бюро секретариата ЦК.

В десятом или, может быть, в одиннадцатом году Т. А. Словатинская поселилась с сыном Павлом и дочерью Женей, моей будущей матерью, на Васильевском острове, на 16-й линии. Квартира была большая и так же, как прежняя, на Забалканском, стала явочной. В од-

ной из комнат жил А. А. Сольц, приехавший после тюменской ссылки, потом по рекомендации Сольца переехал туда же Б. Е. Шалаев с женой. Шалаев учился в Технологическом институте. Несколько дней на этой квартире прожил Сталин. Его тоже привел Сольц.

Т. А. Словатинская вспоминает:

«В 1912 году, бежав из ссылки, И. В. Сталин приехал в Петербург. В это время у меня на квартире жил А. А. Сольц, или, как считал старший дворник, господин Кац. Он «снимал» маленькую комнату за кухней, предназначенную для прислуги. Однажды он сказал, что приведет товарища кавказца, с которым хочет меня познакомить. И тут выяснилось, что этот кавказец с партийной кличкой «Василий» уже несколько дней живет у Арона, не выходя из комнаты. Уж не знаю, как они там помещались вдвоем на узкой железной кровати. Видно, все те же неписаные законы конспирации не позволяли им даже мне открыться в первые несколько дней. В самом деле: квартира явочная, хозяйка живет по чужому паспорту, жилец тоже по чужому, а гость к нему приезжает — беглый ссыльный. При таких данных можно было опасаться каждого случайного взгляда: кухарки, других жильцов, детей, не говоря уже о дворниках.

Так я познакомилась со Сталиным. Он показался мне сперва слишком серьезным, замкнутым и стеснительным. Казалось, больше всего он боится чем-то затруднить и стеснить кого-то. С трудом я настояла, чтоб он спал в большей комнате и с бóльшими удобствами. Уходя на работу, я каждый раз просила его обедать с детьми, оставляла соответствующие указания работнице. Но он запирался на целый день в комнате Арона, питался пивом и хлебом и много писал. В то время И. В. руководил кампанией по выборам в Думу.

Примерно с неделю он жил с нами. Я, как связист ПК, выполняла и его поручения, главным образом по связи с людьми, передаче каких-либо партийных документов. Один раз по заданию ЦК у меня на квартире было проведено собрание представителей районов. Собрались товарищи с Выборгской стороны — двое, из-за Невской заставы, с Путиловского завода и др. Сталин вел собрание и предложил мне секретарствовать. На повестке дня того совещания был вопрос о подготовке к выборам в Госуд. думу. Разбирали кандидатуры. Выдвинули тт. Бадаева и Н. Д. Соколова.

Помню, как мы втроем, Василий, Арон и я, ездили на студенческий вечер. В тот период мы часто с каким-либо студенческим землячеством устраивали вечера-концерты, якобы с благотворительной целью, а на деле чтоб собрать деньги для партии. На вечерах удобно было устраивать встречи с нужными товарищами и, если позволяла обстановка, обмениваться двумя-тремя словами, не прибегая к явочным квартирам.

В тот вечер все у нас обошлось благополучно, а вот позднее и Арон, и Сталин были арестованы. Сталина арестовали весной 1913 года на благотворительном вечере в Калашниковской бирже. Помню всю историю, как сейчас.

Сталин сидел за столиком в одной из комнат и беседовал с депутатом Малиновским, когда заметил, что за ним следят. Он вышел на минутку в артистическую комнату и попросил кого-то из товарищей вызвать меня из буфета. (Я дежурила там, так как сбор с буфета тоже шел в нашу кассу.) Мы разговаривали всего несколько минут. И. В. успел сказать мне, что появилась полиция, уйти невозможно, очевидно, он будет арестован. Он попросил меня сообщить в ПК, что перед концертом он был у Малиновского и думает теперь, что оттуда и следили.

Действительно, как только он вернулся на свое место, к столику подошли двое в штатском и попросили его выйти. Сделали они это тихо и деликатно. Публика не обратила внимания, вечер продолжался. О том, что Малиновский провокатор, никто еще не знал, однако этот случай показался подозрительным. (После революции Малиновского расстреляли по приговору партийного суда.) Впоследствии И. В. рассказывал, что когда в день ареста он зашел по делу к Малиновскому домой, тот очень настойчиво звал его с собой на концерт. И. В. совсем не хотел идти, отговаривался тем, что у него нет настроения и вообще он совсем неподходяще одет, но Малиновский пристал, даже нацепил какой-то свой галстук. Сталина выслали в Курейку. По поручению ЦК я раза два отправляла ему посылки: какую-то, помню, тельняшку, какие-то 50 рублей дал мне Н. Н. Крестинский».

Я перечитываю эти строки со смешанным чувством. Т. А. Словатинская писала воспоминания незадолго до смерти, в 1957 году. О Сталине уже было много сказано на XX съезде. И Словатинская могла беспрепят-

ственно окинуть взором всю свою жизнь и жизнь своей семьи, разрушенной Сталиным: зять ее погиб, сын Павел был сослан, восемь лет отбыла в ссылке и дочь — та девочка Женя, которая когда-то встречала Арона и Василия в квартире на 16-й линии. Но и отзвука всей этой боли нельзя найти в воспоминаниях Т. А. Словатинской. Что ж это: непонимание истории, слепая вера или полувековая привычка к конспирации, заставлявшая конспирировать самую страшную боль? Это загадка, которая стоит многих загадок. Когда-нибудь ей найдут решение и все, вероятно, окажется очень просто. Когда-нибудь! Но что делать сейчас? Я долго колебался: помещать или нет воспоминания бабушки о Сталине в «Отблеск костра». Они могут показаться некстати. Но, поразмыслив, решил, что поместить надо, потому что основная идея — написать правду, какой бы жестокой и странной она ни была. А правда ведь пригодится — когда-нибудь...

В начале 1914 года В. Трифонов приехал в Петербург. В своей автобиографии — два пожелтевших листка сохранились в его архиве — он пишет об этом времени кратко: «После ссылки приехал в Питер. Поддерживал связь с организацией через тт. Молотова, Калинина, Залуцкого и других. В конце 1916 года с Егором Пылаевым организовывал типографию Питерского комитета партии». Отец пришел на явочную квартиру, где жили его товарищи по Тюмени Сольц и Шалаев, где его знали по письмам. («Познакомился тут с замечательными ребятами: казаки, братья Трифоновы»,— писал Сольц Словатинской из Тюмени. С Евгением он познакомился заочно, по письмам.) Вскоре поселился в этой же квартире и прожил там до дней революции. В четырнадцатом году Сольца там уже не было: в начале года он бежал из нарымской ссылки, приехал в Москву, и, когда началась мировая война, вернее, в самый ее канун, в июле, когда объявили всеобщую мобилизацию, Сольц по решению московской организации большевиков написал и выпустил для распространения среди солдат прокламацию «Долой войну!». Эта листовка наделала большой шум. Преданный провокатором, Сольц был арестован 31 июля 1914 года и приговорен военным судом к двум годам крепости. В квартире на 16-й линии он появился лишь в конце шестнадцатого года.

Но Шалаев там жил. Как раз весною шестнадцатого

года он окончил Технологический институт и вскоре стал работать помощником главного механика на Петроградском трубочном заводе. Историю с типографией он помнит: «Трифонов обратился ко мне с предложением организовать на Трубочном заводе производство деталей печатного станка для нелегальной типографии ПК. По условиям моей технической работы я всецело был поглощен эксплуатацией паровых котлов, в связи с чем к работе нашей главной ремонтной мастерской имел малое отношение и не мог там сам командовать. Поэтому пришлось договориться, чтобы ведением этого сугубо конспиративного дела занимался кто-либо из опытных и надежных рабочих. Надо сказать, что станок был почти совсем готов, когда надобность в нем окончательно миновала: пришла Февральская революция».

О днях Февраля в Питере, о морозах, о голоде, о разгромах булочных, о том, как отчаявшиеся бабы били городовых скамейками, на которых сидели часами в хлебных очередях, о слухах, о заговорах, о тревожных вестях с фронта, о том, как потрясали столицу валы забастовок, как гребень валов становился все грознее, как бездарный русский царь пытался судорожно и бессмысленно себя спасти, как фрондировала и трепетала Дума, как панически интриговали союзники, как люди революции, проникшие везде и повсюду, раскачивали эту лодку, уже черпавшую бортом воду, и как случилось то, что должно было случиться,— обо всем этом писали много, страстно, по-всякому. Писали вскоре после событий, по горячим следам, писали, отдышавшись, через год-другой, через пять лет, через десять, писали в Питере и Москве, в Берлине, Софии, Париже. Все эти воспоминания, записки очевидцев (горделивые и стройные — победителей, полные стенаний, упреков и злобы — побежденных) имели одну общую черту: оценку того, что было, с позиций сегодня. Чем более проходило время, тем рассудительнее становились оценки.

В. Трифонов с первых дней Февральской революции стал секретарем большевистской фракции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Эту обязанность он исполнял до июня, когда, по собственным его словам, «сдал секретарство М. М. Лашевичу». Значит, он был в гуще событий, в водовороте Таврического дворца, где находился Исполком Совета и рядом

заседали думские деятели; значит, при нем арестовывали министров, волокли Щегловитова, был обнародован знаменитый «Приказ № 1», упразднивший власть офицеров, при нем вооруженный народ залил все помещения, все лестницы дворца «каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб «Марсельезу», по злобному выражению Шульгина. И он сам был частью этой толпы, которая Шульгину показалась кошмаром и стала потом действительным кошмаром его эмигрантских ночей. Главной задачей в эти дни, даже часы Февраля, было восстанавливать связи. Большинство опытных работников партии находились вне Питера, в эмиграции, в ссылках. Те же, кто успел приехать в первые дни, кто вышел из тюрем, из потаенных квартир, стремились как можно быстрее найти товарищей. Все шли к Думе, к Таврическому дворцу: там встречались, узнавали новости, организовывались, слушали охрипших ораторов, кричали «ура».

Не знаю, что отец делал конкретно в эти дни. Знаю только, что он был там, в Таврическом, в эпицентре всероссийского землетрясения.

И снова я думаю о том, что лучший художник — время. Проза Тацита и Пушкина прекрасна не только сама по себе, но и потому, что над нею трудилось время. Оно окружило каждую фразу и каждую мысль такой далью, таким простором, какие не под силу создать никому из смертных.

Это касается великого искусства.

Но даль и простор иногда превращают в искусство то, что никогда не было искусством, потому я и думаю, что время обладает этой странной силой: даром художественности. Дневники, письма, деловые записки, судебные протоколы и военные реляции с ходом лет приобретают неожиданные свойства. В старых и немудреных словах, сказанных когда-то мимоходом, по делу, кристаллизуется поэзия. Со словами происходит то же, что с химическими элементами: распадаясь с течением времени, они возрождаются к новой жизни в другом качестве.

Ни один мемуарист не может избежать невольной и бессознательной саморедактуры. Когда же редактуру берет на себя время, тогда возникает феномен худо-

жественности. Время ничего не дописывает и ничего не вычеркивает, оно действует как-то иначе. То, что убито временем, то уж убито окончательно, а то, что осталось жить, то живет удивительной, меняющейся жизнью.

Так вот, на 16-й линии Васильевского острова...

Словатинская ничего не записывала в те годы. Не вел никаких записей и отец. Не вели дневников и другие большевики, бывавшие в этой квартире: Сольц, Егор Пылаев, Залуцкий, Калинин. И не только из привычной конспирации, но и потому, что искренне не считали свою жизнь чем-то замечательной и достойной увековечения. А когда началась революция, у них и вовсе не стало времени.

Но у Словатинской был сын Павел. В 1917 году ему исполнилось четырнадцать лет. Он учился в пятом классе Второго Василеостровского коммерческого училища, и вот он-то вел дневник. Он писал каждый день, очень сухо, по-деловому, ибо, к счастью, не обладал склонностью к литературе. Но — каждый день! Выросший в революционной семье, он все события видел по-своему, он повторял сведения, которые слышал от взрослых, и знал при этом, что можно доверять дневнику, а что нельзя: иногда недоговаривал и шифровал, повинуясь законам конспирации. О событиях Февральской революции он писал подробно и длинно, это было то, что потрясло, что сразу нарушило весь ход жизни, но потом, когда после июля партия ушла в подполье,— жизнь и разговоры старших отразились на жизни детей — записи делались все скупее, оборванней.

Вот записи февральских дней 1917 года из дневника Павла.

«25 февраля.

Встал в 8.30. Пошел в школу, на углу Большого пр. встретил наших школьников, они все смотрели по направлению 14-й линии. Там шла толпа рабочих забастовщиков, кричали «ура»! Была полиция, казаки, но не разгоняли толпу. Стояла рота солдат Финляндского полка, но офицер ее поспешно увел. Рабочие остановили трамвай, потом какой-то кондуктор в рыжей папахе крикнул: «Господа товарищи! Идем снимать с Трубочного завода!» — «Урра!» Все пошли по 16-й линии. Мы пошли в школу. Там почти никого нет. Занятия

были только у нашего класса. После 3-х уроков нас распустили. Я зашел домой, оставил книги, сказал, что вернусь к 5-ти часам, и пошел к Гене. Мы решили пройти на Петроградскую сторону, посмотреть трамваи, которые повалили забастовщики. Шел мелкий снег, было —6°. Мы пошли по Среднему пр. На улице маленькие мальчики устроили драку, кричали «Бей казаков!». Везде у лавок хвосты. Трамваи не идут. Вместо трамваев некоторые ломовики развозят людей. Мы перешли через мост, через Марсово поле и скоро дошли до Невского. На Невском масса народа, все идут по направлению к Знаменской пл. Мы с Геней пошли туда. На Аничковом мосту поперек моста стояли два ряда конных казаков, но только для виду, они всех пропускали. Вскоре мы увидели красные флаги. Мы догнали главную массу рабочих и пошли с ними. Пели «Марсельезу» и другие революционные песни. Изо всех окон смотрели люди, некоторые махали платками. Это очень возмутило рабочих. «Трусы! — кричали все.— Выходите на улицу! Это вам не представление!», «Выходите, трусы!», «Буржуи!» Грозили выбить стекла, но не было камней. Когда вышли на Знаменскую пл., то устроили митинг. Толпа была тысяч 30. У памятника Александру III вышли несколько ораторов, произносили речи. Раздавались крики: «Долой войну! Долой самодержавие! Долой правительство! Долой Думу! Да здравствует Совет рабочих депутатов!» — и громче всего: «Амнистия!!!» Вокруг площади стояли казаки, солдаты, но они не разгоняли толпу. Когда им велели разгонять, они медленно проезжали сквозь народ, солдаты еле протискивались. Рабочие кричали: «Ура, казаки! Вы наши братья, присоединяйтесь к нам!» Вдруг на другом конце площади у Николаевского вокзала раздались выстрелы. Произошла паника, все бросились бежать, но со всех сторон раздались крики: «Товарищи, стойте! Холостые патроны!», «Назад, товарищи!» Все вернулись назад. Оказалось, что на другом конце площади, у Николаевского вокзала, конные городовые начали разгонять толпу. Казаки бросились на городовых и ранили помощника пристава...»

Это не совсем точно: казаки действительно оттеснили полицейских, пытавшихся разогнать митинг, причем был убит полицейский пристав Крылов.

«Мы с Геней протиснулись туда. Толпа волновалась, раздавались крики: «Бей городовых!» Окружили нескольких солдат, кричали, что они наши братья, что мы будем бить только городовых. Солдаты стояли смущенные, растерянные, улыбались. Кое-кто пробовал их обезоружить, но они не отдавали своих винтовок. Вдруг в толпе появился автомобиль, на нем несколько военных. Все бросились туда, хотели их перебить, но раздались крики: «Раненый солдат!», и их пропустили. В толпе стали носить на палках потерянные шапки. Отряд солдат хотел пройти сквозь толпу, их не хотели пускать, они сказали, что идут обедать, их пустили. Казаки то уезжали, то снова появлялись. Стали снова произносить речи. Один рабочий поднялся и размахивал саблей, которую он у кого-то отнял. Вдруг в толпу врезался отряд солдат. Все думали, что они хотят арестовать ораторов, но они только отняли саблю и ушли. Ораторы предлагали идти к арсеналу, чтобы вооружиться, говорили, что надо выбрать Временное правительство и Совет рабочих депутатов, идти к Предварилке, чтобы освободить заключенных. В конце концов решили идти к Казанскому собору, чтобы там назначить час выступления на завтра. В толпе мы встретили В. А. (В. А. Трифонова. Павел везде называет его инициалами.— *Ю. Т.) Как только все тронулись по Невскому, появились драгуны (инородцы) и стали разгонять. Они скакали во весь опор вдоль по Невскому и размахивали нагайками, но не хлестали. Несколько человек было сшиблено с ног. Им удалось рассеять толпу и отнять красные флаги. Так как было уже больше четырех часов, мы решили идти домой. В. А. остался там. Мы повернули на Знаменскую ул. За нами все бежали, кричали, что драгуны уже хлещут нагайками. Мы повернули на Мал. Итальянскую, потом на Литейный и вышли опять к Невскому. Навстречу нам бежали люди, мы услыхали выстрелы. Впоследствии я узнал, что у Гор. думы на крыше был поставлен пулемет, который стрелял по толпе, было убито несколько студентов. Мы повернули назад и по Симоновской дошли до Михайловской и опять вышли на Невский. Там уже никого не было, только вдали была видна толпа, и все шли туда. Мы пошли домой. Идя по Конногвард. бульвару, мы слыхали как бы частые пушечные выстрелы. Я пришел домой в 6 ч. Мы очень устали, я в этот день прошел больше 18 верст. Когда я пришел домой, В. А.*

был уже дома. Б. Е.[1] *рассказывал, что у них на Трубочном заводе, когда рабочие забастовали и вышли на двор, какой-то прапорщик застрелил одного рабочего. Был Андр. Фед.*[2]*, говорил, что у Государственной думы была демонстрация и расстрел. Вечером у Казанского собора была толпа, полиция стреляла, были убитые».*

«28 февраля.

...По всему Вас. острову идет стрельба. Городовые засели на чердаке и стреляют из пулеметов. Говорят, что и в нашем доме сидят городовые. По нашему дому открыли огонь с улицы. Все жильцы вышли на лестницу. Внизу раздался стук, ворвались унтер-офицер и несколько солдат Финляндского полка. Они искали городовых, которые засели в нашем доме, но никого не нашли. На Среднем пр. взяли участок и мировой суд и все бумаги сожгли. По воздуху летают обгорелые клочки бумаги... В нашем доме организуется домовой комитет, чтобы осмотреть весь дом, все чердаки, нет ли где городовых. Б. Е. Шалаев выбран председателем. Решили устроить дежурство у ворот, чтобы чужих не пускать. Я дежурил с двумя студентами с 4 до 6 ч. В это время пришли человек 50 вооруженных солдат и рабочих, объявили, что в нашем доме спрятано два пулемета, угрожали всех расстрелять и поджечь дом. Они произвели обыск по всему дому, отобрали у одного капитана шашку и револьвер, больше ничего не нашли. Потом забрали все домовые книги, разложили костер и сожгли. Издали видно было, как горит Суворовский полиц. участок. То и дело проезжают автомобили, им кричат «ура!». В. А. вернулся поздно ночью. Он был в Думе. При нем арстовали Хабалова, Штюрмера, Питирима и Протопопова. В. А. назначен комиссаром Совета рабочих депутатов на Васильевском острове».

«4 марта.

Встал в 9.30. Занес на 13-ю линию (Совет) газеты с Геней, дела не было. В 2 ч. все пошли на собрание соц.-дем. на Большом проспекте, 88. Там было человек 70, много говорили, решили организовать агитаторов, выслушали доклады Совета раб. деп. ПК и резолюцию «инициативной группы». Я записался в партию.

[1] Б. Е. Шалаев.

[2] Под этим именем автор дневника знал Егора Пылаева.

После ждали до 6.30 газеты «Правда» № 1, но она еще не вышла. Дома читал Диккенса «Тайна Эдварда Друда».

Первый номер «Правды» после почти трехлетнего перерыва вышел на следующий день, 5 марта. Четырнадцатилетний автор дневника поглощен работой в районном Совете: он собирает деньги, развозит экземпляры газет, брошюры, помогает секретарю райкома. Почти каждый день он бывает в Таврическом, выполняет поручения Стасовой, самые разные. 29 марта, например, есть запись о том, что он ездил к Чхеидзе, отвез ему соболезнование ЦК по поводу нечаянного самоубийства его сына; потом это соболезнование было опубликовано в «Правде». Дальше в тот же день:

«Поехал в редакцию «Правда», Мойка, 32, взял 10 комплектов газеты. Заехал домой, завтракал. Потом поехал в Таврический дворец, завез газеты. Оттуда поехал в «Прибой» с тов. Карлом Андреичем за литературой. Взяли 16 пачек брошюр, назад поехали на автомобиле с тов. П. П. В Думе я продавал брошюры в Екатерин. зале, потом перешел в Секретариат ЦК. Вечером завез в «Правду» статью т. А. П. Молотова (В. М. Скрябин)...»

Вот так летят его дни. Прекрасное время! Занятия в школе идут через пень-колоду, ученики не являются, учителя тоже, на уроках все без конца разговаривают. Слухи, новости, рассказы о том, что случилось вчера, сегодня и вот только что на соседней улице. Учителя говорят о Французской революции. Вместо урока физики директор Викентий Викентьевич, взволнованный, рассказывает о Польском восстании, о народовом Жонде.

И — страстное, всеобщее, повальное увлечение демократией!

«Из Лентовской гимназии прислали повестку, просят прислать делегатов для основания ученической газеты. Было собрание всей школы, выбрали меня. В 6.15 поехал в Лентовскую гимназию, там были делегаты от 32-х учебных заведений».

Авторитет Павла внезапно вырос: еще бы, он свой человек в районном Совете, у него друзья матросы, с боевым кронштадтцем В. Панюшкиным он развозит

брошюры и газеты, а его сосед по квартире В. А. Трифонов работает в Петроградском Совете и должен знать все последние новости.

Наверное, В. А. Трифонов знал много. Но всех последних новостей в то время не знал никто. С каждым днем Петроград наполнялся людьми, освобожденными из тюрем, прибывшими из дальних ссылок, с каторги. Приехал из Тюмени Мишин, рассказал потрясающие новости, которые, впрочем, не потрясли никого, кроме Шалаева, Сольца и Трифонова: по документам охранки, только что обнаруженным, стало ясно, что Петр Мартемьянов, тот самый, кого всеми силами старались спасти от виселицы, сделался потом штатным осведомителем. Ах, давно это было, неинтересно, ненужно, забыто, к черту! Сольц приехал из Москвы 2 апреля, привез с собой Е. А. Трифонова, который после выхода из Александровского централа жил поселенцем в Усть-Куте, на Лене.

Многолетний каторжанин, изжаждавшийся по делу, по людям, с разгона влетел в водоворот событий. Господи, представить себе недавних пленников, много раз терявших надежду, в Питере, в мятежной столице, где хозяйничала революция, где все трещало, все рушилось и где была весна и сверкало небывалое солнце семнадцатого года! Уже на следующий день, 3 апреля, Евгений Трифонов, вместе с братом, с новыми друзьями, был на вокзале и встречал Ленина. Был с ними и упорный летописец, он записал наутро:

«3 апреля, понедельник. Солнце.

Встал в 9.45. Поехали в Думу. Там я попал на заседание Сов. солд. деп. Председателем был Чхеидзе, тов. председ. Керенский. Был доклад рабочей и продовольственной секций. На заседании был Плеханов (он недавно приехал из Англии). После перерыва был доклад военной секции. В середине я ушел, мы поехали домой обедать. Потом (в 7 ч.) мы поехали встречать Ленина и других эмигрантов, которые приехали из Швейцарии. Мы поехали сперва в ПК (дворец Кшесинской). Там открылся солдатский клуб «Правда». Был митинг. Через несколько времени мы все вышли, построились колонной и со знаменами пошли на Финляндский вокзал. Впереди ехал бронированный автомобиль. На Нижегородской мы остановились, а ПК и ЦК пошли к вокзалу.

К нам присоединился какой-то полк и несколько заводов. Потом все пошли к вокзалу. Там стояли довольно долго. Подошел Василеостровский район с милицией и оркестром Московского полка. Стало очень темно. На броневике зажгли прожектор. Подошли все городские районы. Было очень красиво, масса знамен, освещенных прожектором. Было тысяч 30 народу. В 11.30 подошел поезд. Их встретили «Марсельезой». В середине толпы расчистили проход, и по нему проехал Ленин на бронированном автомобиле со знаменем ЦК, освещенный прожектором. Все кричали «Ура!». Внутрь пускали по билетам. Мы прошли. (Автор дневника имеет в виду партийные билеты; он недавно получил такой билет, поэтому гордо пишет: «*Мы прошли*».— Ю. Т.) *Ленин вышел на балкон и говорил речь. После говорил Зиновьев и другие. Прожекторы все время освещали толпу. Потом толпа разошлась. Все закусили и спустились в зал. Там Ленина приветствовали представители всех районов и делегаты из разных городов. Потом Ленин рассказал о положении дел в Зап. Европе и сказал, что русская революция должна перейти во всемирную социальную революцию. Под конец все спели «Интернационал» и разошлись. Мы пришли домой в 5 час. утра. Лег в 5.15».*

На другой день Ленин выступал в Таврическом дворце на общем собрании социал-демократов, участников Всероссийского совещания Советов, со знаменитыми Апрельскими тезисами. Автору дневника посчастливилось быть и там. Он записал скупо, пожалуй, чересчур скупо:

«Я попал на хоры. Председателем выбрали Чхеидзе. Войтинский сказал о цели заседания и перечислил фракции, присутствующие здесь: б-ки, м-ки, Бунд, объединенцы и пр. За ним говорил Церетели о необходимости объединения. Потом выступил Ленин. Он произнес большую речь, высказался решительно против объединения, сказал, что все вожди социал-демократии всего мира предали дело социализма, и потому предлагал основать новую коммунистическую партию. Сказал, что вся власть должна перейти к Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Потом я должен был ехать в «Правду» и других ораторов не слышал».

Конечно, автор был слишком юн, чтобы по-настоящему оценить всю важность этого дня и выступления Ленина. История России и, может быть, мира в этот день качнулась круто.

Апрельские тезисы с ошеломляющей ясностью объявили всем, что своеобразие момента «состоит в *переходе* от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата,— ко *второму* ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Сейчас это кажется хрестоматийной истиной. Каждый школьник знает, что буржуазная революция должна была перейти в пролетарскую. Но тогда, в апреле, когда история лишь творилась, пророчество Ленина — даже не пророчество, а твердой рукой нарисованная картина того, что должно быть и что будет,— ошеломило не только врагов, но и друзей революции. Кадеты, буржуа всерьез перепугались, большевики же отчетливо поняли суть происходящего, и у них захватило дух от того, что открылось. Это не пустые фразы, которые легко сочинять спустя пятьдесят лет. Мать говорит, что В. Трифонов не раз с волнением вспоминал о том, как он впервые услышал Апрельские тезисы и как у него вдруг на многое открылись глаза, а он был человек очень уверенный в себе и редко признававший, что кто-либо на что-либо мог ему открыть глаза.

В одном из пунктов тезисов говорилось об устранении полиции, армии, чиновничества, то есть о замене постоянной армии всеобщим вооружением народа. Это было то дело, которому отец посвятил себя в ближайшие месяцы.

После Февраля в Питере организовалась довольно сильная десятитысячная рабочая милиция, но большевики стремились к созданию новой вооруженной силы пролетариата — Красной гвардии. Шестой съезд партии наметил ленинский курс на вооруженное восстание против Временного правительства.

В день закрытия съезда группа опытных партийных работников, организаторов Красной гвардии в районах Питера, избрала так называемую «инициативную пятерку», которая, по существу, явилась первым общегородским центром Красной гвардии. В пятерку вошли: В. Павлов, В. Трифонов, Е. Трифонов, И. Жук и А. Ко-

корев. Через несколько дней к ним примкнул В. Юркин. История действий «инициативной пятерки» была почти неизвестна нашим историкам. Единственное упоминание о «пятерке» имелось во втором издании книги Е. Пинежского о Красной гвардии (1933 года), но и этот автор никакими подробностями не располагал, а лишь ссылался на разговор с В. Трифоновым, который во многом критиковал первое издание книги Пинежского, вышедшее в 1929 году.

Вообще, надо сказать, период июля — августа 1917 года и деятельности Красной гвардии считался в нашей исторической науке наиболее глухим и неясным. Принято было считать, что в это время Красная гвардия, подавленная тяжелыми июльскими событиями, свернула свою работу, распылилась, ушла в подполье. Принято было также считать, что общегородской центр по руководству Красной гвардией возник лишь в сентябре, когда была создана Центральная комендатура Красной гвардии, куда, кстати, вошли все члены «инициативной пятерки». На самом деле такой центр существовал и действовал раньше.

Подтверждением этого оказались сохранившиеся в архиве В. Трифонова документы той эпохи — подлинные, написанные рукою отца протоколы заседаний «инициативной пятерки», проходивших в августе 1917 года. Сохранилось семь таких протоколов. Из них видно, что Красная гвардия в эти трудные месяцы вовсе не свернула своей работы, а, наоборот, продолжала наращивать силы, создавать новые отряды, обучать рабочих и — что особенно важно — продолжала неустанно вооружаться. Добыча оружия была главной заботой «инициативной пятерки». Действия «пятерки» явились практическим выполнением намеченного Лениным и принятого Шестым съездом партии плана вооруженного восстания. Не удивительно: все члены «инициативной пятерки», за исключением И. Жука, были большевики.

Кто были эти люди, возглавившие Красную гвардию? Все они проявили себя как организаторы красногвардейских отрядов в районах. В. Трифонов был одним из руководителей Красной гвардии Василеостровского района.

Владимир Павлов, рабочий автомобильного завода «Русский Рено», был членом партии большевиков с 1911 года. Он вел партийную работу сначала в Выборг-

ском, потом в Пороховском районе и в «инициативной пятерке» представлял эти районы. В Октябрьские дни он был членом центрального штаба Красной гвардии, потом ушел на фронт с одним из первых красногвардейских отрядов. В 1919 году В. Павлов — начальник штаба бригады на деникинском фронте, в 1920 году — командир бригады на польском и врангелевском фронтах. Затем он работал на Дальнем Востоке, был председателем Авиатреста, одним из организаторов нашей авиапромышленности. Погиб в 1925 году, случайно попав под поезд. В «Правде» от 2 сентября 1925 года, в некрологе, посвященном В. Павлову, набросан такой беглый портрет: «Этот большой, немного сутулый, рыжеватый человек с умным лбом и небольшими серыми, живыми, всегда немного насмешливыми глазами никогда не выдвигал себя вперед, не показывал себя «с лучшей стороны» — он делал то, что нужно было делать, и делал это хорошо и мужественно... Павлов был гораздо крупнее, чем казался. Это был сильный и умный человек, крепкий революционер, стойкий большевик».

Евгений Трифонов еще с весны включился в организацию Рабочей гвардии, или, говоря точнее, Рабочей милиции на Путиловском заводе. Один факт, что человек, едва отдышавшийся после каторги и, по существу, новый в городе, неизвестный путиловцам, стал активнейшим организатором на громадном заводе, говорит о многом: сколько внутренней энергии скопилось в этих людях, вернувшихся из заточения. И, конечно, опыт участника Ростовского восстания был тут кстати. Через много лет, в 1932 году, Е. Трифонов вспомнил об этих днях в небольшой статье «Как вооружался пролетариат», напечатанной в № 11—12 журнала «Каторга и ссылка». Написаны эти воспоминания размашисто, небрежно и колюче, как Е. Трифонов писал и свои повести о гражданской войне под псевдонимом Евгений Бражнев. Вот отрывок:

«Пока Керенские и Рябушинские, эсеры, меньшевики, кадеты строчили свои декларации и конституции, суетились и жужжали в своих «комитетах спасения» и «предпарламентах», в это время пролетариат потихоньку вооружался. Контрреволюция бездарно проморгала это дело — и поплатилась шкурой за свое ротозейство...

В мае 1917 года в Петергофском райкоме большевиков явочным порядком (еще задолго до партийных решений и директив по этому вопросу) трое невзрачных

парней поставили столик в прихожей, прибили над ним табличку «Здесь запись в Рабочую гвардию» и уселись за столик с карандашами в руках. И когда мы записывали в Красную гвардию первых редких охотников, господа Керенские и Рябушинские тогда еще не подозревали, вероятно, что спустя немного дней красногвардейские колонны будут штурмовать Зимний дворец... В июльские дни мне пришлось быть начальником милиции Путиловского завода. Я получал от начальства приказ: «Приготовиться к возможным волнениям на улице». На рассвете 4 июля, когда Путиловский клокотал точно котел с перегретым паром, заводская милиция в составе 2 тысяч человек в боевом порядке с примкнутыми штыками подошла и построилась перед столовой, где заседал зав. комитет, решавший вопрос: выступать или воздержаться? Начальник милиции вошел в комнату и доложил заводскому комитету: милиция прибыла и находится в распоряжении комитета. И когда 30-тысячная масса путиловцев двигалась через Нарвскую заставу к Таврическому, впереди колыхалась щетина милицейских штыков...»

4 июля путиловские милиционеры под командованием Е. Трифонова вместе с рабочими завода демонстрировали по городу. В них стреляли из домов на Невском, на Литейном, они тоже стреляли. В ночь с 3-го на 4-е произошло столкновение между милиционерами Е. Трифонова и милиционерами 1-го Спасского комиссариата (из буржуазного центрального городского района), в результате чего часть спасских была арестована. Временное правительство грозило начальнику путиловской милиции репрессиями, и Е. Трифонов на некоторое время скрылся из Питера. Он уехал на родину, в Ростов, принимал там участие в партийной конференции. Вернулся в Питер он в начале августа. В «инициативной пятерке» Е. Трифонов представлял Нарвско-Петергофский район.

Колоритной фигурой в «инициативной пятерке» был Иустин Жук, по кличке «Анархист». Жук был одним из руководителей черкасской группы «анархистов-коммунистов». Во время ареста в 1907 году пытался бомбой взорвать себя и жандармов. Киевский военно-окружной суд приговорил его к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой, и Жук девять лет провел в Шлиссельбургской крепости. Его, так же как Е. Трифонова, освободила из неволи революция. Вот

что написано в книге «Памятник борцам пролетарской революции» (Истпарт, 1925 год) в некрологе, посвященном И. Жуку:

«Он принадлежал к числу тех немногих анархистов-синдикалистов, которые шли рука об руку с коммунистами. Жук не был членом нашей партии формально, но он был горячим работником коммунизма, отдал себя в распоряжение партии, признал ее суровую дисциплину и погиб на посту, на который его поставила партия...

Для шлиссельбургских рабочих Жук был все — их политический вождь, руководитель их хозяйства, их продовольственный комиссар, организатор их отрядов. Человек богатырского сложения, великан, Жук в то же время отличался необыкновенной добротой и детской мягкостью характера. В глазах его светились ум и воля... Он был, несомненно, одним из крупнейших рабочих организаторов. Всей душой он рвался на работу по восстановлению разрушенного войной хозяйства, и работа спорилась в его руках. В родном Шлиссельбурге он делал чудеса. Но пролетарская революция призвала его под ружье. И он пошел комиссаром Карельского участка. Здесь он погиб с оружием в руках — пал в бою в октябре 1919 года».

Из «хозяйственных чудес» И. Жука известен, например, такой факт: на пороховых заводах он налаживал производство сахара из опилок. Об этом есть упоминание в письме Ленина Г. Е. Зиновьеву: «Говорят, Жук (убитый) делал сахар из опилок? Правда это? Если правда, надо обязательно *найти его помощников*, дабы продолжить дело. *Важность гигантская*»[1].

Об А. Кокореве почти ничего не удалось узнать. Известно только, что он представлял в «пятерке» Петроградский район. После опубликования «Отблеска костра» в «Знамени» некоторые дополнительные сведения я неожиданно получил от М. А. Бобкова, члена КПСС с 1917 года, бывшего красногвардейца завода Лоренц в Петрограде. М. А. Бобков сообщил, что А. Кокорев работал на заводе Лоренц, после Февраля был избран начальником заводской милиции, участвовал в штурме Зимнего, дрался на фронтах гражданской войны, был тяжело ранен. В 1919 году, разбитый параличом, он появился один раз на каком-то заводе в Москве, дальнейшая его судьба неизвестна.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 74.

Протоколы «пятерки» написаны на больших листах бумаги, очень скупо, резко, ничего лишнего, имена и названия сокращены, иногда зашифрованы. С этих страниц дышит грозовой ветер семнадцатого года. Вот первый протокол о совещании 2 августа 1917 года, на котором представители разрозненных боевых организаций районов Петрограда постановили создать «инициативную пятерку».

«Совещание о Красной гвардии
2 августа 1917 года.

Присутствовали представители двенадцати районов Петрограда — всего 18 человек.

В. Т. (В. Трифонов.— *Ю. Т.*) кратко сообщает о положении дел с Красной гвардией, о разоружении рабочих организаций (имеется в виду предпринятое Временным правительством на ряде заводов разоружение рабочей милиции), информирует о политическом состоянии в стране, о впечатлениях от поездки в провинцию. Говорит о предстоящих в ближайшее время боях за власть, кто будет у власти — буржуазия или пролетариат. Армия деморализована, она сыграет роль, если ее сцементировать рабочими вооруженными дружинами. Надо немедленно приступить к широкой организации вооруженных сил пролетариата и созданию общегородского центра...»

Представитель Выборгского района предлагает сообщить примерные цифры вооруженных рабочих (организованных) по районам. Сообщаются цифры по всем 12 районам. Итог внушительный — 14 200 человек Красной гвардии и Рабочей милиции. Далее слово берет представитель Шлиссельбургского района И. Жук:

«— В большинстве районов милиция из рабочих давно превратилась в обывательскую. Рабочие из нее ушли, и она заполнилась всякой сволочью, буржуазной молодежью и занимается водворением порядка, охраной существующего строя и собственности. Эти задачи настолько привлекательны, что иные чудаки из рабочих ставят эти задачи даже перед Красной гвардией. Это неверно. Красная гвардия должна строиться для нарушения существующего порядка, для экспроприации

собственности, для казни. У нас сейчас уже огромная сила — 14 тысяч вооруженных рабочих. Нам нечего миндальничать и нечего ждать, надо начать бить по головам. Если мы по-прежнему будем словоблудить и блюсти порядки, то рабочие будут создавать боевые организации помимо нас».

«В. Т.— Ясно, что не охрана вообще порядка и жизни наша задача. Вооруженные рабочие могут ставить перед собой только одну задачу — свержение государственного порядка, основанного на собственности, не останавливаясь перед вооруженным насилием. Но это не значит, что рабочие, организованные в Красную гвардию, могут сами походя заниматься насилием и устраивать домашние революции; они только вооруженный отряд пролетариата и вместе со всем пролетариатом примут участие в борьбе за власть. Охранять буржуазный порядок мы не должны, но нарушать его удовольствия ради тоже не следует. На нас лежат и охранные задачи: мы можем и должны охранять пролетарский порядок и жизнь пролетариата. У Анархиста чувствуется перегиб, который может быть опасен, так как он может скомпрометировать идею Красной гвардии в рабочих массах...»

В конце совещания В. Трифонов предлагает создать организационную пятерку. Дальнейшие протоколы относятся к совещаниям этой вновь избранной «пятерки», которые проходили 3, 5, 8, 12, 16 и 20 августа 1917 года.

На этих совещаниях обсуждались важнейшие вопросы строительства Красной гвардии: подбор людей в районах, выработка устава Красной гвардии, добыча оружия. И все это решалось быстро, по-революционному — как того требовало время. 5 августа В. Павлову и В. Трифонову было поручено разработать устав Рабочей гвардии и основы районных и центральной комендатуры. (В целях маскировки, чтобы не возбуждать подозрительность Временного правительства, предлагалось пока именовать гвардию не Красной, а Рабочей гвардией.) Из протокола 16 августа известно, что проект устава готов и его можно обсуждать.

Но самые красочные страницы деятельности «пятерки» — операции по добыче оружия. Об этих операциях, чрезвычайно смелых и удачных, сказано в протоколах кратко, но выразительно:

«Совещание «пятерки» 8 августа.

Кок. (Кокорев.— *Ю. Т.*) передает полученное им сообщение, что на Мойке имеется склад револьверов, винтовок и патронов офицерского союза, и предлагает захватить это оружие.

Поручается В. Т. и В. П. ознакомиться с вопросом на месте и попытаться оружие получить...»

«Совещание «пятерки» 12 августа.

В. Т. сообщает, что два пулемета, револьверы, винтовки и патроны на Мойке взяты и переведены на Васильевский остров. Сошло благополучно. Ограничились зуботычинами. Владельцы оружия, по-видимому, контрреволюционная организация. Шума поднимать не будут. Всего взято 2 пулемета Максима, 6 ручных пулеметов Гочкиса, 420 винтовок, 870 револьверов и большое количество патронов. Участвовали гвардейцы Васильевского острова, машины дал Петроградский район. Участникам пришлось раздать револьверов с патронами 18 штук...»

Еще более удачно прошла операция на вокзале, о которой известно из протокола 16 августа. На вокзале гвардейцам пришлось вступить в перестрелку с охраной, зато было взято 3600 винтовок, которые тут же распределили по районам.

Два этих факта во многом объясняют то обстоятельство, что к концу августа отряды рабочих Питера имели немало оружия, а это сыграло решающую роль в отпоре Корнилову и в последующих событиях. Добычей оружия красногвардейцы занимались непрерывно вплоть до Октябрьского восстания. Пинежский во втором издании своей книги сообщает, что в начале октября Центральной комендатуре Красной гвардии удалось получить на Сестрорецком оружейном заводе 5 тысяч винтовок. Винтовки были доставлены в Петроград на грузовиках и распределены по районам Красной гвардии соответственно значению каждого района и его нужде в оружии. Всей этой достаточно сложной, конспиративной операцией руководили товарищи В. Трифонов и В. Павлов.

Вместе с протоколами «пятерки» в архиве В. Трифонова сохранился и проект устава, о котором я говорил

выше. Это несколько страниц рукописного текста, написанного рукой отца. На общегородской конференции Красной гвардии 22 октября 1917 года этот проект устава был принят с некоторыми изменениями. Интересными оказались и другие документы архива, относящиеся к истории Красной гвардии: например, обширный финансовый отчет Красной квардии, списки красногвардейцев по районам, разного рода мандаты, удостоверения и т. д. Все эти документы находятся сейчас в Центральном музее Советской Армии.

После разгрома корниловщины, в сентябре 1917 года, руководство Красной гвардии преобразовалось в легальную организацию — Центральную комендатуру Рабочей гвардии, в которую вошли члены бывшей «инициативной пятерки». Созданию Центральной комендатуры помогла поддержка Питерского комитета партии и Междурайонного совещания районных Советов. Затем 22 октября на той самой общегородской конференции красногвардейцев, на которой утверждался устав, был создан новый орган: «Главный штаб Красной гвардии».

Доклад по уставу делал В. Трифонов. Кстати, этот доклад вызвал оживленные споры по такому, казалось бы, малосущественному вопросу, как название руководящего органа Красной гвардии. Комендатура или штаб? В. Трифонов в проекте устава предложил «штаб», так как слово «комендатура» звучало слабо и не выражало подлинного значения Красной гвардии. Противники же штаба говорили, что негоже революционерам заимствовать у царизма названия. После горячей дискуссии победил все-таки «Главный штаб».

Сейчас эти споры кажутся наивными, но в те дни они были понятны и не вызывали улыбок: ненависть ко всему старому — с его правопорядком, установлениями, названиями — была слишком велика.

Работа конференции проходила в накаленной атмосфере. Решающая схватка между Военно-революционным комитетом и Временным правительством близилась, и все это понимали. На экстренном заседании Главного штаба Красной гвардии 23 октября было избрано для текущей работы бюро из пяти человек: К. Юренева, В. Трифонова, В. Павлова, С. Потапова, В. Юркина. Председателем Главного штаба был избран К. Юренев.

К. Юренев был, пожалуй, единственным из руково-

дителей Красной гвардии, не принадлежавших по своему происхождению к рабочим. Это был журналист, опытный конспиратор и партиец с большим стажем. Впоследствии он стал дипломатом, был послом в Италии, в Персии, в Японии и в 1937 году погиб, как многие другие.

Представляют интерес и недостаточно еще выяснены нашими историками взаимоотношения и взаимодействия Военно-революционного комитета и Главного штаба Красной гвардии в решающие дни Октября. Военно-революционный комитет возник 12 октября на закрытом заседании Петроградского Совета. Предложение о создании такого комитета, штаба революции, внесли большевики. Организационно комитет оформился спустя четыре дня на пленуме Петроградского Совета. Тут все решалось днями, часами.

Н. И. Подвойский в своих воспоминаниях «Красна гвардия в октябрьские дни» пишет: «Основной задачей Военно-революционного комитета становилось — взят фактическое управление гарнизоном в свои руки».

Как известно, с этой задачей Военно-революцион ный комитет отлично справился. Главную роль в успех Октябрьского восстания сыграло то обстоятельств что гарнизон Питера в большинстве своем оказался стороне восставших. Большевистская агитация ср солдат сделала свое дело. Военно-революционный митет, естественно, направлял и объединял все сил революции: солдат, матросов и красногвардейцев. Однако Красная гвардия сохраняла при этом определенную независимость и организационную цельность, выработанные в течение нескольких месяцев боевой деятельности. Красная гвардия сохраняла свой штаб, она имела в Военно-революционном комитете своих представителей. По сообщению Пинежского, «официальными представителями Центральной комендатуры в нем (в Военно-революционном комитете.— *Ю. Т.*) были тт. Юренев и В. Трифонов. Фактически же с комитетом имели постоянные сношения и тт. С. Потапов, В. Павлов, а позже и т. Юркин».

Каким образом происходили эти «постоянные сношения» и как действовали, помогая друг другу, революционные солдаты и вооруженные рабочие в дни Октября, хорошо изображено в талантливых, к сожалению, незаконченных воспоминаниях К. Еремеева, одного из членов Военно-революционного комитета.

Из дневника Павла:

«24 октября (6 ноября н. ст.), вторник.

Встал в 8.20. В училище 5 уроков, рус., немец., минералог., фр., рисов. Учил историю. Электричество не горит, вода не идет. Пошел в РК. «Рабочий путь» сегодня ночью был опечатан. Приехал домой в 5. Мама звонила, что обедать не придет. (Из воспоминаний Т. А. Словатинской известно, что именно в эти часы она по поручению секретариата ЦК разыскивала Н. К. Крупскую.— *Ю. Т.) В. А. пришел, пообедал и уехал в Смольный. В 5.35 зажглось электричество. Теперь будет гореть от 6-ти до 12-ти. В 6.30 пришла мама. Она видела на Дворцовой площади много войск (юнкеров и казаков), охраняют Зимний дворец. Временное правительство распорядилось развести мосты на Неве, чтобы рабочие не перешли в город. Маме пришлось ехать на Биржевой мост. В нашем доме собрание жильцов, решили дежурить всю ночь. Погасло в 12 ч. Приехал В. А., он был в Смольном. Там заседание Совета. Смольный охраняют 800 солдат и 30 пулеметов. Правит. войска (юнкера и ударники) развели Николаевский и Дворцовый мосты. Литейный мост в руках красногвардейцев. По Вас. острову ходят патрули Красной гвардии. После того как были закрыты «Рабочий путь» и «Солдат», в типографию явился Литовский полк, распечатал типографию и роздал газетчикам газеты. В 1 ч. ночи В. А. поехал в Петропавловскую крепость за оружием для Вас. остр. района. Я лег в 1 ч. В. А. приехал в 6 ч. утра и в 8 опять уехал».*

«25 октября (7 ноября н. ст.), среда.

В училище не пошел, сегодня будет там акт и уроков не будет. Пошел в РК. Меня послали в издательство «Прибой» — Николаевская, 12,— за литературой. Трамваи идут. Николаевский мост охраняют матросы-кронштадтцы. На Неве стоят миноносцы. Дворцовый мост утром был разведен, а когда я ехал назад, его уже свели. У штаба охрана из юнкеров. Привез брошюры, был в РК до 1 часу, пошел домой. В. П. Ногин зашел попрощаться, он уезжает в Москву. В 6 пришел В. А. Власть перешла в руки Совета. Многие министры арестованы, Керенский бежал. Б. Е. Шалаев видел, как на Невском проспекте разоружали юнкеров, охранявших Врем. прав. Они не оказывали никакого

сопротивления. В. А. уехал в Смольный. Я разбирал брошюры. В 9.40 мы услыхали пушечные выстрелы. С перерывом стрельба продолжалась до 12-ти часов. В 12.30 (электричество не потухло) пришли мама и В. А. из Смольного. Они сказали, что обстреливается Зимний дворец...»

После свержения Временного правительства красногвардейцы продолжали нести на своих плечах главную тяжесть революционной борьбы: дрались с Красновым, подавляли мятежи юнкеров, боролись со спекуляцией, с грабежами винных подвалов, с саботажем. В ночь на 29 октября юнкера сделали попытку восстания, захватили Михайловский манеж с броневиками и легковыми машинами, телефонную станцию, а самокатчики попытались освободить Временное правительство из Петропавловской крепости.

Красная гвардия разгромила юнкеров в тот же день. Михайловское артиллерийское училище взял отряд шлиссельбуржцев под командованием И. Жука и выборжцев под начальством К. Орлова. Одно за другим прекратили сопротивление и были разоружены остальные военные училища. В эти же дни красногвардейцы героически сражались с войсками Керенского под Пулковом и Царским Селом.

Участник этих событий Малаховский писал в своих воспоминаниях:[1] «С одной стороны, красногвардейцы показывали необычайный героизм, самопожертвование, готовность умереть, холодать и голодать, своим энтузиазмом заражали и поддерживали солдат гарнизона, найсточиво требовали снарядов, патронов на передовые позиции, беспрекословно выполняли все приказания, без малейшего дезертирства шли на позиции, и ни в какой мере нельзя сказать, чтобы питерский пролетариат дрогнул хотя бы на минуту. С другой стороны, эта лучшая по духу армия не могла бы продержаться долгое время, так как не имела правильной централизованной организации, а главное, снаряжение этих прекрасных бойцов было рассчитано на то, что прямо от станков они идут в бой, без продовольствия и огневых припасов...»

---

[1] Сборник «Ленинградские рабочие в борьбе за власть Советов», 1917, статья «Красная гвардия Выборгского района».

Малаховский вспоминал и о ненужном «удальстве» красногвардейских и матросских отрядов, которое вело к большим потерям. «Когда перешли в наступление, часто во время перебежек они не пригибались совсем, отчего немало полегло лишних жертв. Когда же мы, обучавшие их солдаты, указывали на недопустимость этого, то получали в ответ, что сгибаться при перебежках и стрелять лежа — позор для революционеров, показывает их трусость».

В боях с Красновым быстро успели закалиться и приобрести военные навыки красногвардейские части. Из них формировались экспедиционные отряды, которые в декабре 1917 года и в январе 1918 года ушли в разные районы страны для подавления контрреволюционных мятежей и установления Советской власти.

Из книги Е. Пинежского известно, что первая попытка отправить большой красногвардейский отряд из Питера была сделана еще раньше, вскоре после Октябрьского восстания. Главным штабом, говорится в книге, была произведена широкая мобилизация Красной гвардии на поддержку Москвы. В Смольном собралось около 4500 красногвардейцев, готовых к отправке. Но приехавший из Москвы В. П. Ногин отменил эту экспедицию. Красногвардейцы были возмущены, устроили митинг, кричали: «Мы предаем Москву!» — и чуть не избили члена Главного штаба В. Трифонова.

Из воспоминаний Ф. Ф. Раскольникова и из некоторых других источников видно, что экспедиционный отряд на помощь Москве был все-таки послан — 2 ноября 1917 года. Но то был не красногвардейский отряд, а отряд революционных моряков, 428-й Ладейнопольский полк и бронепоезд путиловских рабочих. Основную силу отряда составляли моряки. Командовали всей экспедицией (очень лихо захватившей по дороге в Москву белогвардейский бронепоезд) Ф. Ф. Раскольников и К. С. Еремеев. Эпизод, рассказанный Пинежским, мог произойти несколькими днями позже.

Документы из архива В. А. Трифонова помогли восстановить многие факты, остававшиеся для историков Красной гвардии неясными. Недавно вышла большая книга ленинградского ученого В. И. Старцева «Очерки по истории Петроградской Красной гвардии и рабочей милиции», где документы из архива В. А. Трифонова использованы многократно. А я помню, как в 1956 году, уже после Двадцатого съезда партии, я пришел к одно-

му почтенному историку и показал ему протоколы «инициативной пятерки». Я полагал, что делаю благое дело: даю в руки специалиста драгоценный, никем еще не изученный материал. Почтенный историк, пошевелив бумаги, с сомнением покачал головой: «А подлинные ли это документы?» Он должен был знать, что они подлинные, ибо они из архива одного из руководителей Красной гвардии. Но почтенного историка на самом-то деле волновало другое: «А подлинно ли то, что произошло на Двадцатом съезде? А подлинно ли то, что В. А. Трифонов посмертно реабилитирован?» Я ушел от него с тяжелым чувством: вдруг понял, как медленно, с каким трудом будет разрушаться заматерелая неправда и как много людей будут ее защищать, защищая себя.

В. И. Старцев в своей книге на основании финансового отчета В. А. Трифонова доказывает, что первый красногвардейский отряд, именовавшийся 1-м Петроградским боевым батальоном, был отправлен из Петрограда 13—14 декабря. («11 декабря член Главного штаба В. Н. Павлов получил от заведующего финансовым отделом В. А. Трифонова 8 тыс. рублей для организации отряда».) Отряд ушел в Могилев. Возглавил отряд Владимир Павлов, о котором ни один из почтенных историков в течение тридцати лет не написал ни строчки. В составе отряда было около пятисот красногвардейцев.

Затем В. Н. Павлов вернулся в Питер и стал формировать новый отряд. 1 января 1918 года этот второй отряд уходил на фронт, и его провожал Ленин, выступая перед красногвардейцами в Михайловском манеже. Когда Ленин возвращался из Манежа, на него было совершено покушение, к счастью, неудавшееся: вождя спас от пули Фриц Платтен, швейцарский коммунист. В. А. Трифонов присутствовал на проводах отряда Павлова как член Главного штаба Красной гвардии.

В его архиве сохранился интересный документ: «Порядок отправления Первого отряда Социалистической гвардии», где вся процедура продумана с большой тщательностью и очень торжественно.

«1) Отправление Первого отряда Социалистической гвардии назначено на 1 января 1918 года с Царскосельского вокзала. 2) Перед отправлением отряду будет произведен смотр в Михайловском манеже и проводы. 3) Сбор частей отряда из районов в Михайловском ма-

неже назначается ровно в 3 часа дня, куда к этому времени прибывают народные комиссары, члены Главного штаба Красной гвардии и представители организаций, участвующих в проводах. 4) Все части из районов к Михайловскому манежу идут в стройном порядке, с оркестрами музыки частей и плакатами...»

Революция еще не имела войска и не имела военачальников. Отряды вооруженных рабочих возглавлялись рабочими. Большевики дали новое название этой вновь родившейся силе: «Социалистическая гвардия». Слово «армия» произносить не хотелось, но очень скоро его пришлось произнести.

На несколько дней раньше отряда Владимира Павлова, в конце 1917 года, покинул Питер другой красногвардейский отряд: под командованием Евгения Трифонова он отправился на юг, на борьбу с Калединым.

Красногвардейские части Р. Сиверса и В. Антонова-Овсеенко, вместе с которыми действовал и отряд Евгения Трифонова, в феврале 1918 года взяли Ростов. Некоторое время Е. Трифонов был комендантом Ростова. В романе Алексея Толстого «Хождение по мукам» описано столкновение начальника петроградской Красной гвардии Трифонова с бандитом-анархистом Брайницким. (Возник этот эпизод так: Толстой и Е. Трифонов случайно познакомились в купе «Стрелы» по дороге в Ленинград. Всю ночь вспоминали гражданскую войну, Е. Трифонов много рассказывал, Толстой записывал. Этот же эпизод есть и в книге самого Е. Трифонова (Бражнева) «В дыму костров».)

Дальнейшая судьба Е. Трифонова складывалась бурно. В «Правде» от 13 апреля 1918 года появился приказ Народного комиссариата по военным делам: «Казак Новочеркасской станицы Донской области Евгений Андреевич Трифонов назначается Военным Правительственным комиссаром Южно-Русских областей. Ему вменяется в обязанность объединить деятельность Военных комиссариатов этих областей Южного района и согласовать ее с предначертаниями Российского Федеративного Правительства...» После занятия Ростова немцами Е. Трифонов командовал частями на Царицынском фронте, был комиссаром в штабе «Южной завесы», начальником 9-й кавалерийской дивизии, военным комиссаром Донской области. Когда один из комбригов Первой Конной армии Маслаков поднял мятеж

и повел бригаду на Дон, Е. Трифонову пришлось пехотными частями ликвидировать конников «Маслака».

Затем Евгений Трифонов работал в Дальневосточной республике, воевал с басмачами в Узбекистане — это были его последние военные дела, в 1925—1927 годы,— а в мирное время учился в Военной академии, был директором Историко-революционного театра, писал пьесы и повести, работал в Центральном Осоавиахиме. Он умер в декабре 1937 года от разрыва сердца в своем доме, в Кратове, в поселке старых большевиков. Кадровый военный, краснознаменец, он просился в Испанию, но его не брали. Да и какая могла быть Испания! Брат был арестован и объявлен врагом народа, и его самого, уже исключенного из партии, ждала, очевидно, та же участь.

Но все это — далеко, через двадцать лет. А пока что он выехал из Питера холодным декабрьским днем во главе отряда красногвардейцев, жаждущих давить и крушить контрреволюционную гидру, где бы она ни появлялась.

Отец отправился на фронт на три месяца позже. В декабре он работал в Главном штабе Красной гвардии, ведая финансовым отделом. Отдел этот был создан в первых числах декабря. Вопрос об уплате жалованья красногвардейцам был одним из важнейших и к тому же не просто разрешимых вопросов, которые встали перед Главным штабом.

Красногвардейцы не получали особого жалованья: за ними сохранялась зарплата по месту работы. Заводчики и фабриканты выплачивали эти суммы без энтузиазма, всячески тормозили выплату, а порой отказывались платить вовсе. В ноябре и декабре то и дело вспыхивали конфликты между рабочими и заводской администрацией. Заводчиков вызывали в Главный штаб, требовали объяснений и чаще всего слышали в ответ слова о тяжелых обстоятельствах, отсутствии средств и т. д. «Банкротов» тут же сажали под арест в подвалы Смольного. Но саботаж промышленников продолжался. Главному штабу не осталось ничего иного, как поставить перед Совнаркомом вопрос о выделении известной суммы на оплату красногвардейцев. Совнарком ассигновал два с четвертью миллиона рублей.

«Финансовая отчетность Главного штаба,— писал Пинежский,— велась т. В. Трифоновым исключительно образцово, что видно из отчета, составленного им в фев-

рале 1919 г. Отчет, представляющий большой толстый том, страниц в 500 с лишним, составлен на редкость добросовестно. Казалось бы, что в ту бурную революционную эпоху народные деньги расходовались без особой обоснованности и, так сказать, на ходу,— на самом деле все мельчайшие расходы были документально обоснованы». И тут же в примечании Пинежский сокрушался по следующему поводу: «Финансовый отчет Главного штаба Красной гвардии дает ценнейший материал для истории. Можно сожалеть, что т. В. Трифонов почти целых 15 лет держит его у себя, на правах некоей «собственности». Было бы со всех точек зрения лучше, если бы т. Трифонов все же передал отчет какому-либо архиву».

Это писалось в 1932 году. В самом деле, почему отец не отдал все свои документы, в том числе финансовый отчет, в какой-нибудь музей или архив? Мне это обстоятельство тоже одно время представлялось странным. Но, поразмыслив, я понял, мне кажется, причины и понял, что отец поступил правильно.

Уже в конце двадцатых и начале тридцатых годов культ личности Сталина начал давать себя знать в исторической науке, как и в других областях. Отец опоздал с книгой воспоминаний, а теперь ему пришлось бы писать о «роли товарища Сталина в создании Красной гвардии». И не хотелось давать отцу свои материалы для того, чтобы такого рода сочинения писали другие.

Работу в Главном штабе Красной гвардии В. Трифонов совмещал и с некоторыми другими важными работами, которые ему поручала партия. Он был введен, например, в состав созданной в ноябре (21 ноября 1917 года) по предложению Дзержинского «Комиссии для борьбы с контрреволюцией». По существу это был первый состав ВЧК. В него вошли Скрыпник, Флеровский, Благонравов, Галкин и Трифонов.

Официально «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем» возникла 7 декабря. Накануне, 6 декабря, на заседании СНК Дзержинскому было поручено срочно, к следующему дню, подготовить доклад по этому вопросу. Дело было важнейшее, не терпело отлагательств. Впрочем, все дела тогда решались стремительно. Есть записка Ленина Дзержинскому, написанная седьмого же декабря, перед заседанием СНК:

«К сегодняшнему Вашему докладу о мерах борьбы с саботажниками и контрреволюционерами.

Нельзя ли двинуть *подобный* декрет:

О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками

Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс.

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковских чиновников и т. п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей.

Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками!» [1]

Далее Ленин предложил семь пунктов экстренных мер. Доклад Дзержинского был основан на этих предложениях Ленина. Здесь же, на заседании СНК, утвердили первый состав Чрезвычайной комиссии (еще не полный): Ксенофонтов, Жедилев, Аверин, Петерсон, Петерс, Евсеев, Трифонов В., Дзержинский, Серго, Василевский.

В постановлении СНК говорилось: «Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, саботаж и т. д. правых с.-р., саботажников и стачечников. Меры — конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т. д.».

До сентября 1918 года ВЧК не расстреляла ни одного политического врага Советской власти. В. Трифонов работал в ВЧК недолго, лишь в дни ее становления. В январе 1918 года ленинским декретом была создана «Всероссийская коллегия по формированию Рабочей и Крестьянской Красной армии», и В. Трифонова, как имевшего опыт военной организации рабочих, ввели в эту коллегию. Она состояла из пяти человек: из трех представителей Наркомвоена (Крыленко, Мехоношин, Подвойский) и двух представителей Красной гвардии (Юренев, Трифонов).

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 156.

Короткая, полная самоотверженности и героизма история Красной гвардии завершилась в начале 1918 года. Говоря словами Пинежского, «Красная гвардия, честно и до конца выполнив свой долг, ушла со сцены. Ей на смену пришла славная, верная заветам Рабочей Красной гвардии Красная рабоче-крестьянская армия».

А отец жил все там же, на Васильевском острове. Но квартира пустела, так же как пустел город. Шалаев с семьей уехал на Урал, Сольц был в Москве, брат воевал на юге. Макс Мельничанский приехал в январе из Москвы на съезд профсоюзов, рассказывал, как во время московских событий (в октябре — ноябре) его арестовали юнкера и чуть не расстреляли. Народ из Питера уезжал: рабочие уходили с отрядами, обыватели спешили кто куда: на юг, на восток, подальше из беспокойного, голодного города. Почти каждая запись в дневнике Павла в эту зиму начинается так: «Воды нет, электричество не горит», «Трамваи не ходят», «Хлебный паек уменьшен с 1/2 ф. до 3/8 ф.».

10 марта 1918 года питерский период в жизни отца кончился: Всероссийская коллегия переехала в Москву. Все Советское правительство переехало тогда в Москву. В апреле В. Трифонов, как представитель Наркомвоена, должен был отправиться на Урал для организации Уральской армии, но затем Наркомвоен неожиданно изменил свое решение. Ночью 23 апреля было решено отправить В. Трифонова на юг, где наступали немцы.

Когда начинаются войны, конца их не видит никто. Весной 1918 года мало кто мог предположить, что борьба с контрреволюцией затянется почти на четыре года. «Левые» грезили мировой революцией. Впрочем, мировой революцией грезили в те дни все, но «левые» ждали ее как манну небесную, как решение всех проблем. Ленин сказал на Седьмом съезде партии: «Бросьте иллюзии, за которые вас жизнь наказала и еще больше накажет. Перед нами вырисовывается эпоха тягчайших поражений, она налицо, с ней надо уметь считаться...» Так мог сказать человек гениальной зоркости, каким был Ленин. Обыкновенные люди живут, подчиняясь законам бессознательного оптимизма, необходимого для жизни так же, как кислород, как вода, как одежда, спасающая от холода.

Весной 1918 года громадное большинство жителей России считало, что все революции, какие могут быть

в одной стране, уже совершились и бесконечная война, разруха, голод, страдания близки к концу. Многим казалось, например, что стоит остановить немцев, сбросить в море немногочисленных интервентов и разгромить кое-где контрреволюционные банды, и гражданская война закончится.

Из Москвы на юг с ужасающей медленностью тянулся поезд: шесть классных вагонов, четыре теплушки и две платформы с машинами. На каждой станции стояли подолгу, телеграфировали в Москву, чтобы нажать на начальников станций, телеграфировали на юг, чтобы узнать, не занят ли путь немцами. В поезде кроме чрезвычайного представителя Наркомвоена В. Трифонова ехали комиссары, командиры красногвардейских отрядов (ехал, например, первый комиссар Петропавловской крепости Тер-Арутюнянц, которого товарищи звали просто «Тер»), агитаторы, военные специалисты, примкнувшие к революции, и латышские стрелки — среди них Литке, Лукс, Пецгольц, прошедшие с отцом почти всю гражданскую войну. Поезд направлялся в Ростов. Но на станции Грязи выяснилось, что путь на Ростов с севера отрезан немцами, единственная возможность попасть в донскую столицу — далекий, кружной путь через Царицын, Тихорецкую, с юга.

30 апреля поезд прибыл в Царицын. В этот же день Трифонов принимал участие в заседании Царицынского штаба обороны, председателем которого был Минин. На заседании делал доклад Крачковский, начальник отряда «III Интернационал», о положении на Чирском фронте, где советские войска дрались с кадетами. Из штаба удалось связаться по телефону со станцией Тихорецкой и узнать, что путь до нее свободен. Вечером, вернувшись из штаба на вокзал, Трифонов нашел на путях вновь подошедший поезд: комиссар Никольский с отрядом в 60 человек направлялся в Кубанскую область за продовольствием.

Взбаламученный и коварный юг, где все бродило, все было неясно и непрочно, имел только один устойчивый запах: он пахнул хлебом. На станциях перед Царицыном впервые появился белый хлеб. Люди из поезда, который пробился сюда из голодной столицы, смотрели на лепешки и караваи грубо испеченного деревенского хлеба с горечью и надеждой: он был для них не едой, а спасением. Он должен был спасти революцию. Но для этого надо было защитить юг.

Трифонов и Никольский решили соединить оба поезда и ехать до Ростова вместе. На другой день, 1 мая, в Царицыне произошла праздничная демонстрация, или, как тогда говорили, манифестация. На площади собралось около десяти тысяч человек, выступал Минин, выступали и агитаторы из поезда Трифонова. Поздно вечером выехали на Тихорецкую.

Все эти подробности — не вымысел и не туманные отзвуки рассказов, слышанных когда-то от отца. Это сведения из дневника Павла, которого В. Трифонов взял с собой в качестве адъютанта. Недавний петроградский школьник со старательностью Нестора продолжал вести запись всех происходящих событий — и больших, и малых. Конечно, во многие важные соображения и дела В. Трифонов не посвящал чересчур юного адъютанта, а если во что и посвящал, то Павел, как опытный, несмотря на молодость, конспиратор, не стал бы доверять эти важные соображения своему дневнику. Но ценность дневника заключалась в том, что записи делались с замечательной регулярностью в течение четырех лет: с начала семнадцатого года до двадцать первого года. Почти все это время, особенно в период гражданской войны, начиная с поездки на юг и потом на Восточном фронте, на Юго-Восточном фронте и Кавказском П. Лурье сопровождал отца в качестве адъютанта [1].

И теперь, когда я пытаюсь восстановить майскую поездку на юг и понять, в чем ее суть, я нахожу в дневнике Павла подробный, расписанный по дням и даже часам маршрут В. Трифонова по Северному Кавказу и Донской области, вижу имена людей, с которыми В. Трифонов встречался и вел переговоры, и среди них громкие имена Автономова, Сорокина и других, но о чем велись эти переговоры и чем они кончались, понять из дневника трудно. Иногда попросту невозможно. Дневник Павла военных лет напоминает судовой журнал, где тщательно отмечено передвижение корабля, но ничего не сказано о мыслях и переживаниях команды и пассажиров. Но и на том спасибо громадное. О сути дела можно догадаться по другим источникам, например по телеграммам и разговорам по прямому проводу, которые сохранились в архивах.

---

[1] П. А. Лурье, член партии с 1917 года, живет сейчас в Москве. По профессии он инженер, участник Отечественной войны, персональный пенсионер.

Май 1918 года на юге — что может быть сложней, многослойней, запутанней, невероятней во всей истории гражданской войны! Пожалуй, только Баку в тот же период или чуть раньше может сравниться с Доном и Кубанью по запутанности ситуации. На всех дорогах юга гремела стрельба. Казалось, воевали все против всех. С запада наседали немцы, и никто не знал, где они остановятся. Первые немецкие десанты высадились в середине мая на Тамани. Высадились хозяйственно по-немецки, с сельскими машинами, гребли, косили, хапали, прессовали, увозили в голодный фатерланд все подряд: зерно, мясо, шерсть, солому, полову. На Дону и по всему Северному Кавказу советские войска вели непрерывные бои с кадетами и бандами восставших казаков, «восстанцев». Шайки головорезов под черными анархистскими знаменами мотались по степям и железным дорогам, и логика их поступков была дика и темна: то они остервенело дрались с немцами, то поворачивали оружие против Советов, то просто грабили кого попало, убивали и умирали в пьяном угаре неизвестно за что. Среди горских племен, где воспламенился национализм, тоже стали возникать разные банды, шайки и союзы, которые подкармливала Антанта. Антанта преследовала свои цели. Немцы — свои. Турки тоже были не прочь погреть руки у кавказского костра: они вошли в Закавказье и зарились на Осетию и Дагестан. Белая гвардия стремилась задушить большевиков какими угодно средствами и чьими угодно руками, хотя бы руками казаков, которые в конечном счете стремились совсем не к тому, к чему стремилась белая гвардия.

И, кроме того, во всей этой кровавой сутолоке, во всех лагерях были еще честолюбцы, наполеонишки, которые преследовали свои личные цели. Это было время авантюристов, калифов на час. Это было время, когда возникали и лопались целые призрачные государства. Это была первая послеоктябрьская весна, бушевавшая как молодое вино, и никто не мог знать, какой будет вкус у этого вина через месяц или через год.

Отец был послан на юг с мандатом чрезвычайного представителя Наркомвоена. В замысел Наркомвоена входило поднять донское казачество на борьбу против немцев, однако осуществить этот замысел не удалось.

2 мая поезд В. Трифонова двигался по Владикавказской железной дороге к Тихорецкой. На пути встре-

тился поезд Центроштаба Донецкого бассейна, направлявшийся в Царицын: первые признаки того вала, который откатывался с запада под ударами немцев. Последние верст сто перед Тихорецкой ползли совсем медленно, этот отрезок пути считался опасным из-за бродивших вокруг шаек корниловцев. (Белогвардейцев на Кубани все еще называли «корниловцами», хотя генерал Корнилов был убит в апреле в боях под Екатеринодаром и его заменил Деникин.) Утром приехали в Тихорецкую.

Вести из Ростова были тревожные: немцы захватили весь Крым, стояли в четырех верстах от Таганрога, под Таганрогом шел бой. Значит, не остановились на Украине, рвутся дальше, на территории Российской Федерации. Значит, война тяжкая, надолго.

В Новочеркасске вспыхнуло контрреволюционное восстание Голубова, но было быстро подавлено. В. Трифонов решил ехать в Ростов, взяв с собой лишь девять человек, а весь поезд оставить в Тихорецкой.

4 мая на рассвете, пробившись сквозь встречный поток эшелонов, отступавших с севера, добрались наконец до Ростова. Там шла спешная эвакуация, вокзал был забит, молоденький и совершенно одуревший комендант станции, недавний питерский студент, орал и отбивался от окружавших его, размахивавших наганами представителей разных отрядов, каждый из которых требовал отправить его эшелон в первую очередь. В городе то и дело начиналась стрельба, и никто не мог понять, кто стреляет: то ли подошедшие немцы, то ли белогвардейцы из отряда Дроздовского или местные контрреволюционеры. Неясно представляли это и в штабе. Командующий Первой Украинской революционной армией Харченко был занят эвакуацией, стремясь навести хоть какой-то порядок, в этом помогал ему Орджоникидзе, находившийся в Ростове как чрезвычайный комиссар юга России. Отец был знаком с Серго по Питеру, здесь их пути сошлись вновь, а в дальнейшем они много дружно работали вместе на Кавказском фронте.

К середине дня 4 мая удалось эвакуировать основную массу отрядов.

Павел записал в дневнике, что в три часа дня, когда он вместе с В. Трифоновым пошел в Палас-отель, где помещался ростовский Совет, там уже никого не было, все уехали на вокзал. У входа стояли швейцары и лакеи, ухмылялись: «Все удрали!»

ров из отряда Дроздовского, но уже через несколько часов, ночью, их вышибли части Второй Украинской армии, прорвавшиеся к Ростову с севера, из Новочеркасска. Командовал Второй Украинской революционной армией Бондаренко; Трифонов встретился с ним утром 5 мая. (Этот Бондаренко зимой 1919 года был в штабе 9-й Донской кавдивизии, которую Евгений Трифонов формировал тогда в Саратове.) Ростовский вокзал вновь запрудили войска. Теперь тут распоряжался комиссар по эвакуации города Новочеркасска, прибывший сюда с частями Второй армии. Эвакуация продолжалась несколько дней в чудовищном беспорядке. Город горел, на вокзале свирепствовали мародеры. Вся эта катастрофическая суматоха была вызвана не только стремительным продвижением немцев, но и тем, что советские части на Дону и Кубани не имели единого командования. Об этом говорится в одной из телеграмм В. Трифонова в Москву, в Наркомвоен.

Из Ростова В. Трифонов выехал 5 мая в одном вагоне с командармом Харченко, молодым здоровенным парнем. Оба украинских командарма, Бондаренко и Харченко, слушались Трифонова безотказно: действовал мандат Наркомвоена. Мандат был большой, с печатями и написан могучим слогом. И Трифонов то и дело его вытаскивал. В том же вагоне ехал Савин-Мокроусов, впоследствии известный крымский партизан; он был ранен, то стонал, то шутил, то начинал вдруг упрашивать Трифонова передать в Москве привет Чичерину: «Он меня знает, мы были в эмиграции в Лондоне, обязательно передайте ему привет от Савина-Мокроусова!» Это было так важно в ту ночь, когда никто не мог сказать, доедет ли Трифонов не только до Москвы, но даже до Тихорецкой. В Батайске поезд застрял. На станции, вокруг станции сидели, дремали, лежали вповалку смертельно усталые солдаты Тираспольского полка: те, что с боями прошли через всю Украину с румынского фронта. Командир тираспольцев Княгницкий ждал какой-то эшелон, который должен подойти утром. Трифонов поехал дальше на паровозе.

На том же паровозе оказалась «знаменитая» Маруся Никифорова, начальница отряда анархистов, молодая пьянчужка и психопатка. Еще недавно воспитанница Смольного института, а ныне прославленная атаманша любила разъезжать по Ростову в белой черкеске с га-

зырями и белой лохматой папахе,— ехала тихая, трезвая, в солдатской шинельке. Отряд ее растрепали немцы, вместе с нею ехали лишь несколько солдат. Однако через неделю, добравшись до Царицына, Маруся приняла участие в бешеном анархистском бунте, который поднял Петренко.

Но тогда, на паровозе, этого не знали. Была холодная ночь, с ветром, все жались к котлу, чтобы погреться. Кованая немецкая волна гнала без разбора, мяла под себя Дон, Россию, революцию, всех. В Тихорецкой стоял так называемый начальник войск Северного Кавказа Сорокин. В то время еще никто не знал, что он проявит себя как изменник и будет расстрелян не далее как через год. Тогда он кричал, командовал, распоряжался и грозил расстрелом, как другие. И на него тоже кричали, не желали ему подчиняться и грозили расстрелом. Трагедией момента было то, что слишком много людей распоряжалось.

Между тем Новочеркасск взяли восставшие казаки, а 8 мая немцы взяли Ростов. Совнарком еще 17 апреля специальным декретом предписал разоружать все войска, переходящие из Украины на территорию Российской Советской Республики. По предложению Трифонова была создана комиссия по разоружению в составе Харченко, Тер-Арутюнянца, Аронштама и представителя от Сорокина. Однако, несмотря на выполнение этого условия советской стороной, немцы продолжали наступать в глубь Советской России.

Сложность обстановки становится ясной из нескольких телеграмм Трифонова в Наркомвоен. Копии этих телеграмм находятся в фондах Центрального музея Советской Армии.

«9 мая 1918 г.
Военная вне всякой очереди.
Москва Ново-Лесной переулок Наркомвоен
Троцкому Подвойскому.

Считаю нецелесообразным вмешательство из прекрасного далека в местные дела не зная обстоятельств при которых приходится работать... Своими распоряжениями вы вносите дезорганизацию в наладившуюся было работу. Положение здесь чрезвычайно сложное и запутанное. Отступающие из Украины войска до 40 тыс. совершенно дезорганизованы и деморализованы. Нужен большой

такт и политическая опытность чтобы не вызвать катастрофы. Распоряжающихся органов здесь четыре или больше: 3 командующих армиями Антонова-Овсеенко. Главнокомандующий Кубанью Автономов, Главком Донской Ковалев. Вследствие оторванности от России существует стремление к большей самостоятельности. Нужно постепенно и планомерно вводить и людей и события в русло. Дело у меня налаживается... Вносить дезорганизацию не следует тем более, что по отношению ко мне это будет уже не первый раз...

Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

Серго выехал из Ростова 8 мая и направился в Царицын. По дороге он вступил в бой с отрядом анархиста Петренко, который похитил ценности, вывезенные в свое время из екатеринодарского банка: несколько десятков миллионов рублей золотом. С частью этого золота потом пришлось повозиться отцу, поэтому расскажу о нем поподробнее. Эпизод с петренковской авантюрой описан в книге З. Орджоникидзе «Путь большевика». Серго организовал погоню за похитителями. Банду анархистов и левых эсеров удалось догнать на бронепоезде где-то около Сарепты, большая часть золота была спасена.

Не так давно я получил письмо из Днепропетровска от Л. С. Годзиевской, свидетельницы всей этой головокружительной и похожей на киносюжет истории. Она ехала в поезде, в котором везли ценности. Ее муж, Д. А. Дунин, был комиссаром финансов Донской республики. Привожу письмо Л. С. Годзиевской,— вернее, два ее письма, дополняющие одно другое,— как документ времени, рисующий довольно характерную картинку того периода гражданской войны, мая 1918 года.

«От Д. А. Дунина я узнала, что в Екатеринодар из Ростова прибыли ценности, изъятые у буржуазии из сейфов, плюс золотой фонд Ростовской республики на сумму 400 миллионов рублей в золотом исчислении. Ценности были в двух вагонах, товарных. Этот груз был направлен в Екатеринодар, так как к Ростову подходили немцы. А в день прибытия все эти ценности по постановлению Совдепа Екатеринодара были отправлены срочно в Царицын. Сопровождать этот груз было поручено комиссару финансов Д. А. Дунину. Ему были вручены соответствующие мандаты, и он же был назна-

чен комендантом поезда с двумя помощниками. На сборы дали 2—3 часа. В сумерках я прибыла на вокзал — там уже стоял мощный паровоз, два классных вагона, два с ценностями, опломбированных, 20 красноармейцев, два пулемета. В один из товарных вагонов погрузили ценности Государственного банка.

До Тихорецка мы домчались быстро, и Дунин отправился к начальнику войск Северного Кавказа Сорокину, без разрешения которого никто не имел права двигаться по железной дороге. Через час были получены в штабе Сорокина разрешение и пропуск следовать до Царицына, куда мы должны были прибыть в течение 24 часов.

На станции Торговая, за Батайском, нас окружил так называемый «1-й левоэсеровский революционный полк», три эшелона бандитов численностью в 785 человек. Запломбированные вагоны вызвали у бандитов подозрение. Вооруженные буквально до зубов, они вырывают из рук дежурного по станции жезл и свой первый эшелон пропускают вперед. Так мы очутились у них «в плену» — позади нас еще два эшелона. Выхода не было. Надо было двигаться вперед, так как из Ростова были сведения, что вот-вот город будет занят немцами. Мы поняли, что попали в беду.

К вечеру на станции Гнило-Аксайская бандиты устроили нам крушение: пустили навстречу нашему паровозу несколько пустых вагонов, и наш состав на полном ходу врезался в эти вагоны. Паровоз встал на дыбы, сошел с рельсов, мы все попадали с диванов, наступила тишина, и через 5—10 минут к нам в вагон ворвались вооруженные до зубов и сразу же набросились на Дунина, потребовав от него документы, как от коменданта поезда. Не дожидаясь ответа, с отборной руганью тут же стали его избивать, избили до полусмерти, арестовали и его помощников. И тут же их увели с гиканьем и криками: «В штаб Духонина!» Это был мягкий вагон, в котором находился начальник штаба — я не уверена в том, что это был Петренко,— среднего роста еще молодой человек в офицерской шинели, рядом с ним сестра милосердия, его любовница. В руках у него находились все документы и мандаты, отобранные у Дунина, все они подвергались резкой критике. Петренко не верил ни единому слову, он глумился надо всем и всеми. Нас обвинили в том, что мы белогвардейцы, что ценности мы где-то награбили и что все мы

подлежим расстрелу. В таком ужасе нас держали около трех суток, продолжая очень медленно двигаться вперед. Мы все находились в одном вагоне под стражей. Нас ограбили до нитки. Пить не давали, умываться не давали, кормили сыром (иногда) и держали под угрозой расстрела.

На одной из станций, уже на подступах к Сарепте, бандиты устроили митинг и постановили, что, поскольку деньги народные, они должны принадлежать народу, надо делить, и баста. И начали делить. Открыт был вагон, где были золотые монеты. Кто их раздавал, нам не было видно из окна вагона, но мы видели, как бандиты их прятали: они снимали с себя сапоги, запихивали деньги в портянки, завязывали в тряпье и подвешивали под колени, прятали в ножны. Вагон же с ценностями из Ростова не трогали.

Картина была потрясающая. Нас выгоняли всех в поле, но мы отказались идти, так как решили, что бандиты из пулеметов всех расстреляют. Среди нас была жена одного комиссара, ожидавшая ребенка. Вот в этот самый отчаянный момент подоспела помощь со стороны Серго Орджоникидзе. Он и тов. Дунаевский, комиссар из Ростова (впоследствии расстрелянный Сорокиным в Пятигорске), вместе с воинскими частями, оставившими Ростов, нас всех спасли. Три эшелона бандитов были окружены, разоружены (оружие всех видов и родов лежало горой до самых крыш вагонов), обысканы. Значительная часть золота была тут же изъята, и только небольшая часть пропала со сбежавшими в поле. Нас, женщин, отвели в вагон Серго... Тут же был организован военно-полевой суд в составе пяти человек: Серго Орджоникидзе, тт. Дунаевского, Дунина и еще двух (фамилий не помню), и у вагона, где я находилась, на моих глазах семь бандитов были расстреляны, в том числе и начальник штаба левоэсеровского полка. Я его очень хорошо запомнила, в серой офицерской шинели — надо отдать ему справедливость, умирал он мужественно. С разрешения комвзвода он подошел вплотную к красноармейцам, раскрыл, вернее, распахнул свою шинель, кричал все время: «Братцы, стреляйте только в грудь!» Так он шел спиной к полю и рухнул под пулями последним.

Таким образом спас нас всех, в том числе и меня, от верной смерти Серго. Нас привезли в Царицын. И в ту же ночь Царицын стала осаждать и бомбить

знаменитая Маруся Никифорова. Оставаться было опасно, никто не мог сказать, в чем дело, полная информация отсутствовала, и меня Дунин буквально последним пароходом отправил в Саратов, а сам возвратился в Царицын для участия в государственной комиссии по сдаче ценностей. Вот так схематически обстояло дело с хищением ценностей в сумме 400 миллионов рублей».

Л. С. Годзиевская пишет не совсем точно: два эшелона бандитов, возглавляемые, по-видимому, самим Петренко, сумели прорваться к Царицыну. Трое суток шел настоящий бой на улицах города, и лишь 12 мая мятеж был ликвидирован и золото возвращено Государственному банку.

Орджоникидзе и Трифонов, как два чрезвычайных комиссара, разделили сферы действий: Орджоникидзе поехал из Ростова в Царицын, а Трифонов — на юг, в Екатеринодар и Новороссийск.

В Екатеринодаре Трифонов намеревался переговорить с Автономовым, главкомом Кубанской республики, но того не было в городе. Вечером 10 мая Трифонов вместе с секретарем ростовского Совета Равиковичем выехал в Новороссийск и прибыл туда ночью. Несмотря на ночные часы, в городе шла гульба, по улицам шатались ватаги моряков, горланили песни.

Весь ушедший из Севастополя Черноморский флот стоял в Новороссийском порту. Севастополь был взят немцами, и они радиотелеграммой потребовали, чтобы корабли вернулись в Севастополь,— иначе угрожали продолжать наступление на Кавказ. В штабе Трифонов встретил наркома почт и телеграфа Н. П. Глебова-Авилова и местного партийного работника Островскую, они обрисовали положение, достаточно напряженное: флот находился в западне. Немецкие подводные лодки подходили к самому входу в Новороссийскую бухту, немецкие аэропланы летали над бухтой. В случае наступления немцев по берегу не было ни достаточных сил для сопротивления, ни укреплений у города. Внушало тревогу и политическое положение. Командовавший флотом адмирал Саблин определенно реставрировал на кораблях старые порядки, начиная с того, что поднял старый андреевский флаг. Под покровительством Саблина оживало реакционное офицерство.

Работа большевиков с матросами затруднялась бедой, общей для всей периферии: оторванностью от цен-

тра, отсутствием регулярной информации и политического руководства. На флоте не было комиссара — эту должность упразднил проходивший в марте Второй общечерноморский съезд. И местных большевиков тревожило то, что команды все подпадали под влияние офицерства, среди которого были сильны эсеры, меньшевики, скрытые контрреволюционеры, склонявшие матросов к тому, чтобы вернуть корабли в Севастополь. Новороссийск был плохо приспособлен для военного флота. Но и уходить было некуда: все порты Черного моря уже захватили враги.

Большевики предвидели трагический исход: топить флот. Через несколько дней, 18 июня, это было сделано под руководством посланного Лениным Ф. Раскольникова, и эсминец «Керчь» послал прощальное радио: «Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии». Но в тот день, когда Трифонов приехал в Новороссийск, был в штабе и разговаривал на броненосце с командующим флотом Саблиным, этот исход еще не казался единственно возможным.

Невозможным было только одно: отдавать флот Германии. Трифонов понял, что командование флотом стоит на пороге жизненно важных решений и оставлять Саблина без комиссара нельзя. В телеграмме, посланной уже из Царицына, 17 мая, Трифонов предложил назначить двух политических комиссаров в Черноморский флот и назвал две фамилии, в том числе Глебова-Авилова. Это совпало с решением центра: еще 14 мая Глебов-Авилов был назначен главным комиссаром Черноморского флота и в тот день, когда Трифонов давал эту телеграмму, уже приступил к исполнению обязанностей.

12 мая из Новороссийска Трифонов отправил в Наркомвоен телеграмму:

> «Москва Ново-Лесной переулок Наркомвоен Троцкому, копия Александровский вокзал поезд Военного Совета Бонч-Бруевичу.
>
> Сегодня прибыл в Новороссийск. Пробуду день или два и через Екатеринодар Тихорецкую если позволят обстоятельства выеду в Москву. Наши войска занимают позиции у Батайска...
>
> Принимаются меры военного характера. Помимо того принимаю меры для ликвидации граждан-

ской войны мирными путями. Гарантирую повстанцам безопасность и свободный проезд до любого пограничного пункта.

Телеграфируйте свое мнение по этому вопросу Екатеринодар Чрезвычайный штаб обороны мне.

Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

Из телеграммы от 9 мая явствует, что у Трифонова складывались неблестящие отношения с Наркомвоеном, и в частности с Троцким. Вступать с Троцким в конфликт было дело нехитрое: его терпеть не могли военные, фронтовые работники. Впрочем, и у отца характер был не из легких. Он был слишком независим, обо всем составлял собственное мнение и отстаивал его с большим упорством.

Мне известно из одного письма к Е. Трифонову, написанного в конце мая 1918 года, о том, что неважные отношения сложились у отца и с Антоновым-Овсеенко, и с Юреневым, хотя с обоими он тесно работал еще в Питере, в красногвардейский период. В этом письме много интересного, но приводить его мне не хочется, потому что и Антонов-Овсеенко, и Юренев, и Трифонов, при всех их разногласиях, теперь как бы сравнялись судьбой.

Они могли спорить, могли не любить друг друга, могли ошибаться и заблуждаться, что свойственно людям, но они делали одно дело: революцию. И были преданы этому делу. И погибли за него.

14 мая Трифонов приехал в Екатеринодар и встретился наконец с главкомом войск Северного Кавказа Автономовым, который только что вернулся из Армавира. Между ЦИК Кубанской республики и Автономовым в это время уже назревал конфликт, который вскоре едва не дошел до вооруженного столкновения. Еще более явно обнаружилась в эти дни вражда между Сорокиным и местным Советом в Тихорецкой. Оба военных деятеля проявляли открытый бонапартизм, не желали подчиняться ни Москве, ни местным партийным организациям. В роли командующих они оказались беспомощны, зато под флагом борьбы с контрреволюцией расстреливали людей направо и налево, пытаясь как будто бы наладить дисциплину, а на самом деле еще более сгущали сумбур.

Трифонов старался укротить чересчур самостоятельных военкомов. В Тихорецкой он решительно встал на

сторону местного Совета в его споре с Сорокиным и предотвратил едва не начавшееся кровопролитие. Из Тихорецкой же 15 мая Трифонов отправил шифрованную телеграмму в Екатеринодар, на имя военкома Кубанской республики Иванова, где среди непонятных цифровых строк имеется такая фраза: «Никаких расстрелов не производить, никаких приказов не издавать».

17 мая, приехав из Тихорецкой в Царицын, Трифонов направил в Москву, в Наркомвоен, такую телеграмму:

> «Сообщаю Царицына. Объездил всю Кубанскую и Черноморскую области. Положение очень сложное, запутанное и серьезное. Автономов командующий войсками никуда не годится в оперативном отношении. Операциями никто не занимается и меньше всего ими занимается командующий. Я ультимативно поставил перед кубанскими организациями требование сменить командующего. Временно командующим выдвинул Калнина нач-ка отряда действующего на побережье. Нужно чтобы вы подтвердили мое требование. Считаю необходимым мой приезд в Москву ряд вопросов необходимо выяснить. Думаю дождаться Снесарева. Сообщите когда он выехал где находится в настоящее время. В Царицыне нужно создать окружной и оперативный центр объединив организации Снесарева и Центроюга эвакуированного из Донецкого бассейна. Необходимо назначить двух политических комиссаров к командующему флотом Саблину. Выдвигаю Авилова-Глебова живущего в Новороссийске и бывшего морского офицера Симичева...
>
> Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

Сохранилась телеграмма Орджоникидзе Ленину, посланная из Царицына 22 мая: «С Автономовым покончено. Командование он сдает Калнину. Автономов выедет в Москву. Моя просьба его не отталкивать и дать работу в Москве, сам он, как человек, безусловно не заслуживает того, чтобы отбросить от себя...» [1]

Серго ошибся. С Автономовым еще не было покон-

---

[1]. Орджоникидзе З. Путь большевика, с. 211.

чено. На другой день, 23 мая, были отправлены следующие телеграммы:

«Военная вне всякой очереди Москва.

Наркомвоен Троцкому.

Чрезвычайный Кубанско-Черноморский штаб обороны отстранил в согласии со мной Автономова. Автономов не подчинился и объявил штаб шпионами. Положение грозит осложниться. Необходимо, чтобы вы подтвердили отстранение Автономова приказом для опубликования.

Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

«Военная вне всякой очереди,

Екатеринодар Штаб обороны Тихорецкая. Автономову...

...Именем Совета Народных Комиссаров Российской Федеративной Социалистической республики в интересах защиты российской социалистической революции от нашествия контрреволюционных банд отечественного и иностранного происхождения предписывается Автономову немедленно подчиниться Постановлению Штаба обороны. Сложить звание главнокомандующего и ждать распоряжения Народного комиссара Троцкого. Всякое противодействие и междуусобица будет расцениваться как измена и предательство революции.

Чрезвычайные комиссары
Орджоникидзе Трифонов».

В Музее обороны Царицына-Волгограда сохранилась телеграмма Орджоникидзе в Москву от того же числа — 23 мая 1918 года:

«Москва. Кремль. Ленину и Сталину.

Положение осложняется, ни в коем случае Автономова не поддерживайте. Немедленно распорядитесь об его отстранении. Положение здесь неважное — нужны решительные меры, а местные товарищи слишком дряблы: всякое желание помочь рассматривается как вмешательство в местные дела. На станции стоят 6 маршрутных поездов хлеба в Москву и Питер и не отправляются. Минин выехал в Москву. До приезда Трифонова,

который выехал сегодня, никаких мер не принимайте. Еще раз повторяю, что нужны самые решительные меры: вокруг Царицына бушует контрреволюция.

Орджоникидзе».

Автономов был вынужден подчиниться, сдал командование, и его конфликт с ЦИК разбирался на Третьем съезде Советов Кубани и Черноморья. Затем Автономов по предложению Орджоникидзе отправился в Москву, где снова получил назначение на военную работу на Северный Кавказ — разумеется, уже не в качестве главкома. Он честно воевал с белыми и в феврале 1919 года в горах, во время отступления, умер от тифа.

Отец пробыл в Царицыне всего несколько дней, виделся там с братом: в конце мая Евгений Трифонов находился на Царицынском фронте.

В. Трифонова отзывали в Москву, чтобы направить на Урал, где неожиданно возникла новая опасность: мятеж чехословаков. И снова — медленный, громоздкий поезд со множеством прицепившихся попутчиков: сербская миссия, тихорецкая делегация, какие-то французские врачи и сестры и царицынский комиссар финансов Соколов, который вез в Москву ценности — те самые, которые были эвакуированы из Ростова, которые похитил бандит Петренко и которые снова удалось отбить с помощью Серго.

В воскресенье 26 мая, вечером, преодолев все опасности, много раз отбиваясь от вооруженных банд, поезд подошел к Москве. Издали было видно большое зарево: в Сокольниках горели заводы и склады снарядов. Поезд остановился в пяти верстах от города. Отец пошел в город пешком...

Путь на Урал был долгий: сначала надо было доехать до Петрограда, оттуда через Вологду и Вятку в Екатеринбург. Туда из Питера уже отправился отряд эстонцев в 1000 человек и несколько других отрядов. В одном поезде с отцом выехали на Урал Смилга, Павлов со своим отрядом (тот самый Владимир Павлов, который был в «инициативной пятерке») и отряд рабочих в 300 человек, присоединившийся в Петрограде. В этом же поезде втайне от всех было отправлено золото Ростовского банка, которое Трифонову было поручено спрятать в надежном месте на Урале. Время было тревожное, пра-

вительство решило вывезти эти ценности из Москвы. В письме к брату Евгению, о котором я упоминал, написанном 31 мая, вскоре после прибытия в Москву с юга, и где с горечью говорится о новом столкновении с Наркомвоеном («Когда я приехал в Москву, уже все вопросы были решены. Когда я потребовал перерешения, то, конечно, и Троцкий и вся прочая братия встала на дыбы»...), есть, между прочим, упоминание о ростовском золоте: «Неожиданно меня Свердлов попросил поехать на Урал с ценностями».

Перед Череповцом, ночью, какие-то вооруженные толпы напали на поезд, хотели отбить вагоны с продовольствием. Произошла перестрелка, бандиты разбежались. На станции было оставлено сто человек петроградского отряда. После Перми встречали на дороге составы с «красными финнами», беженцами из Финляндии, где белогвардейцы с помощью германского десанта в апреле и мае разгромили Советы и теперь творили расправу над революционерами. На станции Шаля встретили поезд товарища Токоя, председателя финляндского Совета народных уполномоченных. Все это были довольно мрачные встречи и невеселые разговоры. Из газет, которые достали в Перми, стало известно, что немцы на юге взяли Батайск, а чехословаки продолжают наступать.

8 июня поезд прибыл в Екатеринбург. С этого времени в течение почти целого года жизнь В. Трифонова была связана с тяжелейшей борьбой на Восточном фронте — одной из самых драматических страниц истории гражданской войны. Если называть официальные должности, то отец был начальником формирования Уральской армии, начальником Камской флотилии, членом Реввоенсовета Третьей армии, оставаясь все время членом коллегии Наркомвоена. А что происходило на Урале и в Сибири?

Чехословацкий мятеж вспыхнул в конце мая. В русских лагерях в 1917 году находилось до двухсот тысяч военнопленных чехов и словаков, из числа которых сформировался корпус для переброски во Францию, на Западный германский фронт. Это была затея Антанты. Командование корпуса обратилось к Советскому правительству с просьбой разрешить частям корпуса проследовать до Владивостока, чтобы оттуда морским путем переправиться в Европу. Это был долгий, но единственно возможный путь во Францию, и Советское правительство дало согласие.

Эшелоны чехословацких войск постепенно растянулись по всему пути от Пензы до Владивостока. К концу мая в корпусе насчитывалось до 50 тысяч человек. Мятеж был заранее продуман и тщательно подготовлен, ибо выступления произошли одновременно во многих городах. Подобно электрическому току, бегущему по проводу, волна мятежа прокатилась по всей Транссибирской дороге: один за другим или почти одновременно пали Челябинск, Пенза, Сызрань, Томск, Курган, Новониколаевск. Об истинных вдохновителях не приходилось гадать. О них прямо говорилось в статье «Французские миллионы», напечатанной в июне 1918 года в центральном органе Чехословацкой коммунистической партии «Прукопник свободы», выходившем в Москве. Ленин цитировал эту статью в своей знаменитой речи 29 июля на объединенном заседании ВЦИК, где он раскрыл перед миром заговор Антанты: «От 7 марта до дня выступления вожди Национального чешского совета получили от французского и английского правительства около 15 миллионов, и за эти деньги была продана чехословацкая армия французским и английским империалистам».

В июне, когда В. Трифонов приехал в Екатеринбург, чехословаки, взяв Челябинск, уже двигались по направлению к уральской столице, белогвардейцы заняли Нижний Тагил и Невьянск, а на южном Урале в оренбургских степях орудовал атаман Дутов. Всему этому валу контрреволюции противостояли разрозненные, полупартизанские и малочисленные силы Восточного фронта, которым командовал Муравьев, бывший царский капитан и левый эсер. 6 июля левые эсеры подняли мятеж в Москве. Бомбой был убит германский посол Мирбах. Мятеж подавили быстро, но ЦК левых эсеров успел отдать распоряжение Муравьеву снять войска с фронта и направить в Москву. Войска не поддержали изменника. Муравьев был застрелен в Симбирске 11 июля, в самом начале своей авантюры. Новым командующим фронтом стал Вацетис.

Большевики спешно организовывали военную силу, способную остановить наступление чехов и белых. 20 июля 1918 года — день, когда родилась Третья армия, впоследствии прославившая себя многими боевыми делами. Военная судьба отца на востоке тесно связана с этой армией, он стал членом ее Реввоенсовета — правда, не сразу, а спустя несколько месяцев, в трудное вре-

мя, когда армия отступала. Командующим Третьей армией был назначен Р. И. Берзин, в Военный совет, кроме Р. И. Берзина, вошли М. М. Лашевич и И. Т. Смилга, начальником политотдела армии стал Ф. И. Голощекин, старый большевик, участник Пражской конференции.

В. Трифонов занимался в это время созданием Камской флотилии и организацией на заводе в Мотовилихе производства бронепоездов. В Перми было задержано огромное количество всякого военного имущества, эвакуированного с германского фронта: оружие, снаряды, кавалерийское снаряжение, обмундирование, продовольствие. Все это какая-то специальная снабженческая организация (каких было много, и самых таинственных и непонятных в ту пору) направляла куда-то на восток, в Сибирь. Не белым ли? Среди этого имущества были обнаружены заграничные морские орудия, разнообразные, вплоть до шестидюймовых пушек «Кане». Трифонов затребовал из Петрограда группу матросов-артиллеристов, вскоре прибыло десять человек. Некоторые из них принесли большую пользу Камской флотилии. Тяжелые пушки «Кане» ставились на баржи, а более легкие орудия устанавливались на специальные понтоны японского происхождения, которые двигались при помощи бензино-керосиновых моторов.

Не менее важным и таким же новым делом было оборудование бронепоездов на Мотовилихе. Всего было построено четыре бронепоезда, они хорошо показали себя в боях.

В течение нескольких недель в июле и августе отец исподволь занимался поисками места для схоронения ценностей. На Мотовилихинском заводе были заказаны двенадцать железных ящиков, но два оказались лишними, все поместилось в десяти. (Я помню с детства один из этих ящиков, оказавшихся лишним: он стоял под большим отцовским письменным столом в его кабинете и всегда был заперт — отец хранил там оружие.) Так как белые наступали, 11 августа чехи взяли Казань и положение становилось все более критическим, было решено как можно скорее спрятать ценности. Кстати, красноармейцы уже начали подозревать, что в тяжелых ящиках, которые так часто перевозят с места на место, хранится что-то серьезное. Особенно догадливы были немцы из интернационального отряда, которым чаще других поручалась охрана ящиков. «Гольд! Гольд!» — говорили они, посмеиваясь. Скверно одетые, полуголодные, измучен-

ные непрерывными боями люди без конца таскали за собой огромное богатство, принадлежавшее республике. В конце августа его спрятали в одном из домов в городе Лысьве. Ночью приехали с телегой четверо: Трифонов, Голощекин, председатель Перми Новоселов и Белобородов (месяц назад расстрелявший Николая Романова в Екатеринбурге) и лично зарыли ящики в подвале дома. Наутро в этот дом въехала и разместилась там ничего не подозревавшая воинская часть. К концу года Лысьва была занята колчаковцами, а после гражданской войны за ценностями приехал от Наркомфина Н. Н. Крестинский и все благополучно нашел.

Отряд интернационалистов, о котором я упоминал выше, играл заметную роль на Восточном фронте. Вернее, таких отрядов было несколько, и один из первых организовал Бела Кун, будущий вождь венгерской революции. Бела Кун был комиссаром бригады Третьей армии. Сольц рассказывал, как вскоре после Февральской революции, когда редактировал газету «Социал-демократ», в Москве к нему в редакцию, в гостиницу «Дрезден», пришел солдат в австрийской шинели, пленный, и сказал, что он венгерский социал-демократ и хочет сотрудничать с русскими революционерами, может проводить работу среди австрийских пленных. Это был Бела Кун. На Восточный фронт, в Пермь, он приехал 6 августа из Москвы вместе с Лашевичем и Залуцким.

П. Лурье вспоминает о том, как Кун, человек южный, страдал от суровых уральских холодов и ходил в двух кожаных куртках. Когда его спрашивали, почему он так странно одевается, он говорил шутливо: «Я весь простужен! Два зима на фронте, польтора года в Сибири, один зима здесь!»

Однако все эти не привыкшие к уральским морозам люди, мадьяры, чехи и немцы, заброшенные в глубочайшую российскую глушь вселенским вихрем, показывали в боях самоотверженность и преданность революции.

Первые интернационалисты, с которыми В. Трифонов встретился, были три австрийских солдата, присоединившиеся в мае 1918 года в Царицыне к Дружковскому отряду — это был отряд донецких рабочих из Дружковки, человек пятьдесят. Они выехали с В. Трифоновым из Царицына в Москву, отправились вместе с ним на Восточный фронт и сопровождали его больше восьми месяцев. Командовал Дружковским отрядом И. Чибисенко. Между прочим, из трех австрийских

солдат никто не был настоящим австрийцем: Прокопчук был русин, Юзеф Шруб чех, а Франц Мужина итальянец. Они, как и большинство интернационалистов, уехали на родину в ноябре 1918 года, когда пришла весть о революции в Австро-Венгрии.

Был в Третьей армии такой чех — Франц Каплан, командир речной флотилии интернационалистов. Флотилия — это сказано, правда, довольно громко, она состояла из одного парохода и трех понтонов с пушками и пулеметами — всю осень отважно воевала с белогвардейцами, теряя в боях один понтон за другим. В ноябре Каплан с помощью мотовилихинских рабочих оборудовал бронированный пароход с шестидюймовыми пушками. Франц Каплан был человек веселый, шутник, фантазер. После революции в Германии он, например, фантазировал: как можно устроить революцию в Чехии? «Это очень просто. Самые революционные рабочие живут в Кладно, недалеко от Праги. Надо только иметь много денег, подкупить всех пражских шоферов, и пусть они сразу выедут в Кладно. Там рабочие сядут на машины — вот и готова подвижная армия революции!»

В декабре 1918 года, в трудные дни колчаковского наступления на Пермь, Франц Каплан был комиссаром по охране пермского моста. В ночь на 11 декабря на него совершили нападение, он был ранен и вскоре поехал на родину. Впрочем, через год Франц неожиданно появился перед В. Трифоновым в Саратове, в штабе Юго-Восточного фронта,— оказалось, до родины он так и не добрался, воевал на Украине.

Все в том же отцовском сундуке, где лежали карты, сохранилось несколько полевых книжек — небольших тетрадей с обложками из твердого, глянцевитого картона, на которых типографским способом написано «Полевая книжка» и напечатана марка издательства «Воин», выпускавшего эти книжки по заказу, вероятно, еще царской армии. В полевых книжках сохранились копии многих приказов, предписаний, телеграмм и донесений, написанных В. Трифоновым на фронте. Много среди этиг бумаг просто деловых, будничных и малоинтересных записей военного быта.

Впрочем, по-своему интересна, конечно, любая запись, датированная 1918 годом. В каждой сохраняется неповторимое: язык, запах, дыхание, напряжение того времени, и даже удивительно, как все это угадывается в

самых простых строчках какой-нибудь просьбы о присылке «двух пудов бензина» или приказа о «предъявителе сего т. Брутте, который командируется в Питер за папиросами и табаком».

Вот, например, предписание, посланное В. Трифоновым начальнику Петроградского продовольственного отряда 21 июня 1918 года.

> «Отряду предписывается остаться в Перми для обучения военному строю и обращению с оружием. Условия денежного и иного довольствия, заключенные с Петроградской коммуной, остаются в силе; военный комиссариат берет на себя только руководство обучением и оперативное руководство. Дружинники отряда, согласные на эти условия, остаются в Перми, остальные должны немедленно вернуться в Питер. Наркомвоен *В. Трифонов*».

Обычно он подписывался просто «В. Трифонов» или «член коллегии Наркомвоен В. Трифонов», но иногда для краткости и, по-видимому, большей внушительности — «Наркомвоен В. Трифонов». В случае с Петроградским продовольственным отрядом понадобился, как видно, последний род подписи. Этот рабочий отряд, прибывший в Пермь в июне, вел себя весьма вольно и независимо, и потребовались усилия, чтобы привести его к порядку. В другой депеше, относящейся к сентябрю 1918 года и направленной В. Трифоновым в пермскую ЧК, говорится о том, что мобилизованная для окопных работ «праздношатающаяся публика» должна быть передана в распоряжение Военного комиссариата не позже 12 часов 12 сентября для отправки на работу.

Много документов посвящено подготовке бронепоездов на Мотовилихе и бронированных понтонов. Ввиду наступления чехов этой работе придавалось большое значение, она делалась крайне спешно. Опытных, преданных делу инженеров и механиков, которые могли бы правильно организовать производство, было мало, надежных людей, можно сказать, не было вовсе, ибо заводские специалисты в лучшем случае были настроены нейтрально, а некоторые не скрывали своей враждебности к новой власти. Впрочем, большинство из них просто разбежалось. В. Трифонов стал энергично разыскивать — и разыскал — механиков и техников среди интернационалистов.

Вот несколько телеграмм и предписаний, говорящих о лихорадочной подготовке бронепоездов и понтонов и о важной роли, которую сыграли тут интернационалисты.

«22 июня 1918 г.
Областной военком Анучину, Голощекину.
Штаб фронта Берзину.

По указаниям полученным из Екатеринбурга платформы обшиваются двойной броней по 3/8 дюйма каждая. Двойная обшивка задержит работы на несколько месяцев. Задержка абсолютно недопустимая тем более, что та броня, которой обшивают платформы, теперь 1/2 дюйма не пробивается винтовочной пулей из расстояния 25 шагов. Было пять испытаний разных плавок, и все дали одни и те же результаты. Я дал заводоуправлению указания, чтобы заготовка производилась с расчетом, что платформы покрываются одним рядом брони 1/2 дюйма. Необходимо ваше подтверждение. Четыре первые платформы будут готовы ко вторнику 25, первый паровоз к будущему вторнику. Вероятно, первые платформы пошлем с простым паровозом. Наркомвоен *Трифонов*».

«27 июня.
Берзину, Голощекину.

Нам крайне необходим томский интернационалист тов. Лоренц. Необходим он для организации бронированных поездов. Чем скорее вы его пришлете, тем скорее будут готовы поезда. Я вам телеграфировал об этом несколько раз, но все безрезультатно. *В. Трифонов*».

Уже в начале июля был готов первый бронепоезд: это ясно из предписания от 5 июля Петрову, который назначался комиссаром 1-го Пермского бронированного поезда и был обязан следить за тем, чтобы «поезд беспрепятственно продвигался до Екатеринбурга, где он должен быть передан в распоряжение командующего фронтом тов. Берзина». Между тем работа по подготовке других поездов, бронеплатформ и понтонов продолжалась, и интернационалисты были тут по-прежнему главными действующими лицами. В записке от 8 июля начальнику отряда интернационалистов Бартмусу Три-

фонов называет пятерых, по-видимому австрийцев, Эльхмана, Гофмана, Гааза, Шимона и СааразГЕорга, которых предписывалось направить для работ в качестве механиков на понтонах.

Интересна телеграмма, посланная 24 сентября 1918 года в Управснаб Третьей армии.

> «Тов. Ишмаеву.
>
> Прошу, товарищ, сделать все возможное для отряда интернационалистов Камской флотилии. Они чуть ли не в единственном числе держат теперь фронт на Каме. Отряд очень боевой и верный. Они просят теплого обмундирования, сапог и 4 револьвера. Они все время находятся в воде, и сапоги им нужны. Сделайте, товарищ, что можно.
>
> *В. Трифонов».*

Есть и такое печальное сообщение:

> «Речная флотилия интернационалистов потеряла в сражении все свое имущество: их пароход и два понтона потоплены неприятелем. Им необходимо выдать все обмундирование на 120 человек.
>
> *В. Трифонов».*

Среди интернационалистов был известен пламенный агитатор Рейнер, командир батареи, состоявшей из мадьяр и немцев. Он попал в плен к белым и был убит после зверских пыток. Одним из батальонов командовал Ференц Мюнних, нынешний член правительства Венгерской народной республики.

Вот небольшой эпизод, характеризующий и интернационалистов, и военный быт, и нравы того времени. Под Лысьвой один наш отряд самовольно отступил с фронта. Приказано было его разоружить. По ошибке заодно разоружили и отведенную в г. Лысьву на отдых роту интернационалистов. Когда разобрались, оружие им вернули — все, кроме четырех пулеметов, ибо по тогдашним понятиям это была слишком большая роскошь. Командир роты пришел в вагон В. Трифонова, бывшего тогда в Лысьве, и доказывал, что эти «четыре пулемьета, четыре «ма́ксима» взяты ими в боях, законные трофеи. «Мы готовы отказаться от отдыха и немедленно выступить, только отдайте эти четыре пулемьета, четыре «ма́ксима». Он все время повторял, чуть ли не со слезами: «четыре пулемьета, четыре «ма́ксима!»

В числе самых мужественных и стойких бойцов Уральского фронта были латышские стрелки. Группа латышских стрелков из 6-го и 4-го латышских полков начала работать с В. Трифоновым с весны 1918 года, со времени Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии. Это были молодые парни, смелые, надежные, исполнительные. Люди, которые работали с В. Трифоновым, «прилеплялись» к нему всей душой и старались отовсюду, куда бы их ни забрасывала военная судьба, разыскать его и вернуться под его начало. Вот так же разыскал В. Трифонова и пришел к нему в Саратове громадный веселый чех Франц Каплан.

А я помню, как некоторые из латышских стрелков, такие, как Иван Иванович Лукс, Эрнест Иванович Литке и другие, появлялись в нашей квартире на улице Серафимовича еще в тридцатые годы. Отец чем-то помогал им, то одному, то другому, устраивал на работу...

И как странно теперь, почти через тридцать лет после того, как я последний раз видел Литке,— совсем не помню его лица, помню только, что был он очень долговяз, рыж, в гимнастерке с широким армейским поясом, в сапогах, помню разговоры о нем, полушутливые, добродушные,— читать про него в «Полевой книжке». В октябре 1918 года Литке был командиром полка особого назначения, и В. Трифонов часто отдавал ему разного рода письменные распоряжения и приказания, иногда довольно грозные. В одной записи, например, за какое-то нарушение дисциплины он грозил предать весь командный состав полка суду полевого трибунала.

Давно нет в живых отца, сгинул куда-то и Литке, и едва не погибли старые полевые книжки, в которых отпечаталась эта далекая, взбудораженная, кому-то уже непонятная сейчас жизнь. Зачем же я ворошу ее страницы? Они волнуют меня. И не только потому, что они об отце и о людях, которых я знал, но и потому, что они о времени, когда все начиналось. Когда начинались мы.

В середине октября 1918 года В. Трифонова вызвали для доклада в Москву. В одном вагоне с ним ехал Бела Кун. Говорили о мировом пожаре: он должен был вспыхнуть вот-вот. Европа уже дымилась. В Болгарии разразилось солдатское восстание. Турция и Болгария вышли из войны. Кайзер в панике шел на уступки социал-демократам, в Венгрии пахло порохом, и Бела Кун говорил, что родина зовет его.

И правда, он скоро уехал: в ноябре в Австрии произошла революция.

В Москве В. Трифонов тяжело заболел испанкой. Болел долго, был при смерти. Не видел, как Москва праздновала первую годовщину революции, как были иллюминованы здания, стреляли ракеты, разъезжали автомобили с оркестрами, как над Театральной площадью два аэроплана разбрасывали прокламации, а на Советской площади вместо памятника Скобелеву открыли обелиск в честь Октябрьской революции. Все это видел Павел и описал очень подробно. По городу Павел разъезжал верхом на лошади. Вечером он ходил в театры. Во всех театрах по случаю праздника шли революционные пьесы: в театре Зимина шла опера «Фиделио», из эпохи Французской революции. В домах было холодно, не топили. Отец никак не мог побороть болезнь, началось воспаление легких. Он бредил, был очень плох. Его перевезли в закрытом автомобиле в квартиру Сольца на Немецкую улицу. Он был плох не только от болезни, но и от мыслей: там, откуда он приехал, было тяжело, он рвался туда, он не имел права оставаться в иллюминованной столице да еще умирать здесь. И надо же заболеть в такой миг истории, когда наконец началось!

9 ноября грянуло в Германии. Вильгельм отрекся. В Берлине и других городах выбраны Советы рабочих и солдатских депутатов.

Из дневника Павла:

«11 ноября.

Москва. В 6 ч. пошел в Большой театр, где состоится концерт только для советских деятелей и членов партии. Я получил билет в ложу газ. «Правда». На улицах манифестации по поводу германской революции. Перед концертом т. Ленин сообщил последние телеграммы. В Берлине войска восстали, власть перешла к Совету. Шейдемановцы составляют общесоциалистическое правительство поровну правых и независимых с.-д. В Баварии власть перешла к Советам. В Ковне германский солдатский Совет принял верховное командование Восточного фронта. По всей Украине восстания германо-австрийских войск, организуются Советы.

Ленин сказал краткую речь, потом говорили Свердлов и Каменев. Начался концерт. Оркестр играл 6-ю симфонию Чайковского, потом было пение, балет, дек-

ламация (выступали Качалов, Москвин и др.), 4-й акт оперы «Садко», 2-я сцена оперы «Фиделио». Видел т. Островскую. Пришел домой в 2 ч. ночи. Приехал В. Павлов и Л. Пылаева из Перми, ночевали в эшелоне. Павлов поступает в Академию Ген. штаба».

Через десять дней приехал с Южного фронта Евгений Трифонов — его тоже вызвали в Академию Генштаба. Братья не успели толком поговорить: в конце ноября отец, выздоровев, выехал на Урал, где белые начали наступать.

В ту пору В. Трифонов был довольно молод — в восемнадцатом году ему исполнилось тридцать,— но его звали «Дед» даже те, кто были значительно старше. Он был среднего роста, сильный, коренастый: физическую силу развил постоянными, с юности, со времен ссылок, упражнениями с гирями. По характеру он был человек молчаливый, сдержанный, даже несколько мрачноватый, не любил, что называется, «выдвигаться».

Замкнутость, как черту характера отца, увидела Лариса Рейснер, побывавшая с флотилией на Волге в 1919 году и написавшая книгу «Фронт»:

«Осколок разбитого чертом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами. В сильном и умном человеке, великолепном большевике и солдате революции немного скучно желание обмануть себя и других — изобразить свое крупное «я» самым сереньким, самым будничным человечьим пятном. Но бурный 1919 год через все логические дырки прорастает веселой зеленой травой; неудержимый ветер времени рвет серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня все так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувств».

Сказано красиво, ярко, даже несколько пышно, как писала Рейснер, но что-то в этом отрывке верно угадано. Это «что-то» — неумение и нежелание таких людей, как отец (а он являл собою довольно типичный образ русского революционера), делать так называемую политическую карьеру, добиваться личной популярности. Свойство таких людей — оставаться в тени.

Отец был прирожденный организатор. Везде, где бы он ни работал, он тащил громоздкий воз — воз организации, будь то организация Красной гвардии, или Камской флотилии, или производства бронепоездов на Мотовилихе, или же просто упорная будничная бесконечная работа по созданию армии на юге, на востоке и на Кавказе.

Когда Лариса Рейснер встретила В. Трифонова на Волге, самые тяжелые дни Восточного фронта уже миновали. Позади были отступление, лютые морозы конца декабря, потеря Перми — то, что называлось потом «пермской катастрофой». В Перми, в день эвакуации, Трифонова нашел в штабе старый приятель, пермский старожил Борис Шалаев, спрашивал: как быть? Жена боялась с двумя малыми детьми бежать из города, да еще при таком морозе. «Нашел его в доме Мешкова, куда перебрался штаб,— вспоминает Шалаев.— Еле удалось до него дозвониться. При моем появлении он торопливо подошел ко мне и сразу сказал: положение резко изменилось к худшему, подробностей он передать не может. Об эвакуации теперь не может быть и речи. Он и сам не знает еще, уцелеет ли в создавшейся обстановке. «Ты, как инженер, можешь уцелеть и при белых, а в случае чего найдешь ход к партизанам,— сказал он.— Ну, убьют, значит, не увидимся, а жив буду — значит, увидимся!» И мы расстались, а всего через каких-нибудь восемь часов уже загремели первые выстрелы белых на противоположной окраине города».

Не думаю, чтобы этот мимолетный, в суматохе, разговор со старым и внезапно появившимся товарищем по ссылке особенно запомнился отцу. Но других воспоминаний у меня нет. А в дневнике Павла и вовсе две строчки: «Эвакуация Перми. Скоро уезжаем. Кунгур взят белыми. Сильный мороз — 30°».

Позади были горечь ухода, гибель друзей и то, что было потом,— мучительная перестройка Третьей армии, приезд комиссии ЦК в лице Дзержинского и Сталина с целью расследования причин «катастрофы». В ноябре 1918 года, в самый тяжкий для Восточного фронта период, В. Трифонов был назначен членом Реввоенсовета Третьей армии. Вместе с командующим и другими руководящими работниками армии он принял основной критический удар комиссии ЦК.

О трудностях, с которыми столкнулись большевики Восточного фронта, можно судить по докладу В. Три-

фонова в Военно-революционный совет. С этим докладом В. Трифонов приехал в Москву, он написан в октябре — ноябре 1918 года, то есть еще до потери Перми, до приезда комиссии ЦК. Он подводит итоги пятимесячной работы. Доклад обширен, приводить его целиком не имеет смысла, но интересны первые страницы, где рисуется картина того, как создавалась Третья армия и в каких условиях это делалось.

«3 июня,— пишет В. Трифонов,— я прибыл на чехословацкий фронт. В распоряжении Уральских военных организаций в это время находилось всего несколько совершенно недисциплинированных красноармейских рот.

Моя поездка на Урал в апреле была отменена потому, что на Урале военная организация стоит очень высоко — так мне сказали в Военном комиссариате. Чехословацкий мятеж показал, насколько все это было пустыми разговорами. Урал мог выставить ничтожные десятки вооруженных лиц, войска же на Урале не было. Я об этом телеграфировал Народному комиссариату сейчас же по приезде, 8 июня, прося прислать 2 батареи и батальон пехоты. Указывал на спешность и необходимость присылки и неизбежность неудач в случае отказа. Ни артиллерии, ни пехоты не было прислано, по крайней мере в течение ближайшего месяца... За все 5 месяцев моего пребывания на Урале нам было прислано около 6 тысяч штыков, цифра эта совершенно ничтожная по сравнению с силами, действующими против нас. Нам пришлось напрячь все силы, поднять весь Урал для того, чтобы хотя бы отступать в такой постепенности и в таком порядке, в каком отступали мы...»

В отчете комиссии ЦК поражения Третьей армии объяснялись недостатками в командовании, слабостью тыла, непрочными резервами, то есть всем тем, что само собой разумеется, когда речь идет об отступлении:

«Морально-боевое состояние армии было плачевное благодаря усталости частей от бессменных 6-месячных боев. Резервов не было никаких... довольствование армии было случайное и необеспеченное (в самую трудную минуту стремительного натиска на 29-ю дивизию части этой дивизии пять суток отбивались буквально без хлеба и прочих продуктов продовольствия...)». 11 декабря Трифонов, член Реввоенсовета Третьей армии, заявляет Смилге (Востфронт) по прямому проводу: «Весьма вероятно, что мы в ближайшие дни вынуждены

будем оставить Пермь. Достаточно двух-трех крепких полков. Попытайтесь вытянуть из Вятки или из ближайшего пункта». Ответ Смилги (Востфронт):

«Подкреплений не будет. Главком отказал помогать».

Венцом отчета комиссии было весьма характерное для Сталина бюрократическое предложение: создать еще одну специальную контрольно-ревизионную комиссию, которая могла бы «дополнять работу центра по подтягиванию работников». При этом все же надо сказать, что приезд комиссии ЦК принес безусловную пользу войскам Восточного фронта: были мобилизованы коммунисты и рабочие Урала, созданы новые части, например Вятский батальон ВЧК, лыжный отряд в тысячу человек, улучшилось снабжение. Вообще успех комиссии был подготовлен работой, которую проделали большевики Третьей армии, уральские коммунисты. Лашевич был снят с командования как не справившийся с управлением армией в сложной обстановке.

Третья армия вовсе не была в таком плачевном состоянии, как об этом можно было подумать, прочитав отчет. Она доказала это очень скоро, весною 1919 года, когда, устояв против превосходящих сил Колчака, сама перешла в победоносное наступление и 1 июля освободила Пермь, захватив огромные трофеи, а 14 июля был освобожден Екатеринбург. Историки прошлых лет, угодничая перед Сталиным, изображали победы Третьей армии как результат приезда чудодейственной комиссии, которая, дескать, «навела порядок» в армии. Сталина изображали чуть ли не спасителем Восточного фронта. На самом же деле ясно, что никакие комиссии не могли бы спасти фронт, если бы не было здоровой, боеспособной армии. Такая армия была. В труднейших условиях, ценою временного и постепенного отступления, она сумела сохранить свои силы и боеспособность и уже в январе 1919 года на ряде участков перешла в наступление.

В рядах Третьей армии прославились такие замечательные командиры, как В. К. Блюхер, братья Н. и И. Каширины, бывшие офицеры казачьих войск, честно воевавшие за дело революции, как И. С. Павлищев, военспец старой армии, героически погибший в бою с колчаковцами, как Н. Д. Томин и другие.

Историк С. Ф. Найда в своей книге «О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР», вышед-

шей в 1958 году, писал: «Говоря о причинах падения Перми, наши историки очень часто давали неверную оценку Третьей армии. Авторы, как правило, ограничивались общими замечаниями вроде того, что руководство армии было плохое, что войска этой армии дрогнули, отступили и т. д. О боевой истории Третьей армии, о ее личном составе, о беспримерных подвигах ее бойцов и командиров во всех предыдущих боях обычно не говорилось или почти не говорилось. Не выяснялась и роль Третьей армии в октябрьско-ноябрьских боях 1918 года, а также в январских боях 1919 года».

В. Трифонов пробыл на Восточном фронте, оставаясь членом Реввоенсовета Третьей армии, до конца мая 1919 года. К этому времени положение на Восточном фронте значительно улучшилось. В апреле, после известного Пленума ЦК, на котором решались вопросы укрепления армии и ее политорганов и где В. И. Ленин особо говорил о необходимости усилить Третью армию, тяжело пострадавшую в зимних боях под Пермью, на восток, для борьбы с Колчаком, стали прибывать все новые отряды мобилизованных рабочих, поезда с оружием, боеприпасами.

Страна и партия напрягали все силы, чтобы укрепить фронт борьбы с Колчаком, ибо на востоке решалась судьба революции.

В марте и апреле, когда наступал Колчак, Восточный фронт превратился в главный фронт республики. Ленин лично следил за каждой частью, отправлявшейся на восток. Известна его телеграмма В. Л. Панюшкину от 12 апреля 1919 года: «Ваше промедление с погрузкой и отправкой становится непонятным. Поймите, что малейшее промедление преступно. Никакое недоснабжение не оправдывает. Выезжайте и вывозите вашу воинскую часть во что бы то ни стало немедленно. *Предсовнаркома Ленин*».

С Панюшкиным связан эпизод, весьма характерный для тех дней, когда партизанская лихость и революционный азарт сталкивались с дисциплиной, с необходимостью подчиняться начальству, пускай не столь ярко и пышно революционному, но понимающему толк в военных науках.

Отряд Панюшкина, того самого боевого и отчаянного матроса, которого В. Трифонов и Павел помнили еще по Питеру, прибыл в Вятку в конце апреля. Отряд был преобразован в бригаду Особого назначения. Почти

сейчас же штаб бригады вступил в конфликт с Реввоенсоветом Третьей армии, не желая подчиняться контролю. Короткая история «приведения в чувство» бригады изложена в телеграмме Реввоенсовета Третьей армии, направленной по трем адресам: предреввоенсовета республики Троцкому, главкому Вацетису, комвосту Каменеву.

«Для приведения полков бригады Особого назначения (быв. отряд Панюшкина) в порядок была назначена особая инспекция под общим руководством Мрачковского. До приезда Панюшкина инспекции удалось сломить сопротивление командного состава Особой бригады, протестовавшего против ввода в полки нового комсостава, имеющего специальное военное образование, и введения дисциплины. Но приехал Панюшкин, и наладившаяся было работа немедленно расстроилась. Панюшкин распорядился по бригаде не выполнять приказы Военсовета армии, т. к. бригада, по словам Панюшкина, подчиняется только Совету обороны и Реввоенсовету республики. Аналогичное заявление было послано Панюшкиным в Военсовет армии. Такое заявление Ответственного Политического Руководителя (так именовался Панюшкин в документе, выданном Склянским), имеющего специальные полномочия от Реввоенсовета республики и специальные телефонограммы от т. Ленина, не могло не произвести впечатления на комсостав бригады. Командующий состав отказался от принятия командиров, данных армий, и от исполнения указаний инспекции армии. Для ограждения бригады от влияния Панюшкина Военсовет приказал Панюшкину к 24 часам 29 апреля выехать из района расположения армии. 30 апреля, однако, было установлено, что Панюшкин не выехал из Вятки, а по-прежнему находится в штабе бригады. Тогда же было узнано, что в штабе бригады находится также и бывший комиссар бригады Смирнов, приговоренный к условному расстрелу и получивший распоряжение выехать на фронт в качестве красноармейца. Военсовет приказал Панюшкину и Смирнову явиться в помещение Совета. Панюшкин немедленно явился, Смирнов же явиться отказался. Двухкратная посылка в штаб бригады коменданта штаба армии за Смирновым не привела ни к чему, причем находящиеся в штабе бригады чины штаба не только не способствовали выполнению приказа Совета,

а, наоборот, чинили коменданту штаба препятствия и вели себя вызывающе.

Военный Совет решил арестовать всех находящихся в штабе бригады. Для того чтобы обеспечить безболезненное выполнение приказа об аресте, было решено караульным батальоном отделить штаб бригады от расквартирования ее частей. Арест был произведен ночью, и арестованные, а также Панюшкин были отправлены в караульное помещение. Среди арестованных бывшего комиссара Смирнова не оказалось. Он сбежал. Части бригады, узнав об аресте штаба, волновались. Днем 30-го они начали сосредоточиваться на Советской площади с целью предъявления Военсовету армии ультимативного требования об освобождении штаба. Однако усилиями представителей Совета удалось части отправить по казармам. К вечеру Панюшкин и все арестованные дали обещание исполнять беспрекословно все приказания Военсовета, и арестованные были освобождены. На специально созванном собрании комсостава бригады Панюшкин указал на пагубность поведения его самого и комсостава и призывал к беспрекословному повиновению. Бригада успокоилась. Меры к розыску Смирнова принимаются. Предположено завтра начать переброску бригады. Реввоенсовет 3-й армии *Меженинов, Трифонов*»[1].

Остается добавить, что холодный реввоенсоветовский душ оказался полезным для Панюшкина: впоследствии он мужественно, дисциплинированно и честно воевал на фронтах гражданской войны.

Эпизод с Панюшкиным, сам по себе не очень значительный, показался мне интересным, так как он рисует сложные обстоятельства, в которых приходилось действовать комиссарам фронтов. Кроме того, на имя Панюшкина я натолкнулся еще раз совсем недавно: в журнале «Знамя», № 9 за 1964 год, где были помещены «Колымские записи» Г. Шелеста. В рассказе «Новички» — из жизни колымских ссыльных сороковых годов — говорится о бригадире Василии Лукиче Панюшкине, «спокойном и проницательном старике». Г. Шелест пишет о нем с большим уважением. В. Л. Панюшкин входил в состав подпольного лагерного «политбюро».

---

[1] Архив Центрального музея Советской Армии. Фонд В. Трифонова, 16.437, 4/23.313.

Так неожиданно я увидел конец этой бурной судьбы. Впрочем, нет — не конец, не конец! После смерти Сталина В. Л. Панюшкин был реабилитирован, вернулся в Москву, получил персональную пенсию. Он умер несколько лет назад.

Однако вернемся на Восточный фронт, в год 1919-й. В апреле этого года войска Востфронта разделились на две группы — северную и южную. Северной, куда входили Вторая и Третья армии, командовал один из талантливых военачальников, бывший полковник царской армии В. И. Шорин, преданно служивший Советской власти. У В. Трифонова возникли дружеские отношения с Шориным. Через несколько месяцев они вновь встретились на юге, работали вместе в Реввоенсовете Юго-Восточного фронта.

Южной группой Восточного фронта командовал М. В. Фрунзе.

28 апреля войска южной группы перешли в контрнаступление и разгромили колчаковцев под Бугурусланом и Белебеем, а в середине мая стала успешно наступать Вторая армия северной группы.

21 мая В. Трифонов уехал с Урала в Москву получать новое назначение. Его переводили на Южный фронт, где наступал Деникин. Большой опыт работы в армии, год войны на Урале дали В. Трифонову громадный, живой, трагический и в то же время исполненный силы и веры жизненный материал для статьи «Фронт и тыл», которая печаталась в «Правде» в нескольких номерах в июне 1919 года.

Начало статьи было написано в том пафосном, громовом стиле, который выражал дух времени и одинаково годился для литературы, воззваний и митингов на площадях, запруженных толпой.

«Российская Социалистическая Республика находится в состоянии войны со всем буржуазным миром. Плотным кольцом окружили ее границы международные хищники и ждут не дождутся момента, когда можно будет броситься и растерзать молодую Советскую Республику.

Ждут, но не дождутся. Республика ощетинилась сотнями красноармейских штыков, грудью встала ее Красная Армия...»

Но это — только начало, первые три абзаца. А дальше на многих страницах поднимались конкретные вопросы формирования армий, организации тыла, созда-

ния запасных полков, отношения к военспецам и добровольцам и так далее. Одной из самых серьезных в статье В. Трифонова была мысль о том, что необходимо развертывать армии на фронте.

«В тылу,— писал он,— не было достаточной пролетарской основы для развертывания новых формирований. Жизнь давно уже выбросила лучшие боевые пролетарские элементы туда, на фронты, в гущу непосредственной сечи, и в тылу остался жиденький слой пролетариев, необходимый для жизни гражданских учреждений... Пока происходило формирование в тылу громоздких дивизий, фронт истекал кровью. Ряды бойцов редели. Выбивались лучшие полки, состоявшие сплошь из коммунистов. Фронт говорил, кричал, просил пополнений. Получался стереотипный ответ: пополнений нет, мобилизованные идут на укомплектование формирующихся дивизий, подождите конца формирования. Фронт ждал. Формировались дивизии бесконечно долго. Месяцами стояли части без дела, ожидая конца формирования. От безделья разлагались и походя занимались контрреволюцией. На фронт попадали не боевые единицы, а в лучшем случае совершенно разложившиеся части, в худшем же — явно контрреволюционные».

В статье прямо говорилось, что виною этому бюрократические, рутинные методы работы тыловых комиссариатов, которые возглавлялись людьми, «может быть, и очень опытными в военном деле, но мало знакомыми с условиями современной революционной гражданской войны». Нет, статья не была направлена против военспецов. Она была направлена против неправильного их использования — в тылу, в разбухшем до невероятных размеров тылу с бесчисленными канцеляриями, комиссиями, отделами и подотделами, которые поглощали работу тысяч военных специалистов. «На фронте же, вследствие недостатка специалистов, царит партизанщина».

В другом месте кратко говорилось об исторических причинах, которые привели к этому чрезмерному увлечению военно-бюрократическим «порядком», установленным по старым образцам.

«В начале революции были попытки создать армию усилиями только коммунистов по совершенно своеобразным методам и способам строительства. Попытка оказалась неудачной. Создавалась не армия, а вольница,

очень революционная, верная Советской власти вольница, но совершенно недисциплинированная и неспособная к сколько-нибудь регулярным действиям. Первые столкновения с регулярными войсками на западе обнаружили это с достаточной убедительностью. Товарищи, вероятно, помнят трагические дни наступления немцев на Питер. Дни отрезвления и реакции. Они повернули нас на 180° от полной самобытности и оригинальности к старым, испытанным, рутинным способам строительства. Коммунисты и революционеры убедились, что военная организация, военное строительство, военная жизнь обладают какими-то началами, им совершенно чуждыми, но обязательными для всякого, кто берется за строительство армии. Армию можно заставить преследовать коммунистические цели, но нельзя ее строить по-особенному, по-коммунистически. Коммунизм — символ содружества, любви, братства и всепрощения. На этих принципах армию, которая неизбежно несет с собою смерть и разрушение, конечно, не построишь. Истина самоочевидная, аксиома. Аксиома для тех, кто строил уже армии. Для нас, коммунистов, в октябре требовались еще доказательства. Теперь мы, военные коммунисты, в этом бесповоротно убеждены. Ценою многих жизней и потоками крови достались эти убеждения. Теперь мы знаем азбуку военного дела».

Далее В. Трифонов развивал эту мысль, говоря о добровольцах.

«Почти два года работы по созданию вооруженных сил Советской Республики (имелась в виду и работа по организации Красной гвардии, начатая летом 1917 года.— *Ю. Т.*) позволяют мне сделать следующий вывод.

Части, укомплектованные только добровольцами, в условиях регулярной войны в большинстве случаев никуда не годятся. У них нет выдержки, нет способности к систематической, планомерной, сколько-нибудь длительной работе. Бой ведут порывами. Встретив слабое сопротивление, партизаны-добровольцы могут быстро продвинуться вперед, но дружный отпор врага приводит их в замешательство, и они еще быстрей катятся назад, сбивая все на своем пути, захватывая составы и дебоширя.

Факт добровольческого вступления в Красную Армию и несомненная преданность Советской власти порождают чрезмерное уважение к своим собственным особам и обостренное болезненное самолюбие. К окру-

жающим и особенно к военным специалистам добровольцы относятся свысока, не столько подозревая их в контрреволюционности, сколько не веря в их военные таланты и способности. Единственным критерием, определяющим пригодность к командованию и военному руководству, у них служит добровольчество. Военной обработке добровольцы совершенно не поддаются и к дисциплине относятся как к возвращению «старого режима». Сказанного совершенно достаточно для того, чтобы не только признать добровольческие части непригодными к регулярной войне, но и определить их, как элемент, разлагающий регулярную армию.

Повторяю, что это относится к частям, укомплектованным исключительно добровольцами. Картина существенно меняется, когда добровольцы берутся в качестве кадра, на основе которого развертывается воинская часть.

Столкнувшись с элементами, безразличными к Советской власти, приняв их в свою среду, добровольцы очень скоро приходят к выводу, что собственными силами им с мобилизованными не справиться. Искренняя преданность Советской власти заставляет их искать выхода, который позволил бы создать из мобилизованных воинскую часть, способную и желающую защищать интересы рабочих и крестьян. А так как выход напрашивается сам собой, ибо только один выход был, есть и будет для всех армий — военная подготовка и дисциплина,— то среди добровольцев начинается тяга к военным специалистам, тяга к дисциплине. Я знаю полки, развернутые на основе крепкого добровольчества: они взяли у себя совершенно добровольно, без всякого принуждения, жесткую дисциплину, дисциплину николаевских времен. Их дисциплинарный устав предусматривал даже телесные наказания, которые с успехом и довольно широко применялись. Этот казусный случай, извративший, конечно, наше понятие о дисциплине рабоче-крестьянской Красной Армии, находит свое оправдание в обстановке, в которой пришлось оперировать этим полкам. Отрезанные от Советской России, они в течение долгого времени пробивались, окруженные со всех сторон врагами. Нужны были драконовские и героические меры, чтобы части сохранились, не дать им окончательно разложиться. Меры были предприняты самими добровольцами, по своему собственному почину, и полки были спасены».

В. Трифонов имел, вероятно, в виду партизанские полки В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина, которые совершили беспримерный полуторатысячекилометровый переход по степям Казахстана и горам Урала, находясь в окружении контрреволюционных войск, и в сентябре 1918 года соединились на Урале с регулярными частями Красной Армии.

Примером того, как «добровольцы брались в качестве кадра, на основе которого развертывалась воинская часть», является история 40-й Богучарской дивизии. Бывший комиссар этой дивизии И. Я. Врачев живет сейчас в Москве. Он знал отца по Кавказскому фронту. Он рассказал мне интереснейшую историю создания Богучарской дивизии: она была сформирована в 1919 году на Южном фронте, в «гуще непосредственной сечи», и численность ее быстро достигла 13 тысяч человек. Основными кадрами нескольких полков дивизии и в первую очередь 353-го Богучарского полка являлись добровольцы, солдаты и крестьяне Богучарского и других южных уездов Воронежской губернии. На смену выбывавшим из строя бойцам поступали новые — их братья, сыновья и отцы. 40-я Богучарская дивизия пользовалась славой одной из лучших дивизий Южного фронта.

Заканчивалась статья В. Трифонова настойчивым повторением мысли о том, что фронту необходимы маршевые пополнения, а не части, целиком сформированные в тылу. Это было назревшее требование фронта. Еще в мае в связи с положением на юге ЦК дал директиву, где ясно высказывались те же мысли: «ЦК считает важнейшей задачей ближайших двух недель производство мобилизации не менее 20.000 рабочих не для формирования новых частей, а для влития их в лучшие кадры Южного фронта. От успеха этой мобилизации зависит судьба революции...» (Из «Истории гражданской войны», т. 2, с. 386).

Статья «Фронт и тыл» печаталась четырьмя подвалами в газете «Правда» в номерах от 5, 8, 15 и 19 июня 1919 года.

Только десять дней пробыл отец в Москве. 2 июня он выехал на юг, где, не в пример востоку, положение к лету 1919 года резко ухудшилось. Переформировав и укрепив Добрармию, Деникин начал наступление, в се-

редине июня приблизился к Царицыну, взял Сарепту. На Дону бушевало контрреволюционное Вешенское, или, как его называли также, Морозовское восстание. Оно вспыхнуло в марте, быстро охватило почти весь Дон. Подавить его в короткие сроки не удалось. Возникла угроза того, что восставшие соединятся с наступающими войсками Деникина. Насколько серьезной была эта угроза, видно из телеграмм и писем Ленина Южфронту в мае 1919 года.

7 июня В. Трифонов приехал в Козлов, где находился штаб Южного фронта. Дороги юга были забиты, на всех станциях гомонили, орали, дрались, осаждали эшелоны, громоздили узлы, мешки, домашнюю рухлядь тысячные толпы крестьян: это были переселенцы на Дон из Воронежской, Тамбовской, Пензенской губерний. Декрет о переселении на Дон рабочих и крестьян из северных губерний был издан 24 мая, много семей успело переселиться, но еще больше было задержано на дороге из-за наступления Деникина и казачьего восстания. И теперь эти толпы, остановившиеся на полпути, растерянные, измученные и сбитые с толку, не понимали, куда им пробиваться: то ли дальше на юг, то ли назад, к покинутым домам.

Через неделю после прибытия на Южный фронт В. Трифонов получил назначение — комиссаром в Особый Донской экспедиционный корпус, который формировался в районе Бутурлиновки из потрепанных и разбитых красноказачьих частей, отступивших с юга. В 1-ю дивизию корпуса входили также отряды добровольцев-богучарцев. Командиром корпуса был назначен Ф. Миронов. 19 июня В. Трифонов вместе с Ф. Мироновым выехали в Бутурлиновку.

Миронов — одна из ярких, колоритнейших, во многом противоречивых фигур нашей истории. Он был судим, приговорен к расстрелу, помилован, принят в партию большевиков, работал в Донском исполкоме, доблестно командовал Второй Конной армией, награждался орденом Красного Знамени и Почетным революционным оружием, в конце гражданской войны был снова арестован по злостным наветам и убит в тюрьме в апреле 1921 года при обстоятельствах, до сих пор как следует не выясненных. Долгие годы на его имени тяготело клеймо изменника и предателя. Так назван он в книге С. М. Буденного «Пройденный путь», изданной в 1958 году.

Миронов был реабилитирован 15 ноября 1960 года. Первое доброе слово сказал о Миронове в «Неделе» в мае 1961 года, вопреки несправедливой традиции многих лет, журналист В. Гольцев, причем конец очерка В. Гольцева, где сказано, что Миронов пал жертвой необоснованных репрессий, должен был создать у читателей совершенно определенное впечатление, что Миронов погиб в 1937 году, как многие наши военачальники. Миронов, однако, пал жертвой необоснованной репрессии гораздо раньше: в 1921 году.

Меня заинтересовало это имя, так как несколько раз я сталкивался с ним, разбирая отцовский архив. Филипп Кузьмич Миронов, казак станицы Усть-Медведицкой, был человек, безусловно, незаурядный. В годы революции ему было уже под пятьдесят. Он воевал в японскую войну, дослужился до войскового старшины (подполковника) в германскую и вскоре после Октября привел свой 32-й Донской казачий полк с фронта на Дон. В 1918 году Миронов воевал на стороне Советской власти против Краснова, командуя 23-й дивизией, в январе 1919 года возглавил Особую группу войск Южного фронта, но затем получил назначение на запад, в Белорусско-Литовскую армию. Когда вспыхнуло восстание на Дону, весною 1919 года, о Миронове вспомнили, ему поручили формировать Донской казачий корпус. Однако Троцкий не доверял Миронову полностью, вернее, колебался в своем доверии — то доверял, то нет, и этим объяснялась странная волокита с формированием корпуса.

Зимой 1918 года Евгений Трифонов, который тогда был комиссаром «Южной завесы», воевал с Мироновым бок о бок. В своем романе «Каленая тропа» (это, по существу, не роман, а политически бурно, несколько вычурно набросанные воспоминания о гражданской войне) Е. Трифонов так характеризует Миронова:

«Сухим костром полыхают боевые действия Миронова на нашем восточном фланге — вспыхивают и прогорают. Там, под Еланью, ведет свои странные операции Миронов, командир Красной казачьей дивизии. Он — бывший донской войсковой старшина, и кочевой романтизм бродит в его угарной крови. Непостижима степная стратегия красного атамана... Непостижима и кажется безумной.

Безумными кажутся и войска Миронова, его конные таборы. То рассеиваются, как дым, ряды мироновцев —

бойцы, закинув пику за плечо и гнусавя заунывную песню, разъезжаются по своим хуторам и станицам, оставляя одинокого начдива со штабом на открытых позициях. То вновь толпы конных наползают по всем балкам к мироновскому дивизионному значку.

Целыми полками перебегают казаки Миронова обратно к неприятелю, к старым своим господам полковникам. И целыми же полками, с обозами и техникой, снова бегут с белого атаманского Дона в Советскую мироновскую дивизию. Впрочем, поразительно равнодушен красный начдив Миронов и к тем, и к другим: холодно встречает пополнения, текущие к нему с кадетской стороны, и с пренебрежением принимает весть о бегстве своих полков на кадетскую сторону. Он не хочет знать ни дезертиров, ни перебежчиков, реального мира не замечает товарищ Миронов, поглощенный какой-то неистовой идеей».

Эта поэтическая картина относится к заре действий Миронова как начальника дивизии. Впоследствии 23-я мироновская дивизия успешно громила кадетов, гнала Краснова к Новочеркасску. Но в то время, когда Е. Трифонов писал свою книгу (она вышла в ГИЗе в 1932 году), Миронов считался врагом, предателем, расстрелянным в 1921 году. Однако Е. Трифонов избегает таких формулировок. Наверно, просто не верит им. Он рисует Миронова таким, каким видел его, каким представлялся ему Миронов зимой 1918 года. «Кочевой романтизм», «непостижимая степная стратегия», «поглощенный какой-то неистовой идеей», что угодно, но — не измена, не враг.

Среди бумаг отца я нашел занятный документ: листовку, написанную Мироновым и обращенную к красноармейцам. Называется листовка «Товарищ-красноармеец!», напечатана на оберточной бумаге какой-то конфетной фабрики в Бутурлиновке. Стиль этого сочинения раскрывает человека: не очень грамотного, самоучку, любителя помитинговать, покрасоваться, блеснуть перед народом стихами Некрасова, да и собственными тоже, и «умными» фразами, и при этом человека искреннего, горячего, преданного революции. Не могу не привести нескольких обширных цитат из этой листовки. Дело идет о дисциплине, о необходимости ее строжайшим образом укреплять, о борьбе с дезертирством, с невыполнением приказов, мародерством, антисемитской агитацией и т. п.

«...Товарищ-красноармеец! Враг-белогвардеец надвинулся со всех сторон, враг напрягает все силы, враг, пользуясь вышеприведенными нашими недостатками, теснит нас!

И если теперь же не принять решительных мер против этой разнузданности и распущенности в рядах Красной Армии — «земле и воле» грозит тягчайшее испытание.

Таково мое мнение, так думаю я!
Скажи, красноармеец, как думаешь ты?
Нужно ли с этим бороться и если нужно, то скажи как?

Если немедленно не станем с этим бороться, если не возьмем себя и друг друга в руки, то снова осуществятся слова князя Воехотского:

Здесь мужику, что вышел за ворота,
Кровавый труд, кровавая борьба:
За крошку хлеба капля пота,
Вот в двух словах его судьба.
Его удел безграмотство, беспутство,
Убожество и чувством и умом,
Его узда — налоги, труд, рекрутство,
Его утехи — водка с дурманом.

...Я знаю, что значит эксплуатация чужого труда, потому что прошел эту жизненную школу, отдавая молодые силы на службу буржуазии за «насущный кусок хлеба». Я получал 1 руб. в месяц, получал 3 руб. в месяц, получал 8 руб., но за это должен был отдавать от 10 до 12 час. в сутки. Я получал 20 руб. в месяц, но за это от меня требовали работы от 15 до 17 часов в сутки.

Вот почему я не хочу согласиться с князем Воехотским, с судьбой, которую он хочет снова навязать моим детям.

Я знаю, товарищи, что значит кабала, что значит быть в молчании, не имея права голоса даже в то время, как на тебя надевают хомут и когда тебе исполняется 22 года. Вот потому-то я имею право снова поставить тебе, товарищ-красноармеец, следующие вопросы:

1) Прав ли князь Воехотский, что твоя судьба заключается в двух словах: «кровавый труд, кровавая борьба... за крошку хлеба»?

2) Прав ли князь Воехотский, что твой удел «безграмотство, беспутство, убожество и чувством и умом»?

3) Прав ли этот князь, что на тебя нужна снова узда в виде налогов, труда, рекрутства (солдатчины)?

4) Прав ли этот князь, что ты больше «водки с дурманом» никакой утехи не знаешь, не можешь понять и пережить?

Я не верю князю Воехотскому! Народ, совершивший величайшую революцию, народ, сбросивший со своих плеч гнет царя, генерала, помещика, капиталиста, попа и кулака, способен и на дальнейшие подвиги героизма и революционной борьбы.

Но!!!

Вот если ты, гражданин-красноармеец, это «но» перескочишь — ты перешагнешь тогда все!

Надеюсь и убежден, что это письмо товарищи-красноармейцы обсудят в одиночку, обсудят кучками, обсудят взводами и ротами и свои ответы пришлют мне, чтобы я мог судить, как поднять дисциплину в частях и с помощью этой дисциплины совершить такие же подвиги в борьбе с мировой контрреволюцией, какие выпали на мою долю со славною 23-й пехотной дивизией на Южном фронте, в какой действительно была железная дисциплина.

Товарищи-красноармейцы, сознайте, пора уже сознать, что армия без дисциплины быть не может, что победы совершает не человек, а дисциплина. Пора себя взять в руки и научиться меньше рассуждать, а больше делать, ибо этого в данный момент повелительно требует революция. Теперь не время самоволию, за которым идет рабство. Я уже старый человек, но я согласен временно так подчинить себя требованиям дисциплины, чтобы от моего «я» ничего не оставалось в минуты служебного выполнения долга и боевых приказов. Я знаю, что, лишив себя на время воли и сверхволи, в будущем буду вознагражден за временное самолишение и революционное терпение высшею наградою: действительною свободою, которой уже никто угрожать не будет и которая благословит меня на мирный труд.

Проникнитесь, товарищи-красноармейцы, следующими строками:

Счастлив тот, кто умеет летать,
Не боясь ни тумана, ни бури,
Счастлив тот, кто умеет взирать,
Не боясь блеска ясной лазури.

Счастлив тот, кто, взлетая высоко,
Не боится, что может на землю упасть,
Счастлив тот, кто, увидя врага недалеко,
Не боится, что может в его сети попасть...

...Жду же, товарищи-красноармейцы, ваших честных красных писем и постановлений, как ответа революционному голосу. И как только получу, так начнем ковать ту «железную дисциплину», о какой все чаще и чаще стали говорить наши красные газеты.

Только с железною дисциплиной мы победим! Только ею!

Спешите же с ответами, мои друзья по оружию и идее! Спешите, пока еще не поздно!

Командир Особого Корпуса
гражданин *Ф. Миронов*

13 июня 1919».

Как видим, князь Воехотский из некрасовской «Медвежьей охоты» отлично использован для революционной агитации, да и собственные стихи пришлись кстати.

Формирование корпуса тянулось всю вторую половину июня и первую июля, осложненное многими обстоятельствами; главным тяжелым обстоятельством было то, что Деникин продолжал успешно наступать, взял Белгород, Харьков, Екатеринослав и в начале июля — Царицын. Корпус был значительно ослаблен, и его отвели в тыл. В середине июня в Козлов, где помещался штаб Южного фронта, приехал Троцкий. В. Трифонов находился в это время в Козлове.

Сохранилось письмо В. Трифонова, написанное им своему старому другу А. А. Сольцу вскоре после посещения Козлова Троцким.

«Прочитай мое заявление в ЦК партии и скажи свое мнение: стоит ли его передать Ленину? Если стоит, то устрой так, чтобы оно попало к нему. На Юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях, но, к сожалению, пока я это делать не могу. При нравах, которые здесь усвоены, мы никогда войны не кончим, а сами очень быстро скончаемся — от истощения. Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого... бездарнейшего организатора. Публике нашей нужно обратить серьезное внимание. Армию создавал не Троцкий, а мы, рядовые армейские работники. Там, где Троцкий пытался работать, там сейчас же начиналась величайшая путаница. Путанику не место в организме, который должен точно и отчетливо работать, а военное дело именно такой организм

и есть. Ведь только сказать, что из одного эвакуационного пункта отправлено 32 000 тифозных больных,— страшно становится. В каких невероятных условиях должны жить солдаты, чтобы дать такое количество тифозных. Воистину солдаты Красной армии — величайшие герои... Меня хотят втянуть еще в одну авантюру — организацию Казачьей дивизии под командованием авантюриста Миронова. Там, где не хватает организационных талантов, хотят взять хитростью. Безнадежное дело, ибо у них ума так же мало, как и организационных талантов. У меня, друг мой, сейчас такое настроение, что я готов перестрелять всех этих остолопов или себе пустить пулю в лоб. В руках этих идиотов находится судьба величайшей революции — есть от чего сойти с ума. Ну, пока обнимаю.

Валентин».

Письмо написано 3 июля 1919 года. Я привел это случайно сохранившееся письмо для того, чтобы показать, как все было сложно, драматично и накалено до крайности. Люди, которые руководили армиями молодой республики, истекавшей кровью, изнемогали от непосильного напряжения, сталкивались с великим множеством трудностей, и помочь разобраться во всем этом мог только гений Ленина. Ленин был безусловным авторитетом для всех настоящих революционеров. Но Ленин был далеко, в Москве, и посоветоваться с ним не всегда удавалось.

Трифонов, конечно, не перестрелял «всех этих остолопов» и не пустил себе пулю в лоб. Он продолжал делать то, что ему было поручено.

В середине лета 1919 года положение на юге создалось чрезвычайно опасное. Деникин уже ставил перед своим «белым воинством» задачу захвата Москвы. Новый Главком Красной Армии С. С. Каменев, сменивший Вацетиса, разработал по поручению ЦК РКП(б) стратегический план военных действий на юге. План был одобрен ЦК и лично Лениным.

Важнейшие операции возлагались на ударную группу из Девятой и Десятой армий и Конного корпуса С. Буденного, получившую название Особой группы Южного фронта. Командующим этой группы был назначен переведенный с Восточного фронта В. И. Шорин, в Реввоенсовет вошли С. И. Гусев, И. Т. Смилга и В. А. Трифонов.

Наступательные действия Особой группы сыграли важную роль в борьбе с Деникиным, они, по существу, сорвали его стратегический замысел, что он сам признал впоследствии в своих мемуарах. Правда, успех пришел не сразу, несколько тяжелых недель пришлось пережить войскам Южфронта в августе и сентябре, когда в наши тылы ворвался конный корпус Мамонтова и захватил Козлов и Тамбов.

Тут очень пригодился бы корпус, который формировал Миронов в Саранске. Вацетис хорошо понимал это, требуя от Реввоенсовета Южного фронта и Главснаба энергичного содействия Миронову в выполнении возложенной на него задачи. Но дело с корпусом принимало затяжной оборот. Комплектование людьми, снабжение оружием и снаряжением срывалось, во-первых, из-за катастрофического недостатка всего необходимого, во-вторых же, все более назревал конфликт между Мироновым и некоторыми ответственными работниками корпуса, причастными к принесшей много вреда политике «расказачиванья» и необдуманно, без разбору применявшими репрессии против казачества. Негодность этих работников понимал казачий отдел ВЦИКа и предлагал заменить их людьми с более широким политическим кругозором, но замена почему-то затянулась, может быть, из-за нехватки подходящих людей.

А для Миронова, сына Дона, не было больнее вопроса, чем это самое «расказачиванье», компрометировавшее идею пролетарской диктатуры и подогревавшее колебания казачества. Никаким политиком он не был и с горячей прямолинейностью, иногда с перехлестами, дававшими поводы для сомнений в его преданности Советам, вставал на защиту казаков. Как Чапаеву, ему нужен был Фурманов — Фурманова при нем не оказалось. Зато обильно шли доносы в Реввоенсовет фронта и в казачий отдел ВЦИКа: Миронов-де опасен антисоветским нутром — новый атаман Григорьев и вторая григорьевщина не заставит себя ждать, как только атаман выпестует корпус. Корпус еще не был сформирован, а втайне от Миронова шли в верхи ходатайства о расформировании. В этом, надо полагать, и кроется корень высказанного в письме Сольцу взгляда В. Трифонова (да и одного ли Трифонова?) на «авантюризм» Миронова. А Миронов рвался на фронт: деникинцы по-своему расправлялись с семьями его казаков, им нужно было отплатить как можно скорее. Вместо фрон-

та — прозябание в тылу, клевета, улавливаемая чутким ухом, телеграммы и письма, похожие на вопль: «Вы мне не верите, скажите мне прямо, я уйду, не буду мешать, но не держите меня в заточении неизвестности. Мне остается только застрелиться», «Прошу открытой политики со мною и скорейшего заканчивания формирования корпуса», «Я задыхаюсь, меня ждет фронт. Не могу видеть гибель революции».

И вот в конце августа в штаб Девятой армии приходит телеграмма Миронова: «Видя гибель революции и открытый саботаж с формированием корпуса, не могу дальше находиться в бездействии. Выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией».

С четырьмя тысячами пехоты, из которых только две тысячи имели винтовки, и одной тысячью кавалерии Миронов двинулся на фронт. Но этот самовольный шаг, являвшийся одновременно нарушением дисциплины и жестом отчаянья, был теперь воспринят как начало той самой «григорьевщины», о вероятности которой уже были «сигналы». В первый миг, когда стало известно о выступлении Миронова, было полное впечатление мятежа. Об этом свидетельствует и запись в дневнике Павла, сделанная 24 августа в Вольске (В. Трифонов находился в это время в Вольске, в штабе Особой группы Южного фронта). Павел сделал запись шифром, ибо известие было ошеломляющим и тревожным, и многие, наверно, еще о нем не знали. «Корпус Мамонтова из Тамбова отправился к Козлову и взял его. Миронов, который формировал в Саранске казачью дивизию, поднял восстание». Таково было впечатление. Так думали тогда — в августе 1919 года.

Что произошло дальше, известно из мемуаров С. М. Буденного, разоружившего и арестовавшего Миронова. Но при том объяснении, которое дает автор поведению Миронова, кажется странным, что Миронов, уводя корпус к Деникину, как прямо говорится в «Пройденном пути», дал себя разоружить и не сделал даже попытки применить ни одной винтовки, ни одного пулемета и ни одного орудия, которые, хоть и в малом числе, он имел. Правда, корпус Миронова к моменту разоружения значительно поредел. В дневнике Павла есть запись от 14 сентября: «Миронов с 500 всадниками пойман». Так или иначе, Миронов не оказал никакого сопротивления Буденному, и это потому, что

шел он воевать против Деникина, а не против советских войск. Миронов был отправлен в Балашов, где его судили военным судом. Приговорили к расстрелу. Всю ночь Миронов вместе со своими командирами, тоже приговоренными к расстрелу, пел революционные песни, а утром их помиловали, затем расформировали по разным частям.

Дальнейшая судьба Миронова так же фантастична. Осенью 1919 года он приехал в Москву, побывал у Ленина и Дзержинского (кстати, благодаря вмешательству Ленина Миронов был помилован в Балашове). В начале 1920 года Миронова приняли в партию и вскоре направили в Ростов заведующим земельным отделом Ростовского исполкома. (Из дневника Павла известно, что Миронов ехал из Москвы в одном поезде с В. Трифоновым, который возвращался в Ростов с Девятого съезда партии, где был делегатом. Это было 4 апреля 1920 года.) В сентябре 1920 года вновь засверкала звезда Миронова: он назначен командармом Второй конной. В боях под Александровкой и Никополем он громит конницу Врангеля, гонит беляков до Перекопа. Он получает благодарность от Реввоенсовета республики, его награждают орденом Красного Знамени и почетным революционным оружием. И затем — клевета, расстрел, клеймо предателя на четыре десятилетия.

Миронов, конечно, сложная фигура. Все противоречия и сложности этой фигуры являются как бы отражением тех противоречий и сложностей, какие таил в себе «казачий вопрос», вопрос об отношении к казачеству — один из самых больных вопросов революции.

В связи с этим мне хочется вернуться назад, к письму Трифонова Сольцу.

Вначале это письмо просто поразило меня своим тоном: гневным, резким, почти трагическим.

Мы так привыкли, изучая историю в институтах (я учился, когда Сталин еще был жив), к тому, что наши армии двигались от победы к победе, а там, где возникали затруднения, появлялся Сталин — «партия посылала его на самые опасные участки» — и немедленно наводил порядок. И вдруг — какие-то безобразия и преступления, «о которых надо кричать на площадях». О них Трифонов пишет Сольцу, о них сообщает в своем заявлении в ЦК и просит Сольца передать его

Ленину. О чем речь? О штабных безобразиях и о путанице, которую создавал Троцкий в армиях? Об этом существует много свидетельств. Есть, например, письмо Орджоникидзе Ленину, написанное в том же 1919 году и тоже с Южного фронта, где говорится о положении в штабах фронта: «Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством... Где же порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого?! Как же он допустил дело до такого развала? Это, прямо непостижимо...»

Но мне хотелось разыскать заявление Трифонова в ЦК, чтобы понять точно и определенно, что именно возмущало Трифонова. Одно дело — писать письмо старому другу, иное — заявление в ЦК. Там должен быть иной тон, должны быть факты, конкретность, предложения. Мне удалось разыскать в архиве то, что я искал. Это оказалось не заявление, а подробный доклад в Оргбюро ЦК, и действительно в нем были факты, конкретность, предложения. Но тон был тот же, что в письме к Сольцу: гневный и резкий.

Речь в докладе идет не о штабных безобразиях, а о политике Донского бюро по отношению к казачеству и о причинах Вешенского восстания. Вот этот доклад с большими сокращениями:

«В организационное бюро ЦК РКП(б).

До образования Донревкома гражданская жизнь в очищенных от неприятеля местностях Донской области налаживалась гражданским управлением Южфронта...

Объединение в одних руках идейного партийного руководства и практической работы по созданию Сов. власти, может быть, и могло бы принести известную пользу, но при других нормальных условиях и нормально направленной политике. В донском же случае такое объединение принесло колоссальный вред РСФСР. Вместо контролирования одного учреждения другим, вместо выправления линии поведения согласованием опыта и здравого смысла, получилась единая работа, направленная единой волей, но волей, ложно понимавшей и обстановку, при которой пришлось работать, и задачи, ставшие перед нею...

Донбюро исходило из двух соображений:

1) очевидная контрреволюционность казачества вообще и

2) победоносное шествие и мощь наших армий.

Казаков, явных контрреволюционеров, необходимо

уничтожить, тем более что Красная Армия в состоянии это проделать,— такова была главная мысль Донбюро.

Огульное обвинение казаков в контрреволюционности является, конечно, плодом незрелого размышления. Бытие определяет сознание — этой истиной мы всегда руководствовались. Бытие же казаков — доброй половины Донской области — всех северных и восточных округов — отнюдь не таково, чтобы неизбежно толкать их в стан контрреволюции. Земельный казачий надел этих округов равен в среднем 2—4 десятинам. Казачьи привилегии по организации торговых и промышленных предприятий не имеют совершенно никакого значения для указанных округов, т. к. торговля и промышленность здесь развиты очень незначительно. Условия существования ничуть не лучше, чем в смежных губерниях — Воронежской, Тамбовской, Саратовской. Кроме того, в Донской области налицо имеется характерный и очень благоприятный для Советской России факт совершенно несправедливого распределения материальных благ между южными и северными округами. Казачий земельный надел южных округов равен в среднем 25—20 десятинам, в северо-восточных же, как я говорил, 2—4 десятины. Казачьи права на беспошлинную торговлю, на организацию промышленных предприятий и на недра земли имеют очень крупное значение для Черкасского и других южных торгово-промышленных округов, и эти права совершенно бесполезны для казаков севера. Право на рыбную ловлю ценно опять-таки для станиц, расположенных по низовью Дона и берегу Азовского моря, и не имеет совершенно никакого значения для Медведицкого, Хоперского и других северных округов. Словом, все те казачьи преимущества и привилегии, которые создали из казаков верный оплот для царского самодержавия, сосредоточены исключительно на юге области и сосредоточены более или менее искусственно. Южные станицы, как например Новочеркасская, все время стояли во главе управления Донобласти и совершенно сознательно заботились главным образом о благополучении южных станиц в ущерб северным. Земля из войскового резервного надела нарезалась почти исключительно для станиц юга, чем и объясняется такая поразительная разница между земельными наделами севера и юга...

Донбюро до сих пор считает, что целесообразно заменять советское строительство репрессиями, а здравый

смысл и марксистское рассуждение — решениями с кондачка...

Ошибки, граничившие с преступлением, совершенные нами на Дону, сильно спутали карты и осложнили положение. Нужно много усилий и много такта, чтобы выправить положение. Нужно прежде всего убрать из донской работы всех скомпрометированных предыдущей работой, старой «линией поведения», товарищей. Нужно совершенно новыми людьми начать новое строительство, только тогда можно иметь надежду на успех.

В основу нового строительства нужно положить следующий основной принцип: нужно твердо и определенно отказаться от политики репрессий по отношению к казакам вообще. Это не должно помешать, однако, строгому, беспощадному преследованию в судебном порядке всех контрреволюционеров.

Нужно отказаться от мысли вселять в Донскую область немедленно, после ее освобождения, крестьян северных губерний. Такое переселение практически трудно осуществимо, и политически оно вредно и, конечно, всегда будет служить поводом к восстанию.

В течение первых месяцев существования Сов. власти в Донской области можно и нужно ограничиться переселением казаков северных округов на юг — уравнением казачьих паев и наделением землей крестьян, уже живущих в донских станицах. Переселение казаков из одних округов в другие ничего необычайного для Дон. области не представляет, т. к. такая мера практиковалась и раньше в целях уравнения наделов. Она прекратилась лет 30 тому назад, когда господствующие южные станицы решили не давать больше земли северу. Наделение же крестьян, живущих на Дону, землею так же пройдет безболезненно, т. к. об этом еще при самодержавии велись разговоры и больших возражений они не встречали.

Пересадив северян на юг, мы тем самым привлечем на нашу сторону и тех, кого переселяют, и те станицы, откуда переселенцы будут взяты, т. к. их земельный пай соответственно увеличится. Создав т. о. определенный кадр «советских казаков», можно будет подумать и относительно дальнейшего «расказачивания» области. К этому вопросу, однако, нужно подходить с полной осторожностью и большим вниманием. Не лампасы и слова «казак» и «станица» сделали казака казаком,

а его бытие. И нужно обратить сугубое внимание, нужно умелой пропагандой вскрыть все темные стороны былого казачества (их очень много) и практикой советского строительства показать светлые стороны новой жизни...

Член РКП(б) *В. Трифонов.*

10/VI
г. Козлов».

Доклад написан 10 июня. На следующий день, 11 июня, судя по дневнику П. Лурье, в Козлов приехал Троцкий. Наверняка Трифонов разговаривал с ним по вопросам, затронутым в докладе, и вряд ли нашел поддержку. Репрессии, вызвавшие восстание, проводились с благословения Троцкого. Этим новым спором, новым резким несогласием с Троцким, объясняется, видимо, тот враждебный отзыв о нем, который содержится в письме Сольцу, написанном две недели спустя.

Сохранилась листовка, подписанная членом Реввоенсовета республики В. Трифоновым «К донскому трудовому казачеству!». В ней, между прочим, говорится:

«...Действия отдельных негодяев, примазавшихся к Советской власти и творивших преступления и беззакония на Дону, на которые ссылаются белогвардейские захребетники, со всей строгостью осуждены центральной Советской властью. Часть этих негодяев уже расстреляна, часть же ждет своей участи и будет расстреляна, как только виновность их будет установлена. Советская власть не может и не будет потакать врагам народа, негодяям, злоупотреблявшим своею властью,— их ждет беспощадная кара...

Вам, трудовые Донские Казаки, при посредстве Советского правительства протягивают свою руку помощи и дружественной поддержки многомиллионные трудовые массы Советской России. От вас зависит, взять ли эту дружескую руку для согласного и совместного строительства царства труда на земле или же вы захотите продолжать подлое дело, начатое богачами-генералами, и на предложенную помощь ответите предательским ударом из-за угла.

В первом случае вас ждет мирное и спокойное развитие, согласный труд в семье трудового народа, во втором же — вам предстоит борьба, жестокая последняя борьба на жизнь и на смерть, борьба до уничтожения. Крепко подумайте, станичники, и решайте, с кем

идти — с трудовым народом против кучки богачей-генералов или с богачами-генералами против всего трудового народа. Подумайте и решите, а мы по делам вашим узнаем ваше решение».

Обращение к казакам, отпечатанное в виде листовки, помечено датой: 4 июля 1919 года. История Вешенского восстания описана в «Тихом Доне». И надо отдать должное мужеству Шолохова, который сумел в трудные времена культа личности Сталина, когда искажались и история, и назначение литературы, изобразить картину восстания достаточно правдиво. В нескольких местах устами разных героев сказано, почему восстали казаки. Так, например, бородатый старовер в разговоре со Штокманом говорит: «Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастного народу у вас много, через это и восстание получилось».— «Как надурили? То есть, потвоему, глупостей наделали? Так? Каких же?» — «Сам небось знаешь... Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого... Кому ж антирес своей очереди ждать?» Штокман же в другом месте рассуждает о необходимости расстрелов, причем именно с «кондачка и наскока», как рассуждало и действовало тогда Донское бюро.

Еще более определенно написал Шолохов в письме к Горькому в 1931 году. (Недавно это письмо опубликовано в томе «Литературного наследства», где помещена неизданная переписка Горького с советскими писателями.) «Некоторые «ортодоксальные вожди» РАППа,— говорится в письме,— читавшие 6-ю часть, обвиняли меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию; причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков в течение 6 дней достигло солидной цифры 400 с лишним человек».

Шолохов решительно утверждает, что восстание возникло «в результате перегибов по отношению к казаку-середняку». Эти же мысли почти с такими же примерами содержатся в докладе В. Трифонова, написанном в июне 1919 года.

В конце сентября 1919 года Особая группа Южного фронта была реорганизована в Юго-Восточный фронт, в Реввоенсовет которого вошел В. Трифонов. Командующим Юго-Восточным фронтом был назначен В. И. Шорин. В состав войск нового фронта были включены Девятая и Десятая армии, Сводный конный корпус Б. М. Думенко; из Туркестанского фронта была передана Одиннадцатая армия. Однако фронт был ослаблен передачей в Восьмую армию конного корпуса С. М. Буденного, направленного ранее на ликвидацию прорыва генерала Мамонтова. Фронт не имел резервов.

Юго-Восточный фронт образовался в момент крайней опасности: за неделю до его создания деникинцы вступили в Курск, через девять дней захватили Воронеж и, угрожая Орлу и Туле, нацеливались на Москву.

Сложившуюся грозную обстановку обсуждал в те дни Пленум ЦК РКП(б). Было решено усилить войска, действовавшие против Деникина. Начались массовые партийные и комсомольские мобилизации, на фронты шли выпускники военных школ и курсов, Юго-Восточный пополнился тремя дивизиями и несколькими бригадами, Реввоенсовет фронта произвел в прилегавших к фронту уездах мобилизацию граждан от 17 до 37 лет.

Временно перейдя к обороне, фронт все же действовал активно и сковал крупные силы Кавказской армии Врангеля и значительную часть Донской армии белых и, главное, не допустил соединения Деникина с Колчаком. Военный историк К. В. Агуреев в книге «Разгром белогвардейских войск Деникина» (М., 1961) писал об этом периоде: «Несмотря на все трудности, Реввоенсоветы Южного и Юго-Восточного фронтов сумели блестяще завершить оборонительные действия, остановив наступавшие армии генерала Деникина...»

В войсках Юго-Восточного фронта действовали такие выдающиеся командиры, как В. М. Азин, М. И. Василенко, Г. Д. Гай (помню, как берегли в нашей семье белую папаху, подаренную Гаем отцу), П. Е. Дыбенко, Д. П. Жлоба, Е. И Ковтюх, А. И. Тодорский, И. П. Уборевич. На том же фронте в Реввоенсовете Одиннадцатой армии находился С. М. Киров.

В октябре началось общее успешное наступление войск Южного и Юго-Восточного фронтов. Войска Юго-Восточного изгнали белоказаков из русских губерний, освободили значительную часть Донской области и овладели Царицыном и Новочеркасском.

После взятия Ростова и выхода Красной Армии к нижнему Дону произошла новая реорганизация фронтов на юге: 10 января 1920 года на базе Южного возник Юго-Западный фронт, а Юго-Восточный 15 января был преобразован в Кавказский фронт и усилен включением в его состав Восьмой армии и Первой Конной. Вначале командующим Кавказским фронтом был назначен В. И. Шорин, а 31 января его сменил на этом посту М. Н. Тухачевский. Членами Реввоенсовета фронта были Г. К. Орджоникидзе, В. А. Трифонов, С. И. Гусев и И. Т. Смилга.

Новый фронт возник в сложных условиях. После занятия Новочеркасска и Ростова наступательный порыв войск Красной Армии стал угасать. Люди устали, регулярное снабжение войск нарушилось, тылы армий, корпусов и дивизий отстали на десятки и сотни километров, связь армий со штабом фронта была плохая. Даже прославившаяся рядом блестящих побед Первая Конная армия не смогла не только продолжать преследование панически отступавшего из Ростова противника, но и не сумела закрепиться на левом берегу Дона.

Этой передышкой воспользовались деникинцы. Они спешно начали приводить в чувство свои изрядно поколоченные части, сгруппировали их, окопались и создали прочную оборону на рубежах Дона и Маныча.

Войска Кавказского фронта много раз пытались пробить эту оборону, овладеть Батайским плацдармом, но это им долго не удавалось. 17—21 января 1920 года предпринимались наиболее крупные наступательные операции силами двух армий — Первой Конной и Восьмой, но и они окончились неудачей. Местность благоприятствовала белым — крутые берега рек и болота — и была крайне неудобна для наших наступавших войск, особенно для частей Конной армии. Там полегло очень много людей. В момент занятия Ростова наступила оттепель, тонкий лед на Дону и Маныче не выдерживал не только кавалериста, но и пехотинца. В середине января вновь вернулись морозы, и войска Кавказского фронта, воспользовавшись этим, форсировали водные рубежи, но закрепиться на левых берегах Дона и Маныча не смогли. В конце января опять стало тепло, а в феврале морозы ударили очень сильно. Надо было торопиться, ранняя южная весна была близка. Реввоенсовет фронта готовился к генеральному наступлению.

Началось оно в середине февраля на огромном пространстве Кавказского фронта. Конечная цель — полный разгром белой армии Деникина и освобождение народов Северного Кавказа. Никогда еще в ходе гражданской войны не сосредоточивались силы такой мощной концентрации, какие были собраны на донских рубежах для нанесения решающего удара Деникину. Оборона белых затрещала, войска Кавказского фронта усиливали нажим. Пытаясь помешать успешно начатому наступлению, Деникин предпринял ряд атак против Восьмой и правого фланга Девятой армии. Корпус генерала Гусельщикова пробил фронт западнее Ростова, занял Хопры, Гниловскую и ворвался в Темерник. Почти двое суток шел яростный бой за Ростов, и все же войска Восьмой армии были вынуждены оставить город. Момент был грозный. Ленин в телеграмме Реввоенсовету Юго-Западного фронта требовал скорейшей переброски двух дивизий на помощь Кавказскому фронту. Деникин же полагал, что генеральное наступление советских войск сорвано или, во всяком случае, приостановлено.

Однако Реввоенсовет Кавказского фронта, возглавляемый молодым командующим и большевиками-ленинцами, имевшими опыт не столько войны, сколько революции, приняли энергичное и мужественное решение: несмотря на временную потерю Ростова, вести наступление дальше. И это принесло победу. Ростов был отбит на второй день, а наступающие войска протаранили наконец-то оборону белых на Дону и Маныче и стремительно двинулись к Черному морю. В течение марта были освобождены Екатеринодар и Новороссийск. 2 апреля 1920 года Орджоникидзе докладывал Ленину об освобождении от белых всего Северного Кавказа, Кубани, Ставрополья, Черноморья, Терской и Дагестанской областей.

Войска Кавказского фронта завершили разгром белой армии Деникина. Лишь Добровольческому корпусу и нескольким частям Донской армии под прикрытием военных судов Антанты удалось эвакуироваться в Крым. Незначительные остатки белогвардейских войск спаслись бегством в Турцию и на Балканы.

Штаб Кавказского фронта в момент его образования находился в Саратове, во время подготовки наступления прибыл в Миллерово и в ходе наступления обосновался в Ростове. Так вернулся отец в город своей юно-

сти, где когда-то давно баррикады Темерника определили его жизнь,— было ему в ту давность шестнадцать лет, и казалось, наверное, что революция победит очень скоро, самодержавие рухнет и наступит царство свободы. С тех пор прошло еще шестнадцать лет. Революция победила, царь расстрелян в Екатеринбурге, все в стране переменилось, все бурлило, все разделилось на два люто враждующих лагеря, все напряглось до отчаянных последних пределов, а до царства свободы было еще далеко.

За него предстояло еще бороться долго и трудно, может быть — всю жизнь.

В марте 1920 года В. Трифонов выехал в Москву на Девятый съезд партии как делегат от Кавказского фронта. Деникин и Юденич были разгромлены. Колчака незадолго перед открытием съезда расстреляли в Иркутске, освобожденном советскими войсками. Перед Советской республикой встали неотложные хозяйственные задачи, о которых Ленин говорил на съезде. Среди многих решений, принятых на съезде, было также решение создать так называемые «трудовые армии»: использовать воинские части для борьбы с разрухой для восстановления дорог, шахт, промыслов, рудников, всего безграничного хозяйства, пришедшего в упадок. Создание трудовых армий началось практически еще до Девятого съезда: в январе 1920 года Совет обороны издал постановление о преобразовании Третьей армии, входившей в состав Восточного фронта, в Первую революционную армию труда. Позднее на Кавказском фронте Восьмая армия была преобразована в Кавказскую армию труда, действовавшую в районе Ставрополья, Кубани, Терской области и Дагестана. В ее главные задачи входила добыча необходимейших для жизни страны нефти и хлеба, а также восстановление разрушенного войной железнодорожного транспорта на Северном Кавказе.

Деятельность Красной Армии на хозяйственном поприще отражена в нашей литературе скупо, и мне хочется рассказать хотя бы кратко о работе Кавказской трудовой армии. Командующим этой армией был назначен И. В. Косиор, его помощниками: по политической части И. Я. Врачев, по административно-хозяйственной А. А. Медведев. В сборнике, изданном Политотделом Кавказской армии труда в сентябре 1920 года («На фронте крови и труда. Два года борьбы 8-й ныне Кав-

казской армии труда»), есть немало яркого, удивительного и забытого, что забывать не следует.

Трудармейцы очистили от хлама десятки железнодорожных станций, восстановили и заново построили сотни мостов, отремонтировали железнодорожную колею протяженностью до 1000 верст. Чермоевский фонтан на грозненских нефтяных промыслах, подожженный белогвардейцами, горел 730 суток. Его потушили трудармейцы, при этом особо отличились трудармейцы-китайцы из 10-го Восточно-интернационального батальона Пау Тисана. К сентябрю 1920 года нефть добывалась уже из 112 скважин. Трудовая армия восстановила нефтепровод Грозный — Петровск-порт и построила два новых: Грозный — Царицын и Майкоп — Туапсе. Заготавливался лес, были восстановлены каспийские рыбные промыслы, особые продовольственные комитеты заготовляли продовольствие не только для нужд армии, но и для снабжения Москвы и Питера. Начали понемногу оживать, тоже с помощью трудармейцев, и знаменитые кавказские курорты, но по ночам еще была стрельба, в горах бродили банды, то там, то здесь вспыхивали кулацкие мятежи...

Мир пока не наступил. В Крыму окопались остатки деникинских войск, командование над которыми принял Врангель. На западе еще весной встала угроза войны с Польшей. В апреле 1920 года белополяки, поддержанные Антантой, развязали войну. На Западный фронт стали срочно перебрасываться войска с Кавказского. 19 апреля проходила через Ростов на запад Первая Конная армия и в ее составе — 9-я кавалерийская дивизия, которой командовал Евгений Трифонов. Братья встретились в родном городе, но ненадолго, кавдивизия спешила на фронт.

В течение 1920 года и до весны 1921-го В. Трифонов оставался членом РВС Кавказского фронта. После Тухачевского, который командовал фронтом недолго, около трех месяцев, а затем был назначен на Западный фронт, командующим Кавказским фронтом стал В. М. Гиттис, из той же плеяды военспецов старой русской армии, что и А. И. Егоров, С. С. Каменев, В. И. Шорин. Войска Кавказского фронта, занимавшего громадную территорию, выполняли в течение двадцатого и двадцать первого годов множество самых разных задач: вместе с войсками Южного фронта ликвидировали Врангеля, подавляли контрреволюционные восстания

на Кубани и на Северном Кавказе, устанавливали Советскую власть в Закавказье и, наконец, снабжали Россию, Москву и Питер хлебом и нефтью.

В июле 1920 года в Реввоенсовет Кавказского фронта явился уже известный отцу А. В. Мокроусов. Почти два года назад холодной, гнусной ночью — лучше не вспоминать! — судьба свела их в вагоне эшелона, уходившего из Ростова под ударами немцев. Мокроусов все просил тогда передать привет Чичерину. На этот раз он тоже пришел с просьбой — дать ему катер. Он предъявил отношение Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Катер был нужен ему затем, чтобы с небольшой группой коммунистов переправиться в Крым и организовать там, в тылу Врангеля, повстанческую армию. Мокроусов и был назначен командующим этой армией.

Предприятие выглядело явно фантастическим: море контролировали английские и врангелевские корабли, крымские берега охранялись белогвардейцами. Катер оказался бы совершенно беззащитным при встрече с любой вражеской шхуной. В своей книге «В горах Крыма», выпущенной в Симферополе в 1940 году, Мокроусов пишет: «Трифонов отнесся к поездке как к мальчишеской выходке и категорически заявил, что катера мне не даст, так как жалеет и катер, и, главное, меня и моих товарищей». Насколько отчаянным и заведомо, казалось, обреченным на неудачу был замысел Мокроусова, теперь видно из воспоминаний самого Мокроусова и отправившегося с ним матроса И. Д. Папанина и имевшего отношение к снаряжению этой экспедиции Всеволода Вишневского. Но Мокроусов был из тех людей, которым легче было погибнуть, чем отказаться от вскружившей голову идеи. В конце концов он убедил-таки Трифонова — не в целесообразности экспедиции, а в том, что не отстанет, пока не получит катер. И получил. Катер был ветхий, дырявый, не мог дать больше 8 узлов. «На таком катере можно ходить по Кубани или в порту, но выйти в море было крайне рискованно. Идти на нем в Крым не представлялось возможности...» — признавался Мокроусов. Но лучших катеров не было ни в одном из портов на Кавказском побережье.

Мокроусов, Папанин и их спутники едва не погибли на переходе из Анапы в Капсихор. Дальнейшее известно: созданная Мокроусовым в Крымских горах немногочисленная партизанская армия потрясала тылы Врангеля.

Орджоникидзе и Трифонов были бессменными членами РВС Кавфронта, вместе с ними работали в разные времена С. И. Гусев, С. Д. Марков, И. Т. Смилга. В отцовском архиве документов периода Кавказского фронта оказалось немного. Сохранился блокнот с копиями телеграмм, отправленных в конце 1920 года. То, что этот растрепанный старый блокнот уцелел, чистая случайность, и телеграммы в нем случайные. Отец не собирался их беречь. Это был просто бумажный хлам, завалявшийся в сундуке.

Но сейчас и эти случайные телеграммы интересны. В них видно, как переломилось время. Вот, например, телеграмма от 11 декабря 1920 года, направленная В. Трифоновым председателю Дагестанского трибунала:

> «Чрез. комиссия города Петровска приговорила двух инженеров — Шатилова и Серенко — к высшей мере наказания за старые дела. Инженеры эти очень нужны как хорошие специалисты нефтяного цеха, и вырывать их из работы теперь совсем не резонно. Прошу этот вопрос рассмотреть с этой точки зрения и постараться сделать так, чтобы они вновь вернулись на свою работу, хотя бы она и носила официально принудительный характер, как мера наказания».

И рядом другая телеграмма:

> «17 декабря 1920
>
> Екатеринодар, Командарму IX Левандовскому.
>
> 20—22 декабря прибудет Новороссийск итальянский пароход «Анкона». Необходимо его немедленно разгрузить. Руководить разгрузкой будет представитель Внешторга Боганов или Федоров. Окажите содействие рабочей силой. Малейшая задержка парохода нарушает соглашение.
>
> Член Реввоенсовета фронта *В. Трифонов*».

Да, в конце двадцатого Реввоенсовет Кавказского фронта уже мог тревожиться по поводу торговой сделки с Италией. Но до этих забот надо было прожить тяжелейшие месяцы лета и осени, месяцы борьбы с врангелевскими бандами, с армией генерала Фостикова, орудовавшей на Кубани в июле, и с десантом полковника Назарова, высадившимся в это же время, и с еще более крупными десантами генералов Улагая, Харламова и Че-

репова. Насколько ожесточенной была борьба с контрреволюцией в летние месяцы 1920 года, видно из приказа войскам Кавказского фронта от 29 июля 1920 года. Этот приказ я нашел в Центральном архиве Советской Армии, в фонде Кавказского фронта. Вообще, надо сказать, я с большой радостью обнаружил в этом архиве, в материалах Кавказского фронта телеграммы, записи разговоров по прямому проводу, отчеты, записки, резолюции, связанные с именем В. Трифонова. Я боялся, что многое уничтожено после тридцать седьмого года.

Итак, в приказе по войскам Кавказского фронта от 29 июля 1920 года, между прочим, говорилось:

«...Несмотря на тягчайшие преступления, совершенные казаками против Советской России за два года борьбы в рядах белых армий, рядовое казачество было с честью и миром распущено по домам к мирному и полезному труду. Распущено оно было потому, что огромная масса казаков не знала, с кем и за что она воюет, она была вовлечена в борьбу обманом, ложью и клеветой. Теперь, после двух лет борьбы, не может быть места обману, теперь всякий поднявший оружие против Советской власти знает, что он поднимает его против рабочих и крестьян в защиту помещиков и генералов и будет рассматриваться как сознательный, закоренелый и неисправимый враг трудящихся и беспощадно уничтожаться, а те страницы, хутора и населенные пункты, которые оказывают содействие или дают приют изменникам и предателям делу трудящихся, будут считаться гнездами помещичьей контрреволюции и беспощадно разоряться. Население казачьих областей должно знать и твердо помнить, что все оно несет ответственность за те преступления против Советской власти, которые совершаются на ее территории, и само оно, в своих собственных интересах, должно немедленно и решительными мерами пресекать возникающие беспорядки и волнения и арестовывать преступников — агентов контрреволюции.

РВС Кавказского фронта приказывает всем РВС армий, областным и губернским комиссарам принять к неуклонному исполнению следующее:

1) Всех бандитов, захваченных с оружием в руках, немедленно расстреливать на месте.

2) Обязать население сдать к 15 августа все имеющееся у него оружие. Если после указанного срока будет найдено оружие без надлежащего на то разрешения,

все имущество виновных немедленно конфисковывать и передавать в отдел социального обеспечения, а самих виновников предавать суду и судить по законам военного времени, как за тягчайшее преступление перед Советской властью.

3) Обязать население оказывать всемерное содействие местным властям в поимке преступников и ликвидации контрреволюционных банд. Лица, ушедшие с бандитами, а также уличенные в укрывательстве бандитов и содействии бандитам, подлежат высшей мере наказания по законам военного времени, а их имущество — конфискации; конфискованное имущество передавать в отделы соц. обеспечения для раздачи беднейшему населению станиц и хуторов.

4) Станицы, хутора и населенные пункты, принимающие активное участие в восстаниях против Советской власти, должны приводиться в повиновение самыми решительными беспощадными мерами, вплоть до полного их разорения и уничтожения. Никакие поблажки и колебания здесь недопустимы.

5) Органы Советской власти, проявившие разгильдяйство, растерянность и нерешительность в проведении указанных мер, надлежат высшей мере наказания по законам военного времени.

Приказ ввести в действие по телеграфу.

Реввоенсовет Кавказского фронта

В. Трифонов,
В. Гиттис».

Этот суровый документ, столь отличный от доклада В. Трифонова в Оргбюро ЦК, написанного год назад, говорит не о том, что изменилась точка зрения, а о том, что изменилось время. Поистине те, кто теперь подняли оружие против Советской власти, были не заблуждающимися, а отъявленными врагами. Пощады и снисхождения по отношению к ним в этот миг истории, когда, казалось, к концу подошли и борьба и силы, быть не могло.

И все же Советская власть находила в себе мужество для пощады и снисхождения, вернее — для праведного суда. Я просмотрел сотни страниц документов Ревтрибунала Кавказского фронта за лето и осень 1920 года. Бандиты и укрыватели бандитов, спекулянты, растратчики, вымогатели, дезертиры, хранители оружия, мошенники — все отвечали по законам военного времени,

все приговаривались к высшей мере. Приговоры областных и армейских трибуналов сообщались в Ростов, в Ревтрибунал фронта, для утверждения. В. Трифонов, как член Реввоенсовета фронта, руководил и Ревтрибуналом. Он почти постоянно находился в Ростове. Я нашел огромное количество телеграмм с мест и записей разговоров по прямому проводу с резолюцией В. Трифонова: «Приостановить исполнение приговора, передать дело в РВТ фронта».

Приостановка исполнения приговора почти всегда означала, что приговор будет изменен.

> «РВТ 11-й 6 сентября в 16 часов вынес приговор о высшей мере наказания командиру 21-го эскадрона 41-го кавполка Первой кавдивизии Морозову Сергею, бывшему ротмистру старой армии, за халатность, дезорганизацию, связь с контрреволюцией, превышение власти...»
>
> «В 15 часов 5 сентября осужден расстрелу за дезертирство и растрату народных денег делопроизводитель хлебопекарни 95-й бригады Владимир Михайлович Садовников...»
>
> «15 сентября сегодня 9 часов 45 минут приговорен к расстрелу бывший владелец аптеки Визенталь Борис Давидович за утайку с целью спекуляции мануфактуры, перевязочных средств и медикаментов и дачу взятки советскому работнику с целью получения отобранного при обыске...»
>
> «РВТ 11-й приговорен к расстрелу Чугунов Александр по обвинению: в бытность председателем ликвидационной комиссии по удовлетворению претензий населения Чугунов постепенно растратил на свои нужды миллион рублей аванса...»

По всем этим и им подобным делам существовали ходатайства о пересмотре, почему они и попадали телеграфным или телефонным путем (надо было спешить, ибо до исполнения приговора давалось 24 часа) в Реввоенсовет фронта. Я сразу узнавал почерк отца, его химический карандаш: «Приостановить исполнение...»

В течение двадцатого года шел непрерывный обмен мнениями по телефону и обмен телеграммами между Орджоникидзе и Трифоновым. Серго был не только членом Реввоенсовета фронта, он являлся также руководителем Кавказского бюро ЦК РКП(б), полпредом Ленина на Кавказе. И он почти не сидел в Ростове. Он

был повсюду, метался по громадному краю с одного горячего участка на другой: весною был в Баку, когда Одиннадцатая армия освобождала Азербайджан, летом в Ростове и Краснодаре во время отпора Улагаю, осенью во Владикавказе и в Грозном, когда вспыхнул мятеж надтеречных станиц и когда в Дагестане поднял восстание имам Гоцинский — с этим последним пришлось основательно повозиться, была создана даже специальная Дагестанская группа войск под командованием А. И. Тодорского. А съезд народов Востока в Баку, съезд горских народов во Владикавказе — Серго должен быть и там! И должен встречаться с Энвер-пашой, и принимать министра иностранных дел Турции Бекир Самибея, который приехал как гость, но с настойчивостью, вовсе не приличествующей гостю, рвался в мятежный Дагестан; и должен вести сложную дипломатическую игру с Кучук-ханом, «главкомом Персидской Красной армии».

Так выходило, что два члена Реввоенсовета общались больше всего по прямому проводу и по телеграфу. А вопросов, которые надлежало решать, было великое множество. Они обсуждали важнейшие оперативные дела, боевые операции, вопросы переброски войск и присылки фуража, закупки лошадей на Кубани (это было серьезнейшее задание Совета труда и обороны, по поводу которого сохранилась пространная телеграмма Трифонова Ленину[1]) и формирования кавалерийских частей для отправки на Польский фронт. Они совещались по вопросам международной политики, о взаимоотношениях с Персией и Турцией, с независимой в то время Грузией и даже с Италией (в апреле 1920 года в новороссийскую гавань неожиданно вошел итальянский крейсер «Этна», то ли с целью провокации, то ли замыслив какую-то авантюру). Орджоникидзе спрашивал по прямому проводу у Трифонова: «Получил ли ты ответ из Москвы насчет итальянского крейсера? До сих пор еще не могу добиться ответа. Вчера послал ночью еще одну записку. До сих пор не отвечают. Вызови Склянского к аппарату и потребуй у него ответа. Правда ли, что Конармия в Ростове бесчинствует? Я приеду завтра днем». Трифонов отвечал из Ростова: «Армия прошла совершенно спокойно, ни одного случая бесчинства я не знаю. Некоторый конфуз получился на

---

[1] Архив Центрального музея Советской Армии, 16.419, 4/23, 334.

параде 4-й дивизии третьего дня. На параде красноармейцы стали требовать освобождения Думенко, но более или менее скоро успокоились. Парад пришлось прекратить. Эксцессов, однако, не было. Конармия уже вся прошла через Ростов, и сегодня проходят остатки тылов. Беспокоиться нечего. Склянского, Москву потревожу, конечно...»

Трифонов дал распоряжение командованию Девятой армии усилить береговые батареи. Затем пришла телеграмма от Склянского: «По поводу прибытия в Новороссийск итальянского крейсера... Чичериным послано радио в Сан-Ремо с запросом о подтверждении полномочий капитана». Полномочий у капитана не было. Все это было наглой авантюрой с целью прощупать, крепкие ли нервы и нельзя ли чем поживиться у молодой республики, недавно потопившей весь свой флот. Трифонов дал распоряжение Василенко, командующему Девятой армии, арестовать крейсер и не выпускать его из гавани до ответа на запрос Чичерина. Орджоникидзе и Трифонов совещались по сложным вопросам внутренней национальной политики на Северном Кавказе (например, о переселении казаков из терских станиц и заселении их горцами, что было, в общем, вредной затеей, от которой волей-неволей пришлось отказаться), обсуждали назначение командиров, комиссаров, партийных и советских работников, решения Ревтрибунала фронта, проблемы использования воинских частей для трудовых целей, а также много других дел, иногда, казалось бы, вовсе незначительных («14 августа годовщина 11-й армии. Имеем ли мы право преподнести от фронта знамя? Если да, тогда это можно еще успеть, отвечай. *Орджоникидзе*».— «От фронта знамя преподнеси, но имей в виду, что это знамя будет подарок фронта, а не республиканская награда. Красное Знамя, как награду республики, может дать только ВЦИК. *Трифонов*»).

Не могу не вернуться к апрельскому телеграфному разговору Орджоникидзе и Трифонова, к тому месту, где упоминается о требованиях красноармейцев 4-й кавдивизии освободить Думенко.

В то время, когда Первая Конная армия проходила через Ростов на Польский фронт, Б. Д. Думенко находился в Ростовской тюрьме. Он был расстрелян 11 мая 1920 года. С тех пор до конца 1964 года он считался врагом.

Думенко был организатором и командиром первых частей и соединений Красной конницы. Особая кавалерийская дивизия, которой он командовал, когда других кавалерийских дивизий в Красной Армии еще не существовало, «во внимание к исключительным заслугам перед революцией и Советской Республикой» была награждена Почетным Знаменем. Сам Думенко пятым по счету в стране получил орден Красного Знамени. В 4-м томе «Истории гражданской войны в СССР» на странице 292 приведено сообщение «Правды» о взятии Новочеркасска в ночь на 8 января 1920 года: «Осиновый кол вбит в самое сердце контрреволюции. Ее главной опоры — Донской армии — не существует; остатки ее бегут, гонимые нашими частями. Наши войска неудержимой лавиной двигаются на Кавказ». Для большей точности должен заметить, что слова эти взяты из напечатанного 10 января 1920 года в «Правде» донесения Реввоенсовета Юго-Восточного фронта; под ним стоит подпись В. А. Трифонова.

Тогда, конечно, не следовало оповещать в открытой печати, какие именно войска взяли Новочеркасск. Но теперь нет причин таить, что «наши войска», взявшие Новочеркасск, именовались так: «Сводный конный корпус товарища Думенко».

После взятия Новочеркасска Думенко повел корпус на Дон и Маныч. Там были и успехи и неудачи — счастье на войне переменчиво, но в общем-то конница Думенко дралась с деникинцами геройски. Но к этому времени в Реввоенсовет армии и фронта уже шли доносы на комкора: недоброжелателей у него хватало. Думенко был крут, несдержан, излишне самолюбив, не терпел чьей-либо опеки, хотя бы и со стороны комиссаров. Люди, обиженные Думенко, и считавшие себя обиженными, и завистники — были у него и такие — методично сеяли подозрения: Думенко, мол, скрытый враг Советской власти, ждет удобного случая, чтобы перейти на сторону белых. К нему был прислан отличный комиссар В. Н. Микеладзе, человек храбрый, решительный. Между комкором и комиссаром начали складываться, хотя и с трудом, отношения доверия. В конце января Микеладзе уже вручил Думенко членский билет партии большевиков.

Осталась темной и невыясненной (и, может быть, никогда уже не будет выяснена) личность злодея, в ночь на 3 февраля 1920 года убившего в поле комиссара

Микеладзе. Но можно сказать, что в ту ночь был убит и Думенко. Враги его воспользовались случаем и к прежним обвинениям добавили еще одно: безапелляционное заверение, что организация убийства была делом Думенко и его штаба. Видимо, сыграл роль и горячий климат гражданской войны, не отпускавший времени на длительный разбор обстоятельств дела, когда идут настойчивые «сигналы» о контрреволюционном заговоре. Как бы там ни было, но Реввоенсовет фронта — теперь это очевидно — поспешил, отдав приказ о немедленном аресте Думенко и штаба Сводного конного корпуса.

Следствие шло около двух месяцев, но многие детали и «мелочи» так и остались невыясненными. Теперь очевидно и то, что ряд показаний свидетелей обвинения были бездоказательными, а иные попросту ложными. Думенко был прежде убит морально, потом, опозоренный, расстрелян. Любопытно, что неубедительность речи обвинителя была отмечена в дневнике Павла, где имеются две короткие, чисто информационные записи о суде над Думенко:

«6 мая. Вечером был с Ив. Ив. Луком на деле Думенко. Обвинителями выступали Колбановский (очень плохо) и Белобородов. Защищали 2 адвоката и Знаменский (член РВС 10-й армии). Мы ушли в 11 часов. Суд кончился в 3 часа ночи. Думенку, начштаба Абрамова, начопеорода Блехтера и еще двоих суд приговорил к расстрелу».

Во время следствия по делу Думенко В. Трифонова на юге не было — он находился в Москве, как делегат Девятого съезда, и вернулся в Ростов лишь во второй половине апреля. Документы судебно-следственного дела показывают, что никакой прикосновенности В. А. Трифонова к делу Думенко не было. Это «дело» создали на основании клеветнических доносов член РВС Девятой армии А. Г. Белобородов и член РВС Кавказского фронта И. Т. Смилга.

Разумеется, у Думенко кроме грехов вымышленных, которые ему приписывались, были грехи совершенно реальные, признававшиеся даже его защитниками: нарушения дисциплины, факты разгула, пьянства, имевшие место в корпусе, и порой даже обиды мирного населения. Но такого рода нарушения были нередки и в

других частях Красной Армии, выросших из партизанства! Достаточно вспомнить некоторые части Первой Конной и свидетельство хотя бы такого очевидца, как И. Бабель. Несколько участников гражданской войны, прочитавшие «Отблеск костра» в первом варианте (среди них весьма уважаемый мною генерал Б. К. Колчигин), в письмах выразили недовольство тем, что я изобразил Думенко чуть ли не идеальным героем гражданской войны. Нет, он не был идеальным героем, он был просто героем гражданской войны.

Таковы были герои тех лет. Вокруг этого вопроса до сих пор кипят страсти, спорят яростно — как в атаку идут — бывшие кавалеристы, вчерашние политработники, нынешние историки. Одни люто за Думенко, другие так же люто против. Так или иначе, добрая слава Думенко возвращена. Его именем названа улица в Новочеркасске.

Наверное, ничто не добывается с таким трудом, как историческая справедливость. Это то, что добывают не раскопки в архивах, не кипы бумаг, не споры, а годы.

Одной из главных задач Кавказского фронта была поддержка и помощь революционному движению в Закавказских республиках. Вот запись по прямому проводу, сделанная в ноябре 1920 года:

«Передайте немедленно секретную записку В. Трифонову... Левандовский до сих пор ничего не сделал на Ботлихском направлении, что в высшей степени осложняет положение в Дагестане (речь идет о действиях частей Девятой армии по подавлению мятежа имама Гоцинского.— *Ю. Т.*). Если дело затянется еще, если не будет быстрого и мощного удара на Ботлих, могут получиться весьма неприятные осложнения... В связи с наступлением Кемаля на Армению вероятнее всего, что нам придется вмешаться для спасения Армении и придется советизировать, для чего понадобится главным образом кавалерия. Такой приказ фронт может получить от главкома через несколько дней. Поговори с Гиттисом и сообщи, что можно перекинуть... Жду ответа. *Орджоникидзе*».

В ответной записке Трифонова, переданной в Баку, говорится, что «если обещанное главкомом будет переброшено с Южного, тогда можно будет выделить, но

это будет не раньше, как через месяц. Сейчас вся кавалерия занята, как ты это, вероятно, и сам знаешь. Кроме того, мы находимся в постоянном ожидании неприятностей со стороны моря, и это нас обязывает держать здесь силы».

Между тем в конце ноября в Армении вспыхнуло восстание, руководимое Военно-революционным комитетом. Сохранилась такая ликующая телеграмма Серго:

> «Члену РВС Кавфронта Трифонову.
>
> ...Только что получено из Эривани сообщение. Старое правительство свергнуто, вся власть передана военному командованию до прибытия Ревкома. Ревком настоящее время в Дилижане. Итак, еще одна советская республика! Да здравствует советская республика Армения! *Орджоникидзе*».

Командование Кавказского фронта приказало частям Одиннадцатой армии прийти на помощь трудящимся Армении. Дашнакская армия перешла на сторону Ревкома. 2 декабря правительство дашнаков, возглавляемое Врацяном, подписало акт об отказе от власти.

Последним оплотом антисоветских сил на Кавказе оставалась меньшевистская Грузия. Из Грузии тянулись нити белогвардейских мятежей, вспыхивавших то там, то здесь на Северном Кавказе и в Дагестане. Грузия давала приют остаткам разгромленных врангелевских банд, отступавших с севера под ударами Красной Армии, она открыла границу шести тысячам недобитых вояк генерала Фостикова и затем переправила их морем в Крым к Врангелю.

В феврале в Грузии началось восстание против меньшевистского правительства. Документы свидетельствуют о том, с какой осмотрительностью, тщательно взвешивая все обстоятельства, готовилось Советское правительство принять решение о помощи восставшим. В архиве Центрального музея Советской Армии есть телеграмма Склянского и Крестинского в Реввоенсовет Кавказского фронта:

> «15 февраля 1921 года.
>
> Тт. Смилге, Трифонову, Гиттису, Фрумкину, Геккеру. ЦК склонен разрешить 11-й армии активную поддержку восстания в Грузии и занятие Тифлиса при соблюдении международных норм и при

условии, что все члены РВС 11-й после серьезного рассмотрения всех данных ручаются за успех. Мы предупреждаем, что все сидим без хлеба из-за транспорта и поэтому ни единого поезда и ни единого вагона не дадим. Мы вынуждены ввозить с Кавказа только хлеб и нефть. Требуем немедленного ответа по прямому проводу за подписью всех членов РВС 11-й, а равно Смилги, Гиттиса, Трифонова и Фрумкина.

До нашего ответа на телеграмму всех этих лиц ничего решительно не предпринимать. По поручению ЦК *Крестинский, Склянский*».

Смилга, Трифонов и Гиттис были членами РВС фронта, Геккер командовал в тот период Одиннадцатой армией, а Фрумкин находился в Ростове как член коллегии Наркомпрода и Кавказского бюро ЦК. М. И. Фрумкин, старейший коммунист, член партии с 1898 года, стал после Кавказского фронта близким товарищем отца. В последних томах Ленина имя Фрумкина встречается бессчетное число раз: Ленин обращался к нему по множеству вопросов, касавшихся снабжения продовольствием, торговли, экономики. Фрумкин был замнаркома продовольствия, затем — замнаркома внешней торговли. Он погиб в 1939 году.

В тот же день 15 февраля 1921 года, когда пришла телеграмма от Крестинского и Склянского, Гиттис и Трифонов, находившиеся в Георгиевске, ответили в Москву:

«Связи обусловленным неполучением из центра того, что минимально требовалось, считаем возможным определенный ответ дать только непосредственном выяснении всей обстановки Баку и учитывания характера и истинного размера событий. Баку будем утром 17 февраля, откуда немедленно ответим».

Ответ был дан положительный: РВС фронта ручался за успех. На следующий день, 16 февраля, грузинский ревком (председатель Филипп Махарадзе) в телеграмме на имя Ленина просил о помощи восставшим. И Красная Армия двинулась на помощь. 25 февраля советские войска вступили в Тифлис.

К середине марта советскими войсками под командованием Левандовского и Тодорского были разгромле-

ны последние отряды мятежников в Дагестане и Чечне. А 13 июля 1921 года части Красной Армии, руководимые Тодорским, выбили дашнаков из последнего пункта Закавказья — села Мегры.

Гражданская война, кровопролитнейшая, бесконечно долгая, медленно завершалась.

В июне 1921 года В. Трифонов демобилизовался. Он прожил еще семнадцать лет, и это были годы работы, и о них можно было бы написать так же длинно, с подробностями, как я писал о ссылках и революции. Но я хочу поставить точку. Я пишу книгу не о жизни, а о судьбе. И не только о своем отце, а о многих, многих, о ком я даже не упомянул. Их было очень много, знавших отца, работавших рядом, похожих на него.

Чем же все-таки он занимался после 1921 года?

Тогда был период топливного кризиса. Недавнего военного работника направили на топливный фронт: он был заместителем начальника Главтопа, председателем Нефтесиндиката. А затем — Военная коллегия Верховного суда, где он председательствовал в 1923 и в 1924 годах, военная миссия в Китае, дипломатическая работа в Финляндии, Главконцесском...

Работая в Главконцесскоме, руководя этой будто бы гражданской, а на самом деле чрезвычайно острой, дипломатической организацией, отец написал незадолго перед своей гибелью военно-теоретическую книгу «Контуры грядущей войны». Он всю жизнь интересовался военными вопросами, так же, впрочем, как и экономикой сельского хозяйства: был одним из организаторов Сельскохозяйственной академии имени В. И. Ленина.

В книге «Контуры грядущей войны», где В. Трифонов писал о многих сугубо военных проблемах, например о небезызвестной доктрине генерала Дуэ, о необходимости перевода промышленности на Урал и в Сибирь, отчетливо ощущалась неизбежность скорой схватки с фашизмом. Весь тон книги был суров и тревожен. И это, между прочим, отличало ее от многих, появившихся в те годы, книг и кинофильмов, которые убаюкивали народ самоуверенной похвальбой и непониманием грозящей опасности.

Больно звучат сейчас многие слова, которые подтвердила история. Например, рассуждения о факторе внезапности и о беспечности тех, кто не сознавал в полной мере, что значит иметь дело с фашизмом.

«Новейшие средства войны,— писал Трифонов в конце книги,— создали могущественное оружие для нападения на суше и в воздухе, причем мощность этого оружия усиливается во сто крат в условиях внезапности.

Необходимо, кстати, отметить, что у нас все признают, как вывод из современной обстановки, как нечто совершенно бесспорное, что фашисты нападут на Советский Союз неожиданно, внезапно, но из этого признания далеко не все делают надлежащие выводы. Очень многие относятся к истине, содержащейся в этом выводе, с пагубным добродушием, будучи почему-то убеждены, что истина эта будет иметь практическое применение в первую очередь в отношении каких-то других государств, а не Советского Союза; эти странные люди не хотят верить, что, может быть, в первую очередь им именно придется проснуться однажды от грохота взрывов авиабомб противника».

Одним из этих «странных людей» был Сталин.

К сожалению, книга «Контуры грядущей войны» не увидела света. В начале 1937 года, окончив книгу, отец послал рукопись нескольким членам Политбюро — Сталину, Молотову, Ворошилову, Орджоникидзе. Наиболее близким в ту пору для отца человеком был Орджоникидзе. Серго неожиданно умер в феврале 1937 года. Сейчас известно, что он застрелился, тогда об этом знали немногие. Помню, как испугала меня внезапная, небывалая мрачность отца в тот день, когда узнали о смерти Серго. Для него это было не просто горе, а какой-то громадный и страшный сигнал. От остальных членов Политбюро отец так и не дождался ответа. Не ответил Молотов, с которым отец был товарищем еще в Питере перед революцией. Не ответил Ворошилов, знавший отца по Южному фронту. Не ответил Сталин. Их молчание и было ответом. И «ответ» этот скоро пришел: его принесли люди в военном, которые приехали ночью в Серебряный бор. Отцу было тогда 49 лет.

А костер шумит, и пылает, и озаряет наши лица, и будет озарять лица наших детей и тех, кто придет вслед за ними.

1965

РАССКАЗЫ



ВЕРА И ЗОЙКА

Перед обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят,— аккуратная такая, чистенькая, в плаще «болонья», белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много,— и спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город — убрать дачу. Вера спросила: много ли дел? Виду не показала, что обрадовалась. А обрадовалась очень, потому что деньги нужны были до зарезу, и этот зарез обозначился именно сегодня, утром, и Вера до сих пор не могла прийти в себя и, бегая от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую половицу. Это уж как закон: чуть понервничает — всегда за эту половицу цепляется, чтоб она пропала, зараза.

Клиентка объясняла: помыть полы в четырех комнатах, три внизу, одна наверху, вымести сор, открыть рамы, ну как полагается после зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, о чем не стоит распространяться подробно, но Вера-то поняла, что она хитрит, ей важно получить согласие, а на самом деле работы там, конечно, будь здоров сколько, и работы тяжелой, тем более что зимой в доме никто не жил, не убирались. Но никакой работы Вера не боялась и поэтому подумала даже с радостью, что это хорошо, что работы много: заплатят больше. Деньги были очень нужны. Утром одна клиентка, старуха, сорок восемь сорок четыре — и цифра-то гадостная, одни четверки,— подняла шум из-за одеяла: подменили, мол, сунули вместо шестирублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права, но спохватилась поздно, когда уже расписалась на двух квитанциях. Напутали упаковщицы, Вера была виновата только в том, что, выдавая, не проверила тщательно, а лишь поштучно. Да ведь всегда так проверяла, и ничего не случалось. Искали-искали шестирублевое, нигде не нашли. Предлагали

старухе замену, она отказывалась, требовала свое, и тут Вера вспыхнула — потому что упаковщицы ее виноватили — и сказала, что старуха, мол, уже расписалась и мое дело маленькое. Та пошла к заведующей, к Раисе Васильевне, вызвали Веру, упаковщиц, орали, шумели — упаковщицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень дробный, пронзительный,— и, главное дело, было обидно, что ее одну виноватят, а упаковщицы как будто ни при чем. А сколько раз она упаковщиц выручала? Сколько раз чужое отдавала: возьми, не греши, мне чужого не нужно. Ничего знать не хотели, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей — деньги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, войти в положение: у обеих мужья зарабатывают, могли бы по рублю кинуть, все легче. Куда там! А Евдокия, старшая упаковщица, еще насмехалась: ничего, мол, на два пол-литра. Сережка пострадает, и все дела. Такая ехидная, зараза: ее это касается, на что Вера деньги тратит! Сама, паразитка, живет за мужниной спиной, а как другие мучаются, об этом у нее понятия нет...

— Так как же, Вера? Беретесь? — спросила пятьдесят два восемьдесят (Вера успела в квитанции прочитать фамилию: Синицына).— А то я с другими буду договариваться.

— Отчего же? Возьмусь. Где наша не пропадала!

— Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну — маленькая...

— За это вы не беспокойтесь, что маленькая. Я никакой работы не боюсь. Я на заводе с мужиками работала, заготовки таскала.— Вера немного шепелявила, у нее получалось так: «жаготовки ташкала».— А помощницу можно и найти. Найдем!

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про Зойку: и когда работа подворачивалась, и когда гулянье, и если в продовольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка — нет. Но Вера на нее не обижалась. Она знала, что Зойка больная, у нее печень испорчена, оттого она всегда злая, недовольная, да и забот у нее больше: двое ребят на руках и бабка старая. Кроме того, Вера понимала, что они с Зойкой никакие не подруги — подруг у Веры сроду не было, если не считать одной давнишней, Настеньки, с которой вместе во второй класс ходили,— а просто соседки,

обе безмужние: у Веры вовсе мужа не было, а Зойкин ушел лет пять назад, платил алименты.

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес на бумажке, туда же телефон записала и фамилию: Синицына Лидия Александровна.

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома и заранее спросить насчет субботы. Зойка работала уборщицей в школе. В воскресенье она наверняка была свободна, а насчет субботы нужно было узнать, если нет — договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в бараках, от прачечной через двор. Работа удобная, прекрасная, две минуты ходьбы — и дома.

Бараками жители Песчаных улиц называли пять деревянных двухэтажных домов, которые странным образом затесались в гущу многоэтажных корпусов, возникших тут — на месте пустырей, свалок, огородов, домиков сезонных рабочих — после войны, в начале пятидесятых годов. Никто не знал, почему эти пять бараков уцелели. Скорей всего произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти бараков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, ссылались на то, что их «неказистые строения портят общий замечательный вид района», им было обидно, что жители остальных бараков давно получили квартиры в новых домах,— а чем они, собственно, лучше? — но исправить ошибку было, видимо, нелегко, стройка ушла из этих мест, сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех сторон. Они напоминали деревушку в горной долине. И жизнь там шла своя, деревенская: с палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах.

На скамейке перед входной дверью сидела, как всегда, баба Люба — Зойкина бабушка, старуха лет под девяносто, в черном платке до глаз. Вера спросила, дома ли Зойка. Баба Люба кивнула, медленно опустив желтоватое лицо в глубоких морщинах, и рот, сжатый, без губ, тоже был как морщина. Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но Вера уже не слышала, бежала по лестнице: она жалела бабу Любу, защищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговаривать. Ей казалось, что от бабы Любы пахнет как-то нехорошо, могильно.

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых тапках на босу ногу стояла на кухне, варила кашу

для ребят. Услышав насчет уборки дачи, она сразу грубо ответила: дураков, мол, нет за город ехать, а уборки и в Москве завались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее предложения встречала в штыки, подозревая за ними какой-то умысел, невыгодный для себя и чересчур выгодный для Веры, и спокойно ответила:

— Смотри, я и одна могу.

Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня нажарила. Полную сковороду навалила, подсолнечным маслом полила, яичко туда кокнула и остаток колбасы «отдельной», гузку граммов в пятьдесят, настрогала: вот и обед готов — дай бог всякому! Вера знала, что через минуту Зойка, одумавшись, спросит, как, да что, да за сколько договорились. И верно, спросила. Вера сказала, что насчет цены разговору пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять можно. Почему-то втемяшилась Вере именно эта цифра.

— Ладно, поглядим завтра,— буркнула Зойка и, взяв кастрюлю, с сердитым лицом пошла из кухни. И уже из коридора, скрывшись, вдруг крикнула: — Тебе бабка передала? Николай приезжал.

— Николай? — ахнула Вера.— А что сказал?

Вот человек: нет чтобы сразу сказать! Вера метнулась в коридор. Зойка шла к своей комнате и, не оборачиваясь, ответила:

— А я знаю? Он с бабкой разговаривал, у нее спроси.

Вера — опрометью вниз, к бабе Любе. Та подтвердила: приезжал Николай, огорчался, что не застал Веру дома, и велел сказать, что приедет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от радости даже чмокнула бабку в щеку. Она не видела Николая месяцев пять и думала, что никогда уж больше не увидит. На улице это было, после кино, смотрели в «Дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбегать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал: спасибо, ничего не нужно, и давай, мол, попрощаемся по-хорошему, потому что я женюсь. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целый месяц потом Вера была как больная, травиться хотела, но Зойка отговорила.

В субботу, в четыре, как было условлено, Вера и Зойка пришли к Синицыной на квартиру, в восьмиэтажный дом напротив «Гастронома». Зойка взяла своего Миш-

ку, одиннадцатилетнего малого, который неделю назад закончил ученье и сейчас без дела шатался во дворе в ожидании лагеря.

Синицына поздоровалась приветливо, пригласила зайти в дом, но заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «болонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя Вере понравилась, и она сразу сказала:

— Как у вас хорошо-то. Я у одной артистки убираюсь — здесь, на Чапаевском,— у нее тоже красиво отделано. Только у них коридор не так расположен, а вот так, так...— Вера стала показывать руками.

— Мальчик тоже с нами поедет? — спросила Синицына.

— Если вы разрешите, конечно,— сказала Зойка, заулыбавшись льстиво, и, как просительница, склонила длинное худое лицо набок.— Он у нас смирный! И помочь может.

Миша стоял, глядя в пол. В правой руке он держал сачок для ловли бабочек.

— Ага, он хороший мальчик, очень хороший,— подтвердила Вера.— Лида Александровна, только знаете, мне в воскресенье часам к шести надо непременно чтоб вернуться.

— Зависит от вас, девушки. Если кончим рано, может, и к обеду вернетесь.

— А вот... ты насчет цены, Вера, не спрашивала? — робко подала голос Зойка.

— Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, Лида Александровна? Вы нас, я думаю, не обидите, и мы вас тоже. А вообще денег побольше берите! — И Вера захохотала по-своему, дробно, раскатисто.

В коридор вышел молоденький черноватый паренек в очках, в белой рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал:

— Ну что, отправляетесь в путь?

— Кирилл, я тебя прошу завтра приехать,— сказала Синицына.

— Не знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрываться,— слышишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно?

— Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные помощницы, но я тебя завтра жду. Ты по-

нял, Кирилл? Анатолий Владимирович поедет на машине, он тебя заберет. Тебе необходимо отдохнуть, подышать воздухом.— Сын подошел к ней, она взяла его за руку. Он был выше, смотрел на нее свысока и слегка улыбался.— И я надеюсь...

— Все будет нормально, мать. Но у меня масса дел, ты же знаешь...

— Анатолий Владимирович поедет утром.

— Хорошо. Как-нибудь доедем.

— Ну, до свиданьица! — сказала Вера и улыбнулась молоденькому пареньку в очках так, как она привыкла улыбаться мужчинам, поджимая губы: впереди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила.

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали пакеты порошка для мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка, неся две сумки: одну с едой, другую — большую клетчатую, в которую были набиты какие-то занавески, коврики, чайник, электроплитка и сверху лежала черная настольная лампа. За матерью ковылял, изогнувшись, волоча тюк с одеялами, Мишка. Последней шла Синицына, несла еще одну сумку, маленькую сумочку и толстый рулон зеленой бумаги, который держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступенек, Синицына сказала:

— А насчет цены я не знаю, право... В прошлом году за такую же примерно работу я заплатила пятнадцать рублей.

— Вы прошлый год с нонешним не равняйте, Лида Александровна! — крикнула Вера снизу.

— Я не равняю, просто сказала, как платила в прошлом году. Но вам тоже спорить не резонно: вы же работы не видели.

— Конечно, конечно,— сказала Зойка рассудительно.— Надо посмотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка...

— А сын у вас черненький. В отца, наверно? — крикнула Вера.

— В отца,— сказала Синицына.

— Ага, я и гляжу, вы светленькие, а он — черненький-черненький!

Возле «Гастронома» на стоянке взяли такси, Синицына села с шофером, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, поехали.

День был ясный, теплый, середина июня, на сквере цвела зелень, народу повсюду было полно, как бывает в

субботу в эти часы: и на троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продовольственный, и возле табачного киоска, у старика Моисеича. Вера радостно, во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз виденный и знакомый до последнего окошка, до кирпичика район заново, и сообщила:

— А у Моисеича-то какой хвост, гляди-ка! Во мужиков наставилось! И за мороженым, у Клавки... А вон мой клиент идет! Пятьдесят восемь десять! Вон, вон, вон! — закричала она вдруг так азартно, что Синицына вздрогнула и обернулась, а шофер матюкнулся тихо.— Лида Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем — вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десять! Очень хороший человек. Всегда сам приходит, а жена редко когда придет. Жена у него тоже симпатичная женщина, я ее знаю. Она здесь, у Сокола, в институте работает...

Выехали на Ленинградский проспект, Вера продолжала болтать. Настроение у нее было прекрасное, она как будто забыла о вчерашних невзгодах, рыданьях из-за одеяла, о необходимости платить шесть рублей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые сутки работать; ей казалось, что она едет гулять на дачу, в лес, где поют птицы, а завтра вечером к ней придет Николай. О чем бы она ни говорила, о чем ни думала, она помнила одно: завтра придет Николай.

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо Ваганьковского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство ей небесное, надо бы навестить, цветочков принести, а то с прошлого лета не была. На Красной Пресне сносили старые дома. Некоторые просто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими кучами лежали кострища, кое-где еще дымившиеся, а за этой полосой пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома в пять этажей.

— Отмучились наконец,— сказала Зойка.

— А мне жаль эти домики. Все-таки старая Москва, к тому же историческая: Красная Пресня,— сказала Синицына.— И так их безжалостно жгут...

— И правильно! Чего их жалеть, клоповники эти? — с неожиданной злобой сказал шофер.— Там люди друг на дружке жили, по десять человек на семи метрах. Нужна им ваша история! По крайности жилье человеческое получат.

Синицына поглядела в окно, помолчала.

— Но эти новые дома тоже, знаете, не украшение,— сказала она.— Довольно уродливы. И без лифтов.

— А шут с ними, давай без лифта,— сказал шофер.— Народ рабочий, небалованый, мы и пешком походим.

— Конечно! — сказала Зойка.— Мы вон какой год пишем, чтоб наши бараки снесли...

— А чего? Мне наши бараки нравятся,— сказала Вера.— У нас очень хорошие бараки. Во-первых, у нас тепло. Во-вторых, зелень кругом, никакой дачи не нужно, верно, Миш? — Она толкнула Мишку плечом и захохотала.

Зойка махнула рукой.

— Да ну, болтай...

— Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень даже замечательные, крепкие, они еще сто лет простоят.— И Вера вновь еще пуще захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в промежутках вскрикивала тоненьким голосом: «Ой, не могу... Ой, верно, еще сто лет простоят!» Кроме нее никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, потом попросила у шофера папироску и закурила. Вера понемногу успокоилась, повторяя хриплым шепотом, в изнеможении: «Ой, не могу...» — и вытирая ладонью наслезившиеся глаза.

Выехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост — на Ленинский проспект, вскоре с обеих сторон появились деревянные домики, за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, потом новостройки исчезли, остались одни домики, а потом и домики исчезли и остались поля, холмистые, нежно-зеленые под вечереющим солнцем.

Лидия Александровна опустила стекло, машина наполнилась густым, ошеломительно свежим полевым воздухом, и все почему-то примолкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать.

Как всегда, когда наступало молчание или когда Вера оставалась одна и болтать было не с кем, приходили мысли о неприятном. Опять вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется заплатить, дьявол с ними, она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить: чуть где промашку дадут, она их сразу прищемит. Если они так, тогда и она так. Теперь она им, паразиткам, спуску не даст. А деньги возьмите, подавитесь, кинет в рожу Раисе Васильевне, вы от моих шести рублей не разбогатеете, а я не обедняю. Хорошо Лида Александ-

ровна подвернулась, по десятке если заплатит — как раз отдать, кинуть в рожу. И еще четыре рубля останется, Николая встретить.

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалось жарко, радостно и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала, тем больше томила тревога. Зачем он, черт проклятый, объявляется? Зачем душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим человеком, татарином, слесарем из института: он и зарабатывает прилично, и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, сердцем болеет. И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они с Сережкой поженятся. Сережка-то больше ей подходит, по годам ровня, тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее: ты, мол, для меня старая. Старая-старая, а четыре года гуляли и на молоденьких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая жена не по вкусу, к старой потянуло? Ох, Коля-Николай, такой лафы уж тебе не будет...

И много еще о чем думала Вера: и о том, как сынишку Юрку сдала в интернат, Николай потребовал, как было горько вначале, а потом привыкла, и о том, как болела после аборта, лежала в больнице, ко всем женщинам приходили мужики, несли гостинцы, передавали письма, а ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дура была на всю палату, женщины ее жалели, но она виду не показывала и только ночью ревела, а на четырнадцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора, сияет во всю рожу, с букетом,— говорил, что в какую-то командировку угнали, в дальнюю, а может, так и было,— и много еще разных разностей, обид, счастливых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не заметила, как машина свернула с шоссе на проселок, пошли дачи, березки, заборы, проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернули направо — Лидия Александровна командовала,— потом еще направо и остановились возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся заборчике.

Дача оказалась большая, деревянная, но старая и запущенная. На терраске были выбиты стекла, дверь заколочена доской. Участок тоже был запущен, меж нескольких высоких сосен густо росли кусты бузины, мелкий ельник, осина.

— И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-

хе-хе...— сам с собой разговаривал шофер. Он помогал переносить вещи из машины в дом.

Лидия Александровна не слышала, искала ключи в сумке, а Вера отозвалась:

— А кто спроворил, тот и молодец,— верно, Лида Александровна? Тот и жить будет! Верно я говорю?

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили мусор, терли тряпками отсыревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропылившиеся старые ковры, циновки, от которых пахло затхлостью, выметали, мыли, скребли. Лидия Александровна повязалась платочком, надела штаны, синие, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавную и возила без отдыха, так же как Зойка с Верой, не отставала. Зойка даже больше филонила — то присядет на минутку: «Поясницу схватило», то курить пойдет в сад. В двенадцатом часу решили кончать. На другой день осталось только окна помыть на втором этаже.

Мишку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху, в самой теплой комнате, и он мгновенно заснул, а сами сели ужинать на терраске. Оказалось — нет заварки, забыли взять из Москвы. Лидия Александровна пошла куда-то к соседям. Вера и Зойка сидели тем временем на терраске — окна были закрыты от комаров, да и прохладно стало, хотя прохлада и комары сочились сквозь разбитые стекла,— и ели лапшу, которую Вера привезла в кастрюльке.

— Как думаешь, сколько Лиде Александровне лет? — спросила Зойка.

— А лет тридцать пять, думаю. Мне ровесница. Эх, лапша-красавица! Мало взяла, правда? Лида Александровна — хорошая женщина, очень хорошая, трудолюбивая.

— Конечно, хорошая, когда жизнь хорошая,— сказала Зойка, и ее длинное худое лицо приняло знакомое Вере выражение скрытой обиды, после чего Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на потолок терраски, на желтый, из вощеной бумаги абажур и на его отражение в черном стекле...— А я думаю, под пятьдесят есть. Сын-то какой здоровый...

Когда Лидия Александровна вернулась с заваркой, Вера спросила, сколько ей лет. Та ответила: сорок четыре. Кириллу уже восемнадцать. Ходит на первый курс института. Вера очень изумилась.

— Ну, не скажешь, Лида Александровна, ни за что не скажешь! Я против вас старуха, у меня и зубов нет, и морщины кругом, а ведь я на восемь лет моложе. Почему ж такое? Наверно, у вас характер покойный, а я изо всего переживаю.

Зойка молчала, все с тем же выражением скрытой обиды разливала чай в чашки.

— По-моему, вы на себя наговариваете, Вера, вы очень симпатичная, кругленькая такая. Как колобок,— сказала Лидия Александровна и засмеялась.— И, наверно, мужчинам нравитесь, правда?

Вера тоже засмеялась, польщенная.

— Вот как сказать, Лида Александровна: когда в кино пойдешь, обязательно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой называют. В потемках-то не видать!

— Она им, конечно, нравится, потому что она их на свои деньги кормит,— сказала Зойка.

— Кого я кормлю?

— Да всех. Что ж я, не знаю?

— Ну кого я кормлю? Кого, кого?

— Кольку кормила всю дорогу? Кормила. Аркашу-милиционера кормила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кормишь.

— Вы, верно, Вера, чересчур добрая?

— Да не слушайте вы ее, Лида Александровна! Врет она. Она вообще такая завистная.

— Уж чему завидовать...

— Конечно, завистная, потому что меня навещают, а к ней — раз в год по обещанью. Меня мужчины уважают, Лида Александровна, очень даже уважают, я с ними как товарищ: я и выпить могу — ну, немного, конечно, зачем много пить, правда же? — и закусить, и одолжить, если до получки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как обычно. Я с ними как товарищ, ей-богу, Лида Александровна.

— Дура, у тебя комната отдельная! — сказала Зойка.— А нас четверо на двенадцати метрах.

Вера хотела было ответить, но вместо этого начала вдруг икать. Минуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на Зойку рукой: чего, мол, с тобой говорить? Продолжая икать, она положила на колени свою круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого темно-зеленого цвета, а сейчас сильно потертую, с расшатанным замком, и стала торопливо рыть-

ся в ней, выкладывая на стол разные предметы: гребень, зеркало, какие-то бумажки, огрызки карандашей, которыми она писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покоробившуюся, на глянцевой бумаге фотографию.

— Прочитайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в День Военно-Морского Флота.— Она еще раз икнула и прошептала: — Ой, господи, спаси и помилуй...

Лидия Александровна взяла фотографию, прочитала вслух:

— «На добрую память в День Военно-Морского Флота от Николая З.». Да,— сказала Лидия Александровна.— Ну что ж, очень хорошая надпись. Девушки, а что, если погасить свет и открыть окна? Сейчас чудесный воздух в саду.

— И вот представьте, Лида Александровна,— сказала Вера, вставая, чтоб погасить свет.— Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не осталось, одна фотография. Хоть бы колечко какое или сережки, например. А мне ничего не нужно.

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что небо еще светлое, как бывает в июне. На терраску вместе с прохладой вливался чистый, хвойный, травяной, уже сыреющий по-ночному воздух леса.

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть на плитке. Вечерами Вера любила попить чайку как следует, стакана по три. Пока ее не было, Зойка успела рассказать Лидии Александровне, что Вера не такая уж простенькая, как кажется, что она все «хи́хом» да «ха́хом», а дела свои обделывает очень ловко, сына вон сдала в интернат: одна клиентка помогла, из райисполкома. Самой бы ни за что не устроить, а вот клиентка помогла. Сумела, значит, упросить. Одной-то жить, конечно, в тысячу раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успевает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на руках, старый да малый, и крутись как хочешь.

Пришла Вера с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александровна стала рассказывать о своей жизни: ее первый муж умер восемь лет назад от туберкулеза, человек был очень хороший, научный работник, и Лидия Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сынишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было платить в кооператив,

но кое-как перебились, стали пускать жильцов на лето, а потом Лидия Александровна встретила хорошего человека, тоже научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. А она уж не надеялась жить когда-нибудь хорошо. Женщина никогда не должна терять надежды. У нее есть одна знакомая, художница, ей пятьдесят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный военный, они прожили двадцать лет. Влюбился в одну балерину, ленинградку из театра Кирова, и уехал в Ленинград. А эта женщина, художница, живет сейчас замечательно и счастлива. Муж у нее очень талантливый, он декоратор, оформляет наши выставки за границей, без конца разъезжает, навез ей массу вещей...

Вера и Зойка слушали жадно, молча. Обе устали, зевали по очереди, им хотелось спать и одновременно хотелось слушать: жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее. Особенно поразили их слова Лидии Александровны насчет того, что женщина не должна терять надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но никогда не догадались бы выразить так ясно и четко. И постепенно они обе, уже не слушая Лидии Александровны, стали думать о себе, о своих надеждах.

Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой.

Потом стало холодно, Лидия Александровна закрыла окна, и все пошли спать. Спали плохо, мерзли — дом был сырой. Вера и Зойка поверх пальто накрывались еще коврами и циновками.

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и Вера бегали по саду, по влажной траве, ловили сачком бабочек. Посмотреть издали: оба маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой.

Зойка, неумытая, с лицом серым, отекшим, стояла на крыльце, чесала волосы.

— Хватит вам прохлаждаться! Мишка, беги за водой! — кричала сердито.— Кончаем по-быстрому — и домой. Нечего тут...

Лидия Александровна рано утром ушла на станцию

звонить в Москву, вернулась веселая: к двенадцати приедут оба, муж и сын. По словам Лидии Александровны, муж ее был человек добрый, но бесхозяйственный и больше всего на свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Александровна старалась все работы по дому делать в его отсутствие. К одиннадцати часам окна наверху были помыты, но пришлось еще разбирать сарай и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад, к забору.

Никто не приехал ни в двенадцать, ни в час. Вера с Зойкой все кончили и теперь ждали приезда мужа — он должен был привезти деньги. У Лидии Александровны было с собой только семь рублей.

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колодца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса, просить ли прибавки. Вера сомневалась, а Зойка говорила, что просить надо непременно, потому что насчет сарая не договаривались и насчет веранды тоже. Двадцать шесть рублей должна дать, это законно. И еще Зойка подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять пустые бутылки из-под вина, которые за сараем, их там шестнадцать штук и вроде они брошены как на свалку, а если их помыть да сдать — все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки насовать и в Москву свезти.

— Ну и спроси,— сказала Вера.— Спроси, спроси!

— Зачем я? Ты спроси. Ты ж договаривалась.

— А мне ни к чему.— Вера беспечно махнула рукой.— Таскаться...

Зойка даже побледнела от злости.

— Ах ты барыня дерьмовая, таскаться ей,— зашипела она.— Конечно, тебе свободно, парня сдала, можно и не таскаться. А мне как же жить?

— Я и говорю: спроси...

Подошел Мишка, в руке у него был странный овальный предмет, оплетенный соломкой.

— Мам, гляди, походная фляжка! — заговорил Мишка тихо, радостным голосом.— Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем новая. Давай возьмем?

— Не смей ничего брать без спроса! — Зойка вырвала у него из рук фляжку и положила на скамейку.— Отнесешь где взял.

— Да ее ж выбросили...

— Значит, дрянь какая-то, и нечего дрянь подбирать. Не бегай никуда, мы через пятнадцать минут поедем.

— Ма-ам, а мне в лагере в походы ходить, фляжку нужно...— заныл Мишка.

— Сунь в сумку, и все дела,— сказала Вера.— Если выбросили — значит, не нужна. Подумаешь, разговору.

Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку, но Зойка сильно шлепнула его по руке.

— Я тебе что сказала? А ты, дура, его не учи.

Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв немного, он вдруг решительными шагами пошел к калитке.

— Не уходи далеко, скоро поедем! — крикнула Зойка.

— Ага, а купаться когда же?

— Без меня на речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю!

— Ага, сама обещала...— Сварливый Мишкин голос все удалялся.

— На речку не смей! Михаил! Слышишь, что ль?

Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна второго этажа, крикнула обрадованно: «Приехали?» Вера ответила: «Нет, это Миша пошел». А Зойка ворчала зло: «Приедут, дожидайся... Полное воскресенье тут потеряли... А нету денег — не нанимай людей...»

Но когда Лидия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила с ней своим льстивым, умильным голосом, склонив голову набок:

— Лидия Александровна, я вот чего хотела спросить — насчет посуды...

Никто не приехал и в три часа.

Зойка потребовала себе семь рублей, взяла пустые бутылки и уехала с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Лидией Александровной на терраске, пила чай с хлебом — ничего больше у них не осталось, и денег не было, чтоб купить,— и советовалась о жизни: как ей быть, когда Николай придет? Соглашаться ли, если он снова гулять захочет, или послать его, проклятого, куда подальше? Сережка, татарин, человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему татарку найти, а они матерей очень слушаются, татары: он поперек матери ни за что не пойдет. Он и ночевать-то у Веры редко когда остается, а все норовит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать волновалась. А чего ей волноваться? Она Веру прекрасно знает. Сколько раз Вера к ним заходила, картошку с рынка приносила и белье стираное все-

гда сама им привозит, а по субботам полы моет, во всех комнатах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоколамке живут. Иной раз уж троллейбус не ходит, второй час ночи, так Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и разобрать его тяжело.

Лидия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у нее была занята другим, и только говорила: «Главное, Вера, помните о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, Лида Александровна! Это уж обязательно...» Вера рассказывала и о своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском, о сиротстве, о войне, о том, как в ремесленном училась, как тетка померла и Вера осталась хозяйкой в комнате, как к ней сватался один старичок, шестьдесят пять лет, из города Камышина, но Вера его прогнала: догадалась, что зарится на комнату. Рассказывала Вера, а сама думала про Николая и вдруг решила, что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет. Нет, не будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до получки попросит, вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла к ней в голову эта внезапная простая мысль, она сразу замолчала. Лидия Александровна тоже молчала, сидела задумавшись.

Вера вздохнула.

— А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?

Лидия Александровна покачала головой.

— Нет, Вера, никакого несчастья.

В пятом часу пошел дождь, и, когда он кончился, очень скоро, Вера собралась ехать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, а то ей не на что было возвращаться.

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для косьбы трава с обеих сторон проселка едва заметно шевелилась, дышала, ее колебало парным дождевым воздухом, поднимавшимся снизу. Вера сняла туфли, пошла босая. Много лет не ходила она по такой теплой летней дороге босыми ногами, она шла медленно, совсем одна на большом лугу, и никуда не хотелось ей торопиться.

1966

ГОЛУБИНАЯ ГИБЕЛЬ

Однажды утром, уже одевшись, в шапке, Сергей Иванович подошел к окну, чтобы посмотреть, какова погода и надевать ли галоши, и увидел голубя. Голубь был похож на борца: могучая спина и крохотная головка. Он сидел на узеньком железном отливе и, склонив головку набок, косым, шпионским взглядом засматривал в комнату. День был сырой, всю ночь шел мокрый снег, окна запотели, и голубь не много смог увидеть через стекло.

Он увидел грязную вату между рамами, пролежавшую там ползимы и успевшую почернеть от копоти; две поллитровые стеклянные банки на подоконнике, одну с клюквой, другую с кислой капустой, и на одной банке он увидел блюдце, на котором лежал кусочек масла в вощеной бумаге; и веревочную авоську, прицепленную к замку форточки и висевшую между стеклами, в которой хранилось несколько сморщенных сосисок. И еще он увидел старое, заметно опухшее со сна лицо Сергея Ивановича, его седые брови, немигающий взгляд и желтые от табака пальцы с широкими, плоскими и тупыми ногтями, почесывающие подбородок. Это увидел голубь. А Сергей Иванович увидел то, что привык видеть по утрам в течение многих лет: семиэтажную пропасть, кирпичную, с дождевыми потеками изнанку дома, и крыши напротив, утыканные трубами и антеннами, и внизу, на дне пропасти,— туманный, заваленный серым снегом двор, беззвучную суетню людей, бегущих по утренним своим делам кто куда. И голубя на карнизе. Дымчато-синего, с розоватым отливом, цвета остывшей после горна стали. Странный нежданный гость! Никто поблизости не держал голубей, и вдруг — пожалуйста.

Сергей Иванович, размышляя, продолжал чесать ног-

тями подбородок. Потом стукнул по стеклу мундштуком трубки. Голубь подергал туда-сюда головкой, но не двинулся с места.

— Глянь-ка, мать, кто к нам залетел,— сказал Сергей Иванович.— А погода собачья, хуже вчерашнего.

Он зажег трубку, сунул ноги в галоши и вышел поспешно, ибо уже запаздывал минуты на три против обычного. А Клавдия Никифоровна, проводив мужа до входной двери, вернулась в комнату, подошла к окну и тоже увидела голубя, прибитого непогодой. Внизу, на дворе, чернела мокредь. По стеклу змейками сочился истаявший снег. «Ах ты господи, склизь-то какая,— огорчилась Клавдия Никифоровна.— И верно, хуже вчерашнего». Она открыла форточку и бросила на карниз горсть хлебных крошек, думая о своем старике: как бы не поскользнулся дорогой.

...Жили одиноко. Сын Федя погиб на войне, дочка с мужем, механиком по автоделу, лет девять назад завербовалась на Север да так и прикрепилась там, писала редко. Сергей Иванович, несмотря на года — седьмой десяток на половине,— трудился на той же фабрике, где полжизни отработал, теперь, правда, не мастером в кроватном цехе, а кладовщиком в инструментальной кладовке. А Клавдия Никифоровна хозяйство вела. Хотя какое в Москве хозяйство? В «Гастроном», да в молочную, да сапожнику обувь снести.

Клавдия Никифоровна и пригрела нечаянного голубя: начала подкармливать мимоходом, а потом и привыкла. Ядрицу для него покупала, булку крошила, обязательно белую: от черной голубь клюв воротил. Сергей Иванович шутил: что, мать, забаву нашла? Скоро, спрашивал, на крышу полезешь — свистеть в два пальца и тряпкой махать?

Шутил-шутил, а приходя с работы, стал, между прочим, интересоваться:

— Ну, как наш иждивенец? Прилетал нынче?

Голубь прилетал ежедневно и вскоре совсем освоился на седьмом этаже и даже голубку привел, белую, как молочный кипень, с черными глазками в аккуратных янтарных оболочках. Когда потеплело и можно было открыть окно, Сергей Иванович смастерил — так, скуки ради, чтоб руки занять,— деревянный ящик с круглым очком и выставил на карниз:

— Вот вам, уважаемые, квартира от Моссовета. И безо всякой очереди.

В квартире этой скоро запищал птенец, беленький, в мамашу, очень прожорливый и ленивый. Через месяц он стал размером со взрослого голубя, но все еще не умел ворковать и летал, как курица.

Особенно полюбились голуби соседской Маришке, девочке лет девяти, которая по болезни неделями не ходила в школу и слонялась, скучая, по большой, безлюдной в дневные часы квартире, не зная, чем заняться. Клавдия Никифоровна жалела эту Маришку — бледненькую, на тонких мушиных ножках,— всегда зазывала ее к себе, и та сидела у окна, грызла морковку и смотрела на голубей. А родители Маришкины были люди занятые, пропадали на работе до вечера: Борис Евгеньевич работал библиотекарем в самой главной библиотеке, а Агния Николаевна учила в школе, в старших классах. И была еще у них бабушка, Софья Леопольдовна, старушка лет под восемьдесят, совсем почти глухая, но еще крепкая, на ногах — на всех готовила и в магазины ходила.

Весна между тем забирала круче.

Расталкивая облака, гуляло над городом влажное синее небо. В овощном магазине, где всю зиму торговали консервами и черной картошкой, появился парниковый лук. По утрам мимо окна проносились стремительные, пугавшие Клавдию Никифоровну серые тени, внизу ухало, наверху гремело железо: рабочие сбрасывали снег с крыши.

Несколько теплых апрельских дней дотла сожгли хоронившийся кое-где снег, залили Москву мутной быстрой водой, но солнце высушило эту сырость очень скоро, и к маю тротуары были сухи. В мае на балконе седьмого этажа появился мальчик в бордовом свитере и в зеленых брюках от лыжного костюма. Мальчик готовил на балконе уроки. Он сидел на стуле, положив одну толстую ногу на другую, и, жмурясь от солнца, что-то зубрил и царапал карандашом в тетрадке. Но чаще он держал карандаш во рту, делая вид, что курит трубку, или же строгал карандаш ножичком, а заодно подравнивал ножичком стул. Время от времени из двери высовывалась рука и протягивала мальчику бутерброд или яблоко. Съев яблоко, мальчик метал огрызок в балкон четвертого этажа, целясь в алюминиевое ведро, стоявшее там, и, если выстрел бывал удачным, ведро отзывалось гулким колокольным звуком. Иногда он просто кидал огрызок вниз, наобум,

и, подождав немного, выглядывал через перила: в кого попал?

А скоро мальчик обнаружил голубей, стал приходить на балкон с рогаткой и стрелять в голубей абрикосовыми косточками и кусочками цемента, которые он отколупывал от балкона. Сергей Иванович как-то заметил это, пристыдил из окна:

— Эй, дяденька большой, ты что ж хулиганишь?

Мальчик засмеялся, покраснел и убежал в комнату.

Однако через день или два мальчик вновь появился на балконе и вновь готовил уроки и стрелял из рогатки. Потом неделю шли дожди и голуби получили передышку. А в середине мая, когда снова наладилась солнечная погода, однажды утром пришла неожиданная посетительница: высокая молодая дама в шуршащем плаще и с длинным цветастым зонтиком.

— Здравствуйте, я Моргунова из шестого подъезда,— сказала дама, с треском складывая зонтик и входя в коридор.— Я пришла относительно голубей.

— Заходите в комнату, милости просим,— сказала Клавдия Никифоровна.

— Нет, спасибо, я на минутку. Я только насчет голубей. Голуби ваши, да? Дело в том, что ваши голуби, эти милые существа, играют совершенно роковую роль в нашей семье. Нет, поймите меня правильно! Я против голубей в принципе ничего не имею...— Моргунова говорила таким громким, жизнерадостным голосом, что из своей комнаты вышла соседка Мария Алексеевна, и даже старушка Софья Леопольдовна,— глухая-глухая, а тоже услышала,— приползла из кухни.

Сергей Иванович не сразу сообразил, чего хочет дама с зонтиком. Упорным взглядом исподлобья он рассматривал ее полное румяное лицо с маленьким ротиком, красиво обрисованным розовой помадой, ее шуршащий переливчатый плащ, сопел трубкой и думал: до чего же народ стал балованный, это на удивленье! И то им не так, и другое, и черта лысого не хватает, а как в войну переживали — об этом уж никто не помнит. Вникнув, догадался: дама просит, чтоб голубей убрали. А спроси ее — зачем? Почему такое это нужно, чтоб убрать? Кому птицы мешают? Она и не ответит, потому что одна блажь в голове, баловство.

Все это Сергей Иванович подумал про себя, а в разговоре не проронил ни слова. Клавдия Никифоровна очень вежливо и разумно отвечала даме. Она сказала,

что ученику необязательно готовить уроки на балконе и что от голубей никому не может быть беспокойства, если не обращать на них внимания и не шмалять в них из рогатки. Конечно, сказала она, с учениками хлопот довольно, кто говорит. Сама, слава богу, двоих вырастила, и внучка уже в третий ходит, в Мурманске живет. Конечно, кто говорит: учиться нынче не сахар. Хоть в Москве, хоть где. С ребят требуют очень крепко...

Моргунова сказала, что ей, к сожалению, некогда разговаривать, она должна идти по делам, но напоследок повторила:

— Вы уж, пожалуйста, ваших птиц уберите. Это наша категорическая просьба. А то муж хотел обратиться к общественности.

И, улыбнувшись приветливо, она ушла.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна были несколько озадачены последними словами Моргуновой, но, поразмыслив, сочли все происшествие пустяком, не стоящим внимания. А Мария Алексеевна, женщина деловитая (одиннадцать лет кассиршей на одном месте, в «Гастрономе»), сказала, что она хоть эту Моргунову не знает, но слышала, что у нее в прошлом году работала в домработницах такая Даша, хроменькая, которая сейчас работает у одного профессора в доме, где овощной магазин, и вот она, Мария Алексеевна, однажды познакомилась с этой Дашей в химчистке, и та порассказала ей всякого-разного про этих Моргуновых: сама, говорит, колотит мужа почем зря, и он ей тоже не дает спуску. Каждую субботу у них гости, выпивка, музыку на полную силу запускают, так, что соседи стучат в стенку и жалуются. Так что, если она что скажет, можно и про нее сказать. Можно эту Дашу в крайнем случае разыскать, она в доме, где овощной, ее там каждый знает, она хроменькая, приметная.

Старушка Софья Леопольдовна тоже была возмущена и кипятилась:

— Какая наглость, вы подумайте! Я бы на вашем месте, Клавдия Никифоровна, ей ответила хорошенько! На мой характер, я бы ей задала перцу, нахалке этакой!

Сергей Иванович махнул рукой и ушел в комнату. В окно увидел, как по двору идет Василий Потапович, направляясь к деревянному столу, врытому подле забора, а за столом, в окружении мальчишек, уже сидят старик Колесов и молодой парень Мишаня Жабин,

игрок хитрый и прижимистый: собираются воскресного козла забивать. Сергей Иванович играл обычно вечером, когда сходились люди солидные, испытанные годами и злопамятные друг против друга противники. Но сейчас, коли Василий Потапович нацелился играть, да и старик Колесов тут, грех не выйти.

— Пойду, постучу до обеда,— сказал Сергей Иванович, выходя в коридор, где Клавдия Никифоровна продолжала пустой разговор с женщинами.— Позовешь тогда...

Прошло несколько дней, и Клавдия Никифоровна опять заметила, как мальчишка в голубей стреляет. Только начала она ему выговаривать, как на балконе появилась Моргунова в длинном, из блестящего китайского шелка халате и, не говоря ни слова — раз! раз! раз! — отхлопала парня по рукам. Тот в слезы, а Моргунова повернулась к Клавдии Никифоровне и пригрозила на весь двор: если, мол, до завтра голубей не уберете, будете иметь дело с домкомом.

Сергей Иванович, конечно, и не подумал голубей убирать. Да и куда их? В шкаф? Суп из них варить? Тут, правда, про голубей на короткое время забыли: за Борисом Евгеньевичем пришли ночью и увели. С понятыми. Шум был, топот, разговоры, жильцы, конечно, проснулись, вышли в коридор. Агния Николаевна стояла нечесаная, белая и смотрела дико, как пьяная, а старушка Софья Леопольдовна кричала в голос. И только Маришка была спокойная, зевала спросонья, Борис Евгеньевич держал ее на руках до двери. Жильцы с ним прощались. Клавдия Никифоровна сказала:

— Да что ж это, Борис Евгеньевич?

А он посмотрел, улыбнулся:

— Разве не знаете, Клавдия Никифоровна, я же вчера человека убил!

Потом долго, часа два, Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна не могли заснуть, грели чайник на плитке, обсуждали шепотом: мог ли Борис Евгеньевич чел века убить? Вообще-то он был шутник, скорей всего пошутил. Скорей всего в библиотеке что-нибудь допустил, может, ценные книги портил или еще что.

Спустя день-другой после этого случая пришел член домкома Брыкин. Этого Брыкина, полковника в отставке, все в доме хорошо знали: с утра до вечера топтался он во дворе, следил за порядком, подгонял дворников или же сидел в домоуправлении и командовал как об-

щественник слесарями и водопроводчиками, которые ему вовсе не подчинялись и часто даже не желали его слушать, но он никак не мог жить без того, чтобы кем-нибудь не командовать. Было ему лет семьдесят, но оттого, что он днями гулял на свежем воздухе, цвет лица у него был, как у милиционера, очень красный и здоровый. Еще этот Брыкин ходил по квартирам и воевал с неплательщиками, а на самых злостных писал заявления в те места, где неплательщики работали.

Зайдя в квартиру, Брыкин в первую очередь спросил:

— Сысойкина дома?

— Нету,— сказала Клавдия Никифоровна.

— Передайте, что если в течение двух дней не оплатит мартовскую жировку, будем разбирать в товарищеском суде. И напишем по месту работы.

— Хорошо, товарищ Брыкин, обязательно передадим. А мы-то уж давно!

— Вы-то — я знаю. Насчет вас тоже есть разговор. Можно к вам пройти?

Не дожидаясь ответа, Брыкин шагнул в комнату, сразу к окну, посмотрел на голубей и сказал:

— Это надо убрать, граждане. Соседи протестуют, из шестьдесят второй квартиры. Согласно положению не имеете права.

— Согласно какому такому положению? — спросил Сергей Иванович, который недавно пришел с работы и сидел за столом, пил чай.

И тут же за столом сидела маленькая Маришка и тоже пила чай.

— Имеется положение,— а как вы думали? — если соседи протестуют, то не можете держать никаких домашних животных, и птиц то же самое. Касается одинаково домашних животных или птиц, это безразлично. Могут до штрафа довести, так что советую убрать.

— Ну что ж.— Сергей Иванович вздохнул.— До штрафа мы, конечно, не допустим, товарищ Брыкин. Мы их не заводили, нам что были они, что нет, все едино. Вот девочка с ними занимается, а нам — что ж, пускай.

— Девочка тем более не ваша. Это не причина.

— Наша, наша,— сказала Клавдия Никифоровна и погладила Маришку по голове.

— Где ж ваша? И масть не та.— Брыкин усмехнулся, передние зубы у него были золотые. Наклонившись

к Сергею Ивановичу так, что красные щеки его свесились, как два мешочка, сказал вполголоса: — А приваживать не советую.

Тут в комнату заглянула Агния Николаевна, позвала Маришку ужинать.

— А она уж ужинает,— сказала Клавдия Никифоровна.— Вон как хорошо ужинает.

— Нет, нет, не надо мешать чужим людям, Мариша, скажи спасибо, и пойдем.

Агния Николаевна вошла в комнату, поздоровалась с Брыкиным, на что тот как-то неопределенно, не глядя, кивнул, а может, просто опустил голову и вышло похоже, что кивнул, и взяла Маришку за руку. Но девочка не хотела вставать, неспешно допивала чай с блюдца и заедала баранкой.

— Нам ваша дочка нисколько не мешает,— сказал Сергей Иванович.

— Я понимаю, но у вас люди, а ей пора домой.

— А ничего, пускай чайком погреется.

— Мариша, я тебя прошу — быстрее!

Все, даже Брыкин, смотрели на девочку, уплетавшую баранку, с улыбкой, только мать стояла мрачно, глядя на дочь совсем не материнском, холодным взором.

— Ну? — сказала Агния Николаевна.

— Мам, а дядя говорит, что голубков надо убрать.

— Надо — значит, надо.

— Мам, а мне их жа-алко!

— Мало ли что жалко. Вставай! Скажи спасибо, и пойдем. Нас бабушка ждет.— И она потянула Маришку за руку из-за стола.

— Да, да, голубков ваших надо убрать непременно,— сказал Брыкин.

Бледное личико Маришки вдруг скривилось, глаза закрылись, и она заревела. Клавдия Никифоровна стала ее успокаивать, совала баранку. Сергей Иванович тоже встал из-за стола, Агния Николаевна тащила Маришку силой, а та ревела все отчаянней. Агния Николаевна не говорила ни слова, лицо ее как будто застыло, и только у самых дверей она вдруг стала кусать губы.

Брыкин сказал, когда мать и дочь скрылись:

— Ну и соседи у вас! — И покрутил головой.— А насчет птиц не затягивайте. К завтрему чтоб.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна особенно не огорчились: жили без голубей и проживут. Штраф

платить никому неохота. Клавдия Никифоровна сгребла все голубиное семейство — и птенца великовозрастного, который уже летать начал,— и отнесла вместе с ящиком одному знакомому малому, сыну лифтерши. Вот малый обрадовался-то!

Вечером о голубях не говорили. Точно их и не было никогда. После ужина пошли к Марии Алексеевне в дурачка перекинуться. Потом, когда вернулись и уже спать постелились, старушка Софья Леопольдовна постучала: Маришка плачет, не засыпает, хочет на голубков посмотреть.

— Нету голубков! Все! Улетели! — сказал Сергей Иванович сердито.

А на другой день, лишь только вошел Сергей Иванович в дом, Клавдия Никифоровна ему радостно:

— А у нас гости!

— Кто такие?

— Погляди вот...

Очень смеялись в тот вечер Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна.

— Мы-то их жалели, мы-то их кормили, а они нас разорить хотят, под штраф подвести!

Вскоре и малый, лифтершин сын, прибежал испуганный:

— Тетя Клава, у вас голуби?

— Здесь, здесь. Забирай свое добро и береги лучше...

Отдали ему голубей, а Сергей Иванович взял молоток и подбил железный отлив таким образом, чтобы, если прилетят голуби в другой раз, сесть им было невозможно.

Утром Сергей Иванович прямо из постели, босой, подошел к окну, глянул — мать честная! — голуби тут как тут. Сидеть им нельзя, так они прицепились к железу и повисли. Все трое повисли. И как ухитрились, на чем держались — непонятно. Эти висящие голуби выглядели так страшно, жутко и трогательно, что Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна растерялись. Марию Алексеевну с племянником пригласили смотреть и Маришку позвали. Маришка оказалась больной, лежала в постели, вместо нее старушка Софья Леопольдовна пришла — совсем согнутая, голова трясется. Племянник Марии Алексеевны, человек ученый, студент института, сказал, что у голубей действует особенная привычка. Им, сказал, отбиться от вашего окна так же,

трудно, как, например, Сергею Ивановичу бросить трубку курить. Старушка Софья Леопольдовна тоже удивлялась, ахала, потом сказала Клавдии Никифоровне шепотом:

— А у нас беда: Агнию с работы сократили. Как жить будем — не знаю. Книги продаем, ковер продали...— И громко: — Нет, ваши птицы исключительно редкие! На мой характер, я бы их ни за что не отдала!

Сергей Иванович хмурился, глядя на голубей.

— Ничего, ладно,— ворчал.— Долго не провисят, устанут...

И голуби правда улетали куда-то, но потом возвращались и снова, прицепившись к отливу, терпеливо висели. Так провисели они целый день. И тогда, пораженный этой удивительной преданностью, Сергей Иванович решился: будь что будет, пускай птицы остаются. Нельзя таких птиц отдавать. Два дня прошли спокойно, а на третий явился Брыкин.

— Что ж, граждане? Акт будем составлять?

Ему показали, что ящика нет и даже отлив подогнут нарочно, и рассказали про лифтершина сына и про то, как голуби возвращаются и висят, окаянные, и сделать с ними ничего невозможно. Брыкин разглядывал висящих голубей, качал головой, и его красные щеки тряслись, как два мешочка. Он спрашивал, который тут голубок и которая голубка, пытался взять их в руки и даже положил несколько крошек на карниз.

Поиграв с голубями, вздохнул, сказал тихо:

— А все равно, граждане, убрать надо неминуемо. И зачем вам, ей-богу, эту пакость держать, прости господи? Если ради девчонки, то могу сказать вполне ответственно,— он понизил голос,— не жильцы они тут. Ясно?

— Какая девчонка! — Сергей Иванович махнул рукой.— Это нас не касается.

— А нам, видишь, поступило заявление, и мы обязаны прислушаться и принять меры. Так что голуби считаются птица подозрительная, ненужная в наше время. И тем более ученик занимается и они ему мешают.

— Ну, понятно, чего говорить. У вас тоже служба...

— А как вы думали? Легко ли мне, старику, какой раз к вам на седьмой лезть да вниз топать? Одни вы, что ли, у меня? — Красное лицо Брыкина стало еще гуще, малиново-красным, голос возвысился, белые стариковские глаза с неожиданной злобой уставились в

Сергея Ивановича.— Зачем столько уговоров? Пригласить вас повесткой на товарищеский суд, акт составить да штраф влепить — и вся недолга!

Едва упросил Сергей Иванович отсрочку на два дня.

В субботу вечером Сергей Иванович посадил голубей в корзинку, накрыл тряпкой и поехал на Ленинградский вокзал. Он решил отвезти голубей своей сестре, которая жила за Клином, в ста пяти километрах от Москвы. Клавдия Никифоровна очень тревожилась за своего старика, особенно огорчилась тем, что не заставила Сергея Ивановича надеть вязаную телогрею и взять зонтик. Последнюю неделю зачастили грозовые дожди, в воскресенье тоже была гроза. Клавдия Никифоровна проклинала голубей, соседей, Брыкина, ей мерещились всякие напасти.

Сергей Иванович вернулся за полночь — продрогший, измученный, но довольный и с букетом сирени. Он рассказал, что голуби устроены прекрасно, лучшего и желать нельзя. Обе племянницы, девочки, счастливы до невозможности. Голубям отвели квартиру на чердаке, со всеми удобствами, с окном в сад — не то что ржавый отлив, где даже сесть некуда. А там-то помещение богатое, простор, воздух, сирень цветет, воркуй на здоровье хоть сто лет.

— Так что попали наши птахи как в дом родной,— закончил свой рассказ Сергей Иванович, усмехнулся устало.— Теперь уж не воротятся...

Воротились голуби во вторник.

Клавдия Никифоровна плакала, встречая мужа в дверях. Она сказала, что голуби прилетели днем, незадолго перед обедом, и мальчишка уже стрелял в них из рогатки.

Сергей Иванович на цыпочках, боком, подходил к окну, охваченный странным чувством, смесью восторга и испуга. Голуби висели в своей излюбленной позе, опрокинутые навзничь, зацепившись за ржавый отлив. Их крохотные бисерные глаза метали на Сергея Ивановича любовные взгляды.

В третий свой приход Брыкин принес повестку в товарищеский суд: на субботу, на семнадцать часов, в помещении красного уголка.

Был сухой, жаркий, уже клонившийся к вечеру день начального лета. В пустынном дворе — детвора разъехалась по дачам и лагерям — легкий ветер мел по асфаль-

ту невесомый прозрачно-серый тополиный пух. Отдельные пушинки достигали седьмого этажа, залетали в окна, а самые отважные, подхваченные теплым воздухом, подымались еще выше, над крышей, над палками антенн, в синее небо. Клавдия Никифоровна смотрела из окна, как ее старик плетется по двору, помахивая корзиной.

Через час он вернулся. Корзина была пуста. Клавдия Никифоровна сразу заметила, что от Сергея Ивановича пахнет вином и у него дрожат руки.

— Отдал? — спросила Клавдия Никифоровна, почему-то испугавшись.

— Не волнуйся, мать. Теперь — все, порядок... Порядок, мать.

— С какой же ты радости наклюкался? Постой-ка...— Клавдия Никифоровна осторожно сняла прицепившееся к пиджаку Сергея Ивановича маленькое белое перышко.

— Это пух, мать. Пух с тополей — поняла? Поняла, старая, чего тебе говорят? Ух ты, мордаха! — Сергей Иванович с глупой пьяной суровостью взял пальцами Клавдию Никифоровну за щеки, сжал их и потряс грубовато, как делал когда-то давно, в молодости. И Клавдия Никифоровна вдруг вспомнила это, что было когда-то, и улыбнулась.

Белое перышко, которое она сняла с пиджака, медленно плыло в воздухе, кружилось, снижалось, но ветер из окна подхватил его, и оно взмыло вверх и тихо — никто не заметил — село на плечо Сергея Ивановича.

А потом — что ж?

Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде, приходил Брыкин, составлял акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифоровна мучилась с зубами, Агнию Николаевну с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переселили куда-то на край Москвы, а в их две комнаты вселились новые жильцы, семь человек, все из Тулы, потом зима кончилась, еще одно лето прошло, объявили амнистию, Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь садился за домино с раннего утра. Потом вышел приказ насчет голубей — разводить их как можно больше к фестивалю, встречать иностранцев,— и за них теперь не то что штраф, а спасибо говорили. И развелось их видимо-невидимо. Повсюду их кормили, на площадях, во дворах,

ходили они стаями, толстые, вперевалку, летать ленились, а только ворковали целодневно да гадили где попало, особенно в углах дворов, по балконам и карнизам, и спасу от их пакости, желтовато-свинцовой, не было никакого. А в плохую погоду Сергей Иванович сидел дома и плел для удовольствия маленькие корзинки из цветного полиэтиленового провода. Обрезки такого провода — то ли он был телефонный, то ли еще для каких нужд — приносил Сергею Ивановичу сколько угодно племянник Марии Алексеевны, который уже закончил институт и работал на предприятии.

1968

В ГРИБНУЮ ОСЕНЬ

Надя возвращалась с Колюшкой и Витей из Москвы, куда ездили на день купаться, а Антонина Васильевна оставалась на даче — сентябрь стоял ясный, грибной, решили пожить до холодов, ребятам последний вольный годик до школы. Было около семи, уже чуть свечерело, кое-где зажглись окна, а Надя лишь только зашла с ребятами на участок и стала подходить к дому, бессознательно заметила темную веранду и темное окно в кухне, что в следующую секунду показалось ей странным, но не очень, потому что мама забывчива и могла задремать, хотя обычно она зажигает свет рано. Надя поднялась по крыльцу, ребята за нею, она постучала в запертую дверь веранды — никто не отозвался; стала стучать сильнее, потом звать громко, ребята весело, изо всех сил орали: «Ба-ба! Ба-ба!» — и, сцепив руки, размахивали ими, глядя друг на друга, как два восторженных дурачка, а Надино беспокойство вспыхнуло внезапно и жутко, и она задыхаясь сбежала по крыльцу вниз и стала кричать с клумбы. На втором этаже стукнула ставня, высунулась белая голова Веры Игнатьевны. Надя спросила, не видела ли Вера Игнатьевна сегодня маму, старуха ответила, что видела утром: Антонина Васильевна колола возле сарая полешки. «Зачем же она это делала? — крикнула Надя с возмущением.— Почему не могла подождать нас? Я столько раз говорила!» Сердце ее сильно колотилось, она снова взбежала по крыльцу наверх, стала рвать дверь, та не поддавалась, тогда Надя побежала к дому Евлентьевых — она задыхалась уже не только от волнения, но и от физического напряжения, при ее восьмидесяти пяти килограммах и нетренированном сердце бегать было тяжко. На дверях Евлентьевых висел замок, но лестничка лежала, как

обычно, прислоненная к стенке гаража. Надя схватила лестничку — правую Надину руку все еще оттягивала сумка с хлебом, помидорами, бутылками кефира и туфлями мальчишек, взятыми из починки,— и потащила лестничку к веранде. Ребята стояли притихнув и испуганно смотрели на мать. «Господи, господи...» — повторяла Надя шепотом. Она бросила сумку на землю, приставила лестничку к тому месту веранды, где, Надя знала, было окно, которое легко можно было открыть снаружи, и забралась на лестничку, толкнула раму, с трудом взгромоздилась коленями на подоконник и рухнула оттуда на пол веранды с таким громом, что на втором этаже могли подумать, что опрокинулся гардероб. Хромая от острой боли в ступне, она бросилась к двери, ведущей в комнаты: кухня была пуста, печка не горела, возле печки на железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и кусок полуобгоревшей газеты, в следующей за кухней комнате в странной позе на полу, прислонившись к краю кушетки и запрокинув голову, сидела Антонина Васильевна. В ее глазах оставалась жизнь. Антонина Васильевна ждала Надю, чтоб умереть. Но Надя осознала это позже, а в тот миг, когда она увидела мать сидящей на полу, когда бросилась к ней, нагнулась, упала на колени, обняла ее за плечи, закричала: «Мама, я здесь! Я сейчас!» — когда оглядывалась по сторонам незрячим взором, ища что-то, еще в тот миг не определенное сознанием, но смертельно нужное, лекарство, или стакан воды, или книжку с адресом доктора, живущего на 3-й линии, который уехал в Серпухов,— господи, он же уехал позавчера в Серпухов! — она все делала, повинуясь какой-то темной, надземной силе, возникшей внезапно, как ураган, которая с этого мига овладела ею.

В комнате совсем смерклось, но Надя, не зажигая света, одеревеневшими руками стала втаскивать тело Антонины Васильевны на кушетку, шепча одно и то же: «Сейчас, сейчас, мама, сейчас, сейчас, сейчас».

Надины руки и все ее существо дрожали от напора этой сверхчеловеческой силы, с которой никогда прежде не соприкасалась Надина жизнь, и вдруг она поняла, что эта сила есть время, превратившееся в нечто совершенно реальное, вроде ураганного ветра, оно подхватило Надю и несет. От платья Антонины Васильевны шел сильный запах валерианы, а из кухни пахло горелой бумагой.

И как у каждого человека, у нее был поступок, осветивший всю жизнь: двадцать пять лет назад она прогнала мужа, которого любила, но он стал пьяницей, и жизнь с ним сделалась невозможной. Он уехал в другой город, на край земли. Наверное, он там погибал. У него была женщина. Иногда он писал детям странные письма: «Милая Надюша! Дом, в котором я сейчас живу, представляет собою деревянный барак в два этажа с двадцатью четырьмя окнами, тремя дверями, водоразборная колонка недалеко, дымоходы отличаются хорошей тягой...» Надя показывала письма матери, та читала, мучаясь, но не выдавая себя — по аккуратному и бессмысленному слогу понимала, что письма писаны в пьяном виде,— и плакала украдкой, но сделать ничего было нельзя. А когда-то была хорошая жизнь, мать вспоминала ее, она плакала, вспоминая, а не жалея: отец был главным инженером завода, ездил в «эмке», приносил паек, была дачка в Крюкове, казенная, от завода, и на участке росли яблони. И вдруг все разрушилось так внезапно и быстро. Мать постарела, выбивалась из сил, особенно в войну, изобретала, металась от одного занятия к другому — работала нормировщицей на фабрике, секретарем-машинисткой в конторе ОЗГУПа, ходила с группой детишек на бульваре, была шеф-поваром в столовой, красила дома шелковые платки для одной артели — тянула детей, никто не помогал: старшая сестра, тетя Фрося, хотя жила богато (муж ее, дядя Лева, тридцать лет по министерствам) и была бездетна, но в чужую жизнь не вникала. Ах, бог с ней, с тетей Фросей! Она будет рыдать. Их оставалось двое из большой семьи, она и мама. Она такая завистливая. Чему завидовать? Она находила и завидовала маме. Мама говорила, что у Фроси дурной глаз. Только раза два в голодные годы, дойдя до точки, мама стучалась к Фросе за помощью, и та одолжала самой малой малостью, но с разговорами («Кто ж тебя неволил детский сад заводить?» или «Кто тебе виноват, что ты женихов гоняешь, о детях не думаешь?», намекая на одного ветврача, родственника дяди Левы, приезжавшего из Орши в надежде тут прописаться), и мама заклялась когда-нибудь у Фроськи просить.

Мама ее жалела. Говорила, что дядя Лева подлец, обманывает ее, а она все знает и терпит. Пусть она приезжает завтра, сегодня не надо, сегодня один Володя. Никого не хочу, не могу видеть, кроме Володи. Гос-

поди, если только он дома, если не ушел играть в шахматы к Левину!

Темный ветер гнал Надю по шоссе. Она бежала на станцию звонить в Москву. Навстречу шли люди только что с поезда, нагруженные сумками, свертками, портфелями — из другого мира, где можно идти медленно, можно быть усталыми. Некоторые из них с изумлением смотрели на Надю. Что-то было в ее лице, заставлявшее их смотреть: может быть, она шевелила губами.

Она сейчас думала об одном: о том, что Володи может не быть дома. Когда они ссорились, он всегда уходил из дома — на футбол или к Левину играть в шахматы. Надя была уверена в нем. Ничего другого быть не могло. Однако, когда мирились, она спрашивала, томясь тайным непобедимым страхом: «А где вы были вчера, молодой человек? Скажете, опять играли в шахматы у Левина?» «Какие там шахматы! — говорил он.— Мы были у девочек. Чудесно провели время». Обрывалось и холодело внутри, хотя она твердо знала, что это шутка, примитивная шутка. Ничего не могла поделать с собой. Он тут же старался поцеловать ее, а она закрывала глаза и отворачивала лицо. Когда касалось Володи, его отношения к ней, что-то происходило с сознанием, какое-то затмение мозгов: она становилась тупа, теряла чувство юмора. Проклятая дача! Еще в мае, когда приезжали снимать, она не понравилась Наде — место невзрачное, хозяйка какая-то угрюмая и хапуга, триста пятьдесят за две комнатки с верандой,— но Володя и мама настояли, потому что близко от станции, и хозяйка до октября уезжала на юг, и надоело искать, а для мамы было главное, что рядом базарчик. Как чуяло Надино сердце, что дача проклятая. Они с Володей почти и не жили там: завезут продукты на неделю и исчернут, мама одна управлялась. Вечерами играла в карты с ребятишками на кухне, где было всего теплее, а так-то дача холодная, даже летом подтапливали, стены дощатые — и за доски такие деньги дерут! «Где же наши гулены? Верно, в концерт пошли. По радио передавали — сегодня большой концерт в Москве...» Но Надя и Володя ходили в концерты редко. Чаще в кино, к приятелям на чаек или на футбол, а то сидели дома и телевизор смотрели. И как раз больше всего Надя любила дома сидеть, чтоб с Володей вдвоем, никаких приятелей, и чтоб знать, что дети в порядке — дышат сосной, едят вкусно и правильно, потому что мама ве-

ликая кулинарка,— и полежать на тахте в тихой квартире с книжкой в руках под верблюжьим одеялом, и чтоб Володя спустился в «Гастроном», купил бы сырку, колбаски, и пораньше лечь спать, часов полдесятого нырнуть в свежие простыни,— но зачем же, зачем мама выбрала это проклятое место, куда душа не лежала приезжать?

Он был дома. Надя услышала родной недовольный голос. Не смогла договорить, он закричал на другом конце провода: «Надя, я еду! Меня ждет Левин! Я к нему на секунду и сейчас же беру такси!» Зачем к Левину на секунду? Она силилась понять. Ссора вчера была ничтожна: она рассердилась на то, что он собрался идти в субботу на день рождения своей двоюродной сестры Риты, вместе с Надей, разумеется, но Надя должна была ехать на дачу, дать передохнуть маме, и, кроме того, Надя не любила Риту, считая ее фальшивой и скрытно недоброжелательной. Не простила ей, что когда-то давно, когда они с Володей еще не были знакомы, Рита хотела женить Володю на своей подруге. Подруга могла там быть. Конечно, все это вздор, подруга давно замужем, родила детей и превратилась в драную кошку.

И Володя сам не пошел бы, но тут он впал в амбицию. Решил, что ущемляют его свободу. «Ну конечно! — говорил он.— Я должен делать только так, как тебе угодно!» Мама умела их мирить. Всегда держала сторону Володи. И сколько раз Надя злилась на нее из-за этого, называла «оппортунисткой», а мама была просто умница, самая настоящая умница. Что ж теперь будет? Как жить? Вдруг Надю охватил страх: она оставила ребят у Веры Игнатьевны, старуха рассеянна, и у нее открытый балкон. Телефон тети Фроси все еще был занят.

Надя побежала в другой конец здания, где принимали телеграммы, и отправила срочную брату Юрию в Петрозаводск. Потом вернулась, и тут как раз дали Москву, но номер не тети Фроси, а Ларисы, Надиной лучшей приятельницы. Лариса похоронила свою мать полтора года назад, она сразу сказала дельное: «Обязательно достань снотворное и прими на ночь. Завтра у тебя будет очень тяжелый день». Надя подумала: завтра? Наконец дали номер тети Фроси. Надя не понимала, говорит она тихо или кричит. Когда она вышла из кабины, к ней подошла незнакомая женщина и,

глядя ей прямо в глаза, сказала тихо: «Выдержать, выдержать!» Наверное, Надя кричала.

Только одна фраза, сказанная ею самой, как только она прибежала на почту, врубилась в сознание: «Девушка, мне нужно срочно Москву: умер человек!» Почему она назвала маму человеком? Ужаснуло даже не это, а то, что она смогла произнести эту фразу, не пресекся голос, не подломились ноги, она стояла спокойно, протягивая девушке рубль, и потом взяла у нее сдачу.

На улице было черно. Надя перешла через пути: аптека находилась в другой части поселка. Из шашлычной вышли два человека. У одного на груди болтался транзистор, из которого раздавалась музыка. Надя отчетливо подумала: «Это Моцарт». И еще: «Он давно умер». Когда Надя проходила мимо, человек с транзистором сделал движение, чтобы схватить Надю за руку, и позвал: «Эй, чудачка!» Надя увернулась и побежала. Она слышала за спиной музыку Моцарта и ругань, но оба пьяницы едва стояли на ногах. В аптеке Надя попросила капли Зеленина, валокордин и снотворное. Она задыхалась, сильно щемило сердце, и она посидела две минуты на стуле, приняв валокордин. Она подумала о том, что все ее болезни, ее полнота, гипертония, все, что ее гнело и мучило, теперь будет гнести и мучить ее одну. Но страх перед всем этим, ее привычный страх исчез: она подумала, что могла бы легко расстаться с жизнью, вот сейчас же, здесь, в аптеке. Ничто не остановило бы, даже дети. «Лариса так же убивалась в прошлом году,— вдруг вспомнила Надя.— А сейчас бегает по Москве, ищет осеннее пальто». Но и эта подлая мысль, которая пришла нарочно чтоб облегчить, ничего не облегчила. И было что-то, о чем Надя не могла думать, что она отталкивала всем существом, всей кожей, всем своим несчастным и пустым сердцем.

Володя приехал в двенадцатом часу вместе с Левиным. Они где-то выпили, как видно, на скорую руку: Надя почувствовала запах водки, когда Володя поцеловал ее. Левин работал в том же НИИ, где и Володя, но в другой лаборатории. Надя его не очень любила, считала, что он дурно влияет на Володю, и хотя прямых улик такого влияния не было, но теоретически они мог-

ли быть: Левин был холостяк, игрок, а Володя легко поддавался чужой воле.

В первую минуту Надя болезненно поразилась, увидев Левина, но потом ей стало все равно. Левин, стягивая берет с лысой головы и целуя Наде руку, бормотал слова соболезнования и извинения за свой приезд, в котором виноват Володя. В маленьких карих глазах Левина, как всегда, что-то посверкивало.

— Может быть, я окажусь чем-то полезен,— говорил Левин.— Куда-нибудь съездить, что-нибудь привезти. Нет? Не нужно? Я все знаю, дорогая, все понимаю. У меня самого столько потерь за последнее время.— Он поправил манжету, вытянул здоровенную руку и стал загибать крепкие толстые пальцы.— В начале шестьдесят пятого — мама. В июле того же года — родной дядя, брат отца. И сразу через неделю — бабушка. Представляете? Крематорий стал для меня, простите, родным домом. А в прошлом году — мой старинный друг, со школьной скамьи. Скоротечный рак, и ни-че-го нельзя было сделать! Красавец парень, семья, малютки дети. Талантливейший биохимик. И ни-че-го! А как умирала моя мама? Тоже кошмар. Десятимесячные мучения. Кто-то сказал: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». Теперь скажите вот что: вы отсюда повезете или с городской квартиры? Я советую отсюда. Во-первых, вам не надо будет дважды заказывать машину. Во-вторых, зачем вам лишние волнения, перенос тела вверх, вниз? Теперь так: этот дачный эскулап, который констатировал смерть, для вас ничто, пустое место, вам нужно вызвать врача официально, и тот напишет заключение, причем вызывайте сейчас же, тогда у вас с утра будут развязаны руки и вы сможете действовать. Только надо решить: отсюда или с городской квартиры?

Надя смотрела на Левина, как будто не слыша вопроса. Она встала и вышла в соседнюю комнату, где было темно. Володя пошел за ней. В темноте он обнял ее, и они стояли несколько минут обнявшись, посредине комнаты.

— Ничего не понимаю, что он говорит...— сказала она дрожащим шепотом. Было похоже, что у нее начинается озноб.

— Ну ладно. Сейчас ни о чем не думай.— Он обнимал ее одной рукой, а другой гладил ее спину.

Она прижималась к нему. Зубы ее стучали, она не

могла остановиться. Она чувствовала его ладонь, нежно и твердо ласкавшую ее тело, сотрясаемое ознобом, и что-то громадное, как тот темный ураган, обнимало, наполняло ее, и, наверное, это была любовь, но такая, какой она еще никогда не испытывала: может быть, это была любовь к жизни и одновременно любовь к смерти или, может быть, любовь к себе.

Было слышно, как Левин, скрипя ботинками, ходит по кухне. Он передвинул стул, что-то упало.

— Кстати, машину надо заказывать тоже с утра,— раздался из кухни его голос.— Там всегда очереди. И заказывайте только на Смоленской.

Володина рука замерла.

— Дурак, зачем я его привез? — прошептал Володя.

— Ничего. Пусть...

Ребята спали наверху, у Веры Игнатьевны... Часа в три ночи Надя разделась и легла спать, приняв снотворное. Левин и тут оказался на высоте. «Что вы глотаете? Дайте сюда! — Почти силой он вырвал из Надиных рук таблетки.— Выкиньте и забудьте. Вот что пьет интеллигенция...» Володя посидел немного на кровати, держа Надину руку в своей. Надя лежала, закрыв глаза. Сил не было. Вдруг она заснула. Проснувшись, испуганно вскочила на кровати, отбросила одеяло: ей показалось, что давно уже утро или вторая ночь, что она проспала что-то бесконечно важное. В следующую секунду услышала голос из сна: умерла мама. Эти слова были бредом, не имели смысла, но прошла еще одна секунда, еще, и еще, и смысл возникал, рос, становился гигантским, отчетливым, опрокинул, она упала навзничь и лежала, неживая, со стиснутым сердцем. Часы рядом на стуле показывали без четверти четыре. В щелке двери, которая вела на кухню, был виден свет. Надя надела платье, босая подошла к двери и приоткрыла ее. За кухонным столом сидели Володя и Левин и играли в шахматы.

Через два дня погода испортилась, полил дождь, и после похорон все приехали озябшие, тетя Фрося забыла зонт в траурном автобусе, ругала за это дядю Леву и погнала его в гараж искать пропажу. Сидели на кухне. В комнате уложили мальчишек, которые все равно не спали, а хулиганили: то и дело прибегали на кухню, нацепив волчьи маски, и рычали, утихомирить их

не удавалось. Кончилось тем, что Надя сильно нашлепала обоих, Володя заступался, они ревели, тетя Фрося со словами «Ах, бедные мои сиротки!» бросалась целовать внучатых племянников, те ревели пуще, с ними случилось что-то вроде истерики, никто не мог успокоить, и Надя с тяжелым отчаянием думала: «Господи, как все разваливается без мамы!» Она долго сидела в комнате, разговаривая с сыновьями, напрягая силы, чтобы говорить спокойно, и проделала весь традиционный — когда-то она улыбалась в душе, а сейчас было невыносимо, потому что вспомнилось, с какой серьезностью это делала мама,— обряд примирения: шлепая ладонями о раскрытые ладошки сыновей, повторяла трижды: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться».

Наконец заснули, а Надя все сидела в потемках на стуле. В кухню идти не хотелось. Заходил Володя, спросил шепотом: «Ну, что ты?», она отослала его к гостям: «Иди, а то неудобно». Через стенку было слышно, как он разговаривал с Аркадием, мужем Надиной двоюродной сестры Зины, о парапсихологии. «Примерно за час до Надюшкиного звонка я почувствовал очень сильную боль в сердце. Причем никогда в жизни я на сердце не жалуюсь. Потом я вычислил...» Голос тети Фроси: «Ребята оч-чень тяжелые. Не ребята — бой...» «Абсолютно точно вычислил: это было именно в ту минуту, когда у Антонины Васильевны случился удар. Другой случай был со мной в Гурзуфе...» Аркадия и Зину, так же как мать Зины, Евгению Глебовну,— все это была семья погибшего на войне брата Антонины Васильевны — Надя видела раз в пятилетку, а то и реже. Встреть она Аркадия на улице, наверное бы не узнала. И вот эти чужие люди сидели на кухне, ели, пили, смотрели сочувственно, что-то вспоминали, лица их были скорбные, но, вдруг забывшись, они начинали говорить оживленно и совсем о другом. Все время слезилась одна тетя Фрося, которая пришла вдвоем со старухой Марией Давыдовной, дальней и мало известной Наде родственницей. А от Юрия пришла телеграмма из Петрозаводска о том, что он болеет воспалением среднего уха и находится в госпитале. Была еще одна женщина, которую Надя не знала по имени: она когда-то работала с Антониной Васильевной в артели, красила шелковые платки. Эта женщина пила водку наравне с мужчинами и несколько раз порывалась рас-

сказать, какая прекрасная была эта работа — красить на дому шелковые платки анилиновыми красками — и как выгодно за нее платили. Была там еще Лариса, Надина подруга, и Левин, которые раньше не были знакомы, но сегодня, в крематории, нашли друг друга и весь вечер разговаривали вдвоем. Но почему же они не уходят? Уже одиннадцать часов.

Надя еще и потому тяготилась идти к гостям, что все это происходило на кухне. Весь вид этой комнатки, где с утра и до вечера проходила мамина жизнь, был нестерпим и ранил каждой своей подробностью. Надя слышала через стенку, как кто-то открывал ящик кухонного стола — задребезжали ножи, вилки, — и Надино сердце содрогнулось потому, что Надя мысленно увидела этот ящик, который мама так часто приводила в порядок, застилала внизу чистой белой бумагой, в особые отделения складывала ножи, в особые — вилки, ложки, а в углу ящика хранила стопку бумажных салфеток. Сидя в темноте с закрытыми глазами, Надя видела всю кухню, вещь за вещью: полки большого чешского шкафа, где внизу в правом отсеке лежали кастрюли, терки, чугун, старинная медная ступка, принадлежавшая еще маминой маме, а в левом отсеке — разные снадобья, лекарственные травы в пакетах, банки с сушеной малиной, цикорием, содой, аккуратно связанные кусочки шпагата, которые мама берегла, за что Надя звала ее Плюшкиным, и там же стояли пустые поллитровые банки и баночки из-под майонеза и сметаны, вымытые мамиными руками и припрятанные для чего-то. Все это осталось, все жило. Остались газеты, сложенные кипой на столе рядом с гладильной доской и успевшие выцвести за лето. Передник из темно-красного ситца висит, как всегда, возле раковины на фаянсовом крюке. Только нет, нет, нет. Нет ни в ванной, ни в прихожей. Нет на даче. Там темные комнаты, все закрыто, на этой проклятой даче, по деревяному крыльцу льет дождь. Нет нигде. Нигде, нигде.

В кухне задвигали стульями. Кто-то уходил. Надя встала с осторожностью и вышла на цыпочках из комнаты. Левин и Лариса уже стояли в коридоре. Надя прошла мимо них, Лариса шепнула ей очень ласково: «Ну как, уснули ребятки?» — и поцеловала Надю в шею. Щурясь от света, Надя вошла на кухню. Она сразу увидела сонные, в красных веках, замученные Володины глаза. Поняла, что он выпил лишнее, что ему

худо, тоскливо, но, как подобает хозяину, он продолжает вести с гостями разговор. От телепатии уже перешли к грибам. Все в эту осень помешались на грибах.

Зина подвинула Наде тарелку с салатом: «Ешьте, Надя. У вас должны быть силы». Володя налил ей водки. Его рука легла на могучую Надину спину. Надя любила, когда он трогал ее. Но сейчас она ничего не испытывала. Его рука была как чужая, а ее собственное тело было бесчувственно, и она движением плеча слегка сдвинула его руку. Ей стало неприятно оттого, что он говорил о грибах.

Тетя Фрося упорно смотрела Наде в глаза. Лицо тети Фроси было рыхло, вислощеко, густого розового цвета, какой бывает у хорошо промытого в воде парного телячьего мяса. Из глаз тети Фроси катились слезы — она тоже говорила о грибах, но при этом вытирала щеки платком,— и Надя вдруг сердцем почувствовала, что тетя Фрося единственный тут родной ей по крови человек. Увидела знакомые, похожие на мамины, пальцы, знакомую неуловимую скуластость. И испытала к тете Фросе внезапную нежность, как никогда прежде.

— Наденька,— сказала мать Зины Евгения Глебовна.— А ведь я в этой вашей квартирке первый раз. Это вы выменяли свои комнаты на Мытной?

Надя кивнула.

— Там у вас, кажется, были две комнаты в коммунальной квартире? В старом доме?

— Да,— сказала Надя.

— А тут однокомнатная?

Надя кивнула.

— Сколько же метров тут?

Так как Надя не отвечала, а сидела как бы в оцепенении, глядя на блюдо с салатом, Володя сказал:

— Двадцать четыре вроде.

— Я почему спрашиваю, Володя,— сказала Евгения Глебовна,— потому что мы тоже загорелись меняться. У нас ведь прекрасные две комнаты. Ну, я потом, потом! — Она вдруг замахала рукой и зашептала: — Потом спрошу! Как-нибудь. Ладно, потом!

— Тоня-то где спала? — спросила старушка Марья Давыдовна.

— Здесь,— сказал Володя.

— Где же ей спать? — сказала Евгения Глебовна.— Там у них дети, и их двое. А здесь очень хорошо и от-

дельно. Только, конечно, газом чуть отзывает, но можно проветривать.

Мария Давыдовна с сомнением оглядывала кухню, где сейчас нельзя было повернуться.

— Это как же здесь?

— Стол сдвигаем сюда, к рукомойнику. А здесь ставим раскладушку,— показал Володя.— Неудобно, конечно, да выхода не было. Мне квартиру обещают на будущий год.

Мария Давыдовна кивала.

— Очень хорошо, верно, верно...

Тетя Фрося вдруг грубым и долгим голосом всхлипнула, закрыла лицо платком и залилась рыданьем. Надя, тоже едва сдерживая слезы, обняла ее, стала успокаивать:

— Тетя Фросечка, милая, ну не надо же, миленькая...

— Заездила мать! — рыдающим голосом проговорила тетя Фрося, локтем отодвигая Надю.

— Ну что вы, тетя Фрося! — еще не почувствовав удара, все так же нежно и успокаивающе говорила Надя.

— Заездила, заездила мать,— повторила тетя Фрося, тряся головой.

— Зачем такое говорить? Ах ты боже мой! — сказала женщина, красившая с Антониной Васильевной платки.

Тетя Фрося сделала слабое движение рукой, означавшее: «Да что говорить...» Ее лицо перекосилось от нового приступа рыданья; она захлюпала, засморкалась и, посмотрев на Надю, заговорила плаксиво:

— Ты прости меня, Надежда. Я очень Тоню любила... Я правду говорю, истинную правду...

Надя почувствовала лицом, как побелела: так бывало у нее в часы мигреней, когда она валилась на кровать колодой. Стиснула ладонями лоб. И удивленье: «Почему никто не возражает?» Она видела со стороны свое белое лицо, такое белое и невозможно маленькое по сравнению с грузным, отяжелевшим и старым телом. Потом услышала, как заговорили, задергались. Возник Левин, ухватил Надю под мышки. Потащил из-за стола вверх. Володя кричал: «Вы! Злобная тварь! Чтоб вашей ноги!..» Надю увели в комнату. Она лежала в темноте, слышала сквозь забытье, озноб, как кричат в коридоре.

Очнулась глубокой ночью. Володя спал рядом. Все

ушли. Надя встала, вышла, шатаясь, в прихожую — посмотреть на себя в зеркало, — оттуда на кухню. Грязные тарелки были сложены в раковине. Ходики показывали три часа. Надя открыла кран горячей воды, взяла свившуюся жгутом тряпочку из обрывка капронового чулка, висевшую на кране, намылила ее и принялась за посуду.

На другой день, в четверг, Надя должна была выходить на работу. Она работала на заводе за Крестьянской заставой, ездила в один конец час двадцать минут, метро и автобусом, и обычно выходила из дома в половине седьмого. Но в четверг она договорилась по телефону — позвонила своей начальнице в ПТО, — что придет к десяти часам, потому что надо было устроить ребят. Детский сад «Ласточка» при ЖЭК № 4 был самый близкий, одна остановка троллейбусом, а можно и пешком. Говорили, что дети там часто болеют. Но выхода не было. На работе Наде выражали сочувствие, каждый по-своему. Знакомая старуха гардеробщица сказала Наде: «С печалью тебя!» Одни целовали ее, и Надя даже видела мелькавшие на миг слезы, другие молча трясли руку, а некоторые просто смотрели чуть пристальней обычного Наде в глаза, стараясь что-то понять. Были и такие, которые делали вид, будто ничего в Надиной жизни не произошло. Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше.

1968

ПУТЕШЕСТВИЕ

Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале — уехать немедленно. Почему мне стало так худо — это другая история, рассказывать ее долго и ни к чему. Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди,— врачи объясняли это вегетативным неврозом, но я-то знал, что дело в чем-то другом, может быть в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву,— мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что если я не вырвусь завтра же из этой клетки из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц,— я умру.

Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой.

Пришел день. Он был сер. Лишь немного погодя оказалось, что он синь и безоблачен. Первый раз в этом году я вышел без шапки на улицу и отправился в редакцию одной газеты, чтобы взять командировку и немедленно уехать. Люди из этой газеты однажды предлагали мне командировку, но сейчас они не могли понять, чего я хочу. Заведующий промышленным отделом, маленький болезненный человечек в рубашке джерси, рассказывал о том, что в Соликамске и Кондопоге полным ходом разворачивается стройка громадных комбинатов по производству бумаги, а в Тюменской области открыты новые месторождения нефти. Еще более инте-

ресные дела творятся в Иркутской области, где создается новый промышленный бассейн. А если говорить о большой химии, сказал он, то нельзя не упомянуть о Навоинском химическом комбинате, где досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии.

Я сказал, что все это для меня одинаково необыкновенно интересно. Но именно поэтому мне трудно сделать выбор. Я намекнул, что мне хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых скрывались бы судьбы людей и разные точки зрения на жизнь.

— Это вы найдете где угодно,— быстро проговорил заведующий отделом. На его лице застыло странное двойное выражение: скорби и надменности одновременно. И, разговаривая со мной, он все время катал пальцами по столу заграничный шариковый карандаш.

Я поблагодарил его и вышел, сказав, что подумаю. Молодой человек, молча присутствовавший при нашем разговоре, вышел вместе со мной в коридор. Мы стали спускаться по лестнице.

— Вам нужны впечатления? — спросил молодой человек неожиданно.

— Ну конечно! — сказал я.— В том-то и дело, что мне нужны впечатления, черт бы их побрал! Я остался совершенно без впечатлений. Это как-то глупо звучит, но это так.

Мне было немного стыдно: я как будто признавался в том, что оказался без денег, и просил в долг. Но молодой человек искренне хотел помочь, я это чувствовал.

— Если вам нужны впечатления,— сказал он,— тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк, там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу.

— Вы так думаете? — спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли.— Конечно, вы правы: дело не в километрах...

Когда я вышел на улицу, солнечный полдень был в разгаре. Перед входом в кинотеатр стояла толпа. Я прошел через толпу, повернул налево, миновал памятник, возле которого всегда стояло несколько провинциалов в длинных пальто с фотоаппаратами в руках, и пошел вниз по широкой улице. Навстречу мне двигался густой и медленный, весенний поток людей.

Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезавшие сзади, за спиной, исчезавшие бесследно, для того чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал: зачем ехать в Курск или в Липецк, когда я как следует не знаю Подмосковья. Я никогда не был в Наро-Фоминске. Не знаю, что такое Мытищи. Да и в самой Москве есть улицы и районы совершенно мне неведомые.

Через полчаса я вышел из троллейбуса возле своего дома. На углу Второй Песчаной, где находится диетический «Гастроном», я остановился и поглядел кругом: я увидел сквер с нагими деревьями, сырые ветви которых искрились на солнце. На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них. Солнце ласкало их старую, в мешках и складках кожу. Некоторые из стариков улыбались, лица других казались окаменевшими и тупыми, некоторые дремали.

Постояв немного, я направился к своему подъезду, сел в лифт и поехал на шестой этаж. Там, на шестом этаже, из квартиры напротив вышел Дашенькин, мой сосед. Он молча протянул мне свою руку, всегда немного дрожащую, и побежал вниз по лестнице. Он всегда торопился, ходил сутуля плечи, и в глазах его тлела какая-то безумная озабоченность. Он работал жестянщиком в трамвайном депо. Его соседка по коммунальной квартире считала его сумасшедшим и написала заявление в психдиспансер с требованием, чтобы его забрали. Несколько дней назад она пришла ко мне и попросила тоже написать заявление или хотя бы подтвердить, что Дашенькин изводит свою жену и дочку, ученицу третьего класса, нескончаемыми скандалами. Шум скандалов и даже драк доносился в мою квартиру часто, иногда соседка, ее муж и Дашенькин с криками выскакивали на лестничную площадку, что я и подтвердил. Потом спохватился: зачем я это сделал? Ведь человека могут действительно забрать в больницу. В тот же вечер я пошел к соседке и попросил вернуть заявление, мной подписанное, но она сказала, что уже отослала его. Она успокоила меня: Дашенькина не заберут, только попугают. По-видимому, заявление еще не начало действовать, ибо Дашенькин пожал мне руку с чувством, как доброму другу. Я слышал, как он, стуча тя-

желыми башмаками, бежал по ступеням вниз и где-то на четвертом или на третьем этаже громко откашлялся и харкнул на лестницу. У него никогда не хватало терпения добежать до улицы.

Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили навагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновенье серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю.

1969

ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ

СЕМЬ ПУТЕШЕСТВИЙ

КОШКИ ИЛИ ЗАЙЦЫ?

Я приехал в город через восемнадцать лет после того, как был здесь впервые. Тогда мне было тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами, теперь мне пятьдесят три, я не бегаю, не прыгаю, не играю в теннис, не курю и не могу работать ночами. Тогда приехал в Рим в толпе туристов, теперь я здесь один. Тогда вокруг были друзья, теперь окружают малознакомые итальянцы, которые заняты своими делами, и я их понимаю. Между прочим, они довольно необязательные, часто опаздывают на полчаса, а то на час. Я жду в вестибюле гостиницы. Они милые люди. Я привык к их опозданиям. Они не могут переделать себя. Здесь, в Риме, перемешаны тысячелетия, перепутаны времена, и точное время трудно определить. Оно здесь не нужно. Ведь это Вечный город, а для вечности опоздание не имеет значения. Вы живете в доме XIX века, спускаетесь по лестнице XVIII, выходите на улицу XV и садитесь в автомобиль XXI века. Я изучил все иллюстрированные журналы, что валяются на круглом столике в вестибюле гостиницы «Сан-Рафаэль», фасад которой затоплен желтовато-серым, шуршащим на ветру водопадом дикого винограда, а может быть, плюща. Во всяком случае, тут целые заросли какой-то исчахшей от жаркого лета ползучей зелени.

Так вот: тогда я был нищ, скуп, по городу ходил пешком, жалея тратить лиры на автобус, вечерами валился с ног от усталости, утром вскакивал бодрый, как пионер, на витрины книжных магазинов смотрел со жгучей тоской; теперь могу купить любую книгу, ходить пешком мне скучно и утомительно; кроме того,

я всегда куда-то спешу и езжу на такси. Тогда я жил в бывшем публичном доме «Каиро», обитательниц которого на время Олимпиады выселили и в узких комнатах поселили нас, туристов, неподалеку от вокзала, рядом с рынком и кинотеатром «Люкс», на пятый этаж мы поднимались пешком; теперь живу в «Сан-Рафаэле», рядом с площадью Навона, и это совсем не похоже на пансионат «Каиро». Тогда меня все ошеломляло, я все хотел заметить, запомнить, мучился желанием написать что-нибудь лирическое обо всем этом, а теперь ничто не ошеломляет и не слишком хочется писать. Тут много причин. Не стану о них распространяться. Скажу лишь: жизнь — постепенная пропажа ошеломительного.

В воскресенье пришел один из малознакомых итальянцев, опоздав на сорок минут, милый человек по имени Джанни, и предложил поехать куда-нибудь за город. Например, в Дженцано. Я засмеялся: Дженцано был единственный город в окрестностях Рима, где я побывал восемнадцать лет назад! Хорошо его помню. Я же написал рассказ о Дженцано. Нельзя ли в другое место? Но Джанни мялся, явно не желая ехать в другое место, и вскоре объяснилось: он жил в Дженцано и ему надо было по хозяйственным делам непременно заехать домой. Мы поехали. По дороге я вспоминал: маленький город, который живет производством цветов. Там бывают карнавалы и фейерверки. Тогда в компании полупьяных и ошеломленных друзей я сидел в траттории Пистаментуччиа, пил кьянти, ел жареную зайчатину (то была особая охотничья траттория, и все убранство внутри эту особенность подчеркивало: рога оленей, чучела, оружие на стенах), пел песни, раскачиваясь на лавке и обнимаясь с соседями; потом хозяин подарил нам фотографии своей траттории с шеренгою официантов и поваров в колпаках перед входом, сам усатый господин Пистаментуччиа в середине шеренги, потом мы сидели за столиками на площади, захмелев от вина, было необыкновенно тепло, душно, одуряюще пахло цветами и порохом, соревновались пиротехники, в небе что-то крутилось и сверкало, потом к нам подвели человека по имени Руссо, который провел два года в нашем плену, у него была глянцевитая голова, он изображал рукою, будто пилит дрова, и говорил: «Ошень карашо!» Обо всем этом я когда-то написал. В том стиле лирической прозы, который был моден в

шестидесятые годы. Рассказ назывался «Воспоминание о Дженцано». И это было действительно самое дорогое и лучшее мое воспоминание о той поездке. Была какая-то свобода, молодость, распахнутость, всечеловечность и хмель, хмель! Я не мог бы внятно объяснить, что значила для меня ночная площадь в Дженцано. И охотничья траттория Пистаментуччиа. Но все это осталось во мне как музыка тех лет со всеми их радостями, надеждами, предвкушениями. А теперь палил зноем воскресный пустой Рим, желтел на камнях полувысохший Тибр, Джанни ехал по своим делам домой, а я зачем-то увязался с ним, понимая, что напрасно, повторения быть не может. Музыка отзвучала. Двое из тех, с кем я был тогда в Дженцано, умерли, двое других ушли от меня далеко.

Городишко не изменился за восемнадцать лет. Это был тоже маленький вечный город. В ресторане на веранде, где воздух дрожал от жары, где лежала тень от платанов, вокруг столиков бегали во множестве дети, на каменных плитах, забившись в углу, где попрохладнее, дремали жалкие собачонки вроде тех, которых любил рисовать Карпаччио, незаметно всовывая их в свои громадные загадочные полотна, я спросил у Джанни, существует ли та траттория Пистаментуччиа. Не знаю, зачем спросил. По-настоящему она меня не интересовала. Она годилась только как воспоминание. Я не собирался ее искать. Джанни ответил: траттория существует, но теперь там другой хозяин. У прежнего хозяина два года назад случились большие неприятности. У него был процесс. Его обвинили в том, что вместо жареных зайцев он давал гостям жареных кошек.

Я едва не крикнул: «Они были вкусные! Я помню!» Еще мне хотелось крикнуть: «А как же рассказ «Воспоминание о Дженцано»? Значит, неправда? Значит, не теплые сумерки, не море цветов, не песни враскачку с соседями, трудовыми людьми Италии, с их мужественными, обожженными солнцем лицами, не чудесное кьянти, не охотничий запах зайчатины, а — жареные кошки?» И сразу пришла другая мысль: «Вот как надо кончать рассказ! Надо его дописать!» Но я не крикнул ни того, ни другого, ни третьего. Я молчал, подавленный. Потому что всею кожей и задохнувшимся сердцем вдруг почуял разницу между нами: мною тем и сегодняшним. Дописывать ничего не надо. Нельзя править то, что не подлежит правке, что

недоступно прикосновению — то, что течет сквозь нас. Разумеется, мало радости узнать, что когда-то тебя изумлявшее и делавшее счастливым оказалось фальшивкой и ерундой. Боже мой, но ведь ощущение счастья было! И навсегда остались пение, шум в голове, петарды, Руссо. Правда, я не почувствовал за всей красотой жареных кошек. Я не прозрел истину. Несчастные жареные кошки есть повсюду, и писатель не имеет права делать вид, что их нет, он обязан их обнаруживать, как бы глубоко и хитро они ни скрывались. Все так, но мне было тогда тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами.

Я спросил у Джанни: что стало с синьором Пистаментуччиа?

— Его оправдали,— сказал Джанни.— Но он не захотел жить в Дженцано и продал тратторию. Теперь она называется «Настоящие зайцы».

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Когда-то давно я принес в редакцию знаменитого журнала несколько рассказов, вернее — рассказиков, каждый не больше пяти страниц, все вместе страниц тридцать, жалковатая рукопись, тем более жалковатая, что несколько лет я не мог написать ничего путного, на меня махнули рукой, кучка рассказиков была первым произведением после долгого перерыва, она много значила для меня, неизмеримо много, никто бы не догадался, глядя на тощую кипу листочков, что она значила для меня, я никому бы не мог объяснить — потому что разве объяснишь? — и кроме того, человек не понимает своей судьбы в тот час, когда судьба творится, понимание является задним числом, я лишь чуял, что миг — судьбоносный, меня лишь охватывал смутный трепет, какой-то озноб страха и нетерпения, и вот я пришел за ответом в полутемное здание на одной из самых старых улиц Москвы. Я медленно поднимался по каменной лестнице, стараясь успокоить колотящееся сердце. На верхней площадке остановился и стоял, наверное, минуту. Я хотел иметь вид совсем не того человека, кем был на самом деле.

Наконец почувствовал, что могу рывком открыть дверь, легким шагом пройти по коридору и небрежно

стукнуть в нужную комнату. Лицо судьбы было невзрачно: желтовато-пегое, со впалыми щеками, седоватым бобриком, со взлядом печальным и одновременно безжалостным. Сидя вполоборота, окутанный дымом сигареты, торчавшей в деревянном мудштучке, человек за столом сказал:

— Все какие-то вечные темы.

Я напрягся, ожидая удара. Но удара не последовало. Все было ясно и так. Рассказики не будут напечатаны в знаменитом журнале по той причине, что — вечные темы. Надо было уйти, однако я продолжал стоять возле стола, потом сел на диванчик, вытащил папиросу, стал закуривать, все действия были бессмысленны, но я не мог остановиться, я сел удобнее, положил ногу на ногу и спросил: что такое вечные темы? Человек за столом чуть скривил синие губы.

— Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, о чем речь.

— Не знаю,— сказал я.— Объясните, ради бога.

— Ну, бросьте, бросьте! Нечего объяснять.

— Но я действительно не понимаю.

— Чего тут можно не понимать? — Человек пожал плечами. Вид у него был скучливый, презрительный.— Вечные темы — это вечные темы. Ну, если хотите... Скажем так...

Прошло двадцать два года. Зимою в Риме в отеле «Феникс» мне передали в рецепции записку — а рецепция в этом отеле помещается в стеклянном просторном коридоре, соединяющем два здания, вроде зимнего сада, и через стекло виден двор с подстриженной сочно-зеленой, незимней травой, с пальмами, кирпичной стеной и ярчайшим голубым куском неба над нею,— в записке говорилось, что такой-то находится в Риме и хочет меня видеть. Я удивился: за двадцать два года, с тех пор как мы разговаривали о вечных темах, мы не сказали друг другу ни слова. Нет, не потому, что между нами возникла враждебность, а потому, что между нами ничего не возникло: мы остались чужими людьми. Мы раскланивались при встрече и тут же забывали друг о друге. Он находился в какой-нибудь третьей сотне моих знакомых, а я в пятой сотне его. Но кое-что нас все же связывало — знаменитый журнал, где он когда-то работал, а я когда-то печатался. Впрочем, связь была настолько умственной и далекой, что искать друг друга в Риме было странно. Зачем же, бог ты мой, я

ему нужен? Но вдруг выяснилось, что моя жена тоже знала его. Она спросила с испугом:

— Он такой маленький? С темным лицом? Коротко стриженный? Я жила с ним в одном доме. И я его боюсь.

— Почему?

— Он приносил несчастье. Когда я встречала его во дворе или на улице, всегда что-нибудь случалось.

— Ну например?

— Однажды встретила его — и в тот же день Волчок попал под машину. В другой раз тоже встретила — и зарубили сценарий. Потом еще что-то, несколько раз. Как-то столкнулась с ним в лифте — и через час принесли телеграмму о смерти Валерия. Не надо ему звонить. Ты вовсе не обязан с ним встречаться.

Мы сидели в прохладной комнате, топить тут начинали вечером, и не знали, как поступить. Записка с телефоном лежала на кровати. Постучав, вошла толстая горничная и что-то спросила по-итальянски, улыбаясь и показывая большую желтую банку. Не вникая в суть дела, я сказал: «Prego» — и махнул рукой. Горничная стала сыпать порошок на пол. Порошок не имел запаха. Мне это показалось подозрительным: порошок без запаха вряд ли мог уничтожать муравьев. Тут было множество маленьких муравьев, по ночам они заползали в постель. Сыпля порошок из банки, горничная говорила что-то ироническое, может быть, даже нескромное, поглядывая на нас плутовато. Жена сказала, что людей, которые приносят несчастья, в Италии называют порто неро, то есть приносящее черное. И никогда нельзя называть имени порто неро вслух. Надо всячески изощряться, давать понять, о ком речь, но только не называть имени. Потому что те не любят, когда их окликают. Всю эту чушь она читала когда-то и запомнила. Она читала гораздо больше, чем я.

— Ты с ним знакома? — спросил я.

— Шапочно. Мы здоровались — и больше ничего. Потом я стала его избегать.

— Он, наверно, сорвал какую-нибудь твою свиданку,— сказал я.— Ты бежала на свиданку, а он встретился во дворе, и все сорвалось.

— Это ты бегал,— сказала жена.— Все боялся опоздать. Все переживал, бедненький.

— Ты бегала больше.

— Я никогда не бегала. Я ездила на машине.

Мы помолчали, я думал над последней фразой жены и, когда горничная вышла, сказал:

— Позвоню. Интересно, зачем я ему нужен.

— Я прошу: не звони. У нас все шло хорошо...

— Нет, позвоню. Ничего страшного не случится. А вдруг ему надо помочь?

— А он тебе помог в свое время?

— Ну, когда это было...

— Тогда я уйду,— сказала жена.— Я не хочу его видеть. Я погуляю, а ты с ним встречайся один. Я поеду на Монте Пинчо.

Показалось обидным: она поедет на Монте Пинчо, может быть, зайдет на виллу Боргезе, а я должен сидеть тут, в надоевшем отеле, и ждать полузабытого, когда-то высокомерного, теперь ненужного господина.

Прошло больше часа. Господин добирался издалека. Потом я догадался, что он шел из Трастевере пешком, как я когда-то ходил, экономя лиры. Его лицо было по-прежнему пегое, дряблое, презрительное, но что-то важное в лице исчезло. Это было лицо как бы опустевшее, как может опустеть старая площадь в час сумерек. Мы видели такую площадь в Лукке, и как раз вечером: она была круглая, тихая, пепельная, без людей и машин, все вокруг было какое-то оцепенелое, уставшее жить, и только белье на веревках на пепельных стенах говорило о невидимой жизни. А рядом с этой каменной пустынной лужайкой кипела главная улица. Но там не было ничего интересного, одни товары. Ничего кроме товаров. Толпа туго продавливалась вдоль домов, пожирая товары. Прожорливая гусеница толпы. Площадь в Лукке с ее покоем и старостью — вот что напомнило лицо пришедшего.

Он развел руками и сказал, как бы извиняясь:

— Видите, как получилось...

Его первая жена умерла от болезни крови пятнадцать лет назад. Вторую жену постигло такое же несчастье. Теперь он женат в третий раз, нынешняя очень любит детей от своего первого брака, не мыслит жизни без них, и оттого все так получилось. Не было другого выхода. Ее дочь с мужем уехали три года назад, у них девочка, она заболела тяжелым нервным заболеванием, и жена не могла вынести того, что они там одни. Она их любит безумно. Какая-то неестественная любовь. Все невероятно запуталось. Дело в том, что бывший муж жены, отец этой молодой женщины, которая сей-

час в городе Атланта, был тем человеком, который принес моему гостю больше всего горя. Так что приходится страдать и перестраивать жизнь из-за его внучек. Он оставил отца в Ленинграде, отцу девяносто один год. Все запуталось. Не бывал ли я ночью в Колизее? Надо непременно пойти в Колизей ночью! Я спросил: почему он мне все это рассказывает? Ведь мы мало знакомы.

— Почему мало? — возразил он. — Мы знакомы. Я помню, мы отдыхали вместе в Ялте. Потом встречались как-то у Градовых. Я знал бывшего мужа вашей жены. Кстати, передайте ей большой привет.

— Я передам, — сказал я. — Все запуталось, вы правы.

Мы просидели в подвале ресторана до десяти вечера. Жена не возвращалась. Мы слышали стрельбу. Пришел официант и сказал, что на виа Гoрициа облава, нашли тайный склад оружия, по-видимому неофашистов, кого-то арестовали, весь район вдоль Номентаны оцеплен и никого не пускают. В ресторане кроме нас двоих не было за столами никого. Официанты и повар сидели перед телевизором и смотрели велосипедную гонку. Я начал волноваться. Мой гость не спешил. Он съел две порции спагетти по-болонски, потом мы ели дыню, пили чай и курили. Чем дольше мы сидели, тем больше его лицо приобретало старое выражение — печального палача. Он спросил:

— Вам не надоело?

— Что?

— Все время писать. Еще надеетесь поразить мир? Думаете, мир крякнет однажды, прочитав ваш опус? Извините мою злость. Я зол, потому что я прощаюсь. Ну да, и с Европой тоже. Почему я и говорю: надо идти в Колизей ночью. Потому что ни вам, ни мне сделать это больше никогда не удастся. Впрочем, я говорю о себе...

Он закрыл лицо ладонями и так сидел. Я поднялся, вышел на улицу и постоял немного возле дверей отеля. Два карабинера прохаживались по тротуару, и электрический свет из окна нашей рецепции освещал их напряженно застывшие, с деревенским румянцем детские лица. В том месте, где наша улочка выходила на Номентану, сгустилась кучка людей, с визгом тормозов остановилась машина. Тротуар был перерыт, кто-то прыгал через разрытое. Карабинеры повернулись и за-

трусили туда. Мне показалось, кричит жена: «Пустите!» Я побежал, увидел, как люди в штатском заталкивали в машину женщину, она сопротивлялась. Кричала другая женщина из толпы. Номентана была плохо освещена, я протолкался ближе, чтобы удостовериться, что жены тут нет. Когда вернулся в ресторан, гость все еще сидел, закрыв руками лицо.

На другой день мы с женой ехали из Рима в Милан. Поезд остановился в туннеле. Временами гас свет. Когда он вновь загорался, я делал вид, что читаю журнал. Тяжелый запах гари стал проникать в вагон. Мы закрыли окна. Мы были в купе вдвоем. У жены сделалось мятое, серое от страха лицо. Она шептала:

— Я говорила: сразу начнутся неприятности. Не надо было с ним встречаться.

Я сказал:

— Самые большие неприятности у него.

Потом я сказал:

— Теперь я все про тебя знаю. Он был знаком с твоим бывшим мужем.

Она смотрела на меня пристально и с недоумением, точно старалась догадаться, действительно ли я все про нее знаю. Я обнял ее. Далеко на севере был наш дом, сейчас там стояли морозы, заметало дороги, утром приходилось вызывать бульдозер, и белым паром сквозь кровлю выходило из дома тепло.

НЕДОЛГОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В КАМЕРЕ ПЫТОК

Ранней весной 1964 года, когда я еще болел неизжитой любовью к спорту, вел таблицы чемпионатов, знал на память лучших игроков «Флорентины» и «Манчестер Юнайтед», когда мне казалось, что о спорте можно писать так же всерьез, как, скажем, о гробнице Лоренцо Медичи во Флоренции, когда я только что выпустил легендарный фильм о хоккее и не испытывал никакого стыда, я приехал с группой спортивных журналистов в Тироль, жил в горной деревне неподалеку от Инсбрука и по утрам ездил автобусом на соревнования. В Инсбруке происходила Олимпиада. Кто там выигрывал, кто проигрывал, я не помню. Вся эта ерунда забылась. Не помню ни одной фамилии тогдашних спортсменов, но вот что помню: ослепительный снег

на склонах, режущую голубизну, свежесть воздуха, запах кофе, хозяина, который прищуривался и сухими губами выдавливал: «Morgen». Бывало лень ехать в город, я оставался в отеле и смотрел соревнования по телевизору. В пустом холле на столе лежали толстые в якобы старинных, кожаных переплетах книги: Gästebücher. То, что у нас называется книги отзывов. От нечего делать я листал их и наслаждался немецким простодушием. Книги велись с двадцать девятого года, когда возникла гостиница в деревне Штубенталь. Все надписи были похожи: благодарность хозяину, хвала горам, снегу, вину, девушкам, подбору пластинок для музыкального автомата. Я дошел до аншлюса: ничего не изменилось, те же восторги по поводу снега, воздуха, девушек. Вот и война: судя по надписям, здесь отдыхали раненые немецкие офицеры, но и от них нельзя было ничего узнать, кроме восхищения природой, девушками, итальянским вином, испанскими апельсинами. Однажды мелькнула патриотическая надпись: «Alles wagen, England schlagen!», то есть «Решиться на все, побить Англию». Маленькими буквами карандашом кто-то приписал сверху: «England hat ihnen stark geschlagen!», то есть «Но Англия побила вас крепко». И еще более позднее зеленым фломастером: «O, sie gute arme Idioten!» Но неизвестно к кому это относилось: к побитым немцам или к тем, кто радовался победе. И это было все, что касалось войны. Дальше продолжалось то же самое: лыжи, солнце, счастье, Erbbmiss. Хозяину мы были не по душе. Ему заплатили деньги, он нас терпел. В разговоры не вступал. Единственное, что мы слышали от него, было сквозь стиснутые зубы «Morgen!».

Но все равно мне нравились снежные горы, долина, громадный мост через пропасть, запах кофе по утрам, нравилось то, чем я так безумно и бессмысленно увлекался, чем были полны газеты, о чем я писал ночами, а в полдень кричал по телефону в Москву, и лишь одно портило настроение: присутствие в нашей группе Н. Он вынырнул из моего давнего прошлого. Разумеется, я знал, что он существует, и натыкался на его фамилию в газетах, я встречал его изредка то здесь, то там, мы оба делали вид, что мало знакомы или же, если сталкивались нос к носу, едва кивали и проходили мимо, хотя когда-то были дружны, нам нравилась одна девушка, но она ни при чем, девушка была совершенно непричастна ко всей истории, которая случилась четырнадцать лет

назад, но дело вот в чем: все годы мы жили, не касаясь друг друга. Он работал на радио, я сидел дома. Мне казалось, я его исчерпал навсегда. И вдруг он возник в Инсбруке. От спорта Н. всегда был далек. Какого дьявола он оказался в нашей стае? В первую минуту, когда увиделись в Москве на сборе группы, я заметил, как в его лице что-то дрогнуло, как подавленный мгновенно импульс обрадоваться или, может быть, дружелюбно кивнуть, но в моем лице этой слабости он прочитать не смог. Я встретил его холодным взором и чуть заметным наклоном головы, что не означало ничего, кроме ледяной памяти. Такой род отношений, я полагал, у нас установится дальше, и двенадцать дней я как-нибудь дотерплю. Когда, бывало, мои друзья уезжали в город без меня, а я оставался в гостинице, это происходило отчасти и оттого, что не хотелось видеть румянощекого, подвысохшего, стариковатого Н. Когда-то, я помню, он ходил в кителе, в сапогах, курил самодельную трубку и выглядел сановитым юношей, степенным, глубоко на чем-то сосредоточенным. Потом я узнал на чем. Но тогда мне казалось, что в его неспешности, тихом невнятном голосе, сумрачном взгляде таится значительность. Я зачитывался тогда Блоком, и мне казалось, это о нем: «Простим угрюмство, ведь не это сокрытый движитель его...» Дальнейшее, правда, не подходило: «Он весь дитя любви и света, он весь свободы торжество». Движитель Н. имел отношение к иному: только к нему самому, к Н. Но когда приехали в Тироль, поселились в гостинице, началось странное: он стал вести себя так, будто ничего никогда не было! Он здоровался по утрам радостными улыбками издалека, приветственно поднимал руку и усердно кивал, причем в кивках было не только старинное приятельство, но и душевная почтительность, какая высказывается людям искренне уважаемым. Я старался не обращать внимания. Потом это стало раздражать. Однажды столкнулись в ложе прессы, на стадионе, лицом к лицу, и он на ходу взял мою руку повыше локтя, довольно фамильярно, сжал ее и сказал: «Здорово!» Я отдернул руку, пробормотав: «Что такое?» Но бормотание прозвучало скорее испуганно, чем враждебно. Он подмигнул мне и пошел, ничего не сказав. В другой раз, в присутствии двух журналистов, итальянца и немца, он завел со мной разговор о хоккее, предварительно представив меня как знатока, автора отличного фильма «Хоккеисты» — так и сказал «отличного», и его

голос прозвучал честно и просто, без малейшего оттенка зависти или иронии,— и мне волей-неволей пришлось откликнуться и с ним беседовать. Но я скомкал разговор и ушел. Потом немец меня нашел и просил дать интервью о ходе турнира, заметив: «Господин Н. читает все ваши материалы с восторгом. Он сказал, что они поистине «Spitze!». Я не знал, как к этому относиться. Я не понимал его, не понимал себя. Неужели, думал я, человек напрочь забыл, как он себя вел четырнадцать лет назад? Но это невозможно. Так не бывает. Он не забыл, вероятно, но относится к своему прошлому хладнокровно, как к чему-то естественному, пустяковому, достойному забвения. Если бы он держался иначе: не здоровался, смотрел бы волком, проходил мимо не глядя, с надменным лицом,— меня бы это не задевало. Я бы принял, как должное. Человек, который сделал кому-то зло, всегда смотрит на свою жертву волком или проходит мимо с надменным лицом. Это в порядке вещей. Но тут делали вид, будто никакого зла не было!

И чем больше я думал, тем сильней закипал гневом и только ждал случая, чтобы излить гнев на Н. Затеялась какая-то суета вокруг присуждения награды «золотое перо» фирмы «Ролекс» лучшему журналисту от каждой национальной группы, и Н. назвал мою фамилию. Это был вздор, я не профессиональный журналист и «золотого пера» не заслужил. Выдвинули кого-то другого, Н. стал меня отстаивать; было до того невыносимо, что я вышел из зала. Наше летучее собрание происходило в ресторане. Я был вне себя от ярости. Я ждал его в холле. Как только он появился, я подошел к нему и сказал: «Какого черта ты ко мне липнешь? Ведь я тебя не трогаю!» Вероятно, у меня было очень злобное выражение лица, потому что секунду он молчал, глядя на меня изумленно, а затем растерянно пожал плечами: «Я липну? Да ты рехнулся! Ты с ума сошел, братец». «Я тебя прошу: перестань меня провоцировать». «Ты болен,— сказал он.— Тебе надо лечиться».

Была звездная ночь. Я ходил по асфальтовой дороге перед гостиницей, дышал знойким воздухом горной ночной долины, вымершей и беззвучной, и думал: действительно ли я болен? Изредка меня окатывали светом фар мчащиеся машины. Я дошел до поворота на мост и смотрел в створ чернеющих склонов, где далеко в глубине, куда уносилась невидимая сейчас дорога, горстью сла-

бых огней светился Инсбрук: он тлел внизу, как незатоптанный маленький лесной костер. Я болен, думал я, как всякий, у кого не отшибло память. Я слишком хорошо помню: майский вечер накануне собрания, он пришел без звонка, якобы за тем, чтобы передать книги, потому что уезжал в Бердянск. Он каждое лето уезжал в Бердянск к родственникам. Но я чувствовал, что его приход вызван другим. В первую же минуту его действия были неестественны: он не положил книги на стол, не сказал «Спасибо», или «Возвращаю», или «Вот твои книги», а издалека молча кинул их на кровать. В этом жесте были нервность, бесцеремонность и решимость. Он отшвырнул от себя не книги, а что-то затруднявшее жизнь. Как только мы остались вдвоем, он сказал, прыснув смешком: «Хочешь анекдот? Завтра я буду выступать против тебя!» «Против чего?» — спросил я глупо, ни черта не поняв. «Против тебя. Тебя, тебя!» — он улыбался и тыкал в меня пальцем. Мне показалось, что он пьян. Что-то подобное, предполагал я, может случиться, но зачем приходить и предупреждать? Я сказал, что подлянку делают без предупреждения. Он что-то бормотал об осознанной необходимости. А я бормотал, что теперь будет неинтересно идти на собрание. Мы оба бормотали бессмысленное. Вдруг я закричал: «Зачем ты сюда пришел?» Он сказал, что пришел не по своей воле. Так велела сделать Надя. Она потребовала — или не будешь выступать вовсе, или пойдешь к нему и честно предупредишь. «Ты же знаешь, какая она. Прямо устроила мне истерику». Я про Надю забыл. Надя была девушкой, которая нравилась раньше нам обоим. Она пережила ленинградскую блокаду, была бледная, хрупкая, анемичная, с белопшеничными косами, задумчивым взглядом, тихой речью, писала стихи и мне, любителю Блока, сама представлялась блоковской незнакомкой. Все ее родные погибли в блокаду. Надя жила в общежитии. Было время, когда я страстно о ней мечтал. Летом сорок седьмого, когда мы перешли на третий курс, мы втроем — Надя, я и Н.— поехали на практику в Армению писать очерки о Севанской ГЭС. Это была командировка по линии комсомола. Мы поехали в июле. Сначала все было весело, остро, зазывно, окутано дурманом неизвестности и любви: девушка была рядом, и за нее следовало бороться. Мы дурачились, пели песни, ночами не спали, бесконечно читали стихи. Добирались до Еревана с четырьмя пересадками. В Сочи впервые в

жизни искупались в море. Я помню, как мы с Н. отплыли далеко, Надя осталась у берега, и Н. спросил: «Будем бросать жребий на Надю?» Меня это ошеломило, я чуть не захлебнулся соленой водой и выпалил: «Нет!» Он сказал: «Ну смотри. Тогда пеняй на себя». Эта угроза показалась мне нелепой. Я потому и выпалил «нет», что в глубине души считал, что если выбирать между нами, Надя выберет меня. Я тоже писал стихи. А Н. сочинял очерки для Совинформбюро. Наше путешествие становилось все утомительней. От Сочи до Самтредиа ехали местным поездом в духоте, в давке, вокруг кричали на чужом языке, какие-то люди посягали на Надю, мы с Н. ее защищали, и дело едва не дошло до драки. От тесноты и жары все разделись до маек. Мы посадили Надю в угол и загородили ее спинами. Самтредиа показался нам землей обетованной — тут было тихо, спокойно, продавали груши и кукурузные лепешки. Но потом мы Самтредиа возненавидели: мы не могли оттуда уехать. Как только открывалась билетная касса, к ней устремлялась кричащая толпа, и пока мы, помогая себе локтями, добирались до цели, кассирша говорила: «Б и л э т о в н э т!», и окошко захлопывалось. Мы пошли к дежурному коменданту. Он нас унижал. Н. ввязался с ним в распрю и угрожал написать про него в газету, размахивая нашими командировочными мандатами, солидными на вид, но ничтожными по сути, подписанными завучем института. «Ваши бумажки для меня н о л!» — говорил комендант и, не читая, сметывал их на пол. Затем он сказал: «Живыми вы отсюда не уедете!» Ночевать нам пришлось в Самтредиа. На вокзале ночевать боялись: это было владение коменданта, там он мог нас преследовать. Н. предложил спать на площади у подножия памятника Ленину, который всю ночь был освещен. «Здесь нас тронуть не посмеют», — говорил Н. Мы боялись, что нападут и похитят Надю. Н. все время тихо напевал: «Вихри враждебные веют над нами...» Он стал меня раздражать. Надя спокойно улеглась на моем плаще, укрылась его фуфайкой и заснула, а мы ее сторожили и всю ночь ворчали и спорили. Помню, ругались из-за Ахматовой. На нас никто не напал. На другой день к вечеру сели в поезд и поехали в Тбилиси. Тут наши споры ожесточились: катастрофически таяли деньги, надвигалась жара, и я считал, что надо, не задерживаясь, ехать дальше, а он вздумал остаться на несколько дней в Тбилиси. У него там был фронтовой друг. Я решитель-

но возражал. Вдруг он сказал, что если я так упорствую, я могу ехать вперед, а они догонят меня на Севане. Что-то во мне всколыхнулось и рухнуло. Как будто был прорыт ход, заложена мина и вот она взорвалась. Я спросил у Нади: «Ты действительно хочешь остаться с ним в Тбилиси?» «Мне все равно,— сказала она.— Я никуда не спешу». Она отличалась необыкновенной честностью. Но почему-то ее честность взрывалась, как бомба, и наносила людям контузии. Фронтовой друг не отыскался, мы поехали дальше вместе. В Ереване свирепствовала сорокаградусная жара — надо было додуматься ехать в Армению в июле! Жара превратила нас в полутрупы: мы валялись без сил в комнате, которую предложила одна старуха на вокзале. На третьи сутки Н. посоветовал мне подыскать комнату. «Где-нибудь поблизости,— сказал он.— Недалеко от нас». И я ушел от них тем же вечером. Так вдруг все кончилось. То было первое разочарование: в дружбе, в женщинах и, главное, в себе. Быть таким самоуверенным и слепым! Но я страдал недолго. Мне был двадцать один год. Потом отношения с Н. восстановились, хотя прежней дружбы быть не могло. Мы сделались далеки, но не враждебны друг другу. Вполглаза я наблюдал: они были с Надей, потом расстались, к концу института соединились опять и, кажется, прочно. Но меня это не трогало. Я был занят другим. Я писал книгу. Другие женщины с белопшеничными косами возникали и пропадали. Вдруг я женился. Летела в молодом нетерпении жизнь. Моя слабая книга получила известность, глаза мои застилал туман, и тут на меня обрушилась гора. За четыре года Н. ни разу не приходил ко мне и вдруг пришел. Меня это не испугало: он был только частицей горы. Но вот что загадочно и чего не могу понять: зачем было приходить и предупреждать? Впрочем, не могу понять теперь, а тогда — поразительное дело, но тогда, услышав о том, что ему велела прийти Надя, я почему-то п о н я л и с о г л а с и л с я. Дело в том, что грозило исключение. Я окончил институт, но продолжал находиться в комсомольской организации института. Слабая книга внезапно получила премию. Поэтому было сладко меня исключать. И было за что: я скрыл в анкете, что отец враг народа, во что никогда не верил. То, что Н. говорил, придя ко мне ночью, было бредом. И то, чего требовала от него Надя, намекая на честность и открытое забрало, тоже было бредом. Все было бредом: май, премия, исключе-

ние, аплодисменты, озлобление. И была, может быть, бредовая просьба отпущения грехов. Им хотелось, чтоб я им сказал «Валяйте!», и, пожалуй, они услышали «Валяйте!», ибо я, как в бреду, бормотал невнятицу, зевал и пожимал руку на прощание. Бывают такие сновидения: все нелепое, что происходит во время сна, кажется невероятно логичным и само собой разумеющимся, но, когда проснешься, не можешь, хоть убей, догадаться: почему же абракадабра представлялась тебе такой понятной? Ну вот, а все выступавшие говорили лишь об анкете, нужно было что-то добавочное, нужна была конкретность, которая подтверждала бы, что я *гнилой внутри*, что случай с анкетой только проявление общей *гнилости*, как лихорадка на губе проявление слома всего организма простудой. Н. выступал затруднительно и как бы с болью. Ему было тяжело. Ведь он был со мной дружен. Он еле вязал слова. Он говорил, что у него мучительно двойственное отношение ко мне: с одной стороны, то, но с другой — безусловно это. В таких вещах важны подробности: вот, например, что я говорил когда-то об Ахматовой. Это было давно, но тем хуже для меня. Значит, уже тогда я недопонимал. Однажды я хвалил такого-то. В другой раз возмущался тем-то. Был случай, я издевался над ним, когда он хотел петь революционные песни. Но, однако, я человек не потерянный! Поэтому он против исключения, за строгий выговор с предупреждением. Собрание после долгих споров так и решило. Но райком исключил, для чего мелкие свидетельства Н. пригодились. Потом горком восстановил со строгим, или как говорили тогда полулюбовно: со строгачом.

Все это уже в Тироле казалось мне давностью, а теперь ушло в такую библейскую тьму, что вдруг думаешь: а было ли все это со мной? Может, причудилось? Может, кто-нибудь нарассказал небылиц, а в моем уме все переворотилось и опрокинулось на меня? Кто-то сказал: писатель в России должен жить долго. И правда, можно застать многие нечаянности и чудеса. Время затмевает прошлое все густеющей пеленой, сквозь нее не проглянешь, хоть глаз выколи. Потому что пелена — в нас. А нечаянности уходят туда же, за пелену. Чехов мог бы дожить до войны, сидел бы стариком в эвакуации в Чистополе, читал бы газеты, слушал радио, питался бы кое-как, по карточкам, писал бы слабеющей рукой что-нибудь важное и нужное для той минуты, отозвался бы

на освобождение Таганрога, но каким бы видел свое прошлое, оставшееся за сумраком дней? Своего дядю Ваню? Свой вырубленный сад? Ольгу, которая мечтала: «Если бы знать! Если бы знать!» Как только мы узнаем, это узнанное исчезает во мгле. Ведь Антон Павлович мог бы до Чистополя узнать многое, о чем бедная Ольга и помыслить не смела. Ну вот узнал — и что же? Самого главного узнать не мог — чем кончится война. А мы знаем и это...

Разгуливая по ночному шоссе перед гостиницей «Штубенталь», я вдруг решил: надо поговорить с Н. начистоту. Почему надо — было неясно. Но я загорелся этой мыслью. Теперь, когда все отболело, когда мы оба выплыли из тех дней и нас откатило волнами в разные стороны, было легко спросить: зачем ты это сделал? Я стал ждать удобного часа. Пока шли соревнования, мы редко встречались: я смотрел хоккей, он фигурное катание. Но вот все кончилось, хозяин гостиницы впервые улыбался, прощаясь с нами, мы поехали автобусом в Вену, по дороге останавливались, смотрели то, се. В воздухе была теплынь. Мы побронзовели, будто побывали на юге. В автобусе он опять поглядывал дружелюбно, кивал приветливо: как ни в чем не бывало. Иногда спрашивал что-нибудь на ходу, пустое: «Ты не знаешь, где будет следующая остановка?» или «Не заметил случайно, где тут туалет?» Я отвечал сухо. Я думал: «Подожди, я тебя спрошу иначе. Перестанешь улыбаться!» На второй день после обеда в Зальцбурге поехали на экскурсию: поблизости в замке помещалась средневековая камера пыток. Я подумал: тут самое место!

Все были навеселе после обеда, разбрелись с хохотом и шутками по громадному замку, слонялись по ходам и залам подземелья, где в полумраке висели, торчали и дыбились орудия пыток, и, по счастью, в одном из залов мы оказались вдвоем. И я спросил: «Послушай, давно хотел полюбопытствовать, зачем ты меня тогда топил?» Он не понял: «Когда?» — «Ну, в те годы, черт знает когда. Исключали меня. Помнишь?» Мы стояли перед громадной бадьей, в которую сажали преступника, и с помощью ворота опускали бадью в колодец, где была тухлая вода со змеями и жабами. Там его топили и вытаскивали труп или же держали полузатопленным, мучили, выпытывали секреты. Об этом сообщалось на красиво написанной готическими буквами табличке. Все происходило в шестнадцатом веке. Мы смотрели в

глубь колодца. Сейчас он был сух, но без дна. Наши голоса гулом исчезали внизу. Я знал, что он скажет: «Старик, клянусь тебе: я поступал искренне! Мы были дураками. Я верил, что тебя надо покарать, что твой отец враг, что пощада — это проявление слабости. Если хочешь, надо жалеть не тебя, а нас, искренних дураков». Я отвечу: «Но разница в том, что вам, дуракам, ничего не грозило, а мне грозило: без работы, без денег, а может, без дома, без родных. Время текло суровое. Но вас, дураков, это мало заботило. Что с вас взять? Вы поступали искренне. Нет ничего благородней и замечательней искренности!» — «Ты подвергаешь это сомнению?» — «Если искренне забывать о совести, о боли других — тогда ну ее к черту! Вы не задумывались над тем, во что ваша искренность превращается. Вам было плевать, что происходит с людьми, кто натыкался на вашу искренность, сияющую сатанинским светом! А знаешь, что в день того проклятого собрания моя мать...» Внезапно ярость наплывает багряным облаком. «Ваша искренность — это злодейство!» И, схватив тщедушного Н. под колени, легко поднимаю его над колодцем, перебрасываю через барьер, он бултыхается в бадью, нечеловеческий крик, ворот начинает вертеться, быстрей и быстрей, бадья ухнула вниз, крик заглох, а ворот вертится, вертится неостановимо, и я бегу по каменной лестнице наверх. В автобусе никто не замечает, что Н. нет. Спохватываются через два часа. Поворачивают назад. Все вдруг протрезвели. Бегают по замку, ищут, вопят, зовут, а я сижу на крыльце и курю. Постепенно яснеет страшная правда. «Неужто?» — спрашивают друг друга молча, ужасаясь глазами. И кто-то говорит: «А между прочим, было что-то неладное».— «Где?» — «В Инсбруке».— «А что?» — «Стоял на улице и читал объявления...»

Н. смотрел на меня с испугом и, покачав головой, прошептал: «Старик, ты все забыл. Я не топил тебя, а спасал».— «Спасал?» — «Конечно: я же повернул ход собрания. Тебя хотели исключить, а после моего выступления дали строгача. Ты меня благодарил. Неужели не помнишь?» — «Я помню другое: ты говорил что-то об Ахматовой, о том, что я двойственный...» Он уставился на меня как на сумасшедшего, выпучив глаза, а потом схватил за плечи, затряс: «Да нет же! Я тебя спас! Вытащил из-под огня! Мне потом досталось: зачем, сказа-

ли, полез его защищать? Ведь он подонок. Я из-за тебя поссорился. Как странно, что ты обо всем забыл...»

Да, я забыл, не помнил, перепутал, все ушло во мглу. Он протянул неуверенную руку, и я неуверенно пожал ее. Мы поднялись из подземелья на волю. Сверкал в голубом небе белоснежный костяк горы. Альпийская весна кипела. Из автобуса доносилась музыка: шофер заводил Моцарта. Он любил дремать под музыку.

Я подумал о толстых книгах в отеле «Штубенталь»: в самом деле, нет ничего в этом мире, кроме снега, солнца, музыки, девушек и мглы, которая наступает со временем.

Ведь после пребывания в камере пыток прошло пятнадцать лет, и оно тоже — во мгле. Н. умер от болезни сердца восемь лет назад. Что стало с Надей, не знаю. А я давно не хожу на стадион и смотрю хоккей по телевидению.

СМЕРТЬ В СИЦИЛИИ

Что можно понять за несколько дней в чужой стране? Можно ли догадаться о том, как люди живут? И как умирают? Вот уже неделю я разглядываю Сицилию как в увеличительное стекло. Я мог бы сказать: Сицилия — это жаркая комната с окнами на море, где с раннего утра надо опускать жалюзи, иначе скоро нечем будет дышать. Но с полудня в Сицилии вполне терпимо, потому что солнце уходит на другую сторону дома. Ночью в Сицилии неумолчно грохочет море, оно рядом, под балконом, под скалами. Сначала от шума моря не спишь, потом привыкаешь. Труднее привыкнуть к треску рыбачьих лодок, они почему-то особенно бойки и оглушительно трещат по ночам, носятся вблизи берега, но жители не протестуют. Они любят есть рыбу. А без ночного треска моторов рыбы, видимо, не бывает. Часов с шести вечера в Сицилии устанавливается замечательная прохлада и ясность в воздухе — отчетливо виден весь громадный сине-голубой залив, керамический склон горы на противоположной стороне и отдаленная вершина на горизонте, белеющая треугольником, как парус. Жители Сицилии разговаривают на английском и немецком языках, ходят по вестибюлю босиком, в купальных халатах, показывая голые, не очень красивые ноги:

в большинстве они люди пожилые. Ночью над морем встает красная луна, и тогда вспоминаешь, что рядом Африка.

Говорят, что сезон кончился. В августе здесь было все по-другому. Здесь было много людей, шумно, дорого, мучительно жарко, невыносимо. Я удивляюсь: еще более мучительно? В Монделло, рыбацкой и одновременно курортной деревушке в двенадцати километрах от Палермо, происходит встреча писателей, присуждение местной премии, так называемой премии Монделло, и дискуссия на какую-то импозантную тему. Что-то вроде о горизонтах прозы. Я упал в эту жаркую комнату с потрескивающими жалюзи — когда их поднимешь, они, слегка потрескивая, почему-то медленно, но неуклонно сползают вниз, вызывая впечатление неведомого живого существа, может быть, таинственной рыбы с океанского дна, выброшенной на берег, прибитой к моему окну и доживающей здесь последние минуты,— я упал сюда прямо с московского аэропорта, где было холодно, хмуро и лил дождь.

Когда писатели собираются вместе для разговора на возвышенные темы, например о том, что есть искусство и зачем оно нужно, они обычно говорят общеизвестное. Редкие ценные мысли, которые есть у каждого, они стараются приберегать для бумаги. Я тоже говорил общеизвестное. Насчет того, что роман не умер и не умрет никогда. Писатели пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов на всех своих встречах защищают роман, это своего рода писательская молитва, обязательная, как «Pater noster» перед сном для католика, и я решил не отставать от других. Плохо представляя себе, кто именно нападает на роман и грозит ему гибелью, я твердо и недвусмысленно заявил злодеям, что они этого не дождутся. Роман будет жить! Нельзя допустить, чтобы роман исчез из нашего обихода. А как же люди будут убивать время в промежутках между телевизионными передачами? И еще я сказал, что люди, объявившие о кризисе романа, представляют себе это чем-то вроде нефтяного кризиса: как нефть иссякает в недрах земли, так воображение иссякает в умах человечества. Пришлось встать на защиту не только романа, но и человечества. Я сказал, что воображение людей не иссякнет. Со мною не спорили. Все говорили примерно то же самое. Напоследок я заметил, что меня интересуют не горизонты прозы, а ее вертикали.

Вечером, спустившись от нашего отеля, который стоит на взгорке и на мысу, по узкой набережной к площади, где все освещено, как в праздник, где кусками продают осьминогов, где шатается бездельная толпа, где робко гудят автомобили, застревающие в толпе, как в варе, где плотно висит в воздухе острое зловоние рыбы, как в «Гастрономе» у «Сокола», когда туда привозят в грузовиках-холодильниках сырую рыбу и пьяненькие рабочие толкают по желобу в подземелье тяжелые ящики, в которых трепыхаются хвосты, а хозяйки с сумками уже выстраиваются в очередь возле прилавка,— и вот, гуляя по набережной, где ничто, кроме запаха рыбы, не напоминает улицу возле метро «Сокол», я думаю о том о сем, например о приятном единстве, которое царит между писателями: никто друг с другом не спорит и все говорят общеизвестное. Я *стараюсь* думать о том о сем, но на деле меня томит одна подлая задняя мысль. Решение примут через день. Премия Монделло вручается ежегодно за лучшую книгу иностранного автора. В прошлом году здесь вышли две мои книги: «Долгое прощание» и «Дом на набережной». Ну и отлично. Зачем же еще премия? То, что книги вышли, это и есть премия. И то, что я упал на этот остров вблизи африканского побережья, тоже премия. Не надо о ней думать. Она не нужна. То есть нужна, разумеется, но в то же время не нужна. Нужна и не нужна вместе, одним слитком. Глупо о ней думать. Человек не может себя заставить не думать о глупостях. Какой-то бред: идешь прекрасным тропическим вечером в толпе близ моря, среди запахов сырой и жареной рыбы и не в силах отвязаться от глупостей! Ведь ты на острове финикийцев, карфагенян, римлян, арабов, остготов, норманнов, Рожера Спуллийского, кровавой Сицилийской вечери, но не можешь ни на чем сосредоточиться, тебя разбирает мытуха, ты маешься из-за пустого, и ты несчастней любого в этой толпе, кому ничего не грозит. Но дело вот в чем: они меня заманили. Сказали, что премия обеспечена, но надо непременно сюда приехать. Боже, да я бы поехал с радостью без всякой премии! Она не нужна мне даром. Я их ненавижу. Всякая премия вздор. Однако подлость в том, что вздор — неотвязный. Теперь одни меня поздравляют, другие шепчут, что они из кругов, близких к жюри, узнали, что премия будет дана чеху, который живет в Париже, а третьи смотрят на меня с молчаливым и тайным состра-

данием, как на больного, который обречен, но еще не знает своей судьбы. Все нервничают гораздо больше, чем я. Я не понимаю, как надо себя вести. Вероятно, я должен себя вести как человек, который напряжен и взвинчен до крайности, но мужественно владеет собой. Еще бы, дело идет о премии Монделло — не шутка! Здесь, в Монделло, эта премия звучит громко. Правда, в Риме о ней мало кто слышал.

Меня окликает человек по имени Мауро. Он из римской газеты. Он тоже смотрит на меня как на больного, о котором только что узнал плохое от лечащего врача, но врач велел не показывать виду, и Мауро весело спрашивает: не хочу ли я стакан вина? Мы садимся за столик под открытым небом. Мауро невысокий, плечистый, короткошеий, улыбающийся, с астматическою одышкой. Он спрашивает: что меня интересует в Сицилии? Не собираюсь ли я поехать в Сиракузы? В Агридженто? Посетить катакомбы капуцинов в Палермо, где покоятся совсем как живые набальзамированные мертвецы? Там есть девочка двух лет, Розалия Ломбардо, она поражает изумительно живым лицом. Я понимаю Мауро. Он добрый человек. Но в Сицилии меня интересует другое — мафия. И это как раз то, что нельзя ни узнать, ни увидеть. Тут не любят говорить о мафии. В Палермо я пытался разговаривать с разными людьми: они отмалчиваются или сообщают что-нибудь всем ведомое. По их намекам выходит, что мафия существует, но выродилась и разговаривать о ней неинтересно. Мауро, задыхаясь, посмеивается.

— Почему вы ищете ее здесь? Да она повсюду. И в науке, и в литературе. И в составе жюри. И вы сами мафия! — Он ткнул в меня пальцем и подмигнул.

— Нет,— говорю я.— Я не мафия.

— Нет? Ну ладно. Тогда не вы, а я.— Он ткнул пальцем в себя.— Я мафия.

Мы говорим по-английски и понимаем друг друга, потому что оба говорим плохо. Мимо проходит женщина в черном шуршащем платье, в кружевном черном платке, скрывающем лицо — я замечаю лишь длинный нос и мелькнувший в синеватом белке черный, показавшийся мне огненным глаз,— и делает Мауро приветственный знак рукой небрежно, как хорошему знакомому. Женщина удаляется, покачивая бедрами. Вероятно, она молода, красива. Мауро вскочил и побежал ее догонять. Он догнал ее возле автомобиля. Они разговаривают.

Женщина оглядывается на меня. Я вижу худое со впадинами лицо старухи и острый, сверкающий взор. Автомобиль стал продавливаться сквозь толпу, вырулил с площади, исчез.

— Я ее знаю,— говорит Мауро.— Она тоже пишет книги — истории о драгоценных камнях. Своего рода thrillers. Я брал у нее интервью для газеты три года назад.

— Она не имеет отношения к мафии?

— Возможно. Все имеют отношение к мафии.

Он издевается. Но вдруг говорит серьезно:

— Знаете, что такое мафия? Она как эти горы. Вы сейчас их не видите, они скрыты темнотой, но вы знаете, что они есть. Они окружают город.

Я смотрю туда, где должны находиться горы,— там непроглядно черно, без огней, без звезд.

На другой день Мауро говорит, что вчерашняя дама — ее зовут Маргарита Маддалони — приглашает нас на чашку кофе к пяти часам. Она любит русскую литературу, сама говорит по-русски. И вообще она русская. В знойное послеобеда, когда комната с опущенными жалюзи напоминает душную, не пригодную для жизни камеру, я лежу пластом голый во мгле и не могу ни читать, ни спать, приезжает на своем арендованном «фиате» непонятный Мауро — зачем он со мной так возится? Я прыгаю под душ, быстро одеваюсь, и мы едем в горы. Надо проехать километров пятнадцать на запад. Море лежит внизу слепящее и пустое. Редко кое-где белеют лодки. Неужели на этой обугленной керамической скале можно прожить всю жизнь. Синьора Маддалони живет в старинном замке, который, разумеется, перестроен и приспособлен для жизни. Его основали норманны, потом он был разрушен, восстановлен, опять разрушен, опять восстановлен, наконец, тотально разрушен во время последней войны и полностью отстроен покойным синьором Маддалони, промышленником и судовладельцем. Синьор умер одиннадцать лет назад. Вот с тех пор от тоски и ужаса перед одиночеством она стала писать книги и написала восемь романов. Ее всегда интересовали драгоценные камни, но не как богатство, а как мистическая сила, повелевающая судьбами людей. Каждый знаменитый алмаз таит удивительные сюжеты, с ним связанные. Один из романов посвящен России, императрице Екатерине и графу Орлову.

Мы сидим на веранде на теневой стороне дома. Смуг-

лый, с курчавыми бачками, в белых перчатках Сильвио прикатил тележку с напитками, фруктами и печеньем. Я попросил бокал сока. Я не понимаю, зачем меня пригласили. Затевается разговор о горизонтах прозы. Синьора Маддалони говорит, что диктует романы на диктофон, потом их немного правит. По существу, они пишут втроем: она, Сильвио и диктофон. Сильвио записывает текст с диктофона, она редактирует, на всю работу уходит полтора месяца. Зато какой адский подготовительный труд! Приходится ездить в библиотеки? В Палермо? В Неаполь? Нет, не приходится никуда ездить, у нее прекрасная библиотека, приобретенная мужем в сороковых годах. Все, что нужно, под руками: справочники, словари, книги по истории, географии, минералогии, оккультным наукам, алхимии, мореплаванию. Кстати, меня как русского интересует, наверно, революционная тема: муж собрал бездну книг по истории карбонарского движения, по анархизму...

Мы спускаемся на нижний этаж. Сильвио идет следом, неся поднос с напитками. Библиотека помещается в круглом зале, посредине стоит громадный старинный глобус, о котором я узнаю, что он из Венеции, XV века. Здесь прохладно. Мы садимся в кресла, а Сильвио стоит рядом, держа поднос. Его смуглое лицо неподвижно. Ни он, ни Мауро не понимают, о чем мы говорим. Но Мауро изо всех сил старается хоть что-то понять, он глядит на шевелящиеся губы синьоры Маддалони, на мои, его лицо выражает немое и почтительное восхищение.

— О, я ничего не понимаю! — вскрикивает он радостно по-английски и хлопает себя по коленям.— Но мне нравится русский язык!

Синьора Маддалони говорит по-русски чисто, но с примесью двух акцентов: южнорусского и итальянского, который выражается скорее в интонации, чем в произношении. По-южнорусски она хакает и говорит «библиотэха», а по-итальянски мягко, напевно прогибает середину фразы. Почему-то я долго не решался спросить: кто она такая и как попала сюда? Мне кажется, это нескромно. А она не заговаривает. Как будто обычное дело: встретиться двум русским в Сицилии в каком-то пиратском замке...

Когда синьора встает и куда-то удаляется в сопровождении Сильвио, Мауро, наклонившись ко мне, шепчет:

— She is very rich!

— Really?

— O! — Он поднимает большой палец.— О-о-о-о! — Мауро обнимает голову ладонями и покачивает ею, давая понять, что богатство невыразимое, фантастическое. И после этого с потерянным видом машет рукой и вздыхает.— O my god...

Синьора возвращается. Сильвио торжественно, приподняв, несет в обеих руках две сумки из плотной бумаги, наполненные чем-то тяжелым. Это подарки мне и Мауро: в каждой сумке по стопке книг в ярких обложках, запечатанных в целлофан. Мы получаем по пять романов Маргариты Маддалони. Синьора по-молодому забирается в кресло с ногами, ее поза свободна, движения изящны, линия бедра крута и выпукла, она держит чашечку тонкой рукой, но лицо синьоры — высушенное, коричневое, в сетке морщин и только глаза сияют. И вот она спрашивает: откуда я? Из Москвы. Она не была в Москве. Так жаль, такая обида: повидала весь мир и никогда не была в Москве. Жила в Ростове, в Новочеркасске, уехала в двадцатом, ей было тогда семнадцать лет и она была красивая. Поэтому все страшное было еще страшней. Прекрасно помнит те годы. Отец был степной помещик из казаков, мать — актриса. На юге в девятнадцатом кипела какая-то нелепая, веселая жизнь, туда съехалось много интересных людей, артисты, писатели, выходил журнальчик «Донская волна». Рестораны в Новочеркасске были полны. Все уже трещало и рушилось, но люди не понимали...

— Помню стихи тогдашнего поэта Виктора Севского из «Донской волны». Господи, шестьдесят лет прошло, а чепуха помнится! Когда-то повторяла с восторгом... Хотите, прочту? — И, не дожидаясь ответа, с воодушевлением:

О детях Дона сейчас влюбленно,
Как из бидона, стихи пролью,
О детях Дона, сын Аполлона,
Прошу пардона за прыть мою.
В стране Маори я жил в фаворе,
Забывши горе и жизни вздор,
А тут в терроре, в кровавом море,
С покоем в ссоре таюсь, как вор...

Пародия на Бальмонта. Вы знаете, конечно, это имя? Дальше, прошу прощения, быть может, вам будет не совсем приятно слушать, но все это было так давно, не правда ли? Дальше что-то такое:

Как жизнь свирепа в стране совдепа,
Жизнь хуже склепа! Над жизнью креп.
Жизнь зло-нелепа, два сорок — репа,
Жизнь — три копейки, тридцать — хлеб.
А там, как в сказке, в Новочеркасске!
В лазурной краске волшебный быт!
Хлеб — мягче ласки, мутнеют глазки,
Там жизнь без тряски и без обид.
Мечта поэта! Рулет! Котлета!
И сигареты! И что-то еще...

Потом мы перебрались в Ростов. И не успели бежать, когда отступала армия. Мама еще надеялась как-то приспособиться к новой власти. Папа погиб в восемнадцатом. Но приспособиться не удалось. В меня влюбился один грек и увез нас в Крым, оттуда в Батум. Мама умерла от тифа. С греком я уехала в Константинополь, потом в Салоники, потом оказалась в Берлине — уже без грека,— в тридцатых годах жила в Париже, а с сорок пятого здесь, вот уже тридцать три года...

Я слушаю в ошеломлении — Ростов? Новочеркасск? Двадцатый год? Миронов? Думенко? Генерал Гнилорыбов? Это как раз то, чем я теперь живу. Что было моим — прамоим — прошлым. И эта казачка, превратившаяся в старую, кофейного цвета синьору,— каким загадочным, небесным путем мы прикоснулись друг к другу!

— Мой отец из Новочеркасска,— говорю я.— Дядя учился в Атаманском училище. Был военным комендантом Новочеркасска в двадцатом году. А тетка прожила там всю жизнь.

— Да что вы! На какой же улице?

— На Красноармейской. Раньше называлась Ратная.

— Ратную прекрасно помню. А в каком доме?

— Я был у нее лишь однажды, после войны. Какой-то ветхий флигелек, на втором этаже, а когда-то весь дом принадлежал архитектору Кокореву Сергею Васильевичу, теткиному мужу. Он, между прочим, достраивал собор...

— Я училась с его племянницей в гимназии. Он умер, конечно?

— Умер трагически. Был уже старик, не мог двигаться, остался в городе при немцах. Его оклеветали. Там целая история. Знаю лишь, что женщина, которая его оклеветала, сама обнаружилась предательницей и была расстреляна.

— Боже мой! — шепчет синьора.— Как бы я хотела одним глазком...

Ее лицо сморщивается, углы рта опускаются, и я вижу — секундно — на этом индейском лице-маске давний, неисцелимый след горя. Она вновь поспешно уходит, приносит старую, дореволюционного вида папку, развязывает тесемочки, руки ее дрожат.

— Все, что осталось от мамы...

— Можно?

— Посмотрите...

Две пожелтевшие фотографии: на одной молодая дама с девочкой в белом платье. Знаком девочкин черный пронзительный взор. На другой та же дама, красавица, в театральном наряде, с пышной высокой прической. И какие-то бумажки, вырезка из газеты. Можно прочитать? Конечно. Это последнее предприятие в Ростове, перед тем как уехать в Крым. Три бумажные древности: «П о с т а н о в л е н и е. Декретом СНК от 15 апреля 1920 г. отменены все действовавшие до издания декрета постановления, распоряжения и правила о выдаче бывшим владельцам принадлежащих им ценностей из ссудной казны и сейфов, а самые ценности объявлены государственной собственностью»; «З а я в л е н и е. В сейфо-ломбардную комиссию. На квитанции ящика сейфа Общества взаимного кредита за № 1025 у меня находятся: один серебряный сервиз и один кулон с бриллиантом. Я артистка музыкальной драмы и оперетты, и вещи эти дороги мне как бенефисные подарки, а при необходимости как средства для существования жизни, а посему покорнейше прошу выдать мне их. Артистка и действительный член профсоюза Е. С. Малышева»; «С в и д е т е л ь с т в о. Мне известен кулон с бриллиантом, с одним маленьким подвеском, который был поднесен в г. Тифлисе в 1916 г. в день бенефиса Е. С. Малышевой в летний сезон в т-ре Артистического Общества. Артист кооперативной художественной оперетты Давид Софронович Давыдов».

— Милый мой,— синьора Маддалони накрывает мою руку сухонькой ладошкой,— ваш папа был на другой стороне. А дядя, комендант Новочеркасска, может быть, преследовал моего брата. Все это история... И она мало кому интересна — мне, вам... Но самое страшное знаете что? — Она смотрит в глубь меня пронизывающим бессильным оком.— Смерть в Сицилии...

Ртутным блеском горит черная звездная ночь.

Я опять не сплю из-за треска рыбачьих лодок. На другой день за завтраком знакомый поляк, который всегда навеселе, радостно бросается ко мне: «Я вас поздравляю!» Через час становится известно: премию получил чех из Парижа. Мы садимся в автобус и отправляемся в Палермо на прием к мэру. После мэра поедем смотреть мертвецов в катакомбы капуцинов. Здесь все гордятся этими катакомбами, где мертвецы стоят в позах живых людей в своей истлевшей одежде. Бедная попытка обмануть смерть. Но нельзя обмануть то, что самое страшное в мире,— смерть в Сицилии. Автобус достигает белых домов Палермо, они кажутся слепыми из-за опущенных желтых жалюзи. Автобус поворачивает на улицу, обсаженную пальмами. Солнце плавит асфальт. Мауро, который сидит рядом, придвигается и шепчет:

— Посмотрите на эту улицу внимательно. Где-то здесь лежит Роберто Маддалони. Я вчера не сказал? — Шепчет совсем неслышно: — Ее муж был одним из главарей мафии. Одиннадцать лет назад он исчез. Говорят, лежит здесь, под асфальтом этой улицы. Но, впрочем, никто точно не знает.

ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ

Из мрака выпрыгнул золотой слиток: так возник Лас-Вегас. Внизу чернотой текла пустыня. Слиток выглядел нелепо. Его не должно было быть в черноте. «Золотой слиток» («Golden Nugget», как называется одно из знаменитых казино, тут все казино знаменитые) — символ этой нелепости посреди пустыни, этой античеловеческой и в то же время глубоко человеческой фантазии, этого нагромождения страстей, упований, ярости, похоти, бессмыслицы, надежд. Сорок минут самолетом из Лос-Анджелеса — и гроздь огней, означающая великие возможности, выплескивается навстречу из мрака. Они привезли меня все это показать. Но я это видел. Я догадался. Я знал. Потому что какая разница — где? В зале, похожем на вокзал, где стоит гул многих сотен голосов, стук автоматов, которые дергают за ручки, звон сыплющихся монет, или же — на летней верандочке в деревне Репихово, где мы засиживались до петухов втроем, полковник Гусев, Боря и я, одурманенные вожделением переменить судьбу? Мы иг-

рали в...— ах, какая разница, как называлась игра... Великие возможности не имеют размеров, они имеют лишь запах, лишь ветер, от которого холодеет душа. Полковник и я выигрывали, Боря платил. Но он упорно стремился переменить судьбу и набрасывался на нас вновь и вновь, все больше залезая в долги. Это было в пятьдесят четвертом, а может быть, в пятьдесят пятом по Северной дороге, недалеко от Абрамцева, летом, когда дети были еще маленькие, а планы грандиозные и, главное, нам хотелось переменить судьбу. И вот Бори нет на земле. Он исчез две недели назад, в середине сентября. Перемена судьбы происходит внезапно. Он не прочитает этот рассказ про Лас-Вегас и про то, как мы играли до петухов на деревенской верандочке, где на полу были рассыпаны дозревающие хозяйские помидоры, а на стеклах висели связками лук и чеснок. Про деревенскую верандочку ему было бы читать интересно, а про Лас-Вегас — нет. Хотя он не был в Америке. Но он догадывался обо всем. Когда я вернулся оттуда, он спросил: «Ну, как там? Все ясно?» Я ответил: «Все ясно» — и больше он ни о чем не спрашивал. Я провел в Америке два месяца, читал лекции в университетах, исколесил страну от востока до запада, от севера до юга, но ему было интересней поиграть, как в старину, с полковником Гусевым, чем слушать про то, что было ему ясно. Клубные новости были ему в тысячу раз интереснее. И я не стал ничего ему рассказывать про Лас-Вегас, про родео в Канзасе, где один бык обманул устроителей, внезапно остановился на поле, усыпанном опилками, и всадник, который должен был прыгнуть на быка, схватить за рога и повалить наземь, то есть опозорить на глазах пятидесяти тысяч зрителей, проскочил на лошади мимо, и бык, помахивая хвостиком, спокойный и неопозоренный пошел назад, в свое стойло; я не рассказал ему про Тамерлана Чингисхановича, профессора русского языка, который одевался в голубое и ездил в громадном голубом кадиллаке, про собак, которые занимались любовью в фешенебельном зале при гостях, про миниатюрную красавицу Лолу, про ее друга гиганта Боба, или Бобчика, как его называли ласково, про шефа Лолы — Криса, про Сузи, про Стива, про Рут, про Мишу, который потерял в Риме восемнадцать чемоданов, на этом помешался и не мог говорить ни о чем другом, про индейцев в Лоренсе, про то, как они сидели полусонные на тротуаре и курили марихуану, про снег

в Миннеаполисе, про русский стол в студенческой столовой, где говорят только по-русски, а те, кто не умеют, молчат и слушают про сырую морковь, про бобы, про свежую, нарезанную тонкими нитями капусту, про белый хлеб, похожий на вату, про одну женщину в Беркли, которая плакала, про Сан-Диего, где была жара и дельфины как из катапульты выскакивали из воды в океанариуме, про то, как на обратном пути нас останавливала полиция, осматривала автомобиль, не везем ли мы мексиканцев, про то, как меня слушали, о чем спрашивали, почему смеялись, чего не могли понять; я не стал рассказывать ему про самую большую лошадь в мире, прибывшую из Канады, она стояла в особом павильоне, куда можно было зайти и за двадцать пять центов посмотреть на рыжей масти кобылу, повернувшуюся к зрителям исполинским задом, грива и хвост были светлые, иногда кобыла поворачивала голову и глядела злобным коричневым глазом; про всех несчастных, сумасшедших, благоустроенных, самодовольных, кого довелось встретить, про Бена Кларка, который вез меня ночью с аэродрома в Сан-Хозе в свой университет, по дороге заехали на ферму к его матери, старушке восьмидесяти лет, он привез ей в багажнике трех живых петухов, а старушка угощала нас чаем и замечательным эппл-паем, про одного священника, который сказал мне шепотом: «Этого не знает никто!» — про знатока Бунина в городе Оберлине, про моего издателя в Нью-Йорке, который скачет на лошади в Центральном парке каждое утро, про холодное декабрьское солнце на Арлингтонском кладбище, да мало ли о чем еще, но он ни о чем не хотел слушать, потому что все знал и так. Он все прекрасно знал без Америки и без меня. Так ему казалось. Ну вот, я начал писать про Лас-Вегас, как мы прилетели туда всемером: очаровательная Лола со своей двадцатидвухлетней дочкой Сузи, с гигантом Бобчиком, с шефом «Тампико Хемикла», где Лола работала, важным белобрысым мальчиком по имени Крис, а также старик Стив, его жена Рут и я,— и увидели слиток золота в иллюминатор, но тут я вспомнил про Борю. Я не могу ничего поделать. Случилось слишком недавно. В пятницу я ему позвонил и хотел зайти, он болел уже несколько дней, ни о чем серьезном никто не думал, и мне сказали, что он поехал на рынок покупать арбуз, я успокоился и не пошел к нему, потому что приехал человек из другого города, который должен был срочно

со мной встретиться,— ах, боже мой, это вздор и не имеет значения! Я не увидел его больше никогда. Так вот: Лас-Вегас вырос в штате Невада. В пустыне. С фантастической быстротой. Все начинается в аэропорту: лишь только вы сходите с трапа, вас окружают игральные автоматы, «однорукие бандиты», чтобы те, кому невтерпеж, могли бы тотчас попытать счастья. Туннель для пассажиров обит кроваво-красной ковровой материей, и сразу наплывает томное возбуждение: кровь, горячка, азарт. «А кому интересно? — спросил бы он.— Какое отношение все это имеет к нам?» Может быть, никакого. Как пейзаж луны к тому, что я вижу из окна. Но, может быть, тут ошибка. Почему-то мне кажется, что все имеет отношение ко всему. Все живое связано друг с другом. Но не знаю, как это доказать. Внутри лунного пейзажа, внутри этих кратеров, многоэтажных башен, кружения огней среди ночи таится знакомое: я вижу свой дом, но в перевернутом виде. Он как бы расплескивается, расслаивается, отражаясь в воде. Всегда, когда уезжаю далеко, я вижу свой опрокинутый, раздробленный дом. Он плавает кусками в воде. Перед домом был маленький палисадник, там росли яблони, дававшие кислые, незавидные яблоки, внизу проходила дорога, не проезжая в осенние дни. А осень начиналась тут рано, почему-то раньше, чем в Москве: в доме становилось холодно, старуха топила печь, рано падала сырая, пахнущая дымом темнота, и каждый день все больше пустела деревня, дачники уезжали, торопясь пригнать грузовик до того, как совсем развезет. Мы оставались одни: полковник, Боря и я. На работу ездили электричкой. И еще Сергей Тимофеевич, который отдыхал после инфаркта. Сергею Тимофеевичу было лет пятьдесят с небольшим, он был уже лыс, помят жизнью, легонько, но ежевечерне прикладывался к рюмке — раньше прикладывался основательно, теперь врачи запретили, но помалу, граммов по полста, разрешалось, даже было рекомендовано,— ходил по саду в полосатой пижаме, в холодные дни в лыжном костюме, сосал пустую трубку и рассказывал нам — мне и Боре — о перипетиях тридцатых годов, которые переживал с болью до сих пор, будто они случились вчера, потому что был вечный комсомолец косаревского призыва, вечный бунтарь, мечтатель, резидент в Китае, мелкий английский торговец в Гонконге, проницательный, все понимавший и видевший всех насквозь старикан. Нет, не старикан. Но чу-

дился нам стариканом. Мы были глупы. Он многое объяснил нам впервые. То, о чем я лишь догадывался, было для него жестокой явью. И когда спустя два года все взорвалось, обрушилось и подтвердилось, Сергей Тимофеевич заболел вновь. Он болел там, в Репихове. Там и умер летом. Какое-то лекарство надо было привезти из Москвы, я примчался с поезда, вбежал на верандочку: жена Сергея Тимофеевича сидела на стуле, сложив на коленях руки, и смотрела застывшим белым взглядом в окно. Боря сказал меня изумившее: «Ведь и нас когда-нибудь так прихватит!» Изумило не потому, что неправда, а как раз потому что — внезапная, лютая правда. Полковник побоялся прийти и попрощаться с Сергеем Тимофеевичем. Он боялся смерти и никогда не говорил о болезнях. Да и не болел ничем никогда. По возрасту ровесник Сергею Тимофеевичу, он не казался нам стариканом. Он был ненастоящий полковник. Сергей Тимофеевич называл его ложным опенком. Он был штатский полковник: преподавал в бронетанковой академии технический курс. Но в войне он участвовал. Заслужил какие-то ордена. Они были совсем разные с Сергеем Тимофеевичем: один жил мыслями, надеждами, горечью, другой — здоровьем, сластями, осторожностью. Полковник Гусев никогда не летал на самолетах и не ездил в такси: самолеты разбивались, таксисты лихачествовали. Когда играли зимой в городе и засиживались до часу, а то до двух ночи, полковник всегда плелся домой через город пешком. Я удивлялся: «Аркадий Иванович, да почему же, бог ты мой, не взять такси? Ведь и деньги у вас есть, вы в выигрыше».— «А зачем? Я ночную Москву люблю. И погодка чудесная. За час дотрюхаю спокойненько». Но и в мороз, в дождь, в снегопад трюхал так же спокойненько. Давно уже, лет восемнадцать, не садились втроем погорячить кровь. Все договаривались, перезванивались — как бы возобновить? — но ничего не получалось, закрутило винтами, разбросало нас далеко, и вот на днях звонок — голос знакомый, полковничий, но с какой-то уже слабиною, с семидесятилетней дрожливостью: «А Бориска-то наш? Ну и ну... Отколол...» Хоть и дрожит в тоске, а спросить о смерти, как прежде, боится. Думает: спрашивать не стану, глаза закрою, уши заткну — и, может быть, обойдется. Он и теперь, старичком сухоньким, краснолицым, волосы то ли седые, то ли белесые изжелта, бегает в марте на лыжах по лесу без рубашки, загорает на солнцепеке, груз-

дей ищет. «Ах, Юрий Валентинович, люблю по весне за груздочками помотаться! Вот где красота истинная — в лесу в марте!» А Бориски нет. Он никогда в жизни не бегал на лыжах за грибами. Его лесом был город, книги, автомобили, коридоры, таблетки, гипертония, и его гульба была другая. А груздями его были люди, мужчины и женщины,— их он искал, находил, восхищался, влюблялся. И вот выпал из жизни нечаянно и вдруг, как болт из паза, на полном ходу, посреди дороги, и все, что было вокруг — люди, книги, автомобили, таблетки,— рассыпалось, разлетелось в разные стороны, не собрать. Смерть — это вихрь, действующий молниеносно. В те времена, три года назад в Лас-Вегасе, я ничего, разумеется, не мог предвидеть — мне казалось, что его жизненная сила безгранична,— и я напрочь о нем не помнил, но в казино «Циркус-циркус», где множество людей слонялись от стола к столу, между автоматами и где девицы в колготках, с лотками на груди вроде тех лотков, что носили когда-то папиросницы на Тверском бульваре, предлагали разменять купюры на долларовые монеты, на пятидесятицентовые и на квортеры, которые лежали на лотках аккуратными столбиками, запакованные в бумагу, вместе со столбиками девицы давали бумажные стаканчики, чтобы монеты носить и ссыпать туда выигрыш «одноруких бандитов»,— ко мне подошел в толпе маленького роста взлохмаченный человек с темно-оливковым лицом и невнятно что-то пробормотал. Я не сразу понял: он представился, доктор такой-то. Он назвал фамилию Бори. Я спросил, нет ли у него родственников в Москве. «Все в этом мире мои родственники»,— быстро ответил маленький человек, почти карлик, и махнул нетерпеливо рукой. Он спешил невнятно бормотать дальше. Нам рассказали, что он помешался четыре года назад, когда его жена покончила с собой здесь, в Лас-Вегасе, проигравшись. У него есть своя комната на втором этаже «Циркус-циркуса». Он стал своего рода талисманом и *принадлежностью* казино. Считается полезным перед тем, как делать крупную ставку, найти доктора и притронуться сзади к его волосам. Но он мне запомнился потому, что сказал: «Все в этом мире мои родственники». После «Циркус-циркуса» мы пытали судьбу в другом казино, потом пили кофе в «Бурлеске», где, кроме нас и одного негра, не было никого, на эстраде танцевала девушка из Вест-Индии, негр все время подбирался к краю сцены и хотел

посмотреть на девушку снизу, для чего ложился чуть ли не на спину; девушка была голая и старалась, чтоб он ничего не увидел, она смеялась, негр смеялся, это была игра, они нас не замечали. Стив фотографировал со вспышкой, и после всего этого в ресторане «Сахара» Стив заговорил о моей книге. Нет, не сразу, сначала была беседа с официантом, даже с двумя официантами, первый был статный пожилой красавец, похожий на вышедшего в тираж киноактера, и Лола, нагоняя мне цену и одновременно льстя ресторану «Сахара», сказала, что только в «Сахаре» можно достойно накормить такого крупнейшего бейсболиста из Москвы, такую мировую звезду спорта, как я, на что официант ответил доброжелательным взглядом сверху вниз и как равному протянул для рукопожатия громадную ладонь; после этого он подкатил столик со специями и стал у нас на глазах делать французский салат, который заказал белобрысый, с туманным остановившимся взглядом Крис, большой человек из «Тампико Хемикла». Официант манипулировал ложечками, лопаткой и бутылочками с неимоверной быстротой, как фокусник, каждое действие сопровождая энергичными объяснениями, что он кладет и зачем, и все смотрели на него и слушали с напряженным вниманием. Официант спросил, в какой команде я играю.

— «Московские хрипуны»,— ответил я.

— «Moscow rattlers»,— перевел Боб.

— О, «Moscow rattlers»! Хорошая команда. Я слышал,— сказал официант.

Лола, Сузи, Бобчик и Рут были в Лас-Вегасе впервые, так же как я, Крис тут бывал не раз, а Стив работал здесь в сороковые годы, строил насосную станцию. Где только Стив не работал! Он был самый старый среди нас и самый веселый, все время подшучивал над Рут, гладил ее веснушчатую руку в серебряных кольцах, она улыбалась ему значительно и как бы намекая на что-то, понятное им двоим, они вели себя как молодожены, а ведь ему было семьдесят, ей пятьдесят восемь, но они и вправду были молодожены, потому что соединились три года назад. Подошел второй официант, разносивший мясо. Я ему сказал, что просил well done.

— Я думал, русские всегда любят с кровью,— сказал официант, но без улыбки, а как-то холодно и враждебно. Ведь то же самое можно было сказать шутливо. И это никого бы не задело. Но он сказал враждебно.

Бобчик вскочил и прокричал официанту что-то грубое, размахивая здоровенной рукой, способной многократно и с легкостью поднимать двухпудовую гирю. Я сам видел, как он кидал гирю утром в своей квартире в Лос-Анджелесе, про которую Лола говорила: «В таких квартирах живут неудачники». Официант чопорно удалился. Подошел грузный, профессорского вида метрдотель во фраке, мои спутники стали с ним объясняться. Я понимал плохо. Когда они говорят быстро между собой, я понимаю плохо. Метрдотель ушел, мне сказали:

— Он извиняется, хотя ничего не понял. Но официант будет наказан. Это человек из Европы, и он очень злой.

Вот после этого эпизода и, может быть, для того чтобы загладить тягостное впечатление, Стив заговорил о моей книге. Ему хотелось сказать мне приятное. Он сказал, что я пишу хорошо, он прочитал всю книгу «The long goodbye» от начала до конца, но мои герои не могут нравиться американцам: они вялые, нерешительные, не умеют добиваться своего. Но это не имеет значения. Для русского я пишу хорошо. Тут ему показалось, что он сказал недостаточно приятное, и он пустился в объяснения:

— Понимаете, Юрий, нам, американцам, такие люди не нравятся. Мы любим людей успеха. А вы, русские, всегда пишете про неудачников. Это неинтересно для нас. Мы любим оптимистическую, жизнеутверждающую литературу. Мы т а к а я н а ц и я. Верно я говорю, Рут?

— Верно, Стив,— сказала Рут и прочитала оптимистическое американское стихотворение про человека, который кузнец своего счастья.

— Рут тоже пишет книги. По психиатрии,— сказал Стив.

— Писала, пока не встретилась с тобой,— сказала Рут, смеясь.

Она была милая, женственная, черноволосая, с крепким, спортивным телом, несмотря на пятьдесят восемь. Ее родители приехали из Польши в начале века, но она не знала по-польски ни слова. Потом она мне рассказала: жизнь до Стива была тяжелой — муж, пьяница, избивал ее, жили в нужде. Муж был страшный. Она его боялась. Он кончил дни в сумасшедшем доме. Но теперь она необыкновенно счастлива. Стиву тоже было нелегко

отделаться от жены, истеричной и невоспитанной женщины, очень богатой, она богатством пыталась удержать Стива, но он все равно ушел. Так что Рут добилась своего. Теперь у них пятеро детей: двое Рут и трое Стива, все живут в соседних домах, в Костамессе.

— Все это вздор,— сказал Бобчик.

— Почему вздор? — спросила Лола.

— Абсолютный вздор. Насчет успеха и так далее. Можно подумать, что все американцы добиваются успеха. Сказка для дураков.

— Добиваются все, которые, ну, скажем, этого достойны.

Бобчик усмехнулся:

— Достойны?

— Ну да,— сказала Лола.

— Замечательно.

— Мама, конечно, достойнейшая,— сказала Сузи. Она улыбалась кукольным ртом, но узкие зеленоватые глаза — не материнские — смотрели на мать неприязненно.

— Сузи, послушай, что я тебе расскажу про Стива. Это важно особенно тебе, ты знаешь почему,— сказала Рут.— Человек должен иметь волю к жизни...

Она стала рассказывать: как Стив был фермером, потом учился, был летчиком на войне, работал в разных местах, затевал множество дел, прогорал дотла, начинал снова, опять прогорал, опять начинал — и так было бессчетное число раз, но он не сдавался. Стив простодушно улыбался, слушая про себя. Крис кивал белобрысой, коротко остриженной головой, одобряя американскую притчу. Но Бобчик был бледен, мучительно с чем-то не соглашался, сдерживался, молчал, а нежное лицо Сузи приняло выражение насмешливой, тончайшей презрительности. Когда Рут кончила, а Стив в знак благодарности поцеловал ее веснушчатую руку, Бобчик сказал:

— А я третий год не могу продать сценарий. Может, я идиот?

— Нет, ты не идиот,— сказала Лола.— Но ты невезучий.

— Послушай, ведь то, чем я занимаюсь, не игра в карты. Что значит — невезучий?

— Не знаю. Возможно, ты мало работаешь. Я не понимаю, в чем дело.— Лола выпрямилась во весь свой маленький рост, расправила обнаженные плечи, в ее

скуластом лице женщины-подростка появилось что-то новое и внезапное, похожее на стальную упругость.— Не будем портить аппетит всем, о'кей?

— О'кей,— отозвался Бобчик слабым голосом.

Поехали в старый Лас-Вегас, в «Золотой слиток», и играли там до полуночи. Все разбрелись по разным столам, прятались по углам среди автоматов, стараясь быть в одиночестве, не видеть друг друга, оставаться с глазу на глаз со своей судьбой, а я ходил и смотрел. Все было так не похоже на Репихово. Но какая-то нить — я чувствовал — соединяла эти два местечка. Я видел, как Бобчик подошел к Лоле, которая механически и равномерно вкладывала монету и дергала ручку, и сказал:

— Дай мне пятнадцать долларов.

Не отрываясь от своих занятий, Лола спросила:

— У тебя ничего нет?

— А что у меня было?

— Я дала тридцать пять долларов. И еще были, наверно, какие-то свои?

— Откуда свои? — Бобчик усмехнулся.— Свои! Прекрасно знаешь, что не было.

Лола отсыпала из бумажного стаканчика монеты и дала Бобчику. Он ушел, бормоча. Лола продолжала дергать ручку. В полночь все собрались, как было уговорено, перед выходом, чтобы ехать в «Эм-Джи-Эм», где начиналась программа. Все проигрались, кроме Криса. Лола шутливо обнимала Криса:

— Кристофер, я хочу завести с вами роман! Меня волнуют мужчины, которым везет!

«Эм-Джи-Эм» — колоссальное казино с залом тысячи на две зрителей. Знаменитый лев, известный по фильмам «Метро-Голдвин-Мейер», сидел на крутящейся сцене, дряхлый и бессмысленный, и разевал в зевоте беззубую пасть. Две сотни девушек, стоявших полукругом, одновременно вскидывали голую ногу, и вся их выгнутая шеренга напоминала чудовищное веко с белыми ресницами. Зрители сидели за длинными столами на террасах, поднимавшихся амфитеатром. Под куполом клубилась табачная мгла. Бобчик куда-то исчез. Лола пошла его искать. Они вернулись не скоро. Бобчик был мрачен. Я слышал, как он сказал по-русски:

— Убери эту рыжую скотину. Для тебя он начальник, а для меня ноль. Я могу его убить.

— Ты пьян,— шептала Лола.— Уходи немедленно. Иди в гостиницу спать.

— Уходи сама. Уходите с ним оба.

— Нет, уйдешь ты, а мы останемся.

— Пойдешь с ним спать?

— Ты мне опротивел, гадина. Уходи отсюда к чертовой матери.

Они шептались по-русски, и никто их не понимал, кроме меня, а Сузи сидела на другом конце стола и не слышала. Бобчик встал, покачивался, тыкался неловкими пальцами в пуговицы пиджака, не сходившегося на животе.

— Ну ладно, пойду. Живите как хотите. Но утром пусть этот тип не появляется. Я могу его покалечить.

И, уходя, грозил пальцем. Сузи сказала, что посадит его в такси и вернется. Она не вернулась. Рут шептала:

— Ее надо лечить. Она уже дважды лежала в клинике. Но у Лолы нет времени. Такое несчастье...

На рассвете я услышал крики, топот ног, вышел в коридор. Сузи в халате стояла перед открытой дверью соседнего номера и, рыдая, кричала:

— Будь ты проклята! Ты не мать, а ведьма! Тебе все мало! Зачем я тебе нужна? Почему ты меня не убьешь?

Возникла Лола, тоже в халате,— румяная, быстрая, с сухим, деловым блеском в глазах — и ловко плеснула в лицо дочери воду из стакана. Сузи упала на пол. Я подбежал, вместе с Лолой мы втащили Сузи в комнату. Потом я стоял перед окном в своем номере и смотрел на лунный пейзаж: в сером серебрились башни, между башнями дымился рассвет. Пустыня была вокруг. «Зачем все это нагромоздили?» — думал я. В середине дня за ленчем подошел Крис и сказал, показывая плоскую, с желтоватым обрезом ладонь:

— Этой штукой я убиваю лошадь. Понимаете?

Он потряс ладонью перед моим лицом. Бобчика за столом не было. Никто не знал, где он. Сузи лежала больная в номере.

Самолет отлетал в восемь. За окном пылал жаркий ноябрь Невады.

— Бобчик придет, не волнуйтесь,— сказала Лола.— Никуда он не денется.

Я подумал, что нить, которая соединяет два таких непохожих местечка, очень простая: она состоит из любви, смерти, надежд, разочарований, отчаяния и счастья, краткого, как порыв ветра. Они никогда не поймут, почему упал, как от взрыва бомбы, Сергей Тимофеевич в пятьдесят седьмом году, почему рухнул, не

успев переменить судьбу, Боря, а я не пойму, почему никуда не денется Бобчик, но дело не в этом. «Все в мире мои родственники»,— сказал безумный доктор в Лас-Вегасе.

Спустя три года я получил письмо от Рут: Лола вышла замуж за служащего страховой компании и уехала в Бостон, Бобчик разбился на спортивном самолете, Сузи лечится в клинике, у Стива все в порядке, он работает по-прежнему, хотя старая болезнь донимает, дети его очень поддерживают, все молятся за него, а Рут заканчивает книгу по психиатрии. В конце письма Рут привела американское стихотворение насчет того, что человек кузнец своего счастья.

ПОСЕЩЕНИЕ МАРКА ШАГАЛА

Нас пригласили к пяти. Лили заехала в Рокфор-ле-Пэн, и мы понеслись петляющей дорогой, которая то ныряла в знойные теснины между холмами, то вырывалась на свободу горы, и тогда становились видны на краю прозрачного простора, где воздух слоился, какие-то обломанные, туманные хребты городов, похожие на развалины, они кружились, отдаляясь, и в машину залетал запах далековатого моря. Я думал не только о художнике, к которому мы ехали, о его простодушных коровах, кривобоких избах, одноглазых мужиках в картузах, о зеленых и розовых мечтательных евреях в ультрамариновом небе, о синеве, об Улиссе, о медленном и прочном затоплении мира загадочной славой — я думал о другом старике, который умер два года назад в доме для престарелых на берегу канала, за Речным вокзалом, и который — ах, сколько бы он дал, чтобы сидеть в машине, продуваемой ветром, и ехать в Сен-Поль! Я думал об Ионе Александровиче. Они были ровесники. Один называл другого Марк, а другой говорил тому Иона. В 1910 году судьба столкнула их в Париже, потом они встречались там же в двадцатых, когда Иона Александрович жил в Париже в командировке, не знаю точно какой. Я не мог не вспоминать о нем. Уж слишком он трепетал, рассказывая о Шагале, он всегда начинал путать слова, руки его дрожали, когда ему доводилось услышать или самому заговорить о Шагале. Однажды в доме на Масловке он ударил по лицу художника Ца-

ренко, который сказал, что Шагал халтурщик, что он не умеет рисовать,— нет, не то чтобы ударил, а в приступе гнева и со слабым возгласом: «Вы лжете!» — дал Царенко легкую пощечину кончиками пальцев, но и то был с его стороны отчаянный поступок, потому что вырвалось тщательно и давно скрываемое преклонение Ионы Александровича перед Шагалом, которое он всегда отрицал, на что Царенко ответил здоровенным тумаком, который сбил старика на пол, и радостным криком: «Сам ты лжешь!» Потом их делом занимался товарищеский суд. Я жил тогда на Масловке. Это было лето пятьдесят первого или, может быть, пятьдесят второго года. Я был женат на дочери Ионы Александровича. Мы прожили с ней пятнадцать лет до ее внезапной смерти на литовском курорте, куда она умчалась в одиночестве непонятно зачем. Летающие любовники Шагала — это мы все, кто плавает в синем небе судьбы. Я догадался об этом позже. Иона Александрович сначала меня любил, потом возненавидел. И я тоже в разные времена относился к нему по-разному. Он менялся, как пейзаж в течение дня — то в сумерках, то при свете солнца, то в тумане, то при луне. Он был коротконогий, коренастый, с несколько скуластым, скорее крестьянским, чем одесским типом лица, седые волосы зачесывал набок челкой и в разговоре имел привычку причмокивать, точно всегда прочищал языком зубы после еды. Парижские салоны и портовые кабаки родного города в нем нелепо соединялись. Из небывалой дали долетел и сохранился — висел в укромном месте в мастерской — автопортрет молодого Шагала, литография с карандашной подписью. Лицо было круглое, с безумным удивлением в глазах и странным образом перевернутое: оно казалось неестественно кривым, как бы на сломанной шее, и в то же время бесконечно живым. Лицо человека, застигнутого врасплох. И чем-то смертельно пораженного. Иона Александрович дорожил этой литографией больше, чем любой из своих картин, а у него были этюды Коровина, Левитана, рисунки Григорьева, полотна Осмеркина, Фешина, Фалька и большая картина, изображавшая монастырский двор в день церковного праздника, которая приписывалась Мясоедову. О, забыл: еще были Богаевский, Малютин, Костанди и какой-то француз, то ли Фонтэн-Латур, то ли еще кто-то, правда сомнительный. Но всему этому он предпочитал летучий рисунок Шагала. В те времена, когда он меня любил,

он часто и многословно рассуждал по поводу этого автопортрета, который у него пытались выманить коллекционеры, предлагая большие деньги, а ведь он нуждался. Он сильно нуждался. Да и кто из художников, живших на Масловке, не нуждался в те годы! Он говорил, склоняя меня к мыслям о собственных мучениях и потугах — я тогда колотился, ища какого-то поворота, какого-то нового ключа в работе, потому что мое старое мне опостылело,— о том, что истинное в искусстве всегда чуть сдвинуто, чуть косо, чуть разорвано, чуть не закончено и не начато, тогда пульсирует волшебство жизни. И вот замечательная литография — в желтоватом паспарту парижской выделки, в рамке и под стеклом — пропала из мастерской. Я помню ужас, охвативший Иону Александровича. Пропажа рисунка Шагала не могла стать поводом к разбирательству. Сказали бы: а не надо всякую ерунду держать в мастерской. Ведь Иона Александрович не хвастался литографией, мало кому ее показывал — только верным людям и знатокам. Он мало кому и рассказывал о знакомстве с Шагалом в 1910 году и тем более о встречах с ним в 1927-м. Это была полутайна. Полностью скрыть связи со злокозненным антиреалистом было, разумеется, невозможно, ибо все помнили, как в начале тридцатых Иону Александровича стегали публично на дискуссиях и в печати — отличался критик Кугельман, один из вождей изофронта, неподкупный и яростный, сгинувший лет через пять бесследно,— за вредоносный шагализм (термин Кугельмана), и бедный Иона Александрович каялся и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей, в которых шагализм расцвел особенно ядовито. За двадцать лет было много чего: война, эвакуация, голод, смерть близких, тревога за дочь, прежние враги сгинули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость, а все же ужас перед Кугельманом и шагализмом тлел неизбывно, как задавленный детский страх перед темнотой. Вот почему Иона Александрович не решился поднимать шум из-за пропажи рисунка. Он страдал молча и ломал голову: как быть? Его жена бранилась. Старик, считала она, был во всем виноват. Ведь он отказал гомеопату Борису Эдгаровичу, который предлагал за рисунок пять тысяч, отказал из-за глупой гордыни, из-за непонимания жизни, теперь лишился и рисунка, и денег. Янина Владимировна порой считала Иону Алексан-

дровича дураком и заявляла об этом твердо и ясно. А порой считала очень умным человеком. Она говорила: «Все знают, что ты дурак и тебя легко обмануть». Иногда говорила: «Иона, зачем ты вступаешь в спор? Они не стоят твоего мизинца. Ты умнее всех в этом доме».

Все это вспомнилось по дороге в Сен-Поль. Теперь я редко вспоминаю дом на Масловке. Это было слишком давно. Это в те времена, когда...

Лили сказала, кивнув на мелькнувшую белизной среди зелени виллу за яично-желтой оградой:

— Здесь жили когда-то русские, поселившиеся в Провансе после вашей революции. Они разводили кур.

Так вот: это было в те времена, когда на крышах домов еще не торчали телевизионные антенны, когда женщины носили пальто труакар с накладными плечами, а мужчины ходили в габардиновых плащах, некоторые в шинелях, когда еще не было Лужников, игры происходили на стадионе «Динамо» и перед северной трибуной с утра до вечера стояла толпа, одни уходили, другие подходили, клубилось футбольное толковище, когда импрессионисты считались подозрительными и даже враждебными реализму, когда еще не было изобретено антитараканье средство «Прима» и не было самих тараканов, исчезнувших во время войны, когда не появились еще итальянские фильмы и Москва смотрела немецкие трофейные ленты, которые шли не в кинотеатрах, а в клубах, когда существовал «Гранд-отель» и модным считался ресторан ВТО, где метрдотелем был Борода, когда весь район восточнее стадиона «Динамо» был застроен ветхими деревянными домишками, напоминал село, там было много деревьев, собак, грязи осенью, тополиного пуха летом, снежных сугробов зимой. И я жил в странном доме на Масловке, который был построен в тридцатых годах с расчетом на то, что тут поселятся дружные, жизнерадостные творцы пролетарского искусства, не озабоченные ничем, кроме своего дела, своего мчанья вперед, поэтому как на вокзале: одна уборная и один водопроводный кран на этаж, где жили человек двадцать. Жили как бы начерно, наспех, малевали жизнь как эскиз, а главное полотно дай бог когда-нибудь сотворить внукам! Но удивительно: художники и вправду не обращали внимания на житейскую чепуху вроде необходимости ждать очереди в туалет или бегать с ведрами за водой по коридору. Они зарывались в свои холсты, картоны, подрам-

ники, тюбики, в бешеную работу к сроку, вечерами пили водку, рассуждали о ремесле, ругались черт знает из-за чего. На третьем этаже, где я жил и где помещалась мастерская Ионы Александровича, раз в три месяца происходило важное событие — заседание закупочной комиссии. К нему готовились загодя, волновались, узнавали окольными путями, кто назначен в комиссию, чей голос будет особо весом, за день до рокового испытания — оно и впрямь было роковым, ибо определяло жизнь на ближайший год, а то и годы,— художники притаскивали картины со всей Москвы, ставили в коридоре лицом к стене, углем на раме писали фамилии, ночь спали плохо, а с утра начиналось действо, напоминавшее своей беспощадностью микеланджеловский «Страшный суд»: один жест руки — и чьи-то творения возносились в райские сферы, другой жест — проваливались в преисподнюю. Однажды Иона Александрович уже пережил удар: года два назад в ночь перед просмотром пропала совместная работа Ионы Александровича и его друга Палатникова — большой, писанный по клеткам портрет вождя. Но вещь скоро нашли на Сельскохозяйственной выставке: ее уже запаковали и собирались отсылать в кубанский совхоз. Нашли и злоумышленников, продавших чужой труд: ими оказались двое пьянчужек, Глотов и Пурижанский, давно разучившиеся писать и проводившие дни в масловской забегаловке, которая по имени завсегдатая, старика Паши Кудинова, одного из последних передвижников, называлась «Кудиновка». Найти было просто. Пришли в «Кудиновку», и тут же след отыскался: Глотов и Пурижанский, конечно же, проболтались. А Федя Палатников поднял крик — страх! Теперь же кричать было нельзя, жаловаться рискованно. Иона Александрович в смятении советовался со мной: «А если все-таки заявить в милицию? Для них имя Марка ничего не значит, не правда ли? Но начнутся опросы свидетелей, соседей... Имя Марка всплывет... Вы не представляете, какой это раздражитель...» Но иногда восклицал с отчаянной бесшабашностью: «Ах, к черту! Надоело! Я им скажу все, что думаю о Марке: о его синем цвете, о неподражаемой фантазии. Ведь эта фантазия не имеет себе равных... Он подарил мне литографию в тяжелую для себя минуту... Разве я могу забыть? Да и времена, слава богу, не те: пятьдесят первый — это вам не тридцать первый...» Времена, конечно, не те, но сло-

во шагализм по-прежнему звучало зловеще: что-то среднее между шаманизмом и кабализмом. Тут возник Афанасий. Впрочем, Афанасий существовал всегда, он слонялся по мастерским еще до войны, но лишь в последние годы приобрел специальность, за которую среди художников получил кличку Ухо. Известно, как трудно писать уши, тем более уши значительных лиц, известных миру, и вот обнаружилась поразительная достопримечательность скромного Афанасия Федоровича Дымцова: его ухо по рисунку было точной копией уха великого человека. Афанасий, отнюдь не Аполлон, человек занудливый и глуповатый, считался заурядным натурщиком, с которым мало кто хотел иметь дело, и вдруг его маленькая мелкокурчавая римская голова с низким лбом и выдающейся нижней челюстью сделалась благодаря уху подлинно нарасхват. Афанасий стал много зарабатывать, купил костюм, сделался высокомерен, капризен, и хотя все держалось как бы в секрете, об изумительной специальности не говорили вслух — потому что кто его знает, как отнесутся, если прослышат? — Афанасий давал понять, что у него появились особые связи и возможности, которые он предпочитает хранить в тайне, но в нужную минуту может пустить в дело. Этим он художников попугивал и заставлял платить по двойному тарифу. Затем он обнаглел настолько, что начал занимать у художников деньги, требовал, чтоб его кормили и давали пиво во время сеансов, а у одного художника взял поносить шубу и не вернул, хотя зима кончилась. Боялись с ним связываться. Прошел слух, что его куда-то вызывали и что ему разрешено. Однажды пришел в военной фуражке, стоял перед домом на улице, отставив свободную ногу, с папиросой во рту, разговаривал с комендантом, а художники обходили их стороной и старались не смотреть на Афанасия. Вид у него был жутковатый. Один скульптор сделал Афанасию замечание за то, что тот опоздал на сеанс. Афанасий поглядел на скульптора диким взглядом и выпалил: «И подождешь! Не барин!» — и скульптор опешил, руки по швам, промолчал. И вот в разгар грозного Афанасьева могущества кто-то сообщил, что видел автолитографию Шагала в доме Афанасия, пришпиленную кнопками к стене. Иона Александрович был потрясен, откуда вдруг Афанасий? И как он смел пришпиливать кнопками? Дальше многое помнилось плохо. Все-таки

прошло почти тридцать лет. Я не помню, как литография оказалась в руках Афанасия: кажется, он попросту спер ее, потому что вздумал заняться коллекционерством. И кто-то надоумил его начать с Шагала. Хозяин, дескать, шума поднимать не станет. И верно, переговоры Ионы и Афанасия шли нервно, но негромко: Афанасий божился, что литографии у него нет, требовал обыска при свидетелях, товарищеского суда, изображал глубокую оскорбленность, а Иона шепотом, чуть не плача, умолял вернуть драгоценность. Он дошел до крайности, предлагая Афанасию за возврат литографии Левитана или Коровина. Он пытался надавить по-другому: говорил, что с ним, Ионой Александровичем, шутки плохи, что он был в восемнадцатом году комиссаром искусства в Одессе, что сидел пять дней в деникинской контрразведке и едва не попал в плен к махновцам, спасли буденновцы, так что у него тоже есть связи. Но Афанасий упорно стоял на своем: ничего не знает, литографии у него нет. Почему-то он вцепился в Шагала зубами. Теперь он не отдал бы его ни за что. Как у глупого хитреца, его упорство было нелепо, но с коварством внутри. «Подавайте в суд! — предлагал он.— Пишите на меня прокурору!» Это было как раз то, чего Иона Александрович сделать не мог. Старый страх, как грыжа, мучил его неисцелимо. Я помню его в минуту подавленности, старым и грустным, на дубовой лавке в мастерской: «Что можно сделать? Я безоружен, а бандит вооружен до зубов...» Жена успокаивала его так: «Ну и черт с ним, с Шагалом. Мало ты из-за него терпел? Вот и хорошо, что от него отделался. Я очень рада».

Потом все каким-то образом разрешилось. В середине пятидесятых — после того как Москву встряхнула, подобно землетрясению, выставка французской живописи, обозначив слом времени,— я помню Шагала на прежнем месте в мастерской. Но как он вернулся? Каким путем Ионе удалось выцарапать его у глупого Афанасия, умевшего таинственно всех стращать? Ах, все устроилось, кажется, само собой: отпала нужда в ухе, импрессионистов перестали считать подозрительными, Шагала начали поминать без брани, Афанасий умер, а его жена вернула литографию Ионе, который в тот день напился ужасно, как не напивался с парижских времен, с кафе «Ротонда», откуда его выносили когда-то на руках его друзья Марк Шагал, Кислинг,

Кремень, Паскин, Сутин, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Бастьен-Лепаж, Ренуар, Курбе, Миллэ и Энгр, чудеснейший рисовальщик.

Прошло много лет, исчезли все, кто жил тогда на Масловке: пьянчужки Глотов и Пурижанский, передвижник Кудинов, делец Палатников, добывавший заказы для писания портретов по клеткам, исчезли жена и дочь Ионы Александровича, последним угас он сам в возрасте девяноста двух лет в доме престарелых за Речным вокзалом, остался один Марк Шагал: к нему я ехал теперь по горной дороге.

Сначала я принял за Шагала седого, чопорного, длиннолицего старика, который разговаривал в гостиной с немецким пастором, приехавшим из Майнца. Шагал сделал витражи для майнцского собора, и теперь пастор привез цветные фотографии и открытки с видами собора и витражей. Все их рассматривали. Это было спасительное занятие на первых минутах. Старик, которого я принял за Шагала, бросал на открытки холодноватый и рассеянный взгляд, какой и должен бросать творец. А я поглядывал на него исподтишка и думал: «Знал бы ты, как Иона Александрович из-за тебя настрадался!» Вдруг старик стал прощаться. Я испугался и сказал Ваве, жене Шагала, шепотом:

— Я хотел бы Марка Шагала кое о чем спросить...

— Он сейчас придет. У него доктор. Через две минуты.

Мы шептались с Вавой по-русски. И вдруг вместо чопорного холодноглазого в комнату ворвался маленький, быстрый, взъерошенный, лысоватый, загорелый, небрежно одетый, с простодушным изумлением в слегка выцветших от вековой жизни глазах — это и был настоящий. А тот был торговец, богач, создатель музея в Сен-Поле, где мы только что побывали и где я купил несколько репродукций Шагала. Настоящий набросился на нас с вопросами. Он изголодался по разговору. Ведь он оторвался от работы, несколько часов провел в одиночестве наверху, в мастерской, где расписывал какой-то рояль или клавесин, и теперь ему не терпелось поговорить.

— Вы писатель? Вы можете писать все, что хотите? Когда вы возвращаетесь домой? А она красивая! Это ваша жена или просто так? В Москве меня помнят? Еще не забыли? Не может быть! Неужели вы были в

Витебске? Нет, в самом деле вы были в Витебске? Вы ошибаетесь, эта улица рядом с кладбищем. Слава богу, я помню. Можете меня не учить про Витебск. А это ваша жена или просто так? Я знал Маяковского, Есенина, многих, они все умерли. Они умерли рано. Как вы думаете, зачем моя сестра все время посылает мне монографии советских художников? Ведь они дорого стоят! Она тратит так много денег! Я ей пишу: не трать, не посылай! Вы хотите, чтоб я назвал! Э-э-э, ну, скажем, Борисов-Мусатов. Да, да, Борисов-Мусатов! Потом, э-э-э, ну, скажем, Левитан... И Врубель... Да, Врубель, Врубель! Ну не знаю, кого вам назвать еще. У Серова мне нравилась одна вещь — помните, мальчики стоят на деревянном мостике. Я любил ее в юности. В юности любишь одно, в старости другое. Через два дня мне будет девяносто три. Это действительно ваша жена или так себе? Вы говорите, что вам нравится эта вещь? А вы ее видели? Где? Не может быть! В Москве вы не могли ее видеть! Вава, у кого находится эта вещь? Ах, у Иды. Тогда другое дело.— Шепотом сообщает как тайну: — Ида — моя дочь от Беллы. У меня была жена Белла. Она не захотела сюда ехать.— И опять громко: — Тогда вы правы, вы могли видеть эту вещь в Москве...

Моя жена подсунула ему репродукцию, только что купленную в музее. На темном коричневом фоне стоят чуть косо старомодные часы в деревянном футляре. Он молча рассматривал репродукцию. Он держал ее далеко от глаз, смотрел долго, пристально, как на чужую работу. И вдруг пробормотал едва слышно, не нам, а себе:

— Каким надо быть несчастным, чтобы это написать...

Я подумал: он выбормотал самую суть. Быть несчастным, чтоб написать. Потом вы можете быть каким угодно, но сначала — несчастным. Часы в деревянном футляре стоят косо. Надо преодолеть покосившееся время, которое разметывает людей: того оставляет в Витебске, другого бросает в Париж, а кого-то на Масловку, в старый конструктивистский дом, где живут сейчас люди, которых я не знаю. Наверно, по-прежнему на третьем этаже заседает закупочная комиссия. Я стал спрашивать: помнит ли Шагал такого-то и такого-то? Я называл художников, выходцев из России, про которых слышал когда-то от Ионы Александрови-

ча. Про самого Иону Александровича спросить почему-то боялся. Почему-то казалось, это будет все равно что спросить: существовала ли моя прежняя, навсегда исчезнувшая жизнь? Если он скажет нет — значит, не существовала. Шагал всех помнил и знал, но ни о ком не распространялся, а только говорил полувопросительно:

— Да, да. Он умер?

Кажется, все, о ком я спрашивал, умерли, и это было в порядке вещей. Шагал привык к этому. Наконец я набрался духу и спросил: помнит ли он Иону Александровича? Я назвал фамилию и ждал со страхом.

— Да, да,— сказал Шагал.— Он умер?

— Он умер два года назад. И знаете...

Мне хотелось рассказать, как он жил в доме для престарелых на берегу канала, куда привез свои книги, картоны, краски, парижский ящик, некоторые картины — большинство он отдал в музей,— и на видном месте висел автопортрет Шагала со странно искривленным лицом, как он работал до последнего дня, рисовал стариков, зазывал их в свою комнату, заставляя сидеть на кровати, они покорно сидели, некоторые дремали, а он рассказывал одно и то же, что рассказывал когда-то мне, иногда сам начинал дремать за мольбертом, бывало так, что дремали одновременно, и как он вдруг захотел жениться на медсестре Наташе, молодой девушке, румяной и миловидной, она была не москвичка и надеялась прописаться в комнате на Масловке, и как он ревновал Наташу к одному врачу, скандально с ним разговаривал, отказался принимать лекарства, которые тот прописывал, потому что боялся, что врач хочет его извести, чтобы заполучить Наташу, и как в загсе тормозили дело, заподозрив Наташу в том, что она не может полюбить глубокого старика, ему было девяносто два, а Наташе двадцать четыре, он был полон решимости бороться, куда-то писать и добиваться своего, но неожиданно умер в начале лета, и никто не мог понять отчего: он ничем не болел. Но рассказать я не успел, потому что Шагал посмотрел на часы и спросил:

— Вава, мне, наверно, пора идти?

— Посиди немного,— сказала Вава.

Через короткое время он опять взглянул на часы и сказал, что должен идти работать. Тем же быстрым шажком, каким ворвался в гостиную, он убежал на второй этаж.

На обратном пути мы ехали побережьем, и море лежало в сумерках громадной сине-голубой простыней, под которой можно было спрятать всех, всех, всех.

СЕРОЕ НЕБО, МАЧТЫ И РЫЖАЯ ЛОШАДЬ

И это было все: серое небо, мачты и лошадь. Ну, и снег. Снега много. Он был пахучий, желтоватый. Снег и лошадь были связаны, одно не существовало без другого. Лошадь была пахучая, как снег. Она стояла смирно и вызывала тоску, ибо в ней заключалось счастье, всегда недоступное. Кажется, она была рыжая, в желтизну, таким же она делала снег. Еще помню — серое небо и мачты. Гулял с мамой в порту. И все, и никакого промелька больше. Но даже это ничтожное добыть стоило непомерных усилий: ведь серому небу и мачтам пятьдесят лет, рыжей лошади и снегу тоже пятьдесят. А если точно — пятьдесят два года.

Какие они старые — лошадь и снег!

Но сначала я приехал в город Ювяскюля. Здесь находилось издательство, выпускавшее мои книги. Но я приехал не совсем кстати и по другому поводу, на праздник так называемой Ювяскюльской зимы, а в издательстве происходил какой-то свой праздник, с разных сторон съехались финские авторы, переводчики и книготорговцы, и издателям было не до меня. Хотя они намеревались издать еще одну мою книгу, им было не до меня. Им хотелось побыть в своем кругу, хорошенько поговорить по-фински, повеселиться и поплясать с другими издателями, авторами, переводчиками и книготорговцами, попрыгать в снегу ночь напролет, и я тихо выскользнул из просторного зала, расположенного в подвальном этаже, где в обычные дни помещалась столовая для сотрудников издательства и типографии. Все в этом здании было новенькое, удобное, гладкое, полированное, на стенах висели гладкие, полированные картины, вестибюль украшал громадный портрет основателя издательства в костюме начала века, и отовсюду шел чудесный химический запах. На улице стоял лютый мороз. Один из руководителей издательства вышел простоволосый на мороз, радостно тряс мне руку и бормотал на трех языках: «Господин Трифонов, ай виш ю добри нахт!» Ему не терпелось поскорее вернуться в подвальное помещение. Главная улица была

мертва. Мороз и поздний час выморили город, но вывески пламенели, витрины сияли, в черном небе стояло зарево от огней: все было, как полагается быть в маленькой столице мира. Над крышами домов подымались вертикальные столбы дыма. Из окна гостиницы я видел: ослепительно и ненужно горел внизу ярко-розовыми огнями универмаг «Centrum», запертый на ночь, а где-то далеко, за пределами зарева, в черноте простиралось необозримое, не имевшее края, снежное и стылое.

В этой стране я многое узнал и почуял впервые пятьдесят лет назад. Мой отец был тут торгпредом. В конце двадцатых годов. И я начал тут, черт побери, лепетать и делать первые шаги: как это ни пошло звучит, но это так. Ну и что? Зачем? Какая связь? Ведь не осталось ничего кроме серого неба, мачт и рыжей пахучей лошади. В Гельсингфорсе родилась сестра. Ну и что же, боже ты мой? Она ничем и никогда не была связана с этой землей. Мы не знаем ни слова по-фински. Впрочем, когда-то мать говорила, и запомнилось тарабарщиной: «Альбертсгатан чугуфе́м». Теперь объяснили: это дом, в котором вы жили в Гельсингфорсе. Улица Альберта, двадцать пять, но не по-фински, а по-шведски. Я найду этот дом. Но сначала надо побыть в Ювяскюле, где происходит знаменитая Ювяскюльская зима и куда я приехал из Лахти, проводник выкрикивал мою фамилию в коридоре, поезд стоял три минуты, я собрался молниеносно и выпрыгнул, роняя вещи, на ледяной, тридцатиградусный, залитый солнцем перрон, где молодой человек и девушка с милыми, багровыми от мороза лицами схватили мои вещи, подобрали шапку, далеко укатившуюся от прыжка, все побежали через туннель к машине, бежать было приятнее, чем идти, и часа через три, промчавшись сине-белой, цветов финского флага, застывшей в дурмане январской стужи Финляндией с белыми холмами, остроконечными кирками, темной рябью гранита на обочинах, столбами дыма, стоящими вертикально в синеве, мы вкатились в Ювяскюлю. Это маленький город, полный достоинства. В нем есть то, се, пятое, десятое, фабрики, университет, супермаркеты, шведские и японские машины на улицах, «Лады» и «Москвичи», которых тут называют «Элите», книжный магазин, где я приобрел замечательные папки со страницами в виде прозрачных конвертов, куда можно вставлять лучшие рецензии и на них любоваться. Для плохих рецензий я купил пор-

тативную бумагорезательную машину: она крошит бумагу на мельчайшие полоски. Ювяскюльская зима — это споры, хохот, разговоры обо всем, странный юмор, пиво, доброжелательность. И вот я стоял у окна, смотрел на радужное и бессмысленное сияние «Centrum» среди ночи и думал о том, что не надо заботиться отыскивать нити, из которых все это сплетено: пусть они возникают внезапно, как ледяной перрон Лахти.

Кто-то крикнул мою фамилию, я очнулся и вспомнил.

Отец привез из Финляндии три настоящих финских ножа: один большой, другой поменьше, третий маленький. Они были изумительной красоты. В кожаных черных футлярах. Рукоятки из темно-красного полированного камня. Ножики лежали в отцовском столе, и он не разрешал их брать, говорил, что играть с ножиками дурацкое дело. А так хотелось поиграть с ними! Одно прикосновение к холодному темно-красному камню рукоятки вызывало дрожь вожделения. Мне хотелось хвалиться перед товарищами, но я не смел ослушаться. Отец был строгий. Если он говорил «нельзя», это значило — нельзя. Но однажды июньским утром, в понедельник, я узнал, что отца нет. И убивающее предчувствие подсказало мне: навсегда. Никто больше не скажет «нельзя». Я еще не понимал горя, которое случилось, мне было одиннадцать, и одна постыдная мысль — вместе с ужасным предчувствием — проскользнула в сознании: теперь я мог свободно завладеть ножиками! Вечером я тихо открыл отцовский стол, вынул все три ножика, немного поиграл с ними и спрятал в глубь ящика своего набитого карандашами и альбомами столика. Хвалиться перед ребятами не пришлось: мы переехали на окраину, я перешел в другую школу, а хвалиться перед новыми ребятами почему-то не хотелось. Вообще к этим ножикам я скоро остыл. И они постепенно исчезли. Большую финку присвоил мой сводный брат Андрей, когда его призвали в армию. Он пропал без вести в сорок третьем где-то на Севере, может быть, даже на финляндском фронте. Я убежден — на финляндском. Потому что все сплетено искусно и если потянуть нитку в устье, она непременно обнаружится и затрепещет в истоке.

Маленький ножик я подарил в минуту отчаяния одной девчонке. Но это не помогло. А финку средних размеров стащил из дома двоюродный брат Гога, сиро-

та, бродяга и бездельник, однако не без таланта: он рисовал и писал стихи. Однажды Гога приплелся обшарпанный, грязный, то ли с вокзала, то ли из тюрьмы — была осень сорок пятого, я еще работал на заводе, а он витал неведомо где, что занимало меня чрезвычайно, и была какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить,— и вот он всю ночь рассказывал о своих похождениях, пил крепчайший чай, за пристрастие к которому имел кличку Чифирист, я в увлечении записывал в блокнот словечки и песни той пучины, откуда он вынырнул на мгновение, надеялся когда-нибудь словечки использовать, но не использовал, а наутро он исчез вместе с финкой. Мы встретились через много лет. Были еще финские сани — потткури. О, потткури! На них катались так: один везет сани, держась за спинку стульчика и отталкиваясь ногой, как на самокате, а другой барином сидит впереди на стульчике. Ездили по плотно укатанной снежной дороге. Я стеснялся громоздких саней, не виданных у нас, а мальчишки Серебряного бора останавливались и глядели разинув рты. В этих санях было что-то холуйское. Один непременно выглядел холуем. В конце войны мы возили на потткурях картошку. И еще вот что: лыжи марки «Лампинен». Отец привез три пары. Когда вернулись из эвакуации и приехали на дачу, увидели разбитую дверь, пустую квартиру, мебель пропала, ни одной пары лыж не осталось в прихожей, где они стояли обыкновенно в углу. И в сарае ничего не оказалось, кроме изломанных потткурей: на них-то и возили картошку.

Но был конец 1942 года, и мы — бабушка, сестра и я — радовались тому, что вернулись, что немцы отогнаны, что в Сталинграде окружена громадная немецкая армия, и на пропавшее барахло было наплевать. Кое-кто из соседей стал приносить вещи, говоря, что взяли, чтоб сохранить. Одна женщина принесла самовар, из лесничества притащили шкаф с плоскими выдвижными ящиками, откуда-то возникла старая лампа со ржавым римским воином. Но лыжи не возвращались. Года через два я заглянул в сарай нашей дворничихи Маруси — взять дрова, которые она обещала,— и увидел тонкие черные лыжи, стоявшие у стены, полуприкрытые листом фанеры. Я сразу узнал отцовскую пару «Лампинен». «Маруся,— сказал я.— Это наши лыжи». «Почему ваши?» — удивилась Маруся. «Я их узнал. Это отцовские. Он привез из Финляндии. Тут и марка фин-

ская есть. Видите, выбито: «Лампинен»... Лицо Маруси, пожелтевшее и худое, выражало скорбное и обиженное недоумение. И она качала головой, поджимала губы, показывая, что мне не верит. «Ну как же! — волновался я.— Вы же видите — тут написано: «Лам-пинен»? Вот здесь! Смотрите сюда!» «А я знай...— бормотала Маруся,— чего написано... На них Пашка катался. Я из-за Пашки храню, а то бы продала. У меня просют». Пашка, Марусин сын, пропал на войне, без вести. Он был старше меня на два года. Однажды мы с ним дрались на лодочной станции. Я собрал в охапку дрова, которые мне дали в долг, и пошел прочь. Она догнала: «Постой! А то возьми». Я сказал: «Не возьму». Две другие пары исчезли бесследно.

Вот что я вспомнил, глядя в окно на ночную Финляндию, совсем не ту, где я жил полвека назад. Всю ночь горел розовый «Centrum». Утром сверкало небо, скрипела на морозе дорога, самолет летел низко, я видел слепящую белизною, с запорошенными озерами страну. Она искрилась под крылом, как вынутый из холодильника недорогой, свежий сахарный торт. Дороги нарезали его кривыми кусками. В самолете было жарко, и не верилось, что внизу мороз под тридцать. В Хельсинки мороз ослаб, в воздухе была сырость. Меня спросили: кого я хочу увидеть в Хельсинки? Я сказал: стариков. Нет, не потому, что интересуюсь геронтологией, не из гуманных чувств и не оттого, что тут вышел в переводе «Старик». Меня интересуют старики лишь потому, что они обладают памятью. Говоря точнее — меня интересует память. Я хотел бы найти стариков, которые помнят события семнадцатого и восемнадцатого, краткую финскую революцию, германский десант, гибель неумелых красногвардейцев, разгром, отступление и все, что последовало потом. Таких стариков мои друзья разыскали. Их осталось немного. Они рассказывали о том скудном, что сохранила память: о сражениях возле маленьких деревень, на маленьких островах, на уютных железнодорожных станциях, куда докатывались порывы и громы российской бури. Здесь тоже убивали, преследовали, брали в плен, мечтали о мировой революции, тоже кипела ненависть и властвовал страх, а смерть ведь не имеет размеров, она везде безгранична. Старики в парадных, черных костюмах немного с чужого плеча и сухогубые, в пергаментных морщинах старушки рас-

сказывали втайне горделиво о том, как избежали смерти и прожили с тех пор еще шестьдесят лет. Это удалось мало кому.

— О да, — говорила старушка по имени Сильвия, — я была смелая. Все удивлялись, как я могла записаться в красногвардейский отряд, хотя не умела стрелять и никогда не была санитаркой. Я сама не ожидала, какая я смелая. Мне было семнадцать лет. Я работала на фабрике сначала работницей, потом в конторе. Но в красноармейском отряде работа была тяжелой: пять часов мы перевязывали раненых, потом отдых, потом еще пять часов работы. Русский фельдшер нас учил. У меня был поклонник, русский солдат-артиллерист, мы обменялись адресами, он разговаривал со словарем. Когда начался бой, мы потеряли друг друга. Я очень жалела. Он тоже удивлялся, какая я смелая. Мы качались с ним в саду на качелях...

Память, как художник, отбирает подробности. В памяти нет цельного, слитного, зато она высекает искры: она видит блестящее под луной горлышко бутылки на плотине, как чеховский Тригорин, когда описывал летнюю ночь. Чувства давно исчезли, сметены ветром, как сор, зато, выкованная из стали, сверкает подробность: качались в саду на качелях. И я ощущаю дрожь юности, надежду, страх, неведомое зимы восемнадцатого...

— Подруги мне кричали: «Иди к нам! Берегись!» — продолжала старушка с нарастающим вдохновением, — а я кричала: «Если уж суждено, пусть я погибну!» В тот же миг в меня попала пуля и я упала. Белогвардейцы стали подходить. Я думала: «Лучше, чтоб меня оставили, все равно умру». Я так и сказала. Но меня положили на телегу и повезли в Рихимяки. Однако в час ночи разбудили: «Оставаться в городе нельзя! Одевайтесь, надо вас вывезти!» Один эстонский красногвардеец помогал мне. По-моему, я ему понравилась. Он взял мои вещи и понес в поезд. У этого эстонца была красивая темная борода. Мы прибыли в Хаммелин. Эстонец не отходил от меня ни на шаг. Больница в Хаммелине была переполнена, но меня кое-как устроили. Врач не сочувствовал красным. Он был швед, такой молодой, сердитый. Ругался из-за того, что в воскресенье заставили приехать в больницу и работать. Он все время повторял смешное шведское ругательство, я не могу его перевести, насчет сапога... сапога, который полон... вы понимаете?

Вдруг я увидел девушку на кровати, нежное синеглазое лицо, и доктора, который держал руку девушки своей громадной, в рыжем пуху лапой и, сердито шевеля губами, говорил что-то.

— Он не хотел, чтоб меня везли в другую больницу. Сказал, что я должна остаться в его больнице. Из-за моего состояния. Но мне кажется, что он говорил так потому, что он...

Тут старушка показала глазами что-то, о чем ей не хотелось говорить вслух. Она слишком много говорила об этом. В ее глазах, выцветших, слегка навыкате, сияло лукавство. Я кивал, показывая ей, что все понимаю.

— Вы понимаете? — спросила старушка, радуясь.

— Да, да. Я понимаю.

— Странно, что мне вспоминаются разные пустяки.

— И вы никогда больше не встречали ни русского артиллериста, ни эстонца, ни доктора?

— Никогда,— сказала старушка, поглядев на меня сквозь полуопущенные веки как бы сверху вниз, и выражение лица у нее сделалось горделивое.— Потом мы отступали. Нас гнали немцы, мы попали в Россию, и знаете, что меня удивило? То, что Россия такая же, как Финляндия. Я доехала до города Пермь, там заболела инфлюэнцей...

В другом доме старик в просторном, с широкими плечами черном пиджаке — старик, вероятно, сдал за последние годы, и пиджак стал великоват — рассказывал:

— Потому что немцы, которые шли от Ловизы, атаковали по двум направлениям — на Лахти и Котку. Подошли к Котке очень близко. Там есть старая крепость. Все красногвардейцы собрались в крепости и решили дать бой. Вечером пятого марта немцы атаковали Котку, мы их отбили. Помогала нам русская батарея с острова. Сражение длилось полтора часа. Немцы быстро удалялись, а финны стали их гнать, но медленно. Тут сказалась медлительность финнов. Мы гнали их до Ловизы...

Я вспомнил: летом двадцать седьмого я жил в Ловизе. Там была дача. Все было, как в Серебряном под Москвой: бревенчатый дом, дух смолы, некрашеных досок, хвои, песок, солнце и я, млеющий от блаженства и страха на солнцепеке перед бездной окна. Отец держит меня не знающей пощады рукой. Я хочу вырваться и прыгнуть в сияние, в тепло. Он не пускает, я каприз-

ничаю, он держит крепко и думает, почему он оказался в Финляндии? Еще год назад был в Китае с военной миссией вместе с Егоровым, будущим маршалом, пересекал пустыни, вникал в запутаннейшую войну генералов и писал о том, что видел, как всегда, сумрачно и самостоятельно, что, как всегда, было не нужно. И вот: оторван от мировой революции, от вулканического гула и брошен в тишь, в озерную благодать исклокотавшейся и полусонной страны, в разговоры о кредитах, ассигнованиях, конвенциях, одни из которых следовало поощрять, другие душить. Но разве мог отказаться? С шестнадцати лет, с 1904 года, привык не отказываться ни от чего. Еще недавно ходил в сапогах, в удобнейших галифе, в кителе, а теперь — фрак, жесткие воротнички, тесная обувь. Все незаметно и стремительно удалялось от того, что было вначале. Но я не понимал этого и рвался, плача, за грань окна.

Наш дом на Альбертсгатан не существовал: был разбит бомбой в сорок первом году.

Накануне отъезда я выступал в самом большом в Финляндии книжном магазине «Стокман» перед случайными покупателями, а может быть, моими читателями — их было довольно много, они стояли молчаливой, настороженной, очень финской толпой на первом этаже между прилавками и наверху, за балюстрадой, впереди расположились на стульях старушки, пришедшие за час до начала, как они приходят к «Стокману» постоянно на все встречи со всеми, я сидел на крохотной эстраде вместе с профессором Пессоненом, который что-то обо мне говорил, а рядом на столике громоздились бесстыдными стопками мои книги на финском и шведском, весь вид которых жалко призывал к тому, чтобы их покупали, особенно обреченным выглядело дорогое шведское издание «Нетерпения», эту книгу купил и верно лишь один человек,— и вот в конце выступления, которое длилось, как все выступления у «Стокмана», ровно тридцать минут, и когда к моему столу потянулась жидковатая очередь людей с книгами, они молча их подавали, я молча подписывал, вдруг женщина наклонилась и тихо по-русски сказала:

— Я читала статью в газете. Моя мама работала в посольстве. Она знала вашего отца.

Я посмотрел на женщину, пораженный. В Москве не осталось людей, которые знали отца.

— Сколько лет вашей маме?

— Ей за девяносто. Но она еще хорошая, много помнит. Если у вас есть желание и время...

Я оказался в квартире среднего кооперативного облика, вроде какой-нибудь квартиры вблизи «Аэропорта». В прихожую вышла прямая сухонькая старушка с орлиным носом и тоже орлиным, неподвижным и внимательным взором и, протянув невесомую руку, сказала:

— Как приятно поговорить с русским человеком.

Возможно, она говорила это всем русским, которые ее посещали. Я подумал: Финляндия, конечно, похожа на Россию, но все же другая страна. И русские, которые тут живут, не похожи на нас. Такого орлиного, неподвижного и внимательного взора я не замечал у наших старух, хотя, может быть, я ошибаюсь. Девяносточетырехлетняя Елена Ивановна работала кастеляншей в посольстве, потом перешла в торгпредство, где проработала пять с половиной лет. В ее ведении находились двадцать две уборщицы, мебель, вещи. Кляузная работа! Финны очень гордые. С ними трудно работать: не терпят замечаний. Муж Елены Ивановны был финн, социал-революционер, жили в Петрограде, потом мужа арестовали, он сидел в тюрьме в Гельсингфорсе, и в 1920 году она поехала туда из Питера вместе с детьми. Поездка вышла ужасно тяжелая. И в Гельсингфорсе жить было тяжело. После первой войны повсюду был кризис. Муж, между прочим, работал одно время с Эйно Рахьей...

Мы пили чай, под низко нависшей лампой с шелковым, старомодным абажуром, который был совершенной копией абажура нашей квартиры тридцатых годов. И скатерть была похожа на нашу. И стулья тоже. Но печенье в вазочке было другое. Печенье было не наше.

— Ваш отец был симпатичный,— говорила Елена Ивановна.— Я его помню. Я ходила к нему подписывать финансовые документы. Он был вежливый, корректный и прекрасно обращался с низшими работниками. Чего, надо сказать, другие не делали. В особенности которые были другой нации...

Орлиный взгляд старушки замер не мигая, выжидательно. Я записывал. Что было делать, если ничего иного память Елены Ивановны не сохранила? Она говорила негромко, размеренно, связно — удивительно связно для почти векового возраста. Но в ее речи был изъян, вдруг будто соскакивала на пластинке иголка.

Елена Ивановна начинала повторять фразу, которую уже говорила, но об этом не помнила. Каждый раз произносила ее как бы внове, как бы она только что пришла ей на ум.

— Да, вот еще что! — говорила Елена Ивановна.— Ваш отец был очень вежливый, корректный и хорошо обращался с низшим персоналом. Чего нельзя было сказать про других. В особенности которые другой нации...

Когда она намеревалась произнести ту же мысль в третий и четвертый раз, ее дочка каким-нибудь легким движением — передвижкой сахарницы по столу или жестом, предлагавшим взять печенье,— обрывала старушку на полуфразе и переключала разговор. Старушка переключалась легко. Она рассказала, что в торгпредстве устраивались вечеринки и елки на рождество, всегда было весело. В тридцатых годах была безработица, многие из сотрудников торгпредства уехали в СССР, и она про них больше ничего не слышала. Торгпредство находилось в доме, где кинотеатр «Аполло». Все здание называлось «Аполло». Недалеко был синебрюховский пивоваренный завод. О, Хельсинки был совсем не такой, как сейчас! На Бульварной стояли одноэтажные каменные дома, но были и деревянные. Всегда наваливало много снега. Его не убирали. Снег лежал кучами. Люди катались по бульвару на лыжах, на потткурях. Было много саней, извозчиков, мало автомобилей. Все это Елена Ивановна пыталась перемежать рассказом о том, как отец относился к низшему персоналу, но дочка разными уловками пресекала старуху. И так дошло до рассказа о том, что в торгпредстве работал кучер Андерсон, он возил белье из «Аполло» на Бульварную. Дети любили садиться в его повозку, он катал их по Альбертсгатан. Я спросил: какой масти была лошадь Андерсона?

— Рыжая,— сказала старушка.— Рыжая, по имени Калле.

На другой день я поехал в Москву. Было начало февраля. Стоял прочный мороз. В натопленном купе я сидел один и думал: «Вот что странно: все умещается внутри кольца. Вначале была лошадь, потом возникла опять совершенно неожиданно. А все остальное — в середине».

19 ноября 1980

ВРЕМЯ И МЕСТО



РОМАН



Время и место вашего рождения
Национальность
Были ли вы
Состояли ли вы
Ваше участие
Дата вашей смерти.

ПЛЯЖИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: «Ты вернешься к восемнадцатому?» Надо ли вспоминать, о чем говорили отец с матерью, не слышавшие мальчика? «Ты мне обещал! Ты мне обещал!» — ныл мальчик и дергал отца за палец. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах, которых не существует, о том, как блестела до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые окна летело громыхание Москвы, мать смотрела сердито, ничего не слыша, мальчик вдруг закричал: «Ведь он обещал!» — и топнул в отчаянии ногой? Надо ли — о том, как мать шлепнула его по щеке, лицо ее сморщилось, глаза зажмурились, и он увидел, что она плачет?

Надо ли — о когда-то мелькнувших слезах?

Надо ли — о том, как мальчик мечтал пойти с отцом на авиационный парад, увидеть прекрасное зрелище не с берега, а подойти как можно ближе, как в прошлом году, переплыть на лодке, пройти огородами Строгино и приблизиться к Тушинскому полю вплотную, через картофельные гряды, там очень удобно стоять и смотреть, задрав голову, замечательно видно без бинокля, тем более что бинокль остался в Москве, мама его забыла; о том, как отец не вернулся из Киева ни пятна-

дцатого, ни шестнадцатого, мама волновалась и разговаривала раздраженно, ждала телеграмму, мальчику говорила неправду, и однажды он услышал, как она сказала сестре: «Проклятые лошади! Он их так любит! Я уверена, он мог бы не ехать на маневры, сам напросился, не может жить без своих лошадок!» — но мальчик понял, что и тут неправда, хотя мама в сердцах схватила со стола фотографию любимого отцовского коня Звездочета и бросила ее на пол, так что рама раскололась, стекло разбилось на множество осколков, а мама испугалась и сидела в кресле, не двигаясь, целый час; о том, как отец не вернулся даже накануне парада, семнадцатого, и они с мамой поехали в город и сидели в пыльной квартире до вечера, ожидая, что принесут телеграмму, но телеграмму не принесли?

Надо ли все это?

Мальчика звали Саша Антипов. Ему было одиннадцать лет. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос и давно состарился. Поэтому никому ничего не надо.

Он выпрыгивает из постели и босой бежит на террасу. В городе босиком не походишь, а здесь раздолье, можно бегать босым целый день, только вечером мать заставляет надевать тапки, да и то не всегда: иногда приезжает из города слишком поздно и, как она говорит, *измочаленная*, и сама забывает про тапки. Последнее время почти каждый вечер приезжает *измочаленная*. То забудет привезти масло, то хлеба, то какую-нибудь важную книгу, про которую он напоминал ей двенадцать раз. «Совсем из головы вон!» — говорит мать и слабо машет *измочаленной* рукой. Ему хочется рассердиться, сказать что-нибудь злое, обидное, потому что он ужасно расстроен, мечтал об этой книге весь день, но что-то его останавливает, и он, мужественно подавив огорчение, убегает во двор, к ребятам. Все дело как раз в том, что он обещал книгу ребятам. Они примут его за обманщика. Но ребята, к счастью, тоже забыли про книгу, поэтому все улаживается. Ах, что может быть лучше, чем ходить босиком! В комнатах толстые шершавые доски пола холодят ступни, но на террасе, которая залита солнцем, пол уже теплый, а выйдешь на крыльцо, там и вовсе солнцепек, сразу обдаст свежим жаром раннего августовского утра, запахами сада, сосны, земли. Он скатывается, стуча пят-

ками, по крутому и высокому крыльцу, бежит садовой тропинкой, еще сыроватой после ночи, и выбегает на большую каменистую дорогу, которая ведет к воротам. Здесь бежать невозможно, дорога стара, разбита, она гораздо старее дач, вся состоит из выбоин и дыр с острыми краями; из нее удобно выламывать мелкие камни для борьбы с врагами, но бежать босиком по этим камням опасно, и он осторожно идет обочиной, мимо кустов сирени и, миновав ворота, выходит на шоссе. Гудрон успел нагреться, через три часа он станет таким горячим, что голой ногой не ступишь, тогда придется пылить рядом, зарывая ноги в нежнейшую и пухлую от сухости, кофейного цвета пыль, которая, чуть тронуть, вздымается облаком. Но сейчас, ранним утром, шлепать по гудрону одно удовольствие. Пробежав шагов полтораста, он сворачивает в редкий сосновый лесок, тянущийся по всему берегу. Здесь босые ноги вновь ступают осторожно, потому что в опавшей хвое попадаются шишки, кусочки стекла, притаились коварные сосновые корни, только и ожидающие того, чтобы ударить по пальцу. И вот он на берегу на обрыве, а все уже там, внизу; Алешка в красных плавках, толстый Петух и загорелый, как чертик, Чуня. Он вопит им радостно, машет руками и прыгает с разбега грандиозным прыжком вниз, на песок.

— Ага, Сашке разогревать!

— Чур, не мне!

— Почему?

— Я позавчера разогревал!

— Петух, твоя очередь.

— Моя-а? Ой, холодища... нет, бр-р!

— Петух, ты самый жирный, тебе не страшно. Валяй разогревай.

— Ты тоже не худенький.

— Ладно, чего с ним разговаривать! Бросай его!

— Держи Петуха! Стоп! Хватай за ногу... Эй, не брыкайся!

Три мальчика хватают четвертого, самого смуглого и толстого, и, несмотря на то что он яростно отбивается, вывертывается и орет дурным голосом, разносящимся далеко по реке, тащат его к воде и, зайдя до колен, начинают раскачивать, стараясь бросить подальше. Но он тяжел, бросить не удается, к тому же он крепко вцепился в своих мучителей, и кончается тем, что все четверо с криками, гоготом, взметнув брызги, валятся в

воду тут же у берега. Мальчик, которого зовут Петухом, злорадно кричит:

— Что? Разогрели? — и, вырвавшись из свалки, быстро плывет к середине реки. Голова его опущена, руки загребают часто и сильно, а ноги вспенивают воду, как хороший мотор.

Трое тотчас бросаются в погоню.

— Лови его! Ауп Петуху! Ауп ему!

«Делать ауп» — это значит топить. Нажимать на макушку и вгонять человека под воду. Саше, конечно, «ауп» не делают, он плавает не очень-то здорово. Но топить Петуха — милое дело. Через две минуты все четверо уже далеко от берега, на середине реки, где волна прозрачна, оглушает, слепит, где нет ничего, кроме стука в ушах и густого, забивающего нос запаха речной воды и ощущения бездны под ногами, страшной, холодящей живот. Догнав Петуха, мальчики начинают по очереди прыгать ему на плечи, вдавливая его в воду, или же, ладонью нажимая на черную блестящую макушку, заставляют Петуха погружаться под воду, при этом все четверо, Петух тоже, выкрикивают: «Ауп!» Утонуть Петух не может, он слишком толст; кроме того, он занимается в секции плавания «Юного динамовца». Не успев погрузиться, черная Петухова голова выскакивает, как пробка, на поверхность. Но все же после шести или семи «аупов» Петух начинает захлебываться, на лице его исчезает улыбка и мелькает выражение бессмысленно-испуганное, он кричит что-то булькающим, неразборчивым голосом и поднимает обе руки — сдается. Мальчики сразу оставляют его в покое, и только один из них вдруг снова в азарте прыгает на Петуха и топит его, но тот уже не выскакивает, как пробка, он появляется не сразу, отплыв в сторону, широко разевает рот, жадно дышит, и лицо его делается плоским и скучным. Тот же азартный мальчик делает движение к Петуху, но его останавливают: «Кончай!» Все четверо не спеша плывут к противоположному берегу. Петух плывет позади всех, он повернулся на спину, лежит, раскинув руки, отдыхает.

Противоположный берег — низкий: луговой, прибрежное дно скользко и неприятно, в иле, в водорослях. Взбалтывая мутную воду, разрывая ногами водоросли, мальчики устало выбираются на берег, вспрыгивают по глинистому двухметровому откосу наверх, где начинается луг, и ложатся животами на траву. Река еще

холодна, мальчики дрожат, губы их посинели, тела вжимаются в землю, ища тепла. Надо бы побегать, чтобы согреться, но все четверо без сил. Несколько минут они не двигаются, не разговаривают, только тяжело дышат, стучат зубами и сладостно бурчат и хрипят, наслаждаясь проникающим в них теплом: снизу, от земли, и сверху, с безоблачного неба, откуда палит небыстро разгорающееся августовское солнце.

Наконец мальчик в красных плавках, Алеша, приподнимается, садится на траве, сложив ноги по-турецки, и смотрит на реку. Поросший сосной высокий берег с крутым песчаным спуском, откуда они приплыли, лежит сейчас в тени. Все там лиловое, смутное, туманно-солнечное. Кто-то плещется вблизи самого берега, но от дали не видно кто, слышны женские голоса, смех, хлопанье рук по воде.

Мальчик, которого зовут Чуня, тоже садится и, обняв руками колени, смотрит на противоположный берег. Он кажется таким далеким, уютным. Затевают спор: кто купается на том берегу? Вглядываются напряженно, изо всех сил и высказывают предположения. Чуня говорит, что купаются его родичи, Петуху кажется, что Графиня со своими собачками, а Алеша говорит — Галька Большая. Спорят, горячатся. Саша тоже, приставив ладонь к глазам, заслоняясь от солнца, от блеска реки, пытается что-то увидеть на том берегу, но, как ни напрягает зрение, как ни прищуривается, не может разглядеть ничего кроме лиловатой каймы леса над полосою реки и поэтому не участвует в споре. Он близорук, у него даже есть очки; правда, надевает их редко, только в кино. Зато слух у него превосходный. Прислушавшись, различает чей-то знакомый, высокий и звонкий голос: «Немедленно возвращайся!» Вероятно, мать Гальки Большой командует с берега.

— Галька Большая уехала,— говорит Чуня.— Это мои полоскаются.

— Куда уехала? Бреши!

— Уехала,— говорит Чуня и не добавляет ничего. Но все ему верят. Его отец комендант. Они живут в домике лесничества.

— Не бреши, Чунявый...— лениво тянет Алеша, но видно, что спорить ему неохота.

— А я видал, как они документы жгли.

— Какие документы?

— Бумаги всякие, письма. Слышим вдруг, с ихней

террасы гарью пахнет. Мать говорит: полезай на чердак, посмотри в щелку, чего делают. А я часто в щелку смотрел. Гальку видел, мамашу ее видел, старичка ихнего, они его купали по выходным. У него тут все висит, как тряпочки.

— Ну, дальше что?

— А то, что Галькина мать бумаги жгла. На керосинке.

Наступило молчание — не знали, что сказать. Тайная тоска томила Сашу. Ничего плохого не случилось в его жизни, но захотелось домой — а вдруг пришла телеграмма? Правда, теперь уже все равно. Парад прошел.

— Подглядывать, между прочим, не-хо-ро-шо,— говорит Алеша.

— Подумаешь! Они все равно уехали.

— Вот бродяга, все знает точно! — усмехается Алеша.— Первое лето живет и все знает точно. Может, ты шпион? В щелки подглядываешь и все знаешь?

— Наверное, шпион! — смеется Петух.

Чуня вскакивает на ноги.

— Кто шпион? — Лицо его покраснело. Он стоит, сжав кулаки.

— Да ты.

— Я?

— Ну ты. А дальше? — Мальчик в красных плавках поднимается на ноги. Он немного ниже Чуни, но шире в плечах.

— Дурак ты,— Чуня зло сплевывает и, не желая того, попадает на босую Алешкину ногу.

— За плевок ответишь,— говорит Алеша, поднимая правую ногу, на которую попал плевок, и намереваясь ударить именно этой, опозоренной ногой.

— А ты за шпиона ответишь! — кричит Чуня и убегает. Пробежав шагов двадцать вдоль берега по траве, он останавливается и кричит: — Сами вы шпионы! У вас весь участок шпионский! Эй вы, шпионы, шпионы, шпиончики!

— Ну смотри, Чунявый, мы тебе навтыкаем,— грозит кулаком Алеша.

— На площадку не приходи,— добавляет Петух.

Чуня скоком прыгает в воду и плывет, суматошно махая руками, брызгая, торопясь, как видно, в большом страхе. Отплыв немного, поворачивается и кричит:

— Эй вы, пончики-шпиончики! — Трое оставшихся

на берегу мечут в него комья сухой глины, мечут в спешке, не целясь, и все мимо. Чуня ныряет, спасаясь от пуль. Наверное, сам себе представляется Чапаем, потому что, выныривая на миг, орет истошно: — Врешь! Не возьме-ешь!

Мальчики один за другим бросаются за ним в погоню. На середине реки Петух догоняет его, но в глазах Чуни такой испуг и мольба, что у Петуха не подымается рука делать Чуне «ауп» и он лишь презрительным жестом, ладонью плещет Чуне в лицо и говорит:

— Ладно, живи.

Все четверо почти одновременно доплывают до берега; задыхаясь, отплевываясь и ковыляя по мелким камушкам, выбираются на гладкий песок, и первое, что Саша видит,— знакомая рыжая собачонка, прыгающая от нетерпения.

— Они меня топить хотели! И дразнили шпионом! — счастливым голосом заливается Чуня.

На песчаном склоне сидят двое: усатый бритоголовый отец Чуни по имени Поликарпыч в черных трусах и толстая мать Чуни в чем-то голубом, белая, необмерная, в круглых складках. Мать Чуни улыбается, отец тоже смеется, лицо у него, как у кота, усатое.

— Это как такое — топить? Разве нынче дозволено топить?

Он хихикает, машет костлявой рукой и пытается встать. Рядом с ними на одеяле еда в тарелках, патефон. Наигрывает «Марфушу». Не с первого раза, но все же отец Чуни поднимается и делает шаг к воде, Петух и Алеша бросаются наутек. А Саша не умеет убегать, стоит как вкопанный. Отец Чуни приближается к нему, по-прежнему улыбаясь плоским кошачьим ртом, весело играя глазами, и вдруг цепкой рукой хватает Сашу за ухо.

— Это почему такое — топить? Разрешение имеете? Без разрешения никому ничего нельзя... Ни-ни... Не дозволяю...— бормочет он, закручивая Сашино ухо с такой силой, что боль пронизывает Сашу от головы до пят.

— Беги! Беги! — кричат Петух и Алеша.

Но вырваться из железной руки невозможно. И пожаловаться на ужасную боль нельзя. Поэтому Саша молчит, стискивает зубы, на глазах его выступают слезы. Патефон наигрывает: «Марфуша все хлопочет, Марфуша замуж хочет...» Отец Чуни гнет Сашину голову к земле, все ниже, ниже, стараясь вырвать крик о по-

щаде, но Саша готов умереть, но не закричать. «И будет верная она жена...» Отец Чуни бормочет:

— Сказано, топи, говорят, щенят, пока слепые... Так что разрешают... Можно... Пожалуйста...

— Отпусти мальца,— слышит Саша голос женщины.— Он без тебя нахлебается.

Пальцы разжались, и Саша, оглушенный болью, карабкается по песчаному склону наверх. Там на скамейке над обрывом сидят сестра и мама. Они смотрят странно, холодно, не возмущаются Поликарпычем, не выражают сочувствия, не восхищаются его мужеством.

— Мы зовем тебя полчаса,— говорит мама.— Ты не слышал?

— Нет,— говорит Саша.

— Пойдем, быстро позавтракаешь, и поедем в Москву.

— В Москву? — удивляется Саша.— Будем ждать телеграмму?

— Нет,— говорит мама.— Телеграмму ждать не будем. Просто поедем на несколько дней. У меня там дела.

Саша видит, они обе уже одеты, сестра в своей красной кофте, в войлочной кавказской шляпе и с сумкой, в которой книги. Он оглядывается на реку, на луг, на все это просторное, солнечное, что он должен покинуть на несколько дней. Блестит в искрящемся плеске река, белым сахарным куполом стоит над лугом, над избами в мареве горизонта, над невидимым полем Тушинского аэродрома круглобокое кучевое облако. Оно не испарилось, не исчезло в синеве до сих пор; по-прежнему в августе белая гора возвышается над старым деревенским аэродромом, над многоэтажными домами, над излучиной реки, одетой в гранит, чуть заметно под напором западного ветра передвигаясь к востоку, к центру Москвы, и вслед за облаком медленно передвигается точно такая же, как когда-то, легчайшая прозрачная тень, и машины внизу то ныряют в эту прозрачность, то выскакивают на солнцепек, сверкая черными и салатными лакированными частями, летя серебряной дугою шоссе в Шереметьево, в Лондон, в Вену, в Бомбей, в Куала-Лумпур. Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Это вот что: шаркающая толпа на знойном асфальте, гул голосов, клочья музыки отовсюду, ее пух, ее сор, музыкальные перышки летают в воздухе, невидимые оркестры где-то выбивают свои перины, обертки мороженого под ногами, в урнах сам собой загорается мусор, растекание толпы, человеческий вар в лабиринтах аллей, краткие спазмы, тугая пульсация, запахи листвы, сигарет, потных тел, шашлыков, гниловатой воды пруда, вокруг которого валунами сидят бетонные лягушки, тихая поднебесная жизнь гигантского колеса, закупоренные в люльках счастливцы, чье-то бормотание в микрофон, хохот перед зеркалами, в которых страшно себя узнать, гром динамика над площадкой, охотничий бег милиционера, ныряющего в толпе, постепенная тишина, шепот деревьев, одинокие озабоченные собаки в пустынных аллеях, запах реки и лип, из-за куста рябины выпадение серолицего человека со спущенными штанами, хлопок выстрела, надвигается вечер, прохладой дышит овраг, лучше обойти его стороной, все это неизведанный континент, здесь есть свои джунгли, свои пещеры, свои коварные туземцы, добрые незнакомцы, здесь сочится, пресекаясь, чахлым ручейком мое детство...

Я живу неподалеку, мой дом безлюден. Кончаются уроки в школе, и я, вместо того чтобы бежать домой — что там делать, в пустыне комнат? — иду к Левке Гордееву, который живет во флигеле во дворе больницы, мы садимся в палисаднике за дощатый «козловый» стол, вечерами тут забивают козла, и дуемся в шахматы до потемок, пока мужики не прогоняют нас. Левка страстно любит шахматы. Я тоже люблю, но меньше. Могу без них обойтись. Иногда играю с ним безо всякой охоты, просто потому, что он пристает. Левка не похож на шахматиста, он похож на хулигана: мордастый, широкоскулый, белобрысая челка, хмурый из-подо лба прищур. И ходит он хулиганской раскачкой. Но раскачка оттого, что Левка чуть хромоват, щурится он от близорукости, а широкие скулы обманчивы — человек он мягкий, нерешительный, даже, пожалуй, трусоватый. Мать свою он почитает, отчима побаивается, хотя отчим больной и жалкий, никакого вреда сделать не может, а ребят Левка сторонится. Они его дразнят: «Эх, Гордей! Дать по мордей?» Однако в шахматной игре

Левка смел и упорен, что меня удивляет. Сражается он до последней пешки. Левкина мать кормит нас обедом. Левка приносит из дома тарелки, бросает на дощатый стол батон, чтобы рвать руками, так вкусней, и мы хлебаем суп, рвем батон, едим замечательную пшенную кашу или жареную картошку, не отрываясь от шахмат. Левкина мать, Агния Васильевна, спрашивает одно и то же: «А твои родители где ж?» — «В командировке»,— отвечаю я. «Вона как! — говорит она с некоторым изумлением, будто слыша впервые.— С кем же ты проживаешь?» — «С бабушкой».— «Вона как...» — Левкина мать продолжает тихо изумляться и покачивает лобастой головой, желтовато-смуглой, похожей на грушевидную реторту из нашего химического кабинета, мне такие головы не нравятся, и, покачивая ею, она шепчет неодобрительное. Понять нельзя, к кому неодобрение относится — ко мне, к бабушке, к родителям, уехавшим в командировку, или к кому-то еще,. Агния Васильевна работает медсестрой в больнице, и, слава богу, времени на разговоры у нее мало. Она прибегает на полчаса среди дня, готовит еду Левке, кормит Станислава Семеновича, Левкиного отчима, который лежит в темной комнате на кровати и ничего не хочет: ни работать, ни читать, ни писать, ни разговаривать, ни слушать радио. В этом заключается его болезнь — ничего не хотеть. Вечерами он запрещает зажигать свет, и Левка делает уроки на кухне.

Станислав Семенович работал до болезни на фабрике гравером. Левка рассказывает: мать взяла отчима прямо из больницы, он почти совсем поправился, врачи хотели выписывать, да было некуда. В одиночку Станислав Семенович жить не мог, а жена от него почему-то отказалась. Даже в дом его не пускала. Остался он без кола без двора, иди куда хочешь, хоть с Крымского моста в воду, и Левкина мать его пожалела. Было это давно. Мой друг ходил тогда в первый класс. Станислав Семенович иногда чувствует себя превосходно, читает газету, разговаривает здраво и даже работает: режет печати для собственного удовольствия или по заказу, для любителей. А еще работает за столом, пишет что-то в конторской книге. Иногда уезжает куда-то, нарядившись как можно лучше, в белой рубашке, с галстуком, берет зонт, портфель, туда засовывает одну или две из своих конторских книг (Левка говорит, что в этих книгах он ведет научные изыскания), надевает галоши и

пропадает на целый день. Обычно возвращается еле живой, с темным, мрачным лицом, вешает портфель на гвоздь, ложится на кровать и погружается в молчание. И опять какая-то пружинка ломается в нем, он не желает утром вставать, поворачивается к стене, накрывается с головой, только черноватый курчавый клок торчит из-под одеяла, свет велит гасить, окно занавесить и может лежать так впотьмах часами, как будто спит, но на самом деле не спит. Однажды я слышу фразу, которую он тихонько, но ясно произносит, лежа лицом к стене: «Они надеются, что я...» И еще много раз шепотом, как-то трезво посмеиваясь: «Они надеются, конечно... на то, что я...» Я не знаю и не пытаюсь понять, кто о н и, которые почему-то надеются на Станислава Семеновича.

Станислав Семенович — невнятная принадлежность Левкиной жизни. Вроде барометра, который висит в прихожей для неведомой надобности. Левка в барометре ничего не понимает, никто не понимает, но все привыкли, не замечают, барометр должен висеть в прихожей. Агния Васильевна должна бегать с чемоданчиком на уколы. Мы с Левкой должны с отвращением готовить уроки, играть в шахматы, протыриваться без билета в кинотеатр «Авангард», пролезать сквозь пролом в железной ограде в парк. А Станислав Семенович должен лежать в темной комнате и болеть. И правда, он невероятно больной! Однажды увидел его в трусах — ноги у него как палочки...

Вечером Агния Васильевна возвращается с работы, мы все еще стучим фигурами, лупим по двадцать партий без передыха, хотя я вполне могу без этого обойтись, и Левкина мать вновь принимается за свое: «А твоя бабка где работает?» Я отвечал ей тысячу раз! Но странная женщина продолжает пытать: «Приходит, говоришь, поздно? И ты все один? Экой ты неудалый. Неужто другой родни у вас нет?» Она не обращает внимания на наше шахматное безумие — моя бабушка давно бы отняла шахматы, может, выбросила бы доску с фигурами в окно, как выбросила однажды великолепный самодельный арбалет,— она не замечает того, что мы пропадаем в парке до ночи, воюем со сторожами, скрываемся от милиции, уроки наши в загоне, учимся мы хуже некуда, ее это не интересует, она никогда не расспрашивает о школе, зато ее интересуют пустяки. «Скажи-ка, не могла бы твоя бабка достать, случаем,

маленьких попугайчиков? Страсть хочу маленьких попугайчиков! Сегодня один больной рассказывал...» Ее желания, новости, страхи имеют один источник: «Сегодня больной рассказывал». Левка называет ее чули́да. Словцо это, которое я ни прежде, ни после в своей жизни не слышал, означает, наверно, и несуразность, и придурковатость, и какую-то нелепую, комическую доброту, не имеющую границ.

То она приводит блохастого пса с перебитыми лапами, то какого-нибудь уличного гнилоглазого кота. То в две комнаты, где повернуться негде, втискивается и живет полмесяца орава родственников из тьмутаракани, Левкина мать спит на полу. А то говорит мне: «Слушай-ка, а живи у нас, хотишь?» Левка рад. Ему главное — в шахматы резаться с утра до ночи. «Соглашайся! Не бойсь. Моя чулида все тебе купит, чего надо. Она знаешь какая трудолюбивая...»

Знаю, она и после работы, и в выходной тормошится, бегает, ни минуты не отдохнет, кому банки, кому постирать, кому укол сделать, на это великая мастерица. Доктора говорили: «Лучше Агнии во всей Москве медсестры нет!» А Левка насмешничает: «Мамаша икру мечет». Да как было не метать? Это я теперь понимаю. Среди ночи стучат: «Агния дома? Агния, умоляем! Просим! Заплатим сколько хотите! Агния, милая! Он только вам доверяет! Можно попросить товарища Агнию?»

Все так туго сплелось, так крепко перевязано одно с другим, как будто не может существовать отдельно: доброта и безвыходность, ликование и печаль, сладчайшая радость и смерть, и прочее, прочее, что кажется таким далеким. Например, парк и больница. Там люди веселятся, здесь страдают, а граница между тем и другим — ветхий забор из тонких железных прутьев. Стоит его перелезть, и вы там. Я понял это давно. Тоска — это хлам осени под ногами, музыка, толпа на набережной, красные фонари, скрип дебаркадера. Опустелый дом — это дощатый стол, игра в шахматы до одурения, усталая надоедливая женщина с некрасивой головой, похожей на грушу. Это чужое горе и ненужная доброта.

Я живу на окраине, где новые дома стоят вразброс, напоминая громадные одинокие сундуки, и хожу в школу в здании старой гимназии, теперь этого здания нет, на его месте стоит фиолетово-зеленый небоскреб Комитета Стандартов. Напротив школы, через улицу, пря-

чутся за оградой, за деревьями — они прячутся и поныне, как прятались двести лет назад,— скучные, нищенской желтизны каменные дома больницы, а сразу за ними, за двориком, где мы дуемся в шахматы, спуск с холма, начинается парк, его тыльная сторона, мусорные задворки, непролазная чаща, овраги, свалки, ржавое железо, обрывистые тропки, по которым надо прыгать или мчаться стремглав, наподобие горных козлов, или же красться с осторожностью индейцев, прислушиваясь к малейшему хрусту веток. Когда вечером на эстраде пиликает оркестр или гремит динамик на танцплощадке, в Левкином флигеле — если ветер с реки — бывает хорошо слышно, и Станислав Семенович, сев на кровати, закрыв уши ладонями, шепчет: «Собачья свадьба...»

До меня долетает шепот Левкиной матери: «Стась, а Стась, дать поесть?» Молчит. «Стась, щец налить?» Молчит. Но, верно, качает отказно головой. «Ничего не хотишь? Чайку? А в сад посидеть?» Долго тихо, потом прыск, смешок: «А меня хотишь?» Догадываюсь об ужасном, сердце мое колотится, я впиваюсь слухом — ничего услышать не могу, не желаю, от страха и унижения бросило в пот, и все же впиваюсь помимо воли,— однако по-прежнему тихо, кровать не скрипит, ничьего дыхания не слыхать, потом глухой, как ведро, голос: «Убрать хочу...» — «Кого?» — «Музыку».— «Зачем? Где?» — ахает Левкина мать. Опять голос ведра: «Везде убрать. Не нужна...»

А как-то вижу, сидит рядом с ним на кровати, жмет его голову к груди, гладит по впалой щеке, а сама в окно глядит, плачет... Отчего плачет? Забыл, не помню, не догадался, не знал никогда. Теперь правды не откопать. Сколько лет прошло. Нет их никого во флигелечке, старом голицинском, для челяди, крашенном вечной охрой, ни Левки, ни его матери, ни больного Станислава Семеновича, ни племянницы по имени Миньона, никого. Снег почернел, зима кончилась, парк закрыт, и музыка замолчала — каток растаял,— и тут возникла Миньона, которую звали Минкой. Из города Мелитополя. Левкина двоюродная сестра. Ей лет шестнадцать, а может быть, восемнадцать, круглая сирота, родители куда-то делись, не помню отчего и куда. Левка сказал: чулида в Мелитополь уехала, чтоб сеструху в детский дом не забрали. Вернулась через неделю, с нею рыжая девчонка, лицо длинное, бледное, глаза

черные, как у цыганки, идет с чемоданчиком горделиво, на Агнию не глядит, как будто посторонняя, а Агния два громадных узла тащит.

Поселилась Миньона в кладовке под лестницей, там всякий скарб стоял ломаный. А весной, когда открылся парк — открывается он обыкновенно Первого мая для народных гуляний, но павильоны начинают работать спустя недели две,— устроили Миньону в павильон «Досуг»: выдавать игры, шахматы, домино. Сидела там с двенадцати до позднего вечера, а мы с Левкой бегали к ней в гости. Сначала бегали просто так, брали детский бильярд или шахматы, играли с двумя мальчишками, со взрослыми, часто с одним старичком, который давал нам фору коня, всегда выигрывал и угощал нас мятными конфетами, а потом пришлось бегать в «Досуг» чуть ли не каждый вечер — охранять Минку. Потому что к ней приставали. Ну, не только хулиганы, просто всякие мужчины, шахматисты и бильярдисты. Ведь она была красавица. И мы это понимали и понимали, почему к ней пристают, и нам было ее очень жалко. Она никогда нас ни о чем не просила, просила Агния Васильевна: «Ребята, пойдите к Миньоночке пораньше, а то у меня душа неспокойная!» — и Минка радовалась, когда мы влетали в поздний час в павильон и рассаживались по-хозяйски в креслах, хватали журналы, шахматы, углублялись в свои дела и всем независимым видом показывали Минке, что и она может сколько угодно заниматься своими делами, может нас не замечать, не знакомить с мужчинами, которые всегда крутились возле ее столика, говорили любезности, разную чепуху, но пусть знает, на всякий случай мы тут.

Левка ходил с большой палкой, а у меня в кармане лежал бронзовый ножик для разрезания книг, похожий на настоящий кинжал. И Минка, правда, иногда не замечала нас до последней минуты, когда уже пора уходить, а иногда говорила кому-то: «А вот мой брат Лев! А вот его товарищ!» Мужчины поглядывали на нас безо всякого интереса. Некоторые фальшиво улыбались, а один неприятный субъект, приезжавший на велосипеде, брюки его всегда засунуты в носки, сказал гадкую фразу: «Мальчики, уже поздно, вам пора спать». И как было здорово, когда он предложил Миньоне сесть на раму велосипеда — он, мол, довезет ее домой,— а она отказалась! «Нет,— говорит,— меня пришли встречать,

а я поеду на велосипеде? Это невозможно». Тот обиделся и ворчал: «Кто их просил приходить? Подумаешь, телохранители, ерунда какая...»

А сначала Миньону все жалели, потому что она много плакала. Запрется в чулане, никого не пускает. Ее зовут, в дверь стучат, умоляют и упрашивают — Левкина мать никогда ни на кого не сердилась, ругаться не умела, даже говорить громко не могла, а все только шепотом,— Миньона не отзывается. Пугались сначала, не обижается ли? Не больна? Ведь Левкина мать никогда прежде Миньоны не видела, почти ничего о ней не знала, только кое-что из писем сестры, Миньониной матери, и вдруг схватилась единым духом и понеслась в Мелитополь, а спросить — зачем? Для чего чужую девчонку, хотя и родственницу, седьмая вода на киселе, в свою семью брать и в чулане селить? Теперь подумаешь: ни черта не понятно, блажь какая-то, вздор... А тогда все было понятно. И даже: никак иначе нельзя. Мозги-то легкие, недоспелые, одно светлое и доброе на уме, и жизнь представляется лучезарной, несмотря на боль, на страдания. Это потом уж, спустя годы, сообразишь вдруг и ужаснешься: как же все удалось? Кто же они — мы — этакую глыбищу переворотили? И я ведь остался один, и меня покидали в рассветных сумерках, а потом, когда возникла тетя Маруся, забытая родственница,— никогда не знал в точности степени мифического родства! — мне, дураку, бесконечная доброта и наивная отвага показались в порядке вещей. Ну вот. Агния стучит, волнуется, вскрикивает полушепотом: «Миньоночка, ты здорова?» Наконец дверь отворится, по Минке ничего не видать, лицо лишь чуть бледнее обычного, глаза черные затуманены, глядят не мигая. Но, хоть и не видать, догадаться можно, что плакала. На это она большой спец: одними губами, взглядом беглым, секундным умеет показать одно, дать понять о другом и намекнуть еще на что-то. «Миньоночка, неужто опять слезилась?» — всполошится Агния, в лице жар мгновенный от сочувствия. Минка отрицает: «Нет, тетя Агния, не волнуйтесь, пожалуйста... ничего подобного...» Но что-то в слабой улыбке, в ускользающем взоре выдает — плакала. Не хочет признаваться, потому что горда.

В Мелитополе Минка жила в большой квартире, а тут чулан без окон... Левка так и понимал ее горе, а я понимал иначе. Мне казалось, я знаю все ее мысли, уга-

дываю вздохи, понимаю, почему она запирается в чулане и не желает никому отворять, но, когда она сказала: «Ты счастливый, у тебя есть бабушка»,— я изумился этим словам и подумал, что лишь теперь понял ее до конца. Мне и в голову не приходило, что я счастливый! Левкина мать так Миньонку жалела, что уступила ей свою кровать в комнате, а сама стала спать в чулане. Мне, говорит, все равно, на каких досках храпеть, я как колода валюсь, бесчувственная. Да и когда спать? Ее и ночью дергали, то в больницу, то к кому-нибудь домой, укол срочный... В Мелитополе Миньона училась в музыкальной школе, играла на пианино — играла прекрасно, сам слышал, ее в нашу школу позвали однажды на пионерский костер, Агния постаралась, обещали какого-то кумача дать, так Минка целый вечер одна барабанила, хоть бы что, все поразились! — и в Левкином доме без музыки она, конечно, скучала. Агния выпросила у какого-то больного старую мандолину. И вот вечерами Миньона на кровати с мандолиной, волосы распущены, как у русалки, дренькает чуть слышно и слабым голосом напевает. Уж так слабо, что слов не понять. Потому что Агния просит: «Тихочко, тихочко. А то Стасю беспокойство...»

Тут Агния разрывалась: и Минке радость дать, и Станислава Семеновича не мучить. Он от музыки мучился. Как заиграет внизу оркестр, он за голову хватался или зубами начинал скрипеть. Но к мандолине как-то быстро привык, сперва просто слушал, безучастно, не выказывая ни протеста, ни неудовольствия, потом стал просить: сыграй то или это. И когда это случилось впервые и Станислав Семенович, услыхав музыку, не стал содрогаться, кривить лицо и бормотать злобное, а сел на кровати, смотрел в окно померкшими глазами, слушал терпеливо, потом попросил: «Нет, ты сыграй, что давеча играла, когда дождь шел»,— Левкина мать очень обрадовалась. Все обрадовались. Потому что человек вдруг ч е г о - т о з а х о т е л. И стала Минка по его просьбе в свободное время играть и разговаривать с ним, и он ей стал отвечать, рассказывать про то, что он в своих конторских книгах писал; была там какая-то тайна, о чем я смутно догадывался, не о самой тайне, а о том, что писанина его неспроста, не только ради исторической справки. Заголовок у него был такой: «Историческая справка», это я сам читал. На одной конторской книге наклеена бумажка и на ней чернилами: «Ис-

торическая справка». Что-то насчет прошлого Нескучного сада и Первой градской больницы. Нас с Левкой это совсем не интересовало, а Агния Васильевна полагала, что занятия Станислава Семеновича есть признак болезни, и потому, когда он садился за свой гроссбух, огорчалась еще сильнее, чем когда он тихо и молча лежал в потемках. «Господи,— шептала она, глядя с великим состраданием,— пошла писать губерния...»

Никто не желал вникать в его писания, считая их вздором безумца, да, может, они таковы и были, а когда он собирал свои книги в портфель и уходил куда-то с важным видом, мы с Левкой хихикали. Помню, что графа Орлова он за что-то ругал и что дом Орлова стоял на месте теперешней больницы. Еще помню: у графа была племянница, необыкновенно богатая и некрасивая, она так и не вышла замуж, потому что подозревала женихов в том, что зарятся на богатство. Это все, что застряло в памяти, обрывки случайно слышанного. Но Миньона почему-то хотела обо всем этом знать подробно, и он ей рассказывал, даже иногда читал из своих трудов, они ходили по больничному двору, гуляли в парке, в Нескучном, и он все объяснял и показывал. И потом как-то вдруг выздоровел. Это произошло в течение одного лета. В начале июня, когда я уезжал из Москвы, он был еще болен, а в сентябре, когда я вернулся, он был уже здоров и ходил на службу. В сентябре началась война. Гитлер напал на Польшу. В парке все было как всегда — медленно вращалось колесо, шумели деревья, утиными голосами кричали речные трамвайчики, люди в белых рубашках толпились возле силомеров и, хохоча, лупили кулаками что есть мочи по черной блестящей бабке. В павильоне «Досуг» женщина с пышной рыжей прической сидела за столиком и, красиво подперев пальцами голову, читала книгу; в первую минуту я не узнал Миньону.

Не помню почему, но дружба с Левкой стала понемногу гаснуть. Кажется, нам наскучили шахматы. Я увлекся чем-то другим. Он стал дружить с Володькой Агабабовым, здоровенным детиной, второгодником, который ходил в парк на танцплощадку и знакомился с девчонками старше нас. Он умел танцевать. А Левка таскался за ним, как хвостик, и пытался учиться танцевать, что выглядело смехотворно, ибо он был неуклюж и робок, маленького роста, девчонки танцевать с ним не хотели. Однажды я забрел на танцплощадку и уви-

дел отвратительное зрелище: Левка танцует! Мне хотелось от стыда провалиться сквозь землю. Но Левке был нужен тип вроде Агабабова, который мог бы его защищать. Теперь уж ему никто не говорил: «Эй, Гордей! Дать по морде?» — потому что Агабабова боялись. Агабабов брился, у него был бас, как у мужчины. Он даже похвалялся тем, что после танцев водит девчонок в овраг и делает с ними то, что мужчины делают с женщинами. Но тут он, возможно, врал. Мне хотелось так думать. Была унизительна мысль, что гнусный Агабабов, который сам про себя не стеснялся говорить «Агабабов любит бабов», продвинулся так далеко. Впрочем, наглыми действиями в классе Агабабов пугал меня, подтверждая худшие опасения: он мог, например, легко и свободно протянуть руку и пощупать заплывшие жиром лопатки нашей толстухи Мыльниковой, сидевшей перед ним. И вот этот неприятный человек, перед которым Левка непристойно холуйствовал (помогал ему по математике и физике, то есть, попросту говоря, решал для него контрольные), стал завсегдатаем в Левкином флигеле, а я почти перестал там бывать. Однажды напросился поиграть в шахматы — раньше-то бывало наоборот, Левка просил, а я соглашался, и то лишь оттого, что в пустом доме была тоска, а теперь он с некоторым колебанием согласился на полчаса, не больше, потому что в пять должен прийти Агабабов и они куда-то пойдут.

Я брел знакомым путем через больничный двор с пожелтевшими деревьями, под арку, тропой, уложенной старыми камнями, между которыми темнела глина, воздух был сырой, пахнул лекарствами, и мне не хотелось идти к Левке. Я шел через силу. Ведь я его когда-то любил. Он предлагал жить у него дома. Между нами не случилось ничего плохого, и, однако, я чувствовал — все кончилось. Левка, зевая, расставлял фигуры, а Миньона сказала: «Здравствуй, Алик!» — хотя меня зовут вовсе не Алик. Она забыла. А я забыл, что у нее черные ресницы, как у куклы, и яркие губы. Волосы темно-рыжие, это я помнил всегда. Она расчесывала их, сидя перед зеркалом, белым гребнем, и волосы трещали. «Ого! — сказал Левка, делая ход.— Сколько в тебе электричества».— «Да, Левик,— сказала Миньона.— Я электрическая женщина». Левка, конечно, ничего не заметил, но мне фраза Миньоны не понравилась и не понравилось, что она назвала себя женщиной. Я играл плохо и про-

играл три партии подряд. Я все время попадал в ловушки, потому что думал не о шахматах. Пришел Агабабов и тут же потребовал, чтобы Миньона с ним танцевала. Она куда-то спешила, говорила, что ей некогда, опаздывает, в другой раз, но он приставал, хватал за руки, вел себя как хулиган, а Левка и не думал ее защищать. Впрочем, она сама могла себя защитить. Я думаю, она была не слабей Агабабова, если б дело дошло до борьбы. Агабабову было пятнадцать, а ей девятнадцать. Но он, этакая дубина, был одного с ней роста, даже повыше. Все-таки он заставил ее танцевать, он кривлялся, орал дурным голосом какой-то мотив, а Миньона хохотала, пыталась вырваться, однако он держал ее крепко, и она волей-неволей подчинялась и делала нужные па. И так они носились по комнате, с грохотом опрокидывая стулья, роняя посуду. Агабабов дико вопил, а Миньона, смеясь, кричала: «Перестань! Дурак! Сумасшедший! Лева, уйми его!» Левка пожимал плечами и криво улыбался. В разгар этой кутерьмы вошел Станислав Семенович. Он был не так худ, как прежде, но показался мне седым и старым. У него появилась черновато-седая чахлая бороденка. Станислав Семенович повесил ржавый портфель на гвоздь, бегло оглядел комнату, всех нас, и что-то вроде улыбки мелькнуло. Он сел на кровать и произнес шепотом: «Продолжайте, продолжайте... Кстати, здесь, на Калужской, всегда давали балы...»

Продолжать никому не хотелось. Была тягостная минута, я не вытерпел и вышел во двор. Вскоре за мной вышли Агабабов и Левка. «Задохлик,— сказал Агабабов и сплюнул.— Да я, если захочу, буду с ней в «Шестиграннике» танцевать». Это была неслыханная похвальба. Разумеется, я не поверил, но промолчал. «Шестигранник» — ресторан в парке, где вечерами творилось черт знает что. Потом быстрыми шагами из дома вышла Миньона, на ней было зеленое пальто, зеленый беретик, черная сумочка в руке. Миньона пробежала мимо нас, а когда Агабабов хотел было уцепить ее под руку, отдернула руку и сказала: «Отстань, мелюзга». Отворилась дверь, и Станислав Семенович слабо крикнул: «Когда ты вернешься?» Миньона не ответила. Начался дождь. Была осень. Пахло лекарствами. Все кончилось на больничном дворе, и здесь же, под дождем, начиналось что-то другое. Левкина мать в белом халате бежала вслед, был рыдающий крик: «Тебя Стась спрашивает! Почему не отвечаешь, гадина?» — «Замолчи!» — крик-

нул Левка и дернул мать за руку с такой силой, что она упала.

И был зимний день, когда я прибежал в Левкин дом в последний раз. Лютый морозный день, очень яркий, солнечный, всю ночь шел снег, и Калужская была завалена снегом, троллейбусы еле двигались, на большой перемене мы бежали через улицу, и было похоже, будто бежим по снежному полю. Находились дураки, которые хохотали и толкали друг друга в снег. Я догадывался, отчего они радуются: можно пропустить урок химии, оттого что сейчас бегут к Левке. Утром один парень сказал — Левкина мать удавилась. Я увидел белый, сверкающий на солнце двор и черную, настежь раскрытую дверь в дом. Раскрытая дверь как будто ударила — в этом доме было не нужно тепло! На дворе стояли кружком несколько женщин, а Левка сидел за «козловым» столиком и смотрел в сторону, хотя нас сразу заметил. Мы подошли, поздоровались, он кивнул, продолжая смотреть в сторону. Я не знал, о чем с ним говорить. А Левка молчал и смотрел в сторону. Я заметил, что он дрожит. Может, он сидел тут давно и замерз. Какая-то женщина стала звать его в дом, но Левка сказал: «Нет!» — и на его лице появилась кривоватая улыбка, какая бывала, когда он проигрывал и должен был сдаться. Ведь он так не любил проигрывать. Он сражался до последней пешки. Я почувствовал, что он мой друг, я его люблю. Я положил руку ему на плечо и сказал: «Лев, хочешь бронзовый кинжал? На всякий пожарный случай?» Он не ответил и плечом стряхнул мою руку. Уйти от него я не мог, но и стоять возле него было мучительно, а идти в дом я боялся. Ребята заходили, смотрели на Левкину мать, она лежала в гробу. Потом какой-то мужчина вышел из дома, стал всех прогонять, ругался негромко, но сердито: «Вы что тут не видели? А ну, марш отсюда, огольцы!» Стал выталкивать ребят со двора, отогнал их далеко, я тоже хотел уйти, но Левка схватил меня за руку и остановил. Я сел на скамейку. Мороз был очень сильный. Я начал дрожать. Женщина рассказывала шепотом: «Малый воротился со школы, а на чулане на двери записка: «Осторожно, я здесь вишу...» Это, значит, позаботилась, чтоб не напугать...» Лицо Левкиной матери было темного, йодистого цвета. Станислав Семенович лежал, как обычно, на кровати, накрывшись с головой одеялом и повернувшись к стене, но, как только мы вошли, он живо отогнул край одеяла

и поглядел на меня. Мне кажется, он меня не узнал. Он глядел на меня зорким и несколько удивленным взглядом, как на чужого.

Станислава Семеновича вскоре забрали в больницу, а Левка уехал к родственникам в другой город. После того зимнего дня я больше его не видел. Говорили, будто он погиб на войне. Агабабов тоже воевал, был летчиком, вернулся с наградами и работал в гражданской авиации где-то на Кавказе. А записи в конторских книгах попали ко мне случайно, через одну пожилую даму, концертмейстера областной филармонии, которая передала их мне по просьбе некой Марины Осиповны, куда-то уехавшей из Москвы. Эта Марина Осиповна тоже работала в филармонии пианисткой. Я не сразу сообразил, что Марина Осиповна — та рыжая девчонка, которую звали Миньона. В записях не было ничего, кроме сбивчиво и нудно, с бесконечными повторениями рассказанной истории Нескучного сада и нынешнего Парка культуры, но полубезумный автор доказывал, что истинным владельцем всей территории и устроителем сада был обер-провиантмейстер Николай Максимович Походяшин, отец которого был простой извозчик, составивший себе миллионное состояние открытием медных рудников. Сей Походяшин, почивший в бозе почти двести лет назад, был понуждаем продать имение за бесценок графу Орлову, по поводу чего автор записей гневно сокрушался. Кое-где глухо намекалось на то, что автор является по материнской линии потомком обер-провиантмейстера. Однако автор не претендовал ни на что, кроме установки медной — непременно медной — доски на воротах парка с указанием заслуг семьи Походяшиных. В конце рукописи, писанной чернилами, была странная запись карандашом большими неровными буквами: «Но нет прекраснейшего, чем...» — и дальше следовали пустые страницы и полная неизвестность. Во время войны парк был пуст и тих, на набережной, где раньше бывали гулянья, колыхались громадными серебристыми облаками отдыхающие аэростаты. Вечером они поднимались на невидимых паутинках в небо и ослепительно горели на солнце. Они напоминали чудовищного размера коконы, из которых должны были когда-нибудь появиться фантастические бабочки. Может быть, они и появились. Я редко бываю в парке. И не имею представления о том, что там сейчас происходит.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — I

1

Дом выходит окнами на бульвар, где много снега, собак, повязанных платками бабок, стариков с мешками, милиционеров, китайцев, продающих розовые бумажные игрушки; в стороне чернеет, как башня, громадный каменный человек по имени Тимирязев, а в другой стороне, очень далеко, стоит такой же черный Пушкин, к нему можно подойти, еще лучше подъехать на санках и увидеть, что он грустный. Нянька Таня, собираясь со мной гулять, спрашивает у мамы: «Куды иттить — к энтому Пушкину или к энтому Пушкину?» Между бульваром и домом громыхает трамвай. Дребезжание трамвая — первое, что долетает до меня из сырого снежного мира. Я боюсь трамвая. Все говорят, что он страшный. Иногда меня ставят на подоконник, я смотрю вниз и вижу: трамвай несется куда-то как сумасшедший, над его крышей сверкают ослепительные оранжевые искры. Но речь не обо мне. Речь пойдет об А н т и п о в е, который тоже жил прежде на Тверском бульваре и на свет появился поблизости, в родильном доме на Молчановке, но потом переехал в другое место. Однако его связывало с бульваром очень многое.

В начале сорок шестого года к Антипову приехала мать, которой он не видел восемь лет. Когда они расстались, ему было двенадцать, он был толстенький, кудрявый, дома ходил в бархатных коротких штанах, очков не носил, хотя был близорук, в классе сидел за первой партой, указательным пальцем часто оттягивал кожу возле угла левого глаза, отчего глаз сощуривался и видел немного лучше, а теперь Антипову было двадцать, он был студент второго курса, худой, с широкими костлявыми плечами, носил очки в некрасивой красно-коричневой оправе, про которую сестра говорила, что она «тараканьего цвета», дома ходил в чем попало, в обносках лыжного костюма из ржавой фланели, в стариковских шлепанцах; и когда в десять часов вечера мать позвонила в квартиру на шестом этаже незнакомого дома — во время ее отсутствия дети переселились из прежней квартиры сюда, на окраину,— и с колотящимся сердцем прислушивалась к шлепающим шагам в кори-

доре, которые показались шагами старика, испугалась, о старике никто в письмах ничего не писал, и вдруг дверь, щелкнув замком, отворилась, она увидела в полутемном коридоре высокую очкастую фигуру мужчины, отшатнулась и ахнула: «Шурка?» — а Антипов увидел маленькую женщину в ватнике, в платке, с чемоданчиком, сиротливо обшитым холстом, возле ее ног на полу, секунду глядел на женщину молча, потом протянул руки и сказал: «Мама?» И в их слабых вскриках прозвучал вопросительный тон, но не потому, что не узнали друг друга, хотя не узнать было немудрено, а потому, что мгновенным порывом было спросить: как было то? Как это? И как все за эти восемь лет? И можно ли, боже мой, наконец, в самом-то деле, можно ли верить глазам, рукам и губам? Мать почувствовала, что от сына пахнет табаком, а сын заметил, что лицо и одежда матери пропитаны паровозной гарью.

Мать ехала до Москвы шесть суток. Вот об этом она и рассказывала, когда сели пить чай вместе с сестрой Людмилой и Фаиной, женой брата матери, который лечился в госпитале после тяжелого ранения, а Фаина с маленькой Леночкой жила с Антиповыми в одной комнате коммунальной квартиры. Конечно, было бы лучше пить чай без Фаины, потому что у Антипова, и особенно у сестры, отношения с Фаиной за последний год испортились, но деться было некуда, а на кухне одна из соседок, Околелова, устроила глажку и заняла стол. Фаина вела себя смирно и выказала искреннюю радость, увидев мать Антипова, которую знала по рассказам, поцеловала ее, даже всплакнула, а Людмила глядела на мать странным, испуганно-ошеломленным взглядом и не могла говорить от волнения. Они должны были пересказать друг другу такие горы дней, такое множество встреч, испытаний, страданий, счастливых минут, что это казалось непосильным делом, не стоит и браться, и они бессознательно — так было легче — начали с самого простого, с того, что случилось вчера и позавчера. Они как бы откинули навсегда минувшее, то, что состарило мать, превратило сестру в сутулую плаксивую тетку, а Антипова сделало взрослым человеком, и, смеясь, рассказывали о вчерашних пустяках: о том, как сестра ездила в Вешняки на смежное предприятие, перепутала накладные, потому что весь день высчитывала, когда придет поезд, выходило, что завтра утром, начальница сделала ей выговор, и о том, как Антипов убежал с лек-

ции, чтобы посидеть над рассказом, надо его переделать и переписать, скоро он должен читать на семинаре Киянова, это очень ответственно.

А мать рассказала о том, что случилось с нею в поезде: она лежала на верхней полке, внизу двое мужчин, один, военный, как-то косо посматривал, и матери казалось, что он догадывается, откуда она едет. Она с ним не заговаривала. Внезапным толчком среди ночи поезд остановился. Мать проснулась и вдруг поняла, что это она остановила поезд — случайно во сне сорвала ручку тормоза. Люди в вагоне просыпались, гомонили, спрашивали: в чем дело? Почему стоим? Поезд стоял в непроглядной тьме. По коридору быстрыми шагами кто-то шел, хлопали двери, резкий голос спрашивал: «В вашем купе? Здесь?» Мать в один миг со смертельной ясностью представила себе: обнаружат сорванный кран, потребуют документы, а ее главные документы хотя и в порядке, но разрешение на въезд в Москву не оформлено до конца, мать не поехала в областной город, где нужно было получить подпись начальника областного управления, без которой разрешение не вполне действительно, оно действительно при добром отношении и недействительно при казенном, при злом, а тут как раз могло проявиться злое, потому что люди озлобляются, когда непредвиденная остановка замедляет путь домой, но мать была невиновна, она не могла поехать в областной центр за подписью, потому что пропустила бы этот поезд, пришлось бы ждать еще две недели, что было свыше человеческих сил, и она рискнула, не будучи рисковым и очень храбрым человеком, просто не могла ждать, и вот теперь из-за нелепой случайности ее задержат, увидят неправильно оформленное разрешение и отдадут под суд. За самовольную остановку поезда полагается от одного до пяти лет тюрьмы. Нет, подумала мать, я ничего не выдержу больше. Я умру здесь, в вагоне, у меня разорвется сердце. Открылась дверь купе, и начальство в черном картузе просунуло голову: «У вас тут что?» Военный взглянул на мать сурово, посмотрел на начальника в черном картузе и ответил: «У нас нормально. Все спали». Дверь захлопнулась. Начальник ушел. Мать лежала ни жива ни мертва. Военный погасил свет в купе, и жизнь продолжалась. Антипов подумал: из этого можно сделать рассказ. Фаина что-то спрашивала, как обычно, глупое, насчет военного — к какому роду войск он принадлежал? — а Антипов уже размыш-

лял, проектировал, что тут изменить, что оставить. Выходило так, что рассказ не получится. Это становилось болезнью, он жил теперь, последние года полтора, какой-то двойной жизнью: все, что случалось с ним, с его друзьями, с далекими знакомыми, о которых он узнавал понаслышке, окружал загадочный ореол возможного воплощения. Надо было этот ореол увидеть и тайный смысл разгадать. Не все годилось для воплощения, но все должно было подвергаться моментальной проверке; как феноменальный счетчик Араго, который, едва завидя цифры, тут же невольно начинал производить в уме математические действия, так и он тотчас почти бессознательно принимался отгадывать и примерять. Для того чтобы скоропалительные догадки и летучие соображения не испарялись, он завел записную книжку — Борис Георгиевич говорил о пользе записных книжек — и заносил туда мысли, словечки, сравнения, анекдоты. Кто-то поразил Антипова, заявив, что для прозы нужны анекдоты. Великий роман можно свести к анекдоту. Надо собирать все подряд, все глупости, дурацкие истории, чепуху, авось пригодится. Он не расставался с книжечкой ни днем, ни ночью, делал записи на лекциях, в метро, в троллейбусах, в пивном баре; однажды его задержали и потребовали предъявить документы, потому что он записывал в метро, а рядом сидели двое, ведшие всю дорогу какой-то неясный разговор, они-то и заподозрили Антипова.

И вот теперь, в четыре утра, когда решили наконец идти спать, Антипов, придя в комнату, где он снимал угол за сто рублей в месяц у некоего техника по наладке текстильных станков, Валерия Измайловича,— тот бывал здесь редко, почти все время ночевал у каких-то своих родственников или друзей и даже хотел от комнаты как-то избавиться, обменять ее на что-то,— тут же сел к столу и записал в книжечку: «От мамы пахнет паровозной гарью. Ватник несуразен, велик, с чужого плеча. Чемодан обшит мешковиной. История с тормозом и военным, который мрачно молчал». Подумав, приписал: «Может быть, человек вернулся из немецкого плена?»

Когда он погасил настольную лампу и лег, раздался тихий стук в дверь, вошла мать. Спросила шепотом:

— Ты спишь?

— Нет,— ответил Антипов.

Мать стояла возле кровати. Он почувствовал, что она плачет беззвучно. Он привстал, положил руки на одеяло и сказал:

— Мама, садись сюда... если хочешь...

Мать продолжала стоять, неразличимая в темноте, не садилась и ничего не говорила, он догадывался, что ее душат слезы. Потом вдруг наклонилась и спросила, можно ли поцеловать его. Он сказал: «Да». Мать поцеловала Антипова, как когда-то целовала кудрявого мальчика в старой пустоватой комнате с высоким потолком на сон грядущий. От лица матери уже не пахло паровозной гарью, а пахло простым мылом и чем-то еще, от чего у Антипова сжалось сердце. Засыпая, думал: написать рассказ «Поцелуй». Но «Поцелуй» был у Чехова. Тогда, может быть, так: «На сон грядущий». Но и «На сон грядущий» было у кого-то. Кажется, у Хемингуэя. Сквозь сон томило — все уже написано.

2

Семинар отменили. Киянов заболел. Секретарь кафедры Сусанна Владимировна, женщина в возрасте, лет сорока, но живая, бойкая, кокетливая, с черным плутовским взором, отозвала Антипова в сторону и зашептала:

— Саша, вы не могли бы по просьбе кафедры... Собственно, это и моя личная просьба... Я вам дам талоны и деньги...— Быстрым движением она вынула из сумочки бумажный пакетик и сунула его в карман антиповской куртки.— Навестите Бориса Георгиевича, а? Он совершенно один, без всякой помощи, жена в больнице. Согласны? Было бы так благородно с вашей стороны!

— А для чего деньги? — краснея, спросил Антипов, которому почудилось оскорбительное.

— Купите, пожалуйста, хлеба, сахара и табаку. Если табаку нет, возьмите папирос. Он курит иногда «Казбек». Зайдите в Елисеевский, потом на Бронную. Вы знаете, где Борис Георгиевич живет?

Антипов кивнул. Сусанна Владимировна, несмотря на ее возраст, немного смущала Антипова. У нее была тонкая талия, а все, что ниже талии, поражало необыкновенной круглотой и объемом. Антипов бормотал, соглашаясь, глядя в сторону. С утра его волновало ожидание вечернего чтения — нечто подобное он испытывал в дни, когда надо было идти к зубному врачу,— и теперь,

когда все отменилось, чувствовал досаду и облегчение одновременно. Поэтому внимание его было разболтано, и он не заметил странности: того, что Сусанна Владимировна таинственно отвела его в угол — чего делать вовсе не нужно, коль речь идет о просьбе кафедры,— а бумажный пакетик, который сунула ему в карман, был приготовлен заранее. Все это он сообразил после. Теперь же покорно пошел в Елисеевский, постоял за сахаром, потом взял хлеб и табак и двинулся назад через бульвар на Бронную. Идти к Борису Георгиевичу было боязно: вдруг тот будет недоволен? Скажет: «Зачем это вы себя утруждали? Я вас не просил». Ведь он холодноватый, язвительный, держит своих учеников на расстоянии и даже тех, к кому благоволит — Володю Гусельщикова, Элку Пугач и хитромудрого Квашнина,— не приглашает в дом. Вроде бы потому, что жена больная. Не хочет, чтоб ее видели. У нее бывают приступы тяжелой депрессии. Тут Антипов догадался: все боятся к нему идти, вот и запрягли Сашку Антипова! Потому что Антипов — новенький, ни он Бориса Георгиевича, ни Борис Георгиевич его не знает по-настоящему. Три месяца назад Антипов взял на заводе расчет, перевелся с вечернего отделения на дневное и стал посещать семинар Киянова. Читал у него лишь раз, и результат был неясен. Не то чтобы ругали особенно, но и не хвалили. Нет, не хвалили вовсе. Никто не проронил слова «талант». Но, правда, никто не сказал и слова «серость», или «бездарность», или «нет никакой надежды», или «перейти в другой институт». А Борис Георгиевич молчал, пыхтел трубкой и произнес загадочно: «Что такое Антипов, мы узнаем, когда прочитаем второй рассказ. Ренар говорил, что одну гениальную страницу может написать каждый. Все дело в том, чтобы написать триста». И Антипов возликовал: эти слова можно было расценивать в том смысле, что в рукописи Антипова есть одна гениальная страница! Но антиповский друг Мирон охладил ликование: сказал, что Борис Георгиевич любит повторять эти слова Ренара. Повторял их раз восемь.

Возле высокого дома номер семнадцать, на том углу, откуда ведет ход в проходные дворы— именно в этом доме жил автор в раннем детстве и с высоты третьего этажа тупо и жадно разглядывал снежный бульвар с черными деревьями, но Антипов о том не знал,— встретился Антипову Витька Котов, он же Виктуар, он же

попросту Кот, бежавший куда-то своей жидконогой подпрыгивающей побежкой.

— Ты куда? — спросил Антипов.

— На Арбат. К одной даме. Она такой супчик рыбный делает, закачаешься!

Антипов взял Кота под руку и повлек за собой. По дороге уговаривал: дама не убежит, супчик можно потом разогреть, а навестить старого писателя из гуманных соображений — знаешь как замечательно! Кот пошел не сопротивляясь. По дороге рассказывал какую-то чушь о своих успехах у женщин, успехи достигались на бегу, на ходу, на лестнице, словом, с невероятной легкостью, и вдруг спросил:

— Как считаешь, Киянов — писатель ничего?

— По-моему, ничего. Я его до войны читал.

— Ха! До войны мы всякую дребедень читали,— сказал Кот.— Что в руки попадалось, то и читали. А по-моему, средневатый. У него языка нет. Интригу вяжет, а языка нет. Вот Михаил Тетерин был — это да! Его приятель. Вот этот, говорят, был — сила! Они какой-то журнал издавали в двадцатых горах. Мне один мужик рассказывал. Тетерин, говорит, был кумир молодежи, хотя выпустил всего две книги: роман «Аквариум» и сборник рассказов. А Киянов был при нем вроде бы второй номер.

— Что-то я такого не слышал,— сказал Антипов.

— Вот услышал от меня. «Спасибо» скажи. Спасибо, мол, Виктуар Евдокимыч, что просвещаете меня, горемычного.

— А я с тобой не согласен,— сказал Антипов.— Насчет Киянова. Что ж, и «Звезда-полынь» — плохая книга?

— Ты серьезно? — Котов захохотал.— Перестань!

— По-моему, вещь недурная.

— А по-моему, плешь.

Антипов вспомнил: на одном из последних семинаров Виктуару крепко досталось. Борис Георгиевич разнес его рассказ в пух и прах, да и ребята несли. Одна Сусанна Владимировна лепетала в защиту. И Антипов сказал:

— Сусанна, конечно, больше понимает, чем Киянов.

— Сусанна? — Котов сделал недоумевающее лицо.— Намека не понял. Не по адресу, мой милый... Это не моя весовая категория...

Остановились перед парадным старого трехэтажного дома на Большой Бронной. Кот почему-то медлил, не

поднимался, а Антипов уже стоял на верхней ступеньке. Парадное было распахнуто и чернело изнутри каким-то нежильем. Антипов сюда приходил однажды с ребятами, провожали Бориса Георгиевича после семинара до парадного.

— Чего-то неохота идти...— говорит Кот в нерешительности.— Черт его знает, неохота, и все.

— Почему?

— Ну, неохота, брат. Я ему деньги должен. В прошлом году сидел без стипендии, голодный как пес, ну и попросил сдуру. Какие деньги! Сто рублей. А у кого просить? Всем задолжал. Сказал: на бумагу. Роман пишу. Он спросил: «Сколько нужно?» Сотни, говорю, две или три. Ну, говорит, это не на бумагу, и дал сотню. Отдать я ему, конечно, отдам, да все не получается, сам знаешь... Опять с февраля стипендию шарахнули, немецкий не сдал.

— Ладно, пойдем,— сказал Антипов.— Потом расскажешь.

— Постой! Я ж говорю, неловко идти. Или, как думаешь, ничего? Он, конечно, без моей сотни не обедняет, но как-то все же не то. Я ему, когда вижу, всякий раз говорю: «Борис Георгиевич, я все помню, ваш должник. У меня рассказ в «Молодом колхознике» приняли, получу гонорар, отдам». Он кивает — ладно, мол, хорошо. А у самого физиономия постная. В последнее время стал как-то раздраженно отвечать и глядит сердито. А тут недавно с такой злостью: «Одно из двух, Котов, либо отдайте эти несчастные сто рублей, либо прекратите, ради Христа, постоянно про них вспоминать».

— Все! Пошли! — Антипов тянул Котова за руку.— Чего ты затеял у него под окнами?

— Нет, постой, дай досказать,— шептал Котов, упираясь.— Этот вопрос и психологически интересно разобрать. Неужто он такой скупердяй? Или, может, тут нравственный принцип! А элемент зависти ты не допускаешь? Для него, конечно, сто рублей — несчастные, для меня — сумма. Нет, это очень загадочная история. И она мне поперек горла, я лучше последнюю рубашку продам, лишь бы таких разговоров не слышать. Я их вообще не терплю, разговоров подобного рода.— Вдруг он повысил голос, стал чуть ли не кричать, и Антипов подумал: нарочно, чтоб услышали.— А что ж теперь делать, если взять негде? На семинар к нему не ходить? Руки на себя наложить? Да если по-честному, по гамбургско-

му счету, зачем ему эту сотню у бедного студента тягать? А? Как считаешь, отдавать или нет? По-моему, не обязательно вроде...

Антипов нашарил в кармане бумажку, протянул.

— Отдадим, и дело с концом! Пошли!

Котов вертел бумажку, глядя на Антипова изучающе и недобро.

— А я раньше мая не смогу соответствовать. Они мне пятый номер обещают.

— В мае отдашь.

— Ну, спасибо. В мае отдам. Пока!

— Ты куда? — удивился Антипов.

Виктуар бежал, подпрыгивая, по мглистой улице прочь.

— Опаздываю, Сань! Спасибо тебе! Отдам!

Антипов смотрел ему вслед и думал: написать рассказ «Рыбный супчик». Все было ясно, кроме дамы, которая живет на Арбате. У Антипова не было знакомых дам. Кроме, пожалуй, двух — его собственной кузины Тамары и одной врачихи, знакомой сестры. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, Антипов обдумывал: как соединить Кота, рыбный супчик и Тамару? Тихо насвистывая, нажал кнопку звонка. Дверь отомкнулась, обнаружила почти такую же темноту, как на лестнице, щелкнул выключатель, зажглось что-то жалкое в невероятной вышине и осветило женщину, похожую на стог, в халате с головы до пят. Женщина произнесла сурово и жестко, как слова вердикта:

— Этот звонок не трогать. Им в нижний звонить. А этот не трогать никогда.

И, шелестя и роняя сухие травинки, поплыла куда-то во тьму квартиры, а Антипов побрел в другую сторону наугад. Он шел по длинному коридору мимо закрытых дверей и возле одной из них, сам не зная почему, остановился и постучал. Седенький приземистый человечек, то ли горбун, то ли просто не имеющий шеи, уставился на Антипова в тревоге, клоня голову набок, и вдруг вскричал:

— Ах да! Будьте любезны!

Антипов пошел вслед за седеньким, который пятился и жестами звал Антипова за собой, они прошли одну комнату, другую, третью, какую-то кишку из комнат, как в старинных дворцах; и верно, мелькало нечто дворцовое: то стулья с высокими спинками, то две, три картины, блеснула бронза, но все выглядело как-то пыль-

но, неряшливо, вразнобой. При этом фотографии на стенах, помятые коврики, цветы в горшках. В третьей комнате на полу была расстелена газета, на которой лежало две стопки трепаных книг без обложек, каждая стопка обвязана шнурком.

— Здесь! — сказал седенький, показывая на стопки.

— Что это? — спросил Антипов.

— Ради этого мы вас вызывали. Можете смотреть, юноша. Тут все цело до последней странички.

— Я студент из семинара Бориса Георгиевича...— начал Антипов.

— Меня это не касается! — седенький жестом пресек Антипова.— Кто вы, что вы, меня не интересует. Ведь вы Маркуша?

— Нет, не Маркуша. Я принес хлеб, сахар и табак,— сказал Антипов, на что-то сердясь и норовя вынуть из портфеля покупки.

Седенький таинственным образом исчез, затем его голос донесся из глубины четвертой, еще неведомой комнаты:

— Ваша фамилия?

Антипов назвался. После паузы, наполненной шаркающим движением за стеной, воркотней голосов, долетел знакомый хриплый слабый бас:

— Антипов, входите, коли пришли...

Антипов вошел. Комната оказалась угловой. Именно здесь протекала жизнь: стоял письменный стол в бумажном хламе, в книгах, в пепле, к одной стене тулился узкий диванчик, к другой — тонконогий изящный столик, загроможденный чашками, тарелками. Борис Георгиевич сидел на диванчике, запахнувшись во что-то байковое, из-под чего белела ночная сорочка, а внизу торчали ноги в темно-синих хороших брюках и в штиблетах. Похоже, он оделся наполовину и почему-то прекратил. Лицо у Бориса Георгиевича было и вправду больное, опухшее, с набрякшими веками, сощуренные глаза смотрели сквозь очки высокомерно и, как показалось Антипову, враждебно. Никогда Антипов не видел у Бориса Георгиевича таких узких недобрых глаз, да и вообще узнать его было трудно.

— Что это? Спасибо, положите. Бросьте там...— Киянов махнул рукою в неясном направлении, имея в виду тонконогий столик, а может быть, подоконник или форточку.— Напрасно вы это. Теперь Гриша тут, он все достанет, не надо беспокоиться. Впрочем, я вас благода-

рю.— Сидя на диванчике, он попытался церемонно поклониться.

Байковый халат, ночная сорочка и весь болезненный, затрапезный облик Бориса Георгиевича поразили Антипова — он привык видеть его элегантным, в красивом клетчатом пиджаке, в рубашке с галстуком, с трубкой. Всегда Киянова сопровождал особый писательский запах благополучия: трубочного табака и одеколона. А тут в комнате воздух был затхловат. И пахло несчастьем. Все говорило о том, что следует немедленно уходить. И Борис Георгиевич подталкивал к этому решению — стал вдруг зевать и, залезши рукою под сорочку, почесывать грудь. Антипов поспешно кивнул и метнулся к двери. Когда он пробегал третью комнату, его криком позвали назад:

— Одну минуту, Антипов! Хотел вас спросить... Вы что же, собирались нынче читать?

— Да,— сказал Антипов.

— Рассказ или отрывок?

— Рассказ.

— Мгм. Так, так. Рассказ. Вы сядьте на минуту... Гриша, подай стул. Сядьте, я вас прошу.

Борис Георгиевич запахнулся в байковый балахон, сел на диванчике удобнее, нога на ногу, уставился на Антипова хмурым и, как показалось Антипову, испытующим взором.

— О чем рассказ, если не секрет?

— Ну, как... Трудно объяснить... О молодом человеке вообще... Описывается завод.

— Какой завод?

— Ну, скажем, авиационный. Который делает радиаторы.

— Понимаю. Благодарю вас. Очень жаль, что чтение не состоялось... Извините меня... Впрочем, причины уважительные... Скажите, Антипов, а вот с этими дарами вы сами догадались притащиться ко мне или кто-нибудь надоумил? Только честно.

— Честно, сам не догадался. Сусанна Владимировна надоумила.

— Что? — Борис Георгиевич даже привскочил на диванчике.— А что я тебе сказал, Григорий? Вот результаты твоей деятельности!

— Борис, ничего страшного...

— Да не надо было! Кто тебя за язык тянул? — Борис Георгиевич стиснул руками голову, сполз с диван-

чика и стал, пошатываясь, мотаться по комнате, бормоча: — Знаешь, кто ты такой? Ты мелкая провинциальная балда! Извините, Антипов... Вы ни при чем... Просто этот гражданин вместо помощи и облегчения умеет все еще больше запутать... Ах, шут с ним! Реникса, как говорил Антон Павлович.

— Я пойду,— сказал Антипов.— До свиданья, Борис Георгиевич.

— Нет! Садитесь. Сейчас он принесет лекарство, и я почувствую себя человеком... Признайтесь, Антипов, небось смотрите на меня и думаете: у старика жидкая бороденка, как у Ван Гога... И ногти серые, нечищеные... Да и проза у него какая-то серая. Сейчас так не пишут. Сейчас этак длинно, пышно, развесисто, под Толстого, а у старика какой-то поганый телеграфный стиль. А? Угадал? Неси, что ж ты стоишь!

Горбатенький побежал, торопясь, приседая на одну ногу, в соседнюю комнату.

— Григорий Наумыч... старинный друг. Наверное, единственный, кто остался. Он бесконечно добр. Но от доброты делает глупости. Мы учились в одной гимназии в Ярославле — он, я и Миша Тетерин. Слышали такого писателя?

— Конечно,— сказал Антипов,— роман «Аквариум», рассказы...

— Верно! — Киянов посмотрел с изумлением.— Рад за вас! Миша, стало быть, существует. Это приятно... Теперь скажите следующее, Антипов! — Борис Георгиевич подобрался, выпрямился и опять стал сверлить Антипова оком.— Что было вам сказано, когда просили принести эти, эти, эти...— вытянул руку и теребил пальцами в воздухе, подыскивая нужное слово,— дары данайцев...

— Ничего, просто сказали, что было бы хорошо... Надо бы навестить...

— Да почем ей знать: н а д о или н е н а д о? — закричал Борис Георгиевич.— Боже мой, какие странные люди! Видят внешние обстоятельства и пытаются решать глубинные вещи! Как будто бы н а д о, а на самом деле н е н а д о, черт побери! Вот вы, Антипов, должны помнить — поступки и фразы на поверхности, а магма внутри...

— Так что не верьте крикам дорогого учителя,— сказал Григорий Наумович.— Все это кокетство. На! —

Он подал Борису Георгиевичу рюмку на блюдце и спросил у Антипова: — Дать?

— Зачем спрашиваешь? Неси!

— Пусть человек пойдет в столовую и возьмет рюмку. Я ему налью.

Антипов пошел в столовую, там было темновато, он шарил по столу, по крышке буфета, ища рюмку. Антипов пил водку редко и через силу. Григорий Наумович зажег свет и, открыв буфет, откуда пахнуло корицей, достал рюмку, что-то при этом невнятное бормоча. Антипов вслушался: седенький шептал о невзгодах Бориса Георгиевича. Валентину Павловну забрали в больницу, она попадает туда регулярно, эта беда ввергла Бориса Георгиевича в другую беду, и кроме того, обнаружились всякие мелкие неприятности, о которых не хочется говорить. Недаром нам присылают хлеб и сахар. Он так и сказал «нам».

— Валентина Павловна, между нами говоря, плоха,— шептал Григорий Наумович.— Война ее разрушила... Гибель Димы, единственного сына, вот что их сломило...

— Хотите, я что-нибудь сделаю? — спросил Антипов.— Я могу быть уборщиком, могу почистить картошку...

— Нет, спасибо, не надо. И кроме того, в этом доме могу помогать только я, старый хрен и друг...

Вернулись в угловую комнату, и Гриша налил Антипову водки. Антипов выпил. Только сейчас он заметил портрет юноши — чубатого, насмешливого, улыбающегося, с папиросой в углу рта, в белой рубашке, с галстуком,— висел над диванчиком. Наверное, это был сын. Борис Георгиевич смотрел на Антипова мрачно, в упор, но тот не испытывал никакого неудобства от этого. Борис Георгиевич сказал:

— Ну что ж? Читайте рассказ.

— Сейчас? — удивился Антипов.

— Конечно. Ведь он лежит, как я подозреваю, в портфеле и ждет не дождется, когда его начнут читать. Поэтому не испытывайте терпения.

— Вашего?

— Его.— Борис Георгиевич указал на портфель.

Антипов понимал, что читать не нужно, что это глупость, но так хотелось прочесть! Вынул рукопись и начал читать. Борис Георгиевич вновь водрузился на диванчик, Гриша набросил на него плед, и Борис Георгие-

вич, устроясь как-то плотно, мягко, удобно, закинув руку под голову, стал слушать. Антипов изредка на него посматривал. Большое мясистое лицо Бориса Георгиевича с набрякшими мешками щек, седыми бровями, седою щеточкой усов постепенно клонилось долу и принимало осоловелое выражение, толстые губы раскрылись, глаза сощурились, и в комнате стал слышен едва уловимый свист, не оставляющий сомнения в том, что Бориса Георгиевича одолевает сон. Антипов прервал чтение, сказав:

— В другой раз, Борис Георгиевич. Вы устали, я вижу...

Борис Георгиевич кивнул. По-прежнему держа руку под головой, с полуприкрытыми глазами, он сказал неожиданно трезво и ясно:

— Пожалуй. Верно, я устал. Но дело вот в чем. Вы помните стихи Тютчева: «Не то, что мните вы, природа не слепок, не бездушный лик...» Так вот, не то, что мните вы, литература не слепок, не фраза, не окаянный труд, как вас учат. Литература — это страдание. Вам не приходилось страдать, Антипов? Нет? И слава богу. Но значит, пока вам нечего сказать людям. А учить вас, как делать фразу, мне скучно. Извините, Антипов! Возможно, завтра я стану говорить иное, но запомните, сейчас говорю истинное.

— Мне кажется, ты не совсем прав,— сказал Григорий Наумович.— Литература не страдание, а скорее, может быть, сострадание.

— Это одно и то же. Милые, ничего, кроме мысли и страдания, нет на земле достойного литературы. Сказано же: я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...— Борис Георгиевич закрыл ладонью глаза. Губы его сжались пучком, приняли выражение странное, какой-то детской обиды. «Старость — это накопление обид,— подумал Антипов.— Господи, как страшно!»

Антипов попрощался. По коридору навстречу бежал, толкнув в потемках, какой-то шумный, лохматый, топающий сапогами и говоривший сам с собой: «Кто ж его не знает? Его все знают... «Звезда-полынь» и прочее...» — «Откуда?» — спрашивал за спиной голос Григория Наумовича. «От верблюда! — хохотал шумный.— Маркуша, из книжного! Вообще-то пою, занимаюсь вокалом, а книги — так, увлечение...» Хлопнула дверь. Шумный гудел за стеной. Покупающие книги веселятся, продающие страдают. Улица была пуста, как ночью.

В немногих окнах горел свет. Антипов шел, подавленный тягостным размышлением. Нет, ему, к сожалению, не приходилось страдать. Правда, лет десять назад он лишился отца, пришлось уехать из Москвы, был голод, работа в цехе, злобность старика Терентьича, придирки начальника, однажды избили ребята из литейного, однажды чуть не отдали под суд, женщины не замечают его, он некрасив, неловок, неудачлив, но все это были ненастоящие страдания. А когда будут настоящие? Неужели только с годами, со старостью? Антипов был в отчаянии. Он чувствовал, что еще долго не станет писателем. Поздней ночью Антипов пришел домой, поднялся пешком на шестой этаж, открыл дверь ключом и вошел в спящую мертвым сном квартиру. Проскользнув в комнату, взял папку рукописей и на цыпочках прошел на кухню, где можно было зажечь свет и читать. Чтобы согреть кухню, включил газ. В мусорном ведре шуршали тараканы. Антипов читал все рассказы подряд до трех часов ночи, все более огорчаясь и испытывая отвращение к написанному, где не было никаких страданий. Затем он стал сжигать рукописи в газовом пламени над плитой, один рассказ за другим, что длилось долго. Черные хлопья летали по кухне.

Вдруг прошаркала, щурясь от света, Людмила в шлепанцах, в длинной ночной рубашке и спросила:

— Откуда дым?

— Жгу свои произведения,— сказал Антипов.

— А! — сказала сестра и села к столу, положив голову на руки.

— Ты что? — спросил Антипов.

— Не могу я с ней,— сказала сестра, не поднимая головы.— Просто не в силах... Она мне как чужая... Ведь так ждала маму все годы! И вот она вернулась...

Сестра зарыдала неслышным, глухим воем, уткнувшись в руку. Антипов стоял рядом, не зная, что сказать.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — II

1

Тлела вялая, сырая зима. На бульваре было черно, бесснежно, по утрам деревья серебрились от влаги, едва переходившей в изморозь, от земли шел туман, к сере-

дине дня туман и изморозь исчезали, все вновь чернело, блестело, к вечеру опять наползала мгла. Москву одолевал грипп. Говорили, много людей умерло от гриппа. В трамваях от сырых воротников шел псиный запах. Все кашляли, чихали, сморкались. Фаина уже несколько дней лежала с высокой температурой, сестра и мать за нею ухаживали, а девочку отвезли к знакомым, чтобы не заразилась. И в эту гнилую пору, в середине февраля, жизнь Антипова переломилась, чего никто не заметил. А он навсегда запомнил сырой обманчивый воздух ненастоящей весны. Запомнил очереди в аптеках. Запомнил отвар шиповника и запах чеснока, реявший в московских квартирах. Все это соединилось с тем сокровенным, что можно было бы назвать — освобождение от страха. До чего это было ничтожно, как выяснилось потом! И как это было громадно в ту сырость! Антипова одурманивал тайный и вязкий страх, страх того, что он кем-то не станет и чего-то не сможет. Все опасности мира казались менее страшными, чем это — не стать и не смочь. Тем более что все вокруг кем-то понемногу становились и что-то уже могли.

Один там, другой здесь, третий еще в каком-нибудь жалком журнальчике, четвертый хвалился тем, что зарабатывает деньги на радио, а пятый врал, будто его повесть берет «Октябрь». Так же они врали о женщинах. А может быть, и не врали. Этот вопрос — врут или нет? — был для Антипова мучительным, почти столь же мучительным, как страх не стать и не смочь. И это было то, что постоянно и бессознательно занимало его ум, что было фоном всех мыслей о друзьях и приятелях, но вот только разговаривать об этом он не мог ни с кем. Потому что не желал бередить запретную боль, отталкивал и боялся ее, старался про нее забыть. И забывал в течение дня. Впрочем, однажды в миг слабости или под влиянием жигулевского пива — сидели в баре на Пушкинской, грызли раков — сам заговорил с Мироном и признался в своей тайне, которая показалась Мирону ерундой, не стоящей внимания. Как Антипов потом раскаивался! Мирон взял тайну на вооружение и вроде из добрых чувств, из желания помочь терзал Антипова советами и поучениями, показывая свою над ним власть. Ведь всякая тайна есть власть. А та, скрытно палящая — не тайна, а рана,— которую по слабодушию обнаружил Антипов, дала Мирону жгучую власть, и он ею пользовался, этакая скотина. На семинаре Бориса Георгиевича,

когда Мирон читал рассказ, довольно слабенький, о любви советского солдата и польской девушки, ребята его долбали, и Антипов тоже долбал, сказав опрометчиво: «Так в жизни не бывает!» Мирон прервал наглым смешком: «Ты у нас знаток в любовных делах!» И сказано было с такой интонацией, что для всех, конечно, все стало ясно. Эта реплика была равносильна предательству. Антипов решил так и сказать Мирону после семинара, порвать с ним отношения, но вышло не до того: все горячились, кричали, Мирон доругивался со своими критиками, и, когда Антипов, улучив минуту, сказал ему тихо: «А ты все же трепло!» — тот ничего не понял. Поглядел с недоумением и спросил: «Почему? Считаешь, надо сокращать?» Вот так: сам того не замечая, делает мелкие пакости и искренне изумляется, когда ему говорят: «Подлец!»

Но самое удивительное, ведь он поистине хотел Антипову помочь — как будто можно в таких делах помогать! — норовил познакомить с кем-то, чуть ли не силой тащил в один дом, где, по его словам, жили две милые девушки, сочинявшие стихи: «Эта выгнутая мебель одинаково годна и для юношеских танцев, и для старческого сна...» Но Антипов догадывался, что все это бывает не так. Может быть, у других так, но у него должно быть не так. В глубине разумной догадки таился все тот же страх. Он отказался пойти в дом с выгнутой мебелью, но испытал к Мирону нечто вроде благодарности: тот проявлял заботу, как умел. Ни минуты не сомневался Антипов в том, что порою, когда Мирона вдруг окатывали приливы благотворения, он горячо желал Антипову удачи и готов был оказать любую помощь, вплоть до физической. Но иногда точно бес толкал его насмешничать, язвить, показывать тайную власть, и Антипов старался быть в такие минуты от него подальше. Он мог, например, в компании спросить, подмигивая: «Отчего такой бледный, Шурик? Всё амуры? Ты себя береги, брат, ты нужен отечественной словесности». Люди, конечно, принимали за шутку, пропускали мимо ушей, но Антипов ощущал всю ядовитую колкость этой болтовни и накалялся ненавистью, готов был Мирона ударить, хотя, разумеется, не показывал вида. По-настоящему ненавидеть Мирона он не умел. И отклеиться от него не мог. В Мироне было много соблазнов. И он был первый, кто привел Антипова на семинар Бориса Георгиевича, кто терпеливо выслушивал

антиповское мараканье трехлетней давности — как все начинающие, Антипов страстно пытал приятелей чтением вслух! — что-то в этих вещичках находил, чем-то умилялся и говорил, хлопая Антипова по плечу: «Старик, ты могешь!» В прошлом году он защищал Антипова перед дирекцией, когда грозил перевод на заочное отделение за участие в «капустнике», который дирекцию рассердил. А однажды на бульваре вдвоем хорошо дрались с какими-то забулдыгами. Вообще в трудные поры он показывал себя товарищем. И этот же человек мог в коридоре в присутствии ребят, многозначительно глянув на Антипова, сказать: «Тот, кто не спал с женщиной, не может стать настоящим писателем!» Ребята согласно хмыкали. Все, по-видимому, уже спали с женщинами. Или только делали такой вид. Антипов тоже кивнул, соглашаясь, хотя внутренне передернуло привычной мгновенной ненавистью: «Сукин сын! Он метнул на меня взгляд!»

Антипов поссорился с Валерием Измайловичем, и тот отказался сдавать ему угол. Вот гадость: куда-то переселяться, искать крышу над головой, уезжать от матери и сестры! Но в одной комнате, где все стеснились гуртом, жить стало невозможно. В сорок четвертом приютили Фаину, совершили благое дело и роковую оплошность, теперь все кончено. Она тут прописана, а у матери и прописки нет. Все в эти февральские дни стянулось узлом: бездомность, внезапная ослепительная мечта напечататься и появление Наташи. Никто не знал, почему Валерий Измайлович отказал Антипову. Матери Антипов сказал кратко: «Он антисанитарный тип. И больше ничего». Тогда мать попыталась втихомолку выяснить у Валерия Измайловича, в чем дело, унижалась и просила простить сына, если он в чем провинился, но Валерий Измайлович отвечал неясно: с одной стороны, Антипов храпит, а он, как контуженный в голову, храпа не выносит; с другой стороны, должен приехать племянник из Томска, а с третьей, выходило так, будто он и не совсем уж против сдавать Антипову угол, но тот сам капризничает и ведет себя грубо. Была какая-то туманная чепуха. Мать встревожилась. Ей почудилось, что сыну угрожают опасности. Когда Антипов узнал, что мать пала так низко, что втайне от него просила Валерия Измайловича смилостивиться, он сказал, что будет

жить у тетки Маргариты, у Мирона, ночевать на вокзале, где угодно, но не у этого типа.

— А тебя, мама, прошу в мои дела не включаться! — сказал Антипов неожиданно резко. И сам испугался. Впервые повысил на мать голос.

Она, побледнев, ушла из комнаты. Весь день Антипова был испорчен, он мучился стыдом, а мать еще добавила:

— Не поверила Валерию Измайловичу, а теперь вижу — ты действительно груб.

Он не мог ничего объяснить.

Поздним вечером отправился ночевать к Мирону. Мать собрала в чемоданчик белье, он положил книги, бритву, рукопись. Мать весь день скорбно молчала, но тут не выдержала:

— Сын, извини меня, если я ненароком... Ведь я от тебя отвыкла... Ты понимаешь, что значит — не видеть детей восемь лет...

— Ах, мама, ерунда! — Он обнял ее и прижал к себе.— Я понимаю.

— Нет, не понимаешь. Не можешь понять. И не дай бог...

— Ну ладно, не обращай внимания. Ты меня тоже прости.

— А как трудно было с Людой!

— Я знаю. Но ведь сейчас нетрудно, правда же?

— Да... Спустя год... Я столько плакала из-за нее, и она тоже... Ты не замечаешь, у тебя своя жизнь, ты занят творчеством.

— Ах, мать...— Он усмехнулся.— Не творчеством, а суетой. Ведь ни черта не выходит.

— Нет, сын, я в тебя верю, очень уважаю твою работу... Но так горько — хотела облегчить вам жизнь, а вместо этого ничего не могу, только усложняю, заняла место, и ты должен из-за меня...— Мать опять была на грани слез,— уходить куда-то из дома... Может, мне уехать, хотя бы временно? Это тебе поможет?

— Нет. Это худшее, что может быть. Но с тем типом ты больше, пожалуйста, не разговаривай.

Мать кивала обещающе и сквозь слезы со страстным вниманием глядела на сына — пыталась догадаться, какие темные силы ему угрожают.

Мирон жил на Солянке, в старом доме, на втором этаже. В том доме, что стоит на взгорке, на завороте Солянки к площади Ногина. Квартира была громадная, с

запутанными коридорами, с бесчисленными жильцами, в двух комнатах ютилась семья Мирона — отец с матерью и младшим братом в одной, Мирон занимал другую. Отец Мирона был адвокат, но какой-то мелкотравчатый, неуспешный, работал в области, мотался по электричкам и вид имел совсем не адвокатский — походил на заморенного жизнью провинциального счетовода, кладовщика, ветеринара, живущего на скудную копейку. И мать была вровень ему: такая же малоросленькая, согбенная, суетливая, с жилистыми руками судомойки и прачки. Они были добрые люди. И когда Антипов приходил к ним, он ощущал эту особую доброту бедных людей, которая во сто крат слаще доброты богатых. Его усаживали за стол, покрытый клеенкой, истертой и перемытой до такой степени, что рисунок исчез, осталась лысая белизна, наливали чаю, давали хлеб, кусочек сыру, ставили на середину стола блюдце с леденцами и расспрашивали Антипова о матери, о сестре очень дотошно и дельно, давали советы, радовались хорошим новостям, огорчались из-за дурных. Ни мать, ни сестру они не знали и никогда не видели, но интересовались их жизнью, как близкие люди. Отец Мирона передавал матери Антипова всякие советы, как писать заявления, кому звонить, куда идти. Мать Мирона передавала советы хозяйственные и медицинские. Она отлично знала особенности московских рынков, почему-то предпочитала Палашовский. Все в этой семье давали советы. Мирон говорил: «Коли обнял девушку, надо держать крепко. Как можно крепче». Даже тринадцатилетний Сенька давал советы, где покупать дешевые рассыпные папиросы.

Мирон будто стеснялся своих родителей. Всегда норовил поскорей утащить Антипова к себе. Половину его комнаты занимал обширный диван, покрытый ковром, на этом диване Мирон проводил большую часть времени: тут он валялся с книгами, тут размышлял, лежа навзничь, закинув ногу на ногу и куря трубку, тут по ночам, а то и днями происходило нечто, о чем Антипов не хотел думать. На диване впритык к стене лежало несколько подушек. Мирон говорил, что устраивает из подушек комбинации. Антипов не желал об этом знать. Здесь же на диване Мирон иногда работал — лежа на животе, писал карандашом в больших блокнотах, которые ему доставал отец. И здесь он сразу же развалился, как турецкий паша, подмял под себя подушки, запалил

трубку и приготовился слушать — Антипов не утерпел и напросился прочесть десять страниц рукописи, незаконченный рассказ. Всего будет страниц двенадцать. Так, ерунда, ничего серьезного, для газетки «Молодой москвич». Сусанна Владимировна сосватала. У нее там знакомый, некий Ройтек, недурной мужик. Спрашивается: если ерунда, зачем читать в двенадцатом часу ночи? Этой странности никто не заметил: ни автор, палимый изнутри единственным желанием п р о ч и т а т ь, ни хозяин дома, такой же воспаленный сочинитель, полагавший, что и он может вскоре, возможно этой же ночью, обрушить на гостя одну, две главы новой повести. Теперь он уж имел право на такой немилосердный поступок. Однако одно задело хозяина — почему Сусанна сосватала с Ройтеком Антипова, а не его?

И пока Антипов читал свои десять страниц, хозяин дома предавался размышлениям, как быть с Сусанной дальше и стоит ли, собственно, быть д а л ь ш е? В том, что Ройтека пронесли мимо, проявлено неудовольствие. Не приговорен же он к Сусанне, как раб к галере? Он человек вольный. Впрочем, не безгранично. От Сусанны можно освободиться, но от Сусанны Владимировны — опасно, да и нельзя.

Когда Антипов закончил чтение — Мирон почти ничего не понял, слушал вполуха, что-то о детстве, лирическое, с рекой и лодкой,— Мирон спросил:

— А что такое Ройтек?

— Ройтек? — переспросил Антипов.— Он завотделом. Мужик деловой, авторитетный, мне понравился. Разговаривал вежливо. Если, говорит, принесете к середине марта, попадете в мартовскую литстраницу. Да ну, ерунда! Я не верю. И газетка чахленькая.

— Это верно,— сказал Мирон.— Газетка чахленькая. Если уж начинать, то где-то по-крупному. А тут все равно что нигде.

«Завидует»,— решил Антипов. И спросил:

— Ну, а как тебе рассказик показался?

— Рассказик-то? Да рассказик подходящий. В самый раз для них. Чахленький.

Антипов хмыкнул. Ему самому, когда читал, рассказ понравился очень. «Вот так и надо! Я нашел что-то важное,— думал Антипов, обрадованный.— Недаром Мироша загрустил».

Мирон опять вскипятил чайник, принес в комнату: пили, разговаривали, спать не хотелось. Мирон допыты-

вался: отчего ссора с Валерием Измайловичем? Антипов отвечал глухо, желания рассказывать не было. Мирон приставал: как же так? Ведь он тебя любил? Приглашал в консерваторию? Давал деньги в долг? А вот так, пришлось дать по морде, оказался скотиной. Говорить о Валерии Измайловиче было несносно, зато хотелось рассказать, однако боялся, про Наташу. Ведь Мирон сердцеед, знаток, женщины к нему льнут — так он рассказывал о себе, Антипов безоговорочно верил. Мирон мог бы дать нужный совет, в чем Антипов нуждался. Ах, нет, нет! Не в совете дело, черт с ним, с советом, просто поговорить, открыться, выпустить пар... Томила охота исповедаться... Может, с этой тайной надеждой он и прибежал ночевать к Мирону, а не к тетке Маргарите... Но удерживало вот что — теперь-то Антипов знал! — Мирон человек легкомысленный, ради красного словца погубит родного отца, и тут была ловушка. Мечась между соблазном и страхом ловушки, Антипов во втором часу ночи стал все же помимо воли склоняться к соблазну. Он глухо пробормотал, что у него есть сейчас один кадр, который, вероятно, вполне, может быть, хотя и не точно, но довольно реально, не так уж плох.

— Для чего? — спросил Мирон.

— Ну, для любви, разумеется.

— Для любви или для плотских наслаждений?

— Я думаю все-таки...— Антипов умолк в затруднении, морща лоб.— Для того, вероятно, но и для другого тоже...— «Она бы услышала!» — подумал он, ужасаясь.

Мирон благородно предложил: если есть желание — рассказывай, если нет — будем спать. Он зевал и понемногу разоблачался, остался в трусах и в майке. По совести говоря, надо бы спать, но Антипова уже потащило — две недели назад увидел впервые в Зачатьевском переулке, в общежитии театрального института, привел Котов, у него там девчонка, Лана, а эта Лана живет в комнате с Викой, у которой подруга Наташа. Но Наташа живет не там. Она на Ленивке, возле набережной. Там у них какая-то шпана во дворе, чуть с ними не сцепился. Они бы измолотили. Наташа в черном трико, тоненькая, смуглая, изображала циркачку. Ее предки — ссыльные поляки, мать казачка. Она из Благовещенска. Очень талантливая. Играла с одним здоровенным усатым балбесом в тельняшке, он изображал силача — подымал якобы штанги и гири, надувал щеки, выпучивал

глаза, потом вдруг, забыв, что держит штангу, сморкался, а она, как у Пикассо, девочка на шаре. Потом балбес вырывал свое сердце, бросал ей, она им играла, как мячиком, очень здорово, нет, верно, девчонка талантливая. Только у нее, кажется, с этим усачом амуры...

— Ты ему крепко дал? — спросил Мирон.

— Кому?

— Валерию Измайловичу.

— Да при чем тут! Я рассказываю, а ты не слушаешь. Тут каждая подробность важна.

— Я слушаю. С усачом амуры...

Антипов умолк, обиженный. Тоже разделся, лег на раскладушке возле окна. Мирон погасил свет. Антипов, помолчав, спросил:

— Рассказывать или нет?

— Давай,— сказал Мирон.— Только ответь: ты ему дал, как я тебя учил? Крюком снизу?

— Ну тебя к черту,— сказал Антипов. И продолжал рассказывать. Главное, хотелось дать понять, что Наташа — необыкновенная. Она живет тяжелой жизнью. Платит за комнату триста рублей. Но и зарабатывает сама: выступает в клубах, в домах культуры с этим усатым. Да! Вышла комедия с Виктуаром! Все пришли к Лане и Вике, набилось человек десять, вдруг Кот изъявляет желание читать главу из романа. Нахально вынул рукопись, садится посреди комнаты и начинает: бу-бу-бу-бу! Что-то нудное. Все стали потихоньку смываться. Антипов и Вика сидят. Он к ним: а вы чего задержались? Освободите помещение! А? Остроумный малый! Это он чтобы с Ланочкой остаться вдвоем...

— Ты с ним не очень,— сказал Мирон.

Ну ладно, не в этом дело. Не о Котике речь. Вика ужасно разозлилась, а Наташа смеялась. Она что-то забыла в комнате, а назад-то пути нет — там заперлись. Сели на подоконник и стали ждать. Что-то важное, без чего Наташа не могла вернуться домой. Чуть ли не сумку с деньгами. А он просто так сидел, как товарищ Котова. Вроде бы его ждал. Разумеется, глупее глупого! Вика кипела от злости и наконец ушла. Остались вдвоем. Она спрашивает: не может ли Антипов, коли он занимается литературой, сочинить несколько реприз для эстрады? Репризы — это то же, что анекдоты, но в виде сценок. Чтобы усатый мог включить их в программу. Говорит: мой друг Боря хорошо заплатит, за одну репризу пятьдесят, за очень удачную сто. Антипову это,

конечно, не понравилось, но все же стал вспоминать разные анекдоты, то английские, то про сумасшедших, она знала все наперед, и вдруг — бац! Тихим голосом рассказала такой, что он ахнул. Хотя, конечно, не показал вида. Про вдову на похоронах. Медленно и печально. Да, уж это был анекдотец! Тут сразу стало ясно — не анекдот, а сигнал. Надо действовать. Вроде красной ракеты. И руку вот так на ее руку будто случайно кладет...

Послышалось легкое посвистывание. Мирон спал. Антипов повернулся на бок, лицом к окну, стал вспоминать и думать: как бы все это могло продолжаться. И скоро заснул. Ему приснилась Сусанна Владимировна, у нее были усы, липкие холодные руки, вдруг она пришлепала босиком к кровати Антипова, разбудила его легким толчком в плечо и сказала: «Тепло, светло, и мухи не кусают». Ему пришлось подвинуться, и она легла рядом с ним на узкую кровать, что было неудобно. Было холодно, он чувствовал, как рука Сусанны Владимировны дрожит. Душил приторный запах одеколона. Отвратительно было дышать этим запахом, он отодвигался к стене, все ближе, вплотную, Сусанна Владимировна двигалась за ним, не отпускала его, прилипала к нему, как сырая простыня, и шептала в ухо: «Тепло, светло, и мухи не кусают». С яростью ударил локтем, Сусанна Владимировна скатилась с кровати на пол, он бил ее ногами, она уползала, пряталась, хрипела из-под стола задавленным шепотом: «Человек, который не спал с женщиной...»

Мирон дал совет: пускай Борис Георгиевич напишет два слова или хотя бы позвонит Ройтеку. Рассказ был закончен, назывался «Река и лодка» и казался Антипову если не шедевром, то лучшим из того, что им создано в жизни. А иной раз мерещилось — шедевр! Нет, что верно, то верно, рассказ получился. В нем были тонкие описания, как у Паустовского, и разговоры незначительные, но со смыслом, как у Хемингуэя. Это был, в сущности, р а с с к а з н и о ч е м. Не все понимали такую прозу. Мать и сестра, когда он прочел им рассказ ночью на кухне, были озадачены: мать в смущении призналась, что не все расслышала, а сестра сказала, что рассказ хороший, но скучный. Зато тетка Маргарита, которая печатала рассказ на своей машинке

пришла в восторг и изумление: «Шура, ты чудно пишешь! Как Анри де Ренье! Я так любила Анри де Ренье!» Тетка Маргарита понимала в литературе больше, чем мать и сестра. Ее покойный муж работал в издательстве. В квартире тетки Маргариты, где Антипов нашел пристанище, книг было немного, но все ценные — издательства «Академия». И кроме того, тетка работала машинисткой, печатала рукописи писателям и драматургам. Через свою знакомую она немного знала Бориса Георгиевича. Непонимание сестры и матери совсем не огорчило Антипова, а восторг тетки Маргариты его ободрил. Мирон не говорил теперь, что рассказ чахленький, но и хвалил сквозь зубы. Однако совет дал мудрый! В делах практических он гений, это неоспоримо. А как мгновенно Мирон сообразил, что делать с Наташей! «Ты ее пригласи в субботу ко мне. Я кое-что почитаю. Скажи, мой друг будет читать репризы. Сочиняет замечательные репризы. И все будет в порядке, положись на меня. Старики уедут в субботу в Малаховку».

Вечером на семинаре Антипов напряженно размышлял, как подкатиться к Борису Георгиевичу. Совет-то был мудрый, но выполнить нелегко. С Борисом Георгиевичем все было нелегко. То он болен, то неразговорчив, то раздражен. Как попросишь? Однажды сказал: «Вы, друзья, обязаны пробиваться сами. Как мы пробивались. Ни на кого не надеясь. Литература — это не служба, куда поступают по знакомству». А сам, между прочим, помогал Квашнину. Носил его рукопись в журнал, хлопотал, дошло до верстки, да почему-то не выгорело. Главный редактор срубил. Бедного Толю называют «автор нашумевшей верстки». Толю неизвестно почему любит, к Володе Гусельщикову доброжелателен, к Эллочке тоже — что странно, она совсем уж инфузория! — а к остальным равнодушен. Правда, ребята говорят: если на него нажать, он сделает.

Антипов размышлял, томился, плохо слушал, ребята бубнили свои замечания, автор только что прочитанного рассказа, бледный, раздавленный, чиркал слабой рукой в блокноте, Сусанна Владимировна вела по обыкновению дневник в толстой тетради самодельного переплета — вести дневник было совсем не обязательно, сидеть ей тут тоже было не нужно, однако она усердно записывала все речи Бориса Георгиевича, его замечания и шутки,— а Борис Георгиевич, куря трубку, смотрел в окно. Настроение у него, как видно, было плохое.

Когда все кончилось и надо было решаться — просить Бориса Георгиевича или нет? — Антипов пал духом и склонился к тому, что просить нельзя, дурная минута, а просить позже нет смысла, поэтому все отпадает, но вдруг выступил Мирон.

— Борис Георгиевич, а вот у Антипова,— начал он тоном ябедника, тыча в Антипова пальцем,— есть к вам просьба. Только он стесняется. Видите, покраснел? Достоевский написал бы: покраснел как рак...

Борис Георгиевич бегло, без особого интереса взглянул на Антипова. Тот, пораженный новым предательством Мирона, стоял как в столбняке.

— Какая же просьба, Антипов?

— Он лишился дара речи. Я объясню: у него есть новый рассказ, очень приличный. Ему что-то обещают в одной газете, но, так как он лопух и не умеет делать дела, рассказ своим ходом не пройдет. Если бы хоть два слова или, может быть, звонок, чтоб подтолкнуть...

— Кому звонок?

Вокруг стояли члены семинара и слушали замерев. Всем было любопытно, чем кончится разговор. Большего испытания придумать было нельзя. Антипов мертво глядел в пол.

— Есть такая газета «Молодой москвич». Ну, не бог весть что, конечно. Там выпускают литературную страницу...— разглагольствовал как ни в чем не бывало Мирон.— И есть там товарищ Ройтек, завотделом...

— Ройтек? — спросил Борис Георгиевич, и его рука, державшая шляпу, стала медленно подниматься. Он надел шляпу и сказал: — Ройтеку я звонить не стану.

Поклонился и пошел к выходу. За ним устремились, как всегда, Эллочка и Толя — проводить до Бронной. Мирон обнял Антипова за плечи, тот резко стряхнул руку. Быстрыми шагами, не оглядываясь, грохоча рабочими заводскими ботинками, побежал по коридору. Мирон что-то кричал сзади. Антипов мысленно клялся: порвать с ним раз и навсегда! Когда пробегал в ярости, в унижении и в стыде, никого не видя, мимо двери канцелярии, раздался властный крик Сусанны Владимировны:

— Антипов! Зайдите ко мне!

Он шагнул в распахнутую дверь. Сусанна Владимировна смотрела улыбаясь и качала укоризненно головой. Жестом показала Антипову, чтобы сел напротив. Когда Сусанна Владимировна сидела за обширным сто-

лом, она выглядела стройнее и выше, вид имела царственный, особенно царственной была высокая шея, как на почтовых марках с изображением королевских особ. Антипов тупо смотрел на прекрасную шею Сусанны Владимировны и слушал шепот:

— Вы это зря затеяли. С Ройтеком я поговорю сама. У них там сложности. Не надо было, не посоветовавшись. Но мне нужно с вами о другом. Только не здесь. Можете прийти ко мне домой?

— Могу,— сказал Антипов.

— Завтра можете? Приходите завтра. Я буду весь день дома. Сразу после занятий, хорошо? — Она протянула руку и крепко встряхнула руку Антипова. Что-то в ее повадке было такое обнадеживающее, товарищеское, отчего Антипов успокоился и пошел в раздевалку, насвистывая.

Заболела тетка Маргарита, ухаживать за нею пришла дальняя родственница, а Антипова отослали к матери. Как-нибудь переночует. Хотя бы на кухне. К Мирону не пойдет ни за какие коврижки! Дома было уютно, мирно, славно, пекли оладьи, стоял сладкий праздничный запах, трещало масло, пахло как до войны, когда жили без карточек, и мать с сестрой громко о чем-то судачили, смеялись: оказывается, Фаина с дочкой уехали к брату матери на неделю, а соседка Околелова — в командировку. Так что квартира принадлежала Антиповым, кроме комнаты Валерия Измайловича. Этот тип был дома. Гладил на кухне брюки. Он ходил по квартире в полосатых пижамных штанах, в майке и босиком. Мать старалась на него не смотреть и с ним не сталкиваться, а сестра, наоборот, испепеляла его презирающим взглядом. Но они ничего не знали. Антипов им не рассказал.

— Шура, я ухожу до завтрашнего вечера, так что берите ключ,— вдруг заговорил Валерий Измайлович совершенно спокойно, будто ничего не случилось.— Пожалуйста, можете ночевать. Только возьмите чистое белье...

Антипов смотрел на него с изумлением. Круглое печеное личико в седом бобрике еще носило след ночной схватки — тщательно запудренный под глазом синяк.

— Вы меня простили? — спросил Антипов.

— Шура, вы же знаете, я не могу сердиться на вас.— И помолчав: — Долго...

Он протягивал ключ. Антипов качнул головой. В немигающих глазах Валерия Измайловича стыло темное собачье выражение — готовности ко всему.

— А вы меня не простили? — тихо спросил Валерий Измайлович.

— Нет...— пробормотал Антипов.

— Жаль. Я добрее вас. Ну, бог с вами! Значит, не нужно? — Он покачивал ключом на веревочке.— Знаете, что удивляет: ведь вы хотите стать писателем, а совсем не способны проникнуть в душу другого человека...

На другой день сразу из столовки, которая находилась рядом, на бульваре, Антипов побежал к Сусанне. Она жила через два дома, ближе к Тимирязеву. Антипов бежал, охваченный тайным смятением: было ясно, что Сусанна Владимировна пригласила неспроста. Какой-то тут был умысел. Антипова преследовало воспоминание о кошмарном сне на квартире у Мирона, когда Сусанна Владимировна, превратившаяся в Валерия Измайловича, шептала: «Тепло, светло, и мухи не кусают». Воспоминание не исчезало, постепенно меняясь, превращаясь из гадости в нечто приторное, но сладкое. Среди дня вдруг всплывали подробности: голая рука Сусанны Владимировны, круглый и мощный торс, статная шея с почтовой марки. И в те мгновения дневного сна, когда в памяти возникали картины, все чудовищно перепутывалось и он сам не мог бы сказать, кого бил локтем в сырой живот, кого загонял под стол: Сусанну Владимировну или Валерия Измайловича? Надо всем реяла мысль о Наташе. Но это было другое.

Антипов бежал по обледенелой аллее бульвара и думал: если бы Сусанна отдала свою прекрасную шею, но не стала бы требовать Наташу, он бы согласился. Чем ближе был дом с граненым стеклянным подъездом, тем сильнее Антипова охватывал страх. И когда увидел Сусанну в коротком халате, с почти голой грудью, с крепкими, как бутылки, толстыми в икрах ногами и босиком — как Валерий Измайлович! — сердце Антипова безнадежно заколотилось. В руках Сусанны была мокрая тряпка. Происходила уборка, протирка мебели, обмахивание книжных полок. Антипов сидел на краю дивана, смотрел то в окно, то на книги, то на живые, обегающие мощную выпуклость складки халата и слу-

шал: с Ройтеком она поговорила, рассказ будет напечатан, надо только переделать и сократить.

Она села на диван, положила на колени тряпку. Вошла седая женщина с папиросой во рту, глянула черным пронзительным оком и сказала: «Саночка, не забудь, что придут гости». Сусанна Владимировна кивнула и, подождав, пока женщина выйдет, сообщила шепотом: получено неприятное письмо. На имя директора. От некоего Селиманова, соседа по квартире. Он информирует, что Антипов враждебно настроен, читает недопустимые книги, например эмигранта Бунина, что его мать живет без прописки в Москве. Верно это или оговор? Антипов сказал: верно.

— Почему не написали, Шура, про мать? — шепотом ужаснулась Сусанна Владимировна.

— Потому что меня бы...— шепотом ответил Антипов и осекся.— Сами понимаете почему.

— А что ж теперь делать, Шура, милый? Отдавать это письмо нельзя. Хорошо, что оно попало ко мне, а не к Лене. Может, все и обойдется. Ладно. Выброшу его к чертовой матери, порву на мелкие кусочки. Хорошо?

Она всматривалась в него с испуганным и жадным вниманием, будто от его ответа все зависело. Но Антипов не знал, как поступить. Наверное, порвать на мелкие кусочки лучше всего. Он видел: под вырезом халата клубилось белое, полное, пышное, без возраста, что Сусанна Владимировна позабыла прикрыть, но не замечал и не понимал того, что видит. Мысли гнали его домой. Тот сказал: тепло, светло, и мухи не кусают, и от этого случилось непоправимое. Потому что мухи кусают, иногда смертельно. Например, мухи цеце.

— Кто этот Селиманов?

— Никто. Где-то вкалывает. Я его недавно побил. Теперь, наверно, побью как следует.

— Нет! Вы с ума сошли! Вы и меня погубите, и себя. Ни в коем случае. Я страшно рискую...

— А для чего рассказали?

— Для того, чтобы вы знали. Надо знать. Я попробую скрыть, но человек особой злобности захочет проверить результаты и напишет еще раз. Какого рода эта сволочь, особо злобная или так себе, средне?

Антипов вспомнил тоскливое, собачье выражение глаз Валерия Измайловича и сказал:

— Средне.

Провожая до двери, Сусанна Владимировна вдруг, всхлипнув, ткнулась лбом в плечо Антипова, зашептала:

— Господи, как мне вас жаль! — И громко, обычным властным голосом, каким разговаривала в канцелярии: — А Роме Ройтеку в редакцию позвоните сейчас же! Там нужны поправки! Желаю успеха!

Антипов вышел на улицу, пересек бульвар, сел в трамвай, который шел в сторону Чистых прудов, при этом толком не соображал и даже забыл, куда едет. Он сел в трамвай для того, чтобы куда-то поехать. И так наугад он поднялся на третий этаж шумного грязноватого старого здания, которое недавно вызывало трепет, а теперь он двигался по его коридорам машинально, не глядя по сторонам, и ткнулся в беленую, как в больнице, хлипкую дверь в полустеклянной перегородке в конце коридора. Ройтек был кудлат, седовато-рыж, но молод, краснощек, вострый нос вскидывал высоко, смотрел через очки цепко, разговаривал быстро, трубку держал криво в углу рта, что придавало лицу лихое, несколько ковбойское выражение. Ничуть не удивившись появлению Антипова и не сказав ни слова приветствия, даже не предложив сесть — что не было, разумеется, проявлением грубости или неуважения, а означало лишь крайнюю, обыкновенную в газете степень занятости, к чему молодой литератор должен безропотно привыкать,— Ройтек тут же протараторил категорические требования: сократить вдвое, убрать описание реки, убрать смерть родителей, ввести отъезд на стройку. И, наконец, плавание должно стать прощанием. Если будет готово за два дня, пойдет в мартовскую «страницу». Почему-то Антипов понял, что возражать бесполезно, следует сказать «слушаюсь!» и бежать опрометью делать исправления. Но как можно сокращать и переделывать рассказ ни о чем? Кроме того, Антипов никогда не уезжал на стройку и не знал, как это происходит.

— Какое прощание вы имеете в виду? — спросил Антипов.— Героя с девушкой?

— Пожалуй, нет. Пусть уезжают оба. Сделай так: они уезжают на стройку оба. Прощание с родными местами.

Антипов в ошеломлении смотрел на рукопись, сворачивал ее, разворачивал, не находя сил ни уйти, ни сказать что-либо решительное. Наконец пробормотал:

— По-моему, это значит уничтожить рассказ...

— Почему же? — спросил Ройтек и, вынув трубку из угла рта, но держа рот по-прежнему криво, выпустил дым в лицо Антипова.

— Роман Викторович, есть вещи, которые не поддаются...— Антипов продолжал стоять, хотя надо было бы уйти. Ройтек вновь окатил его струей дыма. Антипов подумал: он меня выкуривает. Бальзак говорил: в искусстве главное — выдержка. Выдержка, о которой чернь не подозревает. Глухо, но с неожиданным упрямством Антипов проговорил: — Понимаете, Роман Викторович, этот рассказ ни о чем. Его надо принимать или не принимать. Не все поддается переделке.

— Вздор! Поддается все. Запомните, молодой человек, все настоящее переделке поддается, а то, что не поддается, чепуха и гниль. Только гниль не выдерживает и расползается. Добротный материал всегда можно перелицевать.

Антипов задумался, потом сказал:

— Нет. Я не согласен.

— Вы, кажется, занимаетесь в семинаре Бори Киянова? Вот пусть он вам расскажет, сколько раз он переделывал «Звезду-полынь». В первом варианте это было нечто совершенно иное. Кстати, передайте ему сердечный привет!

— Передам. До свидания.

— Постойте! А нет ли у вас чего другого?

Антипов ответил язвительно:

— Боюсь, для вашей газеты ничего подходящего нет. Впрочем, есть какие-то юмористические рассказики. На первом курсе писал.

— Юмор? Тащите! Юмор нужен всегда!

Ройтек ободряюще потряс Антипова за плечи, одновременно легонько направляя его к дверям.

Придя домой, Антипов перерыл все ящики стола — в общей комнате в углу стоял его маленький письменный стол, редко теперь служивший делу отечественной словесности, потому что в комнате всегда кто-нибудь торчал, серьезно работать было, разумеется, нельзя,— но ничего из тех рассказиков не нашел. По-видимому, сжег их со всем мусором год назад. Однако у сестры сохранился случайно экземпляр рассказа «Колышкин — счастливый неудачник», на студенческую тему, и Антипов отвез пять пожелтевших, из папиросной бумаги страниц на Чистые пруды. Он надеялся, что Ройтек

пробежит глазами тут же: подумаешь, пять страниц! Но у того не было лишней минуты. Он кивнул и сунул папиросные листочки в стол.

Антипов притащился домой через силу. От мглы и влаги нечем было дышать. Почерневшие сугробы дымились, воздух был сыр и душил испариной. Померили температуру — тридцать восемь и пять.

Он болел неделю. Первые три дня трепало люто, до отшиба памяти, потом стало полегче, но тяжелей оттого, что одолевали мысли. В них ничего хорошего не было. Как только яснел ум и крепла память, возвращалось то, что отлетало в часы дурноты: безнадежные встречи с Наташей, их было три, не сулившие ничего, сообщение Сусанны, страх за мать, неудача с рассказом. Пыточность мыслей состояла в том, что он не мог — не было сил — размышлять подробно и в отдельности, а все купно, сплавом, давило монолитной плитой, из-под которой спастись не помогали ни порошки, ни отвар шиповника, ни драгоценный новейший пенициллин, добытый с громадным трудом через знакомых теткой Маргаритой. Тяжким комом катилось все вместе — он неудачник, женщины таких не любят, мать должна уехать куда-то, поэтому усатый Боря в тельняшке так же отвратителен, как Ройтек, как Валерий Измайлович, который совершил гнусное предательство, за что Мирона били ногой, он молчал, потому что знал, за что бьют, это плохо, бить ногой человека нельзя, непоправимая глупость, Мирон мог дать хороший совет, и он любил Антипова, так мало людей любят Антипова, а теперь исчез навсегда, если бы не держать силою ее руки и не прижимать к себе, она бы поцеловала сама, как тогда, в первый раз, на Ленивке, но он испортил, все уничтожил, она боится Борю, теперь все пропало, он замучился ждать на улице полтора часа, и потом еще она говорит: «Я не люблю Чехова, мне его скучно читать...»

Выплыв однажды из дрема, Антипов увидел сгорбленного человека на коленях возле кровати, трясущего желтой плоской головой. Человек оказался Валерием Измайловичем. Бормотал что-то совсем непонятное, а Антипов, привстав, слабо махал на него рукой, отгоняя. Валерий Измайлович все пытался антиповскую руку поймать, но ртом, губами, отчего рот его был открыт

и он головою вздергивал наподобие собаки. «Бейте меня, Шура, колотите меня... Я последний негодяй перед вами... Бейте! Бейте!» — дергал головою Валерий Измайлович. Антипов хотел спросить: для чего он возник тут, в темной пустой комнате? Когда вечер? Когда все куда-то ушли? Валерий Измайлович сам пытался объяснить, губы прыгали, зубами щелкал, городил чушь: «И я ведь... Отец был коннозаводчик... Все я знаю... Зачем же я негодяй? — Вдруг захрипел, заплакал, еще сильней согнулся, почти головою в пол. Было его жаль. Но как во сне: ни сказать, ни сделать ничего нельзя. А может, то и был сон.— Все оттого, Шура... Сами знаете... Прости меня, Шура! Бей! Прости!» — И опять антиповскую руку ртом ловил. Исчез куда-то.

Когда снова вытряхнулся Антипов из забытья, никого нет, одна мать за столом, по клеенке пальцами водит, крупу перебирает. Так и не понять, был он тут или померещилось? Другой раз проснулся и увидел Мирона — сидит на кровати.

— Ну, как дела, обормот? — хлопал с дурацкой силой Антипова по плечу.— Оклемался?

— Ты откуда? — испугавшись, спросил Антипов.

— Пришел на вас посмотреть. Мордочка похужала, но ничего. Жить будете. А между прочим,— понизив голос,— о вас наводят справки.

— Кто?

— Одна особа. Из одного заведения. Учебного, я имею в виду. Виктуар допытывался: где ты и что с тобой? Я кратко объяснил.

— Ну?

— Все. Его просили узнать, удивлялись, что вы пропали.

— А...— Антипов закрыл глаза. Накатил легкий жар. Помолчав, сказал: — Она сказала, что не любит Чехова.

— Это худо. Это не годится.

— Да. Я огорчен. Мне это очень не понравилось.— Антипов лежал с закрытыми глазами. Он был рад тому, что Мирон пришел.

Клуб находился на окраине, за Краснопресненскими прудами, надо ехать трамваем, потом плутать черными ночными переулками, мимо заборов, складов, в приречной котловине. Вся вода Москвы, все выжатые

сугробы, мокрые снега стекались сюда. Антипов прыгал по лужам, попадал в воду по щиколотку, чертыхался, радовался, ничего не замечал и думал о том, как он Наташу изумит. Она сказала: найти клуб невозможно, надо быть следопытом, к тому же родившимся на Красной Пресне. Но он выманил адрес. Зал был большой, пустоватый, люди сидели не в первых, а в задних рядах, переговаривались, перекрикивались, скрипели креслами, то и дело хлопали двери, в зале шло какое-то свое действие, на сцене свое: опять усатый богатырь в тельняшке подымал штангу, опять сморкался, вырывал сердце, перебрасывал из ладони в ладонь, как пылающий уголь, опять тоненькая, в черном трико с черными глазами на шафрановом яблочном личике танцевала, играя с невидимым сердцем...

— Ты пришел? — Улыбалась, глядя на него обведенными тушью громадными красивыми глазами.— Молодец! Я рада.

— Вы Наталью проводите? — спросил Боря.

Антипов закивал поспешно:

— Разумеется, провожу!

— Тогда я исчез.

И правда он исчез колдовским образом, мгновенно, посреди улицы. Правда, на улице не было ни одного фонаря. Дома с погашенными окнами тоже исчезли. Из дождевого мрака выползал вяло громыхающий трамвай. Наташа сидела напротив не улыбаясь. Она перестала улыбаться, как только Боря исчез. В трамвае ехали долго, Наташа рассказывала об училище, о подруге, которая снималась в кино, теперь ее приглашают в театр, о том, какой талантливый Боря, и о том, что она сама ни о чем не мечтает, кроме того, чтобы просто жить в Москве. Все равно как. Пускай даже не артисткой. Незаметно доехали до центра, народ прибывал, тетка вдвинулась между Антиповым и Наташей, разговаривать стало нельзя. Антипов уступил тетке место и встал над Наташей, загораживая ее от напора людей. Было приятно загораживать ее от напора людей. Он смотрел на темно-зеленую, с поднятыми вверх полями и ямкой посередине шляпку Наташи, узкий, из черного меха воротничок, на тонкие руки, совсем детские, устало лежавшие на коленях, без перчаток, и незнакомое чувство обнимало его, как первый в жизни хмель...

Во дворе дома на Ленивке захотел ее обнять, как

тогда, она уклонилась, ушла в подъезд, он смело пошел за ней и там, в темноте под лестницей, крепко взял за плечи и, ни слова не говоря, стал целовать. Она стояла как неживая. Но и не делала попыток вырваться. Потом он понял, что ей это нравится, она осторожно положила руку на его плечи, обняла за шею, стала сама целовать робко, потом горячей, искусней, ошеломительней, потом с такой страстью, что его это поразило, хотя он не показал вида. Он не предполагал, что поцелуи могут быть такими. Казалось, что все целуются одинаково, ничего нового тут придумать нельзя. Но то, что она делала губами и языком, было необыкновенно. Ничего похожего в жизни Антипова не случалось. Они стояли под лестницей, может быть, полчаса, не разговаривали, только целовались. Антипов чувствовал, как у него распухли губы. Наконец она шепнула:

— Прощай...— И побежала по лестнице. Остановившись наверху, спросила: — Ты завтра не придешь? После занятий?

— Приду.

— Можешь немного помочь?

— Могу.— Он мог все.

Надо было перевезти пианино. Из квартиры, где жила родственница Бори, недавно умершая, в дом на Ленивке. Антипов позвал Мирона, а Боря был с долговязым приятелем по имени Левочка. Антипов хотел, чтоб Мирон взглянул опытным глазом на Наташу и на усатого Борю и сказал бы — что все это значит. Можно ли страстно целоваться и одновременно любить другого? Необыкновенные поцелуи под лестницей не давали Антипову ночью спать. Мирон осведомлялся деловито, как осведомляется доктор о симптомах болезни: Антипова приглашали в дом? Сам он делал попытки? Хотел ли как-то развить то, что было достигнуто под лестницей? Что именно сказал Боря, когда прощались? Антипов добросовестно отвечал. Понимал, что чем точнее ответы, тем правильней будет диагноз. «Сами по себе поцелуи любого качества не означают ровно ничего»,— заявил Мирон. Антипов огорчился. Ему казалось, что *такие* поцелуи должны все же кое-что означать. «Очень минимально. Почти ничего. Для нее это рутинное дело». Как ни был Антипов подозрителен, как ни помнил про склонность Мирона к мелким козням, он, омрачившись, почуял: проклятый сердцеед прав. Никуда эта волна не вынесет. Вчерашние страсти умрут под

лестницей. Гибельным роком прозвучало: «Вы Наталью проводите?» И затем исчез с несокрушимым спокойствием.

Нет и в помине прежнего, ни в голосе, ни во взглядах, ни в бледном, желтоватом, нежном, замороженном, чуть раскосом лице с бесцветными лепестками губ — да было ли, боже мой? Стоя на площадке в халатике, дрожа от холода, шепчет в волнении:

— Мальчики, хочу вас предупредить... Только чтоб Боря не знал... Не давайте ему ввязываться, он ужасно горячий, начнет их кидать, а они его... Кулаками не смогут, ножами убьют...

Боря приехал с грузовиком. Был мрачен, оделся как работяга — в грязный ватник, в сапоги. Прыгнул в кабину, трое перелезли через борт в кузов. Антипов пока еще ничего не понимал. В кузове долговязый Левочка объяснил: у Борискиной жены померла бабка, совсем чахлая, обнищалая, а когда-то жила хорошо, в богатстве, муж был в промкооперации. А разве у Бориса жена? Как же, есть, зараза, Матильдой зовут. Она свою бабку знать не хотела, никогда ни яблочка, ни рубля, а у бабки другой родни нету, ну и доходила по-тихому. А тут Наташка явилась, душа-человек, стала ее жалеть, приезжала к ней, то да се, и безо всяких расчетов, просто от жалости. Она ведь девчонка жалостливая. Ничего ей не нужно, только дай пожалеть. Уж он-то знает. Он ее и с Бориской свел. Сделал очередную глупость. (Левочка махнул рукой в досаде и замолк, переживая. Его серое продолговатое лицо уличного дебила с непомерно тяжелым подбородком и черными глазками в глубоких глазницах уныло качалось от тряски грузовика и от переживаний.) Бабка ее, конечно, полюбила и, помирая, оставила бумагу: всякую мелкую дребедень Матильде, заразе, а пианино Наташке. Потому что Наташка на ней играть умеет. Я, говорит, на ней играю, а бабка плачет. Ну, еще книжку нашли, сорок три рубля, неизвестно кому, это Матильде пойдет, как ближней наследнице, а тут еще дальние налетели, про них слуху не было. Как старуху переворачивать, простыни менять, да щи варить, да на бандуре играть, никого нет, а тут как псы сбежались, всю комнату перерыли, деньги искали. Матрацы пороли, паркет поднимали, во дураки. Кто-то болтнул, будто бабка богатая. Не может, говорят, быть, чтоб не наворовала. А мы не знаем, чего когда было, да только теперь пусто! Теперь требуют:

бандуру продать и деньги делить. А бумага, дескать, не годится, потому что бабка на последнем году тронулась. Наташке на это дело чихать, она ее от души жалела, ничего ей не надо, а Бориска — нет! Он дарма не отдаст. Он им бандуру не уступит. Давай судиться, рядиться, а пока у Наташки постоит, как покойница желала.

— Вот и едем брать долю,— закончил Левочка и, выпятив серый тяжелый подбородок, плюнул через борт.

— Это значит — кольем запасаться, кирпичами? Драка будет? — спросил Мирон.

— Да ну...— сказал Левочка.— Отдадут. С ним не поспоришь.

Проехали мимо рынка, народ теснился в воротах, мелькнули бабы с красными, зелеными искусственными цветами, улица пошла ухабистая, как в селе, по обеим сторонам деревья, на тротуаре под деревьями все стояли бабы и ребятишки с букетами, поблизости было кладбище, и вот свернули куда-то в еще более деревенскую улочку и медленно вкатились во двор двухэтажного дома. С лаем кинулась к машине собака. Простоволосая женщина в черном пальто внакидку, в галошах на босу ногу стояла в дверях с мусорным ведром. Поглядела на грузовик, на вылезающего из кабины Борю и сказала неприязненно:

— А их нету.

— У меня ключ,— сказал Боря жестким голосом.

Женщина качала головой, глядя на прыгавших через борт. Пошли на второй этаж. Левочка нес лямки. Антипов видел такие лямки и сам ими пользовался на заводе, когда таскали станки. Ему хотелось выглядеть бывалым человеком и здоровяком, особенно в глазах Бори. Поэтому он рвался вперед, скорее в дело, и шел за Борей следом, а Левочка и Мирон шли сзади.

— Ну и втравил ты меня...— бурчал Мирон в спину Антипова, поднимаясь по лестнице.— И что я за обормот? Мне это нужно? А тебе нужно?

Боря возился с ключом в дверях.

— Любишь работать на дядю? — шептал Мирон.

— Почему на дядю?

— Абсолютно на дядю.

— Заткнись...

Ключ не открывал. Боря ругался шепотом:

— Суки, замок заменили... А ну! — Отойдя шага на

два, кинулся мощным носорожьим корпусом в дверь, она треснула и распалась.

В угловой комнате стоял запах гнилой воды, нафталина, смерти. На полу валялось много бумаг, какие-то веревки, пуговицы, фотографии. Оторвавшийся от проволочной ветки розовый бумажный цветок. Тряпка висела на зеркале. Забыли снять. Поднятый на попа, стоял располосованный матрац с клочьями ваты. После смерти человека издыхали вещи. Пианино, за которым приехали, было отодвинуто от стены — за ним искали. Оно было убогого вида, серо-черное от пыли. Подняли, потащили. Антипов первый схватил лямки и пошел передом. Боря сзади, Левочке и Мирону делать было нечего. Они подмостились помогать на лестнице.

— Я не жлоб... За Наташку обидно...— хрипел Боря.— Сколько она из-за старухи времени отняла у себя, у меня... А у самой ни шиша нет...

— Женщину надо обеспечивать,— сказал Мирон.

— Верно,— согласился Боря.— Вот и берем законное. Чтоб не пропадало.

Белесый парень в телогрейке, такой же мазутной, как у Бори, разговаривал с шофером. Рядом стоял старик с пегой кривой бородой, а поодаль кучкою жались к стене женщины. Белесый парень оглянулся и сказал:

— Мы тебе макитру пробьем. Артист хренов.

— Иди, иди,— ответил Боря.

Старик с кривой бородой вдруг закричал визгливо:

— Самоуправничать! Не дозволяю!

— Тихо! — крикнул Мирон и погрозил старику пальцем. Шофер вылез из кабины, стали впятером громоздить пианино в кузов. Толкали его по доскам. Валил сырой снег. Женщины что-то кричали. Мирон и Левочка кричали в ответ. Антипову было не совсем ясно: хорошо он делает или нет? Зачем это нужно? Одно понимал — она попросила, и он старался сделать как можно лучше. Было когда-то в лесу — ушел в чащу без дороги, все дальше, дальше, в буреломы, в густоту, и вот уже все кругом незнакомо и неизвестно зачем. В комнате на Ленивке Наташа плакала, обнимая Борю. Антипов и Мирон напились водки. Левочка с Борей ругался, требовал, чтобы тот вернул какие-то книги, Боря говорил: «Отстань, шизофреник!» Ничего не помня, кроме того, что Наташа целовала его, прощаясь, Антипов вышел на угольный двор, сел на что-то деревянное и мокрое. Давила немыслимая усталость. Не знал, как

от этой усталости спастись. Ему казалось, что усталость можно разодрать на себе и сбросить, как мокрое платье. В темном провале ворот, что вели на Ленивку, стояли кучкой люди, курили и разговаривали.

Антипов сидел, поеживаясь, норовя стряхнуть мокрое, и ждал, что в дверях подъезда появятся Мирон, Левочка и Боря, но никто не появлялся. Главное, надо было, чтоб появился Мирон. У него спросить: ну что? Какие впечатления, черт побери? И Антипов упорно и терпеливо сидел. Прождав полчаса, он побрел через ворота и оказался на улице, где ему понравилось — тут было хорошо освещено. Витрина магазина сияла огненно. Тут можно было еще немного подождать, и Антипов пересек улицу, на другой стороне удобно сел на какое-то железо. Надо непременно дождаться Мирона. Вода текла вниз к набережной и едва уловимо клокотала. Антипов увидел, как из ворот выбежал человек, за ним бежали трое, остановились перед витриной магазина, стало хорошо видно. Один на голову выше троих. Некоторое время разговаривали, потом маленький вдруг присел за спиной высокого, другой толкнул высокого в грудь, тот упал навзничь. А третий, стоявший сзади, ударил с разбегу и со всей силой упавшего ногой по голове, как бьют по мячу. Трое убежали, один остался лежать. Люди, выходившие из магазина, останавливались возле лежащего, и скоро вокруг него собралась толпа.

Почему-то он оказался в доме на Тверском, там были Мирон и Левочка, громко орали, кипятились, спорили друг с другом, звонили в больницу, ничего не могли толком узнать. Мирон ругался по телефону и кричал, что будет жаловаться. Сусанна вспомнила знакомого, который работал в больнице, нашли телефон, дозвонились. Он там уже не работал. Назвал другую фамилию: доктор Малюткин. Мирон и Левочка пропали. Мирон не успел ничего сказать, кроме загадочного «Твоя кличка — отвались!». Антипов и Сусанна вдвоем продолжали звонить: то занято, то никто не отвечал, наконец ответили: состояние крайней тяжести. Наташа была там, откуда отвечал голос, и Антипову казалось, что он слышит плач. Велели позвонить через три часа. Это значило: в два ночи. Антипов не мог развязать шнурок, дернул, разорвал. Погас свет. Кто-то стучал

в дверь. Она помогала и говорила: «Дивно! Дивно!» Было не так, как он предполагал. Было стыдно своей худобы, впалого живота. Ровно в два она зажгла ночник с розовато-оранжевым колпаком, зашлепала к столу, стала звонить: без очков он туманно видел, какая она большая, розовато-оранжевая, с просторной спиной, с высокой шеей, как на почтовых марках. Она сидела вполоборота, положив одну розовато-оранжевую ногу на другую, и покачивала ею. Соединили сразу, опять состояние было крайней тяжести. Потом она вышла в коридор, там кто-то ходил, скрипнула дверь, донесся шепот: «Ты приняла лекарство?» Она скоро вернулась, покурили, выпили холодного чаю и погасили свет.

Ранним утром он брел по ветреному сырому бульвару, вдруг будто что-то толкнуло, остановился возле газетной витрины и увидел: «Колышкин — счастливый неудачник». Фельетон Александра Антипова. Прочел весь фельетон от строчки до строчки — все было, как он написал. Он обрадовался, но ненадолго. Придя домой, лег на кровать сестры и проспал до вечера.

Борис Георгиевич сказал: это пока еще не рассказ, а оболочка рассказа. Нужно наполнить оболочку содержанием, то есть мотивировками. Тут нет главного: почему, собственно, человеку пробили макитру? Как мы дошли до жизни такой? Все имеет причины, чаще невидимые. Но вы должны видеть цепь. Антипов думал: разве кто-нибудь объяснит, почему она появилась и почему исчезла?

ЯКИМАНКА

1

Ночью разгружали баржу с боеприпасами в речном порту, на рассвете поехали в казарму, тесно сидели на скамейках вдоль бортов в закрытом кузове, одни дымили махрой в потемках, другие дремали, все были измучены ночной работой, и на полпути, когда проезжали Большую Калужскую, я выскочил из автобуса и побежал к Плетневым. Снег нелепо белел на тротуарах,

по которым в сторону центра шли люди. Несмотря на рассветный час, людей было много. Поперек улицы красноармейцы вбивали торчком рельсы. Какая-то конная часть двигалась шагом к заставе. Я остановился и смотрел; лошади были крупные, задастые, вышагивали степенно, лица всадников тоже были степенны, застыли и смугловаты от легкого морозца, и на них было выражение сумрачной, тяжелой усталости. В неторопливом цоканье, в сумрачных лицах кавалеристов, в том, как они мерно и плавно покачивались в седлах, была какая-то уверенность прежних, прекрасных времен. Я глядел на них и думал: что же сказать Оле Плетневой т е п е р ь? Когда все исчезло? Когда затуманились дни? Забылись предательства? Оля, конечно, же, совершила предательство. Но это случилось в конце мая. И теперь не имело значения. Все забыто. Нет, не забыто, но не имело значения. Олина мать звонила третьего дня и сказала бабушке, что она в отчаянии, ни на что не может решиться. Надо уезжать, но тащить Елизавету Гавриловну невозможно — совсем почти не двигается, до сих пор нет голоса, объясняются знаками. И сама ни в какую не хочет. Бабушка была на Олину мать сердита, но сказала, что Елизавета Гавриловна не несет ответственности за сомнительное поведение дочери — я смутно догадывался в чем, но уточнять не стал, было неприятно, бог с ними, я их простил,— и сказал, чтоб я сбегал к Плетневым и помог им, если нужно. Вот я и бежал к ним, выпрыгнув из автобуса. Было в запасе часа два. О том, что случилось в конце мая, я старался не думать. Собственно, я об этом забыл. Такая ничтожная чепуха и муть. Очень легко можно подобную чепуху забыть. С Елизаветой Гавриловной бабушка дружила со времен царских ссылок, называла ее Ласиком и говорила, что Ласик — замечательная женщина: в ссылке выучилась гончарному делу и неплохо подрабатывала на цветочных горшках. Ласику было восемьдесят два. Прошлой зимой Ласика разбил паралич. Бабушка первое время навещала ее часто, очень жалела, но потом энтузиазм сострадания стал стихать, и последние полтора месяца она не бывала там вовсе. Однажды обмолвилась: «Плетневы не выдержали испытания». Может быть, и так. Но я старался об этом не думать.

В одной квартире с Плетневыми жила женщина, похожая на сову. Она отворила дверь и спросила, глядя

на меня еще более круглым, еще более совиным взором, чем всегда:

— Ты ничего не слышал?

— Где? — спросил я.

— По радио? Только что?

— Нет.

— Говорят, должен выступать товарищ Пронин, из Моссовета. Я уж не знаю, для чего и зачем, но говорят, будет выступать. Ты не слышал?

Женщина стояла на пороге в длинном бумазейном халате, седоватые волосы всклокочены, сплетенные руки она прижимала к груди и хрустела пальцами, а черные глазки перескакивали с одного моего глаза на другой.

— Не слышал? — повторила она.

— Нет,— сказал я.

— А не знаешь, зоомагазин на Арбате открыт?

Я пожал плечами.

— Позавчера был закрыт. Как думаешь, теперь уже не откроют?

— Мы города не видим,— сказал я.— Мы то в казарме, то где-нибудь на складах, на дежурстве.

— Что ж нам делать? — воскликнула женщина.— Какое безобразие!

Я сел на сундук в коридоре, ноги мои подгибались, болела спина. Только сейчас я почувствовал боль. Ящики были очень тяжелые. Никогда прежде я не таскал таких тяжелых ящиков, каждый, наверное, пудов пять. Мы брали ящик вдвоем и карабкались по трапу на набережную, переднему было неловко, заднему тяжело. Я чаще всего шел задним; мне казалось, что я сильнее других. Там были ребята из восьмого класса, моложе меня. Почему-то я был совсем спокоен и не понимал всей этой суматохи. Я сказал женщине: не надо впадать в панику, Москву не отдадут. Ни за что не отдадут. Только не надо впадать в панику. Наш ротный Усачев, старый пожарник, сказал, что паника хуже пожара. Пожар можно погасить, а панику, говорит, н е л ь з я.

Женщина сказала, что она в панике из-за рыб. У нее аквариум. И она не знает, что делать. Не может же она уехать, а рыб оставить на съедение кошке. Женщина куда-то метнулась со слабым возгласом: «Безобразие!» Никто из Плетневых не показывался, но я слышал голоса из дальних комнат: голос Ольги Анисимовны и

тонкий, высокий Олин. Они спорили о чем-то. Я все еще сидел на сундуке, когда Оля выскочила из комнаты, помчалась к выходу и, увидев меня, без удивления, без «здравствуйте» крикнула:

— Я бегу на второй этаж! Отдавать Кузьку! — Кот был прижат к груди. Светлые пышные Олины волосы мелькнули секундно — вдруг я увидел ту нестерпимую ночь, когда я ждал ее на веранде до двух ночи. Она пришла молчаливая, продрогшая, чужая, тут же легла и заснула мертвым сном. И я всю ночь мучился: «Неужели так можно? Так делают? И все это в порядке вещей?»

— Бабушка велела мне зайти...— пробормотал я Оле в спину.

— Сейчас вернусь! — крикнула Оля с лестницы.

Я вошел в комнату, где все было сдвинуто, вещи стояли косо, разбросанно, посуда лежала на диване, белье на столе. Ольга Анисимовна кидала на пол из шкафа платья, громоздя кучей. Я поздоровался и сказал, что бабушка прислала меня помогать: что-нибудь связать, отнести, вынуть, достать, погрузить, сломать, отнять у соседей и так далее. Наверное, тон был дурацкий, потому что Ольга Анисимовна посмотрела удивленно. И сказала: «Спасибо, спасибо! Вот и Маркуша обещал зайти, но мы сами не знаем, какая нам нужна помощь». Маркуша был двоюродный Олин брат. Мне он не очень нравился. Он был крикун, толстый, шумливый и нечист на руку по части книг. Это я знал точно. Говорила сама Оля: книгу, которая ему нужна, он мог просто стибрить и унести. Было холодно, пахло горелой бумагой. Гораздо холодней, чем в нашей квартире, где, впрочем, я не был несколько дней. На верхнем этаже бегали, стучали, слышались громкие голоса, потолок дрожал от тяжелых ударов. Ольга Анисимовна, сидя на куче платьев, вздрагивала от каждого такого удара.

— Боже мой, вчера целый день, сегодня колотят... То ли расшибают что-то, то ли сколачивают... Ящики, что ли...

Наверху грохнула дверь. Топот на лестнице. Ольга Анисимовна смотрела на мать, сидевшую в кресле возле окна, а Елизавета Гавриловна глядела на меня прозрачным выпуклым глазом. Ее лицо с желтым костяным лбом было так туго обтянуто кожей, что казалось неживым.

— Мама, вот и Андрюша пришел помогать нам,— сказала Ольга Анисимовна.— И Нюта звонила, тоже предлагает помощь. Все нам сочувствуют и уверены, что мы уезжаем. Давай собираться, мамочка. А? Давай? Уедем ненадолго, на месяц, полтора, может быть, два, вернемся к Новому году. А? Мамочка?

Костяное лицо не выражало никакого ответа.

— Все не может решиться,— объяснила Ольга Анисимовна, кивая на мать как на неодушевленный предмет.— Утром вроде соглашалась, а сейчас опять не хочет. Но ведь силой взять нельзя, не правда ли?

— Конечно,— сказал я.

— Была б я одна,— сказала Ольга Анисимовна,— без старых и малых, я бы не раздумывая ушла рыть окопы или в лазарет, я не боюсь. Ни за что бы не тронулась с места. А с ними ума не приложу. Эшелон уходит завтра в двенадцать... Мама! — Ольга Анисимовна присела перед матерью на колени и стала вглядываться ей в глаза.— Ответь глазами, мамочка, ведь надо решать: ты поедешь или нет? Если «да», моргни один раз, если «нет» — два, как всегда.

Желтые веки старухи медленно опустились раз, потом еще раз. Наверху опять стали колотить в пол.

— Не хочет...— прошептала Ольга Анисимовна и закрыла ладонями лицо. Так она стояла на коленях, опустив голову, будто молясь или размышляя о чем-то в великом сокрушении, в это время зазвонил телефон.— Да! — воскликнула Ольга Анисимовна, схватив трубку так нетерпеливо и жадно, словно ждала сообщения о том, что война кончилась.— Нет, нет! Здравствуй! Да, да! Спасибо, не надо, ты управься сама, у нас столько друзей...— Затем последовала долгая пауза, во время которой глаза Ольги Анисимовны все более округлялись и она поводила ими то на меня, то на мать.— Не говори чепухи! По-моему, кто-то злонамеренно распускает слухи. Я не верю.— Положив трубку, сказала: — Сейчас можно придумать любой вздор, и люди будут повторять. Это моя знакомая. Тоже хочет приехать помогать. А у нее двое маленьких.

Я спросил, о каком вздоре идет речь.

— А! — Ольга Анисимовна махнула рукой.— Глупости! Будто сегодня отключат водопровод по всему городу. И надо запасаться водой...

В коридоре раздались голоса, вошла Оля, за нею неловко, кланяясь, вошел бородатый мужчина, держа за

руку девочку лет семи. Девочка махала ручкой, повторяя: «До свидания! До свидания!» Мужчина что-то бубнил, а Оля быстро, волнуясь, рассказывала, что Кузьку отдала, ключи от стола на кухне тоже отдала, и еще что-то про шкаф, про ключи. Сказала, что Волковы уезжают, наняли огромный грузовик, загородили весь двор. Мужчина продолжал гудеть, мотать бородой и стал целовать руки Ольге Анисимовне и Елизавете Гавриловне. Девочка заплакала. В комнату заглянула женщина, похожая на сову, и спросила: не знает ли Ольга Анисимовна хороших людей, кому можно оставить аквариум с рыбками? Ольга Анисимовна ей ничего не ответила. Мужчина и девочка вытолкались в коридор. Закрыв за ними дверь, Ольга Анисимовна сказала:

— Мама ехать не хочет.

— Опять? — удивилась Оля.

— Вот только что спрашивала.

— Может, ты не поняла? Ведь утром она ясно ответила...

— Спроси сама. Не знаю, что делать. Ты видела, во что превратился этот человек? — Ольга Анисимовна кивнула вслед бородатому.— Какой кошмар! Выглядит стариком, глаза безумные. Нет, не желаю поддаваться сумасшествию!

— Надо позвонить на Воздвиженку.

— Они предлагали ее взять, но мы не согласились, а теперь поздно. Они эвакуируются. В другую больницу ее не возьмут. Будем ждать второй эшелон? Через три дня?

Оля молчала. Вдруг присела перед Елизаветой Гавриловной на корточки и взяла ее за руки.

— Ласик! Ничего не бойся. Я буду с тобой, буду за тобой ухаживать. Ты хочешь, чтоб я осталась с тобой в Москве? Нет? А поехать с нами в Камышлов? Поедем в Камышлов, Ласик, хорошо? Нет. Ничего не хочет... Погоди, хочешь тут остаться одна? Совсем одна? А кто будет тебе помогать? Думаешь, Зоя или Софья Александровна смогут приходить каждый день? Это бред, Ласик, это невозможно...

В пол наверху опять стали бухать. Похоже было, что бьют топором. Внезапно всунулась женская голова в очках, очень низко, будто женщина была карлица или ходила, согнувшись в три погибели, и прошелестела скороговоркой:

— Анисимовна, чего скажу: товарищ Сталин будет

выступать нынче вечером! И даст приказ уходить с Москвы!

— Закройте дверь! — не своим голосом закричала Ольга Анисимовна.

— Не терпится, чтоб мы уехали,— сказала Оля.— Будет тут шуровать. В первую очередь заберет, конечно, мясорубку. Она на нее давно зарится. Ничтожество!

— Мясорубку я возьму,— сказала Ольга Анисимовна.

— Еще чего!

— Нет, мясорубку возьму непременно. Ты не спорь, мясорубка — необходимая вещь.

— А я такую тяжесть таскать не намерена.

— Хорошо, буду таскать я.

— Мама, ты страшно наивная. Во-первых, в Камышлове не придется жарить котлеты, во-вторых, мы никуда не поедем. Я слышала сегодня, в Москву прибывают огромные войска из Сибири. К празднику немцев наверняка отгонят, это точно.

— Если бы...— Ольга Анисимовна села к столу, подперев седую старую голову рукой, и глядела в окно. Там шел снег. Он выпал невероятно рано. Это что-нибудь да значило. Я подумал: хорошо, что небо закрыто тучами, налета не будет.

— В Москве теперь морские зенитки,— сказал я.— Они бьют очень далеко, чуть ли не на десять километров.

— А знаешь, Андрюша, мама была совсем не плоха месяц назад. Она еще ходила, правда, с трудом,— сказала Ольга Анисимовна.

— Как она ходила, мамочка? Пять шагов по комнате?

— Нет, ходила все же. Могла, прости меня, сама дойти до туалета. У нее двигались руки.

— Руки и сейчас двигаются.

— Нет, сейчас мама совершенно беспомощна.

— Неправда. Смотри!

Худые, с согнутыми пальцами руки старухи стали медленно подниматься и, подержавшись немного в воздухе, упали на колени.

— Мама, если трудно, ты, пожалуйста, не демонстрируй,— сказал Ольга Анисимовна.— Обязательно надо взять сторону Оли. Без этого ты не можешь. Какая ты упрямая, мама.

— Ой, она жутко упрямая,— сказала Оля и хихикнула.

Ольга Анисимовна поднялась со скорбным, торжественным выражением на лице и, пристукнув кулачком по столу, сказала:

— Что ж, дети мои, я вижу, вы настроены определенно. Я не возражаю. В таком случае принимаем решение...

Где-то рядом оглушающе, с треском разорвала воздух зенитка. Задрожали стекла. Странно — стреляют днем, небо в тучах. Спустя минуту грохнуло снова. Опять задрожали стекла. Стреляли, верно, с крыш высокого дома у Заставы или из парка. Включили радио — нет, тревоги не было, передавался рассказ, артист читал задушевным, доверительным полушепотом, будто выдавал секрет, но не свой. Я объяснил женщинам: прорвался одинокий самолет, вероятно разведчик, вывалился из тучи, по нему и бабахнули. У новых морских зениток совсем другой звук. Они уж лупят так лупят.

Ольга Анисимовна, наклонясь к матери, сказала жалобно:

— Мамочка, без тебя нельзя! Эшелон предназначен для старых большевиков и политкаторжан. Если тебя не будет, нас никто не возьмет. Я не возражаю, но ты должна понять...

Старуха Елизавета Гавриловна думала: как они глупы! Несносно, безнадежно глупы. Две бездарные молодые женщины. Не понимают простой вещи. Как же объяснить? Еще недавно могла писать, хотя бы каракулями, разбирали с трудом, но все же было общение, была какая-то связь. Даже объясняла некоторые сложные моменты, о которых они, бедные, не имели понятия,— например, причины исторической вражды Германии к России. Написала одно слово «нефть», и они поняли, закивали головами. Человек есть животное общественное. Как только уходит это свойство, как только рубятся нити, связи с себе подобными — не непременно с родными, с другими людьми вообще,— человек перестает существовать. Я теперь не существую. Зачем обо мне заботиться? Глупые люди не хотят понять. Они меня любят. Но любовь не в том, чтобы бессмысленно ломать руки и хныкать, а в том, чтобы догадаться, чего любимый человек хочет больше всего. Неужели

трудно сообразить, если не хочет того, не хочет этого, не хочет пятого, десятого, тогда что же остается? То, о чем боятся спросить, то и есть. Ведь, кажется, куда проще, куда очевидней. Старшая Оля не так глупа, как робка, труслива, ею руководит не любовь, а душевная трусость, потому что надо сделать усилие и даже пойти на жертву, пожертвовать величайшей привычкой жизни — привычкой иметь мать. Ведь вот когда я узнала о смерти мамы — в Усть-Камне, на поселении,— долго мучилась, хотела умереть сама, но потом постепенно возвратилась к жизни. Вдруг такое одиночество на пустой земле, адская боль, но нельзя же, боже мой, настолько бояться боли, чтобы совсем не думать о близких! Как им объяснить, не имея ни языка, ни рук? То, чего они боятся, не страшно. Это спасение. Николаев приехал вместе с Аней, с которой венчался в тюрьме после приговора, чтобы пойти с нею добровольно в Сибирь, и его встретили холодно, весьма холодно, никто не восторгался благородством и мужеством, доброе, глазастое, рябое лицо, хороший парень, истинный пролетарий, питерский, но нельзя простить того, что добровольно пошел в тюрьму, оставил боевой пост. Спорили неделями в избе у Южакова. Какие морозы! Белый туман. И полная тишина. Вдруг пушечный выстрел — лопается замерзшая земля. Сильный треск поблизости, от него вздрагиваешь, это трескается от мороза бревенчатая стена дома. Николаев наконец прощен, ему разрешено пользоваться библиотекой. Но через шесть лет снова тот же вопрос: можно ли уйти от борьбы? Аня умерла, умер ребеночек, ровесник Оли, Николаев от горя не может жить, вздумал покончить с собой. Время тяжелое, не ему одному невмочь — кончают с собой в Нерчинске, в Зерентуе и у нас. Иннокентий утопился в Енисее. Однако вокруг Николаева почему-то бешеный спор — имеет ли право? Накалилась борьба, ждем побоища. Николаев говорит: «Никто не может лишить человека права уйти. Когда жизнь теряет смысл». Застылое, обледенелое лицо, остановившийся взгляд. Он сидит перед нами готовым мертвецом. Поняли наконец. проку от него не будет. Такой человек в бою не союзник, а обуза. Из него вытекли все соки жизни. Как из меня. Так сильно он любил Аню. Борьбы нет, ничего нет, все кончилось, нет смысла, не нужно. А как же борьба до последнего вздоха? Нет, нет, кончилось, борьба исчезла. Нет никакой борьбы. Я сама дала ему

револьвер. Они должны спокойно уехать завтрашним поездом, а я останусь здесь. Через три или четыре дня и меня здесь не будет. Револьвера не прошу. Просто уйти и оставить меня одну. Это единственно умное, что можно сделать. Как же дуракам объяснить?

2

Было так: она приехала по моему приглашению, мы купались, перебрались паромом на другой берег, потом она попросила Олега покатать ее на лодке и исчезла до двух часов ночи. Ну что это было, как не предательство? Но мне хотелось сказать, что я ее простил. Я в самом деле ее простил. Однако я никак не мог собраться с духом заговорить об этом и дотянул до того, что настала пора уходить. Усачев требовал: к двенадцати надо быть в казарме. Тут меня попросили залезть на антресоли в соседней комнате, я взял стремянку и полез. Я ворошил в потемках старые вещи, одно откладывал вглубь, другое бросал на пол, искали какой-то чемодан. Стоя на верхней перекладине и залезши с головой во мрак антресолей, я сказал Оле, которая держала стремянку:

— Между прочим, я тебя простил.

Возможно, она меня не слышала, потому что не ответила. Выбираясь с чемоданом в руке, я вновь сказал, обращаясь в глубину антресолей:

— Я тебя простил.

Она и теперь молчала. Я спрыгнул на пол, уронив чемодан, от которого шарахнулась пыль. Оля, присев, раскрыла его, он был набит истлевшей обувью. Она стала выбрасывать обувь. Когда выбросила последнее, сказала холодно:

— Не знаю, за что меня прощать.

Почему-то я обрадовался. Поспешно стал думать: как ей сказать самое главное? Ведь мы расставались, и я обязан был сказать.

— Оля,— сказал я,— мы, может, не увидимся больше никогда, я хочу, чтоб ты знала...

— Что?

Я запнулся и не нашел лучшего, как пробормотать:

— Что я тебя простил.

Оля улыбнулась, хотела сказать что-то интересное и важное для меня, но тут в комнату вошли Ольга Ани-

симовна и Маркуша. Маркуша был толстый, румяный, рыжий, в тесной гимнастерке, которая обтягивала его животик и круглые плечи, и в старых, разбитых сапогах. Он служил в зенитных частях в Москве, но на солдата был не похож. В руках Маркуша держал большую брезентовую сумку.

— Тетя Оля, я возьму только самое ценное,— говорил Маркуша, подойдя к шкафу и поспешно выхватывая оттуда книги и бросая их в сумку.— Потом верну, разумеется. А то пропадут. Надо же спасать...

Он бросал книги, почти их не разглядывая. Наверное, прекрасно в книгах разбирался. Вдруг заметив меня, крикнул:

— А, здравствуйте, доктор! И вы здесь?

— Маркуша,— сказала Ольга Анисимовна,— а что у вас говорят? О положении дел?

— Положение суровое,— сказал Маркуша и запел: — Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас...

— Ну, а все-таки?

— Не могу знать. Я не бог, не царь и не герой. А эти книжечки подальше! — Он бросил на пол две книжки в бумажных переплетах.— Сжечь немедленно! Хотя, собственно говоря...— бормотал что-то, как бы споря сам с собой, и пожимал плечами. Ольга Анисимовна вышла в другую комнату и громко заговорила с матерью. Оля вышла за ней. Маркуша шепнул мне: — Немцы в сорока километрах. Вам это известно, доктор?

Ольга Анисимовна вернулась и сказала, что сегодня ехать все равно не удастся, поедут следующим эшелоном через три дня. Видно было, что она успокоилась. Решение принято. Спокойным голосом обратилась к дочери:

— Пойди поставь, пожалуйста, чайник. Наконец можно выпить чайку. Только ступай тихо, мама хочет поспать. Пускай подремлет. Маркуша, в ванной стоят два чистых ведра, набери в них, пожалуйста, воду. На всякий случай.

Елизавета Гавриловна не хотела спать. Она закрыла глаза, потому что стало скучно смотреть на суету людей в комнате. Увидела: сырой, вымерзший за зиму откос, ярчайшая синева, бревна, вкопанные в землю, в глубине двора дом, собака на крыльце, злобная ездовая

лайка, и захолонуло от страха сердце. Потому что пора решаться. Идти или нет? Подняться по крыльцу или плюнуть на деньги, вернуться в укромное место и ждать утра? Утром придет пароход. Завтра она и Даша, переодетые монашками, должны с двумя матросами пробраться туда и спрятаться в кочегарке. В Тобольске осмотр, матросы обещают спасти, вынимается доска, есть лаз в каморку, которая рядом с колесом. Туда никто не проникнет! И вдруг известие: вам деньги, лежат в волостном правлении, старшина просил передать. Какие деньги, откуда, совершенно непонятно, идти за ними или тут хитрая западня? Деньги нужны позарез, а уж тем более такие большие, восемьдесят рублей, и не с кем посоветоваться. Идти или нет? Даша хмурит сухонькое скуластое личико. «Иди!» Старая боль. Умерла в двадцать первом году на Украине. Деньги нужны, чтобы добраться до Тюмени, оттуда в Екатеринбург, потом в Питер, волостной старшина все делает медленно, перебирает негнущимися корявыми пальцами пачку переводов, читает будто по складам, смотрит бумаги, очищает перо и уставился пьяным, болотным оком. «Откуда ждете деньги?» Болотное, мутное око сощуривается испытующе. За окном ярчайшая синь, завтра придет пароход, громадная жизнь, Оля никогда не узнает этой жизни, внучка Оля тоже никогда не узнает, они глупы, родные мои, нету слез в глазах, но надо плакать перед разлукой, пароход причалил, трап переброшен, надо плакать, прощаясь. «Я жду деньги из разных мест. У меня много друзей. Все пришли меня провожать. Жду деньги из Петербурга, из Москвы, из Ростова, Вятки, может быть, они из Перми или Елизаветграда». Старшина раздумывает. Снова роется корявыми пальцами в бумагах. Сощуривает мутный глаз. Всякую секунду могут вломиться стражники, которых он вызвал, мы с Дашей скрываемся третий день, убежали из-под надзора, и эти деньги, чтобы нас заманить в волость, арестовать, но вот они, вот деньги, можно взять их в руки и бежать опрометью. «Пересчитайте».— «Да не нужно! Я верю!» — «Пересчитайте, сказано!» Ледяной ветер врывается в каморку, гудит машина, шлепает колесо, брызги влетают сквозь щель, громадная жизнь впереди, она останавливается, как колесо, просто брызги перестают лететь, машина не гудит, бедные дети пьют чай, будто ничего не случилось. Они погибают, погибают, они погибают, прикованные к постели,

не могут двигаться, говорить, я должна кормить их с ложечки, убирать за ними, переодевать их, выносить судно, должна по глазам угадывать, что они хотят мне сказать, несчастные девочки, как они смогут жить без меня...

Наша казарма помещалась на Якиманке, в старом каменном здании, где была когда-то монастырская гостиница, а перед войной в этих сводчатых комнатах располагался детский сад, И вот теперь казарма пожарной роты. Меня встретили усмешками, хохотом, кто-то крикнул: «Писатель пришел!» А Лашпек подбежал и сунул мне под нос кулак: «Я те дам «лягушачий рот»! Я те пасть порву за такие слова!» Меня оледенила ужасная догадка — они нашли мой дневник! Я хранил его под матрацем. Ничего более дорогого и сокровенного в жизни не было: я писал тайно и наспех, иногда зашифровывал, что было сладостью часов дежурства в холодной проходной, где на шкафчике, украшенном зайцами и грибочками, оставшимися от детского сада, стоял телефон и где висели две картинки: «Аленушка» Васнецова и действия противопожарного взвода. Ничего особенного я про ребят не писал. Ну, про Леню Колыванова, что он хитрец, норовит делать работу полегче, на дровяном складе выбирает небольшие чурбаки и таскает недалеко. Про Гудыма написал с сочувствием, над ним все издеваются, а он не может за себя постоять. Про Лашпека, что у него лягушачий рот и что он, видать, из блатных. Да ведь чистая правда! Лашпек известен во всех дворах между Якиманкой и Большой Полянкой. Он грабил пацанов, которые приходили в кино «Авангард» за билетами. А про остальных и про Усачева я написал и вовсе неплохо. И, однако, все они теперь смотрели на меня злобно. Леня Колыванов дразнил меня зеленой тетрадкой, прыгая у дальней стены за кроватями.

— Отдай! — крикнул я, ринувшись к Колыванову. Кто-то подставил мне ногу, и я упал.

Теперь Лашпек размахивал зеленой тетрадкой перед моим носом.

— А дневник-то останется у нас! В нашем архиве! — говорил он насмешливо.— Тут про одну Оленьку писано. Я ее знаю, она в четырнадцатой школе училась, десятый кончила. Можно ей показать, на крайний слу-

чай. Более, говорит, подлого человека, чем О., я в жизни не встречал...

— Отдай, скотина! — крикнул я, сидя там, куда грохнулся, между кроватями.

— Еще чего! А ключи от квартиры, где деньги лежат, не хочешь? Мы почитаем! Только почерк у тебя хреновый, как курица лапой. «Бабушка, — говорит, — против того, чтоб я ее приглашал, потому что Плетневы не выдержали испытания...» Это кто такие — Плетневы?

Тут меня будто чем-то подбросило с пола, я прыгнул к Лашпеку, схватил его за горло, повалил на кровать, он со страшной силой ударил меня в глаз, но я продолжал его душить, кто-то тянул меня сзади за ногу, он опять ударил меня в глаз, мы скатились на пол, он хрипел, плевался, его лапа с ногтями впилась в мое лицо, и мы услышали команду:

— Отставить!

Наш коротконогий пузанчик Усачев стоял в дверях и смотрел на нас темным печальным взглядом.

— Баловство кончай. С баловством опоздали... — Голос у него всегда глухой, плохо внятный, как будто он говорил со сна и не прокашлялся. — Собирайтесь на дровяной склад обратно. Четыре вагона наши. Второй взвод на дежурство, бери гидропульт, рукав, машина стоит. А двоих требуется... — Он обвел всех глазами, остановился на нас с Лашпеком. — Вот вы, лохматые, которые чертили... Пойдете в военкомат разносить повестки.

На улице была зима. Она пала внезапно, но, казалось, она стоит давно. По снежному тротуару брел человек в шубе на меху, в меховом треухе, в валенках, волоча тележку на колесах, на ней стояли один на другом два сундука, обвязанные веревкой, на верхнем лежала боком швейная машина в футляре. Позади шла женщина, закутанная в платок, и толкала тележку палкой, упираясь в нижний сундук. Помогать этим старым людям было глупо, кругом было много старых людей, и все что-нибудь тащили. Снег никто не убирал. Но на тротуаре он был растоптан людьми. Все шли к Малому Каменному мосту, в сторону центра. Несколько человек в черных бушлатах втаскивали в полуподвальные окна мешки с песком. Мы спустились Якиманкою вниз и переулком вышли на Большую Полянку, где было многолюдней, тут толпою шли женщины с детьми, один

мальчик плакал, женщина причитала, остальные шли бодро, возбужденно, то шагом, то впобежку, они куда-то опаздывали, женщины подгоняли детей, все двигались в сторону центра. А навстречу к Серпуховке ехали военные грузовики. Мы хотели разглядеть, что они везут, но кузова грузовиков плотно закрывал брезент. Когда вышли на набережную, Лашпек сказал:

— Сучонок, ты мне глотку помял.

— А ты мне в глаз засадил,— сказал я.

Я не испытывал к нему зла. Мне кажется, и он ко мне не испытывал, потому что как вышли на улицу, так сразу забыли о ерунде. Он спросил, когда мне призываться. Я сказал: через два года. А ему было через три месяца. И он спросил, как я думаю: не кончится ли война? Я сказал, что, думаю, еще не кончится. Думаю, кончится месяцев через шесть.

Мы разносили повестки до вечера. В одном доме плакали, в другом угощали конфетами, в третьем встретили на лестнице и просили потаскать вещи вниз, в четвертом жгли бумагу, а еще в каком-то доме нас будто ждали, шла гулянка, новобранец был пьян, требовал, чтоб мы выпили, сплясали, и Лашпек плясал. Как только вернулись в казарму, я повалился спать. В час ночи нас подняли по тревоге. Пожаров не было.

На другой день к вечеру, когда Усачев отпустил домой, я приехал в нашу холодную квартиру, бабушка угощала меня треской и чаем, и я у нее спросил: почему Плетневы не выдержали испытания? Бабушка сказала, что в двадцатом году Ольга и ее муж Николай проявили излишнюю осторожность, что не понравилось моему отцу, но их простили, однако потом, когда отца не стало, они вновь проявили осторожность; правда, теперь это не имело значения, Николай на фронте, Ольга мучается с Елизаветой Гавриловной, и все прежнее стоит забыть. Как всегда, я относился к словам бабушки с сомнением. И нетерпеливо спросил:

— Так что же, в конечном счете, выдержали испытание или нет?

— Откуда я знаю, что будет в конечном счете? — сказала бабушка раздраженно.— Все это неинтересно. Помоги мне разбирать стол...

Синий зимний сумрак стоял на улице. Я прибежал

на Большую Калужскую. Мне отворила карлица в очках, та, что вчера заглядывала в комнату.

— А они нынче утром сбегли.

Как так? Ведь собирались через три дня! Я шагнул вперед, желая войти в квартиру, навестить Елизавету Гавриловну, но карлица положила лапку на косяк двери.

— А тебе чего тут не хватает?

— Хочу старушку проведать, Елизавету Гавриловну.

— Дак они и бабку забрали. Нету бабки. И никого тут проведывать нету.

— Как же Елизавету Гавриловну-то? — изумился я.— Она не хотела.

— А пришли два мужика, взяли на носилки и понесли рабу божию, не спросясь. Хочу не хочу. Ей, сказали, отдельная купе будет. Ой, бабка у них хорошая! Я ее любила.— Карлица всхлипнула и приложила платок к глазам. Но ее правая лапка по-прежнему упиралась в косяк. Она еще раза два всхлипнула то ли икнула, а затем сказала спокойно: — Так что проведывать тут вовсе никого нету.

И я ушел. Улица была мрачна, ни одной щелки не светилось в домах. Не улица, а подвал. Но зато в небе было светло — гуляли прожектора. Проехал троллейбус, тоже без света, окна замаскированы бумагой, он ехал медленно, я догнал его и прыгнул сзади на бампер, ухватившись за поручни, к которым привязывают веревки от штанг. Теперь я часто ездил на бампере. Милиционеры не останавливали меня. Я простоял на бампере всю Большую Калужскую, а посреди площади троллейбус остановился — пропускал пешую колонну, шедшую снизу, от парка. Впереди колонны шагал человек с фонарем. В потемках было трудно разглядеть людей в колонне, но по тому, как вразнобой они шли, по сплошному топоту, по нестройному пению можно было догадаться, что идут ополченцы. Они пели:

Не выйдет фашистским бандитам
В московских дворцах пировать!
Придется фашистским бандитам
В московских снегах помирать!

Я спрыгнул на землю и подошел к колонне ближе. Некоторые из троллейбуса тоже вышли и смотрели на ополченцев. Колонна была бесконечная. Прошла одна

часть, за нею поднималась от Крымского моста другая, опять впереди шел человек с фонарем, опять донеслось: «Не выйдет фашистским бандитам...» Тут пели лучше, стройнее. В темноте мелькали то очки, то борода. Иные не пели, а разговаривали вполголоса, спорили, смеялись. Вдруг грянуло мощным хором: «В московских снегах помира-ать!» От этой черной, беспорядочно топающей толпы невоенных людей шла какая-то ветровая, надземная сила, которой я тогда не почувствовал. Она долетела до меня теперь, спустя почти сорок лет. И в этом ветре унеслись многие, среди них три женщины, кого я не успел проводить.

ПЕРЕУЛОК ЗА БЕЛОРУССКИМ ВОКЗАЛОМ

Мы делали радиаторы для самолетов.

Москва была еще глухой, безглазой, в потемках бродили троллейбусы и трамваи, аэростаты лежали на площадях, только метро осталось таким, как прежде, в вагонах люди дремали или читали книги, магазины были тихи, рынки бессмысленно оживлены, но громадная тяжесть отпустила, люди вздохнули, стали понемногу мечтать — война перемогалась и прожигающим землю ледником отползала на запад. Год назад, когда я работал подсобником в заготовительном цехе, было все другое. По-другому грохотал пневматический молот, и другой запах был у машинного масла, у мазутных концов, у хлеба, у махорки. И, когда я выходил после смены и плелся переулком к метро, запах снега и дыма был другой, чем теперь. Ледник отполз далеко. Год назад Терентьичу не пришла бы в голову эта дурь насчет меня и Надежды. Насчет абразивной кладовки, где стояла железная кровать, на которой Терентьич спал, когда оставался ночевать на заводе. Он считал, что у меня с Надеждой роман. Старик был туповат и подозрителен, а подозрительность туповатых людей несносна. Всех вокруг он в чем-нибудь подозревал. Про Сашку Антипова у него сложилась легенда, будто Сашка подослан начальством следить за ним, Терентьичем, хорошо ли он содержит инструмент и правильно ли распределяет. Поэтому Терентьич то робел перед Сашкой, вел с ним патриотические беседы, объяснял, какой у него идеальный порядок на стеллажах и каким способом он этих достижений

добился, а то взрывался вдруг раздражением, злобно ворчал: «Присылают тут всяких... Руки пообломать...» Про нас с Надеждой он тоже временами, когда бывал не в духе, мучился болями в животе, говорил язвительно туманные мерзости, отчего я ненатурально и вызывающе хохотал, а Надя расстраивалась до слез. Другую раздатчицу, пожилую желтолицую Людмилу-горбунью, старик подозревал в том, что она роману потворствует и, когда мы уединяемся в абразивной кладовке, стоит на страже нашего покоя и даже закрывает окошко, так что люди из цехов не могут получить инструмент. Надя была старше меня лет на десять, казалась немолодой, унылой, неинтересной, правда, со следами былой красоты — ей было лет двадцать восемь,— всегда озабоченной мыслями о доме, о муже-инвалиде, о болезнях, о картошке, а следы былой красоты выражались в усталых бледных глазах и пышных, слегка вьющихся ярко-золотистых волосах, заплетенных в косу, которые она красила, о чем я не догадывался. Надин муж, инвалид, был братом Людмилы-горбуньи, они жили вместе. До войны Надя работала гримершей в театре, а теперь раздатчицей в инструментальном складе, ходила в телогрейке, в платке, стучала сапогами, как солдат. Какой мог быть роман? Но старик был идиот, он даже своего начальника Льва Филипповича Зенина подозревал черт-те в чем, никогда не пускал его на склад одного. До смешного: придет Зенин с гостями из наркомата или с начальниками цехов, бегает по складу, показывает свои богатства, а Терентьич за ним, как тень, неотступно. Вдруг Зенин вздумает драгоценное сверлышко или чудеснейший надфилек, какого ни на одном складе в целой Москве нет, гостям всучить? Без документа, без подписи? А то и попросту стибрят, в карман положат, и до свидания — народ теперь отчаянный, инструменту нигде никакого нет.

Мы работали по двенадцать часов, от восьми до восьми, потому что считались не отделом, а цехом. Делали радиаторы для самолетов. Я вставал в шесть и приходил домой в десять, полтора часа в один конец на дорогу. Не было времени почитать книгу. В метро я спал. Какой же мог быть роман? Да у меня вообще их никогда не было. Я знал про них только из книг, которых давно не читал. Представление о романах было такое же, как о радиаторах для самолетов. Я ни разу не видел готового радиатора. Сначала я тянул на волочильном стане тру-

бы, потом в кузнечном цехе отжигал концы труб, потом точил матрицы, потом ремонтировал штампы для матриц, но для чего и зачем это нужно, понимал смутно или, если честно, не понимал совсем. И не торопился понять. Было не до того. Я думал: успею, пойму когда-нибудь в другой раз. В выходной я мчался на Пушкинскую площадь и смотрел в кинотеатре «Новости дня» последние фильмы. Это было важнее всего. Гораздо важнее романов. Дурь втемяшилась Терентьичу однажды после ночной, когда он пришел раньше срока и застал Надю спящей в абразивной кладовке. Я был в мастерской и не слышал, как он колотил в дверь. Старик так разозлился из-за того, что заставили ждать, что стал поносить Надю отвратительной бранью, она расплакалась — а она вообще слезилась легко,— и я за нее вступился. Он вдруг замолк, поглядел на меня с изумлением и сказал: «Ах ты, курячий сын!» Больше ничего не сказал, но с тех пор намекал и подшучивал ядовито. Все это был вздор, сначала я хохотал, потом сердился, потом перестал обращать внимание, а потом ноябрь сорок третьего, канун праздника, освобожден Киев, по этому поводу в Москве салют. Мы побежали на третий этаж, где разрешалось поднять светомаскировочную штору, и смотрели на розовые, голубые, белые вспышки ракет, хлопали в ладоши и кричали «ура». Тогда салюты были в новинку. Первый прогремел в Москве три месяца назад, в начале августа, по случаю взятия Орла и Белгорода. Зенитки палили с крыши нашего завода, как будто рвались бомбы, стекла дрожали, и на миг белым, меловым светом озарялись узкий двор между корпусами, громадные темные окна и люди внизу, стоявшие в оцепенении, глядя в небо. Не могли оторваться от неба до последнего залпа. Я видел белые, поднятые вверх лица. К салютам еще не привыкли, они были каким-то ошеломительным знаком новой жизни, бело-розово-голубой, и, может быть, счастья, которое не за горами.

Лев Филиппович позвал на минуту всех к себе, на второй этаж, и дал каждому по глотку спирта и по кусочку сахара. Хлебнули, загомонили, поздравляли друг друга со слезами на глазах, у раздатчицы Полины сын погиб под Киевом в сорок втором, а Лев Филиппович, сам киевлянин, всю родню там потерял. Сашка Антипов бормотал мне в ухо: «Мой отец тоже... Поехал в Киев, и все...» А Надя, конечно, разнюнилась больше всех,

бросилась целовать сначала Людмилу, потом меня. Горячими ладонями схватила мое лицо, быстро прикоснулась губами к моей щеке, совсем близко к губам, так что был настоящий молниеносный поцелуй, а других целовать не стала. Слезы у нее так и лились, и она улыбалась, как пьяная. Лев Филиппович сказал: «Надежда, не горячись. По случаю праздника, товарищи, можете получить талоны на обувь. Распишитесь». Опять мы кричали «ура», толклись в тесном кабинетике Льва Филипповича и не хотели расходиться. Но больше меня не целовали.

Вместе с Сашкой мы шли черным сырым переулком к метро, мимо табачной фабрики, за угол, мимо часового завода, радостные люди обгоняли нас, мальчишки бежали по мостовой. Сашка сказал угрюмо:

— Эта женщина меня волнует.

Я сразу понял, что он про Надю.

— У тебя были романы? — спросил я.

— Смотря что называть романами. Вообще-то были. Еще в школе.

— Настоящие? — спросил я с сомнением.

— Смотря что называть настоящими. В какой-то мере да. Но эта женщина волнует меня по-настоящему. Хотя она годится мне в тетки и у нее такое несчастное, измятое лицо.

— Но со следами былой красоты,— заметил я.

— Пожалуй,— согласился он.— Я ж говорю, в ней что-то есть.

— Она годится,— сказал я,— не только в тетки.

— Годится, годится,— сказал он.

Так мы поговорили степенно, с достоинством и остались довольны разговором. Но мне Антипов не нравился. В нем было что-то вызывавшее беспокойство. Я долго не мог понять, потом догадался — он был слишком похож на меня. Даже внешне: тоже в очках, молчаливый, медлительный. Черт возьми, мне хотелось одному быть молчаливым и медлительным. Мы оказались почти полные ровесники, я на полгода моложе. Оба жили без родителей, я с бабушкой, а он со старшей сестрой и неродной теткой. И он так же, как я, занимался бумагомаранием и мечтал после войны учиться в Литинституте. Я не решался говорить вслух о своих мечтах, а для него это было простым и давно обдуманным делом, о котором он рассуждал беспечно, как о том, например, что в ближайший выходной надо ехать в Кунцево за картошкой.

«В будущем году, когда я поступлю на заочное...» — говорил он без тени сомнения. И я почему-то стал поддерживать этот тон. Вдруг я уверенно заявил ему, что, для того чтобы стать писателем, необязательно учиться в Литературном институте. Я, например, делать этого не собираюсь. Он стал со мной спорить и объяснять что-то несколько свысока, как знаток. Но я отвечал еще более напористо и высокомерно. Мы долго спорили, в результате чего выяснилось, что перед войной оба посещали литкружок Дома пионеров в переулке Стопани. Но друг друга не помнили. Это новое свидетельство похожести не примирило, а еще более разожгло соперничество, о котором никто не догадывался, кроме нас. Впрочем, оно происходило скрытно и, может быть, бессознательно. Он не нравился мне потому, что я чуял в нем свое плохое. И ничего не мог поделать с собой. Мое плохое немедленно, как радиоприемник, настроенный на волну, откликалось на его плохое. Я слышал в его голосе похвальбу, когда он говорил о Литинституте, и не мог удержаться, чтобы чем-то не похвалиться, хотя бы переулком Стопани, на что он отвечал еще большей похвальбой и осведомленностью, а я старался его осведомленность принизить. Наши судьбы были горько близки, и мы это знали, но никогда не разговаривали о больном и горьком. Зато он рассказывал о том, какая у них была квартира, и какая дача в Серебряном бору, и какая моторная лодка, и какой черный английский автомобиль приезжал за отцом каждое утро, и как он лечился в поликлинике на Воздвиженке и однажды лежал с дифтеритом в отдельной палате, приносили меню, он выбирал себе сладкое, и это жалкое, запоздалое тщеславие почему-то так на меня влияло, что я тоже начинал бормотать постыдное. Например, о том, что за отцом приезжал не старый рыдван, а новенькая, только что с завода «эмка». И что на озере мы катались не на моторной лодке, а на моторном катере. Мы хорохорились и похвалялись неведомо чем. А то начинали соревноваться в силе — он поднимал двадцатикилограммовую гирю одиннадцать раз, а я девятнадцать. И я побеждал его в перегибании рук. Только для того чтобы не отстать от него, я заметил небрежно: «Она годится...» И он, как знающий человек, подтвердил: «Годится, годится».

Мы делали радиаторы для самолетов. Ни меня, ни Сашку не брали на фронт из-за плохого зрения, а когда

после школы мы подали заявление в военное училище, нам был отказ. Поэтому ничем, кроме радиаторов, мы помочь не могли. В мастерской при инструментальном складе за темным, каменной прочности верстаком — он стоял здесь еще в те времена, когда прежний хозяин, француз, клепал в этих корпусах велосипеды,— мы пилили квадратные отверстия в матрицах, сквозь которые протягивались стальные трубы, становившиеся потом ребрами радиаторов. Терентьич тоже горбатился за верстаком, но успевал бросать на нас косые, подозрительные взгляды. Мы ему не нравились. Мы не так держали пилу, не так стояли у тисков и не так с ним разговаривали, как полагалось. Я задевал его ненужными шутками, а Сашка пускался с ним в спор. Когда Сашка появился у нас, Лев Филиппович сказал старику, чтобы тот давал парню работу полегче, не перегружал сверхурочными, потому что Сашка готовится в институт и пишет стихи. Для Терентьича все это было пустой звук. Он понял одно — начальство хлопочет, стало быть, парень непростой. Надо с ним быть настороже. А Лев Филиппович вовсе не хлопотал, лишь хотел угодить одному человеку из главка, могущественному в области фрезерного дела, который знал Сашкиного отца по гражданской войне, сохранил к нему тайное уважение и теперь хотел помочь его сыну, помочь чуть-чуть, совсем немного и так, чтобы никто не знал, что он помогает. Лев Филиппович надеялся через этого человека получить наряды на два нужных станка, которые другим путем достать было совершенно немыслимо, и человек из главка пообещал, но обещания не выполнил. Видимо, он не смог. Лев Филиппович затаил обиду, ссориться с тем человеком не стал, но к Сашке Антипову охладел заметно. И настали для Сашки худые времена: Лев Филиппович делал его всякой бочке затычкой, гонял в роли носильщика в нудные поездки с агентом Виктором Ивановичем, посылал на самую тяжелую, грязную работу — то в транспортный отдел, то в бригаду такелажников. Тут как раз прибыли из Сибири станки и оборудование двух цехов, эвакуированных в сорок первом году, и надо было таскать, монтировать, людей не хватало, из каждого цеха выделяли троих, четверых, а из нашего инструментального всегда брали двух станочников и Сашку Антипова, иногда еще меня. Но Сашку непременно. Он ни от каких трудов не отказывался. Смотришь, к концу дня идут по коридору двое: впереди

Виктор Иванович, сухолицый румяный туберкулезник, подтянутый, щеголеватый, с портфелем и с папиросой «Казбек» в золотых зубах (курить Виктор Иванович давно бросил, но коробку «Казбека» носил с собой для угощенья и всегда жевал незажженную папиросу), а позади плетется, согнувшись, с мешком за плечами, заморенный, взмокший, в запотевших очках Сашка Антипов. И лицо у него такое серое, безропотное и все же горделивое. Никому не жаловался на то, что Зенин угнетает, да, может, и не замечал этого. А в мешках мы таскали инструмент. Лев Филиппович постоянно что-то где-то добывал, выпрашивал, выменивал, и два его агента без устали колесили по московским складам, конторам, заводам, базам, а то ездили и за город, в Люберцы и Томилино.

И все шло чередом до истории с картошкой. Тут Лев Филиппович переборщил. Настала минута, когда выдержка его покинула — вообще-то он был терпеливый и хитрый, отменного здоровья, по этажам и коридорам не ходил, а бегал, в столовой с мискою щей тоже всегда впобежку, разговаривал быстро и не очень внятно, в черных маслянистых глазах что-то неистощимо сверкало, а на заводе он проводил дни и ночи, часто ночевал в отделе на кожаном диванчике,— и вот выдержка Льва Филипповича покинула, и он спросил у Сашки прямо: «Скажи, намерен ли твой родственник выполнить обещание?» — «Какой родственник?» — «Который в главке. Который звонил Василию Аркадьевичу насчет тебя». Сашка не понимал, о чем речь. Он ничего не знал про главк. Никаких родственников, кроме сестры, у него в Москве не было. Тут, видя Сашкино недоумение и не поверив ему, Лев Филиппович заорал в ярости: «Да какого дьявола ты мне нужен? Мне нужны винторезные станки, а не грузчик, который сочиняет стишки! Какой от тебя прок отделу?» Крик происходил в мастерской, неподалеку были Люда и Надя, и мы все трое — Терентьич молчал — вступились за Сашку и сказали, что он малый трудолюбивый, исполнительный, работает хорошо и прок от него есть. Лев Филиппович, рассердившись, убежал и так хлопнул дверью, что задрожало стекло, как во время зенитной пальбы. Терентьич, втайне довольный — даже улыбки скрыть не мог,— сказал, что, видно, от Василия Аркадьевича, главного инженера, нашему Льву проборка. «Да разве винторезные достанешь? Они нынче на вес золота. Тут не психовать надо,

а головой думать». Весь день Лев Филиппович был в дурном настроении, на своих отдельских рычал, цеховых кладовщиков гонял и распекал по-пустому, и ходить к нему с «требованиями» боялись. За весь день подписал только два «требования», а остальные — или нету в наличии, или вам это без надобности, или обойдетесь. Но вечером прибежал в ЦИС будто бы что-то найти, зашустрил между стеллажами, Терентьич за ним — хоть не вплотную, но из вида не упускал — и потом мимоходом Сашке: «Ты меня извини, Антипов, погорячился. Я тебе глупость сказал, не обращай внимания, ерунда. Я к тебе отношусь неплохо». И Сашка добродушно ответил: «Да ладно, Лев Филиппович, я уж позабыл». Он, конечно, не позабыл, но думал с досадой не о Льве Филипповиче, а о сестре Людмиле. Догадался — это она устроила пакость с якобы родственником из главка. Пожали друг другу руки, и, уже уходя, Лев Филиппович подмигнул Сашке и сказал вполголоса: «Ты все же насчет станков побеспокойся. Если я эту винторезку не достану, они мне голову отвинтят. Или отрежут, как хочешь». Сашка тут прямо завопил в голос: «Да я-то при чем, Лев Филиппович? Я этого типа в глаза не видел!» Лев Филиппович качал рукой успокоительно, улыбался. «Ничего, ничего, сделаешь, познакомишься...»

Сашка ушел домой убитый, поругался с сестрой, не разговаривал с ней целую неделю. Она уж сама, чтобы примириться с братом и как-то ему помочь, пошла к тому типу домой, просила насчет станков, но тот отказал. Все у Сашки разладилось и становилось хуже. И чем больше на него сердилось начальство — а Лев Филиппович, хоть вроде бы и извинился, продолжал на Сашку дуться, копил раздражение, верил в то, что Сашка силен по части винторезных станков, но не хочет действовать, потому что ленив, неблагодарен, и Терентьич, заметив перемену начальства, стал тоже придирчив и злобноват,— и чем более это становилось заметно, тем скорее исчезала моя давешняя неприязнь, и Сашка начинал мне нравиться. Я удивлялся тому, как спокойно и миролюбиво он все переносит. Нет, я бы не смог! Я бы давно расплевался с Зениным, а старика за его придирки и нудность послал бы куда подальше. И меня бы Терентьич не заставил идти за табаком, тем более менять табак на капусту. Дудки! У них с Сашкой вышел спор. Табачная фабрика была напротив, через переулок, и, когда грузовики с тюками табачных листьев

медленно подъезжали снизу и разворачивались, чтобы въехать в ворота, мальчишки успевали крюками зацепить и сбросить на землю один или два тюка. Потом торговали листьями на Тишинском рынке или тут же у завода, меняли на хлеб. И на капусту. Нам давали иногда сверх карточек кое-что — например, суфле и капусту. Ведь мы делали радиаторы для самолетов. Суфле было из сои, сладковатая кашица, похожая на раскисшее мороженое довоенных времен. Но главное достоинство суфле, за что все его любили, заключалось в том, что его давали в подарок, по безлимитным талонам. Оно так и называлось «безлимитное суфле». Его можно было только съесть, набить им живот, а капусту еще можно было поменять на что-то хорошее. И вот Терентьич попросил Сашку — он, впрочем, никогда ничего не просил, а ворчливым тоном полуприказа сообщал свой приказ в пространство — взять, когда пойдет обедать, его, Терентьича, кочан и поменять у пацанов на листья. Сашке почему-то браться за это не хотелось. Он сказал — не пойду, потому что пацанов гоняют, а тех, кто покупает, могут забара́бать как скупщиков краденого. Но на самом деле не хотел, верно, угождать старику. Терентьич стал над ним тихо насмехаться: «Да ты, видать, храбрец! Вон ты какой? Забара́бают его... Да весь завод покупает... А я думал, тебя из-за плохого зрения не берут!» Сашка молчал, терпел, потом вдруг крикнул: «Ладно, заткнись!», схватил стариковский кочан и убежал. И было ясно, что непременно с ним что-то случится.

Через десять минут Льву Филипповичу звонок из проходной, затем из комендатуры. Беда! Лев Филиппович пришел к нам в мрачной ярости, набросился сразу на всех, Сашку назвал кретином, Терентьича почему-то старым кулацким валенком и с криком: «У меня от дел голова пухнет, а тут еще из-за дерьма неприятности!» — помчался в заводоуправление на правеж. Он мог от Сашки отречься запросто. На кой ему Сашка нужен? А блюстители порядка решили завести уголовное дело, чтоб другим было неповадно, дирекция табачной фабрики требовала беспощадности. Объясняли так: «Наша продукция тоже военная. Табак идет на фронт. Расхитители отнимают радость у бойцов и подрывают дух армии. Надо судить их по законам военного времени». И вот Сашка попал в такой переплет. Потом-то оказалось все еще более грозно! Мы перепугались. Сашку

целый день не выпускали из комендатуры, и мы не сразу узнали, что произошло. Лев Филиппович рассказал, возмущаясь кретинизмом Сашки: Сашку окликнул охранник, дежурный во дворе столовой, в ту минуту, когда малолетний преступник ссыпал из газеты в Сашкину шапку листья. Окликнул лениво и беззлобно, на что надо было реагировать простым бегством или хотя бы уходом быстрым шагом в любую сторону, лучше на улицу. Мальчишки это и сделали, но наш обалдуй остался стоять, тупо глядя на охранника. Свидетели говорят, что было впечатление, что человек в столбняке. Ну, охраннику ничего не оставалось делать, как подойти и спросить: почему и на каком основании? И этот тип отвечал все по правде. Теперь его нельзя было отпустить, и охранник поволок его через проходную в комендатуру. Наш комендант, как известно, далеко не светильник разума. И вот сошлись: упрямый кретин и далеко не светильник разума. Лев Филиппович вошел в комнату в ту минуту, когда комендант, бешено стуча кулаком, допытывался: чей кочан? А Сашка, бледный, но спокойный, твердил: «Этого, разумеется, я вам сказать не могу». Все было вздором — и то, чего допытывался комендант, и бессмысленное запирательство Сашки,— но, странным образом, вздор разрастался, тяжелел, наливался силой, и хотя Сашку выпустили из комендатуры, была вызвана милиция, и у него взяли подписку о невыезде. А на другой день, лишь только Сашка пришел в мастерскую, его потребовали в отдел к товарищу Смерину. И он провел там глухо весь день. Мы не знали о нем ничего.

День был на редкость тихий, без людей. Из цехов не приходили. У Терентьича от переживаний открылась язва, и он лег в больницу. Слесарь Лобов, тощий угрюмый мужик, страдавший астмой, пользуясь отсутствием Терентьича, весь день точил наборные, из плексигласа мундштуки, а я к вечеру зашел на склад: покурить и поговорить с женщинами. Надя меня чем-то влекла. Может, тем, что глупый Терентьич продолжал нас подозревать и даже повесил замок на абразивной кладовке, а Надя от этого нервничала и стала меня сторониться. Но теперь, когда Терентьича не было, она изменилась: без смущения смотрела на меня, разговаривала просто и терпеливо, зато меня, как говорится, будто мытуха разбирала в ее присутствии. Все хотелось ее проверить насчет одной смутной догадки. Говорили мы про Сашку:

как вначале он всем не нравился и как теперь — хоть и с шутками, со смехом — мы его от души жалели. Просто не верилось, что из-за пустяка — да все подряд эти листья у мальчишек рвут — может случиться плохое. Но время было жесткое, смертью насыщенное, и мы делали радиаторы для самолетов. А у товарища Смерина лицо было как сургуч, брови черные и усы черным квадратиком.

Больше всех перепугалась горбатенькая Люда.

— Ой, не верю, что Лев его выручит! Пропал парень...

— Да ничего! — говорил Виктор Иванович беспечно, а на деле злорадствуя. Он с Сашкой не любил ездить, потому что тот всегда заводился с ним спорить по всякому поводу и вообще норовил показать, что он грамотней.— Постирают малость и повесят сушиться. Он ведь упрямый козел.

— Ой, что вы, Виктор Иванович! Он простой, Сашка...

— Балда он, а не простой. Книг начитался, а ума не вынес. И водку пить не умеет. Маленькими глоточками пьет, как чай.

— Кто его научит? Он же сирота, горемыка,— не унималась сердобольная Люда.— Ни матери, ни отца...

Прибежал Лев Филиппович, схватил какой-то инструмент и мимоходом — или, лучше сказать, мимобегом — сообщил, что Сашка все не признается, чей кочан и кто послал. Оттого держат. Хотят добиться. Хотят показательный шум устроить и наказать примерно. А этот тип дурацким поведением своим потворствует.

— Они еще придумают, будто я посылал на табак менять! А что? Неплохая идея! Хотя всем известно, что я не курю...— Лев Филиппович махнул рукою то ли в досаде, то ли в испуге и умчался.

И было неясно, предпринимает ли что-либо, чтобы Сашку спасти, или вправду рукой махнул? Потом через секретаря директора, знакомую Виктора Ивановича, узнали: предпринимает. Был у директора. Разговаривал с парторгом завода. Ну, и с Олсуфьевым, Василием Аркадьевичем, главным инженером, имел, конечно, беседу, потому что Сашка возник отсюда, от Василия Аркадьевича. Но минута была невезучая — конец месяца, никому ни до чего. Директор сказал: «Вы чужую работу на меня не наклячивайте. Я в дела охраны не вмешиваюсь». Сашку вечером из комендатуры не выпустили,

остался там на ночь, а утром пришел человек и пригласил меня в заводоуправление к товарищу Смерину. В натопленной жарко комнатке сидел краснолицый, с черным хохолком Смерин и, откинувшись назад, рассматривал меня издали, голову слегка клоня набок, как художник, всматривающийся в модель.

— Догадываетесь, зачем вызвали?

— Нет,— сказал я.— То есть, может быть, да...

— Может быть? Ничего себе — может быть...

Смерин покачивал головой и хмыкал, как бы пораженный наглостью моего ответа. Я впервые был здесь и впервые разговаривал со Смериным. В его манере говорить отрывисто, с паузами была какая-то многозначительность. Он будто все время предлагал собеседнику догадаться о чем-то главном. Вдруг спросил:

— Вы хороший физиономист?

— Не знаю,— сказал я.

— Посмотрите на карточку. Видите этого человека? На кого он похож?

Протянул мне карточку. Мужчина средних лет, черноволосый, в пенсне, в светлом тесном костюме, в белой рубашке, в галстуке, держит на коленях кудрявого пацана лет пяти. Я сказал, что человек незнакомый. Никогда не видел.

— Вы правы. Его не видели. А этого видите каждый день.— Он ткнул пальцем в пацана.— Перед вами фотография Антипова, отца того техника по инструменту, который задержан при попытке купить табак, похищенный с фабрики. Будет показательный суд. Руководство фабрики взмолилось: положите конец грабежам среди бела дня! Мы обязаны действовать и ударить воров и спекулянтов по лапам...

И затем вопрос: кто дал Антипову приказание купить табак? Я сказал, что не знаю. Знаю лишь, что Антипов не курит и табак ему не нужен. Это было правдой, Сашка закурил через два года. Смерину мой ответ не понравился.

— Покрываете? — Зажмурил один глаз, а другой, черный, мохнатый, уставил дулом в меня.— Неправильно делаете. Зря, зря. Имейте в виду, теперь всякий пустяк, хотя бы такая мелочь — ну, табачку схватили у мальчишек, какой грех! — имеет другую подкладку. Ты согласен?

— Да,— сказал я.— Хотя подкладку можно, конечно, подшить...

— Это как?

— Ну, как подшивают...

Смерин ударил ладонью по столу.

— Ты шутки брось. Подкладку не шьют, а обнаруживают. Понятно вам? А думаете, случайно у вас в гнездышке Черепова горбатая, курильщица неистовая, так ведь она монашкой была, пока монастырь не закрыли и всем дурам под зад... А старичок завскладом? Вот хитрая лиса! Все чужими руками. А сам чуть что — язва открылась, и в больницу нырнул. Старичок из раскулаченных, нам хорошо известно. Он в Москве с тридцать второго года. Еще Новикова Надежда, тоже фрукт: дома муж-инвалид, а она... чего стесняться? Война все спишет. Ну, и вас два гаврика. И как это вас всех в одно место сунули? А что делать, когда людей нехватка, скажи? Вот вы и пользуетесь, господа хорошие.— Глядел сурово и черные брови над переносьем сводил.— Я бы вас, конечно, сюда на работу не взял. Да за всем не уследишь. Война, брат, великая, и победа будет громадной ценой...

Я сидел смирно, слушал, вникал, старался понять. Вдруг открылось: главное неудовольствие не против Сашки, не против бывшей монашки или раскулаченного Терентьича, а против Льва Филипповича Зенина. И надо узнать: случайно или не случайно подобрались люди? Зенин, разумеется, не сам подбирал, а кто-то ему подбрасывал. Антипова, к примеру, кто? Не главный ли инженер Василий Аркадьевич Олсуфьев? Было бы важно уточнить. И насчет Череповой: не ведет ли религиозных бесед, не приносит ли каких-либо книг? Я отвечал то, что знал. А не знал я ничего. Олсуфьева в глаза не видел. Религиозных бесед не слышал. Многозначительность разговора становилась все туманней. Дело запутывалось. В его глазах я был человек, не пользующийся доверием — он сказал прямо,— и, однако, он откровенничал и даже просил моей помощи. Но помочь я не мог, ибо ничего не знал. Про Олсуфьева слышал, но про его заместителя Майданникова впервые. Про табак и капусту, с чего все началось, мы оба забыли. Но когда он неожиданно встал и сказал: «Вы свободны!» — я спросил: а если обойтись без показательного суда? Он ответил: «Все зависит от Антипова. И от тебя». Я не стал выяснять, что он имеет в виду.

Когда вернулся в мастерскую, Сашка был там; согнувшись над тисками, пилил ожесточенно матрицу. У него всегда, когда работал, появлялось в лице и во

всей фигуре выражение судорожного и несколько суетливого напряжения. Терентьич учил его: «Легше, легше! Чего на тиски, как на бабу, жмешь?» Я спросил у Сашки:

— Спал ночью?

— Почти нет.

— Почему не отпускали?

— Отпустили, да поздно. Метро не работало. Я там остался, да не спалось ни черта...— Он помолчал, вытер запястьем пот со щек. Лицо было грязное.— Не пойму, чего хотят.

— А все-таки?

— Кто их знает. Наказать для примера, что ли.

— Ну, а ты?

— Что я? Наказывайте.— Сашка пожал плечами.— Я не возражаю.

Шла война, были нужны самолеты, мы делали для них радиаторы, а все остальное не имело значения. Подошла Люда и, глядя на Сашу радостно — глаза лучились,— шепнула:

— Слава тебе господи... Я за тебя молилась...

— Ну! — сказал Сашка.— Это здорово.

Он ждал, что в мастерскую придет Надя, но той было некогда. Она осталась в ЦИСе главной, пока Терентьич лечил в больнице язву, сиречь перепуг. Через три дня Терентьич явился — исхудалый, тихий, в серебряной бороде, шаркал по цементному полу, как истинный старик, ничем не интересовался, а на Сашку смотрел робко и с ожиданием. Но Сашка ему рассказывать не стал. Терентьич узнал от женщин. Как-то утром вынул из кармана и протянул Сашке свернутый кольцом старый, трепаный, из толстой кожи пояс:

— Возьми-ка... А то, гляжу, твой не годится... Штаны потеряешь...— Глядел хмуро, без улыбки.— От сына остался.

Сын Терентьича, сапер, погиб в сорок первом. Терентьич никогда о нем не говорил, будто не было сына, не было горя, и вообще на судьбу не жаловался. И поэтому теперь, когда заговорил да еще подарил сынов пояс, все удивились. Какая-то сила в душе Терентьича, делавшая ее, душу, тугой и жесткой, ослабла. И перепуг еще лихорадил старика, потому что антиповское дело не кончилось. Старику бы посидеть в больнице еще деньков пять, но страх за стеллажи — а вдруг что случится с замечательными корундовыми резцами и тончайшими,

грифельного цвета надфилечками в вощеной бумаге? — этот страх пересилил. Лев Филиппович целую неделю был мрачен, ходил по коридору, не поднимая глаз, молчком, разговаривал отрывисто, и понять было нельзя, на каком мы свете. Говорили, будто его тоже вызывал Смерин и Лев Филиппович вернулся от него серый от злости и с маху зарезал громадное «требование» пятого цеха — сократил вдвое. Получился скандал, Лев Филиппович и начальник пятого орали друг на друга на лестнице. Начальник пятого орал: «Правильно говорят, разогнать вашу шарашку пора!»

Я боялся: разгон начнется скоро. К тому дело шло. Вечером я забрел в ЦИС, к раздатчицам, и, проходя мимо стеклянной переборки с окошком, услышал, как Надя вполголоса рассказывает: «Я говорю, напишите, говорю, наркому. Надо же, говорю, парня спасать. А он: что мне, больше всех надо? А мою башку кто спасет? Ах ты, говорю, такой-сякой, если, говорю, не напишешь, не рассчитывай...» — тут она прыснула, зашептала неслышное. И горбунья шептала, обе смеялись. Я остановился в дверях — заходить или нет? Шепот и прыск женщин меня не ободрили. Но Люда увидела через стекло, замахала длинной, как у обезьянки, быстрой рукой.

— Поди сюда! Поди, поди, поди!

Я зашел и сел на ящик рядом со столиком.

— Наш-то со Смериным поругался — страсть! — зашептала Люда, глаза лучистые от волнения враскос.

— Откуда знаете?

— Сам рассказал. Одному человеку. Снимайте, говорит, меня с работы и отправляйте на фронт, хоть в штрафбат. Я давно прошусь. У меня, говорит, немцы всю семью побили, так что на фронте мне интересней. Решайте.

— А Смерин?

— Не беспокойтесь, сказал, без вас решим. Засорили, говорит, отдел чуждым элементом. А наш ему... как же он сказал-то, Надя?

— Он сказал: ваша забота — элементы, а моя — инструменты. Как-то вроде этого, остроумно.

Женщины смеялись, поглядывая на меня лукаво. Я понял, какому о д н о м у ч е л о в е к у Лев Филиппович рассказывал. Что-то подобное я подозревал, поэтому не особенно огорчился, когда подтвердилось. Огорчился, конечно, но не смертельно. Я спросил: будет ли

Лев Филиппович выручать Сашку? Есть ли у него возможности? Надя сказала:

— Будет.— И добавила, помолчав: — Возможности небольшие есть. Никакого суда он, конечно, не хочет и будет противиться всеми силами. Ну, а что получится...

Она развела руками. Я поверил всему, что она сказала. И в первую очередь своей догадке. А Сашка жил в странном спокойствии, не ведая о том, что бури вокруг него и вокруг всех нас не стихают. В выходной день уговорились пойти в кино. Февраль был на исходе, сырой, ледяной, скучный. И вот, возвращаясь после сеанса — смотрели «Большой вальс», нас обоих это сильно растрогало или, лучше сказать, разобрало — и спускаясь быстрым шагом по улице Горького к метро, торопясь домой до начала комендантского часа, то есть до половины двенадцатого, мы неожиданно разоткровенничались. Я рассказал про Олю, про то, как она приехала летом ко мне и провела вечер и ночь с моим другом, как я ее презирал, и жалел, и мучился, и в октябре сорок первого с нею простился, она сейчас в эвакуации неизвестно где, но я не могу ее забыть. Какие бы женщины ни попадались на моем пути, я мысленно возвращаюсь к Оле. Между прочим, она несколько похожа на Дину Дурбин. Такой же овал лица и такая же улыбка. Нет, я не могу ее забыть, хотя она меня предала. Сашка тоже рассказал историю, случившуюся недавно. Он пришел в ЦИС, разговаривал с Надей и Людой, Терентьич болтался тут же поблизости, у стеллажей, и вдруг погас свет. Отключили ток по всему заводу. Внизу перестал бухать пневматический молот, наверху стало тихо, замолчали станки инструментального, и стеклянная переборка не звенит. Терентьич путается в потемках, ворчит: «Где свеча? Людмила, ищи свечу!» Люда ничего не найдет, тыркается, спотыкается, бедная, а Сашка сидит на стуле молча. Свечу не нашли, Терентьич, ворча, ушаркал вдоль переборки к выходу, а Сашка оцепенел, потому что минута единственная: Надя вблизи, и тихо, и тьма. Вдруг голос Нади: «Саш, хочешь закурить?» Рука легкая выпорхнула из тьмы, прикоснулась к плечу, к щеке, к губам, сердце стучало, рука с легкими пальцами — в них легкое дрожание — замерла на губах, остановилась как бы впопыхах, как бы в забывчивости, ощупывая тьму, на одну лишь секундочку или на две, потому что во вторую секунду он губами ответил легким пальцам. Не успел еще ничего сообразить, где-то

чиркали спичкой, скрипел стул, вдруг загорелось. Он сидит за раздаточным столиком, с другого края у того же столика Люда, а Надя далеко. Не ее рука. Какие нежные, бестелесные пальцы у горбуньи! Надя курит спокойно, протягивает издали папиросу Сашке — да ведь он не курит, Надя все забывает,— а горбунья закрыла пальцами лицо, склонила голову, черную, гладковолосую, как перья старой большой вороны, низко к столу и лепечет что-то беззвучно.

— Знаешь, был, конечно, момент ужаса... Нет, вру... Неправда...— бормотал Сашка.— Момент какого-то переворота... Все вдруг переворотилось... Но дело в том, что Люда ведь хорошая, она самая хорошая, наверно, среди нас... У нее пальцы добрые... Она меня пожалела... Но тот миг, когда я вдруг поверил, возликовал — до безумия, понимаешь? — был миг такой силы... такого...

Не объяснил чего. Я понял — счастья. Это случилось с ним в инструментальном складе в феврале сорок четвертого, днем, во мраке, когда обрубили ток и когда шла война, пожиравшая радиаторы для самолетов. У меня сжалось сердце от сочувствия к нему. Сказать ему? Предупредить? Так и не решился.

Наступил март. Лев Филиппович прибежал однажды в мастерскую, накинулся на Терентьича и на нас с гневом:

— Где штампы А-12? Все бросить, ремонтировать штампы! Что за публика? Что за разгильдяи? Вчера русским языком было сказано: с утра все к черту, только штампы, штампы и штампы! И стоит ли из-за вас головой колотиться в стенку? А? Ну? — Он пробежал мимо верстака, вернулся бегом обратно и сказал: — Антипов, можешь писать стихи дальше. Тебе будет объявлен строгий выговор и больше ничего. Смерин меня запомнит! Пусть он скажет, где такой инструментальный отдел, как у нас! Где такой фонд сверла? А такие фрезы? Вся Москва к нам бегает, попрошайничает. От Зенина освободиться легко, а что дальше? Кстати, Антипов, я звонил твоему родственнику в главк. Имей в виду, он сказал, что никакой твой не родственник и тебя не знает. Но я нажал на другие рычаги... Что вы делаете, Терентьич?! — вдруг заорал он не своим голосом.— Кто берет для этой цели ножовку?

Он подскочил к Терентьичу, вырвал из его рук ножовку и отбросил ее с отвращением, после чего устремился на склад, и я видел через стекло, как, пробегая

мимо стола раздатчиц, он прикоснулся к золотистой голове Нади, потрепал ее мгновенно и исчез за углом стеллажа. Потом Надя рассказала Люде, а Люда по секрету мне, как Лев Филиппович признался: «Я б его не стал выручать, да вдруг вспомнил: он сирота. Я сам сирота по вине войны. А мы, сироты, должны помогать друг другу... Все кругом сироты и должны помогать...» Вот так сказал Лев Филиппович. Но война передвигалась на запад, легче становилось дышать. Старое должно было пропасть навек, а с каждым днем яснело и близилось новое. И предвестьем нового случилось то, что было забыто, слабый знак лучших времен, а мы с Сашкой и вовсе не знали, что это такое в е ч е р и н к а.

Пригласила Люда, ей исполнилось сорок, и где-то вблизи был женский праздник, и радостные дела на фронте, всякую неделю салюты, очищена почти целиком Украина, наши ломят на Ленинградском и Волховском, так что в удобный для всех выходной в е ч е р и н к а! Дощатый кривобокий домик в переулке возле Нижней Масловки, недалеко от завода. Вечеринка — это вот что: сложились по пятьдесят рублей, Лев Филиппович дал сто, купили по талонам водку, конфеты, несколько банок рыбных консервов «частик», принесли кто картошку, кто лук, кто свеклу, сделали винегрет, сели тесно вокруг стола, шумели, кричали, пили водку из рюмок, потом чай, потом опять водку, пели песни, была духота, натопили ужасно, но все веселились, было необыкновенно весело. В моей жизни ничего веселее не было. И в Сашкиной тоже. Опять мы сцепились: кто кого переборет, Виктор Иванович поставил десятку за меня, Лев Филиппович — за Сашку, расчистили стол, уперлись локтями, схватились и стали жать друг друга изо всех сил, но я перехитрил, сразу навалился плечом, чего никто не заметил, и он стал медленно гнуться, гнуться, и, как ни гримасничал, ни скрипел зубами, я его придавил. Я впервые заметил, как злобно он может глядеть. Наверно, огорчился оттого, что придавил его при Наде. Вдруг Лев Филиппович: «А ну, давай за Антипова отомщу!» Рукав закатал до локтя, маслянистый глаз сощурил, а рука у него хотя и тонкая, но жилистая, в рыжих волосках, и вдруг, не успел я путем взяться, напер всем корпусом, нагло, в нарушение правил, и прижал, конечно, мою руку к столу. Что ж удивительного? Напал внезапно, как все равно Германия на нас. Я протестовал, он хохочет: «Вот так-то! Смекалка!»

И тут муж Нади Серафим, горбоносый, лицо в синеватых пятнах, инвалид на костылях, который не проронил ни слова за столом и песен не пел, вдруг произнес каким-то жутким, будто со дна реки, булькающим голосом: «Хотите на спор — любого своpочу!» Сказано было так, что никто бороться с ним не захотел. Вроде бы даже не слышали. Потому что все, лишь поглядев на богатырские плечи, на мощные ухватистые руки, непомерно развитые от костылей, и услышав небывалый голос, поверили — своротит. Один глаз Серафима был затекший, темною щелью, а другой белый, круглый, красивый, смотрел строго, я не сразу догадался — искусственный. Ногу и глаз Серафим потерял одновременно от взрыва бомбы. От выпитой водки Серафим сидел покачиваясь и временами как-то глухо, неразличимо в общем шуме гудел, будто стонал. Люда и Надя были с распущенными волосами. У Люды волосы черные, а у Нади светятся, как золотой пух, косу расплела и по плечам разбросала. Пели в два голоса очень ладно. У горбуньи голос тоненький, нежный, как у девочки, а Надя низко вела. В комнате Люды — стол накрыли здесь, где посвободнее, Надя с Серафимом помещались в соседней, дверь распахнута — стояло в углу пианино, Люда играла без передышки. И откуда силы в тщедушном тельце? Если б не горб и не лицо блеклое, желатиновое, и правда как девочка. Ничего монашеского я в комнате не заметил. Только вот икона в углу.

— Сейчас полечку отчубучу! — вскрикивала Люда, пальцы длинные взметывала выше головы. Пальцы летали без устали. А когда останавливалась на минуту — перевести дух, в рваных нотах пошуршать,— успевала радостно, торопясь, рассказать про молодого человека редкой красоты, скрипичного мастера, зовут Валерьяном, который был влюблен в нее до войны, умолял выйти замуж, а она, глупая, отвергла. Придет, бывало, в эту комнатку — еще мама была жива, а Серафим и Надя тут не жили,— сядет вот так и просит тихо: «Играй, играй, милая! Слушать тебя могу без конца и без счета!» И слушает, глаза закрыв. Ресницы темные, длиннющие. А то, бывало, устроится прямо вот здесь, на половике, как собачка, и ну руки ловить губами — тут уж не поиграешь... Я слушал, поражался. Каким надо быть удивительным человеком, чтобы полюбить горбунью!

— И все ты врешь, Людмила,— говорил Виктор Иванович,— Играешь ты хорошо, а врать не надо.

— Почему же вру, Виктор Иванович? — В голосе Люды никакой обиды, все та же радость, оглушенность.— Ничуточки не вру. Вон письма его в шкатулке. Он мне каждый свободный денек весточку шлет. С Белорусского фронта.

— Да ты небось сама пишешь?

— Ой, Виктор Иванович! Я нынче именинница, зачем меня срамить? — Смеясь, махала обезьяньей лапкой.

Сидели долго, до одиннадцати, вплотную до урочного часа, и здесь, как на заводе, внезапно гас свет, хохотали, рассказывали впотьмах неприличные анекдоты, Виктор Иванович знал их много, и такие, что ого-го! Свет зажегся, Люда побежала к соседям просить папирос или махорки, а потом, когда вернулась, все сидели покойно, удобно и болтали весело — про Терентьича, про его бабку, которую он боится до смерти, она его не пустила гулять, а он так ее «любит», что норовит переночевать в абразивной кладовке, лишь бы не дома, и про его подозрительность, про то, что кладовка распаляет его воображение, про всю эту чепуху,— вдруг увидели, как над столом стал медленно подниматься и повис костыль. Серафим безо всякой улыбки и молча держал костыль одной рукой над столом.

— Что ты это, Сима? — спросила Люда.

— Опусти сейчас же! — сказала Надя.

Серафим не убирал костыля. Направлял его в сторону Льва Филипповича и теперь держал широкую рукоятку костыля с вытертой, залоснившейся кожаной подушкой в точности над головой нашего начальника.

— Что это значит? — Лев Филиппович хмыкнул и отодвинул рукою костыль, но Серафим опять направил его к темновато-рыжей копне волос Льва Филипповича. Вообще-то никакого вреда Льву Филипповичу от костыля не было. Костыль висел на расстоянии примерно вершка, не касаясь волос. Но, конечно, такое висение было неприятно, разговор не вязался, все замолкли. Лев Филиппович раза два отбросил костыль рукой, но Серафим упорно возвращал его на прежнюю точку в воздухе. Надо сказать, он держал эту тяжесть одной рукой с легкостью. Лев Филиппович мог бы, наверно, схватить костыль и вырвать из рук Серафима, который сидел напротив, но тогда был бы скандал или драка, чего Лев Филиппович не хотел, поэтому он замер, притихший и даже как будто испуганный, не решаясь встать и уйти, чтобы не задеть костыль головой, и был похож на жука,

над которым навис сачок. Затем он вдруг перестроился и попытался делать вид, что никакого костыля нет, все в порядке и можно как ни в чем не бывало продолжать разговор о Терентьиче.— Нет, видите, в чем дело,— говорил он,— Михаил Терентьич человек непростой... Он попал на завод после долгой жизни, после, ну, скажем, разных передряг... Но, несмотря на то что, понимаете ли...

Как ни хотел Лев Филиппович оставаться спокойным, ему это не удавалось, он краснел, напрягал шею, губы ненужно и бесконтрольно сжимались, а костыль над головой начал подрагивать — рука Серафима устала. Но, может, костыль примеривался, как лучше грохнуться на вздыбленную шевелюру. И все натянулось до предела, сейчас должно было что-то случиться, взрыв, вопль. У Серафима было мокрое застылое лицо, голова тряслась. Надя проскользнула к нему и, обняв, прошептала:

— Сима, родной, зачем ты это?

Серафим молчал. Рука его сильно дрожала.

— Боже мой, да зачем же...

— А вот так они висели над нами,— вдруг сообщил Серафим голосом со дна реки.— Не нравится? Не хотите?

— Это было давно, Сима. Не вспоминай.

— Почему давно?

— Давно, давно, Сима, не спорь...— шептала Надя, обнимая Серафима.— Я была тогда под Волоколамском, на лесоразработках... Там много девчонок погибло... Мы получали восемьсот граммов, и я привозила хлеб маме... Сбегáли в Москву без спроса на один день... А девчонки погибали знаете как? Давило... Соснами... Никак мы не могли научиться...

— Они сбросят и уходят все разом,— сказал Серафим.— Завалятся набок таким макаром...

Костыль поворотился в воздухе и, сделав плавный широкий круг над нашими головами, опустился вниз и исчез под столом. Надя поцеловала Серафима в темя и погладила щеку в синих пятнах. Лев Филиппович встал.

— Ну что ж, господа офицеры...— Вынул расческу, стал расчесывать волосы.— Спасибо за ласку. Мы пойдем. А картошку я вам доставлю. Мне должны в одном месте мешок. Надо его доставить.

Когда шли почти бегом к метро, только и говорили

об истории с костылем. Сашка сказал, что Серафим, вероятно, немного сошел с резьбы в результате ранения. Но мне казалось, что тут другое. Сашка не догадывался. Лев Филиппович вздыхал: «Бедная Надежда! Жить с таким чучелом!» Сашка сказал: «По-моему, он хороший человек».— «Ну, хороший, и что? А с хорошим чучелом радость?» Виктор Иванович, который считал, что обо всем следует говорить прямо, без обиняков, заметил: «А вам не надо было, Лев Филиппович, на вечеринку приходить». Лев Филиппович удивился: «Почему же?» — «Сами знаете. Не надо было. Оттого и вышло». Лев Филиппович пожимал плечами, головой крутил, бормотал: «Ну, не знаю, не знаю...» В метро было пусто. До центра доехали вместе, там расстались: Лев Филиппович поехал к себе на Кировскую, Виктор Иванович — на Курский, а мы с Сашкой — к Парку культуры, только я выходил раньше, у Библиотеки Ленина, пересаживался на троллейбус. Пока шли безлюдным переходом, где женщины уже мыли швабрами пол и стоял химический, ночной, подземный запах, Сашка рассказал — опять, когда погас свет, была такая же ерунда, как в ЦИСе. Она гладила его лицо, прижимала ладонь к губам. Понравилось ей! Но он ее руку отбросил. И, наверное, грубо. Не сдержался, какое-то внезапное отвращение. Зачем она это делает? Теперь Сашка переживал. Он просто мучился этим воспоминанием.

— У меня чувство, будто я ее ударил. Какая же я сволочь!

Я его успокоил: ничего подобного, он не сволочь. Я бы сам, может, так поступил. Но главное вот что: вечеринка удалась. Вечеринка вышла замечательная. С этим он был согласен. И мы втайне верили и боялись верить в то, что предстоит еще много замечательных вечеринок в жизни!

С каждым месяцем мы делали все больше радиаторов для самолетов. Наш завод получил переходящее знамя, и об этом писали в газетах. На склад стали поступать американские инструменты в яркой упаковке. Особенно нравились мне абразивные камни, очень красивые. Вот уж Терентьичу было отчего трястись! В столовой на обед давали свиную тушенку. Иногда по мясным талонам получали банки с розовой невиданной колбасой, ее можно было есть ложкой, как мед. Еще лучше жарить на сковороде с картошкой. Она была сочная, для жарения не требовалось масла. Но эти сласти бывали редко,

а главной едой, спасительной и не надоедавшей никогда, была картошка. И те, у кого она исчезала, испытывали беспокойство и страх. Она была важнее всего — важнее свиной тушенки, важнее сахара, спичек, керосина, мыла.

Лев Филиппович сказал: в Одинцове на даче есть мешок картошки. Он принадлежит ему. Хозяин мешка кое-чем обязан Льву Филипповичу, и по договоренности отплата производится картошкой. Там поблизости есть завод, где надо взять инструмент, две пачки сверл, их легко положить в карман. Он выпишет командировку. Можно съездить среди дня. И тут Виктор Иванович вдруг уперся — у него бывали дни, когда его охватывало какое-то тупое, раздраженное упрямство,— и сказал, что за сверлами поедет, а за мешком картошки нет.

— Лев Филиппович, да побойтесь бога! Нельзя же так, в конце концов! — заговорил он своим истовым голосом правдолюбца.— Ведь это ваша личная картошка, не правда ли? А вы хотите в рабочее время да чужими руками.

— Я хочу не для себя.

— А для кого, позвольте узнать?

— Для инвалида войны.

— Ах, для инвалида войны! — Виктор Иванович засмеялся.— Такая любовь к инвалидам войны! Тогда тем более не поеду. Было бы вовсе глупо. Нет, это категорически невозможно — тащить мешок электричкой, еще неизвестно какой мешок...

— Да не вам же тащить, Виктор Иванович! — крикнул Лев Филиппович, и его мелкие черные глазки сверкнули гневно.— Ребята потащат. Разве вы когда что таскали?

— Ну, не знаю, Лев Филиппович. А почему ребята должны таскать? Разве они затем пришли на наш завод, чтоб таскать вам картошку?

— Да я их попрошу! Черт бы вас взял! — заорал Лев Филиппович, краснея лицом, шеей, белками глаз.— Неужто они не сделают? Неужто в них благодарности нет? Я попрошу по-дружески, после работы, в выходной день...

Мы с Сашкой стояли тут же, но они нас как будто не замечали.

— После работы — другое дело. Может, они и согласятся,— пожимал плечами Виктор Иванович.— Это, собственно, их дело.

— Вот именно! Не ваше! — гремел Лев Филиппович.— Смотрите, какая рабочая совесть нашлась! Давайте отправляйтесь в главк к Супрунову и привозите наряды! Без нарядов не возвращайтесь! А то любите мотаться попусту.

— Я бы не согласился,— сказал Виктор Иванович, жуя папиросу.

— Отправляйтесь, пожалуйста! — крикнул Лев Филиппович и, когда агент вышел, чертыхнулся.— Хоть бы ты скапутился от своей чахотки...

Мы стояли молча. Ехать за картошкой нам, конечно, не хотелось. Да еще в выходной. В рабочий день куда ни шло. Да и то. Поэтому мы не заговаривали с ним и, так же, как они с Виктором Ивановичем как бы не замечали нас, мы как бы не слышали всего разговора. Лев Филиппович потоптался в мастерской, посуетился на складе, вернулся, но так ни о чем и не попросил. Наверно, надеялся, что мы сами предложим, а мы не предложили. Когда он ушел, Терентьич сказал:

— Верно, ребята. Пущай сам ишачит или, на край случай, машину берет.

Из склада неслышным шагом выпорхнула горбунья.

— А мы тоже говорим,—зашептала,— пускай машину в гараже попросит. Зачем это нужно на себе таскать? Правда же?

— Да ведь картошка для вас,— сказал слесарь Лобов.— Ну!

— Почему для нас?

— Для Серафима, для Надьки. А ты не знала?

— Неужели знала? — Люда в некотором смущении махнула лапкой.— Я в ихние дела не вмешиваюсь...

И на этом все рассосалось. Мы не набивались, он не просил. Да и вообще вся свара затеялась лишь потому, что Виктор Иванович в тот день утром встал в своей комнатке на Разгуляе в дурном настроении — болела спина, а это означало худое.

Перед выходным Сашка мне вдруг сказал, что завтра поедет в Одинцово за картошкой — он Льву Филипповичу пообещал, тот дал адрес. Мне это не понравилось. Тут был оттенок штрейкбрехерства. Ведь мы оба уклонились вначале, надо уж эту линию держать, а то выходит, что все *плохие*, а он *хороший*. Я заметил иронически:

— Нельзя подводить начальство?

— Да,— сказал Сашка.— Не хочу. Он мне добро делал, и я помню.

— Ну, ну,— сказал я.— Это замечательно: сделать добро и тут же попросить за него рассчитаться.

— Он сказал, что полмешка отдаст Серафиму. А Серафим-то привезти не может.

— Да? — спросил я так же иронически.— С какой бы стати такая любовь к Серафиму? Я имею в виду не его, а тебя?

Он взглянул на меня ошалело, и в одну секунду его взгляд стал злобным. Ничего не сказав, он отошел. Я занялся своим делом. Мы работали в мастерской. Целый час мы не сказали друг другу ни слова, хотя с другими разговаривали, заходил Виктор Иванович, обсуждали события, второй фронт, а потом мне надо было пойти в соседний цех, и я, проходя мимо Сашки, сказал:

— Имей в виду, будешь иметь дурацкий и глупый вид.

Сашка не ответил. После работы мы шли к метро врозь — он торопился, побежал вперед. Даже споткнулся, бедный. А что произошло в выходной день, я узнал вечером.

Он приехал в Одинцово днем, но, пока нырял в сугробах, искал улицу и дом среди заколоченных дач, настали сумерки. Наконец отыскал домик с верандой, в окне горела свеча. Кто-то, держа дверь на цепочке, долго выспрашивал: от кого, для чего? Сашка сунул в дверь записку Льва Филипповича. Открыл малорослый старичок в длинной, чуть не до колен, вязаной кофте, в валенках, горло обмотано шарфом, говорил сипло. Оказалось, фотограф и дальний родственник Льва Филипповича. По комнате прыгала собачонка. На ней был вязаный жилет. В комнате стоял холод и было тускло от одинокой свечи. Старичок сказал, что сейчас работы мало и он не понимает, как он еще живет. «Но я согласен умереть хоть сегодня,— говорил он.— Пожалуйста, я готов. Все мои близкие на том свете. Я за жизнь не держусь». Однако мешок картошки он давать не хотел. Говорил, что картошка ему еще пригодится. Да, он должник Левы. Он не отрицает. Но Лева тоже хорош: обещал изоляционную ленту и выключатели, но нет ни того, ни другого. «Он не дал вам изоляционной ленты?» — «Нет».— «Вот видите. Самое большое — полведра».— «Как полведра?» Сашка испугался. Ему невероятно хотелось привезти картошку в Москву. Они стали

спорить, Сашка убеждал, старичок упирался, потом попросил Сашку продать ему бекешу — на Сашке была теплая старинная, времен гражданской войны, отцовская меховая бекеша,— но Сашка говорил, что, если тот не держится за жизнь, ему не нужны ни бекеша, ни картошка. Тогда старичок признался, что его привязывает к жизни Сельма — показал на собачку, которая, дрожа обрубленным хвостиком, стояла перед Антиповым и неотрывно смотрела на него, подняв черную мордочку мудрой преданной старушонки. Так они проспорили и проторговались до темноты. И все же Сашка вырвал у фотографа мешок и в потемках попер его на станцию. Мешок был из толстой прочной бумаги, на морозе бумага трещала. Весил он килограммов пятьдесят, по утверждению Сашки, но Сашка всегда все романтизировал, поэтому, скажем, сорок, не больно тяжел, но взяться неудобно. Только на плече или на руках нести, как ребенка. На спину не получалось, он был жесткий, негнущийся, и хвоста нет, не ухватиться. Проклятый мешок! Я Сашке не завидую. Он с ним нахлебался, пока доковылял до станции, ноги подгибались, сил не было подойти к кассе. Так и поехал без билета. Ух, мешок! Я эти мешки хорошо знал: мы получали в них американские абразивные камни.

Семичасовая электричка оказалась битком, работяги торопились в Москву, в ночные смены. Сашка влез в тамбур, поставил мешок рядом стоймя. Народ подваливал на всех станциях, в тамбуре скучилась невозможная теснота, и когда приехали на Белорусский вокзал, стали выходить скопом, мешок опрокинули. Сашка хотел крикнуть «Постойте!», но было стыдно кричать, да и кто бы послушался? Чертыхались, спотыкались, топали по мешку, один сказал: «Тут вроде кто-то лежит». Другой: «Да пьяный небось скот». А третий определил: «Это чей-то мешок сдался». Прокопытили его в клочья, картошку раскатали по тамбуру, половину вниз, под колеса. Сашка ползал, собирал. На вокзалах всякий свет запрещен, хоть глаз выколи, чего соберешь? А я предупреждал: будешь иметь дурацкий и глупый вид.

Сложил кучку на перроне, стал продавать, потому что взять не во что. Представляю себе, как он униженно бормотал: «Кому картошку... По дешевке... отдам...» — а народ мимо, мимо, всем некогда, бегут на работу, кто впотьмах покупать станет? Вдруг гнилая? Ничего не продал. Насовал сколько мог в карманы и

пошел в метро. А кучка продержалась на перроне до утренних электричек, и тогда уж, наверное, растащили.

Поздним вечером он свалился вдруг на мою голову, я не спал, бабка уже спала, разговаривали на кухне, пили чай с сахарином, и он рассказывал всю эту ахинею с мешком, якобы смеясь, шутливо, но на самом деле с тайным отчаянием. Вид у него был обалделый. Он спросил: не могу ли я ему помочь продать бекешу? Почему-то он считал, что я на рынке более ловок. Я стал его отговаривать: отличная бекеша, ее можно носить еще двадцать лет, сносу не будет, ты что, с ума сошел, продавать такие бекеши? Но он сказал, что это его твердое решение: пока ехал ко мне, обдумал все варианты и понял, что бекеша — единственный выход. На другой день пошли на Даниловский рынок, я изображал покупателя, и нам удалось всучить бекешу одному типу в обгорелой шинели за семьсот пятьдесят. Мешок картошки стоил шестьсот. Мы купили еще самодельные санки и поволокли мешок по сырой, в тающем снегу Большой Серпуховской. В воздухе уже колыхалось тепло. Зима была позади. Сашка шел в телогрейке и посвистывал.

Пришли на Кировскую, в переулок, в двухэтажный дом, вход со двора, потащили вдвоем по деревянной лестнице наверх. Я у Льва Филипповича раньше не бывал. Женщина отворила дверь, показала рукой, куда идти, и шелестела сзади: «И все что-то тянут, тянут...» Лев Филиппович в белой рубашке сидел за столом и при свете настольной лампы, низко нагнувшись, разглядывал чертеж.

— А, картошка приехала! — сказал Лев Филиппович.— Это хорошо. Почему в другом мешке?

— Да тот порвался,— пришлось пересыпать,— сказал Сашка.— Тот совсем пропал.

— А! — сказал Лев Филиппович.— Это жаль. Ну, молодец. Это ты правильно сделал.

За занавеской хлюпала вода, что-то постукивало,— наверно, стирали. Наверно, таз стоял на табуретке, и табуретка стучала ножками в пол. Вдруг вышла Надя в длинной хламиде, вроде мужской полосатой пижамы, с рукавами, засученными до локтей, руки были мокрые.

— Ой! — вскрикнула Надя то ли обрадованно, то ли испугавшись.— Наверно, не ожидали? — Она засмеялась.— Я вот начальнику помогаю.

— Надежда мне помогает. К сожалению, не часто.

Но и на том спасибо. Сейчас будем чай пить! — сказал Лев Филиппович и вышел из комнаты.

Сашка мертвенно молчал в своей излюбленной позе столбняка, с полуоткрытым ртом, а я сказал:

— Почему не ожидали? Вполне. Как раз ожидали.

— Ребята, знаете,— шепнула Надя,— я Льва Филипповича так жалею... Я вообще-то жалостливая... Кто ж ему постирает, приберется?.. У него всех, всех побили, подчистую... Даже прабабку девяноста лет...

— А нас не пожалеете? — спросил я нагло.

— Вас? — Она опять засмеялась, и лицо было пылающее, счастливое.— Чего вас жалеть? Вы молоденькие. Вас еще пожалеют.

Жалеть нас было не надо. Мы делали радиаторы для самолетов. И война приближалась к концу. Летом сорок четвертого Лев Филиппович добился того, чего хотел,— его отправили на фронт, больше мы о нем ничего не слыхали. И все мы скоро разлетелись кто куда. Война сводила людей и рассыпала навек. С Сашкой я еще иногда встречался, а остальные исчезли. Темная от копоти, заматерелая, потерявшая цвет кирпича стена бросилась мне в глаза, когда случайно — полжизни спустя — я забрел в этот переулок за Белорусским вокзалом, вдруг узнал свой завод и все вспомнил.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — III

Она пропала весной, ушла как снег, ее не было нигде, ни за что, никогда, вместо нее сверкало голубое небо, просохли аллеи, женщины копались в земле на бульваре, нежная листва томилась в воздухе. Настало лето, ее по-прежнему не было. В доме на Ленивке, где она снимала комнату, говорили, что ничего не знают. Уехала, и концы в воду. В общежитии тоже не знали. Подруга Вика сказала, что видела ее последний раз в начале апреля, она говорила об академическом отпуске, после чего провалилась сквозь землю, она ведь с причудами. А после того, что случилось, стала вовсе «таво». Каждый день моталась на Ваганьково, на кладбище. Видели ее в пивной на Пресне с какими-то ярыжками. Да боже мой, теперь можно рассказывать всякие басни! Она исчезла, и все тут. И он стал понемногу освобождаться от нее, но однажды, придя с новым

приятелем, румяным, лупоглазым и крикливым книжником Маркушей — впервые увидел его когда-то в квартире Бориса Георгиевича, а потом улица свела, точнее, вот этот пятачок в проезде Художественного познакомил,— и вот, придя с Маркушей на горбатую улочку, тесную от магазинчиков и толпы, где по воскресеньям толкутся книжные барыги, истинные собиратели, пьянчужки, жулики, мелкие игроки в «железку», где все знают Маркушу и Маркуша знает всех, он встретил долговязого Левочку и спросил, не знает ли тот про Наташу. У Левочки было бескровное тестяное лицо, голова легонько качалась, к груди он прижимал растрепанный том «Нивы», прося за него сто пятьдесят, недорого. Левочке деньги были нужны срочно.

— Тебе зачем? — спросил Левочка, уставив на Антипова мутный, недобрый глаз.

— Просто интересуюсь,— сказал Антипов.— Помнишь, пианино перетаскивали?

— А? Ну, ну... Просто интересуешься...— ворчал Левочка.— Просто знаешь что бывает... Просто! Ишь ты, тетя Феня... А «Ниву» не желаешь взять? Пятиалтынный?

— Марафет, ты делом отвечай! — закричал Маркуша.— Про Наташу знаешь!

— А ты молчи, тля. Сперва Цвейга отдай...

И Левочка, шлепая галошами, отошел в сторону, ввинтился в кучку книжников с портфелями, не сказал ни «да», ни «нет», забыл. Маркуша к нему подбежал, они шушукались, Левочка мотал длинной серой башкой. Но когда Антипов, потолкавшись и не найдя того, что нужно — искал Бунина в любом виде,— выбрался из толпы и пошел в сторону Кузнецкого, Левочка свистнул и, быстро шлепая, подошел.

— Постой-ка! Адресок есть. Сам провожал. Вещи тащил...

— Ну?

— Вещи — смех, одна корзинка... Два червонца...

Антипов подсчитал, в кармане было шестнадцать. Левочка дрожащими пальцами сунул бумажки за пазуху и, глядя в сторону, морща лицо, с ожесточением произнес:

— Черт с тобой: Краснодарский край, станица Лабинская. А больше ничего не знаю, и не спрашивай.

С этого дня затеплилась мысль, даже не мысль, а фантазия, пустая надежда: сесть бы как-нибудь в поезд,

пускай в бесплацкартный... Встать перед той, как лист перед травой, внезапно, чтобы ахнула и сказала: «Ты приехал? Молодец. Я рада...» Потому что все, что происходило в его жизни, не имело тайны, какой обладала она, исчезнувшая. И это мучило Антипова, и временами — ночами — сильно. Тайна Сусанны довольно быстро рассеялась, как речной туман поутру: пригрело солнце, и вместо таинственных очертаний видны некрасивые ветлы, старая лодка на берегу, дощатый настил для полоскания белья. В Москве было влажно, душно, лето началось с дождей и жары, все разлетелись кто куда — на практику, в поездки, на дачи, некоторые махнули на юг наудалую, рассчитывая покантоваться и отъесться в богатых колхозах на сборе, например, винограда. И спросить насчет командировки было не у кого. Но Сусанна оставалась в городе, и Антипов, поколебавшись — потому что зачем напускать туману, когда все развиднелось,— отправился в знакомый дом, прихватив по дороге бутылку портвейна «Три семерки» и банку крабов. Боялся, что встретят холодно, не появлялся здесь месяца полтора, но выхода не было. Однако Сусанна изумила опять — вскрикнула радостно, обняла душистыми руками и необмерной грудью, прижалась щекою к щеке, в мгновенном прижатии было прощение неизвестно чего и нечто едва уловимое новое, с оттенком товарищества, что было прекрасно.

— Ты куда пропал, хулиган? — громко, капризно и весело спросила Сусанна и, схватив за руку, потащила в комнату.

За круглым столом, за которым не раз сиживал Антипов, а до Антипова Мирон, а до Мирона еще какие-то товарищи, может быть даже Борис Георгиевич, теперь сидел черный, коротко стриженный Феликс Гущин и смотрел неулыбчиво, застылым взглядом. Эта застылость не означала ничего плохого, Гущин всегда смотрел так.

— Те же и пропащая душа, Саша Антипов,— сказала Сусанна.— Надеюсь, вы не имеете ничего друг против друга? Или, как теперь говорят, вы монтируетесь?

— Вполне,— сказал Антипов.

— Мгм,— подтвердил Гущин.

Пожали руки. Гущин был странный тип, держался особняком, был неразговорчив, а если разговаривал, то не о том, о чем говорили все, а о чем-то своем, неле-

пом. Голос у него был тихий, и он будто совсем не заботился о том, чтобы его слышали и понимали. Писал стихи, вроде бы неплохие, но какие-то несуразные, никчемные, печатать их было нельзя — так говорили ребята из семинара. Кроме того, Гущин занимался боксом, носил на пиджаке значок мастера спорта, но Мирон утверждал, что значок липовый, Гущин не боксер, а визионер, галлюцинирует, воображает себя Метерлинком. Гущин приносил в институт перчатки и после лекций предлагал желающим поучиться боксерским приемам, стойке, ударам, тому, что может пригодиться на улице. Раза два и Антипов соблазнялся на такие уроки, но Мирон его высмеял. Сусанна щебетала, разливая портвейн:

— Чудесно, что вы монтируетесь, слава богу, я устала от несоответствий. Вы все такие особенные, каждый сам по себе, каждый с комплексами. Я думала, только у нас, баб, бывают всякие квипрокво, а теперь вижу... Вижу, вижу! — Хохотала, грозя Антипову и Гущину пальцем, точно уличая в плутовстве.— Вы хуже нас, мальчики! Намного хуже, должна вам сказать! Но все равно люблю вас, дурачков...

И обнаженной рукой то ли шлепала, то ли гладила Гущина по плечу.

— Правда, любишь? — спросил Антипов, закусывая крабом.

— Люблю. Вы как кутята, ей-богу, тычетесь со своими папочками, тетрадочками туда-сюда, как слепые, беспомощные, а вас гоняют. Только и делают, что гоняют, бедных... Ха-ха... Хи-хи, боже мой, грех на вас обижаться...— Прыскала со смеху, на глазах были слезы, и все старалась выгнуться попрямей, выставить горделиво свою шею почтовой марки. Никогда он не видел ее в таком состоянии.— Честно, мальчики, я вас уважаю. Я думаю, какую надо иметь адскую силу воли и несокрушимое честолюбие, чтобы, несмотря ни на что, вопреки всем очевидностям, рваться...

Тут Гущин прервал оскорбительную фразу — не нарочно, а потому, что думал про свое — и произнес:

— Человек должен бояться одного — самого себя. Не так ли? Ты, Саша Антипов, должен бояться Саши Антипова. Вы, Сусанна Владимировна, должны бояться Сусанны Владимировны...

— Что ты мелешь? Остановись! Вздор! — Она чмокнула Гущина в щеку.— С какой стати мне бояться себя?

Бояться такой милой, доброй, все еще обаятельной женщины? — И опять хохотала, прыскала, горела пятнами, точила слезы и вытирала глаза пухлым запястьем.

Антипов видел, что пришел зря. Все же заговорил: где бы достать командировку? Никого в Москве нет, Ройтек уехал. А командировка нужна смертельно.

Сусанна предостерегающе вскинула раскрытую ладонь:

— О делах не надо! За деловые разговоры штраф. Антипов, почему ты такой деловой?

Ну вот, она навеселе, плохо соображает. Не надо было начинать.

— Нет, Антипов, милый, ответь: почему ты такой деловой? А? Приходишь только по делу? — Она дергала его за руку, требовала ответа, а пылавшее лицо ежемгновенно менялось: то улыбалось, то смотрело вдруг неприязненно.— То устраивай тебе Ромку Ройтека, то еще кого-то, то командировку... Всему учи, во всем помогай... А мне надоело, хочу, чтоб меня учили, мне помогали... Нельзя же так, Сашенька, исключительно на деловой почве...

Он краснел и мялся, униженный.

— Почему ты молчишь? Опровергай меня. Скажи: «Дорогая Сусанна Владимировна, это ложь...»

— Да что опровергать...— пробормотал Антипов.

— Вот за это люблю: за то, что честный и простодушный. Такой честненький, простодушненький эгоистик. В тебе много детского. Но ты себя воспитывай, вот бери пример с Феликса. Ему ничего не нужно. Художник и дела — это гадость, это плебейство. Я вас прошу, мальчики, я умоляю, не будьте деловыми... Правда, Феликс?

— Что? — Феликс глядел нездешними очами в пространство между Сусанной и Антиповым и вдруг заговорил стихами: — Когда я был маленький, мне было совсем легко, зимой я ходил в валенках, а летом пил молоко...

Сусанна закрыла глаза. Потом было стихотворение об атомном взрыве, о конце мира. Сусанна, видно, уже слышала эти замечательные стихи, потому что шепотом комментировала:

— Больше всего он боится бомбы... Тотальная смерть... А тут когда...

Антипову стихи показались скучными. Когда он поднялся уходить, Гущин пригласил его во вторник в ин-

ститут: там пусто, можно в зале позаниматься. Перчатки он принесет.

Сусанна вдруг бросилась уговаривать Антипова остаться, обнимала его могучей рукой за шею и другой рукой, вцепившись в Гущина, тянула того зачем-то из-за стола. Освободиться было непросто. Знакомый душный запах духов одурял Антипова. Она говорила, что не хочет, чтоб они расставались, Антипов и Гущин, пусть они будут оба вместе всегда и во всем, они такие разные и так монтируются. Если сейчас все они расстанутся, будет невероятно глупо. Но Антипов проявил твердость и вырвался на простор прихожей.

Сусанна завязывала на его шее распустившийся галстук и, близко глядя в глаза, негромко, трезво сказала:

— Не огорчайся, командировку мы сделаем. «Молодой колхозник» подойдет?

— Да,— сказал Антипов.

— Вот и хорошо, все будет в порядке. Ты только попроси Бориса Георгиевича, чтобы написал рекомендацию, а мы сделаем письмо. Будь здоров, милый.— Она поцеловала его в щеку.— Не пропадай! — И слегка подтолкнула в спину, когда он шагнул за порог.

Гимназическая подруга тетки Маргариты принесла пакет — дневники погибшего мужа, который в давние времена дружил с Кияновым. Надо было Киянову передать. Разговор об этом велся давно, но подруга — Татьяна Робертовна, тетка звала ее Таней — была до странности нерешительна, колебалась, мучилась, то готова отдать, то раздумала, и если уж раздумала, то требовала, чтоб Антипов не обронил Борису Георгиевичу ни словечка. Так тянулось зиму, весной Татьяна Робертовна заболела, пролежала в больнице три месяца и теперь решила наконец драгоценность отдать. Почему именно Борису Георгиевичу? Ведь Киянов вел себя не вполне безукоризненно по отношению к Мише, то есть к Михаилу Ивановичу Тетерину, мужу Татьяны Робертовны. Они дружили в юности, потом Миша внезапно — после совершенно блестящего успеха «Аквариума» — стал знаменитым, Борис ревновал, произошло охлаждение, а затем случилась трагедия, и Борис проявил себя, ну, скажем, не на сто процентов джентльменом. Антипов ничего об этом не слышал. Разумеется,

в литературном мире об этом все знают. Антипов не принадлежит к литературному миру. Он пока еще в предбаннике. Так вот, ничего ужасного Боря Киянов не совершил, кроме малости: снял фамилию Миши на общей пьесе, написанной в тридцать четвертом году. Татьяне Робертовне стало невозможно с ним встречаться, он тоже не горел желанием, сначала позванивал, потом оборвал, но какие-то деньги, отчисления за пьесу, переводил почтой. Пьеса патриотическая, она шла во время войны. Сейчас почти не идет. Вот, собственно, вся подоплека, отчего Татьяна Робертовна сомневалась и колебалась. А теперь решилась из-за своего состояния. Тетка Маргарита возразила: какое особенное состояние? Выписали из больницы, вид отличный, не надо на себя наговаривать.

— Я долго не проживу.

— Татьяна! Зачем ты так говоришь? — воскликнула тетка Маргарита сердито и одновременно плаксиво.— Пожалуйста, не говори так. Тем более что неправда.

— Правда. Родственников у меня нет, наследников тоже. Литературный музей брать не хочет. Кому оставить? Жива, правда, первая Мишина жена, но ты ее знаешь, я не могу с ней. Лучше уж Боре.

Антипов рассматривал невзрачное мелкое личико в мелких морщинках, мелких седоватых кудряшках ошеломленно — видел эту женщину не раз и не знал, что она жена Тетерина, того самого, о котором он слышал, книги которого пытался достать. Спросил сразу: нет ли чего почитать Михаила Тетерина? Читает он быстро, за ночь книгу. Полная гарантия сохранности и тайны вклада. Татьяна Робертовна собрала все мелкие складочки вокруг сохлого рта, что-то этими складочками томилась выразить, губы пошевелились немного, но так и не раскрылись, молча покачала головой. Тетка Маргарита за нее объяснила: ни одной книги мужа у Татьяны Робертовны не сохранилось. Потом стали вспоминать прошлые годы, гимназию, тетка Маргарита все помнила хорошо и говорила много, а Татьяна Робертовна вставляла слова изредка и невпопад, и все что-нибудь про Мишу. Вдруг рассказала про ту ночь, когда Миша уехал в Ленинград, откуда не вернулся, какой странный сон приснился ей тогда. Будто в Мишином кабинете возле книжных полок стоит коза, надо ее доить, а она боится к козе притронуться. Миша говорит строго: «Ты должна научиться. Это крайне важ-

но». У него была любимая фраза: «Это крайне важно». Но зачем же, боже мой? Я не хочу! Я не могу! «Нет, ты можешь, ты будешь. Это необходимо для жизни». И вдруг она слышит, как коза шепчет: «Совсем просто. Как на швейной машине. Я вас научу». Тут она проснулась от непонятного страха. На другой день он не позвонил ни утром, ни вечером, она сама позвонила друзьям, и они сказали, что он уехал к кому-то на дачу, в деревню Козино. Когда услышала «Козино», сердце оборвалось — поняла, что непременно что-то случится. Друзья разговаривали весело, ни о чем не догадывались, а она уже дрожала. Два дня места себе не находила, не было ни звонков, ни телеграмм, потом помчалась в Ленинград и там узнала. Вот еще почему никогда Борису не простит — ему позвонили из Ленинграда в тот же день и обиняками дали понять. Так что он знал. Но ей сказать побоялся. И она металась в неизвестности, хотя, если бы он сказал, если б она узнала, если б не потеряла три дня, разве что-нибудь изменилось бы? Ничего, разумеется. Удар ужаса пришелся бы на три дня раньше. Но все равно обязан был ей сказать. Потом женщины заговорили о болезнях и о ком-то, кто лечит травами.

Антипов ушел в комнатку, где спал, когда приходил к тетке, и лег на диван. В комнатке стоял сладковатый запах сухой лаванды. Тетка говорила, от моли. Антипов думал о Борисе Георгиевиче с жалостью. Он забыл, что должен к нему поехать и просить насчет командировки. А когда вспомнил и вышел в большую комнату, Татьяны Робертовны не было.

— Мы думали, ты лег спать. Поэтому Таня не попрощалась,— сказала тетка.— Знаешь, Таня решила так: она дневники пока что забрала. Ты сначала спроси, согласится ли он их взять. Ведь он может не согласиться, ты понимаешь! Зачем же тогда нести?

— Хорошо,— сказал Антипов.— Я спрошу. А если он скажет «да» и она опять раздумает?

— Несчастная Таня! — вздохнула тетка Маргарита и слабо махнула рукой.— Чего ты от нее требуешь...

Жарким воскресным днем Антипов спрыгнул с подножки вагона на дощатый перрон, вокруг был лес, пахло хвоей, сиял и стрекотал июльский полдень, пассажиры с сумками и рюкзаками тянулись тропкой на

бугор, подъем был крутой, женщины останавливались. Антипов шел налегке, он взял поклажу у одной старухи и еще сумку у молодой женщины, которая все смеялась и что-то рассказывала. Дорога шла лесом мимо озера. Было жарко. В озере плескалось много людей, несколько лодок скрипело уключинами. Местечко было чудесное. Старуха сказала, что они дошли, кланялась и говорила: «Дай вам бог! Дай вам бог!» — и это относилось к Антипову и к молодой женщине. Антипов отдал старухе ее авоську, набитую коробками спичек и буханками хлеба. Молодая женщина обо всем говорила со смехом. «Меня зовут Гортензия,— говорила она смеясь.— Можно просто Тезя». Она была в очках, со светлыми волосами. Спина красная от загара, в веснушках. Гортензия ничуть не стесняла Антипова. Вообще он заметил, что в последнее время перестал стесняться и конфузиться по пустякам. И даже теперь, когда шел к Киянову, незваный, с просьбой, он, как ни странно, не испытывал никакой неловкости — уж очень хотелось поехать и найти в Краснодарском крае Наташу. Гортензия остановилась и сказала: «Как жарко! Не хотите искупаться?» Он сказал: «Нет, сейчас не хочу. На обратном пути». Гортензия взяла у него сумку, вышла на солнцепек и сразу стала снимать сарафан. Она была широкая в кости, с длинными ногами. Волосы были как пакля. Может быть, она красилась. А может, они казались такими белыми на солнце. Не сняв очков, побежала в воду, плюхнулась и поплыла, держа голову высоко. Антипов смотрел на нее и вспоминал Наташу. Он вспоминал Наташу даже тогда, когда думал о другом. Через полчаса стоял перед калиткой в глухом заборе, нажимал кнопку звонка, слышал лай пса, потом женщина крикнула:

— Борис, ты кого-нибудь ждешь?

Прошло долгое время, прежде чем к калитке подошли, тот же голос спросил:

— Кто здесь?

Антипов назвался.

— А! Здравствуйте. Вы с Борисом Георгиевичем договаривались?

— Нет,— сказал Антипов.— Но я на минуту...

— Проходите. Только прошу вас, Антипов...— Она зашептала: — В самом деле, не засиживайтесь, хорошо? Вы извините, что говорю откровенно, без церемоний, но мы свои люди, правда же? У Бориса Георгиевича не-

важное состояние, не хочу его утомлять. И не говорите с ним о неприятном.

Антипов не имел понятия, о чем идет речь, но сказал: хорошо.

Борис Георгиевич встретил радушно, сели на терраске, на теневой стороне. В большом доме были еще две терраски, внизу и на втором этаже, но они принадлежали другим людям, тоже писателям. Одного писателя Антипов видел, в синих шароварах он расхаживал по дорожке, держа руки за спиной, в глубоком раздумье. Какой-то парень, видимо сын писателя, возился с велосипедом, поставив его колесами вверх. Борис Георгиевич расспрашивал про студентов: кто что делает, куда уехал, что написал, интересовался, конечно, своими любимцами. Антипов рассказывал: Толя Квашнин устроился на лето в редакцию, отвечает на письма. Володька Гусельщиков уехал на Белое море, Элла тоже куда-то уехала. А Злата печатает в «Вечерке» театральные рецензии под псевдонимом Златникова. Дима Хомутович издал в Детгизе книжку сказок.

— Вот как? — спросил Борис Георгиевич как бы с удивлением и поднял бровь. Нет, он не выглядел больным или чем-то подавленным, наоборот, вид имел гораздо лучше, чем в городе: загорелый, улыбающийся, хотя немного сонный, все зевал и потягивался. Холщовый занавес на терраске надувался и хлопал, ветер был жаркий, пахло флоксами.

Валентина Петровна принесла стакан морса и бутерброд с кусочками колбасы. Колбаса показалась Антипову замечательной. Копченая, три маленьких твердых кусочка. Он уже собрался сказать Борису Георгиевичу насчет командировки и рекомендации — минута была удачная, Валентина Петровна вышла, а ему не хотелось ни о чем просить при ней,— но Борис Георгиевич вдруг наклонился и вполголоса спросил:

— Статейку читали? Я и не знал, что я скрытый декадент. Только молчок, при Валентине Петровне ни слова! Она переживает...

Валентина Петровна вернулась, неся стакан морса и еще один бутерброд с колбасой. Борис Георгиевич взял бутерброд, стал вяло жевать.

— Борис, это было для гостя. Как вам нравится? — Она засмеялась, но за другим бутербродом не пошла, села к столу и стала обмахиваться веером.

Все шло хорошо. Антипов рассказывал о новостях,

о том о сем, о болезни директора, о том, что с сентября приедут корейцы и албанцы, успел сказать про «Молодой колхозник», намекнуть на рекомендацию, и Борис Георгиевич кивал благожелательно и говорил «ну да, ну да!», вдруг Валентина Петровна ни с того ни с сего неожиданным напором сама заговорила о запретном:

— Я не понимаю, у вас такой благостный разговор, а между тем творится бог знает что. Как вы объясняете появление таких статей, как эта, против Бориса Георгиевича? Что это значит?

— Валя! — В лице Бориса Георгиевича мелькнул испуг.

— Вы не в курсе? Ну как же, в «Литгазете» статья некоего Петренко — разумеется, псевдоним, но мы предполагаем, кто за ним скрылся,— о последней очерковой книге Бориса Георгиевича...

— Валя, я прошу! — Борис Георгиевич взял жену за плечи и твердым шагом увел с террасы в комнату. Закрыв дверь, вернулся и сел в свое кресло. Стал выколачивать трубку. Но дверь слегка отворилась, в щели показалось побледневшее, с блестящими глазами лицо Валентины Петровны.

— Этот человек бывал у нас дома! Я поражаюсь бесстыдству людей! — Дверь захлопнулась.

— Не обращайте внимания...— пробормотал Борис Георгиевич. Мотая головой и мыча, как от боли, он стал ходить по терраске, забыв про Антипова и повторяя: — Не обращайте, не надо.

Он ходил долго, а Антипов не знал, что ему предпринять. Напоминать про рекомендацию было некстати. Обождать хотя бы минут десять. Чтоб не сидеть молча, заговорил, о чем просила Татьяна Робертовна: насчет дневников. Не согласится ли Борис Георгиевич взять?

Борис Георгиевич перестал ходить и уставил глаза на Антипова с изумлением.

— Вы о ком?

— О Татьяне Робертовне.

— О жене Миши Тетерина, что ли?

— Ну да.

— Да вы-то при чем?

— Я вам рассказывал, вы не слышали. Моя тетка Маргарита Ивановна училась с нею в гимназии...

— А! Понимаю.

С неожиданной стороны раздался голос Валентины

Петровны, она почему-то оказалась в саду и стояла теперь внизу, возле террасы:

— Не надо брать никаких бумаг.

— Ну почему, собственно...

— Повторяю, брать не надо.

В ее голосе звенела нервность. Борис Георгиевич сопел трубкой, обдумывая. Было похоже, что оба в молчании решают какую-то сложную задачу. Антипов вдруг почуял: в воздухе этого дома и сада что-то переменилось. Так меняется ветер, и внезапно среди теплого дня пахнет севером. Он отчетливо понял, что прежнего разговора не будет и что эти люди хотят, чтобы он ушел. И тотчас он встал, попрощался, что-то путано объяснил насчет того, что опаздывает, и пошел поспешно к калитке, вовсе забыв про рекомендацию для «Молодого колхозника». Борис Георгиевич молча провожал до калитки и, открыв щеколду, сказал:

— Передайте, что я не понимаю задачи с этими дневниками. Пусть Татьяна Робертовна позвонит и сама скажет, чего хочет. Я немножко знаю Татьяну Робертовну и поэтому проявляю осмотрительность. Будьте здоровы!

Он поклонился. Все было другое — и лицо, и взгляд. Пройдя несколько шагов, Антипов вспомнил про рекомендацию, но возвращаться было невозможно. Он затронул что-то недозволенное, и все разрушилось. «Черт меня знает,— думал Антипов,— обязательно влипну в чужую историю. Это какой-то рок — влипать в чужие истории. Ладно, обойдусь». Он возвращался на станцию прежней дорогой, мимо озера, и увидел беловолосую Гортензию на том месте, где они расстались; рядом на песке сидела под зонтиком девочка лет четырех, тоже в очках. И волосы у девочки были как пакля. Антипов остановился возле них, колебался: купаться или нет? Было как-то не до того. Попусту потерял день. И кроме того, он страшно проголодался. Однако предвечерний зной томил так сильно, что он все же быстро разделся, побежал по горячему песку и прыгнул в воду. Вода была прохладная,— наверно, тут был ключ,— в воде плавали кусочки глины и отломившийся от берега дерн. Гортензия что-то кричала с берега, махала руками, но он не мог разобрать и без очков ничего не видел — туманное, облитое солнцем, телесного цвета пятно. Он стал медленно нырять, потом поплавал на спине, лежал недвижно, раскинув в стороны руки и ноги, и

думал: если бы научиться не влипать в чужие истории. Ведь он чуял, что с дневниками дело неладно. Недаром она колебалась. Что-то ее останавливало. А он по дурацкому простодушию или, лучше сказать, по дурацкой беспечности ничего не понял, позволил собой манипулировать, вот и влип. Когда снова взглянул на берег, увидел, что Гортензия все еще машет руками — туманное пятно верхним краем дрожало. Он подплыл ближе, Гортензия кричала: «Дождь! Дождь! Уходите!» Он и не заметил, как надвинулась туча. Где-то поблизости уже гремело. Гортензия собирала вещи, схватила зачем-то его рубашку и брюки, а его попросила взять на руки девочку. Дождь хлынул внезапно и мощно. Мальчишки бесновались на середине реки, гикая, хохоча, но все, кто был на берегу, кинулись спасаться под навес дощатого павильончика или под деревья, которыми была обсажена дорога. Бежать без очков с девочкой на руках было непросто. Девочка начала плакать, ее мама в купальнике с багровой спиной и розовыми ногами неслась вперед, как физкультурница, и смеялась. Взбежали по крыльцу на застекленную верандочку. Гортензия была тоже без очков, улыбалась бессмысленно, волосы облепили голову, она походила на мальчишку. Гроза кипела. Все за окном стало белым, как в метель. С треском и гулом грохотал ливень, молнии раскалывали округу. Девочка вдруг запрыгала, закричала, стала хлопать в ладоши, мать схватила ее и убежала в комнату. Антипов сидел в трусах на чужой веранде, оглушенный шумом воды, и думал: опять? Влезаю постепенно в историю? Он просидел так довольно долго, гроза неспешно удалялась, ливень стихал, и Гортензия вышла в байковом халатике, причесанная, в очках и вся розовая, пылающая, как видно, здорово обгорела сегодня; по-деловому спросила: «Кушать будем?» Он сказал: да. Поели котлет с помидорами и огурцами, выпили по стаканчику вишневой наливки, стало хорошо, весело, пили чай. Гортензия рассказывала о своей жизни: она работала сестрой в железнодорожной поликлинике, девчонка на неделе в саду, мужа нет, подрабатывает вязаньем, у нее тут много клиенток среди дачниц. Все это сообщалось со смехом. Антипов чувствовал, что может позволить себе с этой женщиной многое, но она ему как-то не нравилась. Хотя она была красивая, белокурая, со спортивной фигурой, такие женщины ему, в принципе, нравились. Но в ней было

что-то не то. Подъехал мотоцикл, затопали по крыльцу, вошли двое; один, белобрысый, широкий, с пологими плечами и без шеи, как медведь, спросил: «Это что за какашка тут сидит? Возьми-ка его!» Второй взял Антипова за руку и с силой дернул из-за стола. Гортензия закричала, белобрысый втолкнул ее в комнату, запер дверь, Антипов успел подумать: «Ну вот...— и почувствовал удар под ребра, отчего исчезло дыхание, затмилось все, кроме догадки: — Это, наверно...» Еще был удар в ухо, коленом в лицо, потащили, толкнули с крыльца, и он растянулся на мокрой земле. Белобрысый кричал: «Еще раз тебя застану, поедешь отсюда на катафалке!» Антипов не мог шевельнуться, из носа и губы текла кровь, но в сознании блеснула мысль: рассказ под названием «Цепь». Ведь началось с того, что он предложил женщине понести сумку. Разумеется, надо все усложнить, цепь событий должна быть длинной, может быть, в несколько дней и даже лет, герой может на женщине жениться... Дыхание возвращалось, Антипов сел и огляделся — ничего подходящего вокруг не было. Он выворотил из земли замшелый кирпич и встал покачиваясь. Ну, например, так: герой убивает кирпичом соперника, любовника этой женщины, белобрысую сволочь. Нет, не годится. Это на поверхности. Антипов отбросил кирпич. Ноги держали плохо. Дверь веранды распахнулась, появился белобрысый и крикнул: «Земляк, извини! Я думал, ты Николай. Поди сюда, товарищ, ударь меня в ухо по справедливости».

Белобрысый и его друг помогли Антипову подняться в дом, посадили за стол, Гортензия поставила новую бутыль наливки. Белобрысого звали Лавром, он оказался братом Гортензии. Он ненавидел некоего Николая, с которым не был знаком, но прослышал, что он обижает Гортензию. «А кто сеструху обидит, тому не жить. Я твоего Николая когда-никогда покалечу». У Лавра были голубенькие, глубоко вбуравленные медвежьи глазки, не имевшие выражения: ни злого, ни доброго, ни теплого, ни холодного. Работал Лавр шофером, в войну был разведчиком, приволок сорок восемь «языков». Главная страсть Лавра — защищать справедливость и наказывать нарушителей. «Вчера в продуктовом в очереди один стал выражаться громко, я ему раз по-хорошему сказал, два, он ни фига, тогда жду на улице, заталкиваю во двор и давай метелить: «Будешь знать, как выражаться в общественном месте!»

В таком духе Лавр рассказывал долго. Гортензия поглядывала на брата с каким-то глубоким, давно задавленным ужасом. Она не смеялась больше, ничего не говорила, молча подавала, уносила, и Антипов ловил ее просительный взгляд. О чем-то она его умоляла. «Тут тоже: иду озером, гляжу, трое на берегу водочную посуду колотят. Что же вы, скоты, делаете? Люди здесь босиком ходят, пацаны бегают, а вы посуду колотите. А ну, говорю, собирай осколки! Чтоб все, говорю, до единого мне собрать. Они меня на смех, ну я и пошел метелить. Уж очень злой сделался. Метелил-метелил, публика набежала, стала их вырывать, одного повредил, двое сбегли. За справедливость я глотку порву...» Вторую бутыль наливки прикончили, огурцы с помидорами доели дочиста, и Лавр со своим другом сели на мотоцикл, затрещали, исчезли.

Ливень давно кончился. Был поздний вечер, звездное небо. Идти на станцию Антипов не мог. Гортензия заплакала и сказала: «Вот представь, все детство была у него как рабыня. Одни росли, ни отца, ни матери, ни бабки, ни деда. Страшно, а? — И вдруг перестала плакать, улыбнулась.— Нет, а все же, когда чего-нибудь не хотела, чего он требовал, я стояла насмерть, и он не мог ничего. Я не поддавалась». Антипов смотрел на беловолосую женщину со смуглым, при электрическом свете мулатским цветом лица и думал: ее отец был ботаником. Он рано умер. Он собирал гербарии. В доме сохранилось много никому не нужных старых, ветхих гербариев. Это было опасно, и пленительно, и пугало, и тянуло. Гортензия мучилась от ожога. Наверно, у нее поднялась температура. Она попросила помазать обгоревшие места кислым молоком, разделась до пояса, легла на топчан, и он стал ладонью осторожно — у нее все горело, каждое прикосновение приносило боль — обмазывать кислым молоком ее плечи, спину, поясницу, все длинное, пылавшее жаром тело. Кончилось тем, что не спали всю ночь. Любовь пахла кислым молоком. Заснули на рассвете, а в семь надо было везти девочку в детский сад электричкой, и они вместе пошли на станцию ясным холодноватым утром.

В конце августа Антипов приехал на жаркую, мглистую от зноя, с жемчужными гребешками гор Кубань, ездил по станицам, сидел в дымных зальцах на колхоз-

ных собраниях, мотался в степи на линейках, исписал две записные книжки именами, цифрами, названиями, диковинными просьбами в заявлениях на листочках из школьных тетрадок, речами на собраниях, руганью на базах, спорами о суперфосфате, кориандре, закладке силосных ям, разведении карпа, добывания запчастей, поговорками и словечками вроде «кони как слепленные», или «кобыла была как печь», или «это осенью мы такие богачи, а весною такие старцы, что крышу разбираем», или «возьми хорошую косу, они ее так затрынкают», или «мы, колхозники, не должны бросать их в грязь лицом», или «как я пошел ходаковать», или «ежедневно при клубе работает р о щ а» и тому подобными, неслыханно прекрасными выражениями; он похудел, обуглился, надышался горьким и пыльным простором, накурился махры, выпил незнамо сколько самогона из бурака, наелся арбузов до конца жизни, побывал в Усть-Лабинской, в Лабинской и в окружающих Лабинскую станицах, повсюду спрашивал о Наташе Станишевской, москвичке, но следов ее не было. Он потерял надежду. Но не слишком огорчался, потому что увиденное ошеломило его, и к середине сентября он забыл о том, что его сюда занесло.

И вот незадолго до возвращения домой он сидит в комнате правления в «Красном кавалеристе», слушает разговоры, бредни, жалобы, просьбы, кое-что записывает — не так жадно, как в первые дни, он и этим насытился, как арбузами,— и наблюдает за слепцом, дядькой Якимом, как тот удивительно терпеливо закуривает. Разомнет фитиль, начнет отбивать искру на кремне, ударит трижды, поднесет к губам, раздувает,— огонька нет. И так раз пятнадцать размеренным спокойным движением, а губы все не чуют жара. Наблюдает Антипов с почти исследовательским и возрастающим азартом — когда иссякнет терпение? И когда мужики заметят бедолагу и придут на помощь? Однако терпение не иссякает, а мужики захвачены шумным спором о постройке бани. «На кой три окна? В бане не надо, чтоб видать было. Сделаем два... Котел где-то вот здесь. В женской помене котел, они любят не дюже париться, в мужской поболе... А размеры какие вы ракумендуете? Я ракумендую пятнадцать метров на пятнадцать... Цоколь сделаем в полтора кирпича... Районный инженер не ракумендует строить мужскую и женскую, а обчую...»

— Тебе что, дед?

— Улик у меня есть, роечку бы мне...

Слепой все стукает методически огнивом по кремню. Молодой парень просит выписать помидоров. Нету помидоров. «Ну как же? Что ж я исть буду в зиму? Я с теткой живу, на квартире стою». Председатель, смуглый, с усами, как у Чапая, вскидывается грозно: «А вы почему не в степи?» Старик просит денег на кухвайку. Денег нема. Я тебе брюки куплю. Заявление Чумакова — сто три дня сторожевал в бане, а ничего не начислили: «Так он там все дрючки стащил!» Другой старик: у меня воспитанница, отец и мать побиты немцами, она не достигла совершенных лет, но заработала сто семьдесят трудодней. Правительство теперь говорит: проводить ласковую культуру в крестьянском нашем крестьянстве. Прошу вернуть ей пшеницу за сорок пятый, сорок шестой годы...

Слепой все стукает и стукает по кремню, наконец его замечают, поднесли огонь. Тебе чего, Яким? Три кошелки соломы. На покрытие крыши. Эх, Яким, у нас для всех едино — хочешь соломы, давай сена. Накоси три кошелки — получишь солому. Кому ж косить? Бабка, сами знаете, ноги пухлые, племянница не умеет, не деревенская, за спасибо солому не дают, отказ решительный, и можно бы уходить, но слепой не уходит, сидит, слушает, соображает, неожиданно вступает с дельными замечаниями. Память у него как книга. «Где ж этот Гринин работает?» Молчат, вспоминают. «Да в первой он!» — вдруг говорит слепой. «А почем нынче капуста была на Лабинском базаре?» Опять замешательство, никто толком не знает, слепой подсказывает: «Бабка Маревна говорит: по четырнадцать! И тоназахватки берут...»

Антипову рассказали: немцы палили хутор, Яким людей спасал, а у самого глаза пожгло. Вернулся в сорок третьем, семьи нет, жену полицаи убили, ненавидели ее, потому что все им поперек делала, не страшилась, и за то, конечно, что муж партизанил. А детей угнали то ли в Германию, то ли здесь куда-то в трудовой лагерь, так что пропали бесследно. Осталась одна бабка, живут вдвоем на птицеферме за станцией, в балочке. И загорелось Антипову узнать про дядьку Якима побольше, расспросить про партизанскую жизнь, потому что, чувствовал, тут кроется превосходнейший материал. Героизм, самопожертвование, страдания и

одиночество — что может быть благодатней для прозы! Это гораздо важней всего, что Антипову удалось узнать и записать до сих пор, и как удачно, что он встретил слепца, хотя бы за три дня до отъезда. Вечер, желтеет закат, прохлада сходит с небес, сушью и жаром дышит раскаленная за день степь, двое бредут пыльным проселком; впереди, постукивая палкой, не слишком быстро, но уверенно шагает слепой. За ним Антипов; слепой рассказывает, Антипов запоминает.

Когда пришли немцы, в станице сразу обнаружились и стали главными худшие люди. Фашизм — приход худших людей. Не требуется других объяснений. Худшие по качеству люди — они и есть разносчики заразы. Запомнить историю с девушками, которых держали в подвале. И как людей побросали в карьер и завалили камнями. Все это было недавно, четыре года назад, здесь, где сейчас тишина, звенят цикады, слабо рокочет трактор, боронят пашню под озимые, и Яким вдруг хватает Антипова за руку, останавливает его.

— Слухайте! — Ничего не слыхать, кроме тихого гула, какой звучит в тишине всякого знойного вечера в степи.— Та пчела же! Слухайте лучше! Летают же, как бомбовозы!

Антипов замечает: невдали пасека, едва уловимо доносится оттуда гуд пчел. Некоторые долетают сюда, проносятся над дорогой, как пули. Они собирают с подсолнуха и маленького белого цветка, называемого «зябрик», который растет, как сорная трава, на пустых полях.

— И приходит теперь Пантелей, конюх,— продолжает Яким,— они его взводным сделали, фуражку дали германскую, только без орла...

Фашизм еще вот что — безнаказанность. Почему-то полагают, что им все дозволено. Что для них нет пределов. А как это заманчиво для бедного человечества! Но тут ошибка — предел есть. Он вот в таких, как этот седой, с обгорелым, в синеватых пятнах лицом, со светло-рыжими вислыми усами. Они бросаются в огонь, спасают других, спасают человечество, и это то, чего фашизм не предвидит. Предел есть. Когда Яким вернулся ослепший в станицу, в первый день попросил отвести его на бахчу, нагнулся, стал арбузы трогать: «Дай я их хочь пощупаю...»

С вершины холма видны два крытых соломой домика, вокруг домиков по зелени рассыпались белые крошки — птицеферма. Кроме бабки Якима тут работает еще одна женщина, сейчас больная малярией. Девчонка лет двенадцати, дочка больной, кличет тоненьким голоском: «Поля-поля-поля!» Антипов сел на неведомо откуда взявшуюся тут старинную садовую скамейку, вынул книжку, карандаш, терпеливо черкает, чтоб не забыть.

— Ну, ну? И немец, значит, вас сразу признал?

Интересно, как за три недели чуть изменилась речь, проскальзывают словечки, которых раньше Антипов не применял — «признал» вместо «узнал»,— и не нарочно, не подлаживаясь, а как-то само собой. Привык к этим словечкам, как к махорке, а о папиросах забыл. Яким рассказывает, Антипов строчит, откуда-то выскочила белая, с куцым задком собачонка и запрыгала, закружилась, гавкая по-дурному на небо.

— Гоняй, гоняй их! Умница, Бельчик,— говорит Яким.— Гоняй их, чертей.

Над низинкою кружат коршуны, медленные, светло-коричневые, с темными крыльями. Девчонка несется с трещоткой, крича весело:

— Шугай, шугай, шугай!

Коршуны нехотя, делая обширные петли, отдаляются ввысь, пропадают. Яким говорит,— ненадолго, они висят тут, над фермою, целый день, и кое-что им порой перепадает. Из домика вышла девушка с черными распущенными волосами до плеч, несет таз с бельем, и Антипов видит: Наташа.

Вскакивает, роняя наземь книжку и карандаш.

— Ты? — говорит Наташа и подходит, улыбаясь, трогает его спокойной рукой.— А я знала, что ты появишься. Только думала — раньше.

Он ошеломленно молчит. Ведь почти забыл про нее. Нет, не забыл, но она там, давно, в неизмеримо далеком. Забыл о том, что она здесь и что приехал из-за нее. С изумлением глядит на нее: худую, почти тощую, обожженную грубым загаром, кожа облупилась на носу, на резких скулах; в прорехе короткого сарафанчика видно темное от загара тело. И видно, что под платьем нет ничего. Как же она тут ходит, при мужчине? Да ведь слепой...

— *Я стала некрасивая?*

Он покачал головой.

— Глупо! Как будто была красавицей... Ты смотришь на меня, как собака на жука, озадаченно... Повернув голову набок...— она показывает.

Он видит смеющийся рот, белые зубы. Берет его за руку и ведет в дом. Большая старуха сидит на мятой постели; должно быть, лежала, сейчас поднялась, села и кивает, трясет космочками, шепчет добродушное, у нее коричневое, в керамических складках, широкое книзу лицо и узкий, непроглядно черный кавказский глаз. Такой же, как у Наташи. Она ее прабабушка. Наташа говорила, кто-то у нее из черкесов. И откуда все это? И надолго ли? Прабабка плоха, и невозможно уехать. Еще недавно, год назад, она ходила за птицей, была совсем ничего, а теперь ноги как чурбаки. Прабабке семьдесят восемь лет.

А Яким — вот он вползает, стуча палкою по порожку,— прабабкин внук, точнее сказать — внучатый племянник. Наташе он двоюродный дядя. И ему, как и бабке, помощи ждать неоткуда, родные погибли. Ему жениться надо, он не старый еще, здоровенный, рука у него как капкан. Поймает пальцами — не вырвешься. Сила неимоверная, девать некуда. А жениться не хочет.

Слепой сидит на лавке, слушает про себя, головой никнет, соглашается.

— Сватают за него одну девушку старую. Почему не хочешь, дядя Яким?

— Потому нельзя меня полюбить,— быстро произносит Яким привычный ответ.— Меня пожалеть можно. А таких-то мне не надо.

— Она говорит — может, говорит, полюблю.

— Ха! Жди! Полюбит кобыла хомут...

Голос у Якима почему-то веселый, в пшеничных усах улыбка. И какая-то в нем нервность и нетерпение — сидит неспокойно, все палкою в пол тихонько колотит. Вдруг спрашивает:

— А вы, товарищ Антипов, когда в Москву думаете вертаться?

— Дня через три.

— Так скоро? — удивляется Наташа.

— Ха! — говорит Яким.— В гостях, скажи, хорошо, а дома лучше...

Наташа ведет в птичник. Он за ней — как во сне. Рассматривает, плохо соображая, небольшой базок, где пищат за невысокой огорожей цыплята, ныряет в полутьму, оглядывается, дышит тяжелым воздухом зоопар-

ка. Пол птичника заляпан пометом. На жердях прохаживаются, выжидательно косясь на Антипова, куры. Несушки забрались на верхние желоба, сидят там, невидимые в охапках соломы. И голос Наташи в этой сутеми, в птичьей вони, в ворошении, шуршании:

— Не могу вернуться туда... Когда-нибудь смогу, а сейчас нет... В октябре поеду в Саратов, там место нашли в детском театре. А может, никуда.

— Здесь останешься? С курами?

— С бабкой. Она лучшая из всей моей родни. И как жаль, что встретились под конец жизни...

Пошаркивание, постукивание, и дядька Яким влезает в душную полутьму.

— Я что хочу сказать, товарищ Антипов: волки мучают, а лисы особенно. Так что сон у петухов, как говорится, смутный...

Быстро меркнет день. Сидят при свете, в чугунке яйца, хлеб пшеничный кисловат, молоко густое, тяжелое. Антипов привык к такому, запах от молока — телесной свежести. Разговаривают до мрака, до поздних, ночных звезд, и Яким сидит тут же, хотя его не слышно, дела до него нет, он зевает, сопит, то ли дремлет, то ли сторожит что-то, не уходит. Живет он во втором домике, там, где женщина, что больна малярией. Прабабка давно заснула. Разговаривают о каких-то пустяках, о московских забытостях, ненужностях, но думает он о другом: что соединило их ненадолго? И что разбросало? И теперь зачем-то опять? И есть ли во всем этом летучем и странном смысл? Зачем-то выпал из громадного мира слепой и, постукивая палкой, привел в зеленую котловину. Расспрашивая о пустяках, Наташа думает: смысла нет. Она разрушена смертью. И нету сил восстанавливать то, что разрушилось, поэтому смысла нет. А нашли ли того, кто убил Бориса? Того нечеловека, который ударил по голове, как по мячу? Она искала одно время сама, рылась по всей Пресне, среди жулья и в закусочных, у пивных ларьков, на бегах и в бильярдных, и если б наткнулась на его след — конец. А потом поняла вдруг: сходит с ума, надо бежать. И убежала. Но убежать нельзя.

— Милый, ты не поймешь, кем он был мне. Мой первый во всем... И сейчас без него я стала другой. Даже не другим человеком — другим существом...

Ему хочется сказать, что и он стал другим за время разлуки — он напечатал рассказ и узнал, что такое любовь. Стал настоящим мужчиной во всех смыслах. Но говорить об этом вслух неловко, к тому же тут сидит слепой и слушает. Антипову слепой нравится все меньше. Нахальный! Явно показывает, что имеет на Наташу права — уж не права ли отцовства?

— Я тоже стал другой,— говорит Антипов. И добавляет со значением: — Совсем другой, можно сказать.

Взяв Наташину руку, прижимает к своему рту, она не сопротивляется. Смело потянул ее всю к себе, она гибко и тихо передвигается к нему на лавке, и он обнимает ее, приникает губами к худой, солнцепеком каленой шее, к губам, на них горечь, они стали сухими и твердыми, но они не сопротивляются, ничто не сопротивляется, ее тело послушно и вяло и спокойно принимает его беззвучные ласки. Слепой ворохнулся, поднял голову, его настораживает наступившая тишина.

— А что, товарищ Антипов,— говорит он,— какой ныне час?

— Ты иди, дядя Яким. Спокойной ночи. Я сейчас стелиться буду.

— А товарищ Антипов?

— Нет его. Ушел товарищ Антипов. Иди, иди, Яким Андреич!

Слепой сидит минуту или две, замерев, голову опустив на грудь, вслушивается напряженно, потом поднимается с лавки и говорит:

— Здесь он. Я его дух слышу. Брехать зачем? Да по мне, хоть тут десять останься...

И медленно выбирается из комнаты. На дворе лает собака. Холодная ночь течет в дверь. Они выходят под звезды, потом возвращаются. Наташа задувает свечу; Антипова бьет дрожь, наворачиваются слезы, и то, что происходит, совсем не похоже на то, что было с той женщиной и с Сусанной, что-то другое переполняет его. И на глазах слезы оттого, что бесконечная жалость, невозможно помочь, надо прощаться, жить дальше без нее. Утром прабабка шепчет песню, а он записывает: «За речкой за Курой, там казак коня пас, напасемши, коня за чимбур привязал, за чимбур привязал, ковыль-травушку рвал, ковыль-травушку рвал и на золу пержигал, свои раны больные перевязывать стал...» Пройдет много лет, и он поймет, что что-то другое, переполнявшее его три ночи в степи, было тем, не имеющим

названия, что человек ищет всегда. И в другое утро, когда председателева бричка стоит на бугре, ездовой Володька скалится сверху, делает какие-то знаки, а слепой Яким стоит навытяжку, как солдат, и держит в руках крынку с медом, и жизнь рухнула, и томит боль то ли в сердце, то ли в животе, и Наташа сидит рядом, глядя на него с улыбкой, он записывает последнюю прабабкину песню: «А я коника седлаю, со дворика выезжаю. Бежи, мой коник, бежи, мой вороник, до тихого Дунаю. Там я встану, подумаю: или мне душиться, или утопиться, иль до дому воротиться...»

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — IV

В феврале 1950 года в будний день Антипов взял на Зубовской такси, пригласил сесть на заднее сиденье Мирона и Толю Квашнина, который подвернулся случайно — Антипов и Мирон стояли в очереди на стоянке, а Толя шел мимо, и Антипов внезапно от полноты чувств пригласил и его, хотя горячей дружбы между ними никогда не было,— сам сел к водителю и громко, бойко, счастливо возгласил: «На Сущевскую!» Проклевывалась весна. Дымились на пригреве тротуары. Голубизна то пропадала, то сверкала вновь, и солнце озаряло старый добрый желток домов, кучи синеватого снега и пешеходов с бледными зимними неулыбающимися лицами, на которых было написано одно: незнание. Никто из них не знал, зачем Антипов катит на Сущевскую. А им было бы так важно, так безумно интересно узнать! Ведь никто в целом свете, кроме, может быть, матери и в какой-то степени сестры, которая, однако, тоже проявляла временами нестойкость, не верил в то, что это случится, что когда-нибудь он возьмет маленький фибровый чемоданчик, сядет в такси и поедет на Сущевскую. Зачем чемоданчик, он сам твердо не знал. То, что он должен был получить на Сущевской, могло вполне поместиться в кармане пиджака. Но чемоданчик зачем-то был нужен! От кого-то он слышал, что кто-то приехал за своим первым гонораром с чемоданчиком. Для Квашнина все это было полной неожиданностью — он так привык к тому, что он один процветает! — да и Мирон был всегда доброжелателен не всерьез, в них так много путаницы, неве-

роятной путаницы, нет существ более запутанных, чем друзья, и вот он назначил им это испытание — ехать вместе и радоваться за него. Впрочем, они быстро о нем забыли и тут же, в такси, затеяли спор о какой-то рецензии, которую напечатал Квашнин на книгу общего знакомого. Мирон упрекал его:

— Ты не имел права! Ты себя унизил!

Квашнин вяло оправдывался. Но, пока доехали до Сущевской, разговор стал нервным — Мирон толкал к тому,— и они кидали друг другу резкие фразы:

— А с какой стати ты делаешь замечания?

— Да по дружбе!

— А я не желаю слушать!

— А я не желаю читать похабель!

— Ну и не читай, только не строй из себя гимназистку...

Машина остановилась возле бетонированной лестницы. Антипов спросил:

— Вы тут не разбежитесь?

— Нет, нет! — сказал Квашнин.— Иди спокойно.

— Куда ж разбежимся, когда ты обещал кормить?

Прыгая через ступени, потом поднимаясь в лифте, битком набитом — сегодня был выплатной день, авторы спешили на шестой этаж, где помещалась бухгалтерия,— Антипов весело размышлял о себе, о друзьях, об изнурительном деле, которым они занимались на свой страх и риск и которое делало их нетерпимыми, раздражительными, мучающимися от неуверенности и чужих успехов. Это были невеселые мысли. Но в такой день он не мог ни о чем думать мрачно. И он думал о мрачном весело. Даже громадная очередь, свившаяся кольцами в полутемном зале перед кассой и грозившая поглотить не менее часа, не поколебала настроения. «Сбегать вниз и отпустить такси!» — подумал Антипов весело. Но тут возник Виктуар Котов, узнать его было нельзя — в черном кожаном пальто, в зеленой шляпе, лицо разъел, разрумянил, невиданные черные усики аккуратно подстрижены,— нагло всунул Антипова впереди себя, и через пять минут оба получили деньги. Это была удача. Немного снижало ее лишь то, что Котов теперь привяжется и до вечера его не отодрать. Но очень скоро он догадался, что знаменитая котовская прилипчивость так же видоизменилась, как все прочее в Котове: физиономия, одежда, ботинки, усики, походка. Он ходил теперь иначе — не торопливой по-

бежкой, а степенно. И разговаривал как-то в нос и не очень внятно. Подумать, что делает с человеком даже махонькая должность и ничтожная власть — редактор на киностудии! Нет, он и не собирался прилипать. Хотя, когда вышли на улицу и он увидел такси, знакомые лица за стеклом да еще стоявшего возле машины и разговаривавшего с Толей Квашниным поэта Пряхина — тоже прискакал за гонораром,— Антипов почуял, как Виктуар скрытно дернулся от привычного рывка прилипнуть, тут же подавленного. Он издали сделал приятелям приветственный жест, но с верхней ступеньки парадного входа не сдвинулся. Прилипнуть хотелось, но ждал, чтоб позвали.

Он что-то бормотал о сценарном портфеле, бормотал, бормотал, не двигаясь с места, и Антипов не выдержал, спросил, не хочет ли тот присоединиться. А вы что? Да так. А куда? Да еще не знаем. Кот помялся немного для вида и дал согласие, поглядев предварительно на часы, как деловой человек. Пряхин побежал за деньгами. Мирон спросил:

— Надеюсь, ждать его не будем?

— Его и посадить некуда,— сказал Квашнин.

— Поехали в шашлычную,— предложил Котов.— Шеф, к Никитским!

— Он и там найдет,— хихикнул Квашнин.

— Кто?

— Федька Пряхин. Он же обещал: я вас найду.

— Шиш ему! — сказал Мирон.— Антипыч его не приглашал. У нас сегодня Антипыч хозяин.

— Ничего, он без приглашений. Он не гордый.

— Меня Антипыч пригласил,— сказал Котов веско,— так что я среди вас законно.

— Про тебя никто не говорит,— ворчал Мирон.— А я не желаю эту харю видеть... Он мне противопоказан...

— Да не придет он,— сказал Антипов.— Почему он должен прийти?

Однако часа через два, когда поели, выпили, надышались табачным чадом, запахами шашлыков в тесном зальчике, где столы стояли впритык, как на вокзале, когда поговорили о многом, поспорили, поорали всласть, отводя душу, ибо не виделись друг с другом по неделям и месяцам, когда Квашнин уже похвалялся своей второй книжкой и тем, что рубает роман, для чего ведет спартанский образ жизни — не пьет, не встре-

чается с женщинами, гуляет по вечерам по два часа, а Мирон похвалился тем, что военная вещь, которую он уже пятый год пилит, будет ни на что не похожа, будет о смысле жизни, судьбе науки и что ни у кого нет такой биографии, как у него, писатель — это биография, так что он за себя спокоен, ему есть о чем писать до конца жизни, а Котов успел похвалиться влиятельностью своего положения и тем, что он может оказывать благодеяния, давать на отзыв сценарии, дребедень из самотека, и что «мы платим прилично», а Антипов уже успел насладиться мыслью о том, что никто из них, проедающих аванс за его книгу, не говорит об этой книге ни слова, ее еще нет, надо писать, но дело не в том, у них просто язык не поворачивается говорить о его книге, и он думал об этом без раздражения, а весело, с любопытством к человечеству; когда уже заказали коньяк и кофе и когда Мирон опять затеял распрю с Квашниным по поводу его рецензии на роман Филиппа Новикова, внезапно в дверях возник Пряхин и, не мешкая, твердым солдатским шагом направился к столу Антипова. Объяснил, что увидел их в окно. Спросил дружелюбно:

— Пропиваем аванс?

И оглядывался, ища свободный стул. Антипов был, в сущности, не против, Котов обрадовался брату пьянчужке, Квашнин торжествовал по поводу своей прозорливости и намеренно суетился, вскочил, стал искать стул, а Мирон помрачнел. Почему он так не любил Пряхина, было неясно. Оба были на фронте, в партизанах, Мирон недолго, а Пряхин партизанил два года, но какая-то глубоководная неприязнь разделяла их. Официант принес стул. Пряхин, севши, спросил:

— Я не помешаю?

Мирон хмыкнул. Антипов сделал жест рукой, означающий: о чем речь? Пряхин взял чей-то пустой фужер, плеснул туда коньяку и выспренне, но с чувством произнес, обращаясь к Антипову:

— Сашенька, за тебя! Очень рад. Лиха беда начало. Я читал твои рассказы и уверен, что и повесть будет великолепная...

Он потрясал фужером. Возник какой-то новый именинный тон. Но Антипов растрогался. Пряхин тянул руку, они чокнулись. У Антипова мелькнул даже позыв расцеловаться с лохматым, похожим на добродушного

медведя Федькой Пряхиным, но Мирон прервал намечавшуюся идиллическую сценку.

— Праздновать аванс? Что за вздор? По-моему, так же глупо, как праздновать известие о том, что женщина забеременела. Надо еще родить, создать.— Мирон презрительно отмахнулся от пряхинского тоста.— Мы собрались по другому поводу. А что до тебя, мой милый,— тут он повернулся к Толе,— то оправдания тебе нет, как хочешь.

— Мироша, послушай...

— Не принимаю!

— Да не было выхода, черт бы вас взял! Он же меня изнасиловал: напиши да напиши о Новикове. А он мне начальник. Куда денешься?

— Писать об этом типе...

— Это было насилие! Я уступил силе. В конце концов все так или иначе подвергаются насилию. Ты думаешь, ты избежал?

— Братцы, есть большая мудрость в английском военном уставе,— сказал Пряхин.— Знаете? Про совет женщинам? Если, говорят, вы подвергаетесь насилию и не можете спастись, то расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие.

— Сила! — хохотал пьяный Котов.

— Опять вздор,— сказал Мирон.— Если хотите рассказывать пошлые анекдоты, не надо тут садиться.

— Мироша, заткнись,— сказал Антипов.

Пряхин встал, улыбаясь всем своим широким, здоровенным лицом.

— Братцы, прошу прощения. Один из вас чем-то радражен, так что во избежание того-сего я пойду. Саша, еще раз приветствую! — Он поднял сжатые руки и потряс ими.— Я к тебе забегу на днях, кое-что покажу.

Он отставил в сторону стул, подняв его с необыкновенной легкостью двумя пальцами, и поклонился корректно, а Антипов вдруг вскочил.

— Федор! Стой! — закричал он.— Почему уходишь? Ты мой гость! Я тебя пригласил! Садись немедленно обратно и выпей с этим Собакевичем. Он не такой дурной, как кажется. В сущности, он золотой человек. Ты тоже золотой, Федор...— Антипов схватил Пряхина за руку, стремясь притянуть его к столу, но тот стоял как скала.— Садись! Толя, дай стул. А ты веди себя при-

стойно, Собакевич. Право, не знаю, кто ты: Собакевич или Ноздрев? Какая-то смесь...

— Да пускай сидит,— пробурчал Мирон.— Только без пошлостей...

— Федор, садитесь, пожалуйста,— сказал Толя.

— Нет, нет, я пойду. Зачем же? Я сяду вон там, хочу поужинать.— Пряхин опять сделал поклон.— Желаю вам, братцы, всего самого прекрасного.

И он ушел. За столом стали говорить о нем, говорили долго. Заказали еще коньяку. Пряхин был человек странный: много старше, лет почти сорока, он лепился к их компании, приходил в Литинститут в дни выплаты стипендии, как другие бывшие студенты, сидел с молодыми в баре, учил их уму-разуму, а то и участвовал в драках, где снискал славу. Известен был не столько как поэт — у него было три или четыре сборника стихов,— но и как заядлый книжник, собиратель, каждый год мотался в Ригу и шуровал там по магазинам, по старым квартирам. Книжки у него бывали редчайшие, и он давал их легко. Так что он был нужен, но зачем они-то, Антипов с приятелями, ему нужны? Антипов предположил: от одиночества. Мирон сказал: ни черта! Толя, как большой писатель, смотрел вглубь: тут какой-то скрытый порок. А Котов все восторгался английской военной мудростью: «Ах, умницы! Ах, подлецы! Ведь про всех!»

Вечер кончился плохо. Все сильно накачались, и когда какие-то люди за соседним столом попросили спичек, обращаясь к Мирону вежливо, но почему-то называя его Борюнчик, им было отвечено грубо и спичек не дали; люди вели себя мирно, однако через некоторое время опять стали вежливо окликать Мирона: «Борюнчик, нельзя ли у вас попросить!..» Мирон не откликался. Драки никто не хотел. Но те продолжали тихонько завывать: «Борюнчик, Борюнчик! Мы тебе вернем коробок, не сомневайся, ей-богу, вернем!» Мирон сказал, что даст коробок на улице. Антипов расплатился, вышли на улицу, было часов одиннадцать, перешли через трамвайные пути на бульвар, совершенно безлюдный. И милиционера не было видно. Драка началась сразу, но шла как-то вяло, не драка, а толкотня. Ребята были наглые, молоденькие, студенческого облика. Вдруг появился Пряхин, и все переменилось — драка завертелась с диким ожесточением, с криками. Пряхин приговаривал: «Эк! Эк!» Одного парня он положил с маху,

другого, который говорил Мирону Борюнчик, схватил за шею, согнул, стал бить головой об угол скамейки, ударил раза три, приговаривая «эк!», и тот свалился, а двое других бросились бежать назад в шашлычную. Пряхин хрипел, задыхался, блестя впотьмах глазами.

— А что? Нормально! У нас на престольной всегда бывала потеха...

Двое остались лежать. Пряхин сказал, что беспокоиться не надо, встанут. Но все же поскорей разбежимся, швейцар уже звонит «ноль-два».

— Пока! — крикнул он, почти бегом удаляясь к Арбату.— Сашка, я к тебе зайду. Поэму хочу почитать!

Мать и сестра пили в комнате чай. С тех пор как год назад Фаина уехала к мужу, брату матери, в Ногинск — не хотела уезжать, упиралась как могла, но дядя Петр настоял,— жизнь дома, в особенности вечерняя и ночная жизнь, решительно переменилась. Мать и сестра, например, могли за полночь распивать чай в комнате и громко разговаривать, не выключая света. А Антипов мог прийти сильно подвыпивший, шлепнуться посреди комнаты на стул, молоть глупости, пьяный вздор, хвастливо трясти пачками денег, бросить их великодушно на стол и увидеть на столе блюдце с ломтиком колбасы, чашку с кефиром, оставленные матерью для него, вспомнить, что он купил для матери и сестры коробку конфет, две банки шпрот, забыл все это в фибровом чемоданчике в раздевалке шашлычной, и вдруг окинуть взглядом все вместе, понять, ужаснуться и вскрикнуть мысленно: «Какая же я скотина!»

К середине лета деньги кончились. Книга не была готова. Настали трудные времена. Надо было продержаться хотя бы до сентября. Антипов почти ничего не зарабатывал — изредка писал кое-что для спортивного журнальчика, где работал Мирон,— но мать и сестра старались изо всей мочи, чтобы он не отвлекался и спокойно делал свое дело. Они горячо верили в его дело. Даже больше, чем он сам. Но какое могло быть спокойствие! Все тянулись из последних сил. Сестра не смела купить себе пальто. Антипов не ходил ни в театры, ни на футбол, даже в кино бывал редко. Он чувствовал себя как в темном бесконечном туннеле, по которому надо идти, идти, не останавливаясь, не видя

просвета. Надо идти, и все. Жили на двадцать рублей в день. И вот в начале октября рукопись была наконец готова, перепечатана — печатала, как всегда, тетка Маргарита,— Антипов отнес толстенькую папку в редакцию. Прочитали к ноябрьским и сказали: нет, пока еще не годится. Надо перерабатывать. Но дали немного денег, и это смягчило удар. Мать и сестра обрадовались, купили необходимое, приготовились жить и стараться изо всей мочи дальше, но Антипов пал духом. Казалось, уже нет сил на переработку. Два дня не мог смотреть на бумагу, на третий сел к столу, недолго поработал, а затем все пошло как прежде. В декабре у сестры был приступ аппендицита, оперировали с опозданием, начался перитонит, едва спасли. В январе нового, 1951 года Антипов наконец закончил переработку, шесть глав переделал, четыре написал заново, рукопись выросла до трехсот пятидесяти страниц, и он вновь повез ее в редакцию.

Прежнего редактора не было. Антипову не хотелось иметь дела с новым, потому что прежний, несмотря на строгость, чем-то Антипову нравился, хотя бы тем, что заключил с ним договор, и Антипов сказал, что подождет, пока прежний вернется. Ему сказали, что тот не вернется. «Никогда?» — пошутил Антипов. «Кто его знает!» — ответила девушка, которая распоряжалась рукописями. Ее шкаф напоминал камеру хранения, где стопками громоздились разнообразные папки, иногда громадной толщины. Увидев один чудовищно пухлый чемодан, Антипов с некоторым страхом спросил: неужели рукопись? Девушка сказала, что это третья часть трилогии. Две первые части уже вышли. Она назвала фамилию автора, неизвестную Антипову. Она смотрела на Антипова с сочувствием, и он, ощутив сочувствие, пожалел себя: ему показалось, что он дальше от цели, чем когда-либо. Никогда он не сможет создать ничего похожего на трилогию из трех чемоданов.

Новый редактор просил передать через девушку, что он прочитает рукопись не раньше чем через два месяца. Упавшим голосом Антипов спросил:

— А что вы делаете сегодня вечером?

Ее звали Таня. После кино надо было куда-то пойти, хотя бы в кафе-мороженое, но у Антипова не осталось денег. Он предполагал, что в кармане рублей пять, пересчитывать было неудобно. На площади Маяковского он попросил Таню подождать, пошел в уборную

и пересчитал. Оказалось, еще меньше: четыре восемьдесят. В кафе нечего и соваться. Он вернулся к Тане, которая терпеливо ждала на том месте, где он ее оставил, хотя пошел мокрый снег, люди бежали к домам, в укрытия. Взял ее за руку, побежали обратно в кинотеатр. Стояли в вестибюле, там собралась толпа. С площади вбегали все новые, застигнутые снеговой жижей, толпа уминалась, густела. Шел настоящий дождь. Оттепель в середине января. Антипова и Таню отдавливали все дальше в глубь вестибюля, к кассам. Ему понравилось то, что она ждала под мокрым снегом. Как солдат на часах. И вообще она ему нравилась. Такая миленькая, серьезная. Ее очки залепило дождем, она сняла их, протирала платком, и он смотрел на ее круглое, чуть скуластое бледное лицо в каштановых кудрях, вылезавших из-под шапочки. Оттепель выручила Антипова, ничего не оставалось делать, как взять билеты на ближайший сеанс, тем более что толпа подтащила их к самой кассе. Смотрели видовую картину. Минутами его охватывала тоска — опять неизвестность и ожидание денег! Когда вышли из кинотеатра, снего-дождь прекратился. Черное серебро безлунной ночи и мокрый асфальт. Он проводил ее до дома.

— У вас есть тайна? — спросила она.

— Есть,— сказал он, подумав.

— И у меня,— сказала Таня.

Вздохнув, он заметил:

— Тайны, наверное, есть у всех. Главная тайна: неизвестность того, что будет. Завтра — вот величайшая тайна.— Ему показалось, что говорит чересчур красиво, и пропел дурашливо: — У меня есть Та-аня, а у Тани тайна, а у тайны песня... Брум-брум-бум. Песня эта — ты...

— У Тани тайна есть, но у вас Тани нет,— сказала она без улыбки.

— Ну хорошо, передайте этому типу, чтобы он читал поскорее...

— Какому?

— Вашему Саясову. Который сказал, что не меньше двух месяцев. Я не могу ждать. Скажите, это бесчеловечно. Это нарушает все параграфы Гаагской конвенции. И противоречит всем знакам Зодиака.

Таня не отвечала. Он взял ее двумя руками за плечи, спросил «скажете?» и хотел притянуть к себе, неясно понимая зачем. Она ему нравилась, но не так, чтобы

сразу за плечи и к себе. Была неопределенность. Она молча и твердо отвела его руки.

— Скажете? — повторил он, опять делая слабую попытку ее притянуть. Она покачала головой: нет. Неизвестно на что: нет. Продолжали стоять. Уж очень сурово она на него глядела. Только в юности бывает такой неподкупно суровый взгляд. Он сказал, что позвонит завтра к концу дня. Она не ответила ни «хорошо», ни «звоните», ни «до завтра», Антипов не позвонил. Жизнь бросила его в один из тех нечаянных водоворотов, которые отшибают внезапно силы, память и временами дыхание.

Началось бестревожно. Даже и предположить было нельзя, во что это выльется. Александр Григорьевич, отец Мирона, за чашкой чая предложил Антипову принять участие в деле, которое он вел как адвокат, выступить литературным экспертом. Антипов сразу легкомысленно согласился. Ему померещилось что-то чрезвычайно занимательное и почтенное. «Литературный эксперт» звучало почти так же внушительно, как «профессор». Дав согласие, Антипов поинтересовался: каковы обязанности литературного эксперта? Пустяки, написать две-три странички заключения о литературном качестве текста, однажды прийти на суд и получить в кассе свои законные пятьсот. Это было очень кстати. Александр Григорьевич, зная от Мирона об антиповских трудностях, хотел подкинуть деньжат. Добрейший старик!

Прошло недели две после чаепития, но о деле Двойникова — так звали директора издательства «Литература и школа», которого обвиняли в плагиате и злоупотреблении служебным положением,— не было ни слуху ни духу. Антипов решил, что ему предпочли другого литературного эксперта, и слегка расстроился. Он уже наметил, на что потратит гонорар: купит чехословацкие ботинки на каучуке, как у Котова. Потом Александр Григорьевич вдруг позвонил и велел прийти немедленно, познакомиться с делом, потому что экспертиза нужна срочно. Там какая-то интрига. Заместитель против директора. И замешана женщина. Но дело не в том: Двойников пал жертвой провокации, он пожилой человек, участник войны, у него больные сосуды, его надо спасти. А заместитель — бессердечное сущест-

во, карьерист — завидует Двойникову и мстит ему из-за женщины. Ах, вы бы видели женщину! Только по приговору Верховного суда можно с ней лечь. Так вот, чтобы защитить фронтовика, нужно единственное: доказать, что брошюрки из серии «Русские классики», которую выпускает издательство, не есть плагиат. Дело одного вечера.

Пили чай на лысой клеенке, Александр Григорьевич объяснял, шевелил коротенькими, желтыми от табака пальцами, дымил, угощал халвой, а его жена интересовалась здоровьем сестры и матери. И Антипов быстро решил, что тут все ясно и надо бежать домой, читать брошюрки. По его соображению — да и Александр Григорьевич рисовал так — выходило, что дело совершенно очевидное, фронтовик должен быть спасен, карьерист наказан, справедливость восторжествует, и заключение Антипова — сущая проформа. Членам суда приятнее иметь дело с молодым писателем, а не с каким-нибудь старым хреном. Почему же с писателем? Откуда они знают? Эта мысль слабо пробрезжила, но ничуть не насторожила, ибо представление о себе было твердое — писатель. Александр Григорьевич спросил: «Диплом об окончании института имеете? Очень хорошо, надо быть во всеоружии». Антипов и тут не дрогнул. Уверенность в том, что писатель, было не сокрушить. И как истинный писатель он обязан был знакомиться с судебными делами, они для писателя хлеб. Лев Толстой, к примеру, участвовал в судебном процессе, защищал солдата, хотя и без успеха. Но это помогло ему в работе над «Воскресением».

Именно так говорил Антипов за ужином матери и сестре, которые робко сомневались: справится ли он и за свое ли дело взялся? В голосе матери был страх.

— Почему-то у меня дурное предчувствие. А отец Мирона — порядочный человек?

— Мама, ты получала от него столько заочных советов!

— Ты товарищ сына, он тебя любит. Это другое дело. Но порядочный ли он вообще?

— В высшей степени! — горячо подтверждал Антипов.

Он был абсолютно в этом уверен. Так же, как в том, что он писатель. И в виде последнего доказательства добавил:

— Ты бы видела их дом! Такая же нищета, как

у нас. Диван продавлен, ни одного целого стула. И вообще, мать, перестань всего бояться. Хватит, понимаешь?

— Не могу,— сказала мать.— Я пуганая ворона...

Антипов всегда сердился, когда слышал это. Пуганая ворона! Сколько лет можно быть пуганой вороной? Мать сказала: вороны — мудрые птицы, сын, не относись к нам, воронам, презрительно. После ужина Антипов засел читать. Он добросовестно изучил несколько тощих брошюрок — тридцать шестого и сорок девятого годов издания — и быстро уверился в том, что ни о каком плагиате не может быть и речи, ибо серое было переписано серым. Суконный язык тридцать шестого мало чем отличался от суконного языка сорок девятого, а факты жизни и творчества великих писателей нельзя было переиначить, так что книжки были похожи друг на друга, как братья. Нет, это отнюдь не плагиат. Это просто размножение муры. Халтура всегда имеет как бы одно лицо. Сплагиировать можно чужое изобретение, чужой талант, но нельзя сплагиировать то, что похоже на всех. На книжечках тридцать шестого года стояли фамилии: А. В. Озолс, И. Я. Викторович и Ю. Н. Самодуров. На книжечках сорок девятого: Т. В. Дианина, С. Г. Сухов, П. Г. Плужников, Б. В. Скопченко и Н. Ф Тугоух. Ни одной из этих фамилий Антипов никогда не слышал, Плужников и Скопченко были «канд. фил. наук». С чистой совестью Антипов мог написать: «Статьи как первого, так и второго выпусков написаны на столь низком уровне, что о плагиате говорить нельзя. Можно говорить лишь о научной и художественной недаровитости авторов».

Немного обеспокоило Антипова вот что: рассуждения его были правильны с точки зрения большой литературы и истинной науки, а с точки зрения судейских крючков? Вдруг, подойдя буквоедски, можно все же определить, что плагиат налицо? На это, разумеется, можно сказать, что книжечки тридцать шестого тоже наверняка несамостоятельны и переписаны с какого-то еще более раннего серого. Но тут нужны раскопки. То, что казалось простым и ясным, стало слегка заволакиваться, чего-то главного не хватало, для того чтобы решительно заявить: плагиата нет. Антипов долго не мог заснуть и думал об этом, потом вдруг догадался, чего не хватало: людей. Действующие лица были замаскированы бумажками. Он не мог судить о них, не

видя и не ощущая их как живых людей. Заснул в тревоге — дело выходило нешуточное.

Про Таню Антипов забыл. Не позвонил ей ни на другой день, ни на следующий, а в пятницу утром она позвонила сама. Голос был официальный.

— Александр Николаевич? Соединяю вас с Виктором Семеновичем. Одну минуту...

И это было все, что он услышал от нее в тот день. Виктором Семеновичем звали Саясова, нового человека, который заменил прежнего редактора и у кого находилась теперь антиповская рукопись. Антипов разговаривал с ним лишь однажды и сохранил ощущение какой-то пресноты, бескрасочности. Человек был ни то ни се.

— Сандр Николаич, добрый день, беспокоит Саясов, извините за ранний час... Я знаю, что литераторы в эту пору... Дело в том...— быстро и очень тихо говорил голос Саясова. Так тихо, что части фраз пропадали и Антипов, нервничая, вслушивался изо всех сил.— Срочную работу... Хотел бы расчистить для этой цели... Вашу рукопись в первую очередь... И вот за два дня прочитал.

— Прочитали? — ахнул Антипов, не зная, радоваться ему или трусить. Одно ухо закрыл ладонью, к другому прижал трубку и напряг слух.

— Прочитал. Вчера вечером закончил и готов соответствовать.

— Ну и...

— Я же говорю, готов соответствовать. Будем разговаривать, Сандр Николаич. Приезжайте, если можно, сегодня к концу дня.

Антипов приехал в пять. Всю дорогу гадал: к добру это или к худу? Может, Таня его просила прочитать поскорей? Тани в комнате не было. Ее шубка и вязаная шапочка не висели на вешалке возле дверей. Стол был чисто прибран, бумаги лежали аккуратными стопками слева и справа, карандаши и ручки в стаканчике, а под стеклом портрет Блока. Спросить не у кого. Оставалось одно — идти навстречу неизвестности.

Перед дверью с табличкой «В. С. Саясов» — еще недавно тут красовалась другая табличка — сидел на стуле старикан с большой лысой головой, с фиолетовыми наростами на темени и с напряженным, изголодавшимся выражением лица. На коленях он держал, поставив ребром, папку и пальцами выбивал на ней дробь. Вы-

жидательная поза старика — пятнистым черепом вперед — означала, что он готов ринуться в кабинет, как только в двери появится щель. Антипов сел на стул поодаль. Вдруг напало уныние — ничего хорошего срочный вызов означать не мог. Было б к добру, Саясов хотя бы одной фразой по телефону обмолвился. Но он не обнадежил никак. Интонация была вялая, какая-то еле живая. Такой еле живой тон напускают на себя начальники, чтобы категорически отказать. В этом тоне им легче отказывать. Но зачем тогда немедленно вызывать? Зачем этот садизм? Антипов стискивал зубы. Если откажут, он тут же понесет в другое издательство, на Пушкинскую, а аванс возвращать не станет. Надо сопротивляться. Надо бороться изо всех сил. Искусство требует выдержки, как писал Бальзак. Вот старикан с лысым черепом сопротивляется до последнего. Он никого не пропустит впереди себя. Какие суровые, предупреждающие, сторожевые взгляды бросает он на Антипова: «Не вздумайте, молодой человек, пытаться пройти без очереди! Я вас не пущу! Ваша очередь через двенадцать лет!»

Отворилась дверь, мелькнуло что-то блондинистое в черном костюме, тихий голос сказал:

— Товарищ Антипов, прошу.

— Но товарищ, по-моему,— пробормотал Антипов,— несколько раньше...

— Товарищ явился экспромтом, а вам я назначил,— внушительно отрезал Саясов, выделяя «назначил».

Старикан дернулся, то ли желая вскрикнуть, то ли подняться со стула, но остался сидеть, сильнее забарабанив пальцами и что-то вдруг замурлыкав, вроде песни без слов. Антипов в крайнем смущении — его житейским изъяном было мучительное неумение проникать куда-либо без очереди — шагнул поспешно за дверь, нашел стул, плюхнулся и замер. Саясов шуршал рукописью. Насупленное чело, сжатые губы выражали суровую думу. Не знал, как подступиться. А сказать должен был неприятное. Шуршание длилось, он откашлялся, снял очки, протер их темно-красным платком, снова надел. Пошелестев еще чуть, вдруг поднял на Антипова легкий голубой взор — глаза у него маленькие, близко посаженные, как у обезьянки,— и сказал почти шепотом:

— Ну что, Сандр Николаич, будем делать книгу? А?

Кинемся в эту авантюру? — Он засмеялся. У Антипова сердце заколотилось, и он тоже засмеялся.— Но предупреждаю! — Саясов поднял тонкий, мальчиковый палец.— Предупреждаю.— Потряс пальцем и опять насупил чело.— Работы предстоит немало. Очень немало. И работы серьезной...

И дальше минут пятнадцать говорил что-то туманно укорительное. Нет того, пятого, десятого, недостает этого, надо дописать то-то, и, наконец, отсутствует следующее. Речь шла только о том, что отсутствует. О том, что присутствует, не говорилось вовсе. Но Антипов ободрился — он ожидал худшего. Ведь суть сводилась к тому, что книга в целом существует или, во всяком случае, будет существовать при некотором дополнительном усилии. С помощью Виктора Семеновича. Не так уж все мрачно. Бежать на Пушкинскую не обязательно.

— Вот развяжусь со срочным заданием,— шептал Саясов,— мы плотно сядем, пройдемся по тексту с карандашом, и вы сделаете все, что нужно.

Дело в том, что он проделал как бы первую вспашку, чтобы составить общее впечатление. А более глубокая вспашка, постраничные замечания еще последуют. На этом деловой разговор кончился. Антипов сделал движение встать, памятуя о старике, который томился за дверью, но Саясов взмахом мальчикового пальца остановил его.

— Сандр Николаич, еще такой неожиданный вопрос: вы имеете касательство к делу Двойникова?

— Имею,— сказал Антипов.— Я приглашен быть литературным экспертом.

— Правда? Значит, я не ошибся, вы — это вы! — Саясов засмеялся обрадованно.— Мне сказали, что эксперт писатель Антипов, но я был как-то не убежден, что вы. Ну, чудесно. Между прочим, тоже имею касательство — мой брат выступает истцом. Саясов Дмитрий Семенович, заместитель Двойникова. Хочу на всякий случай предостеречь: Двойников — человек опасный. Что он творил в издательстве! — Саясов, изобразив на лице брезгливую гримасу, покачал головой. Антипов молчал. Новость была убийственная. Все стало ясно и хорошо видно — и вширь, и вдаль. Как с птичьего полета.— Вас пригласил адвокат? Такой маленький? С шевелюрой? — спросил Саясов.

— Да,— сказал Антипов.

— Где же он вас раскопал, Сандр Николаич?

— Дело в том, что... Ну, словом, он кое-что читал.

— Из вашего?

— Ну да.

— В периодике?

— Да.

— Все ясно. Понимаю. Писателей много, выбрать трудно, обыкновенно приглашают знакомых. Чтобы эксперт был, как говорится, близок по духу, по стилю...

— Да,— согласился Антипов.

— Но главное — эксперт должен быть честен и подтверждать то, что видит. А не то, о чем просят. Верно, Сандр Николаевич? Правда, одна только правда, и ничего, кроме правды. Как и в нашем деле, в литературе,— Саясов улыбался.— А напоследок скажу, и больше к этой теме возвращаться не станем: брата я люблю, знаю, как он настрадался, как этот жулик над ним глумился. Как сильно брат рисковал, когда начал борьбу,— рисковал в буквальном смысле головой, потому что угрожали физической расправой. Я три дня ездил к нему домой и оставался там ночевать, с пугачом под подушкой. Имейте в виду: этот полудохлый интеллигент — гангстер чистой воды. Сейчас все читают взахлеб американский роман «Банда Теккера», а я бы написал еще позабористей: «Банда Двойникова». Но, Сандр Николаич! — Тут Саясов пристукнул ладонью по столу и, глядя строго и холодно Антипову в глаза, прошептал: — Я прошу абсолютно не связывать наши рабочие отношения со всей этой историей. Надеюсь, вы не подумали, что я хочу на вас каким-то образом надавить? Мне было бы чрезвычайно неприятно. У меня правило: мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы не подумали так? Нет? Скажите как на духу. Может, немного все-таки подумали?

Антипов сказал, что не успел еще как следует ни о чем подумать. Но если уж совсем как на духу: что-то подобное в его испорченном сознании мелькнуло.

— Мелькнуло? — огорчился Саясов.— Этого я боялся. Неужели я похож на проходимца, который пользуется служебным положением, чтобы что-то из человека выжать? Ведь как раз за это я ненавижу вашего Двойникова.

— Почему *моего* Двойникова?

— Конечно, вашего. Потому что адвокат успел, конечно же, вас настроить.

— Виктор Семенович, вы напрасно так говорите...

— Да, да! Прошу прощения. Я взял лишку. Чтобы уж окончательно поставить все точки над «и», выскажу свое кредо: ваш Двойников — плагиатор...

— Он не мой.

— Хорошо, не ваш Двойников — плагиатор, он передирал давние книжки, выпускал их под псевдонимами, а гонорар делил со своей любовницей Самодуровой и двумя прихвостнями. На него работали негры. Он пользовался безвыходным положением людей. Там был целый концерн, который мой брат разворошил, как осиное гнездо палкой. Вот и вся история. И никакой эксперт тут не нужен, извините меня.— Антипов поймал вдруг злобный, изменившийся взгляд.

Антипов встал, поклонился и пошел к выходу, что было глупо. Но внезапная волна враждебности, которую он почуял, подняла со стула и понесла прочь. Он услышал конец фразы: «...тут не нужен...» Уже взявшись за ручку двери, он оглянулся и увидел, что Саясов глядит на него с изумлением.

— Вы куда?

— До свидания,— сказал Антипов.— Мы договорились, по-моему.

— Я вас ничем не обидел? — Взгляд Саясова был, как прежде, голубой, легкий.— Право, было бы неприятно. Значит, мы договорились. Наша секретарь Татьяна Николаевна — вы знакомы с ней? — сообщит вам о дальнейшем.

Нужно было увидеть Мирона. Только Мирон мог помочь разобраться в этой путанице, которая грозила запутаться еще сильнее, потому что вечером того дня, когда Антипов встречался с Саясовым, позвонил Александр Григорьевич и строго — голосом работодателя — спрашивал, готово ли заключение, на что Антипов ответил, что, в общем, готово, хотя дело оказалось не таким простым. «Что значит — не таким простым, Шура?» Ну, не однозначным, что ли. Можно трактовать работу Двойникова как плагиат, а можно как не плагиат, если угодно. Александр Григорьевич сказал: «Так вот, мне надо, Шура, трактовать как не плагиат». Антипов спросил: а нельзя ли подыскать другого эксперта? Александр Григорьевич едва не зарыдал в телефон: «Да что вы творите, Шура, дорогой? Вы режете без ножа! На сре-

ду назначено слушание дела, где я найду нового эксперта?» — «Я вам найду!» — крикнул Антипов, сразу подумав о Котове. «Нет, невозможно, Шура. Ваш отказ — козырь в руках обвинителя. Вы меня страшно подведете. Вы не представляете, как важно, если в качестве эксперта выступит молодой писатель вроде вас! Имеющий доброе имя и хорошую репутацию. Это произведет впечатление на членов суда». Тут было явное преувеличение, Антипов прекрасно это понимал, но почему-то смягчился. Еще некоторое время он слабо сопротивлялся: разве непременно должно стать известно об отказе? Александр Григорьевич рубил: «Непременно! Ваша кандидатура согласована! Это конец! Я получу инфаркт!» Тогда Антипов сказал: если уж выхода нет и отступление невозможно, он должен познакомиться с делом ближе. Александр Григорьевич согласился без энтузиазма: «Ну, пожалуйста, ради бога... Я вас познакомлю...» На этой вялой ноте разговор иссяк.

Теперь срочно требовался Мирон, но найти его было непросто: полгода назад, с тех пор как Мирон женился, он уехал из отцовской квартиры к Люсьене в Сокольники. Телефона там нет. На работе застать его невозможно, он ушел из Радиокомитета и работал в маленьком спортивном журнальчике, где один телефон на всю редакцию и всегда, разумеется, занят. А у отца Мирон бывал редко, потому что Люсьена его родителей невзлюбила. Люсьена была красотка. Танцевала в «Березке», Антипову казалось, что для одного дела она хороша, но для других дел не годится, и стало скучновато встречаться с Мироном у него дома. Тем более что люди, окружавшие теперь Мирона, были неинтересны. За полгода Антипов побывал у него раза два: первый раз, когда устраивалось подобие свадьбы и когда какой-то администратор оскорбил Толю Квашнина и Мирон — Антипов видел это впервые — проявил слабодушие, другой раз забежал к Мирону случайно, и Люсьена старалась его очаровать, кокетничала и учила новому танцу «рок-н-ролл», но он оставался тверд — она годилась для одного, все прочее было скучно.

Делать нечего, в субботу Антипов поехал в Сокольники на авось. Люсьена жила в деревянном дачном доме с деревянным сараем, с собачьей будкой, с колодцем во дворе. На ее квартире висел замок. Антипов

написал записку: «Мироша! Ты нужен!» И поставил три креста, что значило по их шифру, принятому еще в студенческие годы, крайнюю степень срочности. Бывало, кидали на лекциях записки «Сегодня достань ключ» или «Найди десятку», и следовали пометы: крест, два креста или три. Если три, то просьба выполнялась любой ценой. И верно, Мирон примчался в воскресенье с утра.

Но накануне вечером явился другой посетитель — незваный Пряхин.

— А я, брат, как обещал, принес поэму,— сообщил радостно, выгружая из армейской кожаной сумки кипу мятых листков.— Почитаем? Я не помешал?

Радушно пригласил послушать мать и сестру, и те, хотя наметили вечер для важных домашних дел, тут же переметнулись и сказали: «Спасибо, с удовольствием». Мать, как более любезная, даже сказала: «С наслаждением!» А у Антипова упало сердце — просидит не меньше двух часов! Вечер насмарку, а он еще хотел поработать. Поэма была сюжетная, о войне, с прологом, эпилогом и отступлениями. Было хорошо зарифмовано и очень знакомо. Чтение длилось минут сорок. Антипов временами отлетал слухом и мыслью далеко, размышлял о книге, о Саясове, об Александре Григорьевиче, который проявил недюжинную настойчивость, и о том, что в них обоих, в Александре Григорьевиче и в Мироне, есть этот жестковатый стержень, не заметный сразу. Одно отступление в поэме остановило внимание — что-то о беспощадности. Описывалась казнь предателей. Антипов прислушался. Несколько строф — крепко, выразительно, с какой-то грубой, холодной силой. И вовсе не знакомо. Потом опять пошла мякина. Пряхин сказал, что отнес поэму в «Октябрь».

На мать и сестру поэма произвела впечатление. Мать вытирала глаза платком. Людмила, раскрасневшаяся от волнения, побежала на кухню ставить чайник, но Пряхин от чая отказался — он взял билеты на немецкий фильм о Рембрандте на последний сеанс. На всякий случай взял четыре билета. Мать осталась делать домашние дела, Антипов хотел поработать, и в кино с Пряхиным отправилась сестра.

— А ты проводи нас,— сказал Пряхин.— Надо покалякать.

— О поэме? Я тебя недохвалил?

— Да чего о поэме! С поэмой все ясно. Гениальная

вещь. Шучу, шучу, надо поработать, знаю. Нет, о Витьке Саясове. Ведь это мой близкий приятель.

— Редактор?

— Ну да, Витюня Семеныч. Две мои книги издал. Он раньше в редакции поэзии работал. Знаю его мамашу, жену, брата, семья отличная, лучших кровей.

— А мне зачем это знать? — спросил Антипов, уже догадываясь и оттого напрягшись.

— Чтобы ты был в курсе. Ведь ты с Витюней путем незнаком. Он сказал: у нас, говорит, с Антиповым произошел пустяковый разговор, он обо мне, наверно, бог знает что подумал. Ты ему объясни, говорит, что я серебряные ложки не краду и маленьких детей не кушаю. Вот и объясняю.

— Спасибо.

— Нет, верно, он парень преотличный. Ты поверь, я в людях разбираюсь. Он, если возьмется, через главную редакцию, через все препятствия книжку протащит. Как он мою-то протащил!

— Как же?

— А вот так. Попер, попер и вытащил. А уж я в болоте совсем сидел... Саша, серьезно, ты его брательнику пособи. Это ведь не липа, а дело чистое. Я не знаю, конечно, что там у вас, но Витюня сказал: сейчас, говорит, от Антипова много зависит.

— Он тебя просил со мной поговорить?

— Он? Нет. Это я сам. А он вот только насчет серебряных ложек и что детишек не кушает...

Сестре было весело, она редко ходила в кино с молодыми людьми, Пряхин смеялся дурашливо, а Антипов насупился. Домой он возвращался мрачный. Все лишь завинчивалось и ничего не развинчивалось. Вместо работы ломай голову над ненужными загадками. Даже больше того: как выдраться из капкана? И Мирон был необходим.

Он возник утром в воскресенье, озабоченный и злобноватый, под вчерашним хмельком. Как вошел, сразу шлепнулся на валик дивана возле двери, показывая, что времени в обрез.

— Ну что?

Антипов рассказал. О Пряхине не упомянул, чтобы не вызывать лишнего раздражения. Ситуация щекотливая, и лучше бы всего дать отсюда стрекача. Но как? Не повредит ли отцу? И как Мирон вообще относится

к такого рода отцовским делам? Нельзя ли тут вляпаться?

— Да сколько хочешь! — Мирон хмыкнул.— А ты думал? За что экспертам деньги платят? За риск вляпаться.

Ничего толком о деле Двойникова Мирон не знал, слышал лишь, что замешана женщина, была любовницей обоих — истца и ответчика. Но кто хорош и кто плох — Двойников или Саясов,— Мирон не имел представления. К отцу он относился без всякой родственной снисходительности, пожалуй, равнодушно, его адвокатскую деятельность уважал мало и поэтому на прямой вопрос — как бы он поступил на месте Антипова, на чью бы руку сыграл? — ответил, поразмыслив, твердо:

— Боюсь, разочарую тебя, но на твоем бы месте сыграл на Саясова. Потому что для нас главное — книга. Зачем делать врагом того, кто твою книгу выпускает? Нет смысла.

— Он клялся, что одно с другим не связано.

— А ты поверил? Да в тот день, когда ты вякнешь хоть слово, книга полетит из плана вверх тормашками. Формально не сразу, но в его сознании мгновенно. А дальнейшее будет делом техники. Неужели сомневаешься? Я о Саясове что-то слышал. Он ведь друг Пряхина. Бедный отец, как он неудачно все организовал! Вот уж кто вляпался! — Мирон присвистнул и покачал головой.— Выхода у тебя нет. Отец бы меня убил, если б услышал...

Было похоже на кучу малу в темном школьном коридоре. Один хочет излупить другого, вот они барахтаются на полу, сверху валится третий, на третьего шутки ради грохается четвертый, на четвертого набрасывается пятый, желающий спасти того, кто внизу. А у того, задавленного, наступает миг ужаса. Такой миг наступил в ночь с понедельника на вторник, после двух дней разрастания кучи малы,— на пятого прыгал шестой, на шестого двенадцатый... После утреннего прихода Мирона с его ледяным и не сыновним советом возник разговор за обедом с матерью и сестрой — неожиданно они тоже оказались в куче. Пряхин на обратном пути из кино рассказал все Людмиле, и рассказ был, по-видимому, настолько захватывающ и по-

дробен, что сестра явилась домой в половине первого в необычайном волнении и перепуге. Утром она все шушукалась с матерью, но тут был Мирон, и начать разговор они не могли, а за обедом навалились на Антипова, уже задавленного тяжестью, дружно вдвоем. Сестра сказала, что он должен немедленно отказаться от этого сомнительного дела. Почему сомнительного? Твой друг сказал даже резче: грязного дела. Мой друг — заинтересованное лицо, он действует по просьбе редактора, который его печатает. Тут надо делать поправку. Но почему бы и тебе не пойти навстречу редактору, который и тебя печатает? Потому что... Антипов запнулся, он не знал, почему ему до смерти не хотелось идти навстречу редактору. Было необъяснимо. Ничего дурного Виктор Семенович ему не сделал. По всем законам логики он обязан был пойти Виктору Семеновичу навстречу, а на Александра Григорьевича наплевать, но внутри что-то стояло колом и не пускало.

— Тогда надо отказаться, Шура! — сказала мать.— Не хочу, чтоб ты влезал в эту историю.

— Почему?

— Не хочу. Я боюсь.

— Опять? — Антипов поглядел на мать пристально. Слово «ворона» витало в воздухе.

— Зачем тебе это нужно вообще? — спросила сестра.— Почему ты согласился? Ведь это ловушка.

— А захотелось поучаствовать в процессе. Меня губит любознательность: как мотылек, которого тянет на огонь, я сожгу свои крылышки. Свои чудесные серебряные крылышки.

— Федя сказал, между прочим, что тот человек настолько коварен, что может сделать в отместку зло не только тебе, но и...

— Кому еще?

— Всей семье, например.

— Ты про кого говоришь?

— Про твоего редактора.

— Бог ты мой, какие страсти! — Антипов засмеялся.— Как же он вас напугал, бедных. А мне говорил другое: что это редкий, благороднейший человек, что ему надо помочь ради его замечательных добродетелей. Где же вы, гражданин Пряхин, говорите правду?

— Ты дурачишься,— сказала сестра,— а положение твое, по-моему, пиковое.

— Ни черта. Разберемся. Только без паники.

— Шура, не забывай, мать в институте на птичьих правах...

— Ну и что?

— Ничего. Просто не забывай.

— Видишь ли, если мать так часто играет ворону, то, разумеется, на птичьих... На каких же еще?

Сестра, махнув рукой, вышла из комнаты.

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь,— сказала мать ей вдогонку.— На работе ко мне относятся безукоризненно. Очень хорошо относятся. И вообще глупости. Но я прошу, Шура, в самом деле откажись от этого неприятного поручения. Отец Мирона тебя поймет. Ему можно объяснить.

— Не знаю,— сказал Антипов.— Не уверен.

И правда, объяснить Александру Григорьевичу оказалось невозможно. На всякий довод он тут же находил противодовод, вытаскивал его мгновенно, не задумываясь, как фокусник, будто все антиповские мысли лежали у него в одном кармане, а все ответы в другом. Выходило, что отказаться теперь немыслимо по многим причинам, и в первую очередь по причинам морального характера. Люди надеются и верят в его помощь, и, если теперь он уйдет в кусты, это будет удар. Одни сочтут это трусостью, другие увидят трагический знак того, что справедливость беззащитна. Когда же Антипов на полной откровенности признался в том, что боится испортить отношения с редактором, от которого зависит выход книги — а в книге вся его, Антипова, жизнь, все надежды, Александр Григорьевич должен это знать по своему сыну! — отец Мирона и тут, не раздумывая ни секунды, выхватил из кармана ответ: «Надо действовать в открытую — пойти к директору, объяснить обстоятельства и сказать, что в данной ситуации редактор не может быть объективен. Попросить другого редактора. Вот и вся механика».

Опять, как тогда в телефонном разговоре, Александр Григорьевич непостижимым образом взял верх и заставил Антипова покориться — тот не хотел быть ни трусом, ни подлецом, ни разрушителем надежд добрых людей. Но затем Александр Григорьевич допустил ляпсус: сказал, что Двойников обещал тысячу рублей. Антипов насторожился:

— Что-о? Тысячу рублей за страничку нехудожественного текста? Взятка, что ли?

Он засмеялся. Нет, не взятка, а гонорар. Антипов радостно мотал головой.

— О нет! Денег от Двойникова я брать не стану. И вообще это как-то...

Антипов шагал по тротуару, а Александр Григорьевич семенил рядом по проезжей части. Вид у Александра Григорьевича был удрученный, но семенил он довольно быстро, норовя удержать Антипова, схватить его за карман пальто.

— Постойте! Минутку!

— Александр Григорьевич, отпустите меня, ейбогу...

— Вы не знаете обстоятельств...

— Не хочу!

— Минуту! Стойте!

Ему удалось схватить Антипова за руку, повиснуть, остановить. Он хрипло дышал, в темных, косящих от волнения и гипертонии стариковских глазах под толстыми стеклами очков горела мольба.

— Шура! Дорогой мой! Я должен вам сказать...— задыхаясь, бормотал он, крепко вцепившись в руку Антипова, боясь, что тот вырвется и убежит.— Поверьте моим преклонным летам... Я врать не буду... Вот послушайте: Двойников Лев Степанович — во всех отношениях достойный человек! Больше ничего не скажу... Хотите — верьте, хотите — нет, очень достойный человек... Я знаю, что говорю... Отвечаю... Ему многие благодарны, но в тяжелую минуту одни не могут, другие не хотят...

— Зачем он нанимает подставных лиц?

— Во-первых, надо доказать. Ах, Шура, я повторяю, повторяю,— Александр Григорьевич с ожесточением кивал,— Двойников достойнейший человек! Когда-нибудь объясню конкретно. А сейчас вы вольны поступать как знаете. Хотите уйти? Пожалуйста, уходите. Будет инфаркт, но это неважно. Днем раньше, днем позже — какая разница... Время уже прошло. А вы свободны, Шура. Насиловать вас я, разумеется, не стану.

Он внезапно разжал руки и отпустил Антипова.

Вмиг у Антипова заныло сердце: стало жаль тяжело дышащего старичка, жаль неведомого, во всех отношениях достойного Двойникова, каких-то добрых людей, которые на что-то надеялись. Но уже решилось —

он дает стрекача. Нет времени этим заниматься. И нет никакой ясности.

У входа в метро он дал стрекача: Александр Григорьевич остался наверху, расстроенный и несчастный, а Антипов нырнул под землю. Он поехал в издательство, куда утром официальным звонком его вызвала Таня.

Он предполагал, что снова состоится разговор с редактором, но тот, как ни странно, отсутствовал; у Тани на столе лежал конверт с запиской и тремя страницами замечаний по тексту. Того, что мучило Антипова — и что, судя по всему, беспокоило Саясова,— в записке не было и следа. Сухо, делово: «А. Н.! Оставляю первую порцию постраничных замечаний, до стр. 80. К сожалению, должен срочно уйти и Вас не увижу. До встречи!»

Антипов сидел на стуле возле стола Тани и изнурял себя сомнениями: позвать в кино или нет? Подмывало позвать. Но он боялся отказа. Было похоже, что она немного обижена. Он обещал звонить, пропал, является только по делу. Но ведь она не знает! Он мог бы ей рассказать, а она могла бы кое-что разъяснить. Например: каков Саясов на самом деле? Хотя он испытывал облегчение оттого, что отказался, но было предчувствие, что тут еще не конец, вернее, Саясов этот конец не захочет признать концом. Не поднимая головы, Таня усердно выводила что-то крупным, детским почерком на листе разграфленной бумаги. Он видел тоненькую голую шею с шариком позвонка, опущенную в старании голову, золотистый пушок щеки, квадратный вырез платья на груди и какой-то намек, какой-то исток грани, разделявшей невидимое, скрытое, но доступное воображению. Когда она сидела, склонившись, намек был отчетливей; когда же выпрямилась, он исчез.

— Разобрались? — спросила Таня.

— В чем?

— В том, что вам оставили.

— Да, конечно.— Он помолчал, глядя на нее далеким, скучливым взглядом, каким и она смотрела на него.— А вот в другом не разобрался.

Таня вновь склонилась писать. Ей было неинтересно, в чем Антипов не разобрался. Нет, она не собиралась ничего разъяснять. Он вдруг и нелепо спросил:

— А что за человек Виктор Семенович?

Таня улыбнулась.

— Разве не видно?

— Нет. Что?

— По-моему, видно. Как на блюде.— Помолчав и глядя на Антипова твердо и холодно, сказала: — Человек очень хороший.

Взяв бумаги и продолжая улыбаться, вышла. Не возвращалась долго, и он вышел из комнаты в коридор, еще не зная, уйти совсем или подождать в коридоре. Там он мялся некоторое время, подпирая стену, курил, оглядывал проходящих — ни он не знал никого, ни его не знали, так что стоять бездельником было ему свободно,— заметил, что молодых немного, все больше чахлые, озабоченные, увидел маленького человека, который важно и медленно вышагивал, держа одну руку за спиной со сжатым кулачком, в ротике его торчала папироса. Он был одет в курточку цвета хаки, застегнутую на все пуговицы, вроде такой, какую носили директора оборонных заводов. Его бледное сморщенное лицо было высокомерно вскинуто, и хотя он был маленький, казалось, что на всех встречных поглядывает свысока. А встречные, как ни странно, поглядывали на него как бы снизу вверх. Вдруг из-за угла появилась Таня с кипой бумажек, вместе с нею спешили двое, все устремились вслед коротышке и, догнав его, окружив, загомонив наперебой, скрылись вдали за поворотом коридора. Антипов услышал высокий надтреснутый голос. Вскоре Таня вернулась, на ее лице горели пунцовые пятна, глаза победно сияли.

— Я подписала все ведомости для бухгалтерии! — сказала она, размахивая бумажками.— Уж думала, что его не поймаю. Ведь сегодня последний день.

— Кого вы ловили?

— Да Германа Ивановича!

— Кто это?

— Вы не знаете Германа Ивановича? Да это наш и. о. директора вот уже второй год, пока директор болеет. Ой, он такой вздорный! Мы его боимся.

— Саясов боится?

— Конечно, боится. Да его все боятся. У него семь пятниц на неделе.

— И этот росточек ничего?

— В смысле?

— Не мешает бояться?

— А мы не видим этого. Он для нас великан. Какой-то Полифем одноглазый. Нет, он странный: он мо-

жет быть добрым, сентиментальным, а может быть таким злым, просто ужас. Но от него все зависит. Наши авторы перед ним стелются. Вот сейчас, когда он проходил по коридору, вы поздоровались с ним?

— Нет.

— Это плохо. Запомнит.

— Ну да?

— Память совершенно потрясающая.

— Но он меня не знает.

— А он спросил: «Кто стоял возле вашей редакции в коридоре и курил?» Я сказала: «Молодой писатель Антипов». Он говорит: «Почему не предупреждаете авторов, что курить в коридоре нельзя?» Но я поняла, что дело не в том, что вы курили, а в том, что вы ему не понравились. Может, вы посмотрели на него как-нибудь косо.

— Нет, просто не заметил.

— Это тоже не годится. Надо замечать. Надо обращаться с ним как с мужиком, грубоватым, здоровенным, любителем выпить, поговорить о футболе, о женщинах. Наши авторы умасливают его анекдотами. Но я вас умоляю, Саша, не идите по этому пути!

— Не пойду.

— Я так рада, что подписала расчетные ведомсти! Люди смогут получить деньги послезавтра...

Он догадался, что обида, если и была, исчезла. Она вернулась в другом настроении: то ли радовалась удачному подписанию ведомостей, то ли тому, что он не ушел и ее дождался.

Провожая ее домой, он рассказал всю историю с Двойниковым и Саясовым. Почему-то сразу и безоглядно ей поверил. С какой стати? Поверил, и все. Он крепко прижимал ее, держа за локоть, к себе и нарочно шел медленно. Всю дорогу от Сущевской до Гоголевского бульвара прошли пешком. Она сказала: поддаваться на саясовский шантаж не надо. Он не столь могуществен, как можно подумать. Антипов не решился признаться, что уже отказался от дела, и в немалой степени под давлением Саясова. Почувствовал, что это ей не понравится. И для проверки осторожно предложил: «А что, если — ну его к черту? Отказаться от экспертизы вообще?» Последовала пауза, он уловил в чуть заметном движении локтя, что она слегка отдалилась. «Этим вы ему угодите». Он тоже помолчал и спросил: «Угождать не надо?» — «По-моему, — сказала она, — надо просто не

обращать внимания. И сделать так, как считаешь нужным по правде». Дома у Тани он ел яичницу с салом. Танин отец налил водки. Сказал, что у него язва и он лечится водкой. Он был невысокий, худой, с лохматой седой шевелюрой, очень говорливый, смешной, рассказывал о первых днях войны, и все что-то не страшное, а смешное, быстро сделался пьян, и Таня уложила его здесь же, в комнате, на диван спать. Старшая сестра Вика осталась с отцом, а Таня и Антипов пошли в маленькую соседнюю комнатку, где жили Таня и Вика. Он погасил свет, обнял Таню. И она обняла его. Стали целоваться, сначала стоя, потом сели на кровать, оба сняли очки, она шепнула «дай сюда!», положила обе пары куда-то в темноте, продолжали целоваться, обнялись удобнее, даже повалились боком на кровать, ноги их свисали с кровати, в соседней комнате ходила, громыхала стульями Вика, запело радио, его рука гладила выпуклое Танино бедро, что-то шелестело в пальцах, надо было отодвинуть, горячая, шелковистая нежность кожи, а на губах был вкус лесных орехов, вкус ее рта. Сестра свирепствовала за стеной. Не жалея отца, гремела посудой. Танина слабая рука стискивала его пальцы, не пускала дальше, Танины губы шептали вместе с поцелуем: «Не надо». Он понимал: не надо. Она девушка, он не должен, нельзя. Все разворачивалось головокружительно, ненужно, запретно, сладко, и сестра могла войти в любую минуту. Вдруг она освободилась от его объятий, села на кровати согнувшись — не видел в темноте, но догадывался, что сидит в привычной позе, согнувшись,— и дрожащим шепотом:

— Саша, не слушайте меня. Делайте, как он хочет. Он мстительный...

— Я не боюсь,— сказал Антипов.

— Он хуже всех.— Она помолчала.— Всех, кого я знала.

И вот в густоте ночи, в потрескивании, в мелькании по шкафу и потолку летучего света редких шуршащих внизу машин наступил — и оледенил — миг бреда, миг ужаса. Выбраться из-под навалившихся тел невозможно. Дышать нечем. Уйти нельзя. Потому что из темноты ударяет в лицо синий слепящий свет, это особая лампа, от нее струится жаркое одурманивающее излучение, выскочить из-под нее нельзя, синий свет обессиливает, лишает воли, убивает мигренью голову. Прожектор, откуда льется потоком синий свет, держит и направляет

кто-то невидимый. Скорее всего Саясов и с ним вроде бы Федька Пряхин. Антипов корчится в синем луче, как пойманный прожектором самолет. Надо вырваться — удрать, выпасть — из этого луча и спастись. Достаточно сделать маленькое движение, и можно выпрыгнуть из луча в блаженную темноту, но он забыл, какое движение. Забыл, забыл! Он не может спастись. Вдруг ясно видно, что за прожектором прячется не Саясов и не Федька, а сморщенная, чайного цвета мордочка с громадной папиросой во рту. Трещащим голосом мордочка говорит: «Нет, Антипов, вам курить в коридоре нельзя, а мне можно. Вам нельзя». Что же мне делать? «Я не знаю. Курить вам нельзя, а бросить папиросу я тоже не разрешаю». И — никак, ни за что, никакими силами. Антипов хочет отряхнуться от сна, от ужаса, сбросить мертвящую синеву. Отряхнуться не получается. Он сел на постели и с бьющимся сердцем смотрел в окно — в черноте горел синий сверкающий диск луны.

Утром часов в десять позвонил Саясов и спросил — опять еле слышно,— получил ли Антипов пакет и успел ли посмотреть замечания. Антипов сказал, что получил и посмотрел. В трубке что-то невнятно свиристело, Антипов раздражался, не мог понять, уловил только вопросительный конец фразы: все понятно? Ответил наугад: понятно, понятно! Много ли потребуется времени! Наверно, дня четыре. Очень хорошо. Опять шепот, свиристение, невнятица, и выплыла фраза: слушание дела отложилось. Антипов знает? На две недели. Нет, Антипов не знает, но он принял решение: отказаться и не участвовать. Громко крикнул: к сожалению, нет времени!

После молчания голос в трубке разборчиво сказал:

— Честно признаться, Александр Николаевич, меня это не слишком устраивает.

— Почему? — удивился Антипов.

— Мне неприятно. По разным соображениям. Нет, Александр Николаевич, дорогой, мне решительно это не нравится. Выходит, я вас припер и вы отказались? Нет, нет, вы извините, но вашей жертвы я не приму.

— О какой жертве вы говорите?..— пробормотал Антипов.

— Припирать вас никто не хотел, так что вы напрасно, как говорят в народе,— тут голос его совсем

окреп,— вспопашились! Александр Николаевич, зачем вы вспопашились-то? Тем более вопрос ясный, недвусмысленный, не надо ничего осложнять. Я вас прошу, не вспопашивайтесь. И зайдите ко мне, если можно, сегодня, я вас прошу. Поговорим о рукописи. Зайдете?

Тетка Маргарита приглашала на обед на два часа. Антипов подумал, к пяти успеет в издательство. Сказал, что зайдет к концу дня. Тетка перепечатывала последний вариант повести, и, так как работа была большая, он твердо решил на сей раз с теткой рассчитаться — все прежние перепечатки она делала gratis и скандалила, когда пытались вручить ей деньги,— тут и мать помогла и совместными усилиями заставили ее покориться и взять подарок. Антипов продал книги, выручил за них четыреста пятьдесят, а сестра купила на эти деньги тюль на занавески, от чего тетка уж не могла отказаться. Вся эта суматоха была в декабре, с тех пор Антипов тетку не видел. Он любил у нее бывать, любил слушать ее рассказы, да и кормила она вкусно, но где взять время на все? Тетка предупредила, что на обеде никого не будет, кроме какой-то приятельницы. Антипову нравились и теткины приятельницы, в большинстве интеллигентные, хорошо воспитанные и плохо устроенные дамы старше среднего возраста. Одна Татьяна Робертовна чего стоила! Сколько интересного она знала о двадцатых и тридцатых годах! Антипов с радостью думал, что у тетки он хоть на два часа забудет об этой мороке: Двойников, Саясов, Александр Григорьевич в инфаркте, книга под топором...

Приятельница тетки оказалась не старой, красиво нарумяненной, гладко-пего-черноволосой, с большим узлом на затылке, в тесном платье, которое подчеркивало еще далеко не разрушенные округлости, на шее было гранатовое ожерелье, в тонких пальцах держала длинную тонкую сигарету, но глаза у приятельницы были старушечьи. Когда Антипов пришел, дамы сидели за столом и курили, и тетка Маргарита, продолжая прерванный разговор, произнесла:

— А Леву Двойникова я хорошо помню. Он был женат первым браком на Женечке Гарт?

— Нет, ты путаешь,— сказала приятельница.— Женя Гарт была замужем за Левиным братом Павлом...

— Боже, он был такой талантливый!

— Лева, надо сказать, был совершенно безупречен

в отношении Павла,— сказала приятельница.— Всегда помогал как мог...

Женщины разговаривали, а Антипов сидел оглушенный.

Во время обеда открылось: все устроено для того, чтобы познакомить его, Антипова, с теткиной приятельницей Марией Васильевной Самодуровой, женою, а теперь уже, вероятно, вдовою Юрия Николаевича Самодурова, журналиста и критика, пропавшего на войне. Главная теткина дружба была с этим Юрием Николаевичем. Остальных она знала меньше. Юрий Николаевич работал в издательстве, где сейчас все стряслось. Он писал брошюрки о русских классиках. Все люди вокруг Юрия Николаевича были замечательные, и Лева Двойников был замечательный. Другого такого бескорыстного человека, как Лева, не сыскать в целой Москве. Он помогал людям. Взять хотя бы Марию Васильевну: только благодаря Леве она сумела воспитать дочь, кормить мать. Но всегда должен найтись такой, который завидует бескорыстному человеку, ненавидит его и в ненависти ищет свою корысть. Потому что, имейте в виду, ненависть всегда небескорыстна.

Антипов устал, как от тяжелой работы. Устал слушать, соображать и думать, как поступить. Он сказал: все кончено, тетя Рита, вы опоздали с фрикадельками, с телячьими котлетами, с макаронами, посыпанными тертым сыром, с компотом из сухофруктов и душистым печеньем к чаю, пахнущим корицей, которое неслыханно хорошо умеют печь в этом доме. Опоздали, потому что все. Он сдался. Он отвалил. Он бросил Леву на произвол судьбы.

— Как сдался? — воскликнула тетка, и ее лицо стало вытягиваться, сохнуть и твердеть на глазах.— Как можно бросить человека на произвол?

— Можно, можно! — махал рукою Антипов.— Потому что книга под ножом гильотины. Малейшее движение, и нож летит вниз, и нет головы. У книги, разумеется. А потом, может, и у меня...

— Как? — изумилась Мария Васильевна.— Вы не скажете хотя бы, что Лев Степанович не плагиатор?

— Нет! Не скажу! Не могу! Хотя бы! Ваш Лев Степанович — подставное лицо! — кричал Антипов, придя в странное опьянение от компота. Он вскочил, бегал по комнате, отшвыривал по дороге стулья, ударил ногой кота, потом стал дергать балконную дверь, она

была заклеена и заложена тряпками, с силою все это разодрал, открыл дверь и вышел на балкон. Старая Москва дымилась внизу синими крышами. Сырой воздух окатил Антипова до костей, он задрожал вдруг и вернулся, дрожа, в комнату.

Тетя Маргарита взяла его за руку и сказала тихо:

— Ну садись, будем пить чай.

Пили чай до одиннадцати вечера. Антипов забыл, что обещал прийти в издательство.

— Я ждал вчера до семи. Ведь мы условились. Сандр Николаич, вы поступаете маловысокохудожественно, ну бог с вами, я прощаю, были причины, разумеется, вижу по вашему лицу. Хорошо, забудем. Я пригласил вас единственно вот зачем: чтобы сообщить пренеприятное известие! Дело Двойникова выходит за рамки уголовного. Выясняется, он не просто рвач и стяжатель, который использовал служебное положение, но он покровитель лиц сомнительной репутации. Делом Двойникова будут заниматься другие. Вот и все, что я вам имел сообщить, дорогой друг.

И стянулись концы мертвым узлом — сначала слегка, потом потуже, потом еще туже, потом крепче уж некуда, нерасторжимо. Затевалось невинное за чаем с карамельками в доме Мирона, а теперь до того каменно и роково, что только плюнуть остается и рукой махнуть! Понял Антипов, что как он выступит на суде, так и с книгой получится. Не с книгой — с судьбой. И оттого, что отступать некуда, и жалеть не о чем, и трусить не к лицу, понял он, что выход один — узнать правду. И он ее узнает. И была она вот какая: Двойников и верно норовил подзаработать за чужой счет, но он же и помогал людям щедро. Как же соединялось это в одном человеке? Да вот соединялось как-то! Все в нем было. Для своей выгоды использовал чужие статейки, и он же давал работу людям, оказавшимся сейчас в трудном положении. Одинаково горячо любил свою жену, больную женщину, и гладко-пего-черную с пучком Марию Васильевну Самодурову, которая стала хозяйкой издательства. Был и смельчак, и трус — на войне заслужил ордена за храбрость, а дома боялся дочери, которая его временами била. Был и старик, и юноша — му-

чился от любви и мучился от старческих недугов, от болезней сердца.

Как же было Двойникова — в каждой молекуле расщепленного пополам — слить воедино? На суде нельзя: чтоб ни туда ни сюда. Там ничьих не бывает. Еще до того как Антипов увидел на суде согбенного, желтолицего, с когда-то внушительными, напомаженными, а ныне жалкими залысинами старика, который, проходя мимо жены, сидевшей в первом ряду, улыбнулся кротко, виновато, еще до того как увидел жалобщика Саясова, у которого автоматически ходили скулы и двигался сам собою кадык, а глаза были братнины, тесно посаженные, еще до всего Антипов решил, что если поставить гирьки на обе чаши, то гирька великодушие будет самая редкостная и удельный вес ее будет так тяжел, что она перетянет. Великодушие всегда риск, и та половина Двойникова, которая способна на риск, есть главная. Тут, подумал Антипов, скрыто запакованное тайное ядро. И Антипов подал голос в защиту той половины Двойникова...

Он заявил, что плагиата как такового не видит. Старший Саясов двигал скулами. Его брат, каменея лицом, смотрел на Антипова из глубины переполненного зала мелкими немигающими глазками, а потом неотрывно уставился в окно. Книжка Антипова выпала из плана. Автору предстояла серьезная переработка. Это значило: все рухнуло надолго. Мирон его ругал. Федька Пряхин прибежал в гневе и кричал, что он ему «этого никогда не простит» и что «между ними теперь война», в подтверждение чего забрал все свои книги, которые давал читать и раньше не спрашивал месяцами. Федька разъярился как-то чересчур. Мать и сестра тоже сердились, корили Антипова за то, что он их не послушал, а узнав, что тетка Маргарита принимала в деле участие, поссорились и с нею и на некоторое время прервали отношения. Александр Григорьевич был, наверно, Антипову благодарен, но это было совсем не заметно. Он вручил ему законный гонорар, пятьсот рублей за самомучительство в течение трех недель, затем вынул конверт. «А это обещанное Львом Степановичем». Антипов махнул рукою, чтобы конверт исчез. Александр Григорьевич, пожав плечами, положил конверт в карман. Ни Двойникова, ни Самодурову, ни старшего Саясова с автоматическими скулами Антипов никогда больше не видел и ничего не слышал о них. И ему показалось,

что вся эта история представляла интерес лишь для одного человека — для него самого.

Но ночью в начале марта, когда вдруг пал мороз и в квартире Таниной подруги, уехавшей куда-то на кулички, плохо работало отопление, горел газ на кухне, включили электроплитку, согрелись, потом лежали не двигаясь, сомлев от жары и усталости, Таня вдруг заплакала и сказала:

— Если бы не эта сволочь, мы бы никогда с тобой...

— Если бы не что? — спросил Антипов.

— Я тебя полюбила в тот день, когда ты послал его к черту. Ведь ты знал, что будет? Знал же?

Они согревали друг друга холодными ночами весь март и половину апреля, пока подруга находилась на куличках. В апреле Антипов взял командировку от толстого журнала, где теперь работал в отделе публицистики Толя Квашнин, он и устроил командировку, и уехал на Волгу писать очерк о стройке Куйбышевской ГЭС. Жить было совершенно не на что. Не мог же он сидеть трутнем на шее у матери и сестры. Надежд на издательство не осталось, особенно после того, что он учинил в подвале перед гардеробом. Накануне Таня призналась — да, было. Однажды. Тот долго ухаживал, приглашал туда-сюда, осаждал месяца три, потом она сдалась, потому что грозил и отцу сделать неприятность. Ведь она скрывала, что был в плену. Было однажды. И после того как отрезало, он перестал приставать. Для нее это была казнь, для него какой-то спортивный рекорд. Она рассказывала тихим голосом, вяло, безжизненно и смотрела на Антипова скучными глазами, как чужая. Он выбежал из комнаты. Когда вернулся, она стояла одетая, с сумкой в руках, спросила спокойно: «Я пойду?» — «Куда?» Он толкнул ее так сильно, что она упала на кровать. Лежала не двигаясь, лицо в одеяло. Зачем он начал, идиот? Он прибежал не в себе. Потому что один тип оглушил его: «Вы говорите про Таню? Про секретаря редакции? Да ведь она саясовская баба». Он, еле сдерживаясь, произнес: «Она его ненавидит».— «Мой милый,— сказал тип,— можно ненавидеть и спать». В подвале, где помещался гардероб, Антипов сидел в жестком деревянном кресле часа два, пока не увидел Саясова, тот спускался в столовую. С ним шли двое, мужчина и женщина. А следом за

ними спускался по лестнице Борис Георгиевич Киянов, но Антипов хотя и видел его, но как бы не видел. Саясов же, заметив Антипова, догадался сразу, побледнел и остановился на нижней ступени лестницы. Мужчина и женщина прошли дальше к прилавку гардероба. Антипов подошел к Саясову, взял его за галстук и дернул книзу. Саясов как-то застыл, не сопротивляясь, глаза его сошлись на переносице. «Ты знаешь, сукин сын,— сказал Антипов,— за что и почему». Он опять дернул за галстук и успел дважды сильно ударить по мотавшейся голове ребром ладони, но вдруг почувствовал крушащий удар в лицо, хрустнула оправа, звякнули стекла. Вокруг кричали, дрыгали руками, ногами, выбежал гардеробщик, вопила женщина, Антипов отталкивал всех, хотел нагнуться, найти стекла. Потом брел слепо по солнечной, в весеннем зное улице, натыкался на прохожих и улыбаясь бормотал: «Извините...»

Борис Георгиевич догнал Антипова на Новослободской, недалеко от метро. Сцена, которую он наблюдал в гардеробной, ошеломила его, но не очень. Он привык к тому, что многие теперешние молодые — люди со странностями и часто полагают, что сила таланта должна подтверждаться кулаками. Такие ухари бывали и в двадцатые годы. Но Антипов? От любого другого Борис Георгиевич мог бы ожидать подобных эскапад, но не от Антипова. Он и драться-то путем не умел. И белобрысый тоже оказался не боец. Антипова сшиб с ног какой-то третий, подскочивший сзади, хотел бить еще, и какая-то женщина, размахивая портфелем, кричала: «Бейте его! Это хулиган!» Борис Георгиевич насилу их унял и отговорил вызывать милицию. Догнав Антипова, который шел пошатываясь и что-то бормоча, Борис Георгиевич тронул его за плечо и спросил:

— Антипов, какая муха вас укусила?

Антипов повернул измученное слепое лицо и улыбнулся.

— О, Борис Георгиевич! Видели этот бред?

— Что это значит? И кто этот господин, на кого вы набросились?

— Ах...— Антипов махнул рукой.— Долго рассказывать... Они выкинули мою рукопись из плана.

Борис Георгиевич думал: ну вот, я так и знал, выкинули рукопись, значит, надо бить по мордасам. Все хотят взять силой. Недаром старик Тростянецкий жаловался — они все нахалы. Сидел, говорит, в приемной,

ждал редактора, а ваш ученик Антипов проходит без очереди. Но все же его жаль. Он не без способностей. И драться не умеет. По-видимому, дошел до края.

И, вновь тронув Антипова за плечо, сказал:

— Послушайте, Антипов, принесите мне вашу рукопись. Посмотрим, может быть, что-нибудь...

Никаких средств для жизни в ближайшее время у Антипова не предвиделось, поэтому он взял командировку, получил командировочные и уехал. По дороге на вокзал заехал на Большую Бронную и отдал Киянову папку с повестью.

Вечереющим днем Антипов сидел на откосе, смотрел на реку, на отлогий противоположный берег с желтой каймой песка, на свинцово-голубой простор, разделенный тенью от крутояра пополам — дальняя сторона голубая, а ближняя — темный свинец,— и слушал ленивую речь Лукичева, пожилого, сохлого и больного на вид мужика, чей домик стоял поблизости, на яру. В домике было темно, сыро, поэтому Антипов вышел на солнцепек, сел на траву, а Лукичев лег рядом. Громада ясного и бездонного голубого воздуха окружала Антипова. Ему хотелось слушать, думать, вспоминать, забыться. От домика вела к реке деревянная, грубо сколоченная лестница, внизу чернели две лодки. Рядом с Лукичевым сидел на корточках пастушонок с веревкой через плечо, на веревке болталось ведерко с дымящимся коровьим дерьмом — от мошки или, как ее тут называли, вохры. Лукичев говорил: «Нынешний год вам повезло, гада мало... Мошки этой, комара, одним словом, насекомца...» А рассказ был такой:

— Я тоже в Москве побывал в тридцать третьем годе... Свиней привез по железной дороге. Загнали меня в Сызрани в тупик, трое суток стоял. Потом один парень научил: сходи, говорит, к беспетчеру, скажи, дескать, корм кончился, свинья свинью ест... Так я и сделал... Пришел... Пришел к беспетчеру, говорю: я тут с живностью, корм кончился, одна другую ест... Через двадцать четыре часа, говорит, немедленно отправить! Так и доехал до Москвы.

Лукичев был бакенщик. А раньше работал директором совхоза. Почему так вышло и он из директоров стал бакенщиком, Антипову было не совсем ясно, но и спрашивать не хотелось. Мысли его были в Москве,

которую он покинул неделю назад и вернуться куда должен был не скоро. Вдруг он понял, что смертельно влюблен и что все дальнейшее путешествие будет мукой.

КОНЕЦ ЗИМЫ НА ТРУБНОЙ

Лет сто сорок назад, после пожара Москвы, этот дом, криво поставленный на излуке Рождественского бульвара, был выстроен неким Савичевым, человеком богатым и таинственным, который устроил тут какую-то закрытую ложу и нечто вроде гостиницы для членов ложи, приезжавших из далеких поместий и даже из Европы, в середине века наследники продали дом князю Урусьеву, пожелавшему превратить его в доходное здание, для чего был воздвигнут третий этаж в виде мелких комнаток, сдававшихся внаем, но дело почему-то не оправдалось, князь Урусьев оказался игрок, дом был проигран, пошел с молотка, затем лет тридцать гулял из рук в руки, пока не попал во владение к московскому негоцианту Сургутову, который переделал его на свой лад — в нижнем этаже устроил конторы, второй предоставил под квартиры солидным людям, стряпчим, коммерсантам, а третий сдавал людям попроще, но тоже не шушере. И вот в начале века в одной из квартир наверху поселился Веретенников, управляющий завода гирь и весов, заняв с большой семьей восемь комнат. До девятнадцатого года Веретенниковы жили хотя и в ужасных тревогах, но без помех, потому что сам хозяин остался на заводе кладовщиком и новая власть смотрела на него терпеливо. Только произвела, разумеется, уплотнение и забрала из восьми комнат шесть. Однако в конце девятнадцатого, не вынеся голода и еще худшего уплотнения, чем грозил сосед товарищ Ираклиев, Веретенников собрался единым духом и отбыл с домочадцами неведомо куда, скорее всего на юг. Изо всей семьи осталась в доме одна Полина, дочь Веретенникова, больная ногами, и с нею вместе старушка Фелицата, чуть живая, ее ветром качало, а все же прожила с тех пор еще двадцать с лишним лет, померла в войну. Им оставили крайнюю комнату с крохотным балкончиком, на котором прежде стоял вазон, и теперь Полина сидела часами и гля-

дела вниз, на бульвар. И радовалась тому, что балкончик такой махонький, уютный, как футлярчик для драгоценностей, а драгоценностью в нем кресло. Был бы он больше, радовалась Полина, его бы непременно Ираклиевы уплотнили, пробили бы дверь в стене, не пожалели и половину бы уплотнили. А так уж это ее, веретенниковское, до самой смерти. Когда Антипов два года назад въехал сюда вместе с Таней и трехмесячным Степкой, он увидел рыхлую громадную старуху с багровым лицом, сидевшую в шубе и в мужской шапке-ушанке на балконе, и услышал: «Бабка Веретенникова гуляет».

На бульваре плешинами белел снег, деревья темнели сиво, голо, и по черному асфальту, по трамвайному пути и по середине бульвара бежали к Трубной площади люди. Зима кончалась, воздух был ледяной. И ледяной ветер гнал людей к Трубной. Говорили, что в Дом Союзов будут пускать с двух, но люди тянулись уже теперь. Антипов, наверное, побежал бы со всеми, то, что случилось, волновало его страшно, ледяная стынь пробирала до дрожи, но он не мог отойти от дома, ждал Ивана Владимировича, доктора, и от нетерпения вышел на улицу. Боялся, что Иван Владимирович заплутает, не найдет дом, а сутолока на улицах такова, что старик мог и вовсе не добраться сюда из Замоскворечья, где находилась больница. Центр, говорили, закрыт, в метро не пускают, ехать он мог только через Павелецкий и Таганку. Антипов еще надеялся утром, что удастся взять такси и, отвезя Степку к бабушке, то есть к матери, что сделать необходимо, он заедет в больницу и заберет Ивана Владимировича, но такси пропали, трамвай по бульварному кольцу не ходил, пришлось бежать со Степкой на руках до Сретенки, оттуда на Покровку, где жила мать, и ровно к половине одиннадцатого, как договаривались, задыхаясь, едва не валясь с ног, страшась, что опоздал, Антипов примчался домой, однако не опоздал. Доктора не было и теперь, спустя два часа.

Антипов стоял на обледенелом тротуаре, слушал говор людей, шедших быстрым шагом группами и поодиночке к Трубной — некоторые шли шеренгами, взявшись за руки, лица одних были скорбны, значительны, даже торжественны, другие были заплаканы, третьи мрачны, иные громко разговаривали, на них шикали, мальчишки шныряли в толпе, во всех чувствовалось то,

что испытывал Антипов, какое-то полубезумие,— и думал о том, что люди, которые будут жить через сто лет, никогда не поймут нашей душевной дрожи в тот ледяной март и того, что в такой день можно нервничать из-за такси, из-за того, что доктор опоздывает, сын капризничает, мать спрашивает подозрительно: «С чего это взялись натирать полы?»

Антипов крикнул старухе Веретенниковой, чтобы она, если увидит высокого старика в длинном черном пальто, показала бы, как пройти в дом, ворота заколочены, надо обходить соседним двором; все это Антипов накануне разъяснил по телефону, но доктор был рассеян. Веретенникова кивнула квадратной, как у медведя, в черном кожаном треухе башкой. Она разговаривала редко, все больше кивала, мотала головой или же смотрела сурово, неодобрительно. Антипов побежал наверх. Его беспокоила Таня, он знал, что она держится из последних сил, нет ничего хуже ожидания, тем более ожидания мук, а Таня — человек не храбрый. Так и есть, лежала бледная, левую руку положив на сердце, всем видом вызывая жалость и сочувствие, смотрела остановившимся взглядом в потолок. И когда Антипов влетел, не изменила позы, не отвела взгляда от потолка. Нет, никто не звонил. Какая-то катастрофа, что делать? Больница не отвечает.

— Дай, пожалуйста, сердечное. Накапай двадцать пять капель,— сказала слабым ровным голосом.

Он накапал и дал. Рука Тани была холодная. Антипов трепетал от сострадания, сжал ее пальцы, сказал как можно более ласково и спокойно:

— Танюша, давай еще раз... А вдруг не надо? А? Я смотреть на тебя не могу.

— Надо,— сказала еле слышно и закрыла глаза.

В коридоре отдаленно топали, стукали дверью. Раздались рыдания. Антипов вышел в коридор. Кто-то рыдал на кухне. Было не так уж интересно знать, кто рыдает, но Антипов не мог ничем себя занять, томился, решил ждать еще полчаса и поплелся на кухню. Рыдали две женщины: Анна Артемовна, жена Варганова, горбила громоздкую спину возле окна, жирные плечи сотрясались, рыдание получалось грубое, хриплое, как у мужика, при этом Анна Артемовна бормотала невнятное, а Бэлла, жена Ираклиева, вертела в мясорубке мясо, крошила туда хлеб и при этом тоже рыдала, но как-то задушенно, кусая губы. Слезы текли по щекам

Бэллы. Женщины рыдали каждая сама по себе, повернувшись спинами и даже как бы не замечая друг друга. Антипов потоптался на кухне, торкнулся зачем-то в шкаф, в другой, наполнил водою чайник и поставил его на газ. Обе женщины были мало симпатичны ему, поэтому не стал с ними заговаривать. Была бы тут Зоя Тихомолова или Тонечка, приходившие к бабке Веретенниковой, был бы даже Сенька Ираклиев, он бы непременно заговорил, но эти две не располагали. Особенно Анна Артемовна с ее вечно щупающим, остреньким, каким-то промышленным взглядом из-за под вислых бровей. Брови у нее, как и голос, мужские. Женщина с таким басом должна быть грубоватой, откровенной, простецкой, а эта ядовита, льстива, постоянно чем-нибудь промышляет, где что плохо лежит... Антипов и Таня снимали комнату у Таниной тетки Ксении Васильевны, овдовевшей несколько лет назад, тетка отдала им дальнюю комнату, в конце коридора, сама осталась в соседней, где часто принимала гостей: подруг гимназических лет, стареньких преподавательниц, унылых вдовиц; чаще других приходила в гости, даже жила неделями Екатерина Гурьевна, женщина лет пятидесяти, настрадавшаяся в жизни, потерявшая мужа, сына и квартиру в Москве, скитавшаяся по домам, живя где чужой добротой, где своим трудом, ибо была портниха. Эта Екатерина Гурьевна Антипову нравилась: замечательно умела рассказывать о своих скитаниях и как-то странно, без горечи, без нытья, даже весело, то вспоминала шутки, то хороших людей, а люди ей попадались непременно хорошие, редко про кого скажет кратко, с неудовольствием: «Это был тип». Или: «Это была плохая женщина». И не хочет о таких распространяться. Человек она была полезный: то шила, латала, перелицовывала что-нибудь, а то и в магазин сходит, и суп сварит. Знакомые Ксении Васильевны давали ей заказы на шитье с радостью — брала она недорого. Только Таня и Ксения Васильевна не решались ни о чем попросить, потому что знали: Екатерина Гурьевна не возьмет ни копейки. Но она сама им делала, без просьб. Жизнь у Екатерины Гурьевны получалась несладкая: прописки московской нет, чуть что — собирай манатки и сматывайся от одних добрых людей к другим. Разговоры с участковым — приятного мало.

И вот Анна Артемовна, щука толстозадая, догадалась про Екатерину Гурьевну и коварным способом

дала понять: заказала ей халат из какой-то линялой, столетней давности байки; Екатерине Гурьевне не хотелось для этой бабищи шить, она тянула, отлынивала, но Ксения Васильевна, подумавши, рассудила здраво: «Надо, Гурьевна! Никуда не денешься». Екатерина Гурьевна возилась с халатом недели две — то примерки, то переделки, наконец отдала, и вечером приготовились пить чай с тортом, с бутылкой кагора, как обычно бывало, когда заказчики расплачивались и Екатерина Гурьевна угощала всех ужином. На этот раз Екатерина Гурьевна пришла без торта, без кагора и, улыбаясь смущенно, сообщила: «Сегодня, дорогие, я без гостинцев. Вот какие-то карамельки подвернулись. Говорят, хорошие, сливочные». И высыпала из бумажного кулька карамельки на блюдце. Спрашивать не стали, сама потом рассказала. Варганова надела халат, покрасовалась перед зеркалом, сказала: «Благодарю, милая. Сейчас хорошо»,— и все. Когда Екатерина Гурьевна заикнулась про деньги, та сказала, наставив на Екатерину Гурьевну палец: «Запомните, не я вам должна платить, а вы мне. Понимаете, милая?» Антипов, услыхав, пришел в такую ярость, что кинулся на кухню, но Таня бросилась вдогонку, повисла на нем, увела от греха. Екатерина Гурьевна и тетя Ксеня всполошились: не надо, мол, шума, скандала, плюнуть на это дело и забыть, с плохими людьми не связывайся, а у Екатерины Гурьевны и вообще-то привычка — Антипов заметил то же у матери — не противиться, а смиряться. Рукой махнут и промолчат там, где он станет кипятиться. И, может быть, правы. Однако смиряться в квартире делалось все труднее — Варганова потребовала, чтоб Екатерина Гурьевна сшила ей блузку, потом чтоб переменила подкладку на старой шубе, потом вовсе обнаглела — принесла мужнину трикотажную пижаму, нуждавшуюся в штопке, и Екатерина Гурьевна покорно исполняла заказы, но делала это теперь втайне, главным образом втайне от Антипова. Он все же узнал — варгановская пижама выдала, этот червячок с землистым личиком бегал в ней по коридору каждое утро,— и тут Антипов не вынес, подкараулил Варганову в коридоде, затолкал в ванную и, закрывши дверь, сказал: «Если не перестанете эксплуатировать Екатерину Гурьевну... Я предупреждаю... Здесь же, в этой ванной...» Разумеется, глупость — что в ванной? Топить ее, что ли? Анна Артемовна перепугалась смертельно, базедовические глаза

едва не вывалились, рот раскрылся, дар речи пропал. Антипов оставил ее и тут же ушел, уверенный, что, когда вернется, его будет ждать милиция, повестка к прокурору или в суд, однако вернулся в тихую, благостную квартиру. Екатерине Гурьевне больше не давали заказов, но вряд ли она была этим довольна — прежде чувствовала себя гораздо спокойней! Антипов торжествовал, а Екатерина Гурьевна как-то призналась: «Знаете, Шура, шут бы с ней, я бы ей тряпки шила, лишь бы не иметь ее врагом. Я к вам сейчас ходить боюсь...» И правда стала приходить реже, а ночевать совсем избегала. Зато Анна Артемовна и землистый червячок, прежде мало замечавшие Антипова или, может быть, сторонившиеся его, теперь смотрели на него с опаской и некоторым недоумением. Они, видно, никак не могли уразуметь, что Антипов за птица: вроде он и писатель, и, как говорила одна соседка, известный, но площади своей не имел, снимал жалкую комнатенку в их клоповнике, хотя, если бы настоящий писатель, должен бы иметь квартиру; иногда за ним присылали машину и увозили куда-то на выступления или вызывали по телефону из важных редакций и учреждений, а то приплетался под дождем пешкодралом, как бродяга, и по неделям сидел безвылазно, никому не нужный; то Татьяна жарила утку, пила чай с тортом из кулинарии «Националь», а то пустой бульончик да картошка на подсолнечном масле. И еще — то разговаривал как образованный, употреблял научные слова и поминутно «извините», «разрешите», а то ругался по телефону грубо и, если был выпивши, мог нахулиганничать. Словом, человек путаный, и лучше от него быть подальше. Поэтому Антипова удивило то, что Анна Артемовна, вдруг перестав рыдать, обернулась и спросила твердым голосом:

— А вы что здесь делаете, молодой человек?

— Вас это не касается, — ответил он ненаходчиво и вышел из кухни. Вышел оттого, что устыдился ненаходчивости. Обуревали другие заботы. Было ощущение, будто все летит куда-то. И виною не только отсутствие доктора, несчастный случай, бог знает что, но и грозный шум за окнами, тысячеголосый рокот: там что-то дыбилось, корчилось, сползало куда-то, как ледник, обнажая камни, голую почву.

Две женщины, тетя Ксеня и Екатерина Гурьевна, сидели в комнате, объятые страхом. Антипов ощутил

это безошибочно. Екатерина Гурьевна штопала, тетя Ксения раскладывала пасьянс, обе молчали, но по согнутым спинам, подавленным лицам, по тому, как они посмотрели на него, он почувствовал всей кожей — как чувствуют холод — присутствие страха в комнате. Да, он был повсюду — на улицах, в воздухе. Один только Николай Ефимович, Танин отец, пришел вчера тепленький, под мухой, голубые глаза блестели, и все что-то подмигивал, шептал неслышно с лукавым видом. Женщины смотрели на него неодобрительно. Теперь они не спросили про доктора, хотя знали, что Таня и Антипов ждут. И знали зачем. Это обсуждалось долго, тетю Ксеню не хотели подводить, пытались найти другое место, не находилось; тогда, поборов страх и выказав немалое благородство, тетя Ксеня сама стала уговаривать остановиться на ее квартире и уговорила. Да ничего иного не оставалось. Все иное было хуже.

Доктор Иван Владимирович был сед, космат, громаден ростом, держался прямо, двигался медленно, чем-то напоминал чучело, но не страшное, а смешное, лицо было красное, будто с мороза, большой рот всегда улыбался, глаза в темных впадинах как бы налиты водой, но видел он хорошо. И всем говорил «деточка». Антипов знал его давно, Иван Владимирович был дружен с отцом, они происходили из одной деревни. Когда отца не стало, Иван Владимирович не оставил семью Антиповых, помогал чем был в силах, потом вышла разлука лет на шесть: Иван Владимирович работал хирургом во фронтовых госпиталях и после войны еще долго оставался военным врачом.

Антипова поражали два качества Ивана Владимировича: его постоянная улыбчивость и способность напевать, вернее, мурлыкать в самые роковые минуты жизни. Никогда не забыть: наутро, после того как попрощались тогда с мамой, он позвонил, ничего не подозревая, по голосу сестры все понял и немедленно приехал. И сразу в коридоре, еще не сняв галош и своего долгополого черного пальто с мерлушковым воротником — он и сейчас в нем,— напевая что-то, сказал, что, если Антипов и сестра хотят, он их усыновит. Но Антипов и сестра тогда мало что понимали и ничего не хотели.

Вот и теперь, качаясь в дверях громадною черною башней, в мерлушковой шапке, улыбаясь и мурлыча, он медленно объяснял, какими путями пробирался сюда

из Замоскворечья, как его везли на военном грузовике, на Солянке одной женщине стало дурно, он принял участие, внесли в дом, оказалось: на пятом месяце...

— Я говорю: деточка, вы в своем уме? Можно ли в вашем положении? А она говорит: дедушка, я про себя вообще забыла, целиком и полностью. Я как чумовая от горя сделалась. Да, Шурочка, народ у нас замечательный, бескорыстный, все, как дети, на улицу высыпали, плачут...— И без перехода: — А я материалы подготовил, документы нашел, свои старые дневники, тетради университетские, так что за тобой дело, Шурочка. Насчет журнала «Огонек». Я в любой момент готов.

Старик давно уже намекал — не то что намекал, а робко и простодушно настаивал,— чтобы написать про него очерк в какой-нибудь журнал. Антипов однажды, когда Иван Владимирович был в гостях у матери, пообещал сглупу, да не находилось времени. И охоты, конечно. Он уже и договорился с приятелем из «Огонька», что-нибудь вроде «Верный страж здоровья» или «Сорок лет для блага людей», но постоянно откладывал. Антипов все еще оставался не профессионалом, а любителем, то есть умел писать только то, что было ему интересно. Все прочее требовало неимоверных усилий. И теперь он испытывал стыд и мысленно давал себе клятву: в ближайшее же время непременно, обязательно, черт бы меня побрал...

— Помню,— сказал он.— Сделаем, Иван Владимирович.

Таня держалась изо всех сил. Она улыбалась Ивану Владимировичу, предлагала ему чаю, что было ни к чему. Иван Владимирович, бормоча сквозь мурлыканье: «Нет, деточка, после, после...» — вынимал из чемоданчика инструменты и раскладывал на столе. Улыбка не сходила с его красногубого громадного рта. Инструменты выглядели заурядно, но именно в заурядности, в какой-то домашней обыкновенности заключался ужас. Антипов чувствовал, как его охватывает дрожь. Он не мог заставить себя взглянуть на Таню. Взял ее руку и сжал. Она ответила легким пожатием и шепотом: «Не волнуйся!» Никогда прежде он не испытывал такой силы любви, как в секунды, когда услышал звон стальных ножей, увидел крупные узловатые пальцы, которые перебирали ножи бережно и спокойно. Как-то чересчур бережно и слишком спокойно. Иван Влади-

мирович продолжал мурлыкать. И мурлыканье делалось невыносимым. Хотелось сказать: «Иван Владимирович, да перестаньте же петь, бога ради!» Если мука для него, то каково же Тане? Покорно делал все, о чем просили, побежал на кухню, налил в две кастрюли воды, принес одну, поставил на плитку, другую понес в комнату тети Ксени и поставил на другую плитку. Кипятить иначе было нельзя. Иван Владимирович, сидя в кресле, положив одну длинную ногу на другую, покойно беседовал с женщинами; тетю Ксеню он видел впервые, но все равно называл ее «деточкой», а с Екатериной Гурьевной был знаком, встречал у Антиповых. С матерью Антипова Екатерина Гурьевна сошлась на короткое время в Казахстане, потом судьба разбросала: мать работала в совхозе, Екатерина Гурьевна на комбинате. А в Москве столкнулись у общей подруги, ею оказалась Танина тетя Ксеня. Но об этом Антипов узнал уже после знакомства с Таней, после Лихова переулка, после того как оказались здесь, на Рождественском, тоже в марте, два года назад, когда все текло, бежали ручьи к Трубной и Володька, сын Тихомоловых, смиренный безумец, который не умел говорить, только мычал и сиял глазами, швырял с чердака в сырое небо голубей. Тогда Антипов забрел сюда впервые, еще не жильцом, а гостем. Увидел сборище: трудяг вроде Ивана Никитича Тихомолова, рабочего химзавода, и его жены Зои, уборщицы; доцветающих Ираклиевых с их странными сыновьями, шпанистого вида Валюшей и Борей, аспирантом, печальным и серым, как ночной мотыль, загадочную старуху Веретенникову, которая жила неведомо на какие шиши, нигде не работала, днями «гуляла» на балконе, однако ей всегда кто-нибудь помогал, и супруговВаргановых, ближайших соседей, которые соперничали с Ираклиевыми из-за того, кому царить в этом государстве пропахших супом обоев, старого паркета, бездействующей ванны, тусклых лампочек в коридоре. И, конечно, увидел тетю Ксеню, которую полюбил. Полюбил, потому что стала для Тани — нет, не матерью, но близкой душой. Отец был сам по себе, сестра жила своей жизнью. И чуть ли не в первое же утро столкнулся возле дверей ванной с седенькой, черноглазой. «Екатерина Гурьевна!» — ахнул в изумлении. «Шура!» — прошептала она. И обнялись радостно и бесшумно, испытав вдруг тайное единство. Все готово. Нет, не готово. Еще несколько минут, и все будет го-

тово, готово окончательно, навечно, на все времена. Возникла какая-то новая необходимость — что-то прокипятить. Подготовка к нечеловеческой пытке любимого существа, к кромсанию плоти, к убиванию жизни. И это должно пасть ножом гильотины лишь оттого, что в редакции одного журнала отвергли рукопись в восемнадцать страниц. Нет, не рукопись, отвергли судьбу, надежду, отвергли отчаянный выкрик в глубину вселенной — как поступать тем, кто домогается счастья, ибо люди не хотят ничего другого. Только понимают по-разному. Антипов думал: счастье — это конец муки. Это то, что наступит примерно в половине шестого. Был месяц судорожных решений, колебаний, неизвестности, ночных разговоров шепотом, невозможности ни с кем поделиться, сокрытия всего ото всех, мечтаний, слез, невыносимого вида невинного Степки и страха. То, к чему склонялась их робкая душа, было избавлением от страха. Страха того, что новое существо будет мучиться тем же, тою же неизвестностью. Вот от страха, что их уже не будет на земле, а Степке дай бог выбраться на свет самому, они все больше склонялись... Иван Владимирович — друг, он поможет, он исцеляет от страха, он не берет денег... И тогда, измучившись, не в силах решиться, отдались во власть судьбы. Как она ответит, так и будет. Спросили: примет ли судьба жалкую рукопись в восемнадцать страниц, рассказ, посланный в журнал три месяца назад? Должны бы уже прочесть, но ответа не было. Антипов откладывал неприятный звонок, нет хуже — нарушать редакционное молчание и напоминать о себе. Сказали так: ясности пока еще нет, мнения разделились, все решит заседание редколлегии. Состоится тогда-то. Этот срок подходил к последнему сроку, назначенному Иваном Владимировичем, и вдруг спроста решили: как будет, так и будет. Судьба ответила: нет. Редактор изрек: рассказ написан под Бунина, это никуда не годится. Ах нет! Не Бунин виною, не тупость редактора, а февраль со смертными холодами. Приходят люди в гости, пьют чай, уходят, благодарят, утром звонок: сердечный приступ — и все. Как же так? Ведь вчера пил чай? Этого не объясняют по телефону. Нищий калека на культяпках сидит у ограды парка, в картуз собирает монеты, кричит: «А ты, очкастый, проходи мимо! У очкастых собачья кровь!» будет кричать: «А ты, полуочкастый, проходи мимо!

У полуочкастых кошачья кровь!» Перепутаны крови, перепутаны времена. Но день перепутать нельзя, он выбран давно. Две недели назад. Когда истекал воздух. Ни дня позже не мог ждать Иван Владимирович, уезжавший куда-то. Совпадение с похоронами случилось, однако, кстати: вся квартира, за исключением Бэллы,Варгановой и, конечно, старухи Веретенниковой, бросилась на улицу. И кухня почти пуста. Но Иван Владимирович рисковать не мог, поэтому электроплитка, разговоры вполголоса, занавешивание одеялами тамбура, затыкание подушками всяких щелей, чтоб никуда не проникла звериная боль.

— Эту штуку ты будешь держать в руке, Шурочка,— сказал Иван Владимирович.— Будешь мне помогать. Вот так, эдаким манером, вниз.

— Где... держать? — задохнулся Антипов.

— Я покажу где. Вот смотри, как нужно...— Он показывал пока что в воздухе. Таня лежала в соседней комнате.

— А может, кто-нибудь... лучше? Екатерина Гурьевна?

— Нет, деточка, у тебя рука крепкая. Ты будешь держать лучше. Это совсем не страшно... Поверь мне. Ничего дурного мы Танечке не сделаем. И боль вовсе не такая ужасная, как многие полагают. Боль терпимая...— Разговаривая, Иван Владимирович натягивал перчатки. Затем двинулся не спеша в комнату, где лежала Таня.— Сегодня утром, Шура, я вспомнил интереснейший эпизод, очень хорош будет для твоего очерка: как я бросил губку в министра просвещения Кассо... В девятьсот одиннадцатом году...— Тут он зашептал: — Но, разумеется, не сейчас, не сейчас! Ты напомни, я расскажу...

Таня лежала, накрывшись простыней. Живот у нее был не заметен, но сейчас под простыней он выделялся. Таня смотрела на Ивана Владимировича неподвижным холодным взглядом.

Подойдя к окну, Антипов увидел месиво шапок, воротников, простоволосых голов, сбитых в плотную гущу. Время громоподобно катилось вниз, к Трубной. То, чего никогда увидеть нельзя. Антипов оглянулся. Таня сидела на диване в простыне, поверх простыни пальто, и дрожала от озноба, а Иван Владимирович смотрел на Антипова и что-то говорил, блямкая губами, но Антипов не понимал его.

— Я тебя люблю, Таня,— сказал Антипов.— И ничего не нужно. Будем жить дальше.

Он сел рядом на диван. Таня взяла его руку, прижала ладонь к губам и, вдруг привалившись к нему, зарыдала. Тетя Ксеня взмахивала ручками, приседая смешно: «Ой! Ой!»

На кухне, куда Антипов пошел взять холодной воды, опять маячила Анна Артемовна.

— А я знаю, кто у вас в гостях и зачем! — зашептала она, от сладострастия и нетерпения прыгали брови.— Я у этого доктора в больнице лежала в Замоскворечье. Он очень хороший доктор и человек-душа. Только фамилию забыла. Как его фамилия-то?

— Да зачем вам?

Анна Артемовна молча смотрела на Антипова, потом сказала:

— Чтоб законов не нарушали.

— Поздно спохватилась, стерва,— сказал Антипов. И показал фигу.

Темнел вечер, не стихал гул, кто-то прибежал с улицы; топали по коридору, кричали, шумели. В ванной рыдал и бился, как припадочный, старший ираклиевский сын Валюша. А в комнате тети Ксени пили чай до поздней ночи, и Иван Владимирович — он не мог уйти, должен был тут оставаться ночевать — рассказывал, как в одиннадцатом году студенты университета протестовали против изгнания профессоров, и, когда министр Кассо, известный мракобес, пришел в аудиторию, он, Ванечка Горелов, швырнул в него губкой, которой обтирают трупы... За то выслали его в Вологодскую губернию, потом война, плен, интернировали, морили голодом... А с девятнадцатого года, как вернулся в Россию, работал на Тульщине.

С улицы снова донесся крик. Антипов побежал вниз, к заколоченному парадному, выломал его топором, и некоторые люди стали вваливаться сюда, иные убегали наверх, на третий этаж. Но большинство продолжали двигаться дальше.

На балкончике, похожем на футляр, сидела в толстой шубе и в меховой шапке старуха Веретенникова и смотрела вниз, в набитую людьми, воющую предсмертно ночь. Давно нужно было идти спать, но старуха не могла оторваться. Отсюда, с балкончика, она видела в своей жизни много всего, теперь не припомнишь: видела, как конные разгоняли толпу баб, как бежали юнкера по

бульвару к Сретенке, как срывали с дома напротив вывеску «Братья Шмит», как шли с флагами, с барабанами, как встречали каких-то летчиков, бросали листовки, как чернели ночами пустые дома с окнами, заклеенными бумагой, и как громом громыхали танки, разворачиваясь на Трубной, сотрясая землю так, что дрожал балкончик. По лицу старухи Веретенниковой сами собой катились слезы. Никто бы не объяснил, и она сама не знала, почему плачет.

БОЛЬШАЯ БРОННАЯ

Прошло уже недели три с тех пор, как Киянов узнал новость: Мишка вернулся, его видели в городе. Киянов изумился, но не очень: было время неожиданных новостей, внезапных перемен, невероятнейших слухов, все к этому привыкли. Когда в течение двух-трех дней не было новостей, становилось скучно. Мишка возник летом, как раз в пору грандиозных новостей и потрясающих слухов, о которых разговаривали шепотом, и они, конечно, поглотили известие о Мишкином возвращении. Всем было не до того. Но Киянову было до того, и он удивлялся: почему Мишка не появляется? От него не было ни звонков, ни приветов. Кто-то рассказывал, что Мишка пока устроился за городом, в старую квартиру вернуться не может, там Татьяна Робертовна, а он привез с собой женщину. Говорили, что он поджар, плешив, похож на старого петуха, потерял зубы, но еще подвижен и бодр, хотя и хромает, ходит с палкой, ногу повредил на лесоповале. Говорили, что Татьяна Робертовна очень страдает, чуть ли не хотела отравиться. Киянов не считал ее умной, интересной, покойная Валя относилась к ней и вовсе презрительно, называла за глаза «макароной», но дело не в том, она была Мишке верна, и ее следовало пожалеть. Она сохранила его бумаги. Какие-то дневники все грозилась, да так и не решилась передать Киянову, вела себя достойно, кроме того, говорили, она сейчас серьезно больна. Нет, Мишка не должен был так поступать. Но это в его стиле. Так было и в двадцатые, и в тридцатые годы — он мерил свои поступки совсем по особому счету. А после успеха «Аквариума» просто ошалел. Говорил о себе без юмора: «Такой писатель, как я». Стало быть, в чем-то главном — ну, скажем, в

отношениях с женщинами, в беспощадности — Мишка не изменился. Однако вопрос таков: нужно ли его искать?

В первые дни, услышав о нем и удивляясь тому, что Мишка не появляется, Киянов ужасно нервничал, звонил туда и сюда — в первую очередь, конечно, позвонил Татьяне Робертовне, но соседка сказала, что Татьяна Робертовна в больнице, про Мишку соседка ничего не знала, тут стали доноситься, взбудораживая, отклики и впечатления от встреч с Мишкой разных лиц в разных домах, но никто не слышал от него вопросов о Киянове, что было настолько нелепо, что даже не верилось, и Киянову казалось, что его обманывают, люди так заняты собой, что не слышат, когда говорят о других; однако день проходил за днем, Мишка не прорезывался, по просьбе Киянова ему дважды передавали кияновский телефон, он зачеркнул четвертьвековую дружбу начиная с двенадцатого года, когда сошлись теплым сентябрьским днем во дворе гимназии в городе Ярославле, зачеркнул и выбросил, как испорченный текст в мусорную корзину, крайне странно и глупо, эти люди считают, что только их страдания подлинны, а страдания обыкновенных людей не в счет, высокомерие несчастных и обиженных жизнью, нет большей ловушки, чем это высокомерие, ибо не знаешь, как к нему отнестись,— какую бы правду ты ни сказал, она покажется неуместной, какую бы несправедливость ни допустили другие, ее воспримут как истину. Поэтому Киянов затаился и ждал. Гриша умер, никого не осталось из тех, кто знал Мишку и Киянова с мальчишеских лет. Никто не мог помочь Киянову и окольными путями вызнать: что же случилось? Киянов был наподобие жука на лесной дороге, который, услышав шум, упал навзничь и замер, притворившись мертвым.

В один из дней ожидания и тревоги Киянов увидел сон: огромное пустынное помещение вроде подземелья, освещенное тускло, почти темное, с цементным полом, с широкими лестницами, ведущими куда-то наверх, и он, Киянов, стоит на цементном полу, прячась за мощную бетонированную четырехгранную колонну — в помещении все бетонированно, четырехгранно, подчинено гнусному конструктивистскому замыслу, который всегда был Киянову ненавистен так же, как подобная «левая» дребедень двадцатых годов,— стоит, прячась за колонну, охваченный невнятным страхом, и вдруг видит, нет,

сначала слышит шум над головою, на втором этаже, какой-то грозный летучий шорох, точно распахнулись ворота и ветер метет по цементному полу множество бумаг, а затем видит, как по широкой лестнице сбегают вниз люди, они держатся плотной стаей, как марафонцы в начале пути, бегут босиком, от этого сверху был слышен не топот, а шорох шлепающих босых ног, все в чем-то белом, с белыми повязками на глазах. Куда они так стремительно, дружно бегут и что держат в руках, нельзя понять, но страх леденит сердце. Киянов вжимается в бетон, пропадает в тени колонны, его не видно, а он хорошо и близко видит, как толпа пробегает мимо. Киянов проснулся с колотящимся сердцем; часы показывали четверть пятого, за окном дымился сине-серый рассвет. Не желая будить Сусанну, которая спала здесь же, в комнате, на диване — так завелось с тех пор, как начались ночные стенокардические приступы, Сусанна ставила ему горчичники,— он прошел в соседнюю комнату и, не одевшись как следует, в халате присел к столику красного дерева, купленному Валей три года назад, когда пришли деньги за однотомник и Валя впервые за долгие годы вздохнула с облегчением и побежала в мебельную комиссионку, но недолго ей, бедной, оставалось легко дышать, зажег над столиком бра с болотного цвета шелковым колпачком и стал писать в толстой тетради, куда заносил сны. На обложке черным плакатным пером было выведено: «Сны». Киянов записал:

«14 августа 1957. Через неделю мне шестьдесят три. Двадцать лет назад был, думается, такой же сон, как нынче ночью, но более впечатляющий, цветной, люди с завязанными глазами бежали по двору, похожему на двор моего детства в Лопухове, а нынче то же самое, но в каком-то бомбоубежище. Бомбоубежище имело вид огромных бетонированных ярусов, висящих на могучих столбах, и напоминало помещение под трибунами на стадионе «Динамо», куда недавно, лет восемь назад, я ходил со студентами, спасаясь от чего-то и мечтая заразить себя глупой страстью к футболу, но так и не заразил. Неужто выплеснулось что-то очень давнее?»

Тетрадь «Сны» появилась еще в годы войны, в эвакуации и началась с одного Валиного сна: она увидела Лешу на байдарке на озере летним днем, он уплывал от берега все дальше, Валя и Киянов махали ему рукой, он отвечал равномерным маханием весла, на котором вспыхивало солнце, и был страх, что не вернется, уплывет навсегда,

махание весла становилось все сильнее, и вдруг на середине озера байдарка с вертящимся, как пропеллер, веслом стала медленно отрываться от воды, поднялась в воздух и растворилась в нем. Валя рассказывала сон так подробно, и он сразу так поразил Киянова — вдруг померещилось страшное,— что Киянову казалось, будто он видел этот сон сам. Вскоре пришло проклятое извещение. Валин сон был последним приветом от Леши. Байдарка до сих пор в сарае на даче, на борту надпись, сделанная Лешей: «Speranza», что значит «Надежда». Из-за названия Валя отказывалась продавать лодку, хотя давали большие деньги. Сон с байдаркой был первым, затем Киянов записывал регулярно сны свои и Валины, полагая эти записи полезной писательской гимнастикой и надеясь, что они когда-нибудь пригодятся, но не пригодились ни разу. Были времена, когда сны являлись гуще, ошеломительней, например в конце войны и в начале пятидесятых; неизвестно почему, они возникали циклами, как грибы, а бывали целые пятилетия совсем скучные и пустые, и как раз такое время наступило теперь. Поэтому Киянов как-то тревожно встрепенулся, увидев старый сон. Записи в тетради давно стали не просто описанием увиденных ночью картин, но попыткой разгадать их, что было самым прельстительным в этом занятии. А так как работа не ладилась, начатый роман лежал колодой и вообще наблюдались признаки — пугающие, о них не хотелось думать — угасания той энергии, которую можно назвать писательским «либидо», Киянов с тем большим рвением погружался в размышления о снах и о том, что им сопутствовало, ища тут спасения. Киянов писал дальше:

«Возвращение Михаила, о чем я прежде так сильно и горячо мечтал, превратилось для меня в какое-то мучительное, все более жестокое истязание. Суть муки в том, что я чувствую свою перед ним вину. А в чем же вина? Почему я не нахожу в себе сил отыскать его, обнять радостно и заплакать с ним вместе? Нас связывает необозримо много, прошлая жизнь как гора, мы прикованы к ней, и скажу больше — кто есть ближе и давнее его? Кто на земле помнит сейчас маму, отца, кто видел дом, где пронеслось мое детство наподобие прыгающего по траве деревянного обруча? Милая, исчезнувшая из мира игрушка! Почему-то нынешние дети не гоняют обручей. Я совсем не вижу моего старого друга — обруч — на улицах. А кто помнит незабвенного деда, героя Крым-

ской войны, который знал Некрасова, покупал у него какую-то бричку, и эта бричка хранилась величайшей реликвией до года девятнадцатого, когда красноармейский отряд, придя в Кияновку, реквизировал бричку для нужд фронта? Дед Иван умер в начале первой войны. Ему было лет восемьдесят пять. И Миша должен помнить его хорошо, потому что боролись на ковре в дедовском кабинете, а дед был арбитром. Как глупо, что двое самых близких затаились и не хотят искать друг друга на этом торжище миллионов чужих людей. Мы всегда были вместе, начиная с приснопамятного двадцать второго года, когда приехали в Москву за жратвой и одеждой, но главным образом для того, чтоб столицу завоевать, стали делать журнал, нас вместе лупили, на обоих рисовали карикатуры: на пышном древе современной словесности клонятся долу два чахлых, хилых листочка, на одном, напоминающем мой носатый, патрицианский профиль, написано «Киянов», на другом, курносом, надпись «Тетерин». В двадцать восьмом нависла угроза, но держались твердо, сумели доказать, отстоять. И только после тридцать четвертого, когда вышел «Аквариум» — книга талантливая, но едкая, как купорос, за нее пришлось отвечать, и он знал, на что шел,— только тогда наметилась трещина. Потому что, голубчики мои, в литературе каждый отвечает за себя. Литература не плотницкая артель. Кто-то сказал: литература — товар штучный. И судьба писателей штучная. Не следует обижаться на судьбу. Мы выбираем ее, а она выбирает нас. Мы провоцируем выбор судьбы. Наша роль не более чем робкое предложение, на которое могут ответить отказом, но чаще, чем отказ, мы слышим от судьбы: «Да!» Криминологи полагают, что в акте убийства некоторой долей повинна жертва — она чем-то и как-то провоцирует преступника. Эта теория приложима к акту судьбы. Книга «Аквариум» была чисто литературным явлением, ее критиковали за стиль, но крючки закидывались далеко, как с помощью спиннинга: на середину реки, еще скрытую туманом. Четыре года спустя он пришел ночью и сказал: «Как хочешь, но выступать против Семена и остальных я не стану. Будь что будет. Я не могу. Не могу, не могу, черт бы меня взял!» Я видел, что он дрожит, взор воспаленный и вид, как у больного. Было лето, душная ночь, он прибежал ко мне в белых брюках, в рубашке «апаш», все распахивал ворот и обмахивался им, как будто ему трудно дышать.

Я стал его успокаивать. Налил ему чаю. Он меня испугал. Он требовал, чтоб мы разговаривали шепотом и чтоб Валя не знала, никто бы не знал о его приходе, но Валя с Лешкой отдыхали в Крыму, дом был пустой, нас никто не мог услышать, однако он настаивал говорить шепотом. Я подумал: вызвать врача? Психика его всегда была хрупкой. Помню его истерики. Но он догадался о моих мыслях и сказал: «Не думай, что я помешался. Просто вдруг ясно увидел, что есть и что будет. Увидел конец. И не хочу перед концом измызгаться, как свинья в луже». Хорошо помню: «...измызгаться, как свинья в луже». Ну что это, как не выбор судьбы? Давно уже перестал существовать журнальчик «Причал». Но теперь надо было на собрании заклеймить этот журнальчик как худший образец идеологии попутчиков, отречься от него, хотя жизнь заставила о нем позабыть, и заодно от бывших товарищей, с которыми не общались годами. Таковы были правила «игры в судьбу». А он хотел выломиться из правил. И пришел предупредить. Он сказал: «Остерегайтесь Ройтека. От него будет зло». Ройтек был самый молодой среди нас, в том году — лет тридцать, не больше. Почему он так сказал, я не знаю и не спросил. Мишка побоялся сказать прямо, он насторожил, намекнул. И все оказалось так, как Мишка предсказывал, кроме одного: он вернулся. Стало быть, не конец. Но тогда был уверен, что конец. И сказал — для того и пришел ночью, — что, если с ним случится плохое, я должен не прятать пьесу на дно сундука, а снять его фамилию и под одной фамилией выпустить. Если пьеса пойдет, отдать половину гонорара Татьяне Робертовне. Он заботился о ней. Любил ее истинно. Хотя мы с Валей удивлялись: как можно любить этот лапшевник? И вот он взял с меня клятву, что я не расскажу о его просьбе, ни ей, ни кому другому, не расскажу никогда, что я выполнил свято, ибо тайна была, разумеется, и в моих интересах, и спустя два года, когда пьеса пошла в Москве и еще в десятке театров, я стал перечислять на счет Татьяны Робертовны деньги, но автор на афише стоял один. Эти деньги, кажется, выручили ее в трудные годы, мне это известно, хотя мы не встречались. Тут дело еще вот в чем, если начистоту: по сути, пьеса моя, я написал два акта, а он лишь первый, да и тут я переделывал основательно. Я работал конец зимы и всю весну, когда он жил в Кисловодске. Я не придаю этой неравномер-

ности труда никакого значения, считаю нас соавторами, тем более что ему приходили порой блестящие идеи и он телеграфировал из Кисловодска: «Демидова надо послать в Испанию!» — и другие, более пространные тексты, всегда бывшие мне полезными, но я обо всем забыл напрочь, когда разговаривал с ним душной ночью, а он, может быть, помнил. А может, и нет. Ведь он такой человек, мог забыть. Если он говорил: «Такой писатель, как я», — то, видимо, считал, что его три слова весят больше, чем наши тридцать. Как бы там ни было, я поступил, как он распорядился, и помог его жене, которая теперь ему не нужна. В чем же я виноват? О том, что мы писали пьесу вдвоем, знали немногие, но знали, конечно, люди театра, с которым был договор, завлитом там служил Ромка Ройтек. Замечательно, что именно Ройтек вызвал меня в театр вскоре после исчезновения Миши и предложил сделать эту операцию, чтоб не погибла пьеса. По его словам, это был единственный шанс ее спасти. Я не признался, что о том же меня просил Миша. Ройтек дерзил и фиглярствовал, предлагая мне подлый ход, а я мялся и гнулся, изображая борьбу чувств, попросил два дня, затем согласился. Я ни в коем случае не желал, чтобы он догадался, что я действую по указанию Миши! Ройтек же предлагал обыкновенное мародерство, и именно так все должно было выглядеть. Для себя он тоже вылущил малую выгоду — попросил в долг три тысячи рублей. Но я предупредил: «Ромка, имей в виду, как только он вернется, я восстановлю его имя». Он поглядел с изумлением: «Ты наивен или придуриваешься? Да он не вернется даже через тысячу лет! Это навсегда!» Уверен, что все слухи и сплетни, которые стали постепенно сочиться по поводу моего поступка, шли от этого паршивца, хотя он твердил тогда, что должна быть гробовая тайна, что никто не должен знать об истинных авторах, ибо, если узнают, ему несдобровать. Он еще выставлял себя героем. А спустя три года, весной сорок первого, решился еще раз меня подоить и попросил по телефону полторы тысячи — выкупить путевку в Сочи. Прежнего долга не отдал. Я ему отказал, он ответил с неопределенной угрозой: «Ну ладно, смотри!» — и повесил трубку. Возможно, стал бы мне мстить, но тут грянула война и все полетело кувырком. Рассказывают, будто он сразу же, как Миша вернулся, прилип к нему, ходит с ним повсюду как лучший друг. О чем они мо-

гут говорить? А меня Миша не находит времени отыскать. Почему я пишу об этом теперь, после жутковатого сна, который может означать только одно — смертельную тревогу? Сон знакомый. Во мне не умерли старые времена, всколыхнулись с появлением Миши, ведь они в моих венах, в моей плоти, еще ждущей чего-то. Смерти? Чуда? Новой жизни? Без Сусанны была бы смерть. Но и с нею тоска. Она добилась чего хотела, хотя и поздно, под занавес, а я уступаю под напором судьбы, ибо не хочу выламываться из правил. Сегодня должен прийти некто Антипов, мой старый ученик, не знаю зачем, подарить книгу, что ли... Позвонил и напросился в гости. Он сейчас много печатается, и его хвалят. Не видел его несколько лет. Наши отношения всегда были неравноправны — и тогда, и теперь,— и в этом сложность общения. Да бог с ним. Люди забывчивы, легковерны, в конечном счете глупы: зачем Мишка ходит с Ройтеком и слушает вздор? Ведь знает же, что почем...»

Тут Киянов закончил работу. Он устал. Часы показывали половину девятого. Сусанна напевала за стеной, затем вышла в необъятном голубом капоте с драконами, лицо пухлое, мятое, пунцовое, улыбающееся.

— Ты поработал, милый?

Никто давно не называл его «милый».

Он почувствовал теплые пальцы, скользнувшие за ворот халата и бегло потрепавшие шею. Сусанна прошелестела через комнату в коридор, пучились и исчезали вокруг мощных объемов складки капота. Он смотрел на складки и думал: «Голубой капот судьбы». Как он ни вывертывался, как ни отбивался с сорок шестого года, капот настиг его, и вот он в душной, потной и сладостной полумгле. Для этого должны были угаснуть все: сначала Леша, потом Валя, Гриша. За завтраком разговаривали об Антипове. Киянов вспоминал семинар гениев и полугениев сороковых годов, Сусанна всех помнила превосходно, то были ее *звездные годы* — именно тогда в институтском подполье затеялось то, что превратилось затем в «голубой капот»,— но Киянову не хотелось ее слушать, хотелось говорить самому. В ее пылкости была фальшь. И кроме того, она пыталась дразнить. Поэтому он пресек сурово: «Короче, я отнес его рукопись в журнал, и они быстро напечатали. С моим предисловием. Я сделал из него писателя». Она сказала: «А я сделала из него...— тут после-

довала пауза,— человека». Было совершенно очевидно, что имеется в виду, продолжались попытки дразнить, но его это не трогало, он испытал раздражение по другому поводу и сказал: «Удивляюсь, как ты мало меня знаешь». И, насладившись молчанием, ибо она была обезоружена, сказал: «Я ничего не читал из того, что он потом напечатал. По-моему, способности у него были довольно умеренные». Она сказала: «По-моему, тоже».

Неприятное откладывалось напоследок, и вот накануне отъезда в Ялту, мечась по городу по всяким неотложным делам, Антипов чуть не забыл заскочить на Бронную к Киянову. А ведь так хотелось забыть! Морочили голову на киностудии, потом ждал денег в издательстве, бухгалтер застрял в банке, без денег не мог ехать в книжный магазин, да еще Таня просила купить в аптеке синюю лампу для прогревания, а так как отношения натянулись (из-за Ялты), он хотел выполнить просьбу непременно, но покупка тормозилась отсутствием денег, потом отсутствием ламп, кто-то посоветовал ехать на Даниловский рынок, он помчался на такси и купил и тут вспомнил про неприятное. Даниловский рынок был связан с неприятным: с памятью о войне, о голоде, нищете, долгих поездках сюда трамваем от Белорусского, поблизости были заводы, где он брал инструмент. Невероятно давно, но вдруг бывало нытье, как в суставах от отложения солей. Тогда же впервые издалека увидел Киянова. Во дворе института. Антипов позвонил из автомата. Киянов говорил сухо: «Я ждал вас целый день. Теперь мне не совсем удобно».— «Я могу быть через пятнадцать минут!» — «Это так спешно?» — «Да, Борис Георгиевич, извините, я вам объясню!» Последовало молчание, затем Киянов догадался или, может, почуял недоброе. А визит был и вправду недобрым, и ничего поделать нельзя — ни отказаться, ни забыть. Несколько дней назад собрались у Эллочки, пили чай, совещались: как быть с этой историей? Эллочка почему-то горячилась больше всех: «Я не могу смотреть людям в глаза! Когда говорят такое об учителе!» Он давно не был никакой ей не учитель, и сама Эллочка в литературе не задержалась — работала где-то редактором технических бюллетеней,— но волнение и гнев, неясно, против кого, душили Эллочку, она

всех взбаламутила, собрала у себя будто на день рождения, а по сути — для «разбирательства дела Бориса Георгиевича» и для того, чтобы «выработать общую линию». Но разбирательства не получилось. Пришли только трое: Антипов, Квашнин и Хомутович. Квашнин, приехавший на казенном автомобиле и боявшийся сидеть слишком долго, чтоб не сердить шофера директора, говорил обо всем наспех и легкомысленно: «А, ерунда! Не придавайте значения».—«Но как же не придавать,— нервничала Эллочка,— когда говорят, что твой учитель ограбил человека. Ведь я так его уважала!» — «А ты продолжай уважать,— говорил Квашнин.— Никто никого не грабил. Это называется селяви. Впрочем, я всех тонкостей не знаю». Хомутович ничего не слышал и молчал ошарашенно. Антипов слышал, и не раз, об этом жужжали много, у Киянова нашлись застарелые враги, которые жаждали крови, другие люди их утихомиривали, никто не знал, что будет дальше. Антипову дали поручение, как самому молодому и деятельному. Просто другие не хотели ввязываться. Антипову не верилось, что все было именно так, как изображало всеобщее жужжание. Тут была какая-то сложность, какая-то потайная дверь. Ему не нравилось клокотание Эллочки, и его злило ленивое легкомыслие Квашнина: «А, ерунда!» Он сказал, что никакой общей линии вырабатывать с ними не станет. Попробует разобраться сам. Дима Хомутович убитым голосом спросил: «А как же его рекомендация? Больше не имеет силы?» На другой день позвонил Котов, возникший из небытия. Антипов слышал, что тот прогнан отовсюду то ли за пьянство, то ли за ничтожество и работает чуть ли не курьером в каком-то издательстве. «Старик! — хрипел Котов.— А помнишь, кто тебе первый про Михаила Тетерина говорил? Пол-литра с тебя! Ты эту скотину равнодушную, Киянова, не жалей...»

И вот он стоял перед трехэтажным домом на Большой Бронной. Не был здесь лет десять. Что-то расколдовалось в этом подъезде, в узорчатых окнах на лестнице: подъезд был обыкновенный, сырой, пахнущий неприятно, окна маленькие, все выглядело заброшенно и второразрядно. Антипов знал, что жена Киянова умерла, что он живет с Сусанной, что последняя книга Киянова — роман о двадцатых годах, он писал его лет восемь — вещь скучная, никто не может дочитать до конца. Все это порождало неловкость и незнание, как

себя вести. Заводить ли речь о книге? Говорить Сусанне «ты» или «вы»? Выражать ли соболезнование по поводу смерти жены? Может, и не надо, ведь прошло уже несколько лет. Но было и нечто отрадное — какое-то тепло памяти о юных годах, о давних страхах, о бедных радостях, обо всем, что прошло. И кроме того — горделивое сознание: к Киянову обязан был прийти Антипов, и никто другой. Киянов это поймет и перестанет говорить сухо и улыбаться свысока, засунув руки в карманы халата, всем видом показывая, что, несмотря ни на что, он, Киянов, по-прежнему патрон, а Антипов клиент.

Но бормоталось привычным, гадким, зажатым голосом:

— Понимаете, Борис Георгиевич, она написала довольно резкое письмо... Сама пришла на бюро... Вообще настроена агрессивно...

— А что она хочет?

— Трудно понять. Чего-то очень решительного. Все время звучало слово «сатисфакция».

— И бюро постановило?

— Разобраться. И мне поручено. Я не очень-то хотел, но, возможно, это лучше, что я, а не... мало ли кто... Так я подумал... Если вы не возражаете, конечно...

— Не возражаю.— Киянов молчал, задумавшись, вертя ложкою в стакане чая.— А все же почему выбор пал на вас?

— Ну, это понятно,— сказала Сусанна.—Они знают, что Саша Антипов — твой ученик.

Голос у Сусанны был низкий, мужеподобный, как прежде. Она непомерно расширилась в боках и бюстом, но лицо все еще было миловидным, нестарым, с неугасшим блеском в глазах.

— Думаю, в другом дело, Сусанна Владимировна,— сказал Антипов.— Они знают мою судьбу и решили, что я гожусь. А я, вероятно, не гожусь. Вот давайте посоветуемся, как быть.

— Да что советоваться...— Киянов, нервничая, ломал пальцами сушки.— Я не знаю: чего она конкретно хочет? И чего вы хотите?

— Я ничего.

— Саша Антипов ничего, конечно, не хочет,— сказала Сусанна горячо.— За Сашу я ручаюсь головой.

— О чем советоваться? — Киянов сломал еще сушку и потянулся за другой. Рука была вялая, белая, в

старческой гречке. Антипов отмечал мысленно: «Не забыть про сушки. Царственная рука импотента». Он рассказывал, чего хотела горбоносая женщина в очках, все время повторявшая слово «сатисфакция». Ее звали Дина Еремеевна. В Казахстане Тетерин и Дина Еремеевна жили как муж с женой. Она сказала, что Тетерин входит во вторую десятку лучших писателей России — «вторая десятка» особенно поразила членов бюро,— что он человек гордый, настрадавшийся, ему не пристало обивать пороги и выклянчивать то, что принадлежит ему по праву, но она доведет дело до конца. Она добьется «сатисфакции», чего бы это ни стоило. У Дины все зубы были железные, она курила беспрестанно. Она обмолвилась, что работала в совхозе ветеринаром. Антипов, едва увидев ее, подумал: «Эта женщина его, наверно, спасла. Она его, возможно, вырвала из лап смерти. И если уж она что схватит своими железными зубами...» Странно, он так жалел всех, так сочувствовал всем, кто вернулся, но эта женщина его тяготила — в ее словах был металлический привкус. Тетерин на бюро не являлся. Но она приходила, разъясняла, требовала, оставила заявление, им подписанное: восстановить его имя как автора. Речь шла не только о большой трехактной пьесе, но и о двух каких-то маленьких, одноактных, которые ставились под чужой фамилией. Но там был замешан не Киянов, а кто-то другой.

Киянов сказал слабым голосом:

— Не знаю, почему он ко мне не приходит. Мы бы попросту объяснились. Я его ничем не обидел... Сделал так, как он просил: снял фамилию, а деньги посылал жене...

— Милый, — прошептала Сусанна, — ты виноват лишь в том, что ты талантлив, известен, сохранился...

— Ах, чушь! Он талантлив не меньше. И тоже сохранился. Но боюсь...

— Чего?

— Сохранился он не таким, каким был...

Потом он сказал, что подпишет все, что Тетерину нужно. Вдруг побледнел, нахмурился, уставился перед собой неподвижным взглядом, будто внезапная и горестная мысль пришла на ум, медленно встал из-за стола и вышел в другую комнату. Сусанна налила воды в чашку, взяла пузырек с комода, где стояло не меньше дюжины пузырьков, и пошла за ним вслед. Движения ее были плавны, шаг спокойный, она улыбнулась Анти-

пову ободряюще: ничего страшного, у нас это бывает. Антипов, оставшись один, размышлял: «В старину гонцов, которые приносили плохие известия, казнили. Меня бы казнить. Но главное — за то, что опять влез в чужую неприятность...» Все как-то запутывалось. А у Антипова времени было в обрез. Он улетал в Ялту. Вышла Сусанна и села за стол напротив Антипова, глядя на него с улыбкой.

— Как живешь, Саша? Ты за Бориса Георгиевича не волнуйся. У него спазм. Полежит немного, и все пройдет. Ну как ты?

— Хорошо,— сказал Антипов.

— Знаю, что хорошо. О твоих успехах слыхали. А как дети? У тебя двое, кажется? Парень и девочка?

— Все хорошо,— сказал Антипов.— Одно вот не знаю, хорошо ли то, что я к вам по этому делу приперся. Зря, правда? И чего меня потащило?

— Да мы ждали, ждали! Ждали все время,— зашептала Сусанна.— А что делать? Надо эту мотню распутывать. Хотя, честно сказать, ей копейка цена... Плюнуть и растереть... На мой бы характер...

— Мне что-то кажется...— пробормотал Антипов.— Не распутаешь.

— Распутаешь! Борис Георгиевич распутает. Ты не волнуйся. Вот он полежит немного, сердце успокоит и все прекрасно распутает. Тут просто объяснить надо, так и так, мол, и все распутается само собой. Не надо драматизировать. Борис Георгиевич, правда, очень уж подозрительный. Он Ромку Ройтека считает главным злодеем, а какой Ромка злодей?

Она тараторила, продолжая улыбаться и глядя на Антипова с радостным интересом. Он спросил:

— А ты как?

— Я великолепно! Мы так чудесно живем с Борисом Георгиевичем, увлеченно работаем, ходим в консерваторию. Я тоже работаю, ты со мной не шути! — Сусанна погрозила пальцем.— Пишу о драматургии, о поэтике Островского. Договор на двенадцать листов, а будет, наверно, листов пятнадцать. Ты помнишь, как я увлекалась театром в институте? Нет? Не помнишь? Странно! — Она захохотала.— Я была безумная театралка...

Он помнил только что-то похожее на ванную, полную пара. Сердце колотилось от горячего, душного воздуха. Сусанна прикоснулась к его руке.

— Саша, если хочешь знать,— зашептала,— правду... Во всем, что сейчас мучает Бориса Георгиевича, виновата Валентина Петровна. Ты знал Валентину Петровну? Своеобразная женщина... С одной стороны — больная, шизоид, постоянно в больницах, с другой — цепкая, корыстная, жадная. Нет, я не отрицаю достоинств... У нее были достоинства: например, изумительно легкая походка. Она заставила Бориса Георгиевича с этой пьесой... Принудила его буквально силой...

— Но разве Тетерин...

— Да, да! Тетерин просил,— шептала она,— но Борис Георгиевич колебался. Она его заставила. И вот ее нет...

Тут скрипнула дверь, вошел Киянов. Он был бледен, но улыбался как-то отрешенно, легко.

— ...а он страдает,— закончила Сусанна.

— Кто страдает? — спросил Киянов.

— Да мы тут вспоминаем... Старых знакомых...— сказала Сусанна.— Феликса Гущина помнишь? Поэта? Такого черного? Он вас боксу учил.

— Помню,— сказал Антипов.

— Ты знаешь его судьбу?

Антипов не знал. Феликс, оказывается, давно в психиатрической клинике, у него бред, будто он атомная бомба, может взорвать город. Поэтому, чтобы спасти Москву, все время куда-то убегал, его ловили в поездах, в других городах. Сусанна предлагала навестить его в больнице. Антипов согласился. Киянов слушал мрачно, без интереса. Смотрел в окно. Антипов подумал: «Надо уходить». Киянов вдруг сказал:

— Чтобы уж закончить эпизод, скажите, что меня устраивает любое решение. Пускай хоть передают дело в Верховный суд. Я не возражаю. А что вообще происходит в жизни? Расскажите-ка!

Антипов начал что-то плести о грандиозных новостях и потрясающих слухах, о которых тогда шептались все, но Киянов скоро перебил его:

— Послушайте, я расскажу вам другое, Антипов. Просто для вашего сведения... И для того, чтобы усугубить общую неразбериху... Возможно, вы знаете, а возможно, нет: в сорок шестом, когда я принял вас в свой семинар, мне дали понять, что вы лицо нежелательное и без перспектив. Что из семьи, так сказать... И посоветовали отделаться...

Сусанна кивала:

— Помню хорошо... И кто тебе советовал, помню...

— Того человека уже нет. И, кстати, он желал мне добра. Дело не в том, что я не захотел от вас отделываться и проявил, стало быть, некоторую неосторожность или, скажем, некоторое чрезмерное уважение к самому себе, а в том, что... что...— Он умолк, думая.— Сам не знаю... В чем-то другом... Поступок-то был ничтожный... Но бывают времена величия и ничтожных поступков! Ах, все равно! — Он махнул рукой.— Я не лучше и не хуже других.

На другой день Антипов поехал за город, нашел поселок, комнатку на втором этаже с видом на хозяйственный двор, где штабелями и вразброс лежал горбыль, по доскам гуляли куры, сушилось белье, от летней уборной тянуло хлором; наконец вышел худой старик в ковбойке, в холщовых брюках, в рваных резиновых тапочках на босу ногу. Антипов стал его убеждать, чтобы старик поехал в Москву и встретился со старым товарищем. Надо понять, забыть, начать; старик смотрел холодно, глаза сощуривались, сохлые губы сжимались проваленно, отчего выражение лица было напыщенно-высокомерное, но Антипов видел, что старик интереснейший, что не только писатель, а лесоруб, землекоп, кулачный боец, зверобой, пират, умеющий кидать ножи. Старик сказал: стояли на льдине, которая раскололась, понесло в разные стороны, и теперь уж назад неохота прыгать. Разве нельзя пожалеть? Старик засмеялся: о, это самое ценное, что есть на земле, когда у человека не остается сил, у него есть еще последняя сила — сочувствие к другому.

Ранним утром был звонок. Киянов снял трубку и услышал знакомый, но старый и слабый, еле слышный — звонили, может быть, издалека или из автомата — голос, который сказал:

— Здравствуй, Боря. Говорит Михаил. Как ты поживаешь?

— Миша! — крикнул Киянов.— Здравствуй, дорогой! Наконец-то прорезался!

— Я был занят хлопотами, ездил в Ярославль, туда-сюда, сам понимаешь. Надо как-то устроиться. Да еще

зубы делаю, все вырвал, шамкаю безобразно — с людьми встречаться неловко.

«Однако встречаешься»,— подумал Киянов, но внезапно нахлынувшая радость была сильней неприятной мысли. И он крикнул счастливым голосом (так кричал, что Сусанна прибежала из кухни):

— Миша, когда увидимся?

— Увидимся,— спокойно отозвался слабый голос издалека.— Увидимся непременно. Но ты скажи-ка, у тебя сохранились какие-нибудь мои книги? Ведь я тебе что-то дарил: «Аквариум», сборники рассказов...

— Твои книги? — озадачился Киянов.

— Понимаешь, нужны для издательства. Я хлопочу о переиздании. У меня нет ни одного экземпляра, и у Татьяны нет, а скорей всего не хочет давать. В целой Москве не могу найти, и в библиотеках нет, представляешь конфуз? Писатель жив, а книги исчезли. Обычно наоборот: книги живы, а писатель исчез...

В трубке прыснул пронзительно знакомый, из глубины памяти смешок. Киянов вспоминал: где же Мишкины книги?

— Может, и ты уничтожил? —предположил Тетерин.— Фамилия неблагозвучная. Да еще с дарственной надписью... Нет?

— Нет,— сказал Киянов.— Не уничтожил. По-моему, они на даче. Да, на даче.

Киянов обрадовался, когда вспомнил, что книги целы: в мансарде, в холодном закутке под крышей, где хранилось кое-что, что надо было бы действительно уничтожить, да то ли позабыли, то ли рука не поднялась. Договорились так: через три дня, после того как Киянов съездит в воскресенье на дачу, встретиться днем, но где? Киянов звал к себе: место известное, живет в том же доме, где прежде, на Большой Бронной. Миша бывал много раз.

— Так, так... В том же доме... Это чудесно...— невнятно бормотал и покашливал голос в трубке.— Это очень хорошо... Мы встретимся знаешь где? На Тверском бульваре, где стоял памятник Пушкину. Где вы поставили эту жуткую бабу на крыше.

В назначенный день встретились на бульваре, обнялись, расцеловались, смотрели друг на друга полумертвыми глазами, увидели несчастья, болезни, старость, какая-то сила бросила их через дорогу в театральный ресторан, к знаменитому Бороде, который обхватил

Мишу за плечи, затрясся, заплакал; много пили, ели, курили, пили кофе, снова водку; подсаживались разные люди, мешали разговору, но и помогали, помогали вынести невыносимое вместе с салатом, окурками, болтовней о футболе, ужасными новостями о тех, кто погиб на войне, кто кого бросил, к кому ушел, было важно, что сидят вместе, их видят вместе, обнимаются пьяно, чокаются со всеми подряд; мелькали удивленные взгляды, один не подал руки, а с Мишей расцеловался, можно было не замечать; куда-то ехали на такси, болело сердце, в наплыве тепла и хмеля заговорил о пьесе, обо всей этой дряни, жалко объяснялся насчет того, что денежные дела вела Валя, сохранились квитанции, можно проверить, но Таня в больнице. Мишина голова то откидывалась назад, то плюхалась на грудь, серебристая плешь вспыхивала под фонарями, шляпа лежала на полу, Миша говорил: «Это Дина... Пускай она... Меня не касается... Меня не трогайте...» Потом встретились еще раза два, тоже на улице, шли в ресторан; однажды подсел Ройтек, Киянов держался презрительно, и тот ушел, Миша ничего не рассказывал; как-то на темной площади, когда ждали такси, Миша, сильно подвыпив, сказал: «Боря, прости меня, я прочитал твой роман... вроде бы исторический... Не надо было читать, конечно... По-моему, барахло. По-моему, чтоб написать такой роман, не надо было...— Он качнулся.— Прости меня, Боря». Киянов мог не слышать. Тетерин бубнил невразумительно. Киянов спросил: «Помнишь, ты просил снять фамилию с пьесы, а деньги посылать Татьяне?» — «Когда? — хрипел Тетерин.— Не помню...» — «Ты прибежал ко мне ночью!» — «Ни черта не помню... Забыл, Боря...» — «Как же ты мог!» — тихо воскликнул Киянов. «Не помню,— ухмылялся, мотая седой башкой, Тетерин.— Честно тебе скажу, не помню».

О смерти Киянова Антипов узнал в Ялте, купив газету в киоске на набережной. Было душнейшее лето. На пляже занимали место с шести утра. Антипову надоело, он хотел отсюда удрать. Больше часа Антипов простоял в очереди на переговорной, пока дозвонился в Москву одному знакомому и тот рассказал: Киянов по ошибке принял большую дозу веронала, которым вообще-то злоупотреблял. Похороны были вчера. На-

роду пришло много. От бюро выступал Гвоздев, от секретариата — Коровников, очень плакал его старый друг Тетерин, ему не давали слова, он был пьян, устроил шум, орал непристойно. Гвоздев получил нагоняй от Коровникова. Знакомый кричал: «Как погода в Ялте? Стоит ли приезжать? Хочу приехать дней на десять!» Антипов сказал: «Погода изумительная. Приезжайте». Антипов сел на первый попавшийся пароходик, отходивший куда-то, к вечеру оказался в Феодосии, там купался, ужинал в ресторане, деньги кончились, он заснул на скамейке на набережной мертвецким сном и проснулся на рассвете от холода — розовая мгла стояла над морем, дул ветер, что-то менялось.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НА ОКРАИНЕ

За окном были серые кирпичи, железо крыш, солдатский строй антенн, а внизу, в провале двора, курчавилась какая-то темная ветхая гниль, еще не выметенная отсюда бульдозером. Когда-нибудь здесь будет замечательный район, один из лучших в Москве. Но пока что мокрый снег, неуют, ямы, заборы, запах масляной краски, двадцать минут автобусом до метро. Звать людей немилосердно, и, однако, он наполнялся раздражением, когда чувствовал Танино упорство и нежелание. Потому что она противилась не оттого, что даль, ямы, заборы, а оттого, что кому это нужно! И не деньги, не траты, о нет! В жадности ее не упрекнешь. И в лени тоже. Готова с утра до вечера возиться в доме, мыть, стирать, натирать полы, драить дверные ручки, развешивать занавески и готовить еду для четверых. Ну, в крайнем случае для пятерых, если придет мать. Или для шестерых, если Людмила со своим Чилингировым. Но тут уже будет заметна натуга. Танюша, хочешь пойти в гости? Нет. А что хочешь? С тобой вдвоем. Танюша, давай кого-нибудь пригласим на чашку чая! Пожалуйста. А у тебя желания нет? Нет. Почему? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Я тебе отвечаю честно. Но ему мерещилось: знает. Все это началось год назад. Танюша, милая, тебе сорок два, у тебя двое детей, ты трудилась, путешествовала, знакома со множеством людей, отчего такой комплекс улитки? Господи, да ведь тоска! Нет, это у тебя со

мной тоска, а у меня с тобой нет. И никогда не будет. У меня будет тоска, когда ты уйдешь. Да что же нам делать? Ничего особенного. Что хочешь, то и делай: иди к друзьям, разговаривай с ними, решай вопросы, обсуждай, сплетничай. А ты останешься дома? Буду тебя ждать. У меня много дел. Ты вернешься, мы снова будем вдвоем. И для чего громоздили квартиру? Да будь она проклята! Квартира не виновата. Не греши на квартиру. И взгляд значительный, загадочный, тайный укор. Опять томило предчувствие: знает. Но ведь все прошло и пора забыть.

Падал сырой снег. Приближалась зима. Таня сказала:

— Я просто предупредила, встречаться после долгого антракта опасно. Ну, что общего у Квашнина, скажем, с твоим другом Мироном? Они на разных полюсах. Дышат разным воздухом. О чем они могут разговаривать?

— О многом,— сказал он.— Ты не понимаешь.

— Возможно.

— Ты не понимаешь, какой мощный магнит — прошлое.

— Вечер воспоминаний?

— Нет. Обыкновенное новоселье. Но дальше отступать некуда, пойми ты! Они рвутся сюда приехать. Люсьена будет тебе помогать.

Еду заказали в ресторане «Будапешт», вино Антипов взял в Столешниковом, а на Центральном рынке купил яблок, зелени, грузинскую фасоль — лобио, маринованный чеснок и толстобокую узбекскую редьку. Бродя по рынку, он размышлял над загадкой: почему женщины привязаны к прошлому гораздо меньше, чем мужчины? Прежняя жизнь отламывается у них навсегда. Народная поговорка насчет короткого ума имеет в виду не ум, а память. Ощупывая страшно дорогие помидоры и грязные пупырчатые гранаты, сам себя поправлял: но лишь в том случае, если они любят! Когда же любви нет, они становятся похожими на нас. Года два назад Таня, вернувшись с работы, рассказала: возник человек, которого она не видела восемнадцать лет. Когда-то работали вместе в издательстве. Некий Саясов, бывший завредакцией. Он совсем пал, бедствует, жена неизлечимо больна, и вот просил по старой дружбе помочь: принес какую-то рукопись пока-

зать главному. И ты взяла? Взяла. А помнишь, как я бил его по мордасам? Да, помню, что-то было. А помнишь — за что? Она улыбнулась жалко и кивнула: помню. Он по глазам понял: нет. Помнит не то. Как же можно забыть? Ведь он ее мучил! Она клялась: все вылетело из памяти, как вылетают из дома запахи жилья, когда двери и окна настежь. Она годами не встречалась с институтскими, не говоря про школьных подруг. Ей никто не был нужен, кроме Антипова и детей. Поэтому зачем новоселье, гости, родственники, суета, маета? Он сам не мог бы ответить ясно зачем, но почему-то было убеждение, что, если она станет саботировать и сорвет задуманное, в их жизни что-то рухнет непоправимо. И она это почувствовала и смирилась. Старушка Екатерина Гурьевна обещала: потраченные деньги вернутся, на новоселье все приходят с подарками. Но это глупости, новоселье было сбоку припека, а главное — встреча однокашников по случаю двадцатилетия окончания института. О такой встрече талдычили еще пять, десять лет назад, особенно хлопотали Эллочка и Злата. Мужики разбрелись кто куда, виделись друг с другом редко, но в «принципе относились к идее встречи положительно», как сказал Анатолий Лукич Квашнин. Все были заняты — то куда-то уезжали, то участвовали в конференциях, то болели, то заканчивали работу,— поэтому никак не удавалось назначить день, и так все протянулось с июля до ноября и совпало с переселением в новый дом в районе Аэропорта.

Мокрый снег плыл по стеклу, внизу дробились и трепетали огни, все было серо-синим, черным, немилым, чужим. Говорили, что в доме напротив в первом этаже скоро откроют булочную. Антипов стоял, покачиваясь, на кухне, прислонившись горячим лбом к стеклу, смотрел вниз, в черноту вечера, скучливо думал: ну что ж, права! Как она не хотела! Все время вертелись строчки: «Но в мире ином друг друга они не узнали». Антипов много выпил: сначала водки, потом немецкого вина «либфрауенмильх», которое принес деляга Котов, притаранил сразу десять бутылок. И он споил Мирона и затеял всю эту свару с Квашниным. Кто-то вошел на кухню, чиркнул спичкой.

— Папа, ты почему здесь?

— Там душно.

— А это ничего?

— Ничего. Ты слышишь, как они разоряются?

Антипов оглянулся и посмотрел на сына. У того был немного испуганный вид.

— Не кури,— сказал Антипов.— Брось сигарету. Ведь у тебя соревнования.

— Ну и что? Мы не профессионалы.

Они постояли молча, глядя друг на друга испытующе. Тут на кухню вошла Люсьена с тарелками, опустила их шумно в мойку.

— А вы что, молодые люди? Тоже выясняете отношения? — спросила, хохоча. Глаза горели, цвет лица был малиновый, от избыточного гемоглобина, никто не дал бы ей сорока с чем-то. Черное шелковое платье, облегавшее ее, сверкало наподобие авангардной скульптуры из круглых металлических рулонов и полушарий.— Но какой дурак Мирон, правда? Зачем полез на Квашнина? Он у меня дома получит!

— Ты его не трогай,— сказал Антипов.

— Нет, получит непременно. Надо же быть таким дураком — прийти в гости и качать права. Да разве не ясно, что Толя Квашнин никогда пальцем о палец не ударит, чтобы кому-нибудь помочь? И уж тем более Мирону. Саша, меня послали за мороженым. Где мороженое?

Он открыл холодильник и вынул коробку, за которой ездил сегодня утром.

— Спасибо. Я тебя поздравляю.— Она приблизила к нему пылающее лицо и чмокнула в щеку, потом притиснулась горячими губами к его губам.— Квартира у тебя роскошная. Я тебе где-то по-хорошему, как теперь говорят, завидую.— Опять захохотала.— И дети у тебя — дай бог. Но лучше всех Таня!

Она умчалась, шурша шелковыми рулонами, звеня браслетами, унося запах духов и двухслойных воспоминаний. Первый слой, несколько бледный и стершийся в памяти: две ночи в Ялте семь лет назад, где оказались случайно вдвоем. Он без Тани, она без Мирона. Она очень хотела с ним спать. Он не был уверен, что это нужно. Тень Мирона душила, как дурная погода. На узкой гостиничной кровати, похожей на ящик для мелкой садовой рассады, он признался в том, что дурная погода лишила его сил, но она была непреклонна. «При чем тут Мирон? Я его жалею и уважаю, не мыслю жизни без него. Но он, к сожалению, неудачник во всем!» После двух ночей, которые подтвердили истину о том, что Мирон неудачник, не было ничего нико-

гда и не мелькало ни малейшего намека на Ялту, но у Люсьены образовалась манера при всех пылко, по-дружески целовать Антипова в губы. Вот так же пылко впилась в него губами во время танца на Новом году в ЦДРИ год назад — и это был второй слой воспоминаний, жгучий, болезненный,— и шепнула на ухо о том, что все знает. Он понял, что с этой женщиной шутки плохи. Она могла потребовать от него многого. Но она не требовала, а он вел себя осторожно.

Сын спросил:

— А все-таки объясни, Анатолий Лукич сделал дяде Мирону какую-то гадость?

— Нет. Это старые счеты.

— Но почему же?..

— Потому что люди раздражены. Раздражены, понимаешь? Когда-то начинали вместе, шли в одной упряжке, а потом жизнь разбросала кого куда. И смириться трудно. Ну вот, скажем, Анатолий Лукич выпускает уже двенадцатую книжку, а у Мирона только первая на подходе. Он ее двадцать лет пилит. Толя мог бы, конечно, помочь при желании, он секретарь, член редсовета, то да се. Но не обязан. Никто никому не обязан, понимаешь?

Степан молчал, сосредоточенно обдумывая то, что услышал. Брови были нахмурены, смотрел в пол. Не поднимая глаз, спросил:

— А может, дядя Мирон написал что-то гениальное?

— Ну, не знаю. О войне. Он вообще-то несколько нудноват. Ушиблен Стендалем.

— А у тебя сколько книг?

— Черт знает... Кажется, семь не то восемь.

Возвращаться в большую комнату не хотелось, но было необходимо. Антипов уже поплелся было к двери, когда навстречу быстрыми шагами влетели Таня и Эллочка. Таня держала два разбитых фужера, а Эллочка несла в вытянутых руках скомканную, в виде большого куля, залитую вином скатерть. Таня была бледна, прошла мимо, не взглянув на Антипова, у Эллочки на лице мигала пьяная плутовская улыбка.

— Танюша, я все сделаю! Я уберу! — бормотала Элла и глазами объясняла Антипову нечто юмористическое.— Где у тебя совок и веник? Саша, дай совок!

— Я сама. Дай мне совок. Иди к гостям, Элла.

— Я и есть гость. Зачем мне идти? Дай совок, тебе говорят.

— Что случилось? — спросил Антипов.

— Мирон его взял за галстук, когда Котов вступился, он его толкнул...— Эллочка хихикнула.— Господи, время никого не меняет! Мне кажется, я где-то на вечеринке на Тверском. А ведь я уже бабушка.

— Саня, ты намерен все время находиться здесь? — спросила Таня.— В местах общего пользования?

— Я уже давно бабушка,— сказала Элла.— Моему внуку четыре года...

— Пойдем, Степанидзе,— сказал Антипов.— Будешь разнимать.

В разгромленной большой комнате в полутьме, при свечах, все сидели не за столом, а по углам, вдоль стен, на диване, ели мороженое и разговаривали спокойно. Толстый Котов в белой рубашке с расстегнутым воротом, под которым болтался полураспущенный галстук с эмблемою Олимпийских игр в Гренобле (Виктуар там побывал в спецгруппе спортивных журналистов, хотя отношения к спорту не имел), хрипел что-то медлительно, с одышкой на ухо очкастой седой Злате, сидя к ней вполоборота, развалясь, как и полагается директору такой могучей фирмы, как пансионат «Золотое перо». Остальные обсуждали письмо Гусельщикова. Сам Володя обретался где-то на юге с какой-то женщиной. Никто точно не знал, где именно. Антипов последний раз видел Володю в ночь под Новый год, тот туманно, обиняками что-то рассказывал о своем романе, но Антипова так кружили собственные переживания, что он ничего не запомнил. Маленький Дима Хомутович, превратившийся в мальчиковатого белобрысого старикашку, шептал восторженно и по секрету: роман классный! Злата, внезапно оторвавшись от Котова, сказала, что все это спекуляция. Злата работала в министерстве и привыкла разговаривать строго. Ее спросили: на чем? «На нашей боли!» — быстро ответила Злата. Таня разносила мороженое. Ее лицо ничего не выражало, губы были поджаты, как будто она держала во рту булавку. Мирон вдруг поднялся с бокалом в руке. «А я предлагаю тост за нас, неглубокоуважаемых!» Злата и Элла возмутились и сказали, что не надо валить всех в кучу. Мы считаем, что мы лучшее, что сейчас есть. «Мироша,— сказала Злата,— я тебе скажу словами моей свекрови, которая часто говорит моему

благоверному: Колюня, ты себе цены не знаешь! Так вот, Мироша, ты себе цены не знаешь». Элла сказала: «А я, кстати, считаю, что Саша написал две изумительные книги. Это шедевры русской литературы, я говорю серьезно. Пусть Саша меня простит за то, что говорю комплименты в его доме, немного бестактно, я понимаю, но это правда!» Тут все загалдели вроде бы в поддержку Эллы, на самом деле дурашливо, сводя дело к шутке, что было правильно, Антипов перехватил насмешливый взгляд Мирона, и ему опять стало скучно. Он вышел из комнаты как бы в поисках сигарет. Когда вернулся, обсуждали женщину, с которой Володя Гусельщиков уехал на юг, Люсьена знала ее по какой-то коктебельской компании. Она сказала, что женщина чрезвычайно расчетливая. Злата сказала: как бы она не просчиталась. Еще кто-то сказал, что считать сложно, много действий, извлечение корня, надо с помощью компьютера. Потом говорили о муже расчетливой женщины, который, как все согласились, вел себя не по-мужски. Но было интересно, чем все кончится. Мирон и Люсьена ушли последними. Мирон рассказывал Антипову, засыпавшему за столом, содержание последней главы своей книги, а Люсьена с Таней шептались на кухне. Было два часа ночи.

Вдруг Антипов проснулся от голоса. Он лежал в постели, под одеялом, а Таня сидела перед трюмо к нему спиной, расчесывала волосы. Она всегда сидела перед трюмо страшно долго. Была половина третьего. Он не помнил, как разделся и лег. Голос Тани был ровный, бессильный:

— Объясни, я тебя прошу, зачем ты это сделал?

— Что именно?

— Зачем? — Голос задрожал.

— Да что сделал? Позвал гостей?

— Зачем всем показывал, что меня не любишь? Что у нас все кончено? Какой ты жестокий человек!

— Господи, да я ничего не показывал никому...

— Тем хуже.— Она всхлипнула.— Значит, для тебя это естественно... Значит, ты так чувствуешь...

Он молчал: хотелось спать, саднила какая-то ранка, причиненная непонятно кем и чем. Неприятен был Квашнин? Задел разговор о Гусельщикове? Не было сил возражать Тане. Она плакала. Ну и бог с ней. Горбилась сутулой спиной и прятала лицо, чтобы не увидел в зеркало. Он упорно молчал. Он понимал, что

молчанием добивает ее, но язык не повиновался, существенных мыслей не было, в голове вертелись строчки: «Но в мире ином друг друга они не узнали». Таня обернулась, он увидел плоское измученное лицо.

— Зачем нам эта квартира, если...

— Не знаю,— сказал он.— Мне она не нужна.

Позвонила мать и попросила зайти. Антипов забеспокоился: что случилось? Ничего, просто давно не виделись. Он подумал: мать заболела. Уж очень спокойный и какой-то фальшивый, беззаботный был голос. Мать звала к себе редко, обыкновенно терпеливо ждала, когда у Антипова выберется клочок свободного времени и он заскочит на полчаса на Ленинский, а если уж звала, то по делу: забрать какую-нибудь банку варенья, или витамины, или книжки для ребят. Впрочем, такой беззаботный, загадочный зов был за последние годы дважды. Антипов приходил и узнавал неприятное. Однажды мать сообщила про болезнь Людмилы, советовалась насчет врача, он быстро нашел кого нужно, мать была в панике, Людмила держалась хладнокровно, ее муж Чилингиров оказался тряпкой, только хныкал и трясся от страха, операция длилась четыре часа, и все началось с невнятного звонка матери; другой раз мать вызвала для анекдотического разговора: Григорий Васильевич сделал ей предложение. Антипов и мать смеялись: Григорию Васильевичу семьдесят шесть, матери шестьдесят пять; разумеется, анекдот, и все же осталось какое-то беспокойство после этого смеха. У матери была, видимо, затаенная мысль о — пускай смехотворной — возможности такого события, недаром она вызвала его специально: рассказать и посмеяться. Антипов, в принципе, был не против. Пусть у матери будет личная жизнь. Она заслужила. Ведь почти тридцать лет обходилась без личной жизни, а он по себе знает, как это трудно, даже неделю без личной жизни не проживешь. Григорий Васильевич не так уж плох, чем-то даже занятен, с ним можно поговорить о том о сем, выпить по рюмке. Кроме того, он безмерно уважает отца. И это всех подкупило, кроме Людмилы, которую не подкупишь. Уважение к отцу приняло у него совершенно нелепые по своей грандиозности формы. Он носит, например, фотографию отца в бумажнике и, вспоминая о нем, рассказывая в сотый раз какую-ни-

будь байку времен двадцатых годов, вынимает фотографию и обращается к ней, как бы призывая отца в свидетели. Это не значит, что он знал отца хорошо, он знал его бегло и кратко, но отец, по словам Григория Васильевича, отстоял его — не допустил исключения из партии в чистке двадцать восьмого года. Благодарность Григория Васильевича не истлела за долгие годы, и он был истинно счастлив, когда лет пять назад смог найти вдову Антипова и земно поклониться ей за все хорошее. Потом уж возникли другие замыслы. Но все было чисто, бескорыстно. Он не лукавил, когда говорил, что отец сохранил его для партии и он будет помнить об этом до конца дней! Нет, человек он в своем роде замечательный, и неприятное заключалось не в его персоне, не в комической стороне дела, а в том, что утратится и исчезнет какая-то часть душевного прибежища, вроде шалашика детских лет в глухом углу сада, скрытого от глаз и принадлежавшего ему одному. Сестре Людмиле Григорий Васильевич не нравился, она была против всего, даже против того, чтобы Григорий Васильевич приходил в гости и пил чай из семейных чашек. Она как раз бескорыстие и чистоту подвергала сомнению. И все старалась додуматься: каковы мотивы? Зачем нужна мать? Но Людмила давно жила с Чилингировым отдельно от матери, в Черемушках, и не могла следить, как выполняются ее указания. Григорий Васильевич приходил. И пил чай из семейных чашек. Антипов был не против. Разговаривая с матерью по телефону, всегда передавал приветы Григорию Васильевичу. Но, когда задумывался о будущем, становилось немного не по себе. Легко ли лишиться прибежища? Ведь самое лучшее прибежище, самое прочное, тайное, если в нем поселяется еще кто-то, перестает существовать. И в тот раз, когда мать вызвала для странного разговора, он не нашел ничего лучшего, как сказать со смехом: «Мама, а может, есть смысл проверить чувства? Несколько подождать?» И мать, смеясь, кивала: да, да! Зачем пороть горячку, надо повременить, пока жениху не стукнет, скажем, лет восемьдесят, а невесте будет под семьдесят, тогда можно что-то решать. «Давно я так не смеялась! — говорила мать, вытирая слезы.— Но я прошу, сын, об этой чепухе никому не рассказывай, а то мне стыдно. И Тане не говори. Мне кажется, она все воспринимает чересчур всерьез. С юмором у нее не блестяще, правда?»

Мать занимала комнату в двухкомнатной квартире на Большой Калужской, которая называлась теперь Ленинским проспектом, переселилась сюда несколько лет назад, когда Людмила уехала в Черемушки. В другой комнате жила пенсионерка с неженатым сыном, вялым, пухлым, безусым, с кроличьим выражением лица, он работал где-то радиотехником, а в свободное время сидел дома, уставясь в телевизор. Мать была довольна соседством. Говорила, что люди скуповатые, больные, недалекие, говорить с ними не о чем, но тихие, а это главное. Старуха пенсионерка отворила дверь, наклонила седую голову в знак приветствия, а во взгляде, обыкновенно робком и ускользающем, мелькнуло недоброжелательство.

— У тебя все в порядке? — спросил Антипов, входя в комнату матери.

— Абсолютно,— сказала мать.— Почему ты спросил?

— Соседка посмотрела как-то косо...

— Они странные, ты же знаешь. Нет, все в порядке. Ах да! — Мать засмеялась.— Сейчас они в некотором смятении, боятся, что Григорий Васильевич переедет сюда окончательно.

— А почему боятся?

— Ну, просто боятся люди. Уж на что я пуганая ворона, но они в десять раз пуганее. Не понимаю отчего. Ведь не пережили того, что я, всю жизнь в Москве, особенно не нуждались. А вот куда-то пойти, с кем-то поговорить, даже в ЖЭК за справкой — для них проблема. Да я перед ними герой! Я свободно и в ЖЭКе разговариваю, и в нашей поликлинике, и в пошивочной с начальством, когда надо чего добиться... А они не могут... Тут недавно она чуть не со слезами: «Милая, я вас очень прошу, позвоните на почту, спросите, почему мне пенсию на два дня задержали...» Как тебе нравится? А у самой языка нет насчет своей пенсии спросить...

Мать так долго говорила о чепухе потому, наверное, что не решалась перейти к *делу*. А какое-то *дело* было. Антипов сказал:

— Ну слава богу, если все в порядке.

— У меня-то в порядке...— Мать сделала паузу, глядя на него выжидательно, но он молчал, совершенно не догадываясь, на что мать намекает. Она сказала: — Вчера ко мне заходила Таня.

— Правда?
— Она не была на этой квартире ни разу.
— Знаю. С какой же целью?
— Да с какой целью...

Мать вздохнула и заговорила с усилием. Ей не хотелось этого разговора. Она никогда не вмешивалась в жизнь сына и дочери; правда, надо сказать, не было необходимости вмешиваться. Если бы возникла такая необходимость, она бы, конечно, вмешалась. Но дети ее не огорчали. Она привыкла ими гордиться. И вот приходит женщина, рыдает и говорит, что ее сын нехорош, нечестен, что он разлюбил, хочет бросить детей, что у него есть другая, что все погибло. На приеме, который невестка устроила из последних сил для четырнадцати человек, никому не нужных старых друзей, ей все стало ясно. Он вел себя красноречиво — за вечер не сказал ей ни слова. Даже слепые могли увидеть, что она для него пустое место. Но окончательно раскрыла глаза одна женщина, которая там была. Жена его закадычного друга. Она назвала имя той, с которой сейчас роман: работает на киностудии то ли редактором, то ли режиссером. Опасная хищница, известная в Москве, и, уж если в него вцепилась, она его не отпустит. А муж этой женщины большой человек, зачем ей нужен Антипов, непонятно. Просто хочет его погубить. Мать, ошеломленная услышанным, пыталась высказать сомнение или хотя бы успокоить рыдающую: а можно ли верить жене закадычного друга? Та, рыдая, кивала: можно, можно! Чистая правда! Но почему же не поговорить с сыном, если доподлинно все известно? Говорить невозможно. Собиралась с духом несколько раз, но все вокруг да около, а о главном — о женщине — не может произнести ни слова. Никогда не была в таком положении и не думала, что окажется. Врагу не пожелаешь. Чего же вы хотите, боже мой? Сама не знает чего. Приход сюда — глупость. Пришла от малодушия, от отчаяния. И вообще она на грани каких-то плохих поступков...

Тут Антипов впервые заговорил:
— Каких же?
— Не знаю. Я растеялась. Она меня огорошила... Мне и жаль ее, конечно...

Союз «и» мать выдал. Надо было действительно дойти до отчаяния, чтобы кинуться к матери. Значит, все накапливалось давно. Он не замечал. Мать смотре-

ла на него пристально и как-то по-новому, изучающе,— по-видимому, он ее удивил...

— Сын, а эта женщина...— Несмелым движением положила руку на его руку.— Она существует?

— Да. То есть почти уже нет.

— Она какая-нибудь особенная?

— Нет.— Он покачал головой.— Ничего такого сверх...

— Моложе Тани?

— Мама, не имеет значения. Ну, моложе. Я же сказал, ее почти уже нет.

Мать вышла из комнаты — ее как будто толкнул тон раздражения, прозвучавший в его голосе. Он смотрел в окно и думал: почему почти уже нет? Какой вздор. Так не бывает. Не может быть «почти жизнь» или «почти смерть».

Утром прошел мокрый снег, сейчас он уже растаял и асфальтовая площадка перед отелем была черная и блестящая, а там, где асфальт кончался, виднелась грязная земля с лохмотьями прошлогодней травы. Перед входом в отель стоял длинный автобус, ярко-красным прямоугольником алела внизу его крыша. По грязной тропинке в горы карабкались лыжники, держа лыжи на плечах. Лыжников было много: одни возвращались с гор, другие только еще шли. Все они несли лыжи на плечах. Казалось странным, что где-то недалеко, наверху, есть снег и можно ходить на лыжах. В коридоре пахло свежевыглаженным бельем. Группа немцев в ярких толстых пуловерах из искусственной шерсти прошла навстречу, громко переговариваясь и хохоча, щеки были красные, глаза блестели, они возвращались из ресторана, каждый держал в руках, как гранаты, по две бутылки «пильзнера». За ними шел по коридору вчерашний горбун в красной клетчатой кепке, что гулял с собаками. Выражение лица у горбуна было, как и вчера, презрительное. Никто из них даже не взглянул на Антипова, хотя на его лице было все написано. В фойе перед лифтом Антипов вновь метнулся к окну; возле алого прямоугольника автобуса теперь густела толпа, черные, темно-коричневые пальто, меховые шапки, но зеленого пальто и белого берета он не увидел. Носатый портье в золотых очках, стоявший за массивным, похожим на прилавок магазина столом

рецепции в вестибюле, холодно посмотрел на Антипова и, вдруг наклонившись, заговорщицким шепотом проговорил по-русски:

— Мой совет поехать фуникулер на гора, на пик. Вы увидите фуриозный ландшафт, Високи Татры.

— Большое спасибо,— сказал Антипов.— Дзенькуе вам.

В автобусе уже сидели человек двенадцать. Но ее не было. Тут находились обе дамы из бухгалтерии Госкомитета, был старик киновед из Ленинграда, его молодой коллега, усатый красавец грузин, четверо девушек из издательства и тот тип, который всю дорогу читал роман «И один в поле воин». Еще какие-то люди бежали к автобусу. Ее не было. Антипов, охваченный тоскливым волнением, хотел уже выскочить из автобуса, но вдруг увидел зеленое пальто. Ирина не спеша поднималась к асфальтированной площадке снизу, со стороны шоссе. Люди в автобусе махали ей руками. Константин Герасимович, руководитель группы, стоя одной ногой на асфальте, другую укрепив на ступеньке автобуса, кричал что-то командное, сложив руки рупором. Дамы из бухгалтерии говорили: «Все должны ее ждать!» Ирина приближалась гуляющим шагом. Кто-то сказал: «Как будто нарочно». Еще кто-то: «Но это в ее стиле». Третий голос спросил: «А мы куда-нибудь опаздываем?» Антипов не мог отделаться от чувства, что все возгласы, нарочито громкие, сердитые, произносятся для него. Мужчина, читавший роман «И один в поле воин», оторвался от книги и сказал с неожиданной свежей злобой: «Надо научиться наконец уважать правила общежития!» Ирина впорхнула в автобус на излете этой реплики, что-то залепетала, ответом было молчание. Антипов похлопал по сиденью — он все время держал на нем руку, чтобы кто-нибудь не сел,— и Ирина быстро опустилась рядом, прошептав:

— Меня все ругают?

— Почему вы не пришли на завтрак? — спросил он тоже шепотом.

— Почему? — Она посмотрела удивленно.— Я проснулась в десять утра.— И совсем неслышно: — Я не привыкла к такому режиму.

— И я не привык,— сказал он.

Еловый бор подступал к шоссе. Из-за деревьев выглядывали на миг и пропадали домики пансионатов и гостиниц, мелькали по обочинам аккуратные дорожные

знаки и выкрашенные красной краской ящики для мусора, прикрытые деревянными двускатными крышами, спасающими мусор от дождя. Автобус обгонял гуляющих. Все они, даже маленькие дети, были одеты по-спортивному, все в брюках и в лыжных куртках. Дети останавливались и махали автобусу руками.

После долгого молчания она сказала:

— Вы привыкли.

— Нет. Не привык.

— Привыкли. Я поняла.

— Почему?

— Ну, поняла. Я просто уверена в том, что привыкли. К сожалению.

— Какие доказательства?

Они шептались отрывисто, не видя друг друга, глядя в окно.

— Доказательства есть. Приведу их когда-нибудь в другой раз. Сейчас не хочу. А сейчас утверждаю бездоказательно, но твердо — привыкли! Но ничего ужасного в этом не вижу. Просто немного жаль...

— Немного что?

— Жаль.

— Меня или себя?

Она засмеялась. Впервые за время разговора посмотрели друг на друга. Он увидел синие сияющие глаза. Группа расположилась впереди, они двое сидели на заднем сиденье, мотор ревел, никто их не видел и не мог слышать.

— Может быть, немножко, самую, самую чуточку,— показала пальцами, какая это ничтожная величина,— жаль себя. Но уж не вас, конечно.

— Неправда,— сказал он и накрыл ее пальцы ладонью.— Я не привык. И не спал ни минуты.

— Ох, мамочка...— Она качала головой.— Свежо предание!

То утро запомнилось до малейших подробностей. Накануне была ночь. Он много пил, курил, был разбит, его знобило, он был непонятно счастлив. Непонятно! Ведь уже не мальчик, когда ночь может осчастливить открытием; никакого открытия не было, но было что-то иное, сотворившее счастье. Незаметно спуск с горы кончился, отмелькали ели, дорога шла по равнине, еще темной и влажной, недавно освободившейся от снега, и вот замаячили впереди черепичные, морковного цвета кровли старого города. Все было неинтересно. Анти-

пову хотелось, чтоб автобус сломался, чтобы все разбрелись кто куда, они бы вдвоем ушли далеко, и автобус уехал бы без них. Но автобус не сломался, благополучно достиг города и остановился на горбатой площади, мощенной брусчаткой. Подошел гид, старичок в котелке, в старомодном пальто с бархатным воротничком.

— Товарищи! Друзья! — сказал он торжественно, поднимая руку.— Будем ходить немножко быстрей, потому что находит гроза!

И он быстрыми шагами, придерживая рукой котелок, пошел через площадь, и все толпой двинулись за ним. Когда старичок остановился возле белого каменного обелиска и стал рассказывать про восстание сорок четвертого года — на этом месте фашисты расстреляли группу словацких партизан,— издали донесся первый удар грома. Низко неслись облака. Они были грифельного цвета. Брусчатка площади, стены, крыши домов — все было светлее, чем облака. У старичка погибли зять и племянник во время восстания. Он волновался, путал слова, некоторые забывал, ему подсказывали по-немецки, он обиженно благодарил и то и дело смотрел в небо. Обе дамы из Госкомитета непрерывно что-то писали. Антипов стоял возле Ирины, и она чуть заметно прислонялась к нему плечом.

— Друзья мои! — закончил старичок.— Запомните эту скромную площадь! Запомните эту совсем неприметную старую церковь с грубым крестом из камня. Здесь будет стоять наш автобус.— Придерживая котелок, он побежал по площади вниз, вдруг замер, точно остановленный порывом ветра, и крикнул: — Ах да! Вот! Отъезд будем делать в два часа! Никто не опоздайте!

Антипов и Ирина опоздали. Гроза им содействовала. Когда спускались в хвосте толпы с горбатой площади вниз, оглушительно треснул гром, и тотчас с обвальным шумом, неся с собой внезапный холод, обрушился ливень; это был знак того, что раскололась судьба и ливень понес их в другую сторону. Они промокли насквозь, прятались во дворе под черепичным навесом, бежали куда-то, прыгали в подвал с надписью «Kavarna», хохотали, пили молочный коктейль, официант говорил «Prosim», над головами с гулом катилась вода. Через толстое стекло они видели срез ручья, он был полноводен. Но как хотелось, чтобы скорее кончился

ливень! Лишь только выглянуло солнце, они побежали на площадь, сели в городской автобус и примчались в отель. Коридоры были пустынны. Они не слышали телефонных звонков, временами рассказывали друг другу что-то о себе. Она мечтала с ним познакомиться, потому что знала все его книги. Даже ее дочка двенадцати лет удивлялась: «Мама, почему ты всегда читаешь Антипова?» Хотела поставить кукольный фильм по его рассказу и однажды набралась храбрости, позвонила, он ответил сухо: нет, не интересует. Он не помнил звонка. Но верил каждому ее слову, потому что нельзя было не верить глазам, полным слез, неутомимым губам, мягчайшей коже, которая облепляла его, как жадный горячий пластырь, нельзя было подделать стоны, абсолютной истиной звучали хриплые вскрики, он испуганно заглушал рот поцелуями и верил тому, что он для нее самый любимый, что он выше Чехова, выше Хемингуэя, Толстого, Гомера, верил, верил, верил до изнеможения, верил всем существом, верил всему. Наступила темь. Они не обедали, не ужинали. Неведомо когда спустились в ресторан, играл оркестр, горбун в глупом желтом жилете изредка стучал в барабан, поглядывая презрительно в зал. Антипов заказал бутылку шампанского. Спросил: что будет дальше? Она сказала: приедем на Киевский, расстанемся, ты позвонишь, мы встретимся, еще встретимся, потом будет скандал, потом все кончится. Но, что бы ни было, она будет любить его всю жизнь. Он недоумевал: неужели и этому верить? Ее глаза в полутьме светились. Иногда брала его пальцы и порывалась поцеловать, но он отнимал руку. Константин Герасимович легким бегом догнал в коридоре и шепнул: «Имейте в виду, больше никогда не поедете за границу!» Антипов посмотрел на коротконогого человека, стриженного бобриком, и не нашелся что ответить, а она засмеялась. Ночью гуляли в саду. Привратник ворчал, открывая дверь. Антипов дал ему кроны, и он сказал: «Prosim!» Когда возвращались, озябнув, с ледяными руками, во втором часу ночи, привратник распахнул дверь и поклонился: «Gute Nacht, meine Herrschaften!» Антипов выяснял, почему она решила, что он п р и в ы к. Оказывается, в первую ночь он бормотал во сне женское имя, но не ее и не своей жены. Чье же? Ему лучше знать. Но он не знал. Даже не мог предположить. О, значит, много имен! Не имея никакого права, она уже ревновала. И ничего не знали

друг о друге, хотя казалось, что знают все. И он верил в то, что это последнее знание, исчерпанное до дна.

Дальше все было так, как она предсказала.

Перезванивались, встречались, она плакала, он мучился, чего хотел — неизвестно, она говорила, что любит его больше всех, больше дочери, муж был не в счет, его как бы не существовало, говорила, что Антипов — самый необыкновенный, добрый и прекрасный мужчина на свете и что такого, как с ним, она ни с кем не испытывала и, хотя знает, что будет ужасный конец, она счастлива, ни о чем не жалеет. Осенью она делала фильм о народных ремеслах, поехала в Суздаль, жила в мотеле, он приезжал, слышал, как она разговаривает с мужем по телефону, голос был сухой, страшноватый, другого человека. Она отдавала приказания. Насчет автомобильных частей кому-то позвонить, что-то достать. По-видимому, он разбирался в автомобиле хуже, в ее голосе звучало раздражение. Она повсюду ездила на автомобиле. «Знаешь, почему я не люблю туристские поездки? Потому что там я без машины. Без машины я не человек». Поговорив насчет запчастей и что-то спросив о дочери, она положила трубку, прошептав: «Тупица!» Был едва слышный шепот, не для Антипова, и он расслышал только благодаря отличному слуху. Но иногда говорила про мужа, что он необыкновенный, что такого порядочного и благородного во всей Москве не сыскать. Вдруг сообщила, что муж все знает, их засекли, он в безумной ярости и грозится их убить. «Не переживет моего ухода. Способен на чудовищные вещи». Об уходе не было и речи. Но Антипов пристал к ней душой. Этого не было в первые недели. Он не предполагал, что это будет. А теперь он скучал без ее болтовни, без ее рассуждений о том о сем, о книгах, о событиях, об общих знакомых (которые пока не догадывались о том, что они общие), томился без запаха ее духов, ее смуглой, с восточным подмесом кожи, ее темных волос и синих глаз, привык к словам о том, что он сейчас «единственный писатель, о ком можно говорить всерьез». Дома он не слышал такого. Он не думал, что сможет оставить Таню. Слишком много прожито вместе, почти двадцать лет. Но, может быть, именно потому? Все соки высосаны из этой жизни, не осталось ни вкуса, ни запаха, одни сухие, добротные, прочные изжеванные волокна. Таня не понимала, как он изменился за годы, и от непонимания

шла беда. От непонимания была сухость во рту. А та женщина понимала. И жалела его. И могла пожертвовать ради него всем. Она говорила, что готова пожертвовать, и он верил.

Зимою встречались реже, не было места, иногда разговаривали по телефону, она начинала плакать, умоляла что-нибудь придумать, иначе она заболеет, произойдет несчастье, и он находил — с помощью Мирона, который не знал, для кого, хотя проявлял страшное любопытство,— нечто неудобное и рискованное; встречи получались скомканные, наспех, с горьким привкусом преддверия конца. Раза два в морозы, когда некуда было пойти, уезжали на кольцевую, останавливались в глухом месте, мотор работал, в машине было тепло, тревожно, сладко, но как-то по-американски, как-то вроде на троих на бульваре, чокнулись и разошлись, и они чувствовали себя несчастными. Каждая встреча казалась последней. Не было будущего. У нее заболела дочь, она обо всем забыла, погрузилась в болезнь, он старался помочь, куда-то звонил, искал профессора, муж проявил себя идеально, совершил поистине чудеса настойчивости и устроил дочь в самую лучшую клинику к самому лучшему специалисту, и по этому поводу говорилось, что такой человек заслуживает вечной благодарности и она никогда не сможет причинить ему боль. Через некоторое время дочери стало лучше, она пошла в школу, и он опять испытал прилив любви к себе. Но тут у него настала черная полоса, везде все застопорилось: сценарий отвергли, роман застрял в недрах журнала. И, как на грех, от ее мужа кое-что зависело. Он занял новый пост. Ему подавали черную «Волгу», его имя мелькало в газетах: выступил такой-то, принял участие такой-то. Знакомые говорили: хорошо, что такой-то занял этот пост. Он порядочный человек. Антипова же леденила догадка: не его ли вина в том, что все застопорилось? И однажды в чужой квартире, холодной и гнусной, он высказал это предположение. Она возмутилась: «Ты с ума сошел! Он благороднейший человек. Он тебя ненавидит, конечно, но подлости не сделает». Слово «благороднейший», которое она повторяла часто, его задело. Он сказал, что благороднейшие люди отличаются как раз тем, что никого не ненавидят. Ненависть — не свойство благороднейших людей. А ты хочешь, чтоб к тебе относились по-доброму? Чтоб тебя благодарили за то, что ты отнял жену? Он

сказал, что жену пока не отнял. И он единственно против неточных слов — не надо называть благороднейшим человека, который ненавидит, как все смертные. Ей это не понравилось. Может, ей не понравилось то, что он сказал: жену пока не отнял. В тот вечер простились прохладно. И она не поцеловала его, как обычно, когда прощались, в машине. Но через неделю раздались звонки, Таня подходила к телефону, бросали трубку, он спустился вниз и позвонил из автомата. «Ты звонила?» — «Да! — сказала жалобно.— Не могу без тебя. Прости, я тебе нагрубила...» Была страстная многочасовая встреча в квартире ее подруги, которая уехала куда-то на несколько дней. Квартира была просторная, но неряшливая, как жилище холостяка, в прихожей стояли лыжи, велосипед, а в комнатах висели фотографии красивых девушек, некоторые были изображены обнаженно и частями. Он спросил: что это значит? Она фотограф. И любит снимать женщин. А какие у тебя с ней отношения? «Замечательные! — Она смеялась, целуя его.— Она отличный товарищ. На нее можно положиться, как на мужика. Среди женщин это редко!» Поздним вечером пили чай на кухне, ели чужое печенье, чужой мармелад, курили чужие папиросы, и он рассказывал о своих неприятностях: нигде ничего не двигается, деньги на исходе. Она, жалея, гладила его руку, слушала молча, спросила: много ли нужно? Не придавая разговору значения, он беспечно отмахнулся: много! Надо делать взнос за кооперативную квартиру. Через полгода въезжать. Она смотрела с ужасом. «Ты строишь квартиру?» — «Да. Я говорил тебе».— «Ты не говорил!» — «Я говорил. Ты забыла».— «Я не могла забыть такой вещи! Ты строишь квартиру. Для своей толстозадой Таньки». Она впервые высказалась о Тане злобно и назвала ее по имени. Раньше никогда ничего не говорила о ней, будто Тани не существовало. Впрочем, однажды произнесла насмешливо и таким тоном, точно догадалась о чем-то: «А, знаю! Ты любишь, чтоб здесь было много». И руками показала за спиной. Сама-то стройная и гибкая, хотя не так уж юна, гимнастическое прошлое выручает. Не надо было говорить о квартире. Он не делал из этого тайны, и она знала, конечно, но не надо было напоминать. Опять прозмеилась трещинка в конце свидания. Но он не отнесся к трещинке всерьез: не могла же она, в самом деле, требовать, чтоб он отказался от квартиры! С какой стати?

Ведь и она пока ни от чего не отказалась. Нет, тут был наигрыш, было желание постоянно напрягать и без того тугую нить, соединявшую их. Однако, когда он позвонил на другой день, она разговаривала едва слышно, убитым голосом, ничего нельзя было понять, наконец выяснилось — полночи проревела в ванной. Он испугался: «Ира, да что происходит?»

Идти в тот вечер было некуда. Поехали зачем-то за город, в знакомое место под деревней Песьево. Лесная дорога вела к озеру, на берегу которого была окруженная ветлами полянка; летом шоферы пригоняли сюда машины и мыли их водою из озерца. Зимой тут были тишь, безлюдье. Было глупо ехать в такую даль для того, чтобы разговаривать: разговаривали по дороге, разговаривали у озера, а на обратном пути молчали. Он пытался выяснить: отчего она ревела полночи? Вразумительного ответа не было. Оттого будто бы, что он строит квартиру и, значит, всему конец. Но конец бывает из-за другого, не из-за квартир! Значит, из-за другого. Какая разница. Важно, что конец. Неужели она хочет, чтобы он по-прежнему жил в тесноте? Не мог бы работать? Скитался бы по гостиницам и домам творчества? Он устал от такой жизни. Он уже старикашка. Ему сорок пять. Она сказала: «Ты не старикашка, и тебе ничего не нужно. Ты можешь жить где угодно. Я тебя знаю. Ты строишь квартиру не для себя, а для нее. Это ей нужно. Она настояла». Говорила правду. Но почему с такой злобой к женщине, которой сама делала зло? Таня не догадывалась о том, что сейчас ее убивают. Нельзя ли убивать как-то великодушней? Да, Таня мечтала о квартире, ей казалось, что в новом доме начнется новая жизнь и возвратятся старые времена.

Антипов тупо молчал весь путь до Москвы. Женщина говорила правду и притом была несправедлива, и, однако, он понимал ее и не мог с нею примириться. Он видел, что она любит и страдает. Но так ничего не чувствовать, кроме своих любви и страданий! Ведь она не предлагала соединиться, хотя как-то у нее вырвалось: «Было бы счастьем ничего не бояться и всю ночь рядом с тобой...» Он вспоминал самое больное, язвящее, что она говорила в лесу, в темной машине: «Такие люди, как вы, как ты и мой муж, достойны уважения, но и жалости. Вы с ним одной породы, только ты талантлив, а он нет. Поэтому люблю тебя, а не его. Но вы оба узники сгоревшей тюрьмы. Кандалы истлели, а вы

все боитесь тронуться с места. Ведь ты писатель каких мало. Ты не смеешь заниматься чепухой! Пусть она занимается. Ты обязан жить творческой жизнью, а у тебя нет возможности, вот что ужасно!» Когда прощались, он сказал: «Дело в том, что Таня чепухой заниматься не умеет. К сожалению, должен заниматься я. Ты уж извини».— «Ну и занимайся. Извиняю,— сказала она.— Звонить мне больше не надо».

Так и простились в декабре, за десять дней до Нового года. И он мучился и старался понять: почему? Чего она хотела от него? Должна быть основная причина. Что-то главное скрыто, надо было догадаться, но он не догадывался. Он решил про себя: ну что ж, книга прочитана. Была захватывающая книга. Нельзя оторваться. Но ничего больше того, что в книге написано, прочесть нельзя, значит, надо прощаться, книгу вернуть, владелец нервничает.

И, как ему было приказано, не звонил.

Тут началась суета с Новым годом, и он немного рассеялся и отвлекся. Каждый год в конце декабря затевалась эта мотня, переговоры по телефону, уламывание Тани. Идти или не идти? Куда? С кем? Таня обычно никуда не хотела, упиралась свирепо, даже, бывало, притворялась больной, лишь бы остаться дома с детьми и не делить мужа ни с кем. Но дети теперь сами не сидели дома. И Таня нынче не упиралась — ей хотелось сделать так, как хочет Антипов. А ему было все равно. Вдруг он стал прежним, добрым, кротким, покладистым, желавшим ее ласки, чего не было давно. Он ничего не объяснял. Просто однажды ночью домогался ее страстно, как в юные годы, она была счастлива, изумлена. Правда, среди ночи в бреду стал требовать от нее чего-то невозможного, она сделала вид, что не понимает, и услышала, как он засмеялся сквозь сон и забормотал невнятно.

А в ЦДРИ, куда их тащили Мирон с Люсьеной, собиралась веселая банда: режиссер Поплавков, художник Спирин, Володька Гусельщиков, кто-то из актеров, популярный поэт Самшитов, с которым Антипов познакомился в Коктебеле, друг Самшитова, переводчик с французского Кубарский и откуда-то взявшийся Ройтек. Из-за Ройтека все пошло наперекосяк и чуть не рухнуло. Поэт Самшитов сказал, что за одним столом с Ройтеком сидеть не станет. Почему? Объяснений не было. Не сядет, и все. Поэт Самшитов был знаменит,

и всем хотелось, чтобы он сидел за столом. Но как быть с Ройтеком? Его пригласил Поплавков, заинтересованный в нем, ибо Ройтек был главным консультантом Центрокино и как раз теперь через дебри Центрокино продиралась заявка, по которой Поплавков надеялся поставить замечательный фильм. И он ни за что не хотел уступать Ройтека. Но Самшитов держался твердо. Мирон говорил, что при виде Ройтека он покрывается аллергической сыпью. Антипову было все равно. Ройтек давно уже не был тем разбитным газетным ловчилой, какого помнил Антипов, он стал мастит, седовлас, выпустил штук пять книг публицистики, цепко полз по административной лестнице вверх. Гусельщиков был почему-то за Ройтека. Скорей всего из снобизма.

Но для Антипова все вдруг осложнилось. За ужином Степан спросил: «Вы вроде будете в компании с Романом Викторовичем Ройтеком?» — «Кажется, да,— сказала Таня.— Но не уверена. Я этим мало интересуюсь». Она еще надеялась, что дело сорвется и они останутся дома. Антипов сказал: «Да. А что?» — «Папа, у нас просьба: задержитесь там подольше. Как можно дольше. Лучше всего до рассвета. И еще лучше — до вечера первого января.— Антипов смотрел с недоумением, сын продолжал веселиться: — Можете довести себя до алкоголической комы. Пусть будет легкая реанимация. Дело займет дня два, но все закончится хорошо и вы вернетесь домой еще крепче и здоровей, чем были!» Сын бессмысленно хохотал. Таня пришла на помощь: «Ты разве не знаешь, что новая знакомая Степки — дочь Ройтека? Они будут встречать Новый год на квартире Ройтека».

Он не знал. Вот хитросплетения жизни!

Новая знакомая появилась месяц или полтора назад, звали ее, кажется, Настей. Она заменила Милу. К Миле Антипов успел привыкнуть. Но дочка Ройтека? Эта крашеная, в расписной болгарской дубленке, с ярким макияжем? Ей, наверное, лет тридцать? Двадцать шесть. Она окончила ГИК и снялась уже в трех фильмах. Наверно, была замужем? Есть дети? Замужем была. Детей нет. Антипов подумал: «А почему, собственно, такой сарказм? В моей жизни была Сусанна. Ей было сорок. И она была другом».

Таня смотрела на долговязого, ростом метр восемьдесят два, сына с тайным испугом и состраданием: ис-

пуг оттого, что боялась увидеть в характере сына то, что более всего и непобедимо страшило ее в Антипове, которого она подозревала в женолюбии, а сострадание вызывалось тем, что ей уже мерещились сыновьи беды. Когда-то давно, когда они были откровенны и сильно любили друг друга, Антипов рассказывал ей о женщинах, и она его жалела. Ему так долго не везло, пока он ее не встретил! Все эти Сусанны, Наташи, Галины не приносили ему ничего, кроме страданий и несчастий. Они не умели его понять. Неужели такая же судьба грозит Степке? Неужели и ему надо будет пройти цепь разочарований, унижений, обид, душевных мук, прежде чем он встретит достойного человека? Разумеется, он умен, в нем есть чистота, которую всякая женщина ценит, а кроме того — он сын писателя Антипова, тут тоже есть привлекательность. Ничего странного, что женщины к нему льнут. А он доверчив. Ему всего девятнадцать. Эта Анастасия Романовна, как она представилась, когда впервые пришла в дом и протянула царственным жестом, как бы на сцене, как бы для поцелуя, длинную полную руку с золотым браслетом, сразу насторожила Таню: что общего могло у нее быть с юнцом, баскетболистом, студентом, который еще недавно заикался и краснел, разговаривая с женщинами?

Об этом думала Таня, глядя на сына с пронзительным сочувствием, как на предназначенную к закланию жертву, но не решалась сказать вслух. Степан же сказал: «Да! Настя просила передать, она слышала, что ваша компания может развалиться и Ройтек, чего доброго, останется дома. Так вы уж, пожалуйста, не разваливайтесь».

В ЦДРИ был наплыв. Вся модная, светская, золотая, фарцовая, деляческая Москва рвалась в дом муз: здесь ожидались цыгане, клоуны, гороскоп, лотерея, французские легкомысленные фильмы всю ночь. И женщины нервничали, боясь, что праздник сорвется из-за капризов мужчин, которые, по их мнению, вели себя как женщины: с тем вожусь, с этим не вожусь. Люсьена с возмущением звонила Тане: «Мой совсем сбрендил. Сказал, что, если Ройтек появится, он устроит скандал. Что за идиотская гордыня? Кто они такие? Чем они лучше Ройтека?» Таня сказала, что все же, по ее мнению, лучше. Люсьена бушевала: «Ничем не лучше! Бездарности! Импотенты!» Позвонила жена Самшитова, с которой Антипов был знаком шапочно, и

вкрадчиво объяснила позицию самого Самшитова, чтобы не было разнотолков, чтобы не выглядело выкаблучиваньем. Причины серьезные. Самшитов никогда не простит Ройтеку одного его выступления в юмористическом журнале. Коля Кубарский тогда сказал ему в лицо: вы человек с ампутированной моралью. Антипов чувствовал себя подавленным, и единственное, чего ему хотелось,— позвонить. Но было невозможно. И он говорил, мучаясь: «Я понимаю вас».

Прошла неделя, с тех пор как расстались. Он бросался к каждому телефонному звонку, надеясь, что она одумалась и звонит первая, ведь это она дала приказ не звонить и только сама могла его отменить. Тридцатого декабря в восемь утра раздался звонок, Антипов опрометью кинулся из ванной, натягивая халат, с недобритой щекой, с колотящимся сердцем, ибо решил, что звонит она, нормальные люди не звонят в такую рань, и, сорвав трубку, шепотом крикнул: «Да! Слушаю!» Но был мужской, надтреснутый, тонкий знакомый голос: «Александр Николаевич, милый, извините, что рано, но я убегаю, а дела неотложные, надо как-то решить...— Был Ройтек. Антипов не разговаривал с ним по телефону пять лет.— Родной мой, мы находимся в колебании. Позвольте быть откровенным. Мы очень хотели пойти в ЦДРИ, нас позвали Женя Спирин, Юра Поплавков, Данильянцы, и вас мы знаем давно... Все очень хорошо... Мы вносим деньги... Но вдруг появляются новые действующие лица. Нас не предупреждали. Милые мои, так не делается! Это же деликатнейшее дело — составление новогодней компании. Нельзя же махом, в одну кучу». Антипов спросил: «Вы кого имеете в виду, Роман Викторович?» — «Вы знаете кого. Самшитов — пошляк. Но я бы его терпел. Однако еще Кубарский. С ним я не желаю иметь контактов».

Смысл звонка, возбудившего сильное сердцебиение и прилив тоски у Антипова, был таков: сказать товарищам, что, если Ройтеки не придут, не искать сложных причин. Виноват Кубарский. Было скучно обо всем этом думать, Антипов не думал. И никому не сказал о звонке Ройтека, о котором просто забыл. А новый, семидесятый был меж тем близок: по утрянке и вечерами клубился народ на елочных базарах, везде было уже пусто, хвойный сор чернел на снегу, пьянчуги продавали чахлые деревца во дворах, толпа ворочалась на площадях, катилась по проспектам, терлась морозны-

ми шубами в магазинах, тащила громадные авоськи с апельсинами и торты «Сказка», перевязанные бечевкой. Антипов слонялся по городу, останавливаясь возле телефонных будок. Везде были очереди, он терпеливо стоял, ждал и уходил, не позвонив. Не знал, что презирать в себе: малодушие или бессмысленное упрямство. Было ясно, что наступил конец. Год кончился. Гирлянды лампочек, висевшие поперек улицы, как сверкающие веревки для белья, оповещали об этом. И все же какая-то частица года еще теплилась, еще трепетала, жила! Оставались часы, мгновения. Еще можно было бросить две копейки в прорезь и дрожащими пальцами набрать номер. Антипов проходил мимо цветочного магазина, купил букет гвоздик и привез Тане. Она обрадовалась, ее лицо бурно покраснело, как бывало когда-то.

«Саня,— сказала робко,— а может, не пойдем никуда? Может, останемся дома?» — «Может,— сказал он.— Я не против».— «Правда?» — «Правда. Можно остаться».

Она погладила его шею теплой рукой. Он пошлепал ее по толстому, плотному бедру, и она наклонилась и, сняв очки, чтоб не упали, поцеловала его в темя. Он еще раз тихонько пошлепал по бедру. Было часов семь вечера тридцатого декабря. Ребят не было дома. Таня заперлась в ванной мыть голову. Он сел в кресло у телефона, набрал номер и услышал спокойный голос Ирины: «Слушаю вас».— «Это я,— сказал он.— Поздравляю с наступающим».— «Спасибо».— «Прими все слова и прочее...» — «Спасибо». Ее голос оставался спокойным. Она не поздравляла его в ответ, не была удивлена звонком и хотела, чтобы он поскорее положил трубку. Он спросил: «Ты где встречаешь?» — «В ЦДРИ».— «А! Ну хорошо, может быть, увидимся».

Когда Таня вышла из ванной и села к зеркалу расчесывать волосы, он сказал, что, подумавши, решил, что будет неудобно, если они не пойдут. Черт с ним, с Ройтеком. Можно не обращать на него внимания. «Хорошо,— сказала Таня кротко.— Пойдем». Его волнение в течение суток росло. Он думал о том, что с ним происходит, ибо происходившее было не вполне понятно: почему так судорожно и слепо, почти до отчаяния он мечтал в эти дни не о встрече даже, а хотя бы о разговоре? Встреча была бы неслыханным счастьем. Но ведь н е с л ы х а н н о е было недавно в порядке вещей,

не таило в себе ничего райского, ничего ослепительного, порой удручало, порой наскучивало, порой внушало: а надо ли все это длить? Теперь же колотилось сердце, отнималось дыхание от одной мысли о том, что она будет за соседним столом. И он улучит минуту, подойдет и вырвет объяснение: чего она от него хотела?

Тридцать первого декабря надо было написать хоть несколько строк, по кодексу примет. Антипов верил в приметы, будучи атеистом. Пожалуй, он мог бы назвать себя язычником. Он сел за роман, над которым мучился уже третий год, переделывая сначала по просьбе редакции, потом взялся улучшать сам. Роман назывался «Синдром Никифорова». Никифоров был писатель. Он жил в Москве нынче, в шестидесятых, был уже немолод, малоизвестен, малоудачлив, терзал себя и близких каторжным сочинительством, создавая книгу, в которой хотел опровергнуть самого себя: это был анализ несочинившейся жизни. В редакции, где раньше бесперебойно принимали и печатали прежние книги Антипова, роман «Синдром Никифорова» вызвал недоумение и увяз, как муха, в клею бесконечных отзывов, рецензий и обсуждений. Одних внутренних рецензий накопилось восемь. Ни одна не рубила напрочь, но все требовали чего-то кардинального и существенного, а в общем хоре складывалась невнятная музыка, напоминавшая похоронную. Есть такие мухи, которые, приклеившись к смертоносной бумаге, еще долго жужжат и сучат ножками. Так и Антипов долго жужжал и сучил ножками, требовал все новых отзывов, объективных обсуждений, но каждый отзыв лишь присоединялся к хору. Рецензенты не понимали: что хотел сказать автор романа «Синдром Никифорова»? Если Никифоров малоталантлив и малоудачлив, писать о нем неинтересно. Если талантлив, но малоудачлив, надо показать социальные корни неудач на фоне жизни страны. Антипову казалось, что у него есть корни и фон. Но говорили, что фон не тот, что это вчерашний день. И вообще писать о писателе — последнее дело. Это уж когда совсем не о чем, когда человек лишен впечатлений, не знает жизни, далек от людей, тогда, с горя, о писателе. Литература такого рода всегда худосочна. Роман можно спасти, взбурлив его свежей струей, а откуда взять струю, автору видней. Тут нельзя давать рекомендаций. Но дело в том, что «Синдром Никифо-

рова» не просто роман о писателе, а роман о писателе, пишущем роман о писателе, и даже более того — роман о писателе, пишущем роман о писателе, который тоже пишет роман о писателе, который, в свою очередь, что-то пишет о писателе, сочиняющем что-то вроде романа или эссе о полузабытом авторе начала девятнадцатого века, который составляет биографию одного литератора, близкого к масонам и кружку Новикова. Вся цепь или, лучше сказать, система зеркал, протянувшаяся через почти два столетия, была плодом фантазии одного человека — Никифорова, больного странной болезнью, проявление которой автор назвал «синдром Никифорова». Грубо говоря, это был страх перед жизнью, точнее, перед реальностью жизни. Читавшие рукопись, не только рецензенты, но кое-кто из друзей — Володя Гусельщиков, Лев Сергеевич Бруггер, доктор наук, Антипов подружился с ним недавно,— полагали, что Никифоров есть alter ego автора, что было ошибкой, хотя, конечно, много антиповского туда влилось, но лишь от того секундного, повседневного, что можно назвать с о р о м ж и з н и. Разумеется, из с о р а тоже порою воспламеняется нечто: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» Но пламень Антипова был иного порядка. Тут был холодноватый анализ, было исследование: отчего произошло с его героем то страшное двенадцать лет назад? Человек, о котором думал Антипов, сочиняя Никифорова, был Борис Георгиевич Киянов, некогда поразивший: надо писать о страданиях. Но почему-то не всех это поражало и не всем было интересно про это читать. Таня считала, что «Синдром» скучен и обречен на неудачу. Антипов однажды слышал, она говорила Маринке: «Отец засел со своей бодягой надолго, так что в Ялту мы в этом году не поедем».

Может быть, и следовало поставить на «Синдроме» крест и вернуться к тому, что двигалось самоходом, хотя не всегда гладко и без потерь, но к чему привыкли издательства, читатели и что обеспечивало безбедную жизнь: к повестям о путешественниках, вольнодумцах, художниках, чудаках прошлого века. Книги Антипова не пробивались в толстые журналы, но регулярно печатались в детских и молодежных издательствах. Там за ним закрепилось (за последние лет шесть) прочное место по разделу «Из прошлого русской культуры». Но писание «Синдрома» было совсем другое занятие. Тут

он как бы оперировал на себе. Временами бывало больно. Он отбрасывал рукопись на недели, потому что терял веру и не видел смысла. И надо было срочно что-нибудь написать, чтобы заработать деньги. Роман выходил запутаннейшей и громоздкой постройкой, почти лабиринтом, в котором читатель мог заблудиться. Как куклы в матрешке, так писатели в этом романе, сидели один в чреве другого, постепенно уменьшаясь, и последний, масон Рындич, был столь крохотен и невиден, что невнимательный читатель мог просто не заметить его присутствия. Несколько больше места занимал сочинитель Рындича Клембовский, сумасброд сороковых годов, терзавшийся тайною мукой оттого, что наговорил о своих друзьях чего не следовало, но этого ни одна душа на земле, кроме господина, который был убит в Польше, не знала! Он мог быть абсолютно спокоен относительно своего доброго имени, бедный Клембовский, но муки не оставляли его, и единственным путем их преодоления он считал проникновение в их нутро с помощью гусиного пера и фантазии, что было бы легко объяснимо нынче посредством психоанализа, а в те времена именовалось простодушно муками совести, и потому обратился к судьбе одного из недопеченных российских вольтерьянцев, который буйствовал робко, но пылко раскаивался. А о Клембовском писал Иван Герасимович Сыромятников, сын дьякона кладбищенской церкви, сотрудник «Современника», самородный талант, сгубивший себя пристрастием к чарке; о нем Никифоров знал немало, посвятил целую главу скитаниям Сыромятникова по московским трущобам и нищим мещанским домам в поисках дочерей Клембовского — это были, вероятно, лучшие страницы романа Всеволодова о Сыромятникове, которые Всеволодов написал в 1910 году в архангельской ссылке накануне бегства в Англию. Подробнее всего в романе «Синдром Никифорова» — не считая, конечно, жития самого Никифорова в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы — говорилось о судьбе Всеволодова, мечтателя, бомбиста, поэта, матроса на торговом судне, он вернулся на родину летом семнадцатого и через два года был убит при неясных обстоятельствах на Урале. Никифоров познакомился с ним в Ярославле в доме своей родственницы незадолго перед белым восстанием восемнадцатого года. Близким человеком к вождю восставших был брат Всеволодова, и перед Никифоровым

пронеслась стремительная кровавая драма тех лет: Всеволодов ждал смерти в подвале Казанского монастыря, убить не успели, мятеж был подавлен, и в том же подвале в конце июля был расстрелян брат Всеволодова. Никифоров писал роман много лет с перерывами — менялись взгляды, исчезали имена... Временами Никифоров отрывался от романа и сочинял одноактные пьесы или переводил с французского. Он перевел три малоизвестных романа Жюля Верна. И вот эта жизнь, трепетавшая между детскими фантазиями Жюля Верна и отчаянными поползновениями заглянуть в бездну лет, жизнь обыкновенная, как снег, скучная, как вид из окна кухни на двор, жизнь, где все главное было невидимо и тикало где-то глубоко внутри наподобие часового механизма с динамитом, стала содержанием «Синдрома». Антипов разгадывал тайну смерти Никифорова. Никифоров пытался разгадать обстоятельства смерти Всеволодова. А Всеволодова мучила безвестная кончина Сыромятникова в полной нищете, в одной из московских ночлежек, и так далее вплоть до едва проступающего сквозь туман Рындича, который кончил свои дни в покоях для безумных.

У Никифорова была жена Георгина Васильевна, или Гога, необыкновенно красивая, обаятельная и глупая женщина, которая говорила про мужа: «Коля — человек большого мужества. Но изображает трусишку. И я очень рада». Многое Никифоров делал ради Гоги. Детей не было. Были племянники — ее и его. К первым относились внимательно, почти с любовью, со вторыми были небрежны. Гога считала, что в них есть черты вырождения. Гога и в старости, когда стала толстой, бесформенной, с обрюзгшим лицом, сохранила поразительно женственный наивный взор голубых глаз и молодую улыбку, что всегда было главной силой ее обольстительности. Некоторые полагали, что Гога погубила Никифорова как писателя. Другие считали, что, наоборот, Гога спасла его в трудные годы. И тот и другой взгляды имели свои резоны, но вот уж что несомненно: после смерти Никифорова она сделала для него (для него ли?) фантастически много. Она поистине стала великой вдовой. Будучи секретарем комиссии по литнаследству, Гога сумела за девять лет после смерти Никифорова (он умер в шестидесятом от сердечного приступа) издать восемь его книг. Такого ренессанса не было и при жизни. Большой однотомник

она выпустила даже в Жилдортрансиздате, протаранив министерство давнишней повестью Никифорова о железнодорожниках, изданной еще в тридцать втором году. Антипов писал о Гоге с удовольствием. Она создавала особую ауру, в которой жил и дышал Никифоров.

В шесть вечера тридцать первого декабря, запершись в кабинете и зажегши настольную лампу на гнущейся ножке, поставив и пригнув ее таким образом, чтобы черный абажур был слева и лампа ярко освещала бумагу, Антипов писал: «Подойдя в скрипящих сапогах к окну и поглядев на двор, где разгружалась телега с дровами («Отчего его сапоги так скрипят? Ведь нестерпимо! Ведь надо нарочно стараться, чтоб так скрипели, надо об этом заботиться»,— думал Никифоров), человек со скошенным затылком спросил: «Почему вы выбрали именно эту фигуру?» Никифоров сказал, что фигура вымышленная. Человек возразил: у него другое мнение. Никифоров стал объяснять, человек слушал без интереса, в мучнистых веках, на которых висели какие-то белые присоски, прятались глаза. Человек зевал, худой ладошкой пошлепывал по губам, и вдруг голос напрягся: «А я уверен, что изображаете Всеволодова!» Почему, откуда? «От вашей супруги. Она рассказала. Всеволодов, литератор, эсер, перебежчик, был арестован органами ЧК и расстрелян в девятнадцатом году». Он ответил: «Ну и что? К роману не имеет отношения. В романе выведен литератор Валдаев. И расстреляли его колчаковцы».

Антипов положил ручку, перечитал, задумался.

Было уже около семи. В соседней комнате Маринка завела магнитофон, хоть и негромко, слов не разобрать, но мелодия бубнит и раздражает. Однако нахальство! Ведь предупреждались все, что до восьми он работает. Постучал в стену. Магнитофон замолк. Но раздался громкий стук, ударили чем-то об пол, наверное стулом. А она сказала спокойно и без всякого раздражения: «В ЦДРИ». Слова не мялись, не слушались, и все шло куда-то не туда, возникало опаснейшее — унылость, монотон. Нет, не годится. Это плохо. Надо с другого конца. Он перечеркнул страницу жирным черным карандашом, который всегда использовал для палаческой работы — зачеркивать, вычеркивать,— и на новом месте взялся за то же с другого конца. Это было о Гоге. О невинных предательствах,

которые, возможно, вовсе не были предательствами, ибо, в конечном счете, Гога выручала Никифорова — сам Никифоров не догадывался, но Антипов-то знал,— и не раз, отводила от него беду. Человек со скошенным затылком стал впоследствии близким другом Гоги, а его жена имела с Гогой общую педикюршу. Вот это хорошо. Вот это уже похоже на правду. Никто из нас не знает, чья рука — не обязательно рука, иной подставит спину, другой грудь, третий протянет ногу — отводит от нас беду. Никифоров не знал, какой магической защитой была для него голубоглазая, столь долго не вянущая, простодушно веселая Георгина Васильевна — человек со скошенным затылком называл ее в шутку Герцеговиной Васильевной,— но, не зная, Никифоров чуял, как собака, ее тайную силу и свою зависимость от этой силы. Он полагал, впрочем, что мощь Гоги заключалась в каком-то природном магнетизме, помогавшем справляться с жизнью, была мощью земли, женщины, очага, всего, что так ценил и ставил превыше прочего Розанов, которого Никифоров потаенно и сладко почитывал. «И когда он сказал: «Ну хорошо, может быть, увидимся»,— она промолчала. Это кое-что значило». На новом листе бумаги Антипов стал писать: «Никифоров сел к столу и начал писать: «Смерть реки. Маленькая речушка испокон веку текла в этих глинах, но город надвинулся, речушка стала препятствием, все более чахла, мельчала, и вот наконец ее убрали в трубу, сверху насыпали земли и разбили сквер. Речушки нет. Она исчезла навсегда. Из окна моего дома, с шестого этажа, виден сквер, разросшиеся липы, фонтан, скамейки, пенсионеры на скамейках, никто не помнит речушки, которая тут сочилась когда-то в зарослях ивняка, в камышах, в стрекозах, в головастиках и потом долго продолжала сочиться в мазуте, в глине и потом умерла. Но подлинно ли наступила смерть? Ведь во мраке, в трубе, еще булькает и сочится вода, и, значит, смерти нет». Так размышляла старуха Всеволодова, пережившая мужа на пятьдесят лет, глядя из окна вниз и стараясь разглядеть за кромкою сквера троллейбусную остановку, где должна была появиться, выпрыгнув из троллейбуса, внучка... «Далее набегала какая-то муть про внучку, но Никифоров усилием воли заставил себя остановиться. Он не мог сосредоточиться, ибо Гога ушла в пять, сказала, что отвезет шубу в ломбард, зай-

дет в магазин купить чаю и тут же вернется, но было уже девять, а Гога не возвращалась...»

Тут Антипову пришла новая мысль: отношение к жене должно быть сложнее простого психофизического погружения в то, что Розанов называл частной жизнью и что, по его мнению, было даже общее религии. Нет, он все же догадывался о том, что происходит, пускай смутно, пускай отталкиваясь от своей же догадки. Он догадывался, что не надо догадываться, и, догадываясь, как бы в то же время не догадывался ни о чем. Частная жизнь Розанова была бы, он чуял, спасением, но ветер извне стучал в окна, стены содрогались, скрипела кровля. И сам Розанов под конец жизни был сокрушен ураганом — частная жизнь не защитила. Поэтому что же? Смотреть реальностям в глаза? Но в том и заключался синдром Никифорова — в страхе увидеть...

В одиннадцать заехали Мирон с Люсьеной на «Москвиче», забрали Антипова и Таню и покатили по снежной пустоватой Москве. Таня и Люсьена разговаривали о туалетах, в том смысле, что не придают этой ерунде никакого значения. Таня взяла в разговоре тон вялого неудовольствия, означавший, что она с радостью осталась бы дома, но Антипов потянул, она подчинилась. «Все это, в конечном счете, суета»,— говорила Таня. Люсьена была того же мнения, но высказывалась возбужденно, с хохотом: «Ты увидишь, какие там будут чучела! Я всю эту кодлу знаю!» Мирон спросил: зачем дамы отправились в путь, если у них такое настроение? Люсьена ответила, потому что сидеть вдвоем дома — еще худшая перспектива, и захохотала. Затем Мирон сообщил, что все в порядке: Ройтек и Поплавков перешли за другой стол. Все свободно вздохнут. Антипов молчал, волнуясь. Его мысли бродили между женою Никифорова и Ириной, которую он увидит через сорок минут.

И он увидел ее. Поздоровались едва заметными кивками. Была красивая. Сразу понял, что потрясающая красавица, красивее всех в этом зале, набитом людьми. Черное платье с каким-то мелким серебристым украшением на плече, на груди и смуглая, чисто смуглая желтизна лица, открытой шеи. Рядом с ней сидел такой-то. Антипов видел его впервые и не успел разглядеть. Стол, за которым они сидели, был через стол от антиповского, и Антипов сел к ним спиной. Он не ви-

дел Ирины полтора часа, до тех пор, пока не стали танцевать. Встав из-за стола вместе со своей соседкой Региной, женой Кубарского, которую он пригласил на танго, Антипов стал двигаться в направлении стола Ирины — был уже навеселе, хотел быть дерзким, поглядеть ей прямо в лицо и все сказать глазами,— но почему-то все повскакали с мест одновременно, в середине зала сгустилась толпа, люди не столько танцевали, сколько толкались, качались под музыку и разговаривали. Антипов стал пробиваться в нужную сторону, кого-то оттирал плечом, решительно влек за собою даму, а она, смеясь, негодовала: «Саша, куда вы меня тащите?» Он бормотал: «Я должен быть в гуще... В коллективе...» И вот пробились, оказались перед ее столом, она взглянула на Антипова спокойно и так же спокойно отвела глаза. Она разговаривала с толстой дамой в седых буклях. Тут сидели солидные люди. Почти никто не ушел танцевать. Тут были и Ройтек с Поплавковым. Поплавков подмигнул Антипову и Регине и чуть заметно развел руками: «Что тут, братцы, поделаешь?» — а Ройтек о чем-то, перегнувшись через стол, оживленно рассказывал такому-то. Чем более старел Ройтек, тем более значительной и маститой становилась его ежиная мордочка в пышных сединах. Ирина опять взглянула на Антипова, взгляд задержался чуть дольше, но был столь же невозмутимо спокоен. В ее лице и во взгляде было самодовольство. Во всех, кто сидел за этим столом, было самодовольство. Оно реяло над ними, как облако, и бросало на них теплый розовый свет. Антипов все качался перед столом и то смотрел на Ирину, то разглядывал такого-то, когда Ирина отворачивалась; у такого-то было широкое бледное, в красноватых пятнах лицо, небольшой рот, очки в золоченой оправе. Вполне интеллигентное лицо. Рот несколько мал, пожалуй, комически мал, зато лоб велик, значителен. Лоб благороднейшего и порядочного человека. На лбу тоже было написано самодовольство. Ройтек заметил Антипова, сделал секундную гримаску, означавшую улыбку, приветственно взмахнул рукой, но вновь тотчас всем корпусом, всем вниманием, всем своим оживлением кинулся через стол — к такому-то.

Вернулись к себе, Антипов был удручен — ничего не успел сказать глазами. А так много надо было сказать! Спросить: неужели не тошнит от самодовольства? Ведь она другая. Он знает ее лучше, чем кто-либо.

За столом говорили вполголоса: «А Ройтек, конечно, присоединился к такому-то».— «Где вы видите такого-то?» — «Да вон сидит!» — «Это такой-то?» — «Ну конечно».— «Тот самый? Я представляла его иначе».— «В нем что-то осиновое».— «Нет, он порядочный человек...» Антипов быстро напился. Самшитов залил бархатный голубой костюм вином; женщины, смеясь, обсыпали Самшитова солью. Мирон выиграл по лотерее бронзовый канделябр и говорил, что кстати — можно идти бить Ройтека. Антипов танцевал с Таней. Она, как всегда, туго поворачивалась, неохотно подчиняясь его шагу. Говорила, что неплохо бы уйти пораньше, пока есть такси. Он возражал: такси ходят всю ночь. Вдруг в общей качке столкнулся с Ириной лицом к лицу, она танцевала с таким-то, они поглядели друг на друга мельком, как посторонние, и разлетелись. Антипов сказал Тане: «Лучше бы остались дома, ты права. Веселье жутковатое». Потом танцевал с Люсьеной, она висла на нем, обнимала за шею, напевала, заглядывала лукаво в глаза и неожиданно, прижав губы к его уху, прошептала: «А мы знаем, с кем у тебя роман!» Он замер. Она продолжала напевать и нежно, лукаво улыбаться, глядя ему в глаза. «Какой роман?» — «Знаем какой». Он сказал с пьяной удалью: «Ну и знайте на здоровье!» Она захихикала и, поцеловав в ухо, шепнула: «Не бойся, дурачок, никому не скажу. Она за столом с Юрой Поплавковым? Она миленькая. Я ее подругу знаю. Со студии документальных фильмов». Антипов бормотал: «Вздор это все!» — «Не вздор, а правда. А чем она лучше меня? Не понимаю!» Хотел было сказать: «Да всем лучше»,— но промолчал. Он пал духом и протрезвел. Если бы он угадал тепло и тоску Ирины — то, что томило самого, когда видел ее,— было бы легче принять неприятную новость, о которой Ирина предупреждала, говорила, что непременно случится. Но это бесчувственное лицо, скользящий взгляд...

Люсьена продолжала шутить: «Саня, ты уже старый. Тебе нельзя страдать. Вредно для сердца». Она хихикала. Музыка гремела. Люди вокруг бесновались, хохотали, толкались, топали, свет гас, бесновались в темноте, бежали куда-то, шарахались толпой, застревали в дверях, кричали: «Займите нам места!» — возле стола Ирины клубилось, чернело, то отпрянывали, то придвигались, что-то упало со звоном, крикнули: «Хулиган!» Антипов продрался вперед, увидел: Мирон навис

над сидящим с белым откинутым лицом Ройтеком и, что-то говоря, размахивал перед носом Ройтека пальцем. Люсьена с воплем бросилась к Мирону. Такой-то продолжал сидеть, сложив на груди руки, и отстранялся корпусом от стола, как бы прокладывая границу между собою и всем, что происходило за столом; маленький ротик был плотно, брезгливо сжат. Ирина смотрела на Антипова с испугом, и он испытал счастье от этого взгляда. Он схватил Мирона и поволок от стола прочь...

В четыре утра приехали домой. Антипов повалился на кровать, услышал то ли памятью, то ли во сне: «Позвольте вас поблагодарить канделябром!» И так же смутно — то ли сквозь сон, то ли откуда-то из «Синдрома» — пробрезжила мысль: бьют канделябрами из-за мелких причин, а говорят о крупном. Коли зарубил сценарий детского фильма для студии Горького, так уж сразу канделябром? Через день вечером звонок: «Это ты?» Сердце заколотилось. «Я!» — «Зачем ты пришел на Новый год в ЦДРИ? Зачем меня мучаешь?» И голос жесткий вдруг задрожал, растаял жалко, невыносимо. У него тоже голос пресекся: «Да ведь я не могу!» — «И я...» — «А когда?» — «Не знаю».— «Завтра, может быть?» — «Хорошо...»

И опять: со снегом, пургой, чужими домами, холодом в автомобиле, глотками коньяка из фляжки, клятвами, неизвестностью. Опять слышал: «Люблю тебя больше дочери, больше всех, всех». И: «Без тебя не могу жить». А как же такой-то? К нему чувство благодарности за все, что он сделал, и глубокая жалость. Ведь он болен. Этого не знает никто. Антипов не решался спрашивать, чем болен такой-то. Все было хрупко в первые дни после примирения, которое обозначилось счастливейшей ночью, были вместе с вечера до утра: она уехала будто бы в Ленинград на съемки. Но все было хрупко. Было хрупкое безумие — боялись касаться того и этого. Например, переезда в кооперативный дом и благородства такого-то. Когда она, забывшись, завела рассказ о великодушии такого-то, которому Мирон позвонил на другой день после Нового года, извинялся за хамство и такой-то разговаривал с ним очень терпеливо, дружественно, по-отечески и простил его, Антипов не выдержал: «Еще одна такая притча, и я, ей-богу, от тебя сбегу». Она отшатнулась. «Не пугай меня! Я не вынесу. Правду говорю, не вы-

несу». Но прошло немного времени, может быть полчаса, и она произнесла тихо: «А такой-то никогда не повышал на меня голос. За все четырнадцать лет». Он сказал: «Потому, наверно, что ты не рассказывала ему о благородстве других мужчин. С которыми ты спала». Она ответила: «Я не спала с другими мужчинами до тебя». И эти бессмысленные слова проникали в него как жар, как болезнь, и он им верил. Как можно не верить болезни, когда все нутро и кожа полыхают в огне?

Однажды сказал после такой же бессмысленной фразы: «Тебя послушать, ты и с мужем не спишь никогда и не знаешь, как это делается. Спишь ты с ним?» Она ответила не сразу: «Да в том-то и дело, можешь мне не верить, но почти нет...» Он смеялся, махал на нее рукою, свистел насмешливо и верил. «Почти нет» — звучало убедительно. Чего ей стоило сказать «нет»? Он поверил бы. Но слово «почти» было когтистое, оно терзало его, хотя было глупо терзаться, раньше он этой пытки не знал, раньше его не волновало то, что он делит женщину с кем-то, муж был такой же неотделимой принадлежностью женщины, неудобной, но терпимой, как, скажем, ее жилище в доме, где жили антиповские знакомые, и он всегда немного трусил, провожая ее; как то, что ей часто приходилось уезжать в командировки и они расставались. Со всем этим он мирился, как с мужем, но так было прежде. А с Нового года что-то переменилось: он ослабел и нервничал больше, чем нужно...

Все это куда-то двигалось, только неясно куда. Что могло быть дальше? Он не представлял себе. А она знала. «Я же говорила: будет скандал, люди нас разведут, но я буду любить тебя до конца дней».

В марте она уехала в Ленинград надолго — снимать видовой или документальный, шут его знает какой фильм о Пушкине. Очень горела этим замыслом и радовалась, что студия поручила делать фильм ей, а не другим, которые тоже рвались к пушкинской теме и страшно интриговали, а она интриговать не умела. Особенно билась некая Сойкина, которая сняла когда-то фильм о Некрасове и возомнила, что только она может делать фильмы о писателях. Сойкина интриговала отчаянно, ходила в инстанции, таскала в портфеле свои брошюрки — она кандидат наук — и всем говорила, что знаменитый Мармурштейн, который знает Пушкина назубок, согласится работать консультантом только с нею

и ни с кем другим. Был еще один режиссер, старичок, очень пробивной, который претендовал на Пушкина по двум причинам: во-первых, он давно ничего не ставил, поскольку был после инфаркта, и, во-вторых, у него дома собрана целая Пушкиниана и даже есть собственный экслибрис с изображением головы Пушкина. Не оставалось ничего иного, как прибегнуть к последнему средству, чего она всегда избегала,— обратиться к такому-то. Тот позвонил, все устроилось. Борьба происходила прошлой весной, потом она писала сценарий, его изучали, утверждали, она снимала Суздаль, летала в Ленинград. И вот умчалась на месяц, оставив адрес гостиницы и номер телефона. С нею уехали директор группы, оператор и консультант, не Мармурштейн, а эссеист Евстропов, доктор наук, статьи которого были повсюду нарасхват. Она очень гордилась тем, что удалось заполучить Евстропова.

Все, что должно было двигаться куда-то, оно и двигалось, по-видимому. Медленно произрастали, раскидываясь вдаль и вширь, ветви романа про Никифорова; медленно громоздились этажи кооперативного дома на окраине, медленно взрослели и уходили в неведомую страну дети, медленно отъезжали друг от друга две половины треснувшего плота, на одной половине стоял Антипов, на другой Таня, и никакого ужаса не было на их лицах, они разговаривали, шутили, принимали лекарства, раздражались, ходили в кино, и бревенчатые половины тихо расплывались своими путями, ибо нельзя ничего остановить, все плывет, двигается, отдаляется от чего-то и приближается к чему-то. И так же таинственно двигалось то, что возникло между ним и женщиной, жившей теперь в Ленинграде, которой он звонил чуть ли не каждый вечер, иногда ночью, в гостиницу, надеясь по голосу и словам угадать: куда все это плывет? Неподвижной воды нет, а в той, которая кажется стоячей, тоже происходит движение — она испаряется или гниет.

Первые вечера заставал ее в гостинице и выслушивал возбужденные рассказы о том, что она наметила, придумала, открыла, узнала, иногда выслушивал стихи, отрывки из писем, воспоминаний того и сего, свою версию роли Гончаровой, Гончарову называла Натали, как гимнастку Кучинскую, жаловалась на пушкинистов, которые с версией не соглашались, отстаивая честь мундира, она спрашивала его советов, интересовалась здо-

ровьем и тем, как идет «Синдром», потом перестал заставать вечерами, начались ее разъезды, поздние возвращения, встречи с пушкинистами, а однажды не застал ночью. В марте он жил в пансионате под Москвой и мог звонить ночами свободно. Но не захотел звонить больше. Он выждал девять дней, дальше выдержки не хватило.

Она кричала по телефону в неистовом волнении, перемежая слова любви, ругани и упреков: «Куда ты скрылся? Ты свинья! Я хотела мчаться в Москву, хотя это невозможно! Я думала, ты в больнице! Видела ужасный сон! Нельзя так издеваться!» Он сказал, что звонил ночью, не застал ее, и желание звонить пропало. Что значит — пропало? Пропало, и все. Голос был слабый, дрожащий: «Ты свинья... Садист... Не хочу иметь с тобой дело... У нас неприятности, а ты издеваешься...» — «Какие неприятности?» — «Неважно. Тебе это неинтересно». Потом выяснилось: что-то снимать не разрешалось и вот добивались разрешения. В ту субботу поехали на два дня в Комарово. Все было понятно, объяснимо, он мог успокоиться, были поцелуи, слова «скучаю», «безумно», «не могу дождаться», но что-то куда-то сдвинулось и плыло.

Он позвонил через сутки, и опять никто не ответил. Было два часа ночи.

Дом стоял в снегу, в соснах, ночи были холодные, накрывался двумя одеялами, а днем грело солнце, обледенелый снег на дворике перед домом растапливался, сырели лужи, по ним носились, радуясь теплу, бездомные, холуйского вида собачонки, которых подкармливали на кухне. Старухи бросали крошки воробьям. Пожилые люди в долгополых шубах гуляли по аллеям, неслышно и как бы на ухо что-то друг другу рассказывали. Но все говорили примерно одно и то же. Из окна Антипов увидел, как по аллее идет стремительно, с портфелем в руке, в своем куцем бушлатике, в черной кроличьей шапке Степан, и обрадованно встал из-за стола: не видел сына несколько дней, да и работа не шла на ум. Ну что? Все хорошо. Как мама? Прекрасно, вот прислала белье и книги, которые ты просил. А Маринка велела позвонить в театр кукол и попросить два билета на воскресенье. Ей для учительницы. Ладно. Попробую. Твои-то как дела? Мои...

Они вышли во двор и отправились по размокшей дороге к лесу. Степан был Антипову ближе всех. В нем

было понимание. Причем было всегда, даже в пору, когда он был младенцем. Было в глазах, поражавших необычным для младенца внимательным и печальным взглядом, как будто, едва родившись в пятидесятом, сразу начал отца жалеть. «Папа,— сказал Степан,— я не знаю, как мне быть с Настей».— «Оставь ее,— сказал Антипов.— Она для тебя не годится». Парень огромного роста смотрел на отца с тоской. «Папа, я знаю... Но я не могу оставить!» — «А чего ты хочешь?» — «Я хочу жениться. Только не говори маме пока. А Настя говорит, что рано, что невозможно, я человек безответственный и так далее».— «Говорит правильно».— «Папа, глупости! Неужели не понимаешь, что это отговорка?» Он помолчал, раздумывая. Все это напоминало вид пруда в перевернутый бинокль: те же самые деревья, тот же домик, купальня, но в уменьшенном виде. Он спросил: «А она чего хочет?» — «Продолжать все так же. Просто так».— «Ну и хорошо! — сказал он с фальшивой бодростью.— Лучше не придумаешь! Она умная женщина». Сын шел с поникшей головой и уныло молчал, ему было плохо. Антипов заговорил о другом. Через час, когда возвращались из леса к обеду, столкнулись на въезде во двор с директорской синей «Волгой». Котов велел шоферу остановиться и вылез из машины, чтобы пожать старому приятелю руку.

Антипов жил в пансионате давно, но Котова встречал редко — тот чуть не каждый день мотался в Москву, весь был опутан какими-то делами, заботами, обязательствами. Ну, как тебе тут живется? Жалоб нет? Персонал не грубит? По кухне нет замечаний? Все было полувшутку-полувсерьез, остановка с рукопожатием не означала ровно ничего — этот плот тоже развалился, бревна давно несло течением в разные стороны. У Котова на уме были капиталовложения, ассигнования, цемент, стекловата, но иногда ему хотелось дать понять, что он вовсе не то, что о нем думают. Вот и теперь он остановился лишь затем, чтобы сказать, что работает над сценарием. Для Киевской студии. Но работать абсолютно некогда — урывает два-три часа по ночам.

Антипов не верил. Но это не имело значения. Встреча с опухшим багрянощеким старым барбосом всегда была чем-то мила. Памятью о невозвратном. И он спросил то, что хотел от него услышать барбос: о чем сценарий? «О Гоголе,— был простой ответ.— Точнее,

о юности Гоголя. Мне эта тема близка. Ведь я по матери хохол». И много ли сделано? Примерно треть. Сценарий будет трехсерийный. Но ужас в том, что работать некогда. Впору хоть бросать этот райский уголок, будь он неладен! Да на кого бросить? Вы же первые взвоете...

Махнул рукой, втиснулся в машину и покатил в сторону гаража. Антипов смотрел ему вслед с улыбкой. «Ни одному слову верить не рекомендую. Не будет ни сценария, ни фильма». Степан сказал: «Вот разница между нашими поколениями. Ты считаешь, что не будет, а я посмотрел на товарища и твердо верю: фильм будет». Он захохотал глуповато, по-мальчишески, забыв о своих невзгодах. А ведь он умница. И так ничтожно попался! За обедом Антипов начал подкоп с другого конца — со стороны Ройтека. Сказал, что ройтековская среда настораживает, это люди другого кроя, трена, крена, черта в ступе, словом, чего-то другого. «И самого Романа Викторовича ты подвергаешь сомнению?» — спросил Степан. «Именно».— «Ну да, я забыл, вы ужасно колбасились с Новым годом, не хотели с ним сидеть. Настя над отцом потешалась: ты, говорит, как вий, тебя все боятся! А мне кажется, он человек не скверный. Он добродушный, компанейский, любит водочку, анекдоты. Словом, обыкновенный папаша средней руки, чей поезд ушел». Антипов поглядел на сына. «Почему ты думаешь, что поезд ушел?» — «Ну, ушел, конечно. Это ясно. Недаром же ему хамили под Новый год. Но имей в виду, Настя знает его навылет! Особого почтения там нету. А он любит ее совершенно по-идиотски». В словах Степана Антипову чудилась какая-то мина, но не мог точно определить, где он ее заложил, и оттого молчал, сурово сдвигая брови. «Да! Между прочим! — сказал Степан.— А про тебя он всегда спрашивает и говорит только хорошее. Даже очень хорошее. Говорит, что ты талант, что ты очень искренний, что он знает тебя по студенческим временам. Печатал твой первый рассказ в газете».— «Ну, печатал,— сказал Антипов.— И что из того?» — «Папа, а как назывался тот рассказ?» — «Не помню. Это был, собственно, не рассказ, а фельетон на две колонки. В отделе юмора».— «Правда? Вспомни, пожалуйста, как назывался. Забавно же, первый рассказ!» Антипов стал вспоминать и вспомнил. «Кажется, вот как: «Колышкин — счастливый неудачник».

Степан воскликнул: «Колышкин — счастливый неудачник? Здорово, папа! Шикарное название! — Вдруг прыснул смехом и, согнувшись пополам, стал хохотать как безумный.— Колышкин? Счастливый неудачник? Это колоссально, папа!»

В потемках провожал Степана на станцию. К вечеру похолодало, дорога заледенела, шли медленно. Степан спросил: а можно ли каким-то способом узнать, любит ли женщина по-настоящему? Или это театр? Спрашивать ему, видно, было неловко, он долго собирался с духом и вот дождался темноты, спросил. Антипов сказал, что способов нет. Женщина сама не знает. Должно пройти время, может быть жизнь, тогда выяснится. Сын сказал с неподдельной печалью: «Но ведь это катастрофа! Как можно жить?»

Наверно, у него вертелось на языке: «Как вы все живете?» Он ухватился за последнее, что обещало надежду: «А наша мать? Она...— голос дрогнул,— по-настоящему тебя любит?»

Отвечать было необходимо. Антипов сказал: «Наверно. Но ведь прошла долгая жизнь. В нее уместилось две жизни: твоя и Маринина».

Ночью Антипов понял, что было частью «синдрома Никифорова»: страх потерять Гогу. Это могло случиться по воле рока, тут Никифоров бессилен ни предвидеть, ни защитить, но — молния могла ударить по воле самой Гоги, ибо неподвластно пониманию, настоящее или нет соединяет людей, вдруг раскалываются небеса и наступает гибель. Человек расщепляет атом, исследует мир до мельчайших крупиц, близок к тому, чтобы силою своего знания этот мир уничтожить, но трепещет беспомощно перед загадкой: настоящее или нет? На другой день, позавтракав рано, Антипов тотчас сел за стол. Он работал над главой о сорок пятом годе, декабре, когда в Козихинском переулке возник первый муж Гоги, нелепый Владимир Леонтьевич Саенко, с которым Гога рассталась двадцать лет назад. Саенко был красный командир, он вытащил гимназистку Гогу из развалин купеческого дома города Николаева, привез сначала в Россошь, потом в Москву, работал экономистом Центросоюза, мучился красотою Гоги и жаждал узнать правду: настоящее или нет? Запутавшись в диалектике сложных Гогиных чувств, дойдя до отчаяния, он сочинил «Десять пунктов семейной жизни» и представил их Гоге в виде ме-

морандума. Это было в двадцать шестом, а в двадцать седьмом «Десять пунктов» стали предметом обсуждения во время чистки, и его исключили как чуждый и разложившийся элемент. И он сгинул куда-то, то ли удрал в свою Россошь, то ли уехал искать счастья на Дальнем Востоке; и когда Никифоров нашел голубоглазую Гогу, от Саенко не осталось ничего, кроме скудных анекдотических воспоминаний и пожелтевших листков меморандума, которые Гога иногда читала гостям, чтобы позабавить. И вот однажды он постучался в дверь и вошел — миф воплощенный, предмет привычных домашних шуток, не человек даже, а некий знак, некий призрак милого исчезнувшего времени,— и обратился с просьбой. Все было нелепо: и появление, и просьба. Если уж появился, то не проси. Саенко был долговяз, сутул, лет пятидесяти пяти, с худым зеленовато-темным лицом, говорившим о нездоровье, на котором резкими морщинами было вычеканено застарелое недовольство или обида, но в глазах синела детская простоватость. И это было то, что странно соединяло его с Гогой; Никифоров сразу заметил, и его это покоробило. Саенко попал в сорок первом в окружение, оказался в плену, бежал, воевал вместе с партизанами во Франции, еще раз угодил в немецкий лагерь, опять бежал и воевал и теперь хотел устроиться куда-нибудь экономистом или бухгалтером, но не удавалось. Его жена еврейка, и дети погибли в Белоруссии. Он приехал в Москву, мечтая как-то поправить пошатнувшиеся дела. Он так и сказал: пошатнувшиеся дела. Старые знакомые, на которых он случайно наткнулся, сказали, что у Георгины есть связи, и вот...

Антипов перечитал внимательно написанное вчера — было необходимо, как глубокая втяжка воздуха, перед тем как нырнуть,— и стал писать.

«Никифоров маялся без сна и, чтобы не разбудить Гогу, которая спала чутко, в три ночи тихо встал, ушел в угловую комнату, за шкаф, сел за стол. Работать он, разумеется, не мог, но мог курить и думать. Приезд странного человека взбаламутил что-то темноватое и путаное, какие-то водоросли на дне души. Может быть, эти донные водоросли, присутствовавшие в потемках от века, были особой формацией страха, загадочным полипом, который, впрочем, почти не беспокоил Никифорова — с ним можно было жить. Но иногда вдруг глубоководная ткань приходила в движение и все существо

Никифорова колебалось и ныло, охваченное, как болезнью, страхом потерять Гогу. О каких связях Гоги говорил Саенко? И кто эти старые знакомые, которые навели на Гогу? Почему-то не успел спросить, он ушел, Гога велела позвонить дня через два. Никифоров знал магическую силу писания, которое притягивает к себе жизнь. То, о чем писалось, что было полнейшим вымыслом — поднялось из твоего мрака, из твоих ила и водорослей,— внезапно воплощается в яви и поражает тебя, иногда смертельно. Роман о Всеволодове — Валдаеве — остановился на странице, где героя допрашивал офицер колчаковской контрразвезки в девятнадцатом году, в Невьянске, в конторе чугуноплавильного завода, здесь решалась судьба. Недописанный роман о Сыромятникове лежал, запеленатый наподобие мумии, в сундуке в сарае пермского купца Гольдина. И возникла женщина, дочка Гольдина, которую Всеволодов когда-то боготворил, потом проклял, и от нее зависело спасение или смерть. Она была тайно близка к колчаковскому контрразведчику. Никифоров проглядывал написанное, поправлял механически то слово, то запятую и думал про жену и Саенко. Нить, сочетавшая их когда-то, не прервалась доныне, дотянулась призрачной паутиной, хотя Гога отрицает, женщины всегда отрицают, они уверяют, будто прошлое для них не существует, и искренне, хотя это неправда.

Никифоров рылся в ящиках стола, отыскал запыленный конверт с письмом и «Десятью пунктами» Саенко — давно забрал эту прелесть себе, надеясь воткнуть в какое-нибудь сочинение. Письмо было страниц на десять, напечатано на «ундервуде», пылкое, глупое, чудесное, бессмысленное, с укорами, мольбой и орфографическими ошибками — Гога куда-то от него убежала, он хотел письмом ее вернуть... «...Ты меня обнадежила, Георгина, что приняла мое предупреждение насчет того, что в Россоши оставить все николаевское прошлое... Ты обещала бросить легкомысленную крикливость, неуместный хохот в присутствии других людей... В первый день троицы приходил какой-то денди, спрашивал Георгину. Я ему из окна крикнул, что она уехала (куда, не сказал), и он ушел со склоненной головой... Да, вот еще что. Платья твои я сжег (кроме шелкового), и пояс тоже там, где мы сожгли нашу переписку. Туфли твои хотел было порезать ножом, да Тоня Герасимова вступилась, они ей очень понравились, взяла и носит теперь. Ждал,

ждал, что ты напишешь, а ты все молчала, ну я и... все уничтожил. Думаю, если будет хорошая — все ей будет, и еще лучше. Не жалей, друг, всей этой мелочи, тряпок. Это сущая чепуха и ерунда. Раз оставила, значит, выбрось из головы, а я, конечно, когда на другой день посылал деньги (10 рублей), зачем-то полез в чемодан, уж не помню, зачем он мне понадобился; когда увидел тряпки, конечно, погорячился, уж так больно мне стало. И все сжег тут же вечером. Жег с полчаса, воняли тряпки, особенно кофта, а новое вишневое платье разом вспыхнуло и сгорело...»

И вот на отдельном листе:

«Совместная жизнь возможна лишь на следующих началах:

1) В отношении расположения меня к себе — все начинаешь ты. Должна сама начинать и ласку, и способы ликвидировать размолвки, и подходы в каждом отдельном случае, судя по моему настроению, ко мне, понимая меня в каждый отдельный момент.

2) Абсолютно полная, на все 100 процентов любовь, а не такая: на 40 процентов нравишься, а на 60 процентов нет — с тем, чтобы я чувствовал, понимал, видел, что я действительно для тебя в с е, лучше всех (дороже всех), роднее всех, милее всех, чтобы я чувствовал, что за меня в огонь и в воду, друг самый надежный, нежный, понимающий, смягчающий мои тяжести жизни, дающий мне воодушевление и помощь в борьбе, чтобы я чувствовал, что я необходим как воздух, а не так: мне раньше лучше было с тобой, теперь хуже; или: что-то не хочется возвращаться из Харькова...

3) Быть хозяйственной, заботливой, любить уют и свою обстановку, ведать хозяйством, выработать в себе бережливость, всякие расходы (до копейки) делать из общего согласия, не рассчитывать на многое, на шик, на роскошь, на величие, на знатность, а самой понимать, что можно сейчас требовать и что подождать, а что и вовсе отменить, вычеркнуть из поля своего зрения (всякие там польта с крыльями и пр.).

4) Понять мои вкусы в одежде, в обращении с людьми, в походке, в поведении со мной наедине, в ласках (формы ласк и пр.), делая как можно больше приятного, всемерно, беспрекословно считаться с моими указаниями, сознавая, что как по линии теоретической, так и по линии практической превосходство на моей стороне...

Пятый и шестой пункты были вариантами того, что

говорилось прежде: о «полном послушании» и «исполнительности во всех без исключения случаях». Тут сквозила затравленность человека, которого не ставят ни в грош. Ни о чем другом он не смеет мечтать. «Гога это умеет! — подумал Никифоров с чувством удовлетворения.— Если уж кого не уважает, тот человек не существует для нее вовсе. Бедный Саенко, представляю его страдания!»

«...7) Хотеть быть матерью, смотреть на меня как на отца своего будущего ребенка — самого дорогого человека на свете, и беречь себя как мать, дабы ребенок был хорошим, а не нервным от нервирования и нервозности матери, тогда и с моей стороны будет адекватная заботливость и нежное хладнокровие.

8) Ни одной мысли даже, не только слов об «уйду», «уеду», «потом снова, может быть, полюблю», «здесь скучно» и пр. Бросить всякую тактику из головы и из сердца, дать ему простор, и оно будет заполнено.

9) Желать меня в половом отношении как самого милого, самого приятного мужчину, мужа и друга на всю жизнь, твердо осознав, что все, что было до сих пор, было ерунда, хуже того, что есть во мне, что мне надо отдать все, желать, как дыхания, меня. Всякие капризы и отговорки пора забыть.

10) Чувствовать себя женщиной, не мужичиться, выбросить мужественность и всякие там а-ля фасон Моника Лербье, знать, что я своей силой мужчины доминирующе силен и заставлю тебя чувствовать силу, если будешь артачиться. Поэтому выбросить все это из себя сразу, немедленно».

Прочитав, вспомнил, как раньше смеялся, но теперь почему-то не было ни смеха, ни даже улыбки. Человек, изглоданный войной, смертными испытаниями, болью потерь, все еще во что-то наивно верил. Женщина поразила когда-то беспощадно и намертво, и он верил: она спасет. Каким образом?»

Тут Антипов оставил писание, почувствовав усталость. Он работал три с половиной часа, достаточно, дальше пойдет не впрок. Важно остановиться там, откуда проглядывается ход дальнейшего повествования, чтобы завтра двигаться как по рельсам. Рельсы были видны: Никифоров не понимает, каким образом Гога может помочь Саенко. Надежды бывшего мужа ему кажутся комическими да попросту дурацкими. Какие связи у Гоги? Через педикюршу Капитолину с женой влиятельного

лица? Тут опять возникает характерный для «синдрома Никифорова» феномен — боязнь увидеть. Он все ясно видит и абсолютно ничего не видит, тайный механизм страха застилает, как катарактой, глаза. Поэтому он искренне изумлен, когда через два дня Гога сообщает Саенко, что того ждет в Минске работа...

Эти страницы еще не были написаны, но Антипов видел их отчетливо, с отдельными фразами, с рисунком абзацев, со словечками, которые должны непременно быть — например, словечки «катаракта» или «помутнение хрусталика», — и казалось, что страницы готовы, их можно причислить к общему счету страниц. Он торопился все закончить к концу пребывания в пансионате. Было важно по многим причинам. И он закончил. Упрямая муха продолжала жужжать и трепыхаться крылышками, погибая в клею. Но в начале апреля стало ясно, что переделки не помогли.

Он не звонил в Ленинград две недели, и от нее не было известий. Могла бы найти его в пансионате, он дал телефон. За две недели все переменилось: расплавился и потек снег, открылась земля, бушевали в черных ветвях птицы. Вместе с теплым воздухом всплывало дремотное успокоение, какое бывает лишь в весеннюю рань, — среди дня хочется заснуть, какой-то хмель одолевает и ломит, исчезают волнения, ничего не страшно. И думается легко: ну и конец, ну и ладно. Ну, и так тому и быть. По телевизору показывали фильм про Суздаль; он спокойно узнавал храмы, мотель, торговые ряды. Вспоминал, как гуляли, о чем разговаривали. Увидел сквер, возле которого остановили машину, оттуда прогнал милиционер, грозил штрафом, а какая-то бабка, когда Антипов вылез из машины, бросилась к нему с радостным сообщением: «Сынок, в рядах чай цейлонинский дают!» Все это он видел и вспоминал как бы сквозь дрему.

Однажды после обеда, когда был в бильярдной, позвали к телефону, он оторвался от стола с неохотой, даже позволил ударить партнеру, сам внимательно прицелился и ударил, после этого пошел не торопясь в вестибюль, где был телефон. Не ждал ни важных звонков, ни радостных новостей. Вдруг внезапный, как выстрел, голос: «Ты когда будешь в Москве?» Не было ни «здравствуй», ни «куда ты пропал?». Он сказал: собирался быть завтра. Не собирался. Но так сказал. Наступило молчание, и у него вырвалось: «Могу сегодня. Вечерней

электричкой. Двадцать два тридцать».— «Приезжай! Мне надо с тобой поговорить».

В пустом вагоне он размышлял без особого волнения: что бы это значило? Голос сухой, разговор скомканный: «Мне надо с тобой поговорить». Такая фраза предваряет упрек, выяснение отношений, в ней звучит угроза. Открылась их тайна? Такой-то выгнал из дому? А может, беда с картиной? Консультант Евстропов оказался подлецом? Почему-то подозрителен был Евстропов. Никаких улик и намеков, компрометирующих Евстропова, не было, кроме единственного — кто-то сказал, что внешне он похож на него, Антипова. И тут крылось что-то неприятное. Но вдруг ему мерещилось нечто сладостное: она дико соскучилась и, едва приехав в Москву, тотчас звонит, голос сух и разговор скомкан от волнения, но она уже договорилась — звонком из Ленинграда — с какой-нибудь подругой о квартире, так что, возможно, проведут ночь вместе. Мало верилось, но думалось хорошо. Потом стал думать о таком-то. Мысли о таком-то всегда несли беспокойство. Ирина сама запуталась и не помнила, что когда говорила: то утверждала, что такой-то о нем знает и ненавидит его, то выходило, что лишь только догадывается, но идет по ложному следу, а то можно было понять, что вовсе ничего не знает и ни о чем не догадывается. После Нового года передала слова такого-то, сказанные с оттенком одобрения: «Антипов, наверное, занимается каратэ? Как он этого типа от стола-то рванул!» — «А ты что ответила?» — «Ответила: откуда я знаю?» Похоже было, что вроде бы он не в курсе, но Ирина сказала, что он человек такой выдержки и такого чувства достоинства, что может не показать вида. «Самообладание грандиозное. Еще бы, на такой работе!» И поэтому Антипов все же склонялся к тому, что такой-то туманно догадывается и способен столь же туманно губить, то есть губительность его неопределима, бесформенна и всепожирающа, как туман. Глупость могла заключаться в том, что роман на исходе, а пагуба длится...

— А, брат! — бормотал Антипов, постепенно все более загораясь беспокойством.— А ты хочешь, чтоб без последствий? Нет, голубок, без последствий даже кошка не чихает. Долго будешь репьи обирать...

И вот увидел ее — возле автоматов с газированной водой, как договорились, озябшую, в тоненьком кожаном пальтеце с поднятым воротником, губы побелели,

глаза несчастные,— все забылось, мрак отлетел, никаких мыслей, только обнять ее, прижать к себе. Пошли бегом в зал ожидания, она вела за руку, раньше присмотрела место в конце зала на полупустой лавке. Рядом сидели старик со старухой, на лавке напротив спала тетка, положив голову на что-то тряпичное, и рядом с нею дремали удобно, плотно обнявшись, две девочки лет десяти. Был первый час ночи. Ирина молчала, все держа Антипова за руку, и не то улыбалась, не то просто дрожали губы, и испытывающе всматривалась в его лицо. Ты что смотришь? Отлично выглядишь. А ты усталая. Я плохая, я знаю. Потому что у меня плохо. Что у тебя? Обнял ее за плечи, придвинул легкое тело, она послушно придвинулась, склонила голову на его грудь, косынка упала, он раздувал темные пушистые волосы, от которых шел мятный, травяной запах какого-то шампуня, и прислушивался к ее шепоту; она шептала что-то про Ленинград, про дирекцию, про операторов, все было вздором. Он понимал, что дело в другом.

«Что у тебя?» — повторил он и стал гладить ее плечо. «Я в Москве уже неделю. Просто дома тяжелая обстановка, и я не могла звонить. А вчера он лег в больницу».— «Кто?» — «Такой-то». Они разговаривали шепотом, чтоб не будить спящих. «Что-нибудь серьезное?» — «Да ничего страшного! — с внезапным непонятным раздражением, но не против мужа, а против чего-то еще воскликнула она.— Обострение язвы. Как тут не обостриться. Ведь ты знаешь?» — «Что?» Она подняла лицо, которое показалось ему необыкновенно красивым, нежным и мятым от слез, и смотрела с изумлением. «Ты не знаешь?» — «Нет».— «Такой-то уходит».

И поразительным было то, что эта комическая новость, которая должна была бы вызвать улыбку или вздох облегчения, подействовала на Антипова странно: вдруг он содрогнулся от жалости и стиснул ее так сильно, точно хотел защитить.

Он стал ее успокаивать: не огорчайся, ну что ж, ничего страшного, такие люди не пропадают, его устроят на хорошее место. Она горестно качала головой: нет, хорошего места не будет. Ничего не обещают. Один человек на него чрезвычайно взъелся по одному поводу. Но такой-то не виноват. Тот человек вымещает на нем свои неприятности. А такой-то страдает оттого, что он порядочный: не может кому нужно сказать, что тот действует несправедливо, а он к тому делу непричастен.

«У меня к тебе просьба,— голос ее дрожал,— ты знаком с Квашниным? Поговори с ним насчет института. Там есть место завсектором. Такой-то давно хотел заняться научной работой. Его бы это устроило». Теперь было ясно, что беда нешуточная: после этакой вышки мечтать о месте завсектором! Антипов горячо кивал, обещал, уверял, что все будет сделано, Квашнин — старый приятель и, конечно, поможет. «Ты пойми, милый,— говорила она,— мне его безумно жаль. Он такой неприспособленный в этих делах. Не умеет бороться, не умеет себя защищать. Его ответ: лягу в больницу! Ну и ложись. Кого этим напугаешь?»

Антипов понимал, успокаивал, верил всем сердцем: все будет хорошо, Толя поможет. Она поцеловала его полураскрытыми губами долгим поцелуем. Он думал: «Она хорошая. Ведь не любит такого-то, а как жалеет его и как хочет помочь!»

Две девочки проснулись и сидели тихие, молчаливые, завороженно глядя на Ирину и Антипова и прислушиваясь к разговору.

Она шептала: не может простить себе, что поссорилась и была груба с ним как раз в дни, когда против него все затевалось, но она не знала. Он скрывал до последней минуты. Кто-то ему наплел, будто ее и Евстропова видели в ресторане и у них роман, и он стал просить ее вернуться немедленно, стал требовать ультимативно, что на него не похоже, и она по телефону устроила ему ужасный разнос. Он потом извинялся. Говорил, что свистопляска на работе выбила из колеи, сдали нервы и что он сам себе отвратителен. «А может, у тебя правда роман с Евстроповым?» — спросил Антипов. «Ну что ты! Зачем я ему нужна? Я для него старуха». Антипов засмеялся. Девочки смотрели на Ирину не отрываясь. Просто пожирали ее глазами. На Антипова они не обращали внимания.

«Что будем делать? — спросил Антипов.— Ночевать на вокзале?» — «Зачем? Поедем ко мне...»

Такой-то в больнице, а дочку она отправила к матери. Взяли такси, приехали в начале второго. В громадной пустой квартире, где было много дорогого, тяжелого, в позолоте, в ковриках и коврах, но мало книг, мало уютного бумажного хлама, к которому Антипов привык, он внезапно почувствовал свою неприкаянность. Вдруг подумал: если позвонить домой? Таня еще не легла. Она любит возиться на кухне и в ванной за полночь. Часто

были стычки из-за этого. Можно услышать ее испуганный голос: «Да, да?» Ирина обрызгивала спальню чем-то душистым из пульверизатора. Распахнула халат и побрызгала на себя. Антипов так вожделел этого часа, но сейчас почему-то не испытывал энтузиазма. Долго лежали и разговаривали. Она рассказывала о своих соображениях по поводу Натали и Геккерна. Потом погасила свет и, засмеявшись в темноте, сказала: «Я вижу, я интересовала вас только как жена такого-то!»

На другой день Антипов созвонился с Квашниным, тот велел прийти в понедельник в контору. Антипову оттяжка не понравилась, не понравилось и то, что не домой, а в контору, но он скрепился, пошел. Секретарша просила подождать: Анатолий Лукич извиняется, у него польские товарищи. Антипов шлепнулся на диван, закурил и думал озлобляясь: «Еще хорошо, что не за себя пришел просить!» Квашнин изумил его: отказал категорически и сразу. Не объясняя причин. И Антипову посоветовал: «Ты за таких людей не ходатайствуй. Без тебя найдутся ходатаи. А за него не волнуйся, его трудоустроят». Долго разговаривать с ним не хотелось, Толя был хоть и дружествен, но как-то рассеян, заторможен, небрежен и, в общем-то, гнусен. Вдруг Квашнин спохватился: «А ты пошто за него хлопочешь?» И глаз вспыхнул островато, прицельно. «Так надо»,— мрачно сказал Антипов и направился к двери.

Квашнин крикнул вдогонку: «Когда новоселье будет? Смотри не замотай!»

Антипов в тот же вечер позвонил и рассказал: неожиданный афронт! Ирина, помолчав, сказала: «Я почему-то так и думала. Мне сейчас трудно разговаривать. Я тебе перезвоню, хорошо?» И короткие гудки.

В субботу кончилась путевка, и Антипов приехал в Москву. Он занимался сладким делом: перечитывал, правил и улучшал текст, только что полученный от машинистки. Таня в соседней комнате счастливым голосом отвечала на телефонные звонки: «Приехал! Нет, не могу! Он работает!» И каким-то приятелям: «Сашка приехал! По-моему, жутко интересно! Страниц четыреста! Позвони часа через два!» Но ни разу не походило на то, чтобы в трубке молчали, тогда бы он понял, что звонит Ирина. Он перечитывал последнюю главу про Гогу, законченную неделю назад: о том, как Гога узнала в 1955 году о смерти своего старого знакомого и какой разговор произошел между нею и Никифоровым за

утренним кофе. Глава Антипову нравилась, но было пока еще неясное чувство, что чего-то он тут недочерпал, какой-то важный мотив остался в стороне.

Ну вот, с самого начала: Гога узнает о смерти Ярбора от Ляли, своей приятельницы, которая была тоже дружна — еще раньше Гоги — с Ярбором. Этой кличкой они вдвоем называли Ярослава Борисовича, человека со скошенным затылком, интеллигента, очкарика, умницу, перед которым многие трепетали, а они вдвоем нисколько его не боялись, ибо знали все его ничтожные слабости. Жена Ярбора была Лялиной школьной подругой. А Гога познакомилась с Лялей в тридцать шестом на динамовских кортах. Ярбор тоже играл в теннис, но скверно из-за слабых глаз. Зато в другие игры, которые не требовали острого зрения, играл превосходно. И вот он умер неизвестно где, неизвестно как, ушел из этого мира, столь замечательно приспособленного для игры. Ни в одной газете не мелькнула его фамилия. Ляля узнала от педикюрши Капитолины. А педикюрша услышала от женщины, которая жила в квартире на одной площадке с Ярбором. Ведь жена Ярбора сразу распродала вещи, умчалась куда-то на юг, и в квартире, так хорошо знакомой Ляле и Гоге, теперь жили другие. Ляля пришла вечером, они заперлись в Гогиной комнате, поплакали, посмеялись, повспоминали всякие забавные пустяки: например, как Ляля ревновала к Гоге вначале, делала ей мелкие пакости, потом все притерлись друг к другу и были какие-то прелестные ужины втроем в загородном доме, а потом Ляля постепенно отстала, потому что Гоге это наскучило. Но у Ляли тогда появился Аркадий, и она была не в обиде на Гогу.

Никифоров узнал о конце Ярбора на другой день утром, за кофе. В его представлении Ярбор сочетался с Лялей, он был Лялиным другом, Гога имела на него влияние через Лялю, и он спросил: «Как Ляля?» Гога сказала, что Ляля немного плакала, но большого горя не видно. «Ну, понятно,— сказал Никифоров.— О каком горе можно тут говорить! Человек был, в сущности, мерзкий». Он говорил и смотрел на Гогу, лицо которой белело: сначала белел лоб, потом щеки, губы. Побелевшими губами она сказала: «Ничьей смерти радоваться не надо...» Смотрела на Никифорова, сощуриваясь, губы ее сжимались, подбородок дрожал, обнаруживая неприятные ямки, она что-то хотела сказать, но сдерживалась. Никифоров расплескал кофе. Гога потянулась через

стол, стала полотенцем вытирать клеенку. Никифоров закрыл руками лицо и сказал: «Как я боялся, что он уведет тебя! Подлец! Я бы застрелил его сам, будь у меня оружие!» И тут Гога не выдержала: «А знаешь ли, дорогой друг, что подлец спас тебе жизнь? Если бы не он, ты бы...»

Никифоров вскочил, уставясь на Гогу диким, застылым взглядом. «Что? Спас мне жизнь? Да не нужно было спасать! Пусть бы я испил до дна, боже ты мой...» И, споткнувшись, едва не упав, бросился из-за стола, убежал в комнату, захлопнул с грохотом дверь. Гога спокойно собирала посуду. Она знала, что Никифоров скоро вернется. Он всегда возвращался скоро. Но Никифоров сел читать рукопись, потом лег, думал, заснул и вернулся к обеду. Вид у него был — хуже некуда. «Болит сердце?» — спросила Гога. «Нет. Я работал, потом спал, видел гадкие сны. Не надо спать днем. Видел и твоего Ярбора и того казачка, уральца, который допрашивал Валдаева и все шашкой поигрывал... Помнишь?» Гога помнила. Она знала «Синдром» хорошо. «Гога, родная, только не обижайся,— заговорил Никифоров и, подойдя тихо, положил руку на Гогино плечо. Она сидела на стуле, а он стоял за ее спиной.— Ты не могла бы описать свои ощущения вчера и сегодня, когда узнала о его конце? Только честно. Абсолютную правду».— «Тебе для романа?» — «Да». Была пауза, он стоял за ее спиной и ждал, вдруг она всхлипнула задавленным рыданием: «Ощущения! — И прошептала: — Испытала великую радость...» Он стиснул ее плечо, а Гога схватила руку, сжимавшую плечо.

Перечитав главу, Антипов понял с ужасом, что главное в романе не написано: если есть великая радость, значит, были великие страдания. Ни читать рукопись, ни думать о ней он больше не мог. Его охватило страстное желание увидеть Ирину немедленно, и он побежал на улицу, позвонил, услышал обрадованный крик: «Приезжай!» Он приехал в квартиру с тяжелой мебелью. У Ирины было измученное, постаревшее лицо. Смуглота кожи выглядела линялой. Но все равно он любил ее. «Я думала, ты меня бросил!» — «Почему?» — «Не звонишь. Знаешь, что я одна». Поздним вечером она сказала: «Если б он не был в больнице, я бы его оставила. И пришла к тебе».— «Но он там не навеки».— «Дела его плохи...»

Он стал думать о том, что она сказала, и не мог думать ни о чем другом. Почему нельзя соединиться с

женщиной, к которой влечет непобедимо? Ведь наперекор всякому разуму, пониманию, опыту жизни, самолюбию, гордыне он бежит к телефону и ищет встречи. И она не в силах жить без него. Но однажды в конце апреля, знойным днем, почти летним, она сказала: «Милый, мы опоздали. Надо было решаться скорее. А теперь я не могу. Он в таком состоянии, его жизнь разрушена... Не могу...»

Они перестали видеться, перестали звонить друг другу, сначала мучились, потом, спустя несколько месяцев, привыкли, а в конце лета он узнал случайно со стороны о том, что у такого-то все в порядке, неприятности его кончились, он находится на прежнем посту. А человек, который ему вредил, передвинут на другую работу. Люди говорили: «Это неплохо, что такой-то остался!» Но Антипова теперь это интересовало мало, он был занят романом — давал читать рукопись, выслушивал мнения, нервничал, падал духом, воспламенялся гордыней, на нервной почве заболел псориазом и к середине сентября пришел к окончательному выводу о том, что роман не получился. Это была ужасная правда, но он почему-то испытал облегчение. Да и как мог роман получиться? Ведь это была книга о писателе, который тоже писал роман, который не получился, внутри которого был скрыт другой роман, который тоже не получился. У всех что-то не получалось. И то, что опрокинуло его жарким дыханием, помутило сознание и протащило, беспамятного, через недели и дни,— оно ведь тоже не получилось.

Мать вернулась в комнату, держа какой-то пакет, молча протянула Антипову. Он механически, думая о своем, положил пакет на дно портфеля и спросил:

— А это что?

— Это крахмал. Он редко бывает. Значит, ты говоришь, почти уже ничего нет?

— Нет,— сказал он.— Да ничего и не было. Ерунда. Пусть не морочит голову.

— Я так и думала. Она у тебя паникерша. Ну, бог с ней. Я рада. Я ей позвоню, успокою. Меня волнует вот еще что, сын...— Мать зашептала: — А что же с твоим романом? Почему ты его никуда не хочешь давать?

— Он не получился,— сказал Антипов.

— Не получился! — ахнула мать.— Как же так? Ведь ты так много работал. Сколько раз его переделывал.

Антипов молчал, глядя в окно. Он думал, будто впервые: почему не получился роман? Хотя думал об этом много раз. Ему хотелось ответить правду. Мать была самой родной, несмотря на то что лучшие годы прошли без нее: от двенадцати до двадцати. То, что связывало их, было не любовью, а чем-то вечным и таким, о чем никогда не думалось, что существовало само по себе, как земля, как сырой московский воздух.

— Не получился, наверное, потому,— сказал Антипов,— что затеял непосильное. Не по моим силам, понимаешь? Я не могу дочерпывать. А это необходимо. Нужно дочерпывать последнее, доходить до дна, я понял это к концу, когда было поздно. Ну, неважно! Не огорчайся. Напишу что-нибудь, чтоб получилось.

Он обнял мать, прижал к себе на мгновение, она улыбнулась.

— Бедный сын! Мы с Григорием Васильевичем все говорим и думаем: как бы тебе помочь? Григорий Васильевич, например, очень доволен, что ты использовал его документ двадцать восьмого года насчет семейной жизни. За что его чуть не вычистили, а наш отец его спас. Нет, Григорий Васильевич на тебя не в обиде, как ты боялся. Он человек добрый. А вот Люда его не любит за то, что он был строителем в северных местах. Работал по найму как инженер... Если дочерпывать до конца, то, наверно, права... Я не знаю...— Мать опять улыбнулась и как-то жалко, просительно поглядела на сына.— Мы так устали, ты знаешь. Зачем дочерпывать? Не надо, я тебя прошу.

Антипов вернулся от матери вечером. Квартира была темна, пуста. Все куда-то разошлись. Антипов стоял у окна, не зажигая света, и смотрел в зимнюю темноту с огнями, разбросанными в унылой кромешной необозримости. В доме напротив открылась булочная, внизу горели буквы «Х л е б». Антипов внезапно до дрожи почувствовал ледовитую ясность. Он понял, что выхода нет. Никто его не спасет. Он сел за стол, зажег лампу на гнутой металлической ножке, положил перед собой чистый лист и написал сверху: «Синдром Никифорова. Роман».

ВРЕМЯ И МЕСТО

На другой день после того, как Антипову исполнилось пятьдесят два, он полетел в Улан-Удэ, откуда поездом через тайгу и степи попал в Монголию, вышел на станции Дархан, там были кое-какие дела и малоинтересные разговоры, и через три дня — после того как простился с майским холодом и нерасцветшими липами на Суворовском бульваре — сидел в юрте, на ветродуе, слушал шум песка, пил «сютецай», чай с молоком, излюбленный монголами и довольно бурдистый напиток, и разговаривал с хозяином юрты, с одним ученым из столицы и с одним стариком по поводу событий семисотлетней давности. Старик сказал, что корень надо искать в религии — культе предков. Ученый из столицы, имевший лицо широкое и прямоугольное, как ведро, сказал, что причины лежат в социальных условиях. Хозяин юрты все объяснял изменением климата: перестали выпадать дожди, степь выгорала. Было отчаяние от голода и засухи. Антипов думал: «Далеко же забросило их отчаяние!» Ему чудилось иное: маета народа, освободившегося от бремени своей земли, своих городов, могил. Мысль об освобождении занимала его, освобождении от многого: от забот о детях, которые выросли, от ненужной мебели, от мук тщеславия, от власти женщин, эгоизма друзей, террора книг. Вернувшись в Москву, Антипов написал рассказ «Шум песка», предназначенный для сборника, но в редакции рассказ не понравился и в сборник его не взяли, так что получилось, что съездил зря. На самом деле не зря. Вывез из Монголии какую-то пищу своей догадке. Рассказ «Шум песка» был напечатан в журнале. Уже пятый год, расставшись с Таней, Антипов жил в громадной пустой комнате в Мерзляковском переулке, в середине старой Москвы, неподалеку от Тверского бульвара, неподалеку от всего, что составляло прежнюю жизнь, и друзьям было нетрудно навещать его, когда болел и когда у них возникало такое желание. Но желание возникало у них нечасто. Да и друзей не осталось. Многие ограничивались удивлением: «Ты опять нездоров?» Он отвечал: «Что поделаешь! Возраст академический». И так он лежал третью неделю в одиночестве не то чтобы пластом, но полеживал, бродил в пижаме, сидел на балконе, ел на кухне за круглым столом, покрытым французской клеенкой с гастрономическим рисунком, давним подарком женщины,

опять валился в постель с книгой — после очередной сердечной подлянки, настигшей его в конце июня, и настроение было хуже некуда. Хотя врачи говорили, что дело идет к поправке. Но промежуток между пиком болезни, проходившим в полубреду, и поправкой, к которой шло дело — но шло тягостно, заунывно! — вгонял Антипова в такой мрак и запустение души, что все становилось немило. Не читалось, не думалось, не спалось, не смотрелся телевизор. Все это привычное, каждодневное, на что прежде не требовалось усилий и что было незаметною рутиной жизни, теперь достигалось только ценой напряжения, а тут Антипова не хватало, и он махал на свои попытки рукой, закрывал глаза, гасил свет. Мысли зарождались и меркли, это были какие-то обрывки, какая-то кожура мыслей, ничего существенного и глубокого он придумать не мог, а когда случайно натыкался умом на незаконченное сочинение, подобие душевной тошноты охватывало его, и он поспешно выключался, чтобы не стало хуже. Всякая мысль о работе была опасна, как резкое движение, как печальная весть. Ему сделалось, например, хуже в тот день, когда Марта Васильевна — старушка, приходившая готовить и убирать, она же доставляла лекарства и почту — принесла газету, где было объявлено о смерти Виктора Котова. Хотя за последние лет двенадцать особой дружбы не было, но известие о том, что Виктуара нет, ударило нестерпимо — так много было связано с ним радости, чепухи, надежд! — и Антипов заплакал, уткнувшись в подушку. Он знал, что Виктуар был ничтожное существо. Да разве, бог ты мой, в том дело? Он был частью жизни, и с его исчезновением омертвела и укоротилась какою-то долей его, Антипова, жизнь. В некрологе сказано: безвременно. Нелепое слово! Подразумевается: нежданно, без причин, без болезни, без предуготовленного и определимого срока, то есть без времени. Скорее всего разорвалась аорта от пьянства, а это всегда без времени. Антипову захотелось непременно пойти на похороны, которые должны состояться через день, он почувствовал себя лучше, сделает усилие, наденет темный пиджак и пойдет. Почти никого не осталось в старой орбите. Володя Гусельщиков ушел в непонятную область, в индийскую философию. Квашнин стал начальством, это было так же далеко, как индийская философия. Мирон уже пять лет обретался в Болгарии, жена у него теперь была болгарка, актриса кино,

а его старики доживали на Солянке, и изредка в телефонной трубке хрипело полузадушенное: «Вчера получили письмо от Мирона. И фотографии. Он купил моторную лодку!» Первое время Мирон звонил из Софии часто. А сын Степан работал врачом в Алжире. Иногда прибегала дочь, приносила апельсины, какой-нибудь свежий журнальчик, казавшийся ей интересным,— например, «Театр». Еще реже бывала Людмила, которая хотела приходить чаще, да жизнь не пускала — она работала теперь за городом. А больше никто. Мать умерла. И вот кто чаще других: Маркуша! Загадочно, почему после всей тридцатилетней круговерти остался на поверхности этот несуразный тип, полысевший, голубоглазый, поблекший, но все еще румяный, крикун, балаболка, дитя улицы? Непонятно, чем он жил: то ли торговлей книгами, то ли игрой, то ли добротою слабого пола. Он существовал всегда, но всплывал вблизи временами, и так он всплыл в семьдесят седьмом, когда Антипов вздумал разделаться с библиотекой не потому, что были нужны деньги, а потому, что книги надоели. Маркуша разметал библиотеку в три дня. В шкафу осталось необходимое для жизни — таких книг вышло не более ста,— прочее полетело в тартарары, и Антипов вздохнул с облегчением. Он вздыхал с облегчением, когда от чего-то освобождался.

Ему давно хотелось написать про Маркушу. Хоть что-нибудь, пускай для себя, для памяти, лишь бы не залежалось втуне. Ведь таких персонажей, как этот уморительный обалдуй, знавший книгу гениально — мог на спор угадать название, когда книгу показывали обратной стороной обложки! — в Москве не осталось. Умер Левочка Марафет, сгинули Пат, Барин. У Антипова и название было приготовлено: «Ненужный гений». А какая прелесть отношения Маркуши с президентом Кеннеди! В шестьдесят первом, когда Кеннеди избрали, Маркуша ужасно взбудоражился тем, что президент так молод, бегал, схватившись за голову, и бормотал: «Чего ж я-то сижу? Он уже президент, почти моих лет, а я где? Да зачем я, баран, жизнь прожигаю? Да разве он знает книгу как я?» Возмущение собою и миром было неподдельно. Но через два года, когда Кеннеди убили, Маркуша ворвался в дом Антипова в неистовом раже и кричал, размахивая руками: «Ах я умница! Ах, голова! Недаром один сказал: ты бы, говорит, был Спиноза, если б не играл. Да что ты! Люди от меня без ума! И вот

я живой, здоровый, на-ка, бицепс пощупай, а Кеннеди где?» Еще запомнилось и непременно должно было войти в сочинение о Маркуше высказывание его матери, с которой он прожил в подмосковной халупе всю жизнь и которая училась пению в Одессе у Макареску, а во время нэпа продавала на Арбате пирожки: «Все имеет свое время и свое место». Эта замечательная мудрость сидела в клокочущих мозгах Маркуши как чудодейственная заноза и порой охлаждала и укрощала его, особенно в дни, когда он проигрывал на бегах последнее. В прежние времена, когда Антипов собирал книги, он следил за Маркушей в десять глаз: тот мог снять внаглую с полки том и бросить в свой раздутый, бесформенный портфель, похожий на саквояж захолустного доктора, он выманивал нужные ему книги всеми правдами и неправдами, обманывал, плутовал и пытался иногда вырвать силой. Для борьбы с Антиповым сил не хватало, но каких-нибудь старушек, владелиц Данилевского и Понсон дю Террайля, он одолевал без труда. После исчезновения библиотеки Маркуша стал гость неопасный, однако и теперь он норовил сплутовать и как-нибудь Антипова объегорить: спорили на результаты футбольных и хоккейных игр, шахматных матчей, а то и сами садились за доску, по пятерке партия, причем Маркуша требовал себе фору в две легкие фигуры. Как для истинного игрока, для него не существовало таких понятий, как гордость, самолюбие, стыд, мир делился пополам: проигрыш и выигрыш. Одна половина не имела оправданий, другая могла оправдать все. Но Маркуша был первый, кто, узнав о болезни Антипова, прибежал утром с кульком рыночного творога и с криком: «Ну что? Доигрался? А я говорил: не гони кобылу! Делай паузы. Всех книг не напишешь. Всех денег не заработаешь...»

Антипов отправился на похороны в знойный полдень. Когда вышел во двор, закружилась голова, он сел в тени на скамейку. От наступившей жары воздух дрожал и слоился. Листва в садике пожухла, не успев насладить двор свежестью. Безвременная кончина листвы. Кто-то говорил, что предстоит катастрофическое лето. Размышляя о Котове, Антипов пришел к тому, что мать Маркуши не так уж глупа: бедняга не понимал своего места и отпущенного ему времени. Люди мечутся потому, что не понимают. Оттого и случаются эти смерти без времени. Посидев немного, он пошел нетвер-

дыми шагами к стоянке такси, поехал в дом, где с Виктуаром прощались. Увидел знакомых. Никто не знал о его болезни и не спрашивал ни о чем. Один подошел и прошептал, протягивая траурную повязку: «Не хотите постоять вместо меня в карауле?»— «А вы?» — «Я после. Там будет человек, с кем я не желаю стоять рядом...» Антипов, пожав плечами, взял повязку. Когда Антипов, преодолевая головокружение, сидел в фойе в кресле, к нему подъехал — именно подъехал вместе со своим креслом — сидевший неподалеку Слава Бубякин, кинорежиссер, давний друг Котова. Лицо Бубякина, чем-то напоминавшее котовское — такого же барбоса, гуляки — было залито слезами, глаза мутные, он откашливался в платок то ли от слез, то ли был болен. Всхлипывая, вытирая глаза, придвинулся к Антипову вплотную и спросил шепотом: «Не хочешь сделать для меня текст? О балетной школе? Пять частей?» Антипов покачал головой.

На другой день ему стало хуже, еще неделю он маялся дома, то лежал, то бродил, а затем в одночасье прохладным утром вдруг почувствовал себя здоровым и вышел на волю, где сеялся дождь. Небо было серенькое. Переулок был заставлен машинами, их крыши сияли. Антипов вышел на большую улицу, купил в киоске газету, это была «Социалистическая индустрия», и, читая на ходу, медленно пошел к Никитским воротам, а оттуда на бульвар. Погода объявлялась такая: ветер северо-западный, температура 16—17, давление 750, без осадков. Дождь ничему не мешал. Можно было считать, его и нет. За легчайшей прозрачной кисеей тихо вставал белый день. Никто не сидел на скамейках бульвара. Люди шли туда и сюда, не задерживаясь, озабоченные, одни с портфелями, другие с сумками. Почти не было никого, кто бы шел, размахивая свободно руками. Антипов сел на скамью, продолжая читать. Теперь он изучал программу телевидения. Вечером обещали футбол. Антипов подумал с изумлением: «Я не был на стадионе двенадцать лет. А не пойти ли?» Он ждал прихода Маркуши, который хотел притащить какое-то чтение и рассказать новость: познакомился с необыкновенной женщиной. По телефону распространяться не стал. «Расскажу! Успеешь! Не гони кобылу! Женщина классная, с ума сойдешь, отвечаю! Четвертаком отвечаю против рубля — с ума сойдешь. Только для тебя пустой номер, имей в виду. Не строй радужные планы. Она ко мне припала без памяти. Филе окуня не нужно? Могу притаранить...»

У Маркуши было неисцелимое, шизофреническое недержание слов, он говорил без умолку, кричал, кипятился, пенился, и иногда, чтобы остановить, требовалось его слегка ударить. Антипов думал о Маркуше улыбаясь. Какая-то тихая, благостная теплота обнимала Антипова: он думал с радостью о том, что можно снова начать, можно еще попробовать, можно надеяться. Дождь тихонько стучал по газете: можно! можно! можно!

Антипов не заметил, как на другой конец скамейки села женщина, держа над собой выцветший, когда-то черный зонт. Женщине было лет семьдесят. Ее шея напоминала гусиную, а рука, державшая зонт, была усыпана темно-рыжим старческим пеплом. Антипов посмотрел на старуху, услышав голос: «Вот еще одно лето. И никакой радости».— «Почему же?» — спросил Антипов. После долгого молчания и вздоха, означавшего, что никто не собирался начинать с ним разговор, старуха произнесла: «Потому что человек должен любить. И быть любимым. Все остальное не имеет смысла». Посидев немного, она поднялась и двинулась по аллейке, едва переставляя ноги. Ее лица Антипов так и не увидел...

Маркуша, как водится, надул, пропал, явился только через четыре дня, объяснив, что срочные дела погнали его в Казань. Какие уж срочные дела у Маркуши! Но какие-то были. Антипов давно с этим типом смирился, дал ему денег, тот сбегал в магазин и принес пива.

— Ты все насчет моей бабы хочешь узнать? Ну, давай, давай, записывай. Расскажу. Тебе пригодится. Как познакомился-то? Ходил небритый, опустошенный. Изза своих неудач. Сам посуди: все время поднимаюсь до бегового дня, а потом опять остаюсь пустой. И все с меня, с меня! Когда же с других? Верно говорят про цыганское счастье. Это неглупо сказано. Народ понимает! Если ты цыган, сиди и не рыпайся, Хрен Иваныч. Это они меня цыганом считают, потому что я отчаянный. Когда меня раскочегарить... Да перестань ты меня торопить! Сидим хорошо, пьем пиво, куда ты, паскуда писательская, спешишь? На Ваганьково? Успеешь, не волнуйся. Хотя надо пошустрить насчет местечка, это верно, ты уже полтинник проехал. Могу помочь, у меня есть там мужик знакомый — могилы копает. В первой сборной играл...

— Не отвлекайся,— сказал Антипов и дал в медный от загара, изрезанный морщинами Маркушин лобик щелчка.— Рассказывай, как познакомился.

— Расскажу. Не гони кобылу. Тебе сюжеты нужны, я понимаю. Чехов бегал, кричал: «Дайте мне сюжет!» А я тебе на дом таскаю, как молочница молоко, только ты не пишешь ни хрена почему-то. А ты скажи: Гончаров тоже вот не писал, не писал, а потом, как зафитилил от столба, всех объехал. А? Он Тургеневу говорил: «Если, говорит, ты у меня, зараза, еще один сюжет стяпаешь, я тебе из охотничьего ружья промеж глаз шарахну! Безо всякой дуэли!» Ну, это детали. Сейчас расскажу, подожди. Дай прожевать. Сейчас ты у меня крякнешь. Забегаешь вот так по комнате и закрякаешь, как утка. Кря! Кря!

— Ладно, ты мне надоел. Я займусь делами.

— Постой! Сейчас будешь крякать. Завопишь и крыльями захлопаешь. Кря, кря, кря, кря...— Маркуша, приседая, кружился по комнате и хлопал себя по бокам.

Антипов смотрел на почти уже старого лысого обормота с бугристым дубленым лицом, обветренным многими десятилетиями, проведенными на улице, и думал о том, что Маркуша — последний человек, который надоест. Потому что в нем сохранились детство, глупость и доброта. Все то, что было когда-то в самом Антипове.

— Ты говоришь: почему книг нет? А где их взять? Не несут. Народ стал знаешь какой дошлый. Деньгу в книгу забивают. Поняли, что надо копить. Я тебе двадцать лет назад что говорил? Покупай Соловьева, покупай Федорова, Розанова, они ж тогда дарма шли: по пятерке, по трешке. А теперь попробуй возьми. Все умные стали. Ты думаешь, что один писатель? Да я не хуже тебя, только времени нет, жизнь меня долбит, кредиторы дерут, я всем нужен, все орут: Маркуша! Маркуша! Вот сочинил давно, когда был посвободней: «Не зря морщинка так легла на лоб, как будто пополам разрезав череп. С любовью шел я в гущу толп, во все хорошее уверив...» А? Ты подожди, подожди! Не криви рожу! — вдруг заорал он грубым голосом.— Ты дослушай: «Но время шло и жизнь текла, я наблюдал ее биенье живо. И глубже черточка легла, и сердце становилось лживо». Больше я ничего не написал по этому поводу. Но Светлов обалдел. Я его раз поймал в «Национале» и прочитал.

— Как ты познакомился с женщиной, шизофреник?

— Ну как, обыкновенно. В парикмахерской. На Петровке. Ее ноги меня притягивали. Еще Мопассан жаловался в письме Флоберу на однообразие женщин, но это детали. Было тридцатое апреля. Хорошо помню, потому что первый матч в Москве: «Динамо» — «Пахтакор». Я был очень оживлен, а я могу быть таким. Один говорит: как, говорит, интересно смотреть на тебя на бегах, когда ты волнуешься! Вообще люди от меня с ума сходят. Я человек демоничный, а мать у меня анемичная. Она говорит: «Лучшему нет границ». Бывают люди, не годящиеся для жизни, вот моя мать такая. Ничего не хочет, ничего ей не надо, хотя училась пению у Макареску. А я, наоборот, весь в жизни, в борьбе! Один говорит: дали б Маркуше раскрутиться, он бы всю Москву убрал! Умный человек сказал. Это не какой-нибудь пришей-пристебай, а умнейший человек. Доцент его зовут. Вокруг него целая кодла, а он только командует тихо: «Поди поставь сорок на три и два!», «Поди получи!», «Поди принеси коньяк и бутерброд с семужкой!» И те бегают, шестерят. Доцент! Его все знают на бегах, на стадионе и в парке. Бесподобный мужик. «Я,— говорит,— тебя люблю, хоть ты и Маркуша. Но денег тебе давать нельзя, потому что ты всю Москву уберешь». Понял? Одна в восторге была: «И откуда ты, Маркуша, такой знающий?» Это я знающий, ха-ха!..— Дикий, самозабвенный хохот.

— Ты вернись, пожалуйста, в парикмахерскую.

— Сейчас. Успеем, никуда не денется. Я ей сказал, что тебя привезу. Но пока я все пиво не засажу — сколько там бутылок осталось, две или три? — я отсюда не тронусь, так и знай. Она говорит: у меня, говорит, с памятью стало несколько слабовато... Ты примечай, какие обороты речи! Несколько, понял? Другая сказала б по-простому: я, мол, ни хрена не помню. Память на фиг отшибло...

Антипов смотрел то на Маркушу, то в окно, где раскаленный полдень кипел в синеве над крышами, и предчувствие страха охватывало его. Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время, а он как будто стоял на пороге такого узнавания — оно должно было выплыть из бессвязной болтовни Маркуши. И тайный озноб обнимал Антипова. Он глядел на Маркушу, который столько раз выручал его во множестве мелких, неотлипчивых, жалящих, грязноватых делишек, без кото-

рых не существует жизни, как не существует лета без мух и комаров, а теперь должен был, сам того не зная, нанести рассекающий сердце удар, и Антипову вдруг показалось, что Маркуша отсчитывает часы его жизни, будучи сам чем-то вроде часов. Такие кривые, текучие, лысоватые, с пунцовыми щечками, из кошмарного сна, наподобие часов Сальвадора Дали, это и есть Маркуша.

Но эти часы были его, Антипова.

И он неожиданно ласково, как на неизбежную печаль, поглядел увлажненными глазами на Маркушу, который продолжал что-то молоть в возбуждении.

— Взяли бутылку, приехали, она говорит: ух ты, говорит, щечки! И меня вот этак за щеку хвать. А щека у меня, сам знаешь, помидор. Потому что я полнокровный. «Хорошо,— говорит,— будет тебя резать». Я обалдел. Ты слушай внимательно! Это ж все для тебя сюжеты! И зачем я, баран, ему рассказываю? Сам должен писать, талант у меня огромный, все вижу, все примечаю, люди со мной делятся, и зачем я ему дарма отдаю, фраер? Все моей добротой живут. Ну ладно, детали: женщина замечательная, актриса, играла в кино, фильм пятьдесят четвертого года, «Огни в долине» помнишь? Ну вот, она. А сейчас, конечно, нигде... Людей, говорит, ненавижу, а животных люблю. Потому что животные на подлость не способны. Убить, горло перегрызть — пожалуйста, а сделать подлость — никогда. Умнейшая женщина! Лет ей, конечно, немало, наша ровесница, но еще в порядке. Можешь мне поверить, в жутком порядке. Ноги длинные, как у Эсмеральды. Эсмеральду помнишь? Донская кобыла, на которой Феликс в Стокгольме первый приз взял. Знаменитая лошадь. В прошлом году схоронили. А у Натальи Владимировны все ничего, только личико мятое, потому что поддает крепко. Мы первую бутылку за десять минут опростали, она говорит: «Беги куда хочешь, буду тебе век благодарна, только достань». И главное, пьет, змея, и не пьянеет. Ну женщина! То стихи читает, то плачет, а то возьмет вот так за уши, притянет к лицу и разглядывает будто с удивлением: кто, мол, ты такой и откуда? Чего глазами хлопаешь? Да что ты, тут никакой Шекспир не годится, никакой Шолохов, никакой А н т и п о в! Тут жизнь распоряжается, понял? Была актриса, сперва в Саратове, потом на «Мосфильме», блистала, гремела, на приемах с иностранцами, а теперь в прозекторской...— Глупые голубые глаза налились слезами, он смахнул их рукою и закончил

тихо: — Чего считаться! Ты, мы, вы, я... Закрутило... А баба ласковая. Хоть и матерится, надо сказать.

— Как ее зовут? —спросил Антипов, не слыша своего голоса.— Фамилия?

— Неважно. Ишь ты, как зовут да как фамилия. Может, телефон дать? Наталья Владимировна зовут. Твоя кличка «отзынь», понял? Она от меня без ума. А ты там даром не нужен. Она писателей презирает. Достоевский, говорит, женщин не понимал, да все они свиньи, эгоисты. Я говорю: знаю, мол, одного писателя, Антипова, и он, говорю, мужик недурной. А она спрашивает: «Разве он жив?» Я говорю: «Жив, конечно. Четвертак мне должен». А она говорит: «Ну, для кого жив, а для меня умер. Писатель был средний и мужик невыдающийся». Вот как тебя причесала! У тебя с ней что было? Она говорит: если бы, говорит, мне годков на двадцать поменьше, я бы к тебе приклеилась, как пиявка, не отодрать. Что ты, от меня бабы в угаре! Я им запущу что-нибудь про интимную жизнь Оноре де Бальзака или насчет Анатоля Франса в халате... Вот ты жизни не знаешь, живешь в своей конуре, а нынче женщина чего от нас хочет? Ты подумай, не отвечай сразу. Подумай своей головой. Нет, не денег, не цветов, не духов французских и не козлом на диване прыгать, как ты думаешь. Ей стакан водки и поговорить. По душам, понял? А тут мне равных нет...

— Замолчи,— сказал Антипов.

Он лег на постель и закинул руки за голову. Маркуша ходил по комнате, бормоча что-то. Потом остановился возле постели.

— А утром говорит... Сидим хорошо, пьем пиво, вдруг посмотрела так и говорит: «Вы бахрома от брюк...» Это что значит? Как понять?

Антипов молчал. Маркуша опять стал ходить по комнате, озадаченный и погруженный в думу, крутил головой и рассуждал вполголоса:

— Бахрома от брюк... Ишь ты, запустила!.. Ой, баба непростая... Надо два года разгадывать, не разгадаешь... Пропал ты, Морковкин...— И тихонько смеялся чему-то.— Бахрома, говорит, от брюк... Ой-ой-ой...

Антипов продолжал лежать молча, глядя в потолок, как будто не слыша Маркуши, и тот ушел на кухню. Не возвращался долго. Иногда там что-то позвякивало, постукивало, был слышен негромкий голос — Маркуша разговаривал сам с собой. Через четверть часа он

вернулся и, остановившись в дверях, спросил неуверенно:

— Поедем, что ль?

— Не знаю,— сказал Антипов.— Не пойму, ехать ли, не ехать...

Маркуша подошел, сел на постель.

— Милый...— Положил ладонь на ледяной лоб Антипова.— Ну чего расстроился? Ну, не поедем. Подумаешь, дела.

— Не знаю.

— Хочешь, чайку поставлю? Или за водкой сбегать?

— Не надо. Сиди.— Антипов закрыл рукой глаза.

— Я посижу. Сколько надо, столько и посижу. Если хочешь, останусь тут ночевать. А что? У мамаши два рубля есть. Попросит девчонку за хлебом да за кефиром сходить, а больше ничего не нужно. Ну, папиросы «Приму». Это все детали. Ты, главное, не расстраивайся.

— Голова кружится,— сказал Антипов.

— Ну и не поедем никуда. Подумаешь, невидаль. Бахрома, говорит, от брюк! Обойдется.

К вечеру Маркуша куда-то ушел, вернулся с яблоками, сели смотреть по телевизору футбол. В перерыве Антипов вновь почувствовал головокружение, лег одетый на постель, началась боль в груди, Маркуша испугался и вызвал «скорую». Когда несли на носилках по лестнице, Антипов думал сквозь боль: не было времени лучше, чем то, которое он прожил. И нет места лучше, чем эта лестница с растрескавшейся краской на стенах, с водяными разводами наверху, с какими-то надписями карандашом, с голосами и запахами жизни, с распахнутым окном, за которым шевелился огненный ночной город.

ПЕРЕЖИТЬ ЭТУ ЗИМУ

Осенью 1979 года моя дочь Катя, не сдав второй год подряд вступительные экзамены в университет, заболела тяжелым нервным заболеванием, и ее положили в Первую градскую, в психосоматическое отделение. По средам и воскресеньям я езжу ее навещать, и, если хорошая погода, мы гуляем с ней по больничному саду, огибаем петлями старинные корпуса, удаляемся к дальней стороне территории, которая граничит с парком.

Оттуда всегда доносится музыка — летом с открытой эстрады, а зимою с катков. Если же погода плохая и гулять нельзя, мы сидим с Катей на деревянной скамейке в коридоре. Но сидеть в коридоре нехорошо: на скамейке тесно, посетители и больные жмутся друг к другу, разговаривают хотя и негромко, но слышно для всех, и разговаривать надо непременно, нельзя молчать. Будет глупо: приехал навестить и молчит. Однако все переговорено и перерассказано. Про Васеньку она слушает без интереса, задает скучные вопросы, и все одно и то же: «А как он ест? Ничего? А зубки мучают?» Но, когда гуляем по саду, можно долго ходить молча.

Я давно уже рассказал Кате, что эти старинные дома, больничный сад и парк — места моего детства, я учился неподалеку отсюда в школе, у меня был друг Левка Гордеев, шахматист и умница, погиб на войне, а мать Левки работала медсестрой в этой самой больнице. Про Левкиного отчима, который болел непонятной болезнью — неохотою жить, я Кате не рассказывал. Потому что у Кати были похожие настроения. На каждой прогулке я добавляю что-нибудь новое о довоенных временах — мне доставляет удовольствие вспоминать! — а то и присочиняю что-нибудь посмешнее или потрогательнее, и порой мне кажется, что Катя слушает внимательно, тогда я радуюсь, я верю в то, что она станет такой, как прежде, но вдруг она опять погружается в оцепенение, не слушает, не откликается, а если слушает, то с равнодушной покорностью, с какой умные дети слушают сказки, догадываясь обо всем наперед. И верно, то, что я рассказываю, для нее вроде сказки. Непредставимая и абсолютно ненужная даль. Она перебивает со вздохом: «Папа, я это слышала...» А однажды, когда я опять завожу про Левку, шепчет тихонько: «О господи, господи...» — и ее лицо кривится, как от боли. До болезни Катя была другой. Она любила мои рассказы о детстве, и в первые годы после смерти Катиной мамы, когда мы остались вдвоем, я должен был развлекать ее вечерами и трепался без устали про всякие шалости детских лет. Хотя, в общем, было не до шалостей... Потом она как-то сразу, внезапно повзрослела и от меня отдалилась... Помню, за ужином вдруг положила мягко руку мне на голову — новый, удививший меня жест! — и сказала: «Папа, не относись ко мне как к ребенку. Это смешно. Я женщина, у меня есть муж». Я изумился. «Какой муж?» Оказывается, муж появился давно. Про-

сто я не замечал его. Мужа звали Геннадий. Он работал в институте информации, носил каштановую круглую бороденку и был какой-то мелкокалиберный, с тонким голосом. Когда я узнал, что это муж, я стал к нему присматриваться и увидел, что он неглуп, начитан, переводит научные статьи с английского. Правда, занятие странное. Мужчина должен *писать* научные статьи, а *переводить* — дело женское. Я старался быть деликатным. Когда между ними начались распри, я держался в тени или, в крайнем случае, брал его сторону. Он был приезжий, из Пскова. И он рвался в Москве всех узнать, все увидеть, заводил знакомства, ходил по гостям, а Катя суету не выносит. Ей бы сидеть дома, читать книжки. Я называл ее в детстве: друг сердечный, таракан запечный. Через год она его прогнала. Не знаю в точности, что у них было, но я вздохнул с облегчением: он был слишком неопределенен. Я так и не разгадал его до конца. Когда в прошлом году Катя провалилась в университет, было понятно: Васенька отнимает много сил. Но теперь нашли няню, ребенок жил летом в Десне, Катя морила себя зубрежкой и ночными бдениями, я не видел, чтоб люди так себя изнуряли, я не мог помочь, математика ей не нужна, а по другим предметам я отстал. Но, видя, как она занимается, я почему-то был уверен: такие адские усилия не могут пропасть даром! И вот она позвонила мне в институт и фальшивым, веселым голосом сказала, чтоб я не расстраивался, она не набрала полбалла, опять провалилась, и ну их всех на фиг. Я похолодел от страха и крикнул: «Что ты собираешься сейчас делать?» — «Пойду в кино!»

Неделю все было мирно, она поехала в Десну, к Васеньке, вернулась озабоченная, сказала, что няня Мария Васильевна хорошая, чистоплотная, Васеньку любит, но, кажется, неравнодушна к водочке, видели ее с коляской в сельпо, покупала бутылку, однако никакой паники Катя не проявила, что мне понравилось, и разумно сказала, что надо исподволь, без особой спешки, но и не мешкая, подыскивать другую няню, непьющую. А к концу недели Катя отколола номер: она легла с головной болью в темной комнате, не выходила допоздна, я думал, что заснула. Часов в одиннадцать заглянул к ней и увидел, что не спит, рассматривает циферблат своих часов с фосфорическими цифрами. Я удивился: что ты делаешь? Ничего. Продолжала рассматривать циферблат. Я спросил: что отвечать няням? Сегодня звонили

несколько человек. Катя сказала, что ее это не интересует. Ты хочешь оставить Марию Васильевну? Да. Но ведь она пьет. Все пьют. Отвечала безжизненным голосом. Я воскликнул, охваченный внезапным, леденящим душу ознобом: «Но это опасно для Васеньки!» Она молчала, потом сказала: «Там были девочки, которые тоже недобрали полбалла, и они сказали, что все заранее определено. И ничего сделать нельзя. Это правда?» — «Не знаю,— ответил я.— Может быть».— «Тогда зачем жить? Если все определено?» Я сказал: «У тебя есть Васенька. Ты об этом не забывай».— «Я Васеньку не люблю»,— был ответ в темноте.

В тот же вечер я стал звонить врачам. Мне сказали, что Катю нельзя оставлять одну, и пришлось звать Катину тетку Женю, хоть этого не хотелось. Женя явилась с демонстративно суровым, осуждающим лицом, притащила громадную сумку с едой, апельсинами, булками докторского хлеба, все было напоказ и совершенно не нужно — Катя есть не хотела. Когда поздно вечером я вернулся после института домой, Женя встретила меня в халате, в каком-то нелепом, распаренном виде, точно долго стирала или принимала ванну, и я не сразу сообразил, что дура распухла от слез. Она повела меня на кухню, шепча: «Я вам этого никогда не прощу!» — «Чего именно?» — «Вашего звериного равнодушия. Это низко, бесчеловечно. Вы бросили девочку в водоворот и отошли в сторону...»

И вот прошло три с половиной месяца, в ноябре выпал снег, в декабре начались морозы, иногда я приезжаю к Кате с Васенькой, который уже ходит, показывает на собаку, говоря «ава», и произносит «дзысь», что значит «машина», он страдает диатезом, мы никак не можем избавиться от диатеза, я требую от новой няньки, интеллигентной Анны Георгиевны, строжайшей опрятности и соблюдения правил детского питания, но диатез почему-то непобедим, и я каждый раз боюсь, что Катя будет сердиться, однако она не сердится, она трогает пальцами пухлые, в пунцовых пятнах Васенькины щечки, говорит тихо: «Здравствуй, котенок»,— и в ее голосе нет ни беспокойства, ни улыбки, ни страдания оттого, что видит сына редко, одна холодная, пустая приветливость. Но чаще я приезжаю один. Во-первых, я могу побыть у Кати подольше, а во-вторых, боюсь за Васеньку, того гляди он простудится, заразится, подхватит каких-нибудь микробов в такси...

В середине декабря Катин врач Степан Александрович говорит:

— Я полагаю, к Новому году мы Катю выпишем. Но хотелось бы знать: какие у нее условия дома? Кто с нею может быть?

Я отвечаю: родной отец. Правда, я работаю, уезжаю в девять, приезжаю в семь, но есть свободный, так называемый библиотечный день и кроме того — суббота и воскресенье.

— А других близких людей...— Степан Александрович смотрит испытующе. Он высок, плечист, кожа на его лице смуглая, очень чистая, нежная, как у мальчика, взгляд черных глаз как-то очень уж тверд. Говорят, несмотря на молодость, у него большие познания, опыт, талант. Он работал где-то за границей. «Ну почему бы тебе,— думаю я бессмысленно,— не стать для Кати близким человеком? Ведь она умная, способная к языкам, она внутренне честная, добрая и красивая, хотя нос немного велик и эта худоба, но какие глубокие синие глаза...»

— Других близких нет. Есть сын Вася. Со своей няней.

— А что из себя представляет няня? Она сюда приезжала?

— Нет, она боится сюда ехать. И Катю никогда не видела. Ну что она из себя представляет? Женщина еще не старая, была бухгалтером, вышла на пенсию. С невесткой и сыном жить не может. Они ее, попросту говоря, выжили из квартиры. И вот вместо того чтобы нянчить собственного внука, нянчит чужого.

— Она не может быть для вашей дочери чем-то...

— Нет,— говорю я.— Ничем. Она только для Васи.

— Скажите...— внезапно он хмурится, краснеет и вонзает в меня в упор, как истый следователь, свои черные неприязненные глаза.— А вот та женщина, которая сейчас с вами, она не может стать для Кати близким человеком?

Он спрашивает про Юлию Федоровну. Значит, Катя рассказала. Но я не знаю, что именно. Катя Юлию Федоровну не жалует. Даже правильней так: с трудом выносит. И я понимаю, кроме ревности тут много всего. Юлия Федоровна молода, красива, прекрасно одевается. Однажды я застал Катю врасплох: она рассматривала тайком шубу Юлии Федоровны на вешалке, и выражение лица у Кати было несчастное. И я дал себе слово

в ближайшую поездку купить Кате шубу. Но вскоре после этого появился Геннадий, и я решил, что теперь он должен о Кате заботиться.

— Трудно ответить,— говорю я.— Пока что на это не похоже.

Его взгляд неприятен. Мне кажется, Степан Александрович вторгается в область, вовсе не необходимую для его исследования. Но он продолжает усугублять неприятное:

— Скажите, а существует ли возможность, что вы останетесь с этой женщиной, а Катя будет одна?

В ближайшее время нет, но, в принципе, почему такую возможность исключать? Катя и сама не настаивает жить вместе. Но Катя, кажется, ни на чем не настаивает. После молчания, во время которого мы оба смотрим в окно на сухой, вяло летающий на фоне темной сетки деревьев снег, а за снегом и деревьями грязновато желтеет кусок стены старого корпуса, и я думаю: «Все это я видел сорок два года назад, как глупо прожить долгую жизнь и увидеть опять то же самое». Степан Александрович произносит негромко, быстро и категорично:

— Катя не должна быть одна!

Я киваю. Он говорит: Катя практически выздоровела, но он за нее боится. Душное волнение поднимается, и я хочу спросить: «Может быть, вы боитесь не за нее, а за меня? Кто дал вам право бояться за меня?» Он что-то пишет, наклонив шелковистую белокурую шевелюру. Рука, в которой он держит перо с золотым наконечником, кажется неестественно мощной, с большими смуглыми пальцами, и массивность руки тоже кажется мне неприятной. Я во власти этой руки. Все страшно переменилось: он старше, я младше. Я трепещу перед ним. Я хочу догадаться: что он пишет? Он протягивает бумагу и, глядя сурово, говорит: «Это лекарство французское, но есть аналог югославский. Вы бываете за границей, у вас есть друзья. Попросите Юлию Федоровну, в крайнем случае». Я удивлен: «Что вы знаете про Юлию Федоровну?» — «Я знаю, что ее отец пользуется сто десятой аптекой. Моя бывшая жена с Юлией Федоровной знакома, та что-то ей доставала. В сто десятой аптеке можно достать наверняка». Я смотрю на него в ошеломлении: ничего подобного про Юлию Федоровну я не знаю! А знаю вот что: когда Юлия Федоровна лежит в задумчивости, подперев голову рукой, с сигаретой, пепельница перед нею на простыне,

ее живот кажется полнее обычного, талия узка и как бы провалена, а бедро поднимается полукруглой могучей горой, она напоминает оранжевую женщину Модильяни с синими слепыми глазами. И верно, она бывает слепа. Не видит того, что видеть необходимо. В августе я метался по городу, ища какие-то транквилизаторы для Кати, и Юлия Федоровна не обмолвилась ни словом про сто десятую аптеку. Я бормочу: «Хорошо, я поговорю с Юлией Федоровной...»

Мы выходим с Катей на заснеженный двор. Декабрьский день смерк. В окнах за деревьями горит желтый больничный свет.

— Он так сказал? Ну и прекрасно...

— Ты как будто не рада.

— А чего радоваться?

Мы долго ходим по дорожкам, я рассказываю про Васеньку, про то, как делали прививку, как он мужественно держался, а Анна Георгиевна чуть не потеряла сознание от страха, как она глупа, но добросовестна, а Васенька умен, но строптив, и Катя слушает безучастно. Вдруг говорит безо всякой связи:

— У тебя там своя жизнь. А у меня...— вздохнула.— Стыдно признаться: здесь у меня интересов больше. Здесь я ничего не боюсь. Степан Александрович приходит каждый день, мы так мило беседуем. Так откровенно.

— Он будет приходить туда. Я его попрошу.

— Нет, не будет. У него все сложно: с отцом, с женщинами...

Она улыбается несколько загадочно, и улыбка застывает на ее бледном долгоносом лице с бескровной полоской рта. Она забыла про улыбку. Мы кружим по двору, сумерки густеют, она улыбается. Я рассказываю про Васеньку. Катя говорит шепотом:

— У Степана Александровича тоже есть ребенок. Но его забрала жена...

Ей хочется говорить про Степана Александровича, и я спрашиваю: какие у него сложности с отцом? У Кати тоже сложности с отцом. У всех сложности с отцами. В моем детстве тоже были сложности с отцом, но другие. Катя рассказывает: Степан Александрович долго не мог простить отцу того, что тот ушел от матери. Потом простил, когда отец заболел тяжелым инфарктом, попал в больницу. Потом у самого Степана Александровича распалась семья, мать умерла, он остался один, невольно

потянулся к отцу — близких-то больше нет! — а у того началась новая жизнь: он женился на молодой женщине, враче из больницы, у них родился сын, сейчас полтора года. Почти как Васенька. Дочка Степана Александровича старше, чем этот братик, родившийся у старика. Он говорит, что отец поседел, погрузнел, у него больная печень, больное сердце, он не годится для роли молодого отца, хотя бодрится вовсю. Довольно жалкая картина. Степан Александрович его жалеет и себя, конечно, тоже — все-таки отца потерял. Непонятно, зачем они пускаются на такие опыты. Я спрашиваю: кто пускается? Старики. Хочу возразить: разве отец Степана Александровича старик? Он, наверно, мой ровесник. Какой же старик? Вся эта история рассказана для меня, поэтому возражать глупо, я испытываю щемящее сочувствие к Кате, я обнимаю ее, прижимаю к себе и шепчу как бы в шутку: «Ты не потеряешь отца! Не волнуйся!» Она молча кивает и улыбается. Глаза ее закрыты. Она ждала, чтоб я обнял ее, прошептал эти слова, пускай шутливо. И теперь молчит, затихла, прижалась головой к моему плечу, а я продолжаю шептать: «И он не потерял отца. Потому что так не бывает. Как вы не понимаете? Твой Степан сам расстался и не понимает...» — «Его жена была ужасна».— «А отец? Тоже чем-то ужасен?» — «Отца он любит. Считает хорошим человеком,— шепчет Катя.— Его отец писатель. Но малоизвестный». Какая разница, думаю я, кто он. Они не понимают, что мы тоже дышим, надеемся. А мы не понимаем того, что мы им еще нужны. Почему я так долго не догадывался сказать простые слова?

Мы стоим в темном дворе. Снег стекает с деревьев. Великая сырость обнимает нас. «Писатель Антипов? — говорю я.— Да ведь я его знаю! Мы работали когда-то на одном заводе. Во время войны».— «Я ничего не читала»,— говорит Катя и, мне кажется, вздыхает с облегчением. «Нет, я читал кое-что. Мы не виделись тридцать лет».

Степан Александрович дал телефон. Но звонить некогда. А вернее, не тот душевный настрой. Да и зачем, собственно? Все укатилось в такую мглу, ничего не разглядишь, очертания смылись: был малый Сашка, тугодум, медлительный, был похож на меня, но время всех делает похожими. Продавали с ним бекешу на Дани-

ловском рынке. Ну и что? Теперь далекий, непонятный человек, писатель, я для него тоже далекий, непонятный, доктор математики. Какие-то две книжки его попадались, дочитал до конца. Неплохо. Для юношества. Но не уверен, стал бы дочитывать до конца, если б не знал Сашку. Зачем звонить? Его сын Степан Александрович намного мне ближе, важнее, он сейчас самый важный человек в мире. Степан Александрович усмехается снисходительно.

— А вы, отцы, какие-то сентиментальные ребята. Даже странно, такую прожили жизнь. Мой прямо завопил: «Да мы с ним радиаторы клепали возле Белорусского! Пускай он мне позвонит!» Вы уж позвоните.

— Я позвоню,— обещаю я.— Вот станет немного легче...

Но легче не становится. Наступил Новый год, а Катю не выписывают. Она не огорчена, а может, не показывает вида. Но я убит приговором Степана Александровича: «Мы должны пройти еще месячный курс». В этот день он разговаривает жестко, взгляд его мрачен.

— Послушайте, вы действительно так наивны или притворяетесь? Катя сказала, что вы никого не просили, ничего не готовили. А вы знаете, что существуют так называемые списочники и позвоночники, то есть кто проходит «по спискам» и «по звонкам». А! — Он махнул рукой.— У отца такая же блажь. Вы не годитесь для нашей галактики.

Я задет его презрительным тоном. В сущности, он мальчишка, кто дал ему право так со мной разговаривать?

— Не понимаю, что вы называете блажью,— говорю я.— Может, привычку не лезть без очереди?

— Ну, валяйте,— говорит он.— Только помните, что есть люди, которые от вас зависят. От ваших привычек.

Ссориться с ним я, конечно, не стану. Поэтому молчу. Черт с ним. Только пусть лечит лучше.

Самое страшное: я начинаю понемногу привыкать к тому, что Катя живет в больнице. Накануне Нового года я остаюсь с Васенькой один — Анна Георгиевна внезапно уходит, сказав, что помирилась с невесткой и сыном, они зовут жить вместе. Хотя это удар по всему домашнему обиходу, я радуюсь исчезновению дамы, она стала невыносима, взлелеяла какие-то глупые фантазии насчет меня, донимала своими пляжными фотографиями тридцатых годов. Оставляла их как бы невзначай на сто-

ле. Теперь приходится вновь искать няню, а пока из последних сил мы справляемся вдвоем: я и Юлия Федоровна. Иногда приезжает нервическая, на грани слез тетя Женя. Но к ее помощи я прибегаю редко, а Юлия Федоровна недостаточно терпелива, легко впадает в уныние, один день занимается Васенькой с энтузиазмом, ласкает безмерно, на другой день разбита, лежит дома с головной болью, говорит, что она «выжатый лимон». Детей у нее не было, переехать ко мне Юлия Федоровна не хочет, говорит: из-за Кати. Никогда почти у меня не ночует. Но ведь Катя в больнице! А вот тем более, говорит Юлия Федоровна, это невозможно, потому что получится, что воспользовалась Катиной болезнью и влезла в дом. Бог с нею, с Юлией Федоровной. Я ведь не убежден, нужна ли она мне круглые сутки. Я взял отпуск на работе. Должен был ехать в Новосибирск, отказался. Потом отказался от поездки в Лейпциг. Вся моя плановая работа застопорилась, но это чепуха, я догоню, наверстаю. Надо пережить зиму. Ночами я с Васенькой один, я научился менять пеленки, кормить киселем, укачивать, сперва было тяжко, потом втянулся, а теперь он спит спокойно. Днем помогает бабка из соседней квартиры, я плачу ей пятерку в день, она готовит, стирает, то-се. Ко всему можно притерпеться, все можно вынести.

Но вот что плохо — нет сна, мне совершенно не спится, я лежу с открытыми глазами, прислушиваюсь к Васеньке, думаю обо всем на свете: о президенте Картере, о нефти, о делах в институте, о Кате, об уравнениях, которые роятся в моей пылающей голове, о существе, которое явилось в мир, не нужное никому, кроме никчемного деда. И от всех мыслей я был бы рад принять снотворное, провалиться в беспамятство, но боюсь, что Васенька заплачет и не услышу. Во время ночного полубреда-полубодрствования я часто вижу лицо: круглое, бабье, страшноглазое, со всклокоченными волосами и громадным улыбающимся ртом. Губы на лице жирные, маслянистые, как будто баба только что ела. Я не знаю, откуда это лицо, что должно означать. Но всегда, когда оно появляется из темноты, мое сердце холодеет, я испытываю страх. Догадка такая: это лицо судьбы. Судьба смеется надо мной. В те ночи, когда особенно тяжело, прямо мне в глаза лезет большеротое бабье лицо. Такие ночи, тянущиеся без исхода, мучают меня в начале января, а потом наступает день — голубеет небом,

сверкает снегом, солнцем зима. И я думаю: «А, ничего! Переживем...» Однажды поздно вечером оглушает телефонный звонок. Оглушает, потому что я отвык. Давно никто не звонил.

— Это ты? Здравствуй, старик! Что ж ты пропал? Степка говорит: ты совсем загибаешься...

— Здравствуй,— говорю я.— Мы не виделись тридцать лет, правда?

— Слушай, давай я приеду с Верой? Поможем тебе. А? Моя Вера — очень полезная женщина, все умеет, малышей любит. Можем взять твоего на попечение, пока ты не в порядке..

Я бормочу: спасибо, не беспокойся, как-нибудь продержусь. Сейчас мне, конечно, не до гостей. Тем более не до таких ответственных — не виделись целую жизнь. Ты понимаешь, старик, что сейчас мне не до гостей? Я понимаю, но ты все равно звони. Моя Вера превосходно водит машину, мы явимся в любую погоду — в гололед, в снегопад. У меня сын Санька, Александр Александрович. А помнишь, как мы с тобой двухпудовки тягали? А Людмилу горбатую помнишь, раздатчицу? Видел ее недавно в сберкассе, деньги выдает. Она меня не узнала. Бог ты мой, да мы-то с тобой узнаем ли друг друга? И что-то еще — мутное, теплое, старое, дорогое, исчезнувшее без следа... Кончился разговор, и сила моя кончилась тоже. Погасил лампу и заплакал, как идиот. Потому что вспомнил, увидел, понял... Вот что: будто озарились внезапно все годы... А вынести невозможно... Я и забыл, что есть слезы... Я даже не те времена вспоминал, а то, что было потом: студенчество, юность, все эти перевороты, надежды... Вспомнился фестиваль, пятьдесят седьмой год, мы с Сашкой столкнулись на стадионе, оба в безумном возбуждении, что-то прокричали друг другу и разбежались, уверенные, что ненадолго, что вскоре, что непременно и навсегда...

На другой день я падаю на ровном месте на улице, на секунду теряю сознание, а когда прихожу в себя, понимаю, что не могу встать, черт знает почему. Меня куда-то увозят. Говорят, что был головной спазм, что при падении я повредил щиколотку и должен пролежать не меньше месяца с гипсом. Становится ясно, этот колодец не имеет дна: Юлия Федоровна заболевает гриппом, похожим на воспаление легких, а бабка из соседней квартиры уезжает в Коломну, где внучка выходит замуж и готовится свадьба.

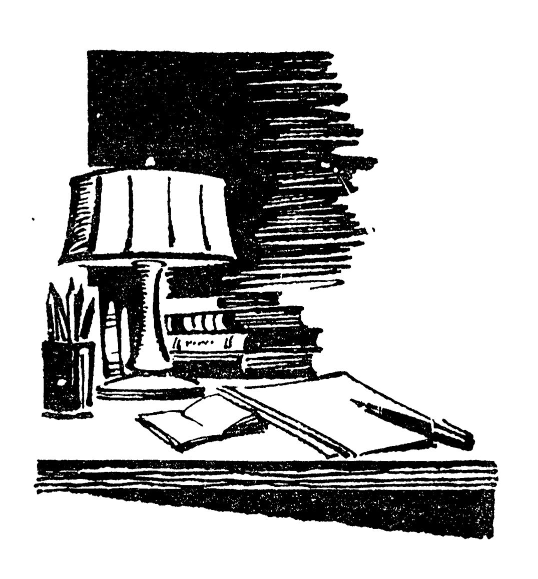
Но вдруг появляется Геннадий. Он похож на хомяка. В его красноватых глазах, уставших от чтения, я вижу покорность всему и одновременно тайную нагловатость. Я спрашиваю, хоть это не мое дело: где он пропадал целый год? Ну просто чтобы о чем-то спросить. Я привык быть осторожным в их делах. Он переменил специальность. Временно, разумеется. Работал в автосервисе. И добился большого успеха: познакомился с одним типом из министерства, который сказал, что на будущий год у Кати будет все в порядке. Насчет университета. Сказал, что попадание стопроцентное. «Да что вы?» — удивляюсь я. Красноватые глаза хомяка сияют. Он говорит, что не может без Кати жить. Теперь он ездит в больницу вместо меня.

Зима кончилась, я ее пережил, на улицах сырыми кучами лежит снег, его не увозят, не разгребают, он исчезает самостоятельно от теплого воздуха, и нечто подобное происходит в моей судьбе: нагромождения тают, осталась влага, я живу один в пустой квартире. Катя, Васенька и хомяк уехали к его родным в деревню под Псков...

Он сказал: «Давай встретимся на Тверском. У меня кончится семинар, я выйду из института часов в шесть...» И вот он идет, помахивая портфелем, улыбающийся, бледный, большой, знакомый, нестерпимо старый, с клочками седых волос из-под кроличьей шапки, и спрашивает: «Это ты?» — «Ну да»,— говорю я, мы обнимаемся, бредем на бульвар, где-то садимся, Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения.

Декабрь 1980

СТАТЬИ



ПРАВДА И КРАСОТА

Чехов приходит к нам в детстве и сопровождает нас всю жизнь: так же, как Свифт, Сервантес, Пушкин, Толстой. Это качество гениев.

Детьми нас поражает история рыжей собачки, похожей на лисицу, помеси таксы с дворняжкой (помните смерть гуся, бедного гуся Ивана Ивановича? Помните, помните! То, что потрясло в детстве,— не забывается), и путешествие Белолобого в волчью нору, и ужасный, непоправимый поступок мальчика Ваньки Жукова, который писал письмо «на деревню дедушке», и, конечно, это письмо не дойдет. Это — на заре жизни. Каждая книга открывается, как неизведанный мир, и мир открывается, как книга.

В Чехове необыкновенно не только то необыкновенно простое, о чем он рассказывает, но и сам тон его рассказов. Он разговаривает с нами, как со взрослыми, то печально, то с улыбкой, и никогда ничему не поучает. Вот это особенно приятно.

Потом наступает увлечение Антошей Чехонте, Чеховым «Осколков» и «Будильника». Нет ничего смешнее маленьких рассказиков, где одни разговоры — но какие! Ах, что за удовольствие читать вслух про глупых чиновников, смешных помещиков, жалких актеришек, крестьян с куриными мозгами! А бесчисленные дачники, гувернантки, гимназисты, женихи, кухарки, тетки, городовые, с которыми случаются такие уморительные истории с неожиданными концами! Ведь это смешно, когда ловят налима. Кучер Василий лезет в воду: «Я сичас... Который тут налим?»

Чехов — любимый писатель юности. Он и сам юн, когда создаются эти шедевры юмора, любит шутку, веселье, выдумка его неистощима, он работает упоенно, с блистательной быстротой...

Мы становимся старше, и меняется наша любовь к Чехову. Она меняется всю жизнь. Она вырастает тихо и незаметно, как куст сирени в саду. Уже не «Заблудшие», не «Пересолил» восхищают нас, а поэтичный «Дом с мезонином», грустный и трогательный «Поцелуй», рассказ о даме с собачкой, о доброй Ольге Семеновне, которую все называли душечкой, об учителе Беликове.

А потом нам открывается бескрайний, ошеломляющий простор «Степи», мы угадываем затаенные глубины в «Крыжовнике», в «Мужиках», в «Ионыче», понимаем «Скучную историю», понимаем «Студента».

Нас пленяет театр Чехова.

И еще остаются его письма, которые можно читать долго, до конца жизни, и до конца жизни будет длиться наше узнавание Чехова. И будет расти, расцветать наша любовь к нему.

Влияние Чехова на мировое искусство огромно, даже трудно определить всю его меру. Тут можно говорить о создании современного рассказа, о современной драме, о Хемингуэе, об итальянском неореализме, но я скажу лишь о частности. Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости.

Чтобы увидеть волшебное применение этой силы, не надо даже брать лучшие, знаменитые рассказы. Вот, например, маленький рассказ «Шампанское», написанный двадцатисемилетним Чеховым для новогоднего номера «Петербургской газеты». Бродяга рассказывает о своей загубленной жизни. Помните конец? Все основные события, вся житейская драма заключена в нескольких словах. «Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романса:

Знать, увидел вас
Я в недобрый час.

Все полетело к черту верхним концом вниз...»

Вот так рассказ! О самом главном, что должно бы составить его рассказ, автор ничего не хочет рассказывать. «Не помню, что было потом». Но читателю, оказывается, и не нужно ничего больше знать. Жизнь человека вдруг открылась на миг вся, целиком, как одинокое дерево во

время грозы, озаренное молнией. И погасла. И читатель все понял сердцем.

Он не понял только одного — как добился писатель этого чуда, этого поразительного впечатления при помощи грубых, обыкновенных слов?

Толстой высоко ценил Чехова как художника. Но театр Чехова, некоторые его рассказы — например, «Дама с собачкой» — Толстому не нравились. Он считал, что Чехову недостает ясного миросозерцания, «общей идеи». Известны слова Толстого о том, что у Чехова, как и у Пушкина, «каждый найдет что-нибудь себе по душе». Похвала ли это? Да, конечно, но и не только. В дневнике за 1903 год Толстой записывает, что у Чехова, так же как у Пушкина, «содержания нет».

В чем же причина гигантской популярности этого писателя без «общей идеи», где секрет всемирной любви к нему?

Чехов писал не о человечестве, но о людях. Его интересовало не бытие человека, а жизнь его. Жизнь одного, конкретного человека: например, дяди Вани. Все дяди Вани мира ответили трепетом и слезами, когда он написал об одном из них. Чехов не проповедовал христианской идеи, не искал нового бога, не пытался изобразить власть денег, подтвердить теорию наследственности или же теорию преступности Ламброзо.

Он исследовал души людей. Эта область для исследования безгранична.

Вот мы расщепили атом, летаем в космос, достигли фантастических чудес в науке и технике, но душа человека — одного человека, какого-нибудь дяди Вани — по-прежнему остается самым сложным и загадочным явлением природы. Мы будем еще много веков узнавать себя и удивляться. Сила Чехова в том, что, не обольщаясь «общими идеями», он делал одно-единственное дело: изучал и описывал свойства человеческой души, выражаемые в поступках.

Он делал эту работу с гениальным изяществом, с непоколебимой смелостью и с великим желанием сделать человека счастливым.

Холодным осенним вечером, у костра, студент Иван Великопольский рассказывает двум крестьянским женщинам историю про то, как Петр предал Христа во дворе первосвященника. Для студента Петр не евангельская фигура, а живой человек, который плачет над своей слабостью. «И исшед вон, плакася горько». Жен-

щины взволнованы рассказом, одна из них, старуха Василиса, тоже заплакала — а ведь какое ей дело до событий, происшедших девятнадцать веков назад?

И студент подумал, что «прошлое связано с настоящим неопределенной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему показалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Так же как студент у костра, Чехов сумел в своем творчестве дотронуться до незримой цепи, связующей поколения, и она задрожала от него, от его сильных и нежных рук, и все еще дрожит, и будет дрожать долго...

В самом деле, разве не удивительно: нам, советским людям, понятны и близки мысли и чувства чеховских героев! Ведь наша страна изменилась неузнаваемо, изменились нравы, быт людей, строй жизни, весь мир, нас окружающий. И однако — как близки, как понятны! Но не щемящая сердце грусть, не безнадежная мечтательность чеховских героев делают их такими близкими. Нас волнует другое. Мы чувствуем исходящий из чеховских рассказов и пьес страстный призыв: «Люди, сделайтесь лучше! Будьте добрее, красивее, чище! Станьте счастливыми!»

Этот призыв к совершенству и счастью, окрыляющий все творчество Чехова, будет волновать людей всегда. Ибо всегда человек будет стремиться стать лучше.

1959

И. А. БУНИН

Мое первое знакомство с Буниным произошло еще в студенческие годы. К. Федин, у которого я занимался в семинаре, говорил: «Учитесь делать фразу у Бунина». Тогда же, в году 1946-м или 1947-м, я купил в букинистическом магазине старое издание Бунина (приложение к «Ниве»), переплетенное в три тома, и читал запоем. Бунин был для меня открытием: какова может быть сила пластического, живописного слова! Никто прежде именно в этом смысле — воздействие фразы, слова — так сильно на меня не действовал. Поражало еще, как удивительно точно и живо говорят люди, крестьяне. Вскоре удалось в букинистическом магазине на Арбате купить «Митину любовь» — книжечку, изданную в 1925 или 1926 году в Ленинграде, в издательстве «Прибой». Это была необыкновенная удача. Снова, еще больше, меня поразило сочное, плотское письмо... И, конечно, отвечало моему настроению — мне ведь было тогда почти столько лет, сколько Мите.

Больше всего у Бунина мне нравится рассказ «В Париже».

Проза Бунина не столько проза поэта, сколько проза художника — в ней чересчур много живописи.

Бунин, конечно, замечательный писатель, для меня один из любимых. Но не самый любимый!

Бунин оказал огромное влияние на большинство современных молодых прозаиков — в основном в области стиля, пластики слова.

1969

ВЫБИРАТЬ, РЕШАТЬСЯ, ЖЕРТВОВАТЬ

Вещь окончена, над ней продолжаешь думать: видишь скрытые планы, неисчерпанные возможности, новые грани старых идей. В этом запоздалом дочерпывании, большей частью бесполезном для оконченной вещи, но плодотворном для будущей, помогает взгляд со стороны. Я с интересом читал статьи В. Соколова и М. Синельникова, где высказано много серьезного и порой для меня неожиданного. Иногда гордо удивлялся: «Ага, значит, можно и такую тонкую мысль отсюда вывести?» Иногда становилось как-то неловко: вроде меня с кем-то перепутали. А временами хотелось крикнуть: «Да ведь я вовсе так и не думал, как вы считаете!»

Нет, разумеется, я знаю, что я люблю и чего терпеть не могу, но, когда садишься писать, об этом как-то не думаешь. Оно само собой движется, идет и идет самосильно.

Но вот что, по-моему, я знаю точно: о чем я не хотел писать. Не хотел я писать об интеллигенции и о мещанстве. Ничего подобного даже в уме не держал. М. Синельников пишет: «Интеллигент, интеллигенция — эти слова часто мелькают в трифоновских повестях». Критик ошибается, эти слова часто мелькают в статье В. Соколова и в статье самого М. Синельникова. В повестях же они мелькают редко. Слово «интеллигент» столь безбрежно расширялось, что включает в себя всех имеющих высшее и даже частично среднее образование. Таких людей многие миллионы. Если иметь в виду это, то тогда, пожалуй, верно — повести об интеллигентах.

Я имел в виду людей самых простых, обыкновенных. Ну, там инженеров, скажем, домохозяек, преподавательниц, научных работников, заводских мастеров, дра-

матургов, домработниц, студентов и так далее. Как их можно назвать всех вместе? Может быть, так: горожане. Жители городов. Раньше было такое спокойное слово: мещане, то есть как раз то самое — жители города, «места». Но слово «мещане» с течением времени уродливо преобразилось и означает теперь совсем не то, что означало когда-то. Что-то малоприятное и, честно говоря, подозрительное. А если говорят «интеллигентствующий мещанин», то это уж такая отвратительная гадость — не приведи господь. Смысл перевернулся, слова изменились, и против этого не попрешь. Однако еще раз повторяю: ни о каких мещанах я писать не собирался. Меня интересуют характеры. А каждый характер — уникальность, единственность, неповторимое сочетание черт и черточек. И дело ли художника включать его в какое-то понятие, например «мещанство», «интеллигенция», «пенсионеры», «работники искусства» или «труженики полей»?

Кроме деления людей на эти массовидные разряды иногда их делят еще так, что получается, как у двух критиков в журнале «Молодая гвардия», которые категорически объявили, что в двух повестях, в «Обмене» и в «Предварительных итогах», нет положительных персонажей, кроме дедушки и матери Дмитриева в «Обмене». Стало быть, все остальные — сорняки, отрицательные, их с поля вон!

А ведь очень интересно: как эти критики себе представляют положительный персонаж? Как его узнавать? Взять иного критика и спросить: «Вы-то сами, извиняюсь, конечно, кто будете: положительный персонаж или же отрицательный?» Критик, наверное, сконфузится, покраснеет, уклончиво что-нибудь промычит, уверенный на сто процентов, что он-то уж, несомненно, персонаж положительный, но ведь неловко себя самого аттестовать. Придется обратиться к знакомым, к сослуживцам, к соседям. «Да, разумеется, в высшей степени положительный персонаж!» — скажет один. «Человек симпатичный, но, знаете, со странностями...» — скажет другой. «Я бы не назвал его в полном смысле положительным товарищем»,— решительно заявит третий. Четвертый такое ляпнет, что повторить неудобно. А другой критик, товарищ этого критика, удивится: «Смешно вы спрашиваете! Разве можно о живом человеке так примитивно, однозначно?..»

О живом человеке нельзя, о литературном персона-

же — можно. Вот этого я не понимаю. Почему Лена, жена Дмитриева, отрицательный персонаж? Что она, ребенка бьет? Ворует деньги в кассе взаимопомощи? Пьянствует с мужчинами? Никудышный работник? Ничего подобного, ребенка любит, вина не пьет, семью свою обожает, работает прекрасно и успешно, даже составила какой-то учебник для технических вузов. Она — человек на своем месте и приносит безусловную пользу обществу. Ну, есть какие-то недостатки в характере, а у кого их нет? У вас, что ли, ангельский характер? Нет, товарищи инженеры В. Бедненко и О. Кирницкий, очень уж вы наотмашь и очень уж как-то негуманно подходите.

Но могут сказать: позвольте, автор, но вы же осуждаете Лену? Автор осуждает не Лену, а некоторые качества Лены, он ненавидит эти качества, которые присущи не одной только Лене...

Однако можно ли за это выбрасывать человека? Человек есть сплетение множества тончайших нитей, а не кусок голого провода под током, то ли положительного, то ли отрицательного заряда.

Надо вырывать из живого тела нить за нитью, это больно, мучительно, но другого выхода нет.

Есть прекрасные слова Лермонтова из предисловия к «Герою нашего времени», которые, кстати, ни к селу ни к городу цитируют В. Бедненко и О. Кирницкий. Но повторим эти слова еще раз, им не привыкать к цитированию, они живут на свете сто тридцать лет: «Не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как излечить — это уже бог знает!»

Написано сие в давнишние времена, все вокруг изменилось неузнаваемо — облик страны, жизнь народа, его труд, быт, дома, одежда, пища, но характер человека меняется не так быстро, как города и русла рек. Не будем обольщаться: для того чтобы выдавить из человека такую, например, болезнь, как эгоизм, должны пройти годы и годы. Это ведь самая старая из всех человеческих болезней. Ученые утверждают, что эгоизм помогал выжить в борьбе за существование. Однако

они же, ученые, говорят, что и альтруизм был очень полезен в этой борьбе. Так или иначе, оба свойства существуют в человеческой природе рядом, в вечном противоборстве. И задача, может быть, в том и состоит, чтобы помогать — слабыми силами литературы — одному свойству преодолевать другое, человеку меняться к лучшему.

Одна моя добрая знакомая рассказала: она живет со взрослым сыном, бабушка отдельно, решили съезжаться, чтобы бабушке облегчить жизнь. Вдруг сын говорит матери: «Я прочитал повесть «Обмен» и не могу съезжаться с бабушкой. Ну не могу». Знакомая была очень расстроена. Но потом, кажется, сын согласился, и они обменялись.

Дело в том, чтобы читатель задумался — хотя бы на минуту. Это грандиозно много. Я очень обрадовался, когда услышал про эту историю. Конечно, великий поэт прав, не следует тешить себя надеждой стать «исправителем людских пороков», но — хотя бы на минуту сделать человека лучше? Чтобы, прочитав повесть, читатель пошел бы в «Гастроном» и купил бабушке бутылку молока, а дедушке двести граммов российского сыра.

Опять, скажут, автор толчется на пятачке: быт, быт, бутылка, двести граммов. Но автор хочет в заключение сказать слово в защиту быта. Быт — это великое испытание. Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность.

Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находимся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней, психологий, идеологий. Каждый человек, живущий в большом городе, испытывает на себе ежедневно, ежечасно неотступные магнитные токи этой структуры, иногда разрывающие его на части. Нужно постоянно делать выбор, на что-то решаться, что-то преодолевать, чем-то жертвовать. Устали? Ничего, отдохнете в другом месте. А здесь быт — война, не знающая перемирия.

1971

НЕСКОНЧАЕМОЕ НАЧАЛО

Писать трудно, но еще трудней писать о том, как ты пишешь. Надо задумываться о вещах, о которых привык не думать. Не знаю, как другие, но я многое в своей работе нашел бессознательно, на ощупь, путем долгого графоманского опыта. Никакие книжки и брошюрки с интригующими названиями: «Как научиться писать?» или «Что нужно знать начинающему писателю?», расплодившиеся в двадцатые годы, да и сейчас попадающиеся в букинистических магазинах, никогда и ничем не могли помочь. В них был какой-то грустный обман. Они напоминали объявления о всякого рода магических средствах, которые печатались в старой «Ниве», вроде: «Как успешно бороться с дурным настроением» или «Искусство быть настоящим мужчиной. В двух частях с иллюстрациями».

Начинающим писателям я все-таки рекомендовал бы брошюрки и книжки, о которых говорил выше,— хуже не будет.

Графоманский опыт заставлял меня многократно изобретать велосипеды. Но тут уж ничего не поделаешь. По-моему, это удел всякого писателя: пройти все ступени изобретений, начиная с обыкновенного колеса. Говоря о графомании, я имею в виду графоманию одаренных людей. Любовь к писанию, к многописанию. Об этом говорил Чехов: «Многописание — великая, спасительная вещь». Сочинители пухлых романов, которые хочется выжать, как тряпку, и повесить сушиться куда-нибудь на батарею,— это не графоманы, а листажеманы. Не о них речь. Истинные графоманы люди одержимые, почти сумасшедшие. Ничем иным, кроме своего любимого «grafo», они заниматься не могут и не умеют. Я понимаю, тут много спорного: где истин-

ные графоманы, где неистинные? Как найти разделяющую черту? Есть фанатические любители «grafo», которые написали поразительно и удручающе — для всех нас — мало. Например, Олеша, Бабель. Любовь этих писателей к слову, к красоте, к смыслам, скрытым в словах, была безмерной, может быть, чрезмерной: они не рассказали нам многого, что могли бы рассказать. Они предъявляли себе гигантский счет. Такую фразу, ну, скажем, как: «Его глаза с добрым, лукавым прищуром...» — они не могли бы написать даже под угрозой пистолета, ибо им показалось бы, что такая фраза — предательство.

Когда Паустовский говорил на семинарах о том, что писательский труд тяжел, неимоверно тяжел, употреблял даже слово «каторга», нам казалось, что предостережение касается только литературы, а оно касалось всей жизни.

Так вот, будучи графоманом с молодых ногтей, занимаясь сочинительством в течение, что ли, тридцати лет, я представлял себе трудности этого ремесла по-разному.

Шкловский сказал: «Все пишут по-разному, и все пишут трудно». Мне кажется, не только все пишут по-разному, но и один писатель может писать по-разному. Меняются времена, меняется жизнь, меняются сорта бумаги, перья и пишущие машинки. Когда-то я любил писать в тонких школьных тетрадях в клетку. Ни на чем другом не писалось. Весь роман «Утоление жажды» написан в тонких тетрадях для арифметики. Казалось, эта привычка останется до конца жизни. Потом внезапно перешел на простую белую бумагу, потребительскую, и теперь пишу только на ней. Отчего эта перемена? Мне кажется, найдется объяснение, если подумать всерьез.

Раньше писал более связно. Одно клеилось к другому, одно текло из другого. В этой связности была и *связанность*. Для такой последовательной и равномерной прозы требовалась последовательность и равномерность бумаги, одна страничка за другой, цепко сшитые проволочными скрепками. Теперь стремлюсь к связям отдаленным, глубинным, которые читатель должен нащупывать и угадывать сам. «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг». Пробелы — разрывы — пустоты — это то, что прозе необходимо так же, как жизни.

Ибо в них — в пробелах — возникает еще одна тема, еще одна мысль.

Для такой прозы, якобы разрывчатой, нужны разрывы в бумаге: отдельные листы. Вот и причина, по-моему, заставившая перейти от тетрадей в клетку на потребительскую бумагу. Случилось это, конечно же, совершенно неосознанно. Но, говоря о том, что в разные времена писалось — и трудности виделись — по-разному, я имел в виду иное.

Когда-то казалось, что не хватает сюжетов. О чем писать? У других — события, приключения, опыт жизни, множество встреч, а у меня ничего нет. Кроме того, мучил недостаток воображения. Эту свою особенность я горестно ощущал давно. Ведь если не находилось сюжетов в жизни, их можно было бы выдумывать. Другие же выдумывают. Те, у кого богатое воображение. (Кстати, если говорить без иронии, я считаю воображение, фантазию редчайшим писательским даром, а на людей, обладающих им, смотрю с великим почтением...) Итак, долгое время мне казалось, что главная трудность — находить сюжеты.

Пожалуй, только в последние годы учения в Литинституте, когда было исчиркано множество тетрадей в клетку, когда были прочитаны важные книги, когда наслушался вдоволь ругани и поношений на семинарах, начала брезжить догадка о том, что не так трудно найти сюжет, как его изложить. Ну какие особенные сюжеты у классиков? Познакомились на набережной в Ялте, стали встречаться в Москве, ничего как-то не получилось... И так далее. Да тут еще новый модный соблазн: бессюжетные рассказы. В институте ходила такая поговорка, придуманная, кажется, Беляниновым: «Мы теперь благоговеем перед Э. Хемингуэем». Каков, к примеру, сюжет «Фиесты»? Рассказать невозможно. Все дело в словах, в интонации. Каждое слово — как тяжелый грузовик, отягощенный громадным грузом смысла. И подчас — двойным, тройным грузом. Порожних грузовиков нет. На этой стройке, которую не обозреть сразу, надо подняться на вершину, а может быть, в небеса и посмотреть сверху — пустые машины не катаются.

Написав много рассказов, даже роман в двадцать два печатных листа, я все еще не понимал окончательно — лишь догадывался неясно, — что главная трудность — находить слова.

Потом это понимание пришло. Мне кажется, и я писать стал иначе. Во всяком случае, одно знаю твердо: когда это понимание укрепилось, писать стало во сто крат труднее. Несколько лет совсем не писал, то есть писал, конечно, но путного не выходило, я браковал, уничтожал. Наконец, вышло что-то похожее на дело и не похожее на то, что писал прежде: цикл рассказов «Под солнцем».

Тут нагрузка на каждое слово была куда значительней, чем в первом романе. Иногда даже попадались слова с двойной нагрузкой. Все это было заметно мне одному и двум-трем людям, мне близким.

Но прошло еще лет десять, и понимание главной трудности ремесла вновь изменилось. Эта трудность связана с предыдущей. В словах должна выражаться мысль. Если нет мысли, а есть лишь описание, пусть даже художественное, филигранное, с красками, звуками, запахами, со всеми приметами жизненной плоти,— все равно скучно. Без мысли тоска. Так мне теперь кажется. Раньше так не было. Я мог с удовольствием, старательно, со всеми сочными подробностями выписывать какой-нибудь пейзаж или внешность человека, это описание было самоцелью. Создать картину! Вот, мол, как я могу, как вижу, слышу, чую: косогор, луг, роща, туман над рекой, запах сырой, сладкой, вымокшей под дождями листвы...

Эту литературу ощущений, такую поэтичную, такую романтическую, я назвал когда-то: «пахло мокрыми заборами». Рассказы из этой серии начал, честно признаемся, Константин Георгиевич[1]. Потом появились писатели с еще более тонким зрением и изощренным нюхом. Иные рассказы писались как бы ноздрями: так много в них запахов. В моду вошли названия, куда входило слово «запах»: запах того, запах сего. Живопись, как и запахи, заняла слишком большое место в прозе. Разумеется, нужны и пейзажи, и звуки, да и некоторые запахи следует замечать, но все это должно быть фоном и даже точнее сказать,— грунтовкой холста. А проза «требует мыслей и мыслей», как сказано Пушкиным.

Вот тут и возникает трудность. Где их взять-то, мысли? Плохо, когда литература чересчур живописна, а живопись чересчур литературна.

Мне кажется, главная трудность прозы — нахо-

---

[1] К. Г. Паустовский.

дить мысли. Это не значит, конечно, что нужно непременно стремиться к глубокомыслию и в каждом абзаце изрекать афоризмы, а это значит, по-видимому, вот что: надо иметь что сказать. Сообщать читателю важное. Для прозы недостаточно такого сообщения: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало». Меня долго мучило желание написать прозу, подобную стихам, музыке, подобную какой-нибудь песне, берущей за сердце, или красивой картине, как, скажем, картина Левитана «Над вечным покоем», всегда волновавшая, но потом понял, что это желание ложное. Проза должна быть похожей на прозу. И надо стремиться написать что-нибудь подобное вот чему: «По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику по фамилии Орлову...»

Подготовительная работа? Кое-какая перед началом всякой вещи делается, но — мысленно. Я ничего не записываю, не делаю планов, набросков, не веду записных книжек.

Вероятно, не прав и совершаю ошибки (насчет записных книжек это уж точно ошибка), но правила нашей игры — писать о своей работе всю правду. Со всеми ошибками и несуразностями.

Насчет записных книжек я отлично знаю, что они замечательно полезны. Как гимнастика по утрам. Но ведь лень регулярно заниматься гимнастикой: иной раз вяло подрыгаешь ногами, покачаешься туда-сюда и — за газету... Записные книжки я вел временами в юности, когда вообще относился к работе более ревностно. Потом были перерывы на год, потом кое-что записывал в поездках. Но вот что интересно: почти все записанное так, на ходу, в гостиницах, в путешествиях, находило применение. Поэтому на собственном горьком опыте свидетельствую: вести записные книжки необходимо.

Иногда записи лежат без движения годами, но потом вдруг — как нельзя более кстати. Надо записывать впрок, на авось.

Перед началом вещи возникает тема, пока еще немая, без слов, как наплыв музыки. Страшно хочется писать неизвестно о чем. Где-то в подсознании уже есть тема, она существует, но нужно вытащить ее на

поверхность. Похоже, будто смотришь в объектив фотоаппарата, где все не в фокусе: туманное цветное пятно. Для того чтобы появилась резкость, нужны подробности, нужна конкретность — пускай незначительная. И тут иногда могут помочь записи в старых блокнотах. В 1966 году, весной, я был последний раз в Туркмении, на съезде туркменских писателей. Это было совсем не то, что прежде, когда я приезжал в пустыню, в горы. Но о тех приездах и путешествиях — их было, кажется, семь или восемь начиная с 1952 года — я написал, наверное, все что мог: рассказы, очерки, роман, киносценарий. Тема, волновавшая меня долгие годы, была изжита. Я не собирался ничего больше писать о Туркмении. Несколько дней после съезда я прожил со своим товарищем в местечке Фирюза под Ашхабадом, в каком-то доме отдыха, где еще не начался сезон. Был май, все цвело, пели птицы, неслась с клекотом вода в арыке, в горах постреливали пограничники. Зачем-то я записывал все впечатления, наблюдения, названия деревьев и птиц, все разговоры, которые вел в Фирюзе с моим товарищем, с садовником, женщинами, шоферами, официантом в чайхане. Записывал без цели. Авось когда-нибудь пригодится. И пригодилось, через четыре года. Повесть «Предварительные итоги» была совсем о другом: о Москве, о людях, уставших от городской жизни.

Я смутно чувствовал, о чем мне хочется написать. Но никак не мог приступить — не начиналось. Надо оттолкнуться от берега и прыгнуть в воду, но берег был чересчур вязкий. Не хватало подробностей, конкретностей. Твердая почва — это подробности. И вдруг пришли на помощь фирюзинские записи четырехлетней давности, я оттолкнулся от этого берега и поплыл.

Беглая, пустяковая запись в старой книжке, что-нибудь вроде: «Наши рубашки усеяны черными точками. Тля садится на белое. Аннадурды говорит, что зима была теплая, вся эта дрянь не вымерзла», — становится необыкновенно нужной и нагружается смыслом.

Такую подробность не придумаешь за столом. Это можно только увидеть, заметить, запомнить или записать. Нет ничего драгоценнее мельчайших, гомеопатических подробностей. Поэтому так важны записные книжки, которых я не веду.

Раньше я составлял планы. Намечал примерное со-

держание глав. Все нарушалось очень скоро, чуть ли не со второй, третьей страницы. Главное сочинение происходит за столом, и оно подчиняется каким-то совсем иным импульсам, чем те, что действуют при составлении планов. Зато предварительное обдумывание — без записи — дает очень много. Чем больше и дольше обомнешь, обкатаешь мысленно сюжет, тем благотворней для вещи. Появляются объем, многозначность. Из того, что сочинил, самое удачное, на мой взгляд, то, что долго вылеживалось.

Лучшее время для обдумывания — утро, самое раннее, еще как бы спросонья. В первые секунды после пробуждения бывают пронзительные догадки. Не знаю, в чем тут секрет: может, в эти мгновения полусна-полуяви живут какие-то раскрепощенные, расторможенные представления, они сталкиваются с трезвыми дневными мыслями и от столкновения происходит вспышка-догадка. А может быть так: когда пишешь большую вещь, постепенно так в нее погружаешься, что думаешь о ней постоянно, и ночью тоже. Не в часы бессонницы, а именно — во сне. Так что утренние догадки есть как бы осколки мыслей из сна.

Не берусь утверждать, как именно обстоит дело, но заметил определенно: в эти короткие миги — едва продрал глаза, но еще не потянулся за тапочками — придумалось немало полезного.

Работаю обыкновенно по утрам. Никогда — ночью и даже вечером. Вечером не бывает ясной самооценки, можно иной раз с разгона и написать одну, две страницы, но наутро эти вечерние страницы почти всегда правишь жестоко, а то и вовсе выбрасываешь. Так что если бывает после удачной утренней работы нетерпеливое желание продолжить труд, развить успех (ведь написание страницы или двух сверх дневной нормы есть успех), почти всегда сдерживаешь зуд и заставляешь себя поставить точку. Очень хорошо, если вечером томит желание работать, а ты не работаешь и ждешь утра. Можно быть спокойным: это желание не исчезнет за ночь, наоборот, укрепится, дозреет до состояния невыносимейшей, страстной жажды, когда не в силах дождаться рассвета, чтобы выпить чаю и — за стол. Тут и начнется настоящая работа. Кстати, если вернуться к утренним догадкам и прозрениям: они чаще всего бывают тогда, когда с вечера томился зудом писанины и сам себя не пускал за стол.

А что приходится обдумывать? Вокруг чего крутятся мысли? Одолевает такая забота: как люди должны поступать? Найти максимальное приближение к достоверности. Достоверность может включать в себя невероятные нелепости. Вот их находить — самое дорогое. Высший замысел вещи — то есть зачем вся эта порча бумаги? — находится в тебе постоянно, это данность, твое дыхание, которого ты не замечаешь, но без которого нельзя жить. Объяснить замысел бывает иногда невозможно, как не может обыкновенный, несведущий в биологии и медицине человек объяснить, каким образом он дышит. Коварнейший вопрос: что вы хотели сказать своим произведением? Все, что мог, сказал, а комментарии — не мое дело.

Меняется ли замысел в процессе работы так же, к примеру, как меняется сюжет, меняются характеры героев? Ведь метаморфозы с героями, обретающими свой нрав и свою волю, происходят постоянно. Об этом свидетельствуют многие авторы. Ну а что касается замысла — того высшего, который можно назвать сверхсверхзадачей, — он, по-моему, остается неизменным. Могут меняться в процессе работы только его ракурсы, формы его выражения. И автору может даже показаться в какой-то миг, что замысел изменился, но если подумать повнимательней, то окажется, что — ошибка. В чем-то самом главном замысел остался тем же.

Во время работы над повестью «Предварительные итоги» я неожиданно для себя коренным образом изменил судьбу главного героя. В замысле было — он умирает. И почти всю повесть я писал, держа в уме эту печальную концовку, а когда осталось написать три или четыре последних страницы, вдруг понял, что умирать он не должен. Оставил его жить. Даже послал отдыхать на Рижское взморье, где он играл в теннис, гулял, поправился и помирился с женой. И все это — вместо того, чтобы лежать прахом в урне в стене крематория. Не правда ли, существенная перемена судьбы?

Но ведь, если подумать внимательно, замысел был показать не судьбу Геннадия Сергеевича — впрочем, и судьбу тоже! — а его образ жизни, выработавшийся благодаря многим разным причинам. Конечно, и смерть входит в понятие образа жизни. Потому что люди, как и живут, умирают по-своему. Можно было завершить повествование смертью, но это был бы все-таки какой-то рывок из образа жизни, своего рода

катарсис, очищение. Между тем замыслу более отвечала жизнь без катарсиса. Вот почему Геннадию Сергеевичу суждено было несколько задержаться на этом свете.

Постоянно тревожит опасение: не окажется ли мое сочинение болтливым, незначительным? Достаточно ли интересно то, что вещаю городу и миру? Ведь столько уже написано всеми и обо всем. Толстой, Достоевский, Чехов, боже мой... куда я-то лезу? Но резонные соображения никого почему-то не останавливают. Истинной литературы накоплено человечеством не так уж много, однако есть, конечно, могучий и прочный костяк.

Но сколько на этот костяк наросло сала — литературщины!

Вот и еще одна громадная трудность в работе: угадывать литературщину. Ведь это оборотень. Это вурдалак, который прикидывается хорошенькой девушкой, соблазняет, заманивает. Как трудно бывает отказаться от какой-нибудь изящной метафоры, от пейзажа «с настроением»! Попробуй угадай, литературщина это или литература. Ведь так красиво. И ни у кого как будто не украдено. Вот это «как будто» и пугает.

Нет такого прибора вроде счетчика Гейгера, который определял бы степень излучения литературщины. Приходится определять самому, на глазок. У себя — бесконечно трудно. Все, созданное твоим родным воображением, кажется тебе драгоценностью.

Но что же такое литературщина? Мы так привыкли бросаться этим обвинением: там литературщина, здесь литературщина... Вообще-то мы правы. Она повсюду. В литературном мире происходит инфляция: литературщина — это наштампованные миллиардами бумажные деньги. Может быть, даже еще проще: литературщина — это отсутствие таланта. Впрочем, тавтология. Все равно, что сказать: бедность — это отсутствие денег. Нет, пожалуй, вот: литературщина — это что-то жеваное. Вроде жеваного мяса. До вас жевали, жевали, все соки высосали, а теперь вы начинаете работать челюстями. Куда как приятно. О, черт возьми, да как ее распознать? В том-то и окаянная сложность, что у *других видно, а у себя нет.*

Литературщина многолика. Это избитые сюжеты, затасканные метафоры, пошлые сентенции, глубокомысленные рассуждения о пустяках. Это и — почти ли-

тература, во всяком случае нечто похожее на настоящую большую литературу. Это длинные, на полстраницы, периоды с нанизыванием фраз, с нарочито корявыми вводными предложениями, утыканными, как гвоздями, словами «что» и «который» — под Толстого; или такие же бесконечные периоды, состоящие из мелкой психологической требухи — под Пруста. Это сочные, влажные, сырые, мглистые, нежно-палевые, пропахшие дождем и гарью пейзажи — под Бунина. Это занудливые, но многозначительные «разговоры ни о чем» — под Хемингуэя.

Господи, как трудно заниматься этой работой! Сколько кругом опасностей!

Прочитал только что написанную страницу и увидел: сплошная литературщина. Нагромождение метафор. Литературщина сравнивается с салом, с вурдалаком, с хорошенькой девушкой, с радиоактивными излучениями, с жеваным мясом и еще с чем-то. Автор в ажиотаже собственной безвкусицы не захотел расстаться ни с одной из метафор, иные из которых более чем сомнительного качества, и в результате погубил доброе дело: нанести крепкий удар по литературщине. Внятно ответить на поставленный вопрос: «Что же такое литературщина?» — автор не сумел или, может быть, не захотел. Увиливал, уходил от разговора, изощрялся в остроумии и бросил читателя в недоумении.

Эту страницу я оставлю в таком виде, как она написалась, чтобы показать змеиную суть литературщины и как трудно с этим ядом бороться.

Когда-то давно О. М. Брик на семинарах в Литинституте после того, как студент читал рассказ, огорошивал автора таким вопросом: «Ну и что?»

«Действительно... — думал автор, бледнея и покрываясь потом.— Ну и что?» Первые признаки того кошмара, который затем преследовал автора в течение всей его жизни. А нужно ли кому-нибудь то, что я написал? А вдруг — никчемность, вздор, чепуха на постном масле? Неуверенность в себе мне кажется плодотворней уверенности. Конечно, не такая уж неуверенность, когда все валится из рук, а такая — чтоб зудела чесотка, чтоб томила неудовлетворенность. Сделать лучше! Сделать иначе, продвинуться дальше. Писатель, по-моему, должен постоянно меняться, должен ненавидеть свои

слабости и отталкиваться от своих прежних вещей. Нет ничего страшнее радостного сознания: «А все-таки здорово я умею писать!» Гениальные люди не в счет. Они могут позволить себе все, что угодно.

Начала и концы. То, что требует наибольших усилий. Начало переделываю и переписываю множество раз. Никогда не удавалось сразу найти необходимые фразы. Бродишь будто на ощупь, с завязанными глазами, тыкаешься в одно, в другое, пока вдруг не натолкнешься на то, что нужно. Мучительнейшее время! Начальные фразы должны дать жизнь вещи. Это как первый вздох ребенка. А до первого вздоха — муки темноты, немоты. Так как я люблю, чтобы первая страница рукописи была чистой, без помарок — снобизм, конечно, но ничего не поделаешь, привычка,— на это уходит обыкновенно чуть ли не полпачки бумаги.

В начальных фразах ищу музыкальный строй вещи. Какой-то особый символический смысл для начала необязателен, хотя, разумеется, прекрасно, если он возникает («Он поет по утрам в клозете»,— начало могучее, с простором), можно начинать просто, как бы исподволь. Но непременно должна быть найдена точная музыкальная нота, должен почувствоваться ритм целого. Если это найдено — как за роялем, когда подбираешь по слуху,— тогда дальше все пойдет правильно.

У меня есть множество превосходных начал, которые так и не нашли продолжения. Все муки начала, с его надеждами, новизной, напряжением мыслей и чувств, одинаково тяжелы для романа в пятьсот страниц и для рассказа в пять. И так как каждую вещь хочется написать лучше прежних, и, пиша одно, уже думаешь о начале чего-то другого и нового, то кажется, что вся твоя жизнь похожа на какое-то нескончаемое начало.

А что касается концов — то тут не до музыки. Музыка может, конечно, присутствовать, и это неплохо, если она существует в последних фразах, но главное, что должно быть в конце,— смысл, итог. Пускай символически, иносказательно, эмоционально, каким угодно дальним ассоциативным путем, но надо, как говорится, подбить бабки. Концовки тоже тяжелое дело. Заканчивать вещь надо неожиданно и немножко раньше, чем того хочется читателю.

1973

НЕТ, НЕ О БЫТЕ — О ЖИЗНИ!

Мне не хочется повторяться — хотя я люблю повторяться и считаю, что писатель должен повторяться, если желает, чтобы его идеи дошли до широкого круга читателей, ибо для этого необходимо пробить толстый слой читательской инерции, привычек и, если хотите, равнодушия, надо долбить одно и то же много раз, да, собственно, наши учителя, великие писатели, это и делали и были в чем-то однообразны — но здесь повторяться нет смысла. Всем и так ясно, что литература есть выражение и отражение современной нравственности. И ничего более важного для изучения и описания, чем нравственность, в литературе не существует.

В памяти человечества почти не сохранились — или, может быть, сохранились, но не вызывают большого интереса — описания кораблей Одиссея, их постройки, хода его путешествия, военных предприятий и прочих практических дел, которыми жили герои Гомера, но навсегда отпечаталась нравственная суть Одиссея, его товарищей, его жены Пенелопы. Это оказалось вечным. Всю историю Одиссея и Пенелопы с женихами современные критики называли бы, вероятно, бытовой. Вообще Гомера можно было бы очень серьезно критиковать за бытовизм. Чего я делать не собираюсь. Потому что не понимаю, что такое бытовизм. И даже более того — что такое быт.

В русском языке нет, пожалуй, более загадочного, многомерного и непонятного слова. Ну что такое быт? То ли это — какие-то будни, какая-то домашняя повседневность, какая-то колготня у плиты, по магазинам, по прачечным. Химчистки, парикмахерские... Да, это называется бытом. Но и семейная жизнь — тоже быт. Отношения мужа и жены, родителей и детей, родственников дальних и близких друг другу — и это. И рожде-

ние человека, и смерть стариков, и болезни, и свадьбы — тоже быт. И взаимоотношения друзей, товарищей по работе, любовь, ссоры, ревность, зависть — все это тоже быт. Но ведь из этого и состоит жизнь!

Есть термин в литературоведении: бытописательство. Это литература, имеющая отношение к очерку, публицистике, к этнографии, географии. Писатели-народники с увлечением писали такого рода очерки о населении отдаленных краев России, о народах Кавказа, о переселенцах. Называлось: «Быт и нравы». Это была дельная, честная литература, которой увлекались так же, как статистикой, потому что то и другое рисовало правдивую картину российской действительности — но какое это имело отношение к повестям о любви Тургенева, писавшего в то же время?

Нам, по-моему, следует словечко «быт» как-то укоротить. Поставить его на место. Иначе будем без конца путаться и недоумевать. Благодаря тому, что оно столь резиновое, столь замечательно неопределенное, оно повторяется множество раз по самым разнообразным поводам — то в виде спокойной информации, а то и как в виде упрека, осуждения и даже насмешки. Объем этого понятия так велик, что включает в себя все или почти все. Им можно обозначить множество различных и самых сложных явлений, которые бывает затруднительно определить нормальным русским языком.

Слово «быт» — это какая-то вселенская смазь. То и дело читаешь: «бытовой материал», «бытовые ситуации», а иногда прямо — как в журнале «Москва» была статья: «О некоторых возможностях бытовой литературы».

Да что это еще за литература такая? Ну, есть «бытовая комиссия», «бытовой сектор», «бытовой сифилис»... Но чтоб литература бытовая?

Скажут: «Трифонов наводит тень на ясный день, защищает бытовизм...» А я прошу одного: объясните, что это значит.

Недаром ни в одном языке такого понятия не существует и перевести слово «быт» невозможно. Я видел зарубежные статьи, где слово «быт» давалось без перевода. Еще одно легендарное, непереводимое русское понятие. В газете «Unita» слово «быт» напечатано латинскими буквами «bit». Иностранцы, по-видимому, сделают вывод, что таинственный «bit» — какая-то особая форма русской жизни.

Расхожее противопоставление «быта» — «бытию» не проясняет дела, ибо смысл первого понятия, я уже говорил, какой-то безразмерный. Допустим, так: «быт» — это жизнь низменная, материальная, а «бытие» — жизнь возвышенная, духовная. Но человек живет одновременно и в той и в другой жизни. Это слитно, это нельзя разъять. Самое низменное, на первый взгляд, является самым возвышенным. И наоборот. Что такое семья? Ячейка общества, как известно из марксизма. Значит, изобразив семью, можно изобразить общество. Изобразив любовь двух людей или смерть человека — можно показать и общество, и государство, и прошлое, и будущее каждого человека в отдельности — как показано, например, в истории смерти человека по имени Иван Ильич.

Я слушал горчайший, я бы сказал, потрясающий список людей, ушедших от нас за последние годы, и думал о том, сколько горя пронеслось над нами, ведь многих из этих людей мы знали близко и бесконечно близко — и вот живем без них, продолжаем заседать, спорить — правильно, жизнь продолжается,— но неужели простое состояние человеческой души, столкнувшейся с горем, надо называть «бытом», «бытовой темой»?

Да это наверняка что-то другое!

Я топчусь на этом так долго, потому что эти вопросы, по-моему, волнуют сейчас многих писателей, и молодых, и средних, и старых. Так называемые произведения «на моральную тему» — это произведения о простой, неприкрашенной, реальной жизни. С осуждением чего-то дурного, с симпатией к хорошему. С картинами, подробными описаниями, со стремлением изобразить знакомых — живых — людей. Книги разного уровня, разной степени выразительности, но написанные с желанием показать достоверную жизнь. Книги Гранина и Слуцкиса, Георгия Семенова и Залыгина, Семина и Искандера, Крутилина, молодых Василевского, Проханова, Арачкеева.

Можно назвать много других писателей, которые пишут будто бы о быте, на самом деле — о жизни. Вот еще одно лукавое словцо: мещанство. Говорят, мои повести не только «бытовые», но и «мещанские». Тут не понятно, все в кучу: мещанские, антимещанские. Как в анекдоте: или он украл, или у него украли... Словом, что-то вокруг мещанства...

Мещанство, как и быт, признается предметом, при-

годным для литературы, но как бы второго сорта. Вроде шить из этого сукна можно, но что-нибудь простенькое, небогатое. И место для мещанства определено заранее: оно гнездится в городе, в хороших квартирах и, конечно, среди интеллигенции. Но разве эгоизм своекорыстие, стремление к наживе не присущи, например, иным деревенским жителям?

Однако деревенских жителей не называют мещанами. Если отвратительные качества встречаются среди деревенских жителей, то причины их видят одни в кулацких пережитках, а другие — в дурном влиянии города, то есть того же мещанства. Мы пишем о сложной жизни, где все переплетено, о людях, про которых не скажешь, хороши они либо плохи, здоровы или больны, они живые, в них то и это. Как нет абсолютно здоровых людей — это знает каждый врач, так нет и абсолютно хороших — это должен знать каждый писатель.

Мы пишем не о дурных людях, а о дурных качествах. Потому что это должно быть про всех, а не только про злокозненных мещан: это должно быть про читателей, про близких автора, про него самого. Не надо, увидев ярлычок, с облегчением отмахиваться: «А, опять про каких-то мещан! Разоблачают...» Нет, читатель, не про каких-то, а про нас с вами. После того как появилась повесть «Предварительные итоги», меня познакомили с одной женщиной, историком. Она спросила: «Это вы написали «Предварительные итоги»? Зачем вы это сделали? Ведь неприятно читать!» Я обрадовался: «Правда?» «Ну, конечно,— сказала она.— Очень!» Я объяснил, что к этому и стремился: чтоб было неприятно читать.

Мы делаем одно общее дело. Советская литература — это громадная стройка, в которой участвуют разные и непохожие друг на друга писатели. Из наших усилий создается целое. Между тем критика подчас требует такой цельности, такой универсальности от каждого произведения, будто каждое произведение должно быть энциклопедией. Неким универсамом, где можно достать все. «Почему здесь нет этого? Почему не отражено то-то?» Но, во-первых, это невозможно. Во-вторых — не нужно. Пусть критики научатся видеть то, что есть, а не то, чего нет. Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением: они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть.

Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую, а они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды.

Между прочим, критики такого рода есть не только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься: вот уж поистине умение видеть то, чего нет!

В словосочетании «нравственные искания» мне кажется особенно важным слово «искания». Ибо искать значит находиться в движении. Значит — еще не все найдено, не все совершенно и не все ясно. Из некоторых статей кажется, что мы достигли литературного рая. Но ведь это катастрофа, ибо из рая никуда не надо двигаться.

В русской литературе было движение дальше и после Пушкина, и после Достоевского, и после Чехова, будет оно и после нас, разумеется. До конечной станции еще не доехали, мы находимся на каком-то длинном перегоне, и это ощущение, по-моему, самое трезвое и самое плодотворное, помогающее искать и двигаться дальше.

Это движение, этот поиск подчинены одной цели: формированию, очищению от всего застарелого и наносного нашей сегодняшней, социалистической нравственности. Для чего служит нравственность, кратко определил Ленин: «Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше...»[1] Было это сказано в 1920 году. Страна и общество находились в ужасающей разрухе, в капитальнейшей перестройке. С тех пор все неизмеримо выросло, переменилось, но призыв Ленина — «подняться выше» — остается важным и сегодня. И будет, вероятно, важным всегда. Потому что движение бесконечно и человеческое общество всегда будет стремиться — с помощью нравственности и с помощью литературы — стать еще выше, чище, великодушнее и, в конечном счете, умнее.

1976

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 313.

НАЧАЛО

Что сказать о начале? Может быть, просто вспомнить... Какое-то самомучительство, глухота, немота, неверие, подозрительность. Неверие в свои силы, подозрительность к себе. А вдруг я не тот, за кого сам себя выдаю? Ведь я твержу себе днем и ночью, вижу во сне, будто я — ну, не гений, скажем, но одаренная личность...

Без тайного фанфаронства начала не бывает.

Со стороны не видно, никто не догадывается. Но я-то знаю, что думаю о себе. И — ужасаюсь своим мыслям. Ничего ведь еще не сделано, не напечатано да и не написано даже, и тем не менее где-то внутри неиссякаемо бьет фантанчик: «Я! Я! Я! Я!» Ну, а что, собственно, я? Какое, к шутам, я? Несколько рассказиков, не принятых ни в одном журнале, да четыре главы неоконченной повести, которая непонятно что? Кому нужно? Кто будет печатать? Кто будет читать? Совершенно ничтожная мура. Ниже нуля. Порвать и никому не показывать. Литературу делают волы, как сказал Ренар. Дело не в том, чтобы написать одну гениальную страницу, а в том, чтобы написать триста. Разве ты похож на вола? Разве способен триста? Да никогда в жизни!

И, однако, фонтанчик бьет — я! я! я!..

Только в начале бывает такое гнетущее ощущение собственной бездарности и такое сказочное упоение собственным творчеством. Есть рассказ про композитора Гуно: «В двадцать лет я говорил: «Гуно!», в тридцать: «Гуно и Моцарт!», в сорок — «Моцарт и Гуно!», в пятьдесят я говорю — «Моцарт!». Я помню, как мне очень нравилась в юности одна девушка, и, когда меня с ней познакомили и сказали, что я «пишу», она сказала: «О, я что-то читала, помню вашу фамилию!» В то время не было напечатано ни одной моей строчки, и,

однако, я мгновенно поверил в то, что она читала и помнит. То есть поверил, разумеется, на долю секунды, на что распространялась сила моего тайного фанфаронства: ведь в глубине сознания я ощущал себя писателем. И к тому же — известным. В следующую секунду окатило холодом другое чувство: я бездарность, и никто никогда меня не узнает. Но тот первый рефлекс поразителен!

У Олеши где-то есть замечание о том, что все писатели мира, нынешние и древние,— это как бы один писатель. Речь не только о писателях, разумеется, о художниках вообще. О самоощущении художника. Оно всегда полно, тотально. Поэтому мне кажется — начинающих художников не существует. В течение долгих лет мы приобретаем лишь сумму приемов и опыт жизни, но самоощущение — какое в начале, такое до конца дней.

И это самоощущение — сплав горького отчаяния и величайшей веры в себя. Должен ли художник верить в себя как в бога? Да. Должен ли постоянно угрызаться и сомневаться в своих возможностях? Да. И спрашивать себя: кому нужна чепуха, которой я занимаюсь? Да! Да! Да!

Поэтому все равны. Начинающие, маститые, неудачники, мировые знаменитости. Десять лет назад в Париже я искал одного художника, который переселился в Париж до революции. Он начинал когда-то вместе с Марком Шагалом и другим художником, оставшимся в России, который дал мне адрес и просил передать привет Шагалу и этому второму. Шагал оказался на юге, второго я нашел на окраине Парижа. Он был анималистом, теперь уже давно не работал. Жил на пенсию. Это была абсолютная безвестность и почти нищета. Его дочь жила с семьей в Ницце, в Париже он был одинок. В квартиру на второй этаж вела железная лестница вроде пожарной, только приставленная к дому не вертикально, а наклонно, и я подумал: ну и ну! Как же он подымается, старик? Шел дождь, железные ступени скользили под ногой, как намыленные. «Когда дождь,— подумал я,— он не выходит из дома».

Комната была одновременно мастерской. Все знакомо, как везде, как в старых мастерских в доме художников на Верхней Масловке, где я прожил пять лет: гипсы, подрамники, кушетка, запах краски, электроплитка, на которой стоял чайник. Анималист был глу-

боко стар, общителен, мил, покоен. Говорили о художниках, с которыми он начинал. Он сказал: «Марку повезло. Художник он неплохой, особенно синий цвет у него хорош. Но в общем-то повезло...» Анималист говорил спокойно. Это было его твердое убеждение, выношенное годами в мансарде, куда вела железная лестница, похожая на пожарную. «Но все-таки,— заметил я,— Марк кое-чего добился в своей области, не правда ли?» — «Повезло,— твердил анималист.— Были художники гораздо сильнее. Среди нас был такой Кремень. Слышали эту фамилию?» — «Нет, не слышал». Анималист воодушевился: «О, замечательный художник! Бесспорный мастер! Ну что вы, вот это настоящий художник! Кремень. Жаль, его никто не знает».— «Почему ж так случилось?» — «Просто не повезло...»

Я не знаю, что именно надо делать для того, чтобы повезло. Ну, работать, разумеется, не разгибая спины, стать графоманом, киноманом, театроманом, архитектуроманом, сделаться на некоторое время — хотя бы для начала — немножко сумасшедшим. Слегка как бы свихнуться на любимом деле. Потом можно выправиться, не беда. А можно и не выправляться, тоже не страшно...

Чехов говорил о том, что «многописание — великая, спасительная вещь». Особенно важно многописание — я бы сказал: бурнописание, страстнописание — в начале, о чем идет речь. Нельзя, решив посвятить себя искусству, выдавливать, как из тюбика, кусочками, полузасохшую пасту. В начале происходят поиски — темы, стиля, возможностей, себя, и надо кидаться в разные стороны, пробовать одно, другое, третье. Не говорю о тех, кто сразу себя находит,— это бывает редко. Кроме того, мне кажется, надо сразу ставить себе большие задачи. Пожалуй, даже почти непосильные задачи, на грани невозможного.

В последние годы я работаю со студентами Литературного института, веду семинар прозы. Молодые люди, как почти все начинающие (которых не существует), двигаются на ощупь, их мучает немота, неуверенность, связанность... О чем я толкую им почти на каждом семинаре? О том, что спасти их могут только графомания, только груды исписанной бумаги — а не отдельные листочки и тетрадочки,— только полное погружение в стихию прозы. Во всяком случае, из такой схватки непременно что-то выйдет — или шедевр, или открытие правды о самом себе.

У меня есть знакомые, которые не любят свое детство. Не хотят вспоминать о нем. В их детстве не было ничего ужасного, ни войны, ни семейных кошмаров, было обыкновенное детство с обыкновенными страданиями. Знакомые, о которых я говорю, женщины. Они не хотят вспоминать о предженском существовании. О жизни гадкого утенка. У мужчин таких комплексов я не знаю. Эти женщины вспоминают с содроганием: господи, как меня томило, и мучило, и казалось неисполнимым все то, что потом пришло! Нет, говорят они, не хотела бы я начинать все сначала именно из-за этих мук... Рождение художника чем-то, наверное, похоже на рождение женщины. Женщина плодоносит и этим — ближе. Но вот как бы избежать начала со всеми его тяготами? Перескочить сразу в другой мир, в иное существование?

Я думаю, это возможно. Сократить путь до минимума. Иные художники перескакивают. Иные женщины тоже. Нужны отвага, готовность идти на риск, знание того, что жизнь краткая, нельзя терять время на раскачку.

Андрей Белый в «Котике Летаеве» пытался вообразить, записать ощущения младенца, даже эмбриона. «Первое «ты — еси» схватывает меня безобразными бредами, и — какими-то стародавними, знакомыми искони; невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение математически точное, что ты — и ты, и не ты, а... какое-то набухание в никуда и ничто, которое все равно не осилить...»

Было бы занимательно для писателя и психолога внедриться в ощущение художника во младенчестве, в эмбрионе. Я назвал бы такое внедрение, будь то повесть или нечто эссеобразное, «Немота». Тут вся боль: немоты, несказанности: есть что сказать, но ты безглаголен.

Тридцать лет назад я учился в Литературном институте, посещал семинары Федина, Паустовского. Терзания тех лет хорошо помню — врезались в память навеки. Один из моих товарищей, окончив институт, продолжал там несколько лет работать и однажды сказал мне: «Знаешь, какая разница между студентами нашего времени и нынешними? Мы встречались в коридоре и говорили друг другу: «Я вчера рассказик написал. Да-

вай почитаю?» И тут же на подоконнике — у нас был такой отдаленный подоконник в торце дома — принимались глушить товарищей «рассказиком» страниц на двадцать. А нынешние, встречаясь, говорят: «Я вчера рассказик написал. Как думаешь, куда волочь: в «Огонек» или «Сельскую молодежь»?»

Когда это было рассказано, меня покоробило: слишком очевидны благородство и бескорыстие первых, неблагородство и корыстолюбие вторых. Теперь же думаю: чепуха! Нынешние сокращают начало.

Начало лучше всего обрубать. В искусстве тоже. Раскачку — к черту! Когда-то я написал рассказ, который был напечатан в спортивной газете. В одном номере рассказ не поместился, разбили на два. Помню, Арбузов, прочитав второй отрывок и не поняв, что это продолжение, бурно меня хвалил. «Так и надо, Юра: начало немного странное, неожиданное, даже несколько непонятное,— говорил он,— зато все достоверно. И не нужно ничего объяснять. Вы молодец!» Я не чувствовал себя молодцом. Но отчетливо понял, что начало — то, от чего следует отделываться как можно скорей.

Не топчитесь слишком долго в прихожей, врывайтесь в комнату. Не засиживайтесь в начинающих, которых не существует. Но имейте в виду: дальше легче не станет!

1976

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Непреходящее значение Толстого — в моральной мощи его сочинений. То общеизвестное в его учении, что принято называть «непротивлением злу», есть только часть этой мощи, край громадной духовной силы, а весь материк толстовской морали можно обозначить так: жить по правде, то есть по совести.

Толстой видел худое устройство мира, но считал, что это не может быть оправданием того, что человек «живет не так». (Иван Ильич, помирая, сокрушался по поводу того, что «жил не так».) В отличие от многих современников, которые полагали, что надо сначала переменить худое устройство, а потом уж заняться человеком с его летучей моралью и кратковременной совестью, Толстой был убежден в том, что тем и другим надо заниматься одновременно. В противном случае будет так: вот сделаю ремонт в квартире и начну жить по совести, а то ведь, пока грязные обои и старая мебель, я имею право жить дурно. И выйдет так, что в дурных поступках человека виноваты обои. Но Толстой грозно сказал: нет! Загляните в себя, ужаснитесь обоям своей души, перемените старую мебель своих привычек, и это поможет всем людям переделать худое устройство мира. А насколько мир худ, Толстой понимал и видел хорошо, и чем дольше жил, тем понимал и видел со все большим ужасом и душевною мукой.

В одной из статей,— посвященной итальянским делам, убийству анархистом Гаэтано Бресси короля Гумберта I — она называется «Не убий!», Толстой написал: «А поддерживает теперешнее устройство обществ эгоизм людей, продавших свою свободу и честь за свои маленькие материальные выгоды».

Эгоизм — это заурядное, столь хорошо всем знакомое человеческое свойство — Толстой наделяет исполинской силой, ибо оно, как он полагает, может созда-

вать и поддерживать целые общества. Вот так переустройство души одного человека — с неизменно присущим ему эгоизмом — тесно связано с переустройством мира. Одно немыслимо без другого. Толстой призывал начинать с себя. Эгоизм имеет много масок, обличий, градаций, иногда его энергия настолько сильна, что убивает других людей, а иногда раствор слаб и едва заметен. И нужна гениальная наблюдательность, чтобы обнаружить его присутствие. В нашей литературе сейчас можно говорить о «нравственных поисках». Это может показаться странным: литература всегда нравственный поиск! Так было задумано. Тысячелетия назад. Но с тех пор замысел оброс гроздьями ненужных вещей. Возможно, тут просто азартный ответ: на пошлую псевдолитературу, которая процветает повсюду, и на холодный глазомер аналитиков структуры. Я отнюдь не против холодного глазомера. Я против утверждения о том, что психологический роман себя изжил. Можно ли с помощью анализа структуры оценить внутри книги — героя, а в конечном счете внутри себя, что есть добро и что зло? Все это бывает так запутанно, слитно, невозможно разобрать где что. Толстой призывал терпеливо: разберите! Распутайте! Это возможно, надо найти концы. И показывал на примере своих книг, как это делается. Там нет назиданий, нет прописной правды, там есть высшее знание: как поступать согласно естественному ходу вещей. Совесть Толстого есть знание (в слове «совесть» коренится этот смысл. Русское «совесть» — совокупное знание, со-весть; впрочем, как и немецкое Gewissen — Ge-wissen). Когда Пьер Безухов расстается с умирающим Платоном Каратаевым, он не слишком мучается своим отчуждением от него, своим нежеланием подходить к нему и слышать тихие стоны — в этом есть правда естественности, ибо помочь Пьер не в силах — зато он всем существом стремится узнать, понять и *разобраться*. «Он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что как на свете нет положения, в котором бы человек был счастлив и свободен, так и нет положения, в котором он был бы несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка».

Совесть Толстого беспощадна — в той степени беспощадности, какая присуща природе, естественному ходу вещей.

От морального напора толстовских книг идут остальные качества великого писателя — понимание других, понимание себя и жажда добираться до сути. Когда в письме Александру III Толстой писал: «Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек...» — он писал то, что думал. Почему он так думал — вопрос другой. Но то было истинное чувство, а не ради красного словца. Пожалуй, нет в мировой литературе другого писателя, который был бы так строг и безжалостен к себе, причем не показной, натужливой строгостью, а глубокой и естественной, и тут кроется один из величайших образцов, увы, почти недостижимый. Немало писателей умеют подшучивать над собой, иногда зло, остроумно, мы это ценим, и улыбаемся, и благодарны, но Толстой не подшучивал, а взрезал, анатомировал, иногда читать его страшно. Как индийские факиры, он умел оперировать себя. Нет, он не шутил — хотя в обыкновенном житейском понимании это была неправда — он не шутил, когда в «Исповеди» писал о себе: «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так я жил десять лет. В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости».

Он сказал много горького о людях, о том, что жизнь не знает пощады. Он показал сатанинскую правду: умирающий обременяет родных. Литература до него не касалась этих бездн. Бур Толстого проник до рекордных отметок. Писатели после Толстого догадались: можно и нужно бурить в еще более глубинных горизонтах. Кафка написал рассказ «Превращение», где своими средствами развил найденное Толстым: родственники Замзы, любившие его, но отчаявшиеся спасти, с облегчением вздыхают после его смерти и уезжают на прогулку за город, а родственники умирающего Ивана Ильича идут с будущим зятем в театр. Осуждает ли их Толстой? Нет, не осуждает, он горюет вместе с ними, он понимает их: они должны подчиниться естественному ходу вещей.

У Толстого есть выражение «быть пьяным жизнью». Вот это «пьянство жизнью» — делающее человека счастливым и могучим, одуряющее его — показано с замеча-

тельной силой во всех книгах Толстого. Он сам был пьян жизнью. Сам пережил минуты смертельно тяжкого похмелья, едва не погиб, прежде чем пришел вот к чему: смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее.

Напрасно полагают иные, что развивать «школу Толстого» — это значит составлять длинные, громоздкие фразы, кое-как сшитые словечками «что» и «который». Школа Толстого — это работа на большой глубине. Для писателей Толстой поставил неоценимые ориентиры: он говорил о трех совершенствах в искусстве. Первое — значительность содержания, второе — красота, третье — задушевность. Эти обязательные параметры истинного художественного произведения остаются, вероятно, в силе и сегодня, так же как остаются в силе опасности псевдолитературы, на которые указывал Толстой. Псевдолитератор «берет ходячее в данное время и хвалимое умными по его понятию людьми содержание и облекает его, как умеет, в художественные формы... или же избирает тот предмет, на котором он более всего может выказать техническое мастерство».

А настоящий писатель «должен ждать, чтобы в его душе возникло то важное, новое содержание, которое бы он истинно полюбил, а полюбив, облек бы в художественную форму».

Итальянский корреспондент спросил, какова популярность Толстого сегодня? Истинная она или же, как бывает с классиками, это популярность школьных программ, популярность по инерции? Я думаю, популярность Толстого — ИСТИННАЯ. Лев Толстой подтверждает известную мысль Тургенева в разговоре с Флобером — об этом вспоминает Мопассан в своей статье «Иван Тургенев» — насчет того, что нравится художнику и что нравится толпе. Флобер сказал, что художнику и толпе нравятся разные вещи, но есть великие произведения, которые нравятся и художнику и толпе, на что Тургенев заметил: «Но имейте в виду, нравятся по разным причинам».

К этому можно добавить: по какому-то высшему счету эти разные причины объединяются в одну — великие произведения нужны для добывания жизни, о чем говорил Толстой. Как поля, как леса. Каждый берет от лесов и полей что-то свое.

Однажды я ехал в поезде, третьим классом, подра-

жая Льву Толстому (впрочем, в студенческие времена просто не было денег), и слушал разговор двух крестьян, севших в вагон ночью. Один рассказывал другому какую-то длинную историю про своих знакомых. Что-то о войне, о плене, о бегстве из плена. Одного знакомого рассказчика звали Жилин, другого Костылин. Не сразу я понял, что крестьянин пересказывает, как нечто случившееся в жизни и известное ему из первых рук, повесть Толстого «Кавказский пленник». Созданное Толстым стало частью окружающего мира. Толстой — писатель для всех людей и на все времена.

4.IX.78 г.

НЕЧАЕВ, ВЕРХОВЕНСКИЙ И ДРУГИЕ...

В чем загадка Достоевского? Почему спустя сто лет после смерти он один из самых живых, сильно действующих, необходимых человечеству? Художественная и мыслительная мощь Достоевского не растратилась в десятилетиях, а, наоборот, неуклонно возрастает и крепнет. Его влияние на литературу XX века неоспоримо. И не только на литературу. Это тем более загадочно, что с точки зрения литературной формы Достоевский — писатель неправильный. Живописность, образность, пластика, все то, что в привычном понимании составляет плоть прозы, Достоевского не заботит. Он лишен зуда все непременно с чем-то сравнивать. Метафоры его не интересуют. Он может спокойно писать: «Он покраснел, как рак», или «Он покраснел, как пион». Пейзажей в его романах почти нет. Они тормозят действие. Мысли, чувства, идеи извергаются лавой, и нет времени останавливаться и глядеть на природу. А передавать посредством пейзажа душевное состояние, как учит литературоведение, Достоевскому не нужно — он передает состояние другим способом. Речи героев несуразно длинны. Люди так долго, нудно, страстно, бесконечно не разговаривают. Да и композиция романов какая-то сумбурная, неестественная — отдельные лица выскакивают вначале, потом исчезают; незначительные события занимают много места, значительные — мало. Есть фигуры будто бы важные, о которых мы не знаем решительно ничего, кроме того, что они исполняют служебную роль — рассказчика. Но ведь так не делается по правилам прозы. Каждая фигура должна быть осязаема. Иначе зачем ее вставлять в сочинение? И на всем печать неистовой спешки, оттого небрежность, неряшливость, неотделанность. Ну да, он был в долгах, он спешил, ему некогда было шлифовать, оттачивать.

И вот оказывается...

Да мы ничего этого просто не замечаем! Никаких «покраснел, как рак», никаких несуразностей, неестественностей! Потому что он захватывает главным — обнажает перед нами внутреннюю суть людей. А ведь нет ничего интересней, как заглядывать внутрь других и себя. Он описывает то, что наименее доступно описанию,— характеры. И для этих описаний — я бы назвал их психологическими пейзажами или пейзажами души — не жалеет ни красок, ни подробностей, ни зоркости, ни многих страниц. Исследуя характеры, Достоевский исследует все стороны человеческого бытия. Все тайное и запертое отмыкается этим ключом. Такая работа требует глубокого погружения. Магма характеров находится в недрах, под великою толщей — ее надо прорыть, прогрызть. Мы, обыкновенные сочинители, находимся на поверхности, где пейзажи, а лазерный луч Достоевского проникает вглубь. Перед началом работы над романом «Бесы» — книгой политической и полемической, требовавшей, вероятно, в первую очередь социального анализа,— Достоевский написал в черновике чуть ли не первую фразу: «NB. Все дело в характерах».

Для раскрытия характеров Достоевский ставит героев в ситуации, которые теперь принято называть экстремальными. Но в наше время, когда это понятие возникло и стало излюбленным у критиков, оно связано с войной, тайгой, пустыней, кораблекрушениями, прорывом дамбы и прочим в этом роде. Связано с тем, что требует физической смелости и спортивной закалки. Достоевского интересуют экстремальные ситуации духа. Человек мучается, приходит в отчаянье, решается на безумные поступки каждую минуту, ибо все это происходит в глубине сознания, чего мы не замечаем, а он — видит. В экстремальной ситуации находится Раскольников, убивший двух людей, но в экстремальной ситуации находится и Макар Девушкин, терзающийся от собственного ничтожества, и Степан Трофимович Верховенский, который никого не убивал, живет в достатке, но он приживал, неудачник, вынужден терпеть сумасбродную любовь генеральши Ставрогиной, и это делает жизнь невыносимой. Недаром он говорит: «Я человек, припертый к стене!» Для Достоевского жизнь — экстремальная ситуация.

И есть еще феномен, делающий книги Достоевского столь читаемыми сегодня — для тех, кто еще не разучился читать. Многие разучились, сидя у телевизоров. Достоевский — отгадчик будущего. Правота его отгадок становится ясна не сразу. Проходят десятилетия, вот уже минул век — и, как на фотобумаге, под воздействием бесконечно медленного проявителя (проявителем служит время) проступают знаки и письмена, понятные миру. Книги Достоевского подлинно «имеют свою судьбу», которая сложна, болезненна, противоречива, конца ей не видно. Эти сети закинуты далеко вперед, в пока еще неведомые пространства. О книгах Достоевского сначала судили грубо, потом страстно, потом на них взглянули другими глазами. Человечество погрузилось в апокалипсические испытания XX века и измученным зрением все оценивало по-новому. Особенно поразительна в этом смысле судьба романа «Бесы». Современники, даже наиболее проницательные, не оценили «Бесов» по-настоящему. Левый лагерь категорически признал книгу антиреволюционной, хотя она была антипсевдореволюционной. Русский якобинец Ткачев в статье «Больные люди» яростно клокотал против Достоевского, но не смел коснуться двух главных болевых точек романа — убийства Шатова и идей Шигалева — Верховенского, ибо то и другое Достоевский взял из реальной жизни и назвать то и другое плодом воображения больного человека было никак уж нельзя. Не поняли истинного значения «Бесов» и представители художественной элиты и правого лагеря — первые видели в романе недостаток художественности, вторые поднимали его на щит все за ту же антиреволюционность. У Шопенгауэра есть размышление о природе таланта и гения. Талант, считает философ, попадает в цели, в которые обычные люди попасть не могут, а гений попадает в цели, которых обычные люди не видят. Так вот: книга, написанная впопыхах, по жгучим следам событий, почти пародия, почти фельетон, превратилась под воздействием «проявителя» в книгу провидческую. Как это случилось?

Больше ста лет назад, в ноябре 1869 вода, в Москве в Петровском парке произошло убийство мало кому известного молодого человека, студента Иванова. Убивали впятером: двое заманили в безлюдное место, затолкали в грот, трое набросились, один держал за руки, другой душил, третий выстрелил в голову. Иванов уку-

сил стрелявшего за палец. Тело убитого бросили в пруд. Через четыре дня его обнаружила полиция.

Убийство студента Иванова, ничем не примечательное, гнусное — впятером на одного! — стало, однако, одним из самых заметных событий прошлого века, а тень от него перекинулась на век нынешний. И кто знает, куда потянется дальше. Для русской истории это убийство не менее роковое, чем, скажем, убийство народовольцами царя Александра II. Дело не в том, что Достоевский взял этот сюжет для романа «Бесы» и тем обессмертил убийц и жертву, а в том, что убийство в Петровском парке обозначило движение, которое по имени главного убийцы — Нечаева (того, кто прострелил Иванову голову) — получило название нечаевщины, переполошило Россию, жандармов, либералов, революционеров, померещилось фантастической и страховидной ерундой, обреченной на гибель.

Сергей Нечаев, сын сельского священника, учитель закона божия из провинции, желчный, болезненного вида юноша, страдавший тиком лица, приобрел с годами — так же как его ненавистливый жизнеописатель — все большую славу. Как два вечных супротивника, как Христос и антихрист, они не могли теперь существовать друг без друга и в каждом новом поколении находили себе адептов: у Достоевского их было неизмеримо больше, но адепты Нечаева ничтожною горсткой умели приводить мир в содрогание.

Так в 1871 году содрогнулась Россия, когда судили нечаевцев (сам Нечаев ускользнул от суда в Европу и был судим несколько лет спустя), и в газете «Правительственный вестник» появилось в качестве документа, приобщенного к делу, зловещее сочинение: «Катехизис революционера». Долгое время авторство приписывалось Бакунину, с которым Нечаев сошелся в Европе и сумел ему понравиться, но в последнее время ученые склонны обелять знаменитого «апостола анархии» и прямо называют творцом «Катехизиса...» Нечаева. Вот некоторые цитаты из этого труда:

«1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.

2. Он... разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми зако-

нами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира.

3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — разрушения. Для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя...

4. Он презирает общественное мнение. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему...

6. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою, холодною страстью революционного дела...»

Далее подробно: как следует организовывать тайные кружки, как вербовать членов, как конспирировать, как и под каким видом проникать во все слои общества, как добывать денежные средства и прочее. Особенно замечательна глава «Отношение революционера к обществу». Здесь объявлялось, что «все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий». Первая категория — неотлагаемо осужденные на смерть. При составлении списков должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека ни даже ненавистью, возбуждаемой им в народе, а мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела... Вторая категория: лица, которым даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатствами, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать всевозможными путями, опутать их, сбить с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами... Далее следуют четвертая, пятая и шестая категории: либералы, псевдореволюционеры и женщины, которые тоже строго распределены на разряды по удобству и способу их употребления для той же «пользы дела».

О какой же «пользе дела» заботится автор «Катехизиса...»? Каковы программа, цель, будущий результат

дела? Тут сюрприз: ни программы, ни цели не существует. Сказано прямо: «Мы имеем только один отрицательный, неизменный план — общего разрушения. Мы отказываемся от выработки будущих жизненных условий и... считаем бесплодной всякую исключительную теоретическую работу ума».

Если план — общее разрушение, то стоит ли останавливаться перед разрушением одного человека?

На процессе 1871 года выяснилось: студент Иванов был убит, по существу, ни за что, по пустому подозрению в предательстве, выдуманном Нечаевым. Ни один из четверых, кого Нечаев сплотил и сговорил на убийство, не верил до последней минуты в то, что Нечаев приведет угрозу в исполнение. Думали, хочет лишь напугать, заставить подчиняться. Но Нечаеву нужна была кровь. В романе «Бесы» Ставрогин советует Петру Верховенскому: «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут...» Но Петр Верховенский — он же Нечаев, Достоевский в черновиках и планах так прямо и называет его Нечаевым — лучше Ставрогина знает, как поступать. Он мог бы ответить генеральскому сынку: «Не учи ученого, съешь яблочка моченого!» Разница между ними: Ставрогин все страшное вываливает безоглядно наружу, а Петр Верховенский держит страшное глубоко в тайне. Для пользы дела.

Дальнейшая судьба Нечаева: в Европе он сумел очаровать простодушного Огарева и неукротимого Бакунина, убедил их в том, что возглавляет в России громадное тайное общество и для развития дела нуждается в средствах, выманил большую сумму у Огарева, пытался соблазнить дочь Герцена, выманивая деньги и у нее, но потерпел неудачу. Процесс 1871 года сильно очернил его репутацию, европейские революционеры отшатнулись, Бакунин отрекся, и в 1872 году швейцарское правительство выдало Нечаева России как уголовного преступника. Молодежь не желала иметь с ним дело. Его прокляли и забыли. Но Нечаев оказался не просто жалкий обманщик и лишенный чести преступник, а дошедший до безумия фанатик «революционного» дела: это обнаружилось через десять лет. Достоевского уже не было в живых. Нечаев сумел благодаря фантастической воле и сверхъестественной силе вну-

шения склонить стражников Петропавловской крепости на свою сторону и едва не устроил грандиозную мистификацию с побегом. Заговор раскрылся, многие стражники и солдаты поехали в Сибирь, а Нечаев погиб в крепости — в тот же день, 21 ноября, когда убил студента Иванова, только тринадцать лет спустя, в 1882 году.

Петр Верховенский не смог бы вынести всего, что вынес в крепости Нечаев (два года его держали в цепях), но Достоевский не знал об этих подробностях, а если б и знал его отношение к Нечаеву — Верховенскому, к одному из главных «бесов» столетия, вряд ли поколебалось бы. Злодейская откровенность «Катехизиса...» была тем барьером, который отделял все человеческое от нечеловеческого, и этот барьер был непреодолим даже в понимании. Писатель, который мог оправдать и простить многократных убийц из «Мертвого дома», теперь не находил сил для оправдания. Поразил, может быть, не сам текст, сколько характер того, кто мог создать подобное и в него уверовать. Характер! Это было загадочное, не поддающееся скорому разумению, и оттого Верховенский противоречив, неровен, неясен, смутно его происхождение и не виден конец. Вначале он легковесен, комичен, в нем есть шутовство, затем становится все более зловещим, инфернальным, приобретает черты демонические. Произошло это не потому лишь, что роман писался как бы в два приема — до процесса и после, когда раскрылась фигура Нечаева,— но и благодаря гениальной догадке: там должно быть то, и другое, и третье. Там должно быть много слоев. Верховенский — самый многомерный образ романа. Но главное в нем — злодейская суть.

Достоевский мог острее, чем кто-либо, почувствовать сокрушительную разницу между Нечаевым и вольнодумцами прежних лет, народниками начала 70-х: он сам прошел мученический путь заговорщика, мечтателя, принадлежал к тайному обществу Петрашевского и в 1849 году, осужденный на смертную казнь, стоял на эшафоте, но в последнюю минуту был прощен и отправлен на каторгу. Мир обогатился великой книгой: «Записками из Мертвого дома». Мощь этой книги отдана одному чувству — состраданию.

Но нет ничего более далекого от нечаевщины, чем сострадание.

Хотя Достоевский давно выболел свои юношеские мечты о переустройстве мира в духе Фурье и Кабе (над которыми со знанием дела уже и глумился в «Бесах», вкладывая их в болтовню Степана Верховенского и Кириллова), он, однако, не зачеркивал прошлого, находил мужество и себя считать причастным к распространению болезни, от которой лихорадило не только Россию, но и Европу. В Европе-то она, впрочем, и зародилась. Достоевский писал в статье: «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности... я сам старый нечаевец...» Отличие Нечаева от нечаевцев — тех, кого судили на процессе 1871 года,— заключалось в том, что нечаевцам были доступны такие человеческие чувства, как, скажем, раскаяние, для Нечаева же с его ледяным математическим умом никакое раскаяние, как и сострадание, недоступно. Раскаяние — это ведь и есть сострадание: к самому себе.

Революционеры-народники открещивались от Нечаева. Называли его мистификатором, иезуитом, макиавеллистом, с отвращением говорили: «Ему все средства хороши для достижения цели». Кстати, «Монарх» Макиавелли в русском переводе появился как раз в 1869 году и для убийц Иванова был, возможно, свежим чтением. Народники имели программу. Нечаев же — никакой, кроме разрушения. Народники не отторгли от себя христианских понятий доброты, любви, товарищества, страдания ради ближних (не только ради идеи). Нечаев же отбрасывал как ветошь всякую нравственность прочь.

Верховенский и Шигалев, два главных «беса» романа, рассуждают: «Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов... Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями... мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство...» И наконец: снести сто миллионов голов — и создать новое общество. Свои маленькие головенки они из этих ста миллионов, разумеется, вычитают.

Основные идеи и черты нечаевщины воплотились в романе порою с фотографической точностью. Убийство Шатова полностью, до малейших деталей — вплоть

до прокушенного пальца — соответствует убийству Иванова. Рассуждения главных героев — вариации на тему «Катехизиса революционера». Связь с преступным, разбойничьим миром — связь с Федькой Каторжным. Презрение к доктринерам — презрение Петра Верховенского к отцу, бывшему вольнодумцу, превратившемуся в чучело Дон-Кихота. Наконец, шпиономания — она процветает у нечаевцев. Страх перед шпионами — инфраструктура подполья, в которой может произойти и быть оправдано любое злодеяние.

В первом номере нечаевского журнала «Народная расправа» есть такой пассаж: «Мы из народа, со шкурой, перехваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственности и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла». Один из героев «Бесов» говорит: «Вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести».

Русские террористы, члены знаменитой «Народной воли», хотя и проклинали Нечаева за антинравственность, к концу деятельности во многом — силою обстоятельств и логикою движения — приблизились к Нечаеву. И все же глубинной своей природой они отличались от Нечаева бесконечно.

Так же, впрочем, как от террористов сегодняшних.

В 1976 году в Мюнхене в разгар судорожных споров о группе Баадера — Майнхоф автору этих строк был задан вопрос: чем отличаются русские террористы прошлого века от террористов теперь? Автор ответил: тем, что не убивали невинных людей. Тут очень существенное различие. Отношение к смерти — своей и чужой — есть вопрос кардинальный и планетарный. В нем — судьбы планеты. Террористы прошлого века (за исключением Нечаева, но он — предтеча) убивали только врагов, представителей самодержавной власти, а возможность гибели людей сторонних приводила их в ужас и заставляла порой откладывать покушения. Террористы теперь не останавливаются ни перед чем: взрывают самолеты, поезда, аэропорты, универмаги, народное гулянье и площади... И это нечаевщина в чистом виде. Это то самое, к чему призывал Нечаев и в чем признавался мелкий бесенок Лямшин из романа Достоевского: «...всех обескуражить и изо всего сделать кашу, и

расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее,— вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта».

Несчастный Шатов, к которому Достоевский испытывает мрачное, укоризненное сочувствие, говорит: «Знаете ли вы, как может быть силен один человек?» Роман показывает такую силу одного человека — но не Кириллова, который убивает себя, чтобы стать богом, и не Ставрогина, приводящего дикими поступками в трепет целую губернию, а Петра Верховенского, который быстро и страшно уничтожает всех. Каким способом? Силою тайного зла, которая и есть сила одного человека.

Достоевский расщепил, исследовал и создал модель зла. Эта модель действует поныне. Все части в ней типовые. Взять к примеру небезызвестного Карлоса — чем он не Верховенский? Он так же абсолютно антинравствен, патологичен, властолюбив, мал ростом, обладает легендарной сексуальной мощью, внезапно появляется, бесследно исчезает, его имя окружено тайной. По своему происхождению Карлос, правда, отличается от Нечаева. Он сын миллионера. Но это дань веку. В наше время слишком много миллионеров. Характер! Вот что царит над всем. И это часть созданной Достоевским модели. Через столетие писатель заглянул в наши будни: похолодание, снежные заносы, эпидемии гриппа, ограблен банк, взорвана школа, захвачены заложники, требуется выкуп в пять миллионов — в противном случае сто сорок человек будут взорваны вместе с самолетом. Для пользы дела. Некоторые события нынешней «террориады» почти в деталях повторяют знакомые сюжеты: например, убийство одного «из наших», кого подозревают в доносе. А может, не подозревают, а только делают вид, что подозревают. Ульрих Шмюкер, немецкий террорист из группы Баадера — Майнхоф, был убит по неясному предположению, что выдал двух товарищей: они спали в машине возле дома родственников Шмюкера и были схвачены полицией. Убийство Шмюкера поручили его другу Тильгенеру, но тот отказался. Шмюкер все равно был убит, а Тильгенер умер, затравленный угрозами.

Иванов, Шатов, Шмюкер — для пользы дела. Презрение к человеческой жизни, убить кого-либо, кто попал в пресловутые «категории», для Нечаева так же просто, как убить комара. «Человек в униформе для нас

не человек»,— сказала Ульрика Майнхоф в тюрьме корреспонденту «Шпигеля».

И все же, что происходит с бесами? Почему они не превращаются в свиней и не бросаются со скалы в озеро, чтобы исчезнуть, как предсказывал евангелист? И Достоевскому под конец жизни уже становилось ясно, что все тут не просто и спасительное озеро далеко: пламя бесовщины разгоралось, новые бомбы взрывались, новые ужасные имена выскакивали из российских недр и на глазах мира разворачивалась охота на царя.

Достоевский не дожил месяца до дня, когда Гриневицкий убил царя бомбой. Это ничего не принесло России, кроме бедствий. Принятие конституции, на что царь уже решился под напором обстоятельств, отложилось надолго.

Живучесть терроризма — плодов он не приносит, что для всех очевидно,— остается загадкой века.

Ян Шрайбер, английский философ, считает, что терроризм силен не числом и умением, а общественным мнением. Оно представляет из себя сложный комплекс ненависти, восхищения, отчаяния, надежд и страха. Это кривое зеркало, но с мощным усилителем. Вечный соблазн: все проблемы решить разом — одной бомбой, одним последним убийством. Достоевский считал — к концу 70-х, когда терроризм в России пугающе разгорался,— что общество выработало какую-то особую, вывернутую наизнанку стыдливость в отношении террора. Издатель А. С. Суворин вспоминал об одном разговоре с писателем:

«Представьте себе, Алексей Сергеевич, что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину» (то есть адскую машину, бомбу с часовым механизмом). Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» Суворин ответил: нет, не пошел бы. «В том-то и дело, рассуждал Достоевский, ведь это ужас! Боясь прослыть доносчиком. Представлялось, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожа-

луй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаянья. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит».

Общественное мнение, которого страшился Достоевский, питалось слухами и газетами, теперь эти возможности многократно усилились: все становится известно в тот же день и час. Мир следит по телевизору за драмой заложников, и нет более захватывающего зрелища. Террористы превратились в киногероев. Население рассматривает громадные фотографии в журналах, ужасается, старается понять: кто эти люди? инопланетяне? чего добиваются? чего хотят от нас? И первая, облегчающая душу догадка: от нас — ничего. Хотят от других.

Терроризм выродился в мировое шоу. Бесовщина стала театром, где сцена залита кровью, а главное действующее лицо — смерть. И есть подозрение, что это именно то, к чему террористы, сами того не сознавая, стремились. Без криков, проклятий и замирающих от страха сердец играть в этом театре неинтересно. Террор и средства информации — сиамские близнецы нашего века. У них одна кровеносная система, они не могут существовать раздельно: одно постоянно пожирает и насыщает собой другое.

Московский корреспондент газеты «Паэзе сера» Адриано Альдоморески однажды задал автору гипотетический вопрос: что бы он в первую очередь сделал, чтобы пресечь терроризм? В первую очередь, по мнению автора, следовало бы рассечь близнецов надвое. Террор надо лишить паблисити. Без паблисити нынешние бесы хиреют, у них падает гемоглобин в крови, им неохота жить. Это подтверждается эпизодом, который произошел в Штутгарте во время суда над группой Баадера — Майнхоф. Террористы упорно отказывались признать свое участие в убийствах, но в начале мая 1976 года началась забастовка прессы в ФРГ, и это повергло четверку террористов в уныние: без паблисити им стало нечем дышать. Они начали признаваться. Ульрика Майнхоф покончила с собой. Есть разница между ними и Нечаевым, который отчаянно боролся восемь лет в одиночной камере, во мраке и безвестности!

Обозначился двойной лик терроризма: бесовское и святое. Верховенский и Шатов. Бес рано или поздно должен убить святого. Сначала в себе. Почему гнев и боль Достоевского живы сегодня? Наше время переломное: жить дальше или погибнуть? Мир вокруг колоссально и чудовищно переменился. Достоевский с его фантазией не мог бы предположить, каковы перемены. Нынешний Кириллов обладает абсолютной способностью взорвать вместе с собой население Земли, чтобы стать богом. В 1975 году в Америке двадцатилетний физик соорудил из спортивного интереса атомную бомбу за пять недель.

И все же характер человечества остался тот же: противоречивый, забывчивый, легкомысленный. Мировой Скотопригоньевск опомнится лишь тогда, когда вспыхнет пожар. Диктор французского радио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Моро заслоняет всю остальную действительность. Но все же я сообщу вам о результатах бегов...»

Бега продолжаются. Люди интересуются их результатами. Верховенский и Карлос до сих пор не пойманы и бродят в нашем маленьком мире на свободе. Поэтому будем внимательно читать Достоевского.

1980

ТРИЗНА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ВЕКОВ

Что же скрыто в глубинах народной памяти, что сохранилось, пережглось, превратилось в уголь, в руду, в нефть? История живет в книгах, а историческая память — в языке и в том, что принято называть душою народа. Никто кроме структуралистов не может в точности объяснить, что есть душа, но необъяснимое существует, и в этом необъяснимом существует другое необъяснимое — память,— и тут мы находим донесшиеся из 600-летней дали слова: «Мамаево побоище». От многовекового употребления словосочетание это стерлось, потускнело, оплыло, как древний пятак, из него вытекла кровь и отлетел ужас. «Ребята! — говорят родители детям.— Что вы здесь Мамаево побоище устроили? А ну прекратите сейчас же!» Но сохранились другие слова: ярлык, ясак, аркан. И в них — железный стук, рок, нет спасенья.

«Бог бо казнит рабы свои,— говорит летописец,— напастьми различными, и водою, и ратью, и иными различными казньми; хрестьянину бо многими напастьми внити в царство небесное».

Спустя столетия все видно просторнее. Да что же было? В Италии только что ушли из жизни Боккаччо и Петрарка. Во Франции кипела Жакерия, вспыхнула и погасла первая Коммуна, в Англии проповедовал Джон Виклиф, воспитанный на Роджере Бэконе, предтеча реформации, считавший, что «опыт — главный метод всякого знания», и Чосер писал свои «Кентерберийские рассказы». В Праге и Кракове открылись университеты...

Летописец не мог угадать того, что увидел спустя четыре века Пушкин: «России определено было высшее предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя

в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока». Варвары возвратились, оставив аркан на горле русской земли, и ханы в Орде напрягали его, то ослабляя, то сжимая петлю, почти два с половиной века. А русский народ не знал о сонетах к Лауре и не слышал о «Кентерберийских рассказах», но, возможно, его страдания связались с ними — с рассказами и сонетами — какой-то другой, отдаленной и незримой петлей? Да уж если про то, надо вспомнить более давнее, домонгольское: почти два столетия боролась Русь со степняками, заслоняя им ход в южные земли Европы — без умысла, лишь обороняя себя,— и изнемогла в борьбе, и стала отрываться от степняков на север. Монголы накатились на уже изнемогшую Русь. Жизнь при монголах непредставима. Все было, может быть, не так ужасно, как кажется. И все было, может быть, много ужасней, чем можно себе представить. Есть ученые, полагающие, что иго при всех его тяготах, поборах, невыносимостях имело некоторые положительные стороны: оно принесло на Русь своего рода *порядок*. «А все же при них был *порядок!*» — говорили какие-нибудь дядьки, откупщики в конце XV века. Ну да, монголы устроили ямскую службу, чинили и охраняли дороги, ввели перепись населения на Руси, противились самочинным судам и всякого рода бунтам, но все это — для удобства угнетения. Еще приводят такое соображение: иго содействовало объединению русских земель, укреплению Москвы. Но это все равно что говорить: спасибо Гитлеру, если б не он, наша армия не стала бы в короткий срок такой мощной. Монгольское владычество, конечно, сплачивало народ и князей, страдавших от общей беды — хотя князья, духовенство страдали куда меньше народа,— но оно же развращало, выдвигало худших, губило лучших, воспитывало доносчиков, изменников, вроде рязанского князя Олега, который ради ханских подачек не раз предавал своих братьев. А каким унижениям, глумлениям, а то и пыткам подвергались русские князья, совершавшие многотрудные поездки в Орду, чтобы выпросить ярлык или ханскую милость в какой-нибудь распре с таким же горемыкой! И все это происходило не бесследно для того необъяснимого, о чем мы говорили выше и что, за неимением лучших слов, называется *душой народа*. Карамзин писал: «Забыв гордость народную, мы выучились хитрым низостям рабства».

Неисцелимые раны нанесены, вековая боль опалила, но потомки никогда не прочувствуют этих ран и не поймут этой боли. Потому что все состояло из малого, из ничтожного, из каждодневного сора, из того, что потомкам не увидеть никаким зрением и фантазией. Летописи сохраняют редкие и сверкающие в одиночестве притчи вроде рассказа про княжьего сына Федора, посла к Батыю, который в ответ на просьбу Батыя показать ему наготу жены своей, красивой Евпраксии, ответил: «Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Батый разгневался и велел убить русских послов. А Евпраксия в отчаянье бросилась с высокой башни и «заразилась» насмерть, то есть убилась. На том месте стоит город Зарайск, он же «Заразск». Но тьмы безвестных Федоров и Евпраксий рубились мечами и бросались в реки, на камни, на копья. Ведь самое ужасное было то, что иго вышло — долгое. Люди вырастали, старели, умирали, дети старели, умирали, дети детей тоже старели, умирали, а все длилось — тамга, денга, ярлык, аркан. Конца было не видать, и люди понемногу начали дичать в лютом терпении — привыкали жить без надежды, огрубели их сердца, остудилась кровь. Хитроумный Калита возвратился в 1328 году из Орды, выпросив послабления для Руси. Летописец: «Бысть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и престаша татарове воевати землю Русскую».

Время с 1328 по 1368 год, когда напал на Русь Ольгерд литовский, считалось порою отдыха для народа. Но монголы этой передышкой сделали роковой промах — они допустили народиться поколению, которое не знало страха. С ним монголы и встретились на Куликовом поле.

Смысл Куликовской битвы и подвига Дмитрия Донского не в том, что пали стены тюрьмы — это случилось много позже,— а в том, что пали стены страха. Все верно, Мамая уничтожил не Дмитрий Донской, а Тохтамыш, тот же Тохтамыш спустя два года разорил Москву, мстя за поражение на Дону, и опять затягивался аркан, и все как будто возвращалось к прежнему, но — пали стены страха, и прежнего быть не могло. Русские увидели вековечного супостата битым и бегущим с поля боя. Чтобы истинно оценить происшедшее в излучине Дона и Непрядвы, надо хоть глазом, по грубой карте сравнить противников: крохотное Московское княжест-

во вкупе с несколькими соседними и — безграничная империя, протянувшаяся от берегов Волги до желтых китайских рек. (Усобицы между улусами, сотрясавшие империю, в расчет не берем, усобиц на Руси хватало.) И можно ли было решаться вступать в бой с исполином? По трезвому разумению — нет! В порыве безрассудной отваги, а точнее сказать, в порыве освобождения от страха — можно. Летописец писал про Дмитрия: «Аще книгам не учен сый добре, но духовные книги в сердце своем имяше». Гениальность Дмитрия заключалась в том, что он почувствовал то, чего сами монголы еще не понимали,— страховидное чудище уже скрипело суставами, уже качалось. Никакие набеги ордынцев на Москву не могли уже остановить крепнущей, молодой силы, а начало тому положило бесстрашье на поле Куликовом.

Есть еще другой смысл, проникновенный и сердечный, в памяти о Куликовом поле. И этот, другой, еще глубже вкоренился в народную душу, чем горделивое сознание победы и будущего величия Москвы,— жалость к убитым. «Задонщина» — плач по жертвам побоища. «Грозно бо и жалостно, брате, в то время посмотрети, иже лежат трупи крестьянские акы сенныи стоги у Дона великого на брезе, а Дон река три дни кровию текла». Современников битва потрясла прежде всего изобилием крови — громадный пласт народа был вырван из жизни, и ведь погибшие были не просто молодые люди, а лучшие люди Руси. Но автор «Задонщины» плачет не только по русским, павшим в битве, его скорбь всеохватна, его слезы — по всем убиенным, по человечеству. «Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не ласкать,— стонут умирающие татары,— а ласкать нам сырую землю и целовать зеленую мураву... Застонала земля татарская, бедами и горем наполнившаяся...»

Сразу по окончании битвы князь Дмитрий велит считать: скольких воевод нет и скольких молодых людей нет? Горестным списком заканчивается «Задонщина». «Господин князь великий Дмитрий Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати князей белозерских, тридцати бояр новгородских посадников, двадцати бояр коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздаль-

ских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр рязанских, тридцати четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр угличских. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят три тысячи».

По ним, незабытым, совершается теперь тризна через шесть веков немилосердной русской истории. Прочнее всего в народной памяти — скорбь.

1980

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ

Трифонов Ю. В.

Т69 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Отблеск костра: Документальная повесть; Рассказы; Время и место: Роман; Статьи./Сост. И. Громовой, Т. Смолянской.— М.: Худож. лит., 1987.— 575 с.

Последний том Собрания сочинений Ю. В. Трифонова открывает документальная повесть «Отблеск костра» об отце писателя, профессиональном революционере, одном из создателей Красной гвардии, участнике Октябрьского восстания и гражданской войны, где он был членом Реввоенсовета Восточного, Юго-Восточного и Кавказского фронтов. Здесь же читатель познакомится с последним романом, подготовленным автором к печати, «Время и место», а также с лучшими рассказами и избранной публицистикой.

Т $\frac{4702010200\text{-}338}{028(01)\text{-}87}$ подписное ББК 84Р7

ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ТРИФОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор **О. Я. Афанасьева**

Художественный редактор **Т. К. Самигулин**

Технический редактор **Л. И. Витушкина**

Корректор **М. И. Миримская**

ИБ № 4432

Сдано в набор 23.01.87. Подписано в печать 24.07.87. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 31,37. Заказ № 240. Изд. № III-2034. Тираж 130 000 экз. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 113054, Москва, Валовая, 28